В·КАВЕРИН

7

В·КАВЕРИН

7

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

В·КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ СЕДЬМОЙ

ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА
ТРИЛОГИЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
К 12

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

К $\frac{4702010200-385}{028 (01)-83}$ подписное

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда.

Пушкин

Надо потратить много времени, чтобы стать наконец молодым.

Пикассо

ГОРОД ДЕТСТВА

1

Мысль о том, что я должен рассказать историю своей жизни, пришла мне в голову в 1957 году, когда, вернувшись из автомобильной поездки по Западной Украине, я заболел странной болезнью, заставившей меня остаться в одиночестве, хотя я был окружен заботами родных и друзей. Я впервые понял тогда, что, хотя в моей жизни не произошло ничего необыкновенного, она отмечена неповторимостью, характерной почти для каждого из моих сверстников, и разница между ними и мной состоит только в том, что я стал писателем и за долгие годы работы научился в известной мере изображать эту неповторимость.

По-видимому, болезнь была следствием легкого гриппа, который в Ужгороде я перенес на ногах. Она началась с припадков неудержимой вспыльчивости, с которыми я даже не пытался бороться, как будто заранее зная, что мне не удастся их преодолеть. К чувству беспричинной досады присоединилась сильная головная боль. Звуки обыкновенной жизни, которые я прежде почти не замечал: хлопанье дверей, шаги над головой, железное гудение лифта,— теперь охлестывали меня с головы до ног. Мне казалось, что даже солнечный свет с пронзительным свистом врывается в комнату сквозь открытые окна.

Это было болезненное обострение слуха, характерное для воспаления паутинной оболочки мозга. Неутешительный диагноз был поставлен не сразу, но когда это произошло, врач запретил мне разговаривать, писать, читать,

слушать радио, смотреть телевизор. Болезнь могла пройти в течение трех недель. У меня она отняла почти три года.

Надо было уезжать из Москвы, и на откинутом сиденье «Победы» меня повезли в Переделкино, в финский домик, который я купил в конце сороковых годов. Нас обгоняли грузовые машины, и, распростертый на неудобном ложе, я снизу видел умывальники, арматуру, кровати, посверкивающее белое железо, в котором прыгали и прятались блики. Опустившая голову больная лошадь странно выглядела в кузове грузовика. Что-то растерянное было в перевернутых, перепутанных стульях. Все, что я видел, казалось мне таким же беспомощным и опрокинутым навзничь, как я.

Но вот Москва осталась позади. На Минском шоссе нас стали обгонять автобусы — школьников везли в пионерский лагерь. Они смотрели на меня, и с болезненной застенчивостью я встречал их серьезные взгляды.

Доехали, и по лицам родных я понял, что очень изменился за последние дни. Но другое сразу же стало мучить меня. Пес радостно залаял, встречая хозяина, и я чуть не упал от толкнувшей тупой боли в ушах.

2

Со мной разговаривали, еле шевеля губами. Голоса в саду доносились отчетливо, резко, и мне казалось, что родные невнимательны и равнодушны ко мне.

Недели три я лежал один. Потом стали заглядывать друзья, и одним из первых пришел Корней Иванович Чуковский.

— Дорогой мой, да вы даже не догадываетесь, как вам повезло,— сказал он.— Лежать целый день под зонтиком, в халате. Вдруг вырваться из всей этой суеты, литературной и прочей. Никуда не торопиться! Оглядеться, очнуться. Да вам только позавидовать можно.

Халаты я ненавидел и никогда не носил. На зонтик, напоминавший о том, что солнце запрещено мне надолго, смотрел я с отвращением. Вряд ли кому-нибудь пришло бы на ум завидовать больному, который со стоном хватался за голову после десятиминутного разговора. И все-таки Корней Иванович был прав. Все, что еще недавно занимало меня, отступило в сторону, потеряло значение. Я остался наедине с собой, я остановился с разбега. За-

думался — и началось то, что до сих пор происходило только в часы бессонницы: всматривание в себя, воспоминания.

«Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? — писал Герцен.— Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то уже утрачено, о чем юность мечтала без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева».

Так ко мне вернулось детство, которое судит и приговаривает «без личных видов», беспристрастно и строго.

3

Няпя Наталья берет меня с собой в баню, и, оглушенный гулким стуком шаек, плеском шлепающейся воды, наплывающими и тающими облаками пара, я делаю открытие: у женщин есть ноги! Последнее младенческое впечатление покидает меня: до тех пор мне казалось, что у женщин ноги начинаются там, где кончается юбка.

...Мы живем на Завеличье, в казенной квартире. Раннее летнее утро. Я слышу отрывистые команды фельдфебеля Лаптева, солдаты маршируют по розовому, косо освещенному солнцем чистому плацу. Мне четыре года. Я лежу в широкой постели между отцом и матерью и, полупроснувшись, чувствую, как широкая твердая рука отца тянется к матери через меня. Почему я начинаю бороться с этой рукой? Кажется, мать стыдит отца, а он смеется, и мне почему-то становится страшно, когда я вижу его белые, светящиеся из-под усов красивые зубы.

Мне еще не было шести лет, когда я понял, что такое бессонница. Я забыл уснуть, как Саша, мой брат, идя в гимназию, забывал дома завтрак. Я задумался, и минута, когда я засыпал, прошла. Теперь нужно было ждать, когда снова придет эта минута,— следующей ночи.

Это было грустное и странное чувство — все спали, весь дом, весь город, и только я один лежал в темноте с открытыми глазами. Потом это стало повторяться: задумываясь, я забывал уснуть и уже заранее ждал и боялся, что в эту ночь снова забуду.

Я лежал и думал. Беспокойство, о котором я прежде не имел никакого понятия, овладевало мной: все ли дома? Отец ложится не поздно, но мать иногда возвращалась с концертов после полуночи, я представлял себе, как она идет по Кохановскому бульвару, где в прошлом году зарезали женщину, и мне становилось страшно. Я спал в маленькой комнате, переделанной из чулана, и мне было слышно все, что происходило в доме. Помню, как однажды я стал беспокоиться: дома ли Преста? — у нас собак всегда называли музыкальными именами: Легата, Стакката... Черный ход запирался на тяжелый засов, который я не мог отодвинуть, и пришлось лезть во двор через кухонное окно. Земля холодила босые ноги, и было страшно, что на дворе так темно, но еще страшнее, что меня могут увидеть. Я прошел заброшенное место вдоль забора, обогнул дом. Сонная толстая Преста вышла из будки и лениво лизнула мне руку.

Все тише становилось в доме. Вот легла мать, Саша в соседней комнате с кривым полом сунул под подушку «Пещеру Лейхтвейса» и мгновенно заснул. Вот и отец прошуршал прочитанной газетой, погасил свет, захрапел. Теперь спал весь дом, и только я лежал и думал.

...Лавочник, немец, красный, с седой бородой, говорит тоненьким голосом. Мы с мамой заходим к нему, покупаем масло — восемнадцать копеек фунт. Неужели правду Сашка сказал, что у него серебряная трубочка вместо горла?

...В лавке Гущина пол посыпан опилками. Арбузы — горками. В ящиках — апельсины. Он — почтенный, в белом переднике, разговаривает не торопясь, все время улыбается. А нянька сказала, что он собственную дочь согнал со света. Куда согнал? Она говорит: «сжил»...

...Старик Розенштейн ходит в генеральской шинели. Отец сказал — из кантонистов. Отставной генерал, в семье каждый год кто-нибудь кончает самоубийством: сперва — студент, а этой весной — епархиалка Вера. Я один раз ее видел — румяная, с косой. Выбросилась из окна. Интересно, сколько у Розенштейна детей? Кажется, много. Все равно жалко.

...Мама каждое лето подумывает снять дачу в Черняковицах, там дешевле, никто не снимает, потому что рядом дом сумасшедших. Почему отец как-то жалко захохотал, когда поручик Рейсар с серьгой в ухе спросил: «Правда ли, что вы собираетесь снять Ноев ковчег?»

Отец — бравый, с усами, на груди медали, и все смотрят на него, когда, махая палочкой, он идет сразу за командиром полка впереди своего оркестра.

Почему «делают визиты»? Офицер с женой приходят, сидят десять минут и уезжают. Мама провожает их. Гордо откинув голову, она хлопает в ладоши: «Эй, люди!» Но в доме нет никаких людей, кроме денщика и няньки.

Почему «сходят с ума»? Значит, на нем стоят или сидят, если потом с него сходят?

...Губернатор в треуголке и в белых штанах проехал на парад.

...Город проходил передо мной: сумерки, освещенные окна магазинов, вечернее небо по ту сторону реки, где поля. Сергиевская, Плоская, сбегающая к набережной. Крепостной вал, соборный сад. Все знакомое-перезнакомое. Чайный магазин Перлова с драконами, игрушечный магазин «Эврика». Сейчас все спят. Брошены с размаху, не заперты железные ставни. И губернатор спит, сняв белые штаны и положив на стул треуголку. И в других городах все спят — мальчики, и губернаторы, и кучера — нянькины мужья, и няньки. Во всем мире не сплю только я, подпирая голову рукой и глядя в темноту, из которой что-то выступает, шевелясь и меняясь.

Я похудел, побледнел, перестал расти — и было решено поить меня вином Сан-Рафаэль «Друг желудка», для укрепления здоровья. Приходила мать — полная, в пенсне — и, запахивая халат, давала мне рюмочку вина с печеньем. Я выпивал вино, съедал печенье, и сперва это было интересно, потому что я не просто не спал, а ждал, когда придет мама. А потом стало все равно.

— О чем ты думаешь? — спрашивала нянька.

— Не знаю.

— Беда мне с этим ребенком,— говорит мать.— О чем-то он все думает, думает.

Обо мне заботились, потом забывали. Нянька была убеждена, что все — от бога. И это было, по-видимому, совершенно верно, потому что бог каждую минуту упоминался в разговорах. «Боже сохрани!», «Боже мой!», «Бог его знает!», «Ну тебя к богу!» и т. д. Он был господом, не господином, а именно господом: ему молились, его просили. У католиков и православных был свой бог, а у евреев — свой. И они чем-то отличались друг от друга, хотя увидеть даже одного из них было, по-видимому, невозможно. Он мог, оказывается, все, если его очень попросить, то

есть помолиться. Но вот нянька молилась ему каждый день и была даже какой-то старой веры, о которой говорили, что она крепче, а все-таки ее муж, губернаторский кучер, проворовался, украл хомуты и теперь сидел в тюрьме. Сперва она молилась, чтобы его выпустили, но его не выпустили, а потом, когда в нее влюбился актер Салтыков, стала молиться, чтобы не выпускали. А его, наоборот, выпустили. Он приходил пьяный и грозился, и все от него убежали. Только мама вышла, гордо подняв голову, поблескивая пенсне, и сказала: «Эх, Павел, Павел»,— и он заплакал и стал биться головой об пол.

Словом, бог поступил с нянькой несправедливо, и на ее месте я не стал бы молиться ему каждый день. Саша вообще говорил, что бога нет и что он один раз испытал его, сказав: «Бог — дурак»,— и ничего не случилось. Но почему же в таком случае строят соборы и церкви, и подрядчик Звонков нажил на постройке какой-то церкви сто тысяч, и наш собор стоит уже двести или триста лет?

Нет, бог есть. Нянька говорит, что есть еще и черти и что они — богатые и бедные, как люди. Бедные сидят тихо, а богатые шляются и безобразничают, потому что им все равно нельзя попасть в рай, поскольку они все-таки черти.

Подпирая голову рукой, я думал и думал. Нянька тайком от матери поила меня маковым настоем. Она очень жалела меня, но была нетерпелива и не могла заставить себя сидеть у моей кровати, потому что актер ждал ее у черного хода. Это была «трагикомедия», как говорила мама. Нянька водила нас в Летний сад, актер подсел к ней и влюбился, хотя ему было двадцать шесть, а ей — под сорок. Труппа, в которой он играл, уехала, а он остался. Старший брат, присяжный поверенный из Петербурга, приезжал к нему уговаривать, но он так сильно влюбился, что уже не смог уехать, а, наоборот, поступил в духовную консисторию, оставшись совершенно без средств. Каждый вечер нянька бегала на черный ход, и они долго разговаривали шепотом в темноте. Потом она приходила счастливая, потягивая концы платка под подбородком, смущенная, как девочка, и говорила: «Опять не спит. Ах ты, горе мое!» Я видел, что ей хочется к Салтыкову, и говорил: «Иди, няня, ничего, я засну». Ей было жаль меня, но она все-таки уходила. Значит, в мире не спал уже не я один, а еще актер Салтыков и нянька.

Это было все-таки легче — думать, что они тоже не спят, хотя я решительно не понимал, что они делают и о чем так долго разговаривают в темноте у черного хода.

В конце концов, разрываясь между чувством долга и любовью, нянька притащила актера ко мне. И он оказался прыщавым малым с длинным, туповатым, добрым лицом.

Потом я узнал, что он был не только актером, но и поэтом. Но, конечно, самое странное заключалось в том, что он влюбился в мою старую няньку! Он не стал говорить мне, как Саша: «Дурак, ну чего ты не спишь? Повернись на бок и спи!» — а тихонько подсел на кровать и стал ласково рассказывать что-то. Наверное, это была сказка про Иванушку и Аленушку, потому что я помню, как он все повторял: «Копытце, копытце». И ночь, которая проходила где-то очень близко от меня — так близко, что я слышал рядом с собой ее шаги и мягкое, страшное дыхание,— переставала страшить меня, и сон подкрадывался незаметно, когда я переставал его ждать.

4

Так я вернулся в город моего детства. Я понял, что жил в этом городе, не замечая его, как дышат воздухом, не задумываясь над тем, почему он прозрачен. Теперь он возник передо мной сам по себе, без той посторонней необходимости, которая диктовалась формой рассказа или романа.

Я вспомнил жизнь нашей большой, беспорядочной театрально-военной семьи, «управлявшейся денщиком и кухаркой», как сказал на вечере, посвященном памяти моего старшего брата, один из его гимназических друзей. Я вспомнил, как незадолго до первой мировой войны семья стала клониться к упадку и мы должны были переехать из квартиры в доме баронессы Медем на Сергиевской, главной улице города, в другую, более дешевую квартиру на Гоголевской. Одноэтажный деревянный дом принадлежал «лично-почетному гражданину Бабаеву», как было написано на дощечке у ворот. И сам лично-почетный гражданин появился передо мной, как экспонат музея восковых фигур,— пожилой, коротенький, с толстенькими, точно подкрашенными, щечками, с выцветшими глазками, с удивительно пышно взбитыми табачно-седыми усами.

Мелочи, казавшиеся давно забытыми, возникли перед моими глазами: шпаги отца, которыми мы фехтовали,— при парадном мундире он должен был носить шпагу; бронзовый Мефистофель; пепельница из крышки черепа, исписанная изречениями; длинная запаянная трубка с розовой жидкостью — эти предметы стояли и лежали на письменном столе старшего брата. На черепе красными чернилами было написано: «Memento mori». Старший брат говорил, что розовая жидкость — это яд кураре.

Кантата, которую мы разучивали к трехсотлетию дома Романовых, донеслась откуда-то издалека, и я увидел Ивана Семеновича, классного надзирателя и учителя пения, усатого, с крепким носом, подпевавшего себе хриплым басом и неожиданно щелкавшего палочкой по лбу фальшивившего или задумавшегося певца:

Была пора, казалось, сила
Страны в борьбе изнемогла.
И встала Русь и Михаила
К себе на царство призвала.

5

...Медленно, нехотя, но моя болезнь все-таки отступала. Мне разрешили смотреть картинки, и я получил журнал «Искры» за 1912 год — это был год моего поступления в гимназию. Летчик Дыбовский, совершивший «огромный перелет» из Севастополя в Москву, был стрижен ежиком, добродушен, носат. Фельдмаршал фон дер Гольц-паша реорганизовал турецкую армию. Члены Четвертой Государственной думы были странно похожи друг на друга.

Когда у меня окрепли руки, я стал вырезать фигурки из сосновой коры. Я вырезал Буратино, потом бородатого одноглазого сапожника, потом Дон Кихота, читающего огромную книгу. Прибавив к сосновой коре бересту, я вырезал двух бессмысленно бравых павловских солдат, в высоких киверах и белых штанах. Картинки мешали мне вспоминать, а резьба помогала. Эти фигурки и до сих пор стоят на полочках в моем кабинете.

Наконец мне разрешили писать (сперва десять минут в день, потом — двадцать), и я принялся за свои воспоминания — с шести лет, хотя мог бы начать с двух с половиной.

Так была написана книга «Неизвестный друг». Оглядываясь на свое прошлое, я не могу обойти ее. Но она неполна, многое в ней не рассказано, а рассказанное настроено на ломающийся голос мальчика, с трудом привыкающего к собственному существованию...

Я назвал ее повестью, изменив имена друзей и родных. Годы унесли их, и ничто отныне не мешает мне вернуться к подлинности как в этом случае, так и в десятках других. Теперь главы «Неизвестного друга» стали для меня чем-то вроде оживших иллюстраций. Время от времени читатель будет встречаться с ними в моем повествовании.

6

Кажется, я был способный мальчик. Но странное оцепенение время от времени охватывало меня. Задумываясь над сопоставлением общих понятий, я не замечал частных, и эта черта осталась на всю жизнь. Каким-то образом она соединялась с уверенностью, что со мной не может случиться ничего плохого. Возможно, что это чувство было подсказано самой природой. Ведь деревьям, травам, насекомым, почти всему животному миру не свойственно ожидание несчастья или даже какой-либо неудачи.

Много лет и даже десятилетий прошло, прежде чем пошатнулось это спасительное ощущение. Осенью 1911 года оно помешало мне поступить в приготовительный класс Псковской губернской гимназии.

Гимназистка восьмого класса Маруся Израилит — верный кандидат на золотую медаль — была приглашена, чтобы пройти со мной арифметику: считалось, что я пишу и читаю прекрасно.

Она приходила сдержанная, гладко причесанная, в белой, только что отглаженной кофточке, и мне казалось, что все вокруг становилось таким же чисто вымытым, даже слегка накрахмаленным, во всяком случае, совершенно другим. Наскоро отметив крестиком несколько задач, она скрывалась в комнате старшего брата, и я долго не мог понять, о чем они говорят негромкими взволнованными голосами, как будто ссорясь и сердясь друг на друга.

Расстроенный, я сидел над задачей, и мысль уносилась бог весть куда — в те далекие края, где никто не занимался арифметикой и где таблица умножения была никому не нужна. Мне было немного стыдно за Марусю, которая — я

это знал — вернется раскрасневшаяся и с виноватым видом станет торопливо проверять мою работу. Потом я возвращался к задаче, и, если в ней говорилось о купцах, отмерявших сукно какими-то локтями, мне представлялись эти купцы — толстые, с румяными скулами, угодливые и наглые, торговавшие в суконных рядах. Если в задаче говорилось о бассейне с трубами, мне представлялся этот бассейн за стеклянной стеной, по которой скользили молчаливые тени. Слышался плеск и, так же как из комнаты брата, тихие, таинственные, по временам умолкавшие голоса.

Все это кончилось тем, что я провалился. Возможно, что в этом была виновата Маруся — недаром она волновалась гораздо больше, чем я, и по дороге в гимназию насильно заставила меня съесть три трубочки с кремом, которые я с тех пор навсегда разлюбил.

...Когда учитель Овчинников, лысый, маленький, с гладкой красной шишкой на темени, на которую почему-то все время хотелось смотреть, написал очень легкий пример на доске, я энергично принялся за дело и решил его в десять минут. Ответ получился странный, с дробью, а между тем дроби — это я твердо знал — не проходили в приготовительном классе. Похоже было, что я неправильно решил пример, и, пожалуй, стоило проверить его, прежде чем приниматься за второй. Все же я принялся, но бросил, потому что мой сосед, мальчик с большой курчавой головой, взглянул в мою тетрадку и отрицательно покачал головой. Подумав немного, я вернулся к первому примеру, а потом встал и сказал негромко, но так, чтобы это услышали все:

— Михаил Иваныч, у меня не выходит.

— Ничего, еще есть время,— ответил он.— Подумай.

Я сел и послушно стал думать. Но думал я уже о том, что до конца экзамена осталось только двадцать минут, потом пятнадцать, десять... Ожидание неслыханного события переполняло меня. Это было так, как будто не я, а кто-то другой с лихорадочной быстротой решает пример, а я с нетерпением жду, когда же наконец станет ясно, что он его не решит.

Опять получилась дробь, на этот раз какая-то невероятная — периодическая, как я узнал позднее. Я снова поднялся и на этот раз уже не сказал, а оглушительно заорал, так что весь класс вздрогнул и с изумлением посмотрел на меня:

— Михаил Иваныч, у меня не выходит!

Не знаю почему, но я был уверен, что Михаил Иваныч сейчас подойдет ко мне и пример не только будет решен, но это произойдет незаметно для всего класса, а может быть, и для меня самого.

Но Михаил Иванович только пожал плечами.

— Ну что ж, давай сюда, если больше ничего не выходит.

Прозвенел звонок. С необъяснимым, почти радостным возбуждением я сунул свою работу в кучу других — Овчинников собирал их, проходя вдоль рядов,— и вышел в коридор, где меня ожидали взволнованная, с красными пятнами на щеках Маруся и всегда спокойная, с гордо откинутой назад головой, в пенсне, моя мать.

— Решил?

Я сказал, что решил, но не совсем, и что, наверно, будет пятерка с минусом, потому что ответ немного не тот.

Маруся с виноватым видом посмотрела на мать.

— То есть как не тот? — спросила она.

— У Саши Гордина,— это был мой сосед,— без дроби, а у меня почему-то с дробью. Но вообще-то почти у всех с дробью.

Я уже врал, и мне почему-то становилось все веселее...

Не прошло и двух недель, как я снова засел за арифметику — на этот раз в надежде весной выдержать в первый класс.

7

Это была первая неудача в моей жизни, и теперь, размышляя о том, как и почему она произошла, я не склонен винить в ней Марусю, на которой старший брат женился, едва окончив гимназию. Я провалился главным образом потому, что не мог представить себе, что могу провалиться. Я был уверен, что со мной не может случиться ничего плохого. Когда на экзамене это плохое с роковой неизбежностью стало приближаться ко мне, явилось другое чувство — ожидание чуда. Чуда не произошло, и тогда, как бы заранее вооружаясь, я стал торопить ту минуту, когда станет ясно, что я провалился. Зато потом, когда неудача совершилась, я постарался возможно скорее забыть о ней — и оказалось, что это легко, может быть потому, что я и встретил ее легко, без напряжения.

В других воплощениях этот экзамен повторялся в моей жизни не раз.

Нельзя сказать, что я много успел за зиму, хотя был приглашен требовательный преподаватель Михаил Алексеевич Голдобин, маленький, с крестьянским рябоватым лицом, редко улыбающийся, в очках. Ему предстояло пройти со мной не только арифметику, но и русский. Мать просила его проследить за моим чрезвычайно беспорядочным чтением.

Мы занимались, а потом я провожал его в Петровский посад, где он снимал маленькую комнату за три рубля в месяц. Хотя он скупо рассказывал о своем детстве, я вскоре понял, что для него не нанимали преподавателя по полтиннику за урок. Неопределенное чувство своей вины перед ним сопровождало наши уроки. Я вырос в небогатой семье, денег постоянно не хватало, сестре, учившейся в Петербургской консерватории, надо было посылать 25 рублей в месяц. Михаилу Алексеевичу, в его потертой чистой тужурке (он был студентом Псковского учительского института), в неизменной ситцевой косоворотке, никто ничего не посылал, напротив, он сам еще помогал своим деревенским родным. Несправедливость неравенства, о которой я неясно думал и прежде, вдруг представилась мне с такой очевидностью, как будто я отвечал за нее.

Я вскоре влюбился в Михаила Алексеевича, но не стал подражать ему. У меня был другой предмет обожания, и об этом я еще расскажу. Мне просто захотелось, чтобы Михаил Алексеевич догадался, что, несмотря на мои посредственные способности, я заметно отличаюсь от других его учеников. Чем? Этого я еще не знал.

Еще летом я прочел тургеневские «Записки охотника». Провожая Михаила Алексеевича, я хвастливо сказал ему об этом, и он спросил, кто мне больше понравился — Калиныч или Хорь.

Конечно, Калиныч, с его кротким и ясным лицом, с его беззаботностью и любовью к природе, нравился мне гораздо больше, чем Хорь. В Калиныче было что-то таинственное, даже волшебное, недаром он умел «заговаривать кровь». Напротив, Хорь был скучно-деловит и напоминал мне бородатого городового на Сергиевской, которого я почему-то ненавидел.

— Хорь,— ответил я твердо.

Михаил Алексеевич удивился:

— Хорь?

— Да.

Он снял и быстро, недовольным движением протер очки.

— Э, брат, да ты далеко пойдешь,— заметил он как будто вполне спокойно.

Тогда я ненадолго задумался о том, почему я солгал — и так невыгодно для себя солгал. Но недаром этот незначительный случай запомнился мне. Впервые мне захотелось не быть тем, кем я был, а казаться тем, кем я на самом деле не был. Впоследствии я не только в себе стал узнавать эту черту. Михаилу Алексеевичу я солгал с единственной целью — заставить его удивиться, заинтересовать его неожиданностью своего выбора и, стало быть, собою. В тысячах других встреч я научился представляться другим отнюдь не из желания удивить собеседника. Напротив, я как бы становился в известной мере этим собеседником, от которого подчас зависела моя судьба, или судьба моих близких, или тех, кто нуждался в моей поддержке.

Не помню, почему на весеннем экзамене в первый класс я снова провалился. Может быть, потому, что Михаил Алексеевич месяца за два до экзаменов уехал на родину, а я записался в городскую библиотеку.

...Перед диктовкой тот же лысый Овчинников сказал нам, что, находясь в сомнении, мы должны не исправлять букву, а зачеркнуть слово и вновь написать его в исправленном виде.

— Если, скажем, ты написал «карова»,— он показал на доске,— так не исправляй десять раз «а» на «о», а зачеркни и напиши «корова».

Наставление запомнилось, и с тех пор я всегда поступаю именно так.

Диктовку я написал недурно, пропустив только две-три запятые; стихотворение:

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек,—

прочитал превосходно.

Кажется, я провалился по грамматике. Мне всегда казалось бессмысленным, что для поступления в гимназию надо знать, что стул — имя существительное, а гулять или читать — глагол. Впоследствии, в студенческие годы, ко-

где я учил китайцев русскому языку, они никак не могли понять, что именительный падеж — все-таки падеж, хотя слово остается неизмененным. Очевидно, нечто подобное произошло со мной, и Овчинников хладнокровно поставил мне двойку.

Решено было — ничего не поделаешь,— что осенью буду снова держать в приготовительный класс.

На этот раз я сдал на круглые пятерки и наконец надел гимназическую фуражку, нимало не смущаясь тем, что она досталась мне так тяжело. Гимназия к тому времени была переименована из «Псковской губернской» в гимназию «Александра Первого Благословенного», гербы были большие и маленькие. Конечно, я выбрал большой. К сожалению, в приготовительном классе еще не носили форму. Я надевал фуражку и выходил на балкон, чтобы все проходившие мимо могли убедиться, что я наконец гимназист.

Вскоре мама купила мне форму. Надев длинные брюки и черную куртку со стоячим воротником, туго затянувшись ремнем с металлической пряжкой, я имел полное право чувствовать себя не только самим собой, но еще и молодым гражданином Российской империи.

СЕМЬЯ

1

Отца дети называют на «ты», а мать па «вы». Она выше среднего роста, сдержанная, с гордой осанкой, полная, в пенсне, близорука.

На углу Плоской и Великолуцкой — вывеска: «Бюро проката роялей и пианино». Бюро помещается во втором этаже, а в первом «Специально музыкальный магазин». Буквы — затейливые, с хвостиками. Слово «специально», вызывающее (я заметил) улыбку у приезжих из столицы,— для тех, кто заходит в магазин и спрашивает муку или гвозди.

Три или четыре рояля стоят в просторной комнате на втором этаже. Остальные — в частных домах, на прокате. Бухгалтерия — кто и когда должен заплатить за прокат — содержится в маленькой зеленой книжечке, которую мать время от времени теряет, и тогда поисками начинает заниматься весь дом. В 1918 году книжечка так и не нашлась — рояли и пианино остались там, где они стояли на

прокате, и, помнится, меня удивила беспечность, с которой мать отнеслась к этому разорившему нас событию.

Мне никогда не удавалось вообразить ее молодой. Она всегда была серьезна, озабоченна и грустна сознанием неудавшейся жизни. Вдруг блеснувшая беспечность впервые заставила меня взглянуть на нее другими глазами. Я почувствовал, что это была ее, быть может, последняя молодая черта.

Иногда — очень редко — рояль или пианино продавались, и тогда мать почему-то называла их «инструментами».

— Прекрасный инструмент,— гордо говорила она и, садясь на круглый вертящийся стул, пробегала по клавиатуре звучным пассажем.

Мать окончила Московскую консерваторию, много читала. Она держалась прямо, откинув плечи, и ее пенсне поблескивало независимо, гордо. А отец был солдатом музыкантской команды лейб-гвардии Преображенского полка и с трудом добрался до звания капельмейстера. Мать уважали в городе и даже побаивались. К отцу относились с оттенком иронии. Он был невысокого роста, могучего сложения, с широкими плечами. Мать принадлежала дому, семье и была главой этой семьи и дома. Отец приходил из полка, обедал, ложился спать, иногда загадочно «уходил в Петровский посад» — и жил в своей семье постояльцем.

Он был бешено вспыльчив, скуп и прямодушен. Мать любила говорить, что он всю жизнь махал своей палочкой, а он называл ее «мое несчастье» и любил повторять: «Дураком, дураком». Это означало, что двадцать пять лет тому назад он был дураком, женившись на маме.

Музыка и армия были для него понятиями незыблемыми. Все дети учились музыке. Квартет, состоящий из моих сестер и братьев, выступал на вечерах в офицерском собрании. Когда отец служил в Преображенском полку, Александр Третий на концерте вызвал его в свою ложу и наградил за соло на кларнете золотыми часами. Они лежали на столе. Впрочем, мать говорила, что часы — поддельные. «Тоже хорошие, но копия»,— прибавляла она небрежно. Подаренные императором часы отец потерял во время перехода Омского полка из Новгорода в Псков.

В многолетнем браке незаметно утверждается машинальность, незамечание друг друга. Смотритель маяка в одном из романов Гамсуна смотрит сквозь жену, как

сквозь стекло, она для него уже почти не существует. Психологическая пустота переходит в физическую, стертость отношений зеркально отражает машинальность существования. В отношениях между моими родителями не было этой машинальности, позволяющей молчаливо терпеть друг друга.

Когда отец устраивал скандалы, у него становилось страшное лицо, лоб разглаживался, губы набухали, и он оглядывался, побледнев,— искал, что бы ему сломать, сокрушить, уничтожить. Он был скуп, но в эти минуты ничего не жалел и однажды с такой силой трахнул об пол дорогую Психею, что она рассыпалась в порошок. Саша исследовал этот порошок и обнаружил, что статуя была из гипса.

Я был еще так глуп, что ходил в портняжную мастерскую Сырникова, во флигеле на дворе, и рассказывал об этих скандалах. Портные, скрестив ноги, сидели на низких столах, отполированных задами до блеска. Кто-нибудь начинал мурлыкать или петь и вдруг громко откусывал нитку. Потом вносили огромный пылающий утюг, из которого летели искры, и белый, пахнущий сукном пар поднимался от гладильной доски.

Мне нравилось ходить к портным — мои рассказы имели успех. Однажды сам Сырников слез со стола, корявый, с иронически поджатой ноздрей и длинными, оборванными в драке усами, и сказал: «Врешь», когда я стал хвастаться, что старший брат такой силач, что может скрутить отца, если он будет очень скандалить. Но я никак не мог объяснить портным, почему начинались эти почти ежедневные ссоры. Когда мама или сестра покупали себе что-нибудь новое или приходила портниха, отец быстро говорил: «Шляпки-тряпки, шляпки-тряпки»,— и женщины горячо негодовали. Он сердился, когда кто-нибудь забывал погасить свет или ломал стул; особенно его заботила судьба некрасивых стульев, которые он сам давным-давно купил в Петербурге. Стулья были дубовые, и когда они ломались, это было как бы примером того, что даже дуб не может выдержать беспорядка, творившегося в доме. Как полагал отец, беспорядок заключался в том, что все делалось не так, не вовремя и деньги летят на ветер. А в доме капельмейстера Красноярского полка, наоборот, все делается вовремя, а денег уходит вдвое меньше.

Упрекая мать за беспорядок, свою комнату он никому не позволял убирать. На письменном столе валялись раз-

нообразные музыкальные инструменты — считалось, что отец их чинит, хотя однажды я убедился, что он целый месяц клеил какую-то камышовую полоску для флейты. В комнате пахло фиксатуаром. Здесь и там висели форменные офицерские брюки. Порядок был только в том ящике письменного стола, где лежали ордена и медали. Медалей и разных почетных знаков было множество, но все какие-то незначительные — члену Императорского общества спасения на водах или в честь юбилея Преображенского полка.

Потом, когда я подрос и перестал рассказывать сырниковским портным о наших скандалах, мне стало казаться, что отец устраивает их не потому, что надеется таким образом добиться порядка, а потому, что его не уважали в семье.

В ссору, то тлевшую, то разгоравшуюся, стали с годами вмешиваться подраставшие дети. Были ничтожные поводы, возникавшие из-за самой атмосферы распадавшегося дома. Но были и события, требовавшие выбора между отцом и матерью, неотложные решения, опасные повороты.

2

Я помню солнечный день ранней осени, блеск двери, полуоткрытой в спальню родителей, вкус яблока, которое я держу в руке и с хрустом закусываю, зажмурившись от счастья, потому что все это — блеск двери, праздничность солнца, яблоко — соединяется в еще небывалое чувство счастья. В спальне спорят. Мать появляется на пороге с письмом в руке. Никогда прежде я не видел ее плачущей. Как бы она ни была расстроена или огорчена, только голубоватая жилка билась на виске — все знали, что это значит. Теперь пенсне беспомощно висит на длинном шнурке, близорукие глаза покраснели от слез. «Они все умрут там, все умрут...» — что-то говорит она с отчаяньем, ни к кому не обращаясь.

Письмо было из Новгорода. Там жили ее родители и брат, Лев Григорьевич Дессон, известный пианист. Мать гордилась им, хранила афиши его концертов. Великий Падеревский лестно отозвался о его игре — рассказ об этом повторялся так часто, что я выучил его наизусть. Брат жил той жизнью, о которой некогда мечтала она, в его судьбе свершились ее неоправдавшиеся надежды.

Все было кончено теперь — он заболел какой-то неизвестной неизлечимой болезнью и в тридцать лет стал беспомощным калекой.

Так началась болезненно врезавшаяся в память, надолго установившаяся полоса жизни нашего дома. Вопреки настояниям и даже угрозам отца, мать перевезла родителей и больного брата в Псков, сняла для них квартиру на Пушкинской улице, постоянно поддерживала их, старалась смягчить отца — и были редкие дни, когда это ей удавалось.

Приехал дед Григорий, высокий, молчаливый, с тонким лицом, с рыже-седой бородой и задумчивыми голубыми глазами. Приехала кругленькая, толстенькая, хлопотливая, говорливая бабка Люба. Приехал дядя Лев, неузнаваемо изменившийся, на костылях, с шаркающими ногами. Он был в старомодном бархатном пиджаке, в измятых штанах, но кокетливый шелковый бант был, как прежде, повязан на шее.

Еще надеялись на его выздоровление. Он лечился, но врачи не помогали, и тогда няня привела знахаря из Петровского посада, который должен был приказать больному пианисту отбросить костыли и начать ходить, как здоровые люди.

Явился решительный старичок, с бородкой, с уверенно поджатыми губами. Из грязноватого клетчатого платка он вынул и повесил на грудь маленькую иконку.

В комнате дяди собралась вся семья. Нянька громко хвалила знахаря. У мамы на виске сильно билась голубая жилка.

Мелко постукивая стоптанными сапогами, старичок приблизился к дяде:

— Встань, раб божий!

С трудом опираясь на костыли, дядя поднялся с кресла.

Знахарь грозно нахмурился. В его подслеповатых глазах мелькнула сумасшедшая искра. Он поджал губы и покрутил головой.

— Костыли прочь! — вдруг оглушительно закричал он.

Костыли упали. Дядя сделал один неуверенный шаг и рухнул на ковер, который, не особенно надеясь на успех лечения, заранее расстелила мама...

Знахарь получил гонорар и молча, с достоинством удалился. Нянька запила — в ту пору она уже начала пить. К историям, которые рассказывал больной пианист, прибавилась еще одна, по его мнению — самая смешная.

...Прошло два-три года, дед Григорий умер, бабка осталась с дочерью, а дядя поселился у нас, в маленькой комнате направо от прихожей, с окном, выходящим на узкую часть двора.

Теперь трудно было представить себе наш дом без стука его костылей. Иногда он выходил посидеть на крыльцо,— зимой в потертой шубе и бобровой боярской шапке, а летом в нарядном пиджаке, который был некогда сшит знаменитым венским портным. Костыли он пристраивал у крыльца, шляпу держал на коленях. Однажды пожилая женщина в полушалке, перекрестясь, положила в эту шляпу копейку. Дядя дернулся, привстал, потянулся за костылем, покраснел.

— Сударыня, вы ошиблись! — надтреснутым голосом крикнул он.

В этот день он недолго сидел на крыльце.

Его любили товарищи старшего брата. На балладу Юрия Тынянова, товарища старшего брата, он сочинил музыку.

Было тихо кругом, когда скальд умирал...

Первое время он выходил к столу, шутил. Потом перестал.

3

В доме всегда толпились актеры. Среди них были «резонеры», «первые и вторые любовники», «благородные отцы», «инженю» и еще какие-то «инженю-комик». «Резонеры» всегда играли резонеров, то есть людей, которые очень любят рассуждать, но ничего не делают, а «благородные отцы» — отцов, хотя и не обязательно благородных. Но случалось, что «резонер» играл, например, «первого любовника», и тогда его обычно хвалили, даже если он играл плохо, потому что считалось, что это «не его амплуа».

О том, кто и как играл, в доме говорили гораздо больше, чем о собственных делах, хотя дела с каждым годом шли все хуже и хуже. Иногда мама в разговоре изображала, как, по ее мнению, нужно было сказать: «Карету мне, карету!» или «Австрийский на него надеть мундир»,— и мне казалось, что в глубине души она считает себя актрисой. Я тоже любил играть, но один, когда меня никто не видел.

Мне казалось странным, что об актерах у нас говорили так много. Почему-то было известно, что у «первого любовника», красавца С., маленькая лысинка на темени и что он будто бы прикрывает ее волосяной нашлепкой. Его жена была, оказывается, на пять лет старше, чем он, и ревновала его, но так искусно, что никто этого не замечал.

Актеров у нас любили просто за то, что они были актеры. Один «благородный отец» просидел до ночи, накурил, съел целую курицу, мычал, никому не понравился,— кажется, не за что было его похвалить! И все-таки мама сказала, что у него красивая шея.

Нянька считала, что от актеров в доме беспорядок, и была, по-видимому, совершенно права, хотя, когда труппа уезжала (иногда в середине сезона, если антрепренер «прогорал»), беспорядок нисколько не уменьшался, а только становилось скучнее. Драматическая труппа приезжала летом, а зимой мама устраивала концерты. Трио Чернявских из Америки, хорошенькие мальчики в бархатных костюмчиках, с кудрявыми шелковистыми волосами, просидели у нас целый вечер. Мы с Сашей тоже нарядились, хотя у нас не было других штанов, кроме как из чертовой кожи,— мама сердилась, что на нас «не наберешься», и нам стали шить штаны из этой материи, которую — мы пробовали — можно было разорвать только клещами.

Мне не понравилось трио Чернявских. Они были похожи на девочек, говорили тихими голосами. Один аккуратно снял кожу с копченого леща и стал вежливо жевать ее, не леща, а именно кожу. Мы с Сашей подавились, выскочили из столовой, и нам потом попало от мамы. Она сказала, что ничего особенного, очевидно, в Америке не едят копченых лещей, и нужно было не смеяться, а сделать вид, что мы ничего не видели, тем более что мальчик скоро догадался, в чем дело.

Знаменитый скрипач Бронислав Губерман приехал в Псков, и мама, встретив его, вернулась расстроенная: в номере было двадцать два градуса жары, а Губерман сердится и требует, чтобы было двадцать четыре.

Отец считал, что мы все — и старшие, и младшие — должны учиться музыке, бывать на концертах, в опере, и я тоже получил билет, правда плохой — стоять на галерке. Народу было полно, мне было скучно одному и немного страшно. Мама заставила меня надеть целлулоидный воротничок, все время мне хотелось вертеть головой, и было такое чувство, как будто кто-то держит меня за гор-

ло. Зато я был на концерте Губермана, а он получал двести рублей за концерт, и лучше его во всем мире играл только Кубелик.

Он вышел, худенький, с большой квадратной головой, и поклонился небрежно, как бы между прочим. Потом заиграл, и уже через десять минут я поймал себя на том, что не слушаю, а думаю о своих делах: «Отдаст Борька Петунин ножичек или нет?», или: «Здорово я вспотел», или: «Интересно, а ведь это мясник». Мы с мамой на днях заходили в мясную лавку, и мясник, который, внимательно слушая, сидел сейчас в партере, гладко причесанный, в новом костюме, стоял тогда за прилавком в белом, запачканном кровью переднике среди ободранных туш, висевших вниз головами,— страшный, румяный — и легко рубил мясо, подбирая тем же ножом раздробленные кости с нежными сеточками внутри.

Я почти не слушал Губермана, хотя обычно сочинял под музыку в уме целые сцены. Хорошо он играет или плохо? Должно быть, я очень тупой, если не могу этого понять, в то время как все хлопают, кричат: «Браво, браво, бис!» — а он выходит и долго стоит, опустив квадратную голову и прижав скрипку к груди. Потом я решил, что мне было трудно слушать потому, что все время приходилось думать о том, что он получает двести рублей за концерт и, кроме Кубелика, играет лучше всех в мире.

Потом приехала оперная труппа под управлением Штока, и, по общему мнению, это был отчаянный шаг. В Пскове каждый день нужно было показывать новый спектакль, иначе публика не ходила в театр. А ведь опер вообще очень мало, и с одной репетиции показывать их почти невозможно. Но Шток показывал. Мне нравилось, когда он вдруг появлялся за пюпитром — высокий, во фраке, с орлиным лицом,— властно стучал палочкой, и в оркестре сразу же умолкал беспорядочный шум.

Когда я смотрел, как отец машет палочкой, увлекаясь и не замечая, что в трудных местах он смешно приседает, мне не хотелось быть дирижером, а когда видел Штока — хотелось.

— Еще не прогорел? — говорили в городе.

Мне хотелось поддержать его, и я уговорил богатого толстого Плескачевского пойти со мной на «Сельскую честь»; он пошел, заснул и свалился со стула.

Шток держался, пока в Псков не приехал музей восковых фигур. Там показывали Наполеона III, Дрейфуса и

женщину в пеньюаре, которая с ножом в груди, как живая, падала на пол с кровати.

Но мне повезло, что Шток держался так долго, потому что публику невозможно было заманить на одну оперу больше двух раз, и таким образом в одно лето мне удалось прослушать двадцать четыре оперы — больше, чем за всю остальную жизнь. Многие из них были поставлены наспех. Например, в «Гугенотах» на Рауля упала стена, и он должен был петь, подпирая ее плечом и стараясь удержаться от смеха. Но я все равно ходил, отчасти по настоянию отца, который считал, что опера полезна для здоровья.

— Опера, опера, опера только! — говорил он.

...Я играл в Штока: выходил, кланялся и сразу — к музыкантам, властно постучав палочкой по пюпитру. Дирижируя, я подавал знак артистам — вступайте — и, кланяясь, небрежно откидывал назад шевелюру. Правда, шевелюры не было — нас стригли под первый номер, но я все равно откидывал и кланялся быстро и низко, как Шток.

Я не только управлял оркестром, хотя все время нужно было что-то делать со звуками, летевшими ко мне со всех сторон, я боролся с неведомой силой, заставлявшей меня «прогорать». Может быть, это были большие черные птицы, которых я отгонял своей палочкой, но они опять прилетали. Возвышаясь над оркестром, высокий, с орлиным профилем, в черном фраке, я отбивался от них — спиной к этим жадным лавочникам, сидевшим в партере и равнодушно смотревшим, как я прогорал.

4

Для отца музыка — это был полк, офицеры, парады, «сыгровки», на которых он терпеливо и беспощадно тиранил свою музыкантскую команду, ноты, которые он писал быстро и так четко, что их трудно было отличить от печатных. Он играл почти на всех инструментах. Но его музыка была полковая, шагающая в такт, сверкающая на солнце, мужественная. Недаром он придавал особенное значение ударным инструментам: барабану, треугольникам и тарелкам. И даже когда его оркестр играл похоронный марш, в музыке чудилось нечто подтянутое, военное, с выправкой и как бы внушающее покойнику, что, хотя он умер и тут уж ничего не поделаешь, он может не сомне-

ваться, что и после его смерти все на свете пойдет своим чередом.

Отец любил какую-то пьесу, в которой изображалось эхо. Выступая со своим оркестром по воскресеньям в Летнем саду, он посылал на горку трубача. Трубач отзывался неожиданно, и публика прислушивалась, не веря ушам. Скептики шли искать трубача, но не находили — он ловко прятался в кустах.

Для Саши музыка была совсем другое. Он любил «изображать» на рояле, и это у него получалось прекрасно.

— Мама,— говорил он и действительно играл что-то прямое, немногословное, гордое, в общем, похожее на маму.

— Нянька.

И однообразный ворчливый мотив повторялся до тех пор, пока все не начинали смеяться.

— Преста.

И начинался старческий собачий лай, хриплый, замирающий на короткой жалобной ноте.

У Саши был талант, но он не придавал ему значения. Он еще не решил, кем он будет — знаменитым химиком или музыкантом. Дядя Лев Григорьевич считал, что Саше нужно «переставить» руку, но Саша не соглашался — это должно было занять, по его расчету, не меньше трех лет. Он говорил, что для композитора не важно, умеет ли он хорошо играть, что даже Чайковский играл, в общем, средне. Зато Саша превосходно читал с листа. Кипа старых нот, которые он быстро проигрывал, постоянно лежала на рояле.

Некогда о Льве Григорьевиче говорили как о восходящей звезде музыкального мира. На стенах его комнаты были развешаны фотографии. Он объяснял: «Это — Друскеники. А это — Баден-Баден». Дамы в белых кружевных платьях, в шляпах с большими полями сидели под зонтиками в саду. Дядя в коротком пиджаке с закругленными полами, в жилете, по которому вилась золотая цепочка, в канотье, небрежно откинутом на затылок, с тростью в руке шел по аллее. Таким я видел его только однажды, когда, отправляясь в заграничное турне, он на несколько дней остановился в Пскове. Это был высокий темноволосый красавец, уверенный в том, что он нужен всем со своей легкой походкой, мягкой улыбкой из-под усов, с блеском вьющейся шевелюры, с франтовством, над которым он сам

же подшучивал, с готовностью в любую минуту сесть за рояль, кто и когда ни попросил бы его об этом. В молодости у него были «истории» — гродненская вице-губернаторша, молоденькая и хорошенькая, влюбилась в него и убежала от мужа...

По фотографиям было видно, что он то носил, то не носил усы. Теперь он всегда носил их. Я помню, как однажды мама зашла к нам с Сашей и сказала нехотя, что дядя сбрил усы.

— Он плохо выглядит,— сказала она.— Но не нужно говорить ему об этом.

И действительно, дядя выглядел плохо. У него запала верхняя губа, и в этот день было особенно трудно поверить, что гродненская вице-губернаторша была готова бежать с ним на край света.

С утра до вечера он играл — готовился к концерту. Он надеялся, что этот концерт сразу поставит его на одну доску с лучшими пианистами мира, тем более что дядя так развил руку, что мог взять полторы октавы. Только у Падеревского была такая рука.

Видимо, его болезнь на короткое время отступила.

Он выбрал трудную программу — Скрябина, Листа и на бис мазурку Шопена. А если придется бисировать дважды — вальс, тоже Шопена.

Прежде у него не было времени, чтобы как следует приготовиться к концерту. Зато теперь — сколько угодно. С утра до вечера он повторял свои упражнения. Пальцы у него стали мягкие, точно без костей, и, когда он брал меня за руку, почему-то становилось страшно. Я просил его сыграть что-нибудь, и он начинал энергично, подпевая себе, и вдруг останавливался и повторял трудное место, еще раз. Еще... И, забыв обо мне, дядя принимался развивать руку.

Чтобы никого не беспокоить, он играл очень тихо, но все-таки старшая сестра, у которой были частые головные боли, уставала от этих однообразных упражнений, и тогда мастер Черни переделал пианино таким образом, что на нем можно было играть почти бесшумно. Но фортиссимо все-таки доносилось. Тогда дядя сказал, что звуки ему, в сущности, не нужны и что глухота не помешала же Бетховену сочинить Девятую симфонию! И Черни снова пришел, маленький, курчавый, грустный, с коричневыми, пахнущими политурой руками. Он прочел мне два стихотворения: «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой»

и «Буря мглою небо кроет» — и сказал, что сам сочинил их в свободное время...

Иногда дядя выходил посидеть на крыльцо и все прислушивался — бледный, с ногами, закутанными в старую шаль. Что там, в Петрограде? Правда ли, что столицей станет теперь Москва? Помнит ли еще его Гольденвейзер? Концерт будет в Москве, это решено. Может быть, на бис он сыграет еще Чайковского «Прерванные грезы». Все пройдет превосходно, без хлопот, без мук и унижений...

5

Мне кажется теперь, что я поздно стал понимать и чувствовать музыку именно потому, что она занимала слишком большое место в доме. Она была чем-то обыденным и рано наскучившим мне своей обыденностью, ежедневностью, хотя меня, самого младшего из шестерых детей (о каждом я расскажу в свое время), никто не принуждал учиться музыке, как принуждали старших. Сашу тоже сперва принуждали, а потом он сам пристрастился.

Все «музыкальные» события, большие и маленькие, происходившие в городе, были связаны с мамой. По ее приглашению в Псков приезжали Шаляпин, Мозжухин, Смирнов. Она, как святыню, хранила торопливую, но любезную записку Лабинского, извещавшего ее, что концерт откладывается по болезни. Родители приводили к ней детей, чтобы узнать, есть ли у них музыкальный слух. Ни один благотворительный концерт не проходил без ее участия.

Мне было четырнадцать лет, когда она вдруг заметила, что у меня большая, не по возрасту крепкая рука, и спросила, не хочу ли я учиться игре на рояле. Я согласился. Новый преподаватель Штегман появился в Пскове, сдержанный, вежливый, требовательный немец,— и занятия пошли так успешно, что уже через год я играл Третий ноктюрн Шопена. Должно быть, тогда-то и началось совсем другое отношение к музыке — она как бы поднялась над всем, что о ней говорилось, над всем, что вокруг нее делалось. Впервые я не только услышал, но как бы увидел ее. Я понял дядю Льва Григорьевича, который играл, волнуясь, энергично двигая беззубым ртом, и рассказывал мне все, что он слышал: «Вот прошел дождь, ветер стряхивает с ветвей последние капли, и они звенят, сталкиваясь в вышине, и падают, разбиваясь о землю. Мальчик

идет по дороге, свистит, размахивает палкой. Зимнее утро. Женщины спускаются к реке, полощут белье в проруби, переговариваясь звонкими голосами. А вот ночь в ледяном дворце, и мальчик Кай из ледяных кубиков складывает слово «вечность».

Это были первые уроки слушания музыки — даже в однообразности гамм, которые заставлял меня играть педантичный Штегман, я старался найти их «подобия» в действительной или фантастической жизни. Но прошло время, и я понял, что картины, которые Лев Григорьевич рисовал передо мной, играя на рояле, в сущности, недалеко ушли от Сашиных изображений няньки или мамы. Я почувствовал, что музыка бесконечно выше любых ее подобий и тонкая мысль, может быть, ближе к ней, чем самая поэтическая картина. Знаменитая пианистка Баринова приехала в Псков, и, слушая ее, я с особенной остротой понял, что музыку нельзя ни рассказать, ни изобразить, так же как нельзя передать поэзию — прозой...

6

Жизнь шла мимоходом, но в глубине ее мимолетности, машинальности было что-то неподвижное, устоявшееся и страшное своей незримой связью не только с тем, что происходило, но и с тем, что не должно было происходить.

Городовой шел с базара, придерживая правой рукой полуотрубленную кисть левой, кровь капала на панель, он шел не торопясь, немного хмурясь, со спокойным лицом. Как говорили, кто-то в драке выхватил из ножен его же собственную шашку и ударил по его руке.

Каждое утро открывались магазины, чиновники шли в свои «присутственные места», мать — в «специально музыкальный» магазин на Плоской, нянька — на базар, отец — в музыкантскую команду.

Мне казалось, что даже то, что мать стала покупать сливочное масло не за 18, а за 17 копеек фунт и сдержанно сердилась на капельмейстера Красноярского полка за то, что он накладывает это масло на хлеб, не размазывая, толстыми пластами, было незримо связано с какой-то слепой, независимой, управляющей волей. Она была утверждена, воплощена, и все, что происходило в нашей семье, было одной из форм ее воплощения.

СТАРШИЙ БРАТ

1

В Пушкинском театре на святках 1909 года должен был состояться бал-маскарад, и я смутно помню шумную ссору между матерью и братом Львом, который непременно хотел пойти на этот бал-маскарад. Сестры были старше его, но они никогда не посмели бы говорить с матерью в таком тоне, так упрямо настаивать на своем и так бешено разрыдаться в конце концов, когда мать сказала, что, если бы даже гимназистам было разрешено посещать маскарады, он все равно остался бы дома. Вторично я увидел его плачущим через тридцать пять лет.

Мое детство прошло под однообразные звуки скрипки и скучные наставления отца: Лев, который не хотел быть музыкантом, играл гаммы на мокрой от слез маленькой скрипке. Когда ему было десять лет, отец повез его к Ауэру, знаменитому профессору Петербургской консерватории, который обещал с осени взять мальчика в свой класс. «Для меня настали тяжелые времена,— пишет брат в своих воспоминаниях.— Отец, волевой человек, принуждал меня заниматься. В конце концов я разбил свою детскую скрипку. Это было страшным преступлением в глазах отца. Он всю жизнь коллекционировал скрипки...»

Впоследствии занятия возобновились, но уже любительские, по собственному желанию.

Мне всегда казалось, что скрипка не идет к его плечистости, военной осанке, решительности, уверенности, к тому особенному положению, которое он занимал в семье. Быть может, рано проснувшееся честолюбие уже тогда подсказало ему, что не со скрипкой в руках он добьется славы?

Когда мне было девять лет, а ему семнадцать, он просто не замечал меня, и не замечал долго — до тех пор, пока зимой 1918 года не приехал в Псков, чтобы перевезти семью в Москву.

В пору окончания гимназии его жизнь была невообразимо полна. Поглощающая сосредоточенность на собственных интересах полностью заслонила от него младшего брата, ходившего еще в коротеньких штанишках. Тем не менее между нами была соотнесенность, о которой он, разумеется, не подозревал и которая раскрылась лишь через много лет, когда к братской любви присоединился интерес друг к другу.

Уже и тогда я знал или неопределенно чувствовал, что он хвастлив (так же, как и я), воинствующе благороден, спокойно честолюбив и опасно вспыльчив. Любовь к риску соединилась в нем с трезвостью, размах — с унаследованной от отца скуповатостью. Все на нем было отглажено, франтовато. Кривоватые — тоже от отца — ноги приводили его в отчаяние. Похожий на Чехова портной, в пенсне с ленточкой, приходил — и они долго, сложно разговаривали, как кроить брюки, чтобы скрыть кривизну.

Он был высок, красив и очень силен. В семейном альбоме сохранилась фотография, на которой он одним махом поднимает в воздух меня, прижавшего колени к груди и обхватившего их руками. Мне было двенадцать лет, я был плотным мальчиком и весил, должно быть, не меньше чем два с половиной пуда.

2

Его товарищи-гимназисты каждый вечер собирались у нас.

С жадностью прислушивался я к их спорам. Незнакомые иностранные имена — Ибсен, Гамсун — постоянно повторялись. Бранд был герой какой-то драмы, а Брандес — критик. Почему они интересовались именно норвежскими писателями? В приложениях к «Ниве»,— современный читатель едва ли знает, что был такой журнал, известный своими приложениями — собраниями русских и иностранных писателей,— я долго рассматривал их портреты. Гамсун был молодой, с разбойничьим лицом. У Ибсена между большими бакенбардами сиял упрямый, гладкий подбородок. Почему у Бьёрнстьерне Бьёрнсона имя и фамилия так странно повторяют друг друга? Кто такой лейтенант Глан, о котором они спорили с ожесточением? Офицеры часто бывали у нас, и этот Глан тоже был офицером, но, очевидно, флотским, потому что в армии не было лейтенантов. Ко всему, что делали и о чем они говорили, присоединялось нечто значительное. Наше существование казалось мне низменным, вроде существования Престы. Мы просто жили, то есть спали, ели, ходили в гимназию, радуясь, когда кто-нибудь из учителей заболевал, и так далее. У них все было таинственным, сложным. Лев утверждал, например, что у него никогда не будет детей, потому что иметь детей — это преступление. Конечно, мы были

уже не дети, но ведь недавно были именно детьми, особенно я,— значит, мои родители совершили преступление?

Философствуя, восьмиклассники пили. Денщик Василий Помазкин по утрам, стараясь не попасться на глаза матери, выносил пустые бутылки. Они пели. Их любимую песню я знал наизусть:

Как в селе Василёвке,
В огороде у Левки,
Под старой ракитой
Был найден убитый.

Как по этому делу
Да по мертвому телу
Из-за реченьки быстрой
Становой едет пристав.
А за ним-то на паре
И урядничья харя.

Во деревню въезжают,
Мужиков собирают,
С мужиков бестолковых
Собрали сто целковых.

Становихе на мыло —
По полтиннику с рыла,
Становому на ночку —
Старостихину дочку.

Припев после каждых двух строк был: «О горе, о горе!», а в конце, после строфы:

Становой удалился,
Весь мир веселился,—

гимназисты оглушительно возвещали: «О радость! О радость!»

Восьмиклассники влюблялись, я знал по именам всех гимназисток, за которыми они ухаживали. Любовь — это было то, из-за чего стрелялись. Застрелился из охотничьего ружья Афонин из седьмого «б», голубоглазый, красивый. Отравился Сутоцкий. Через много лет Юрий Тынянов в набросках автобиографии рассказал о нем: «Потом хоронили Колю Сутоцкого. Он был веселый, носатый и пропадал с барышнями. Он совсем не учился и никогда не огорчался. Вдруг проглотил большой кристалл карболки. На похороны пришли все барышни. Надушились ландышем. Попик сказал удивительную речь. «Подметывают,— сказал он,— разные листки. А начитавшись разных листков,

принимают карболку. Так и поступил новопреставленный. Но Коля не читал листков, и об этом знали барышни».

Занимаясь с Михаилом Алексеевичем, читая до одурения и подслушивая разговоры старших, я решил, что пора влюбиться и мне, хотя в девятилетнем возрасте это было, по-видимому, невозможно.

Маруся Израилит привела ко мне свою младшую сестру Шурочку, толстую, с большим белым бантом на голове, застенчивую, годом моложе меня.

— Поиграйте,— сказала Маруся.— Мне давно хотелось вас познакомить.

Мы остались одни, и я сразу же поцеловал Шурочку в крепкую румяную щеку.

3

Даром предвидения Лев не обладал, и если бы в ту пору судьба раскрылась перед ним, он не поверил бы своим глазам. Впоследствии он научился им верить. Однако уже и тогда он понимал, что надо готовиться к жизни, в которой ничто не падает с неба.

До восьмого класса он учился посредственно, а в восьмом решил получить золотую медаль — и получил бы, если бы латинист Бекаревич не поставил ему на выпускном экзамене двойку. Он вернулся мрачный, похудевший, бледный и в ответ на чей-то робкий вопрос закричал в бешенстве, что провалился, что своими глазами видел, как латинист поставил ему двойку.

Это было так, как будто все — и братья, и мать, которая любила его больше других детей, и нянька Наталья, которая вырастила его,— весь дом был виноват в том, что он провалился. В своих воспоминаниях он пишет, что латынь давалась ему с трудом, в то время как Тынянов и Летавет в восьмом классе разговаривали на латыни.

На другой день выяснилось, что по настоянию директора, поставившего по латыни пять, в среднем была выведена четверка, и Лев получил хотя и не золотую, но серебряную медаль. Оба балла были психологически обоснованы, их полярность связана с историей, о которой я еще расскажу.

Уже и тогда Лев существовал наступательно, в атмосфере полярности.

Впоследствии эта черта, затруднив его жизнь, облегчила задачу тому, кто задумал бы о ней написать.

4

Как поступить, чтобы старший брат заметил меня? Я не мог, как это сделал он, подкупив булочника, надеть на себя его белый передник и колпак и пойти торговать пирожными и печеньями в Мариинской женской гимназии во время большой перемены. Это было сделано на пари и сошло бы с рук, если бы в разгаре торговли не явилась начальница гимназии мадам Тубенталь. «Она молча подошла ко мне,— пишет брат,— строго посмотрела в лорнет и удалилась».

Только заступничество Владимира Ивановича Попова, преподавателя литературы, спасло брата от исключения.

Еще меньше можно было надеяться, что мне удастся удрать в Петербург с какой-нибудь известной актрисой. Гимназисты провожали актрису С., молодую, красивую, имевшую шумный успех в пьесе Ибсена «Гедда Габлер». Раздался третий звонок, поезд тронулся, Лев догнал его и прыгнул на ступеньку последнего вагона. Нарочно или случайно он забыл в купе актрисы свой портсигар.

То мне представлялся длинный, интересный разговор с братом. О чем? Это было неясно. То я воображал, как он был бы поражен, если бы мне удалось... Не знаю что... Прыгнуть со второго этажа на двор? Мы жили в то время на втором этаже. Но у меня неприятно пересыхала глотка, едва я подходил к окну.

И вот пришел день, когда мои надежды осуществились. С незримой помощью брата я решился на отчаянный шаг. Можно было не сомневаться, что Лев похвалил бы меня: живой пример его поведения был перед моими глазами.

5

С утра до вечера мы торчали на Великой, забегая домой, только чтобы поесть. Это была прекрасная, ленивая жизнь, больше в воде, чем на суше, и Саша, например, ленился надевать даже рубашку и шел по городу в куртке, надетой на голое тело, рискуя напороться на Емоцию и заработать шесть часов в воскресенье. Емоция был инспектор гимназии, преподававший психологию и говоривший не «эмоция», а «емоция».

Эта прекрасная жизнь вдруг кончилась — мама сняла в Черняковицах дачу. Мы редко снимали дачу, потому что

у нас было мало денег, но в этом году она, по-видимому, решила, что неудобно остаться на лето в городе, в то время как все приличные люди снимают дачи. Сама она с нами жить не могла, отец — тоже, и на дачу поехала бабка, о которой мама говорила, что она была в молодости поразительная красавица. Потом я заметил, что про старых женщин часто говорят, что в молодости они были красавицы.

Мы сняли большой дом, старый, разваливающийся и, наверное, очень дешевый. Не знаю почему, но назывался он «Ноев ковчег». По ночам он скрипел, даже как-то выл, половицы пели на разные голоса, ставни хлопали. Но я не боялся и даже жалел его, точно он был живой.

В общем, в Черняковицах было скучновато, речка маленькая, и лениться неинтересно, куда хуже, чем в городе, где гимназисты прыгали с мола, плыли навстречу волнам, когда проходили пароходы Викенгейзера, и врали, что ездили с продавщицами в Кутузовский курзал.

Правда, в Черняковицах был дом сумасшедших. Иногда их водили на станцию, и мы с Сашей познакомились с одним бородатым, который сказал, что он — Монтезума, король инков, и пригласил нас к обеду, похваставшись поваром, который прекрасно жарит картошку на керосине.

— Вот этой трубке пять тысяч лет,— сказал он.— Из нее курил сам Юлий Цезарь.

Я боялся сумасшедших, а Саша хвастался, что ему интересно, он их изучает.

Мы нашли прекрасное место для купания, единственное, где можно было плавать. В других местах речка была мне по грудь, а Саша говорил, что плавать не научишься до тех пор, пока будешь чувствовать под ногами дно. Он считал, что в основе плавания лежит страх и что, следовательно, там, где нельзя утонуть, нельзя и научиться плавать.

Мы походили на это место дня два, а потом нас вышибли аристократы из какого-то богатого имения. Возможно, что это были и не аристократы, но кто же еще мог ходить с теннисной ракеткой в руках, в кремовых брюках и говорить так свободно и вежливо, вставляя иностранные слова в русскую речь?

С нами они поговорили не очень вежливо. Но нам было наплевать, потому что Федька Страхов показал местечко не хуже, только с илистым дном.

К брату Льву приехали товарищи — теперь уже не гимназисты, а студенты. Бабка была в ужасе — студенты

гуляли до рассвета, много ели и распевали запрещенные песни.

Лев собирался жениться на Марусе Израилит, она приехала с подругой, и теперь до меня доносились по ночам тихие голоса, смех и таинственный шепот.

Конечно, студенты стали купаться там, где прежде купались мы, и аристократам не удалось так легко вышибить их оттуда, как нас. Тогда они стали делать вид, что не замечают студентов. Так продолжалось дня три, а потом к нам пришел вежливый усатый городовой и сообщил бабке, что накануне на станции был составлен протокол, поскольку один из молодых людей нанес оскорбление другому. Городовой доложил об этом именно бабке, точно она была приставом, и она страшно разахалась и дала ему пятиалтынный. Это была взятка, чтобы он положил протокол «под сукно»: Лев был замешан в этой истории. Потом городовой приходил еще раза три, и бабка каждый раз давала ему то гривенник, то пятиалтынный.

Потом все уехали — барышни и студенты,— и Лев от скуки решил пойти купаться с нами. Мы шли, разговаривая, и вдруг на дорожке показались аристократы.

Саша потом говорил, что с точки зрения чистого разума нужно было дать стрекача. Но Лев сказал спокойно: «Вас-то мне и надо» — и остановил компанию. Он был один, а их — много, человек семь, впереди — невысоконький, беленький, ворот рубашки расстегнут, на одной ноге, должно быть подвернутой,— мягкая домашняя туфля, а в правой руке — лакированный стек.

— Скажите, пожалуйста, какое вы имеете право...

Невысоконький дерзко ответил, брат — тоже. Они двинулись друг на друга, и мне стало страшно, что он ударит брата хлыстом. Но он не решился. Они снова быстро заговорили, и можно было понять, что кто-то из аристократов оскорбил на станции одного из товарищей Льва.

— А вот это я вам еще докажу,— сказал он, и вся компания обошла его и молча двинулась дальше.

...Мне очень понравилось, как он сказал: «Вас-то мне и надо», и, лежа на песке, я думал об этом. Да, наши были одно, а эти молодые люди из имения — совершенно другое. Трудно было, например, вообразить Августа Летавета в кремовых брюках, так же как никто из них никогда не надел бы вытертые, в пятнах штаны Августа, над которыми все смеялись — и он первый, показывая белые зубы. Может быть, этот беленький со стеком — барон или граф?

Или то и другое? Я видел в «Огоньке» фотографию: «Князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон» — он тоже был в отглаженных белых брюках, с теннисной ракеткой в руке, смеющийся, красивый.

Мы полезли в воду, и я немного поплавал у берега, стараясь не чувствовать под ногами дно. Это было трудно, потому что я его видел. День был солнечный. Я отплыл подальше и вдруг, повернув голову, понял, что я на середине реки. Теперь было уже все равно, возвращаться или плыть вперед,— до правого и левого берега было одинаково далеко. Или, может быть, близко? Саша крутился где-то поблизости и даже закричал: «Венька поплыл!» — я впервые решился переплыть речку. Но на него было мало надежды, потому что еще сегодня он говорил, что для того, чтобы спасти утопающего, нужно его оглушить, ударив по голове веслом или камнем. Именно такой способ рекомендует Императорское общество спасения на водах. Это было хуже, чем утонуть, и я плыл, стараясь не думать о том, что мне становится все труднее двигать руками. Потом в середине груди остро закололо, так остро, что я с удовольствием совсем перестал бы дышать, если бы это было возможно. Я не перестал — и это была секунда, когда я как бы увидел перед собою Льва: «Вас-то мне и надо».

Руки уже не били по воде, как прежде, и, хотя я их заставлял, могли только слабо махать. Но я решил, что все-таки доплыву: «Вас-то мне и надо». Он был один, а их человек шесть или семь, и когда я потом спросил: «Неужели ты не испугался?» — он ответил, что ударил бы этого хлыща с тросточкой коленом в пах. Я плыл, и больше всего на свете мне хотелось, вопреки Сашиным наставлениям, почувствовать под ногами дно.

Я не утонул. Я вышел и рухнул на песок. Мне было все равно, и я нисколько не гордился, что переплыл речку. Но мне захотелось засмеяться или заплакать — сам не знаю, что именно,— когда приплыли Саша и Федька Страхов и сказали, что я все-таки молодец.

КТО Я?

1

В неразличимом, сливающемся потоке дней я пытаюсь найти себя, и, как это ни странно, попытка удается. Она удается, потому что мною владеют те же самые

мысли и чувства. Конечно, они изменились, постарели. Но я узнаю их в другой, более сложной форме. Как тогда, так и теперь ничего, в сущности, не решено. То, что заставляло меня задумываться в восемь лет, останавливает и теперь, когда жизнь почти прожита. Значит ли это, что я не изменился? Нет. Перемены произошли — и это глубокие, необратимые перемены. Но именно они-то и развернули передо мной тот занавес, за которым в онемевшей памяти хранились мои молниеносно пролетевшие детские годы.

2

В раннем детстве меня поражало все — и смена дня и ночи, и хождение на ногах, в то время как гораздо удобнее было ползать на четвереньках, и закрывание глаз, волшебно отрезáвшее от меня видимый мир. Повторяемость еды поразила меня — три или даже четыре раза в день? И так всю жизнь? С чувством глубокого удивления привыкал я к своему существованию — недаром же на детских фотографиях у меня широко открыты глаза и подняты брови. Это выражение впоследствии скрылось за десятками других, вынужденных и добровольных.

В комнате с кривым полом висела карта России, и, разглядывая ее, я думал о том, что во всех городах Среднерусской возвышенности, а может быть, и Сибири каждый делал не то, что хотел, а то, что ему полагалось делать. Саша, например, охотно остался бы дома, читая «Вокруг света», нянька побежала бы не на базар, а к своему актеру, а мама, приняв пирамидон, уснула бы — она постоянно жаловалась на головную боль. По-видимому, в России был только один человек, который с утра до вечера мог делать все, что вздумается,— играть в солдатики, пускать мыльные пузыри и ходить по двору на ходулях. Это был император. В нашем доме только нянька заступалась за царя — она была монархистка. Ее смуглое, цыганское лицо свирепело, когда ругали царя, она била себя кулаком в грудь, золотые кольца в ушах вздрагивали, черные глаза разгорались.

— Государь император — божий помазанник,— говорила она и, открывая свой сундук, показывала на внутренней стороне крышки фотографию царской семьи.— Всякая власть от бога.

Семья была симпатичная. Хорошенькие девочки, высокая дама в белой шляпе и офицер с бородкой, похожий на штабс-капитана Заикина, командира третьей роты Омского полка. Впрочем, многие офицеры были почему-то похожи на царя.

Царь был божий помазанник, потому что при восшествии на престол его помазали особенным ароматным маслом, которое называлось «мѵро». В самом этом слове было что-то загадочное,— одно из немногих в русском языке, оно писалось через ижицу, последнюю букву алфавита. Нянька утверждала, что это было божественное вещество, состоявшее из оливкового масла и белого виноградного вина, к которому прибавлялись ладаны — росный и простой, корни — имбирный и бергамотовый, перуанский бальзам и еще много других ладанов, трав и корней. Варилось мѵро только в Киеве и в Москве, в первые четыре дня страстной недели, причем разжигает уголь и подкладывает дрова сам архиерей, а священники все три дня, пока оно варится, читают молитвы.

Было совершенно ясно, что чудо, превращающее обыкновенного человека в царя, не может обойтись без стиракса и калгана,— и я не осмелился спросить отца Кюпара, что значат эти загадочные слова. Но оливковое масло огорчило меня. Иначе оно называлось прованским, и его можно было купить в любом магазине колониальных товаров. В прованском масле лежали сардины французской фирмы Филиппа Кано, которые я очень любил. Прованским маслом заливали селедку. Очевидно, соединяясь с калганом или бергамотовым маслом, оно становилось божественным, тем более, что мѵро варил сам архиерей.

Словом, мне было ясно, почему миллионы и миллионы человек, населяющих Российскую империю, делают то, что приказывает им царь. Патриарх помазал его лоб, глаза, губы, грудь и уши божественным веществом — и совершилось чудо. Он получил власть. А всякая власть — от бога.

3

Мне всегда нравился запах свежераспиленного дерева — сладкий и горьковатый. Он сопровождался неопределенным чувством жалости — ведь дерево не могло сопротивляться, когда его пилили или кололи! Темноватый дро-

вяной сарай за садиком во дворе бабаевского дома был одним из моих любимых мест во дворе.

Однажды я читал, сидя на козлах и упираясь ногами в колоду, а в глубине сарая играл мальчик лет пяти, сын дворника. Почему мне вдруг захотелось испугать его? Не знаю. Я продолжал читать, но и сама книга — это был «Человек, который смеется» Гюго — как бы подсказывала мне, что я должен сделать что-нибудь загадочное, может быть даже жестокое — во всяком случае, то, что еще никогда не случалось со мной. Я спрыгнул с козел и поднял с пола топор. Мальчик, строивший что-то из обрезок досок, нерешительно встал. Он был стриженый, круглоголовый, босой, с торчащими ушами, в неподпоясанной голубой рубашке. Размахивая топором, я стал понемногу приближаться к нему. Он все стоял, не сводя с меня испуганных остановившихся глаз. Я знал, что делаю что-то дурное, но этого-то мне и хотелось.

Мальчик втянул голову в плечи. Неужели он поверил, что я могу ударить его топором? Пугаясь самого себя, но как-то весело, радостно пугаясь, я подступал все ближе, размахивал все сильнее — еще секунда, и топор, казалось, вылетел бы из рук. Вдруг мальчик бросился в сторону, далеко обогнул меня и кинулся из сарая.

Почему запомнился мне этот незначительный случай? Потому что это был один из самых дурных поступков в моей жизни, не позволявший мне забыть о нем и, быть может, предупредивший другие, еще более дурные.

В самом деле, мальчик был совсем маленький, года на три моложе меня, и только трус мог решиться на такую жестокую шутку. Она осталась безнаказанной, на дворе и в сарае не было никого,— стало быть, в моей жестокости был еще и расчет. Но откуда взялось испугавшее меня самого чувство непонятного счастья? Не знаю. Может быть, это было счастье власти, счастье еще не испытанной возможности подчинить другого, слабого, своей воле, своему намеренно бессмысленному желанию?

4

Мама, без сомнения, была за революцию, но ей, очевидно, хотелось, чтобы революция произошла сама собой, без усилий, как меняется погода. По меньшей мере ей хотелось, чтобы в этих усилиях не участвовали ее дети.

Отец молчал. Он был убежден, что раз в армии — порядок, значит, порядок должен быть и в стране. Порядка не было — с этим он соглашался. Но династия Романовых только что отпраздновала трехсотлетие. По его мнению, не было серьезных оснований утверждать, что она не продержится еще триста.

Политика действовала на него как снотворное. Он выписывал художественно-литературный и юмористический журнал «Искры», в котором печатались только иллюстрации,— и все-таки засыпал на первой же странице. Когда он уходил на «сыгровку», Саша отрезал громадный ломоть черного хлеба, намазывал его маслом, густо солил и принимался за «Искры».

По вечерам приходили гости: военный врач Ребане, который, как неблагонадежный, был оставлен в Пскове, в то время как его полк давно воевал, журналист Качанович из либерального «Псковского голоса», высокий, с бородкой, куривший папиросы «Дядя Костя», актеры, офицеры. И в каждом, даже незначительном разговоре чувствовалась уверенность в том, что монархический строй непрочен, расшатан. Жизнь проходила бездарно и пошло, потому что все в России устроено неудобно, несправедливо.

Но вот наутро, наскоро проглотив сайку с чаем, я бежал в гимназию, и уже на верхней площадке лестницы, где стоял инспектор, проверяя, по форме ли одет гимназист, мне начинало казаться, что династия Романовых не так уж расшатана, как утверждали мамины гости. Семейно-политическое единомыслие таяло, когда я смотрел на инспектора, который был похож на деревянного человечка с отваливающейся челюстью для щелканья орехов. Когда он говорил, у него рот открывался механически, точно за его спиной кто-то двигал палкой, к которой была приделана нижняя челюсть. Он-то как раз думал, что все в России устроено удобно и справедливо! А тех, кто был с ним не согласен, он в любую минуту готов был положить в рот и механически щелкнуть.

Мне нравилась фотография царской семьи, наклеенная на крышке нянькиного сундука,— очевидно, я был монархистом. Но у меня не было полной уверенности в том, что я монархист. В России шла таинственная борьба против царя, и отзвуки ее заставляли меня волноваться.

О подпольщиках говорили шепотом, с таинственным выражением. Они доверяли только друг другу. Скрываясь от полиции, они переезжали из города в город. У них были

подложные паспорта, чужие фамилии. Они притворялись инженерами, нотариусами, врачами. Они гримировались, как актеры. Они должны были ничем не отличаться от самых обыкновенных людей — мне казалось, что это почти невозможно. Наяву и во сне они одновременно и были и не были сами собой.

За подпольщиками охотились филёры — так назывались сыщики, служившие в охранном отделении министерства внутренних дел. Зимой, в лютый мороз, они часами топтались на месте, подсматривая в окна и отмечая в своих записных книжках, что такой-то пришел к такому-то в таком-то часу. Некоторых филёров знали в городе, и мне казалось, что, несмотря на приличный вид — котелок и длинное пальто, они все-таки готовы к тому, что кто-нибудь может плюнуть им в лицо или толкнуть, не извинившись.

Саша утверждал, что полиция платит им миллионы, потому что это адски трудная работа, которую можно сравнить только с ловлей жемчуга в Карибском море: голый ныряльщик проводит под водой девяносто секунд.

О, как мне хотелось увидеть хоть одного настоящего подпольщика, который был бы одновременно врачом, нотариусом или инженером! Я не подозревал, что он живет в нашем доме.

5

Я проглотил граммофонную иголку, и мама послала меня к доктору Ребане. Он был занят, и, пока я ждал его, мне становилось все страшнее. Я вспомнил, как мы купались в Черняковицах, в речке плавали «волосы», и Саша сказал, что они живые и могут впиться в тело и дойти до сердца. Прежде я даже любил представлять себе, как я умираю: гимназический оркестр идет за моим гробом, играя похоронный марш, служители с грубыми, притворно грустными мордами медленно шагают по сторонам колесницы, Валя К. мелькает в толпе, прижимая платочек к покрасневшим глазам. А я лежу в открытом глазетовом гробу и думаю со злорадством: «Ага, дождались! Так вам и надо!» Но в приемной доктора Ребане меня не утешила эта красивая картина.

Иголка, без сомнения, уже прошла в желудок, и хорошо, если она не сразу пробралась сквозь четыре пирожка

с мясом, которые я съел за обедом. Но на это было мало надежды.

Наконец больной ушел. Доктор проводил его и занялся мной. Он был высокий, полный, с крупными следами оспы на розовом лице и светлыми смеющимися глазами. Нос у него тоже был насмешливый, острый. Он всегда шутил и, узнав, что я проглотил граммофонную иголку, тоже пошутил, сказав насмешливо:

— Музыкальный мальчик.

Потом он спросил, как это произошло, и я ответил с отчаянием, что играл иголкой, катая ее во рту, и она нечаянно скользнула в горло.

— Тупым концом?

Этого я не знал, но на всякий случай ответил:

— Тупым.

Мне казалось, что если я скажу — тупым, то все-таки больше шансов, что это именно так, даже если она скользнула острым.

Доктор задумался. По-видимому, в его практике это первый случай. Потом он быстро влил в меня столовую ложку касторки и сказал:

— Подождем.

Я спросил, может ли иголка дойти до сердца и, если да, сразу ли я умру? Он ответил, что сердце, во всяком случае, останется в стороне, потому что иголка движется в противоположном направлении.

Чтобы утешить меня, он рассказал, что в детстве проглотил нательный крестик, но так испугался операции, что вернул его родителям еще по дороге в больницу. Он рассказывал серьезно, но потом Саша доказал, что это ерунда, потому что доктор был эстонец, а эстонцы не носят крестов, они лютеране. Но, может быть, доктор был православный эстонец?

Несколько лет я не думал о нем, хотя иногда он бывал у нас и даже любил после обеда поваляться на диване в столовой. Но во время войны, когда мы стали сдавать комнату, он вдруг переехал к нам.

Два раза в неделю у него был прием, и, очевидно, он очень внимательно осматривал больных, потому что некоторые из них сидели у него очень долго и даже оставались иногда ночевать.

Однажды доктор вышел из своей комнаты с таинственным видом.

— Ребята, идите сюда.

Мы вошли и увидели, что в кресле, у письменного стола, с закрытыми глазами сидит человек. Руки у него были подняты, точно он собрался лететь, лицо спокойное, спящее — и он действительно спал.

— Попробуйте согнуть ему руку,— сказал доктор.

Мы попробовали.

— Смелей!

Подогнув ноги, мы повисли на согнутых руках, как на штанге. Это было страшно, потому что казалось, что руки могут сломаться. Но они не сломались. Человек ровно дышал, и ему, по-видимому, даже не приходило в голову, что мы проделываем с ним такие штуки.

Я скоро забыл об этой истории, но на Сашу она произвела глубокое впечатление. Он нарисовал на потолке черный кружок и смотрел на него подолгу, не отрываясь — воспитывал силу взгляда. Однажды он даже попробовал силу взгляда на Ляпунове, который хотел поставить ему по геометрии единицу, но под воздействием этой силы исправил на двойку.

Из «Нью-Йоркского института знаний», помещавшегося в Петрограде на Невском проспекте, 106, Саша выписал книгу «Внушение как путь к успеху». Путь к успеху, оказывается, шел не через внушение, а через самовнушение. Нужно было внушить себе, что мы волевые, энергичные люди. Именно так поступили в свое время Рокфеллер, Карнеджи и другие. О гипнозе упоминалось мельком.

Каждый день после гимназии Саша пытался усыпить меня, и, хотя мне иногда действительно хотелось спать, сон сразу же проходил, как только он с выражением решимости впивался в меня широко открытыми глазами. Он мне надоел в конце концов, и, чтобы отделаться от него, я однажды решил притвориться спящим.

Это было под вечер, в нашей комнате с кривым полом. Саша сказал, что сейчас он на расстоянии передаст мне свою мысль. Мы шли по комнате, он смотрел мне в затылок, и, хотя расстояние было небольшое, мне никак не удавалось угадать эту мысль, потому что приходилось все время удерживаться от смеха. У окна я остановился, зажмурился и хрюкнул. Но, очевидно, Саша внушал мне что-то другое, потому что я почувствовал, что сейчас он даст мне подзатыльник. Тогда я прижался носом к стеклу, открыл глаза — и отскочил, чуть не сбив с ног гипнотизера. С другой стороны окна, прижавшись к стеклу, на меня смотрела чья-то страшная, сплюснутая рожа.

Саша стал было доказывать, что он внушил мне увидеть рожу, но это было уже чистое вранье, потому что полчаса спустя мы встретили обладателя этой рожи на Сергиевской, в двух шагах от нашего дома. Приличный господин с усами, в меховой шапке, долго топтался на углу, а потом ушел и вернулся в картузе.

Мы сразу побежали к доктору, потому что это был, без сомнения, филёр. Но доктор засмеялся и сказал, что это не филёр, а нянькин поклонник и что он сменил меховую шапку на картуз, чтобы понравиться няньке. При этом доктор почему-то торопливо вынимал бумаги из письменного стола, но не из ящиков, а из широких, оказавшихся полыми ножек. Боковина, к нашему удивлению, снималась, и в каждой ножке лежала кипа тонких листков.

— Ну конечно, я его знаю,— улыбаясь, говорил он.— Такой симпатичный господин с усами. О, конечно, это нянькин поклонник, и остается только удивляться ее успеху в столь преклонные годы. Но мне не хочется с ним встречаться. Лучше я пройду через сад, а вы, ребята, останьтесь в моей комнате, пожалуйста, да. Пройдитесь туда-назад. Опустите шторы, да. Зажгите настольную лампу. О, недолго, десять или пятнадцать минут.

Он протянул нам обе руки, мы пожали их — Саша левую, а я правую,— и ушел.

Опустив штору, мы зажгли настольную лампу и прохаживались туда и назад до тех пор, пока доктор не вернулся. Бумаги он где-то оставил и был очень спокоен, даже, пожалуй, спокойнее и веселее, чем всегда.

Вскоре раздался продолжительный, резкий звонок. Это была полиция: один штатский, двое городовых и жандармский офицер, которого мама встретила, надменно закинув голову с бьющейся от волнения жилкой на левом виске. Обыск продолжался долго, до ночи,— и ничего не нашли. В доме не спали. Нянька, расстроенная, в грязном халате, сидела на кухне и говорила, что во всем виноват патриарх Никон и что миру скоро конец, потому что люди забыли старую веру.

Зимой девятнадцатого года к нам пришла высокая бледная женщина в черном — вдова доктора Ребане, как она сказала. Ей хотелось поговорить о нем. Тоненькая, совсем молодая, она показала карточку — голый толстый мальчик, похожий на доктора, с таким же острым, насмешливым носом, сосал пятку, жмурясь от наслаждения.

В начале сентября 1919 года двадцать пять делегатов 1-го съезда профсоюзов Эстонии были расстреляны на болоте под Изборском. Среди них был доктор Ребане.

6

Мысль о том, не трус ли я,— одна из самых острых, укоряющих мыслей моего детства. Именно она впервые поставила меня лицом к лицу с самим собою. Этот взгляд со стороны, иногда оправдывающий, но чаще осуждающий, через много лет помог мне «быть верным действительности», как писал Стивенсон. Взгляд со стороны неизменно помогал мне перед лицом решений, грозивших бедой — бедой, от которой нетрудно было ускользнуть, принимая эти казавшиеся почти естественными решения.

Мы играли во дворе, прыгая через планку, которую можно было вставлять в зарубки на двух столбах, поднимая ее все выше. Этот гимнастический снаряд устроил брат Саша. Потом стали прыгать с поднятой крышки мусорного ящика — и прыгнули все, кроме меня, даже восьмилетний Боря Петунин. Саша сказал, что я — трус, и возможно, что это было действительно так.

Входя в темную комнату, я кричал на всякий случай: «Дурак!» Я боялся гусей, которые почему-то гонялись именно за мною, гогоча и низко вытягивая шеи. Еще больше я боялся петухов, в особенности после того, как один из них сел мне на голову и чуть не клюнул, как царя Додона. Я боялся, что кучера, приходившие с няниным мужем, начнут ругаться,— когда они ругались, мне — очевидно, тоже из трусости — хотелось заплакать.

Правда, в Черняковицах я переплыл речку, но храбро ли я ее переплыл? Нет. Я так боялся утонуть, что потом целый день еле ворочал языком и совершенно не хвастался, что, в общем, было на меня не похоже. Значит, это была храбрость от трусости?

Странно, но тем не менее я, по-видимому, был способен на храбрость. Прочитав, например, о Муции Сцеволе, положившем руку на пылающий жертвенник, чтобы показать свое презрение к пыткам и смерти, я сунул в кипяток палец и продержал почти десять секунд. Но я все-таки испугался, потому что палец стал похож на рыбий пузырь, и нянька закричала, что у меня огневица. Потом палец вылез из пузыря, красный, точно обиженный, и на нем дол-

го, чуть не целый год, росла тоненькая, заворачивающаяся, как на березовой коре, розовая шкурка.

Словом, похоже было, что я все-таки трус. А «от трусости до подлости один шаг», как сказала мама. Она была сторонницей спартанского воспитания. Она считала, что мы должны спать на голых досках, колоть дрова и каждое утро обливаться до пояса холодной водой. Мы обливались. Но Саша утверждал, что мать непоследовательна, потому что у нас было две сестры, а в Спарте еще и бросали новорожденных девочек в море со скалы.

Когда она заметила, что я не спрыгнул с крышки мусорного ящика, она посоветовала мне сознаться, что я струсил, потому что человек, который способен сознаться, еще может впоследствии стать храбрецом. Но я не сознался, очевидно сделав тот шаг, о котором сказала мама.

Я старался забыть о том, что я — трус, но оказалось, что это почти невозможно. Читая роман Густава Эмара «Арканзасские трапперы», я решил, что эти трапперы не пустили бы меня даже на порог своего Арканзаса. Роберт — сын капитана Гранта — вдвоем с патагонцем Талькавом отбился от волчьей стаи, а между тем он был только на год старше меня.

Потом я прочел «Севастопольские рассказы» Толстого и решил, что он написал их только потому, что ему хотелось доказать себе и отчасти другим, что он — не трус. Иначе он не стал бы утверждать, что на войне боятся почти все, и в том числе — храбрые люди. Но боялись они по-разному — это в особенности заинтересовало меня. Адъютант Калугин не позволяет себе бояться, потому что считается храбрецом. Это — храбрость от тщеславия. Юнкер барон Пест трусит из трусости, но когда он в беспамятстве убивает француза, ему сейчас же приходит в голову, что он — герой. Князь Голицын содрогается при одной мысли, что его могут послать на бастионы, но не только скрывает это, но даже утверждает, что люди в грязном белье и с неумытыми руками не могут быть храбрецами. Офицер, который в августе едет в Севастополь из города П., из храбреца становится трусом потому, что его добровольное решение пойти в действующую армию встретилось с глупыми формальностями, и еще потому, что он очень долго едет, три месяца, истратился и устал. Трусость легко переходит в храбрость, и наоборот. Опасность или даже только мысль об опасности делала человека трусом, но та же мысль могла сделать его храбрецом. Значит, тру-

сость зависит от того, как к ней относиться? Оттого, что человек начинает казаться храбрым в собственных глазах, он не становится в действительности храбрым. Я запутался, размышляя о том — трус я или нет, хотя меня немного успокаивала мысль, что запутался, в сущности, и Толстой. Так или иначе, к трусам относились с презрением, как будто им нравилось умирать от страха. Я тоже относился к ним с презрением, и Саша сказал, что это очень важно.

— Следовательно,— сказал он,— в тебе все-таки есть зачатки храбрости, которые надо развить, пока не поздно. Иначе они могут зачахнуть.

В нашем дворе красили сарай, и для начала он предложил мне пройти по лестнице, которую маляры перебросили с одной крыши на другую. Я прошел, и Саша сказал, что я молодец, но не потому, что прошел,— это ерунда,— а потому, что не побледнел, а, наоборот, покраснел. Он объяснил, что Юлий Цезарь таким образом выбирал солдат для своих легионов: если от сильного чувства солдат бледнел, значит, он может струсить в бою, а если краснел, можно было на него положиться. Потом Саша посоветовал мне спрыгнуть с берега на сосну и тут как раз усомнился в том, что Цезарь пригласил бы меня в свои легионы, потому что я побледнел, едва взглянув на эту сосну с толстыми выгнутыми суками, которая росла на крутом склоне. Сам он не стал прыгать, сказав небрежно, что это для него пустяки. Главное, объяснил он, прыгать сразу, не задумываясь, потому что любая мысль, даже самая незначительная, может расслабить тело, которое должно разогнуться, как пружина. Я сказал, что, может быть, лучше отложить прыжок, потому что одна мысль, и довольно значительная, все-таки промелькнула в моей голове. Он презрительно усмехнулся, и тогда я разбежался и прыгнул.

Забавно, что в это мгновение как будто не я, а кто-то другой во мне не только рассчитал расстояние, но заставил низко наклонить голову, чтобы не попасть лицом в сухие торчащие ветки. Я метил на самый толстый сук и попал, но не удержался, соскользнул и повис, вцепившись в гущу хвои, исколовшей лицо и руки. Потом Саша, хохоча, изображал, с каким лицом я висел на этой проклятой сосне. Но все-таки он снова похвалил меня, сказав, что зачатки храбрости, безусловно, разовьются, если время от времени я буду повторять эти прыжки, по возможности увеличивая расстояние.

На Великой стояли плоты, и Саша посоветовал мне проплыть под одним из них, тем более что в то лето я научился нырять с открытыми глазами. Это было жутковато — открыть глаза под водой: сразу становилось ясно, что она существует не для того, чтобы через нее смотреть, и что для этого есть воздух, стекло и другие прозрачные вещи. Но она тоже была тяжело-прозрачна, и все сквозь нее казалось зеленовато-колеблющимся: слоистый песок, как бы с важностью лежавший на дне, пугающиеся стайки пескарей, пузыри, удивительно не похожие на выходящий из человека воздух.

Плотов было много. Но Саше хотелось, чтобы я проплыл под большим, на котором стоял домик с трубой, сушилось на протянутых веревках белье и жила целая семья — огромный плотовщик с бородой, крепкая, поворотливая жена и девчонка с висячими красными щеками, все время что-то жевавшая и относившаяся к нашим приготовлениям с большим интересом. Мне казалось, что зачатки храбрости продолжали бы развиваться, если бы я проплыл под другим, небольшим плотом, но Саша доказал, что небольшой может годиться только для тренировки.

— А для тренировки,— объяснил он,— лучше просто сидеть под водой, постепенно привыкая не дышать. Ведь это только кажется, что дышать необходимо. Йоги, например, могут по два-три месяца обходиться без воздуха.

Я согласился и три дня с утра до обеда просиживал под водой, вылезая, только чтобы отдохнуть и поговорить с Сашей, который лежал на берегу голый, уткнувшись в записную книжку: он отмечал, сколько максимально времени человеческая особь может провести под водой.

Не помню, когда еще испытывал я такую гнетущую тоску, как в эти минуты, сидя на дне с открытыми глазами и чувствуя, как из меня медленно уходит жизнь. Я выходил синим, а Саша почему-то считал, что нырять нельзя, пока я не стану выходить красным. Наконец однажды я вышел не очень синим, и Саша разрешил нырять. Он велел мне углубляться постепенно, под углом в двадцать пять — тридцать градусов, но я сразу ушел глубоко, потому что боялся напороться на бревно с гвоздями. Но поздно было думать о гвоздях, потому что плот уже показался над моей головой — неузнаваемый, темный, с колеблющимися водяными мхами. По-видимому, я заметил эти мхи прежде, чем стал тонуть, потому что сразу же мне стало не до них и захотелось схватиться за бревна, чтобы как-

нибудь раздвинуть их и поскорее вздохнуть. Но и эта мысль только мелькнула, а потом слабый свет показался где-то слева, совсем не там, куда я плыл, крепко сжимая губы. Нужно было повернуть туда, где был этот свет, эта зеленоватая вода, колеблющаяся под солнцем. И я повернул. Теперь уже я не плыл, а перебирал бревна руками, а потом уже и не перебирал, потому что все кончилось, свет погас...

Я очнулся на плоту и еще с закрытыми глазами услышал те самые слова, за которые не любил друзей нянькиного кучера. Слова говорил плотовщик, а Саша сидел подле меня на корточках, похудевший, с виноватым лицом. Я утонул, но не совсем. Щекастая девчонка, сидевшая на краю плота, болтая в воде ногами, услышала бульканье, и плотовщик схватил меня за голову, высунувшуюся из-под бревен.

7

Прошло несколько лет, и я понял, что кроме физической храбрости есть и другая, нравственная, которую нельзя воспитать, ныряя под плоты или прыгая с берега на сосну с опасностью для жизни.

Кажется, это было в третьем классе. Алька Гирв нагрубил Бороде — это был наш классный наставник,— и тот велел ему стоять всю большую перемену у стенки в коридоре, а нам — не разговаривать с ним и даже не подходить. Алька стоял, как у позорного столба, и презрительно улыбался. Он окликнул Таубе и Плескачевского, но те прошли, разговаривая,— притворились, подлецы, что не слышат. Мне стало жалко, и я вдруг подошел к нему, заговорив с ним как ни в чем не бывало.

Мы немного поболтали о гимнастике: правда ли, что к нам приехал чех, который будет преподавать сокольскую гимнастику с третьего класса? Борода стоял близко, под портретом царя. Он покосился на меня своими маленькими глазками, но ничего не сказал, а после урока вызвал в учительскую и вручил «Извещение».

Ничего более неприятного нельзя было вообразить, и, идя домой с этой аккуратной, великолепно написанной бумагой, я думал, что лучше бы Борода записал меня в кондуит. Отец будет долго мыться и бриться, мазать усы каким-то черным салом, а потом наденет свой парадный мун-

дир с медалями — и все это, сердито покряхтывая, не укоряя меня ни словом. Лучше бы уж пошла мать, которая прочтет «Извещение», сняв пенсне, так что станут видны покрасневшие вдавленные полоски на переносице, а потом накричит на меня сердито, но как-то беспомощно. Ужасная неприятность!

Пошла мать и пробыла в гимназии долго, часа полтора. Должно быть, Борода выложил ей все мои прегрешения. Их было у меня немало.

Географ Островский запнулся, перечисляя правые притоки Амура, я спросил: «Подсказать?» Островский был вспыльчивый, но слабовольный, на его уроках шумели, разговаривали, играли в морской бой, и я даже жалел его — у него всегда было измученное лицо. Сам не знаю, почему я так нахально предложил ему подсказать.

Инспектор Емоция встретил меня на Сергиевской после семи и записал — это была верная четверка по поведению.

Словом, были причины, по которым я бледнел и краснел, ожидая маму и нарочно громко твердя латынь в столовой.

Она пришла расстроенная, но чем-то довольная, как мне показалось. Больше всего ее возмутило, что я хотел подсказать географу притоки Амура.

— Я не знала, что мой сын хвастун,— сказала она с презрением.

— И трус,— сказал я и заплакал.

Это был позор, тем более что еще утром Саша рассказал мне о спартанском мальчике, который запрятал за пазуху украденную лису и не плакал, хотя она его истерзала. Но я не заревел, а просто вдруг закапали слезы. Мама села на диван, а меня посадила рядом.

— Нет, совсем не трус,— сказала она.

Пенсне на тонком шелковом шнурке упало, вдавленные красные полоски на переносице побледнели.

— Я сказала вашему Бороде, что горжусь тем, что ты подошел к Гирву,— сказала она.— Подрывать чувство товарищества — это еще что за метод!

Она стала длинно объяснять, как, по ее мнению, должен был в данном случае поступить классный наставник. Я не слушал ее. Неужели это правда? Я не трус?

Целое лето я старался доказать себе, что я не трус, и, даже сидя под водой, мучился, думая, что лучше умереть, чем бояться всю жизнь. А оказалось, что для этого нужно было только поступить так, чтобы потом не было стыдно.

8

На весенние каникулы сестра Лена приехала с подругой Соней Тулаевой, армянкой, что само по себе было интересно. Соня носила кольца, браслеты и ходила в модном костюме — юбка до щиколоток и жакет с отворотами, на котором блестели большие перламутровые пуговицы. Она была добрая, смуглая, с угольно-черными глазами, и нравилась всем, может быть отчасти потому, что говорила с легким акцентом.

Каждый день приходили товарищи Льва. Особенная атмосфера бесконечных споров, влюбленности, смеха все перепутала в нашем и без того беспорядочном доме. Родители сердились, шумные разговоры в комнате Льва не давали отцу уснуть. Мать хмурилась, но терпела...

В этот день мне исполнилось десять лет, и я был огорчен, что домашние забыли об этом.

День начался с обиды, а кончился ошеломившей меня догадкой, что, в то время как я читаю, сплю, готовлю уроки, на земле происходят тысячи несправедливостей, которым я не могу помешать.

Утром мы с сестрой Леной долго ходили обнявшись в полутемной столовой, и было приятно, что она говорит со мной так серьезно. Она упрекала меня за то, что, когда офицеры и студенты разговаривали об артистке Донской, я вмешался и сказал: «В глазах — рай, в душе — ад». По ее мнению, я слишком рано развился, глаза у меня, например, совсем не такие, как у других детей в моем возрасте. С упавшим сердцем я долго рассматривал себя в зеркале. Да, сестра права. Но как поступить, чтобы не развиваться рано?

Потом она забыла обо мне и вспомнила, только когда ей нужно было послать секретку студенту, который в брюках со штрипками, положив ногу на ногу, ждал в Губернаторском садике на скамейке. Я отдал ему секретку, он вскочил, прочел и побледнел. Мне стало жаль его, и, вернувшись, я не очень-то вежливо потребовал пирожное, которое Лена обещала, если я отнесу записку. Она купила, но не сразу, а сперва долго расспрашивала, что он сказал да как вскочил. Это было противно.

Как поступить, чтобы меня заметили и вместе с тем чтобы мне не очень попало? Обо мне вспоминали только за столом или вечером, когда мама приходила, чтобы посмотреть, не подложила ли нянька что-нибудь мягкое на

кровати. Мы с Сашей спали на досках, едва прикрытых тощими сенниками.

Можно было, конечно, стащить у отца наусники, в которых он спал, чтобы усы торчали вверх, как у Вильгельма II, или мамин валик, который она подкладывала в прическу. Но это как-то не соответствовало моему серьезному настроению.

Весеннее утро — с солнцем, огибающим дом, с пылинками в столбах света, лежавших поперек комнат, с бесцельным слонянием по двору — переходило в полдень, а я все не мог найти себе дела. Порешать, что ли, задачки? Я порешал, и все равно осталось еще много времени, медленно делившегося на часы, минуты, секунды. Чувство неприкаянности и прежде тяготило меня, а в этот день явилась еще и странная мысль, что, если бы меня вовсе не было, ничего бы не изменилось.

Может быть, я нужен маме? Тогда почему она никогда не говорит мне об этом? Или няньке? Прежде я, несомненно, был нужен няньке. Но теперь я вырос, и, если бы меня не было, она просто стала бы готовить двумя котлетами меньше.

Может быть, я нужен царю? Отец Кюпар говорил, что царю нужны все, вплоть до последнего человека. А когда я спросил, нужны ли ему также животные, например собаки, он рассердился и сказал, что сразу видно, в какой семье я расту.

Накануне я впервые прочел «Ревизора», и больше всех мне понравилось то место, где Бобчинский просит сказать царю, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. На его месте я поступил бы так же.

Я не стал готовиться к побегу, потому что мне всегда казалось, что это почти одно и то же — сделать что-нибудь в уме или на самом деле. Зато прощальную записку я оставил самую настоящую, чтобы ее заметили все. На листе бумаги я написал печатными буквами: «Прошу в моей смерти никого не винить». И прикрепил этот лист к стенке в столовой. Потом простился с Престой, стащив для нее кусок сахара, и ушел.

...Знакомые улицы, по которым я тысячу раз ходил, знакомые лавки, знакомый усатый сапожник на углу Гоголевской, реальное училище, пожарная команда...

...Пристав проехал в пролетке, изогнувшись, выставив грудь, покручивая усы, и вдруг отдал честь даме в шляпе со страусовым пером. И она пошла потом так, что даже по

ее спине было видно, как она довольна тем, что ей поклонился этот представительный пристав.

Мне было страшновато, и я заложил руки в карманы и посвистывал, чтобы показать, что я не боюсь. Я шел улыбаясь — мне казалось, что нужно улыбаться даже незнакомым, потому что они ведь ничем, в сущности, не отличаются от знакомых. Сегодня они незнакомые, а завтра мы можем познакомиться. Но пока будущие знакомые смотрели на меня как-то странно, а один даже сочувственно покачал головой, так что вскоре я перестал улыбаться.

Мужики везли дрова вдоль Кохановского бульвара, немазаные колеса скрипели. Солдатская фура проехала, кучер-солдат подхлестывал лошадей. Теперь было совершенно ясно, что я убежал из дома. Записку мою, конечно, прочли, и нянька небось подняла весь дом и побежала за мамой, которая в эти часы давала уроки музыки барышням Фан-дер-флит. Но мама все-таки кончила урок, а уж потом пошла домой, и, волнуясь, сняв пенсне, читает мою записку. Мне стало так жаль себя, что я чуть не заплакал.

Сухари, по-видимому, нужно было взять с собой не только в уме. Было уже время обеда, и я попробовал пообедать в уме. Но из этого ничего не вышло, хотя было невозможно более отчетливо увидеть, как я ем суп с большим, густо посоленным куском хлеба.

Да, дома сейчас обедают. Саша, положив перед собой книгу, жрет щи и не думает о втором, которое он сейчас получит.

За казармами Иркутского полка начиналась большая грязная привокзальная площадь. На дорожке, по которой шли к вокзалу, стояли какие-то люди, небольшая толпа; до меня донеслись невнятные, возмущенные голоса, и я подошел поближе.

Молодая женщина лежала на земле, пьяная, растерзанная, и я с ужасом узнал в ней Матрешу, прислугу купца Петунина, нашего соседа. Всегда она одевалась, как барышня. В хорошеньком платье, с бантами, она приходила к няньке жаловаться, что у Петуниных кто-то пристает к ней. У нее был негромкий, мягкий смех, от которого у меня сладко замирало сердце. Она убегала, снова прибегала, я издалека узнавал стук ее каблучков. Мне казалось, что все влюблены в нее и хотят, чтобы она всегда так нежно, мелко смеялась и чтобы ее легкая, живая фи-

гурка в платье с бантами так волшебно мелькала среди деревьев нашего сада.

Теперь она валялась на земле, задирая юбки, невнятно, пьяно бормоча что-то, я расслышал только: «На, кто еще хочет, а мне наплевать»,— и со сладким, страшным ударом в сердце увидел я голые белые женские ноги.

Подбежал, придерживая шашку, городовой, закричал: «Разойдись!» Но никто не ушел. Все стояли, смотрели, смеялись. В толпе были молодые татары, и, несмотря на оторопь и волнение, я догадался, что все они сыновья и племянники старого Таканаева, который держал буфет на вокзале. Подъехал извозчик. Городовой сгреб Матрешу, бросил ее поперек пролетки, как кладь, уселся и крикнул: «Пошел!» Толпа разошлась не спеша.

Я стоял оглушенный. Нянька как-то сказала, что Петунин выгнал Матрешу и она стала «гулящей». Так вот что это значит! Боже мой, так вот что это значит!

Я пошел по шоссе, потом свернул в редкий еловый лесок и стал бессмысленно ходить туда и назад вдоль косых теней на траве. Как смел я огорчаться, что на меня не обращают внимания, если Матреша, растрепанная, опухшая и, кажется, с выбитыми зубами, валялась на земле и бормотала что-то постыдное, невозможное, а мужчины слушали ее и смеялись. Мне было стыдно теперь, что я жадно смотрел на ее голые ноги и что мне хотелось смотреть еще и еще.

Я вернулся домой только вечером. Есть уже не хотелось, но я заставил себя сесть за стол. Моя записка висела на прежнем месте. Никто не заметил, что я убежал из дома, даже нянька, может быть потому, что ее кучер в этот день приходил к ней и грозился убить. Саша сыпал соль в банку с водой, из которой торчала ржавая проволока,— он считал, что таким образом можно вырастить искусственный кристаллический сад. Мама пришла усталая, и я слышал, как она сказала няньке: «Ох, не могу».

Студенты громко спорили в комнате старшего брата. Отец ворчал, ему мешали уснуть. Нянька ворочала ухватами, пекла хлеб на кухне. Почему у нас пекут всегда вечером или даже ночью?

Я не мог уснуть от тоски, от сладкого, томительного волнения, от жалости к Матреше, соединившейся с еще неясным сознанием своей вины перед ней. Все мужчины

были перед ней виноваты. И мой отец, который мог сказать что-нибудь грязное и засмеяться, показывая белые зубы, и мои братья, и я. И купец Петунин, который выгнал ее, и прохожие, которым она говорила: «Кто еще хочет, а мне наплевать».

В АРХИВЕ

1

И прежде я писал о Пскове — в рассказах, в романе «Два капитана». Но, принимаясь за эту книгу, я снова поехал в родной город и лишь теперь узнал его, как узнают после долгой разлуки полузабытые черты старого друга. Он изменился. И новое, и старое похорошело. Просмоленные черные доски тянутся над крепостными стенами, конусообразные шишаки покрывают башни, решетчатые ворота из бревен в полтора обхвата запирают форпосты. Реставраторы смело воспользовались деревом — без дерева картина Древней Руси неполна. Впечатление грозной уверенности смешивается с чувством подлинности, непонятная грусть — с восхищением перед соразмерностью пропорций. Вкус не изменял псковичам и в деле войны.

Я вспоминаю, что в перечне тысяч причин, по которым сохранилась псковская старина, ничтожная доля принадлежит и мне. О том, что я коренной пскович и люблю свой город, знали мои друзья. Среди них был ленинградский режиссер, а во время войны — артиллерийский капитан, Сергей Александрович Морщихин, с которым мы не раз беседовали о старом Пскове. Любитель и знаток русской старины, он направлял огонь своих орудий, не очень жалея Псков XIX века, с его «присутственными местами», но стараясь по возможности сохранить опоясывающие город крепостные стены, бесценные храмы, Поганкины палаты и другие старинные здания.

Я бы не удивился, узнав, что в его планшете лежала известная карта 1694 года с надписями: «Река Пскова течет через город» и «Середний город по досмотру осыпался починить не мочно». В 1918 году, когда германская армия наступала на Псков, гимназисты шестого «б» класса изучали эту карту, рассчитывая предложить Военно-революционному комитету свой план обороны.

2

Некогда я хвалился своей способностью почти безошибочно угадывать в пожилом человеке — учился он в реальном училище или в гимназии. В бывших гимназистах оставалось нечто беспечное, неожиданное, скептическое. Напротив, реалисты были подтянуты, всегда вровень с собой и не очень-то позволяли судьбе устраивать для них ловушки и неожиданные повороты.

Этим различиям, как ни странно, соответствовали в моем представлении даже цвета: гимназисты — васильковый, реалисты — желтый. Впрочем, это легко объясняется тем, что гимназисты носили васильковые фуражки с белым кантом на тулье, а реалисты — черные с желтым кантом.

Из моих друзей типичным «старым гимназистом» был, без сомнения, Константин Георгиевич Паустовский с его скромностью, сквозь которую просвечивала лихость, с его любовью к происшествиям, из которых, в сущности, и должна состоять жизнь, с его молодыми уходами в музыку, в живопись, в природу.

Васильковая фуражка со сломанным козырьком, сбитая на затылок, чудилась мне на седой голове Корнея Ивановича Чуковского. В разговоре он мог внезапно схватить за ножки стул и бросить его своему собеседнику — волей-неволей тот должен был подхватить стул и бросить его обратно. «Никогда не знаешь, что будешь делать в следующую минуту»,— сказал он мне однажды. Трудно представить себе, что эти слова могут принадлежать человеку, который некогда носил скучную черную фуражку с желтым кантом. Нет, это было что-то очень васильковое, немного актерское, с белым кантом и естественным желанием расшевелить машинальное существование.

Все это я веду к тому, что в этот свой приезд я познакомился с Николаем Николаевичем Колиберским, старейшим преподавателем Первой школы, в котором мне сразу же почудились эти, милые моему сердцу, гимназические черты.

Много лет назад я видел английский фильм «Good-bye, mister Chips!» («До свиданья, мистер Чипс!»). Жизнь полустолетия показана в ней, как через фокусирующее стекло; линза сосредоточена на жизни школьного учителя, поглощенного своим призванием. История простая, обыкновенная, даже, может быть, немного скучная. Вы почти не

замечаете «шума времени», он доносится лишь как эхо событий, потрясавших страну. Равными долями, день за днем, год за годом уходит жизнь мистера Чипса. В предсмертном полусне, в дремоте кончины его ученики являются к нему, чтобы проститься: «Good-bye, mister Chips!» За полустолетие форма изменилась, школьники восьмидесятых годов в кепи и мундирчиках, застегивающихся до самого подбородка, не похожи на поколение своих детей, в коротеньких пиджаках с узкой талией, дети не похожи на внуков. Это, кажется, единственный признак невозвратимости, который обратным светом озаряет жизнь учителя, скромно спрятавшуюся в глубину глубин повторяющейся жизни школы...

Николай Николаевич чем-то напомнил мне мистера Чипса. Конечно, это был очень русский мистер Чипс, высокий, чуть сгорбленный, с добрым лицом и пышными табачно-седыми усами.

Память его, фотографическая, объективно-рельефная, меня поразила. Он помнил все — и то, что касалось его, и то, что не касалось.

Я забыл, почему Псковскую гимназию пышно переименовали в гимназию Александра Первого Благословенного. Он объяснил — в связи со столетием Отечественной войны. О том, как Псков отмечал трехсотлетие дома Романовых, он рассказал с удивительными подробностями — а мне помнились только дымные, горящие плошки на улицах. Верноподданническую кантату, которую гимназисты разучивали к этому дню, он знал наизусть:

Была пора, казалось, сила
Страны в борьбе изнемогла.
И встала Русь и Михаила
К себе на царство призвала...

В годину тяжких испытаний,
Любовью подданных силен,
Царь поднял меч, и в громе брани
Навеки пал Наполеон...

Вот почему и в бурях бранных
И в мирный час из рода в род
Святая Русь своих державных
Вождей и славит и поет.

Летом гимназисты ходили в белых коломянковых гимнастерках, воротник застегивался на две или три светлые

металлические пуговицы. Но Николай Николаевич напомнил мне и парадный костюм гимназиста, который в годы моего детства уже никто не носил: темно-зеленый однобортный костюм шился в талию, с прямым, стоячим воротником на крючках.

Потом пошли формы женских гимназий Александровской, Агаповской и Мариинской — какого цвета платья, какие передники, праздничные и ежедневные. Ученицы казенной Мариинской женской гимназии носили на берете значок — МЖГ, что расшифровывалось: милая женская головка.

«Александровки» в темно-красных платьях и белых передниках уж во всяком случае должны были запомниться мне! Однажды, проходя мимо этой гимназии, я засмотрелся на девочек, торчавших в распахнутых (это было весной) окнах, и больно треснулся головой о телеграфный столб. «Александровки» чуть не выпали из окон от смеха, а я добрых две недели ходил с шишкой на лбу.

Николай Николаевич окончил гимназию годом позже, чем я поступил, но оказалось, что те же преподаватели: Коржавин, Попов, Бекаревич — учили нас истории, литературе, латыни. Да что там преподаватели! Мы начали со швейцара Филиппа, носившего длинный мундир с двумя медалями и похожего на кота со своей мордочкой, важно выглядывающей из седой бороды и усов. Я не знал, что фамилия его была Крон. Он был, оказывается, латыш, говоривший по-русски с сильным акцентом,— вот почему я подчас не мог понять его невнятного угрожающего ворчания.

— Тюрль, юрль, юта-турль? — спросил Николай Николаевич.

— Ну как же!

Это называлось «гармоники»: схватив цепкой лапой провинившегося гимназиста и крепко, до боли, прижимая к ладони его сложенные пальцы, Филипп тащил его в карцер, приговаривая: «Тюрль, юрль, юта-турль». Впрочем, карцера у нас не было, запирали в пустой класс.

Помаргивая добрыми глазами и подправляя без нужды седые усы, Николай Николаевич дарил каждому из гимназических деятелей не более двух-трех слов. Однако, как на пожелтевшем дагерротипе, я увидел плоское лицо законоучителя отца Кюпара, с зачесанными назад, тоже плоскими, волосами, его быструю, деловую, не свойственную священническому сану походку, холодный взгляд.

Письмоводитель Михайлов — это я помнил — был похож на большого неприбранного пса.

Мы вспомнили Николая Павловича Остолопова, преподавателя математики, у которого я занимался четыре года. Это был высокий красивый белокурый человек с влажно-голубыми, немного навыкате глазами, только что окончивший университет, считавшийся либералом и похожий на виконта Энн де Керуэль де Сент-Ив, обожаемого мною героя стивенсоновского романа.

После первого же урока стало ясно, что, хотя его фамилия невольно подсказывала обидное прозвище, он — в отличие от Саньки Капусты, Бороды и т. д.— его не получит.

Николай Павлович прочитал нам лекцию о единице, как философском понятии, определяющем три элемента: массу тела, пространство и время.

— Анализ измеряемых величин,— утверждал Николай Павлович,— неизбежно приводит к возникновению абсолютных систем, которые разумнее было бы называть рациональными, поскольку в их основе лежит допущение, не представляющее собой абсолюта.

Мы только что перешли из приготовительного класса в первый, самому старшему из нас, Ване Климову, было одиннадцать лет. До сих пор, обнаруживая в своих тетрадях единицу, или так называемый кол, мы не задумывались над его философским значением. Кол был кол — между тем, подтверждая картинными жестами свои рассуждения, Николай Павлович прочитал нам о нем целую лекцию, в которой мы, разумеется, не поняли ни слова.

Прозвенел звонок, Остолопов закончил урок длинной загадочной фразой, и мы вышли тихо, с чувством глубокого, незнакомого, взрослого уважения к себе. За кого же принимал нас новый учитель? Почему-то нам не хотелось, как всегда на переменах, сломя голову носиться по коридору. Напротив, хотелось сказать или хоть подумать что-нибудь умное...

Я ничему не научился у Николая Павловича, и не только потому, что с помощью математики ничего нельзя увидеть хотя бы в воображении, как на уроках географии или литературы... Он часто таращил глаза, и тогда казалось, что сейчас он скажет нечто значительное, а он говорил, например: «Кто дежурный?» или с иронией: «Опять забыли тетрадь дома на рояле?» Но все-таки он был приятный. Жаль только, что мы ничего не понимали в его лек-

циях. Иногда он и сам запутывался и тогда спрашивал: «Теперь ясно?» Впрочем, убедившись в сложности своего метода, он круто повернул к реальности и попытался придать изучению дробей спортивный характер. Мы наперегонки решали задачи, а он расхаживал по классу, заглядывая в тетради и громко провозглашая, кто уже близок к финишу, а кто застрял в двух шагах от старта. Задачи он любил затейливые; одна из них решалась, помнится, с помощью азбуки: трехзначное число надо было заменить буквами алфавита, и получалось женское имя Ида.

Об Остолопове, который, влетая в класс на длинных ногах, прежде всего брал тряпку и стирал с доски женское имя — он был холост и влюбчив,— рассказывал главным образом я. Николай Николаевич занимался у другого математика, Дмитрия Михайловича Ляпунова. Но вот мы вспомнили историю одного поцелуя и заговорили, перебивая друг друга.

3

В этой трагикомической, вздорной истории мне мерещатся теперь щедринские черты. В течение трех месяцев большой губернский город, в котором было восемь средних учебных заведений и Учительский институт, говорил только о том, поцеловал ли мой старший брат гимназистку Полю Ромину — или не только поцеловал. Семья Роминых была влиятельной, заметной, отец служил, кажется, в губернском правлении. Он пожаловался директору гимназии, директор вызвал родителей, и стало известно, что Льву грозит исключение. Он уже был тогда центром семьи, ее неназванной, молчаливо подразумевающейся надеждой. Прежде семейное честолюбие было воплощено в сестре Лене, с четырнадцати лет учившейся в Петербургской консерватории по классу известного Зейферта. Она играла на виолончели, у нее был «бархатный тон», считалось, что она окончит с серебряной медалью. Золотую должна была получить какая-то хромая, которая играла хуже сестры, но зато ей покровительствовал сам граф Шереметев. На последнем курсе, перед выпускными экзаменами, сестра переиграла руку. Музыканты знают эту болезнь. Рука стала худеть, пришлось отправить сестру в Германию, дорогое лечение не помогло, влезли в долги, и упадок семьи начался, мне кажется, именно в эту пору.

Теперь опасность грозила Льву — и самая реальная, потому что ссора между его защитниками и противниками сразу же приняла политический характер. Первой раскололась гимназия: демократы были — за, монархисты — против. Потом, к неудовольствию директора, недавно назначенного и стремившегося умерить волнение, Агаповская женская гимназия устроила брату овацию. Казенная Мариинская сдержанно волновалась.

В кулуарах городской думы гласные обсуждали вопрос о падении нравственности среди учащихся средних учебных заведений, и друг нашей семьи, журналист Качанович, хлопотал, чтобы история не попала в газеты.

Мама похудела и перестала спать. И прежде на ее ночном столике каждый вечер появлялся порошок пирамидона. Теперь, не жалуясь, она подносила руку к виску, на котором сильно билась голубая жилка. По-видимому, надо было ехать в Петербург, на прием к графу Игнатьеву — министру народного просвещения. Граф, по общим отзывам, был прогрессист.

Тринадцать семиклассников подали заявление с просьбой оставить брата в гимназии. Просьба должна была рассматриваться в педагогическом совете, и представители класса решили посетить учителей, чтобы заручиться их поддержкой.

Прежде всего гимназисты отправились к математику Ляпунову. Прозвище его было «Орел» — и действительно, в его внешности было нечто орлиное. Он был горбонос, высок, полноват, с неулыбающимися темными глазами — и решительно не походил на своего предка Прокопия Ляпунова, изменившего Лжедимитрию, Ивану Болотникову, Тушинскому вору, Василию Шуйскому и, наконец, польскому королевичу Владиславу, против которого он сражался вместе с Пожарским, освобождая Москву.

Дмитрий Михайлович не изменял своим убеждениям, держался независимо, ставил сыновьям губернатора единицы и в любое время принимал гимназистов у себя на дому.

Как истый математик, он прежде всего спросил, сколько раз мой брат поцеловал гимназистку. «Один раз»,— ответили гимназисты. «Мало,— серьезно сказал Дмитрий Михайлович.— Пятнадцать, двадцать — тогда стоило бы, пожалуй, обсудить этот прискорбный случай на педагогическом совете».

Семиклассники расхохотались и ушли, заручившись обещанием Ляпунова голосовать против исключения брата.

От Ляпунова делегация направилась к Рудольфу Карловичу Гутману, преподавателю французского языка, богатому человеку, имевшему даже собственный выезд — это было редкостью в Пскове. На уроки он приходил в изящной визитке, обшитой шелковым кантом. Он носил эспаньолку, золотистые усы и, кажется, парик — по крайней мере, так выглядела его пышная шевелюра. На уроках он с увлечением рассказывал о Париже и ставил пятерки, не заглядывая в тетради. В третьем классе, к изумлению нового преподавателя, я спутал les enfants с les eléphants, то есть детей со слонами.

Выслушав делегацию, Рудольф Карлович расхохотался, а потом с увлечением ударился в подробности, потребовав, чтобы делегаты рассказали ему «всю историю отношений между молодыми людьми». Истории не было, но семиклассники что-то сочинили, и он отпустил их, заметив, что в Париже никому не пришло бы в голову обвинять гимназиста за то, что он поцеловал гимназистку.

От Гутмана делегация направилась к преподавателю математики и физики Турбину, которого гимназисты, вопреки его почтенному возрасту, непочтительно называли «Санька Капуста».

Александр Иванович Турбин был человеком необыкновенным. У него было странное, отрешенное лицо с удлиненным крючковатым носом, с взъерошенными волосами. В гимназии он был рассеян и существовал машинально. Настоящая жизнь начиналась дома, где он ходил нагишом, решая какую-то задачу, над которой более трехсот лет бились выдающиеся математики всего мира. Письменные работы Турбин оценивал так: за первую по порядку он ставил тройку, за вторую — $^2/_3$, за третью — два с плюсом. Иногда, взглянув на фамилию, выставленную на тетради, он ставил четыре и даже — очень редко — пять. Непостижимое чутье безошибочно подсказывало ему, списана работа или нет, или, если списана, то полностью или отчасти. И когда притворно расстроенный гимназист подходил к нему с безукоризненным решением, Александр Иванович, помаргивая, прибавлял к двойке плюс, а иногда минус.

Делегацию, как и ожидали гимназисты, Турбин принял своеобразно. Приоткрыв входную дверь, он сказал: «Александра Иваныча дома нет». Потом, накинув халат, он всетаки впустил делегацию и, выслушав ее, покачал головой:

«Ах, мерзавец! Ах, мерзавец!» Потом он снова сказал, что его нет дома, а когда гимназисты стали возражать, спросил с возмущением: «Как вы смеете своему преподавателю не верить?» Огорченные семиклассники удалились, а через несколько дней узнали, что Турбин был самым энергичным защитником брата на заседании педагогического совета.

Эти забавные подробности я узнал из воспоминаний Августа Андреевича Летавета. Но для нашей семьи в этой истории не было ничего смешного. Мать поехала в Петербург, была принята графом Игнатьевым и вернулась с торжеством — министр обещал поддержку. Думаю, что умный и дальновидный директор все равно не допустил бы исключения — недаром впоследствии он с подчеркнутым вниманием относился к брату. Пятерка, которую он поставил на выпускном экзамене против двойки латиниста, была отдаленным отзвуком «истории одного поцелуя».

Впрочем, она не закончилась на заседании педагогического совета, постановившего без наказания оставить брата в гимназии. Вражда между демократами и монархистами продолжалась, брату был объявлен бойкот, в бумагах Летавета сохранилось заявление (написанное рукой Юрия Тынянова), в котором демократы требовали, чтобы «бойкот, объявленный Льву Зильберу», был распространен и на них.

Впервые за десятки лет восьмиклассникам не удалось договориться о едином выпускном жетоне. Жетон демократов с надписью «Счастье в жизни, а жизнь в работе» сохранился у брата.

4

Каждый день я ходил в Государственный областной архив и перелистывал дела Псковской гимназии. Архив помещается в маленькой церкви против Первой школы — таким образом, мне стоило лишь перейти улицу, чтобы с размаху окунуться в архивные дела Псковской гимназии.

Каким чудом сохранились они в те дни, когда наши артиллеристы — и среди них мой приятель С. А. Морщихин — последовательно сокрушали бывшие «присутственные места», где, надо полагать, и хранились архивы? Кто знает! Но сохранились же! Впрочем, пушечная пальба со-

провождала и самое возникновение будущей Псковской гимназии.

Вот что я прочитал в ее печатной «Истории с 1833 по 1875 год»:

«Энергичная в преследовании своих целей Великая Государыня... составила особую комиссию об учреждении народных училищ. На этом основании 22 сентября 1776 года в день коронации Государыни в 10 часов утра в доме Правителя-наместника Ивана Алферьевича Пиль собрались все находившиеся в городе чины, как духовные, так и светские... После молебствия, по провозглашении многолетия царской фамилии, произведена была пушечная пальба...»

Я встретил жалобы родителей на жестокое обращение с учениками: в 1819 году сын коллежского асессора Деропиа был жестоко высечен розгами за то, что он, «будучи неисправен по классу, производил разные неприличные в тетрадях изображения». Штатный смотритель в Великих Луках сажал провинившихся учеников на цепь...

Надо признаться, что с каким-то вкусным чувством перелистывал я старые бумаги. Эти пожелтевшие листы напомнили мне студенческие годы, когда в рукописном отделении библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, читая «Повесть о Вавилонском царстве», я дивился искусству русских переписчиков шестнадцатого века. Неизвестное, незамеченное, обещающее вновь заманчиво померещилось мне — и стало весело от одного запаха архивной пыли. Да и, не знаю почему, я был почти уверен, что эти, казалось бы, никому не нужные дела, в которые никто не заглядывал добрую сотню лет, покажутся занимательными для иных читателей этой книги.

Вот передо мной протокол заседания от декабря 1880 года. Среди членов педагогического совета — знакомые имена К. И. Иогансона и А. И. Турбина. Турбин еще служил, а Иогансон вышел на пенсию в 1912 году, когда я поступил в гимназию. Его дочь — длинная, худая, белокурая, с маленькой головкой — учила нас немецкому языку, впрочем недолго. Когда, подражая старшим, мы распевали за ее спиной:

Карл Иваныч Иогансон
Ходит дома без кальсон,—

она только ускоряла шаг, краснея и презрительно поджимая губы.

Я вытащил протокол 1880 года наудачу и, полюбовавшись добротной бумагой, исписанной затейливой канцелярской рукой, решил, что стоит сказать о нем несколько слов. С начала до конца заседание было посвящено ученику VII класса Александру Заборовскому. Директор, инспектор, двенадцать преподавателей и два классных наставника разбирали поведение юноши, который всегда был на отличном счету и вдруг оказался непристойным шалуном и нахалом.

Фамилия Заборовского снова встретилась мне, когда я перелистывал дела, относящиеся к «волчьим билетам» — так на гимназическом языке называлось свидетельство, лишавшее исключенного ученика права поступать в другие учебные заведения.

Заборовский был исключен с «волчьим билетом» из Воронежской гимназии (куда он был переведен из Псковской) за «активное участие в нелегальном кружке».

Содержание «волчьих билетов» могло бы, мне кажется, заинтересовать историков, изучающих состояние русского общества на рубеже XIX и XX веков. Число их после 1881 года неуклонно поднимается. Поводы — если вспомнить, что речь идет о подростках, едва достигших семнадцати лет,— изумляют.

Семиклассник Валериан Пчелинцев получил «волчий билет» «за вооруженный грабеж». Шестиклассник Меер Вильнер — «за нанесение инспектору огнестрельных ран, от которых последовала смерть последнего...». Другие — «за вызывающе-дерзкую приписку к школьному сочинению»... «За вымогательство денег и угрозу в письме почетному посетителю»... «За покушение на убийство директора»... «За принадлежность к партии социалистов-революционеров». Среди «волчьих билетов» встречаются и загадочные. Один из них был оглашен в декабре 1912 года: «Государь император повелеть соизволил лишить навсегда кадета Одесского корпуса Уланова Павла права поступить в какое-либо учебное заведение Российской Империи». Причина не указывалась. Можно предположить, что кадет Уланов был наказан за оскорбление царской фамилии.

Впрочем, этот «волчий билет» я встретил уже тогда, когда, соскучившись, перемахнул через тридцать лет и стал перелистывать архив Псковской гимназии с 1912 года. Жизнь изменилась. Изменилось и отражение ее в протоколах педагогического совета. Вы не найдете в них и тени психологического подхода к повседневной жизни гимна-

зии, характерного для восьмидесятых годов. Это — сухой, холодный перечень, в котором и повседневные, и мировые (война 1914 года) события встречают одинаково равнодушное отношение.

Была, впрочем, и особенная причина, заставившая меня с пристрастием допрашивать работников Псковского архива — не сохранились ли гимназические «дела» первых послереволюционных лет. В 1918 году, когда город был занят немецкими войсками, я сам был исключен с «волчьим билетом»,— по-видимому, педагогический совет еще надеялся на восстановление министерства народного просвещения. К сожалению, многие папки были «утрачены при перевозке», и мне не удалось познакомиться с официальным объяснением одной истории, которая была связана с душевным испытанием, впервые столкнувшим меня с идеей ответственности, с необходимостью выбора между пустотой предательства и сложностью правды.

В одном из протоколов 1913 года я наткнулся на список учеников первого класса. Это были только имена, но за каждым возникал портрет (и не контурный, как это было, например, с Веретенниковым, о котором я помнил только, что он был рыжий, а рельефный, объемный).

Кто не знает выражения «лицо класса», часто встречающегося в современных педагогических книгах? Я мог бы написать это лицо в отношении психологическом, живописно-цветовом и социальном. Кстати, сведения о социальном составе повторялись ежегодно: так, в 1916 году в гимназии учились: детей дворян и чиновников — 171, почетных граждан — 42, духовенства — 26, мещан — 158 и крестьян — 166.

Не думаю, что наш класс отличался от других в социальном отношении — кроме, впрочем, одного исключения: с нами учился сын камергера, вице-губернатора Крейтона.

Это был чистенький, аккуратный мальчик, затянутый, с красными бровками. Мы его ненавидели за то, что в гимназию его привозил экипаж. Все ему было ясно, и все он старательно объяснял уверенным, тонким голоском. Но, очевидно, кое в чем он все-таки не был уверен, что неопровержимо доказывает постановление педагогического совета от 25 февраля 1913 года. Оно даже озаглавлено — случай сравнительно редкий:

«*Инцидент в первом классе 24 февраля.*

Классный наставник, наблюдая за учениками, заметил, что за Крейтоном ходит целая толпа товарищей. Когда

наставник спросил об этом Крейтона, тот показал крайне неприличный жест и спросил, что это значит. Классный наставник задержал Крейтона после уроков и стал расспрашивать, кто показал ему этот жест. Но последний не указал, ссылаясь, что вокруг него шумели. Тогда классный наставник, закрыв класс на ключ, стал спрашивать каждого ученика отдельно. Но никто не сознался, кроме Теплякова, который до некоторой степени признал себя виновным. При дальнейшем расследовании признался также Крестовский. Выяснилось, что во время урока Закона Божьего Тепляков показал этот жест Крейтону и посоветовал ему спросить, что он означает, у своей гувернантки. Директор, которого поразила гнусность факта — не только наивному ребенку был показан крайне безнравственный жест, но развращение производилось на уроке Закона Божьего,— удалил Крестовского и Теплякова из стен гимназии своей властью вплоть до решения Педагогического совета».

Я помню день, когда это постановление было прочитано в классе. Крейтон отсутствовал. У Крестовского накануне умер отец, и хотя он был «из посадских», держался замкнуто и грубо, все же мы сочувственно смотрели, как, обхватив одной рукой ранец, он вышел из класса. Но Тепляков был веселый балагур, не лазивший за словом в карман и устраивавший «кордебалеты» — так он почему-то называл меткое передразнивание учителей. Его любили. Слегка побледнев, он поставил ранец на парту и стал швырять в него книги и тетради. Набросив ранец на одно плечо, он пошел к выходу и в последнюю минуту не удержался: сделал сам себе нечто вроде «безнравственного» жеста, весело спросил: «Да кто же этого не знает?» — и скрылся за дверью.

5

Так первый класс медленно проходил перед моими глазами.

Кирпичников Вячеслав.

Мартынов Андрей.

Чугай Эдуард.

Спасоклинский Павел.

Алмазов Борис.

Одни проходили мимо меня не останавливаясь, а дру-

гие — как бы стараясь разгадать вместе со мной то, что в отрочестве осталось непонятным или небрежно отстраненным.

С Борькой Алмазовым мы однажды собрались в кинематограф «Модерн», и он пошел к отцу просить пять копеек — отец держал трактир в Петровском посаде. Потеряв терпение (я ждал Борьку на улице), я заглянул в трактир: половые в длинных грязных передниках, носившиеся между столами, пьяные крики, сизый воздух, острый запах дыма и постного масла ошеломили меня. На высоком стуле за прилавком сидел жирный, потный бородатый мужик с аккуратно расчесанной бородой. Опустив голову, Борька стоял в двух шагах от него. Это было так не похоже на уклад нашей семьи, что я не сразу понял, что Борька не смеет попросить у отца пять копеек. Он должен был стоять и ждать, не говоря ни слова. Наконец трактирщик швырнул на прилавок пятак, Борька прошептал: «Спасибо, папенька» — и выскочил вслед за мной из трактира.

Не помню, что мы смотрели,— кстати, гимназистам вскоре запретили ходить в кинематограф. Сперва была женщина-змея и куплеты, а потом какая-то драма. У меня из головы не выходил Борька, как будто стиснутый шумом и вонью трактира. Он сидел рядом со мной и не казался униженным или расстроенным. Неужели он уже забыл о том, как он стоял перед отцом, опустив голову, и молча ждал, пока тот швырнет пятак на прилавок?

Мне стало неинтересно с Борькой. Мы больше не ходили в кино.

Альфред Гирв, сын кузнеца, был одним из моих любимых товарищей. Прямодушный, немногословный, с румяным квадратным лицом и вьющимися светлыми волосами, он не любил отвлеченностей, мир был для него однозначен, а жизнь состояла из ритмически мерного марша, ведущего прямо к намеченной цели.

Я помню, как однажды, подражая старшим, мы вдвоем выпили бутылку красного вина и решили, что «напились до положения риз»,— конечно, это было уже не в первом классе. Неизвестно, что значило «положение риз», но, если уж мы напились, очевидно, надо было шататься, хохотать, нести околесицу, петь и т. д. Мы закурили — это было противно — и отправились в пустынный Ботанический сад; на улице можно было нарезаться на учителя или надзирателя. Алька Гирв видел, что я притворяюсь,

но терпел, хотя мне показалось, что он уже начинает сердиться.

Мы немного прошлись по верхней аллее, а потом спустились в овраг, в глубину сада, где лежала плита, на которой было написано, что этот сад основал директор Сергиевского реального училища Раевский. Я полез на плиту и, сделав два-три шага, упал, как и полагалось человеку, напившемуся «до положения риз». Алька обошел плиту твердым шагом, как на сокольской гимнастике, которой нас учил недавно появившийся в гимназии чех Коварж.

— Послушай, а может быть, хватит ломаться? — спросил он.

Не отвечая, я перешел на «Крамбамбули»:

Когда мне изменяет дева,
О том я вовсе не грущу.
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу.
Когда мы пьем крамбамбули...
Крамбамбули, крамбамбули...

— Шут,— сказал Алька.

Я кинулся на него, но он закрутил мне руки за спину — он был вдвое сильнее меня. Мы подрались, а потом пошли мирно учить латынь; в третьей четверти Борода еще не спрашивал ни его, ни меня.

6

Зима состояла из повторяющихся дней и недель, и в течение учебного года класс почти не менялся. Но после каникул годовые часы, которыми измерялось время, как бы останавливались, и в первые осенние дни мы невольно находили заметные перемены друг в друге. У всех по-разному менялись голоса, выражение глаз, походка, движения. Неуловимые внутренние перемены возникали, скользили, скрывались, вновь возникали. К жизненному опыту летних каникул незаметно присоединялся весь опыт минувшего года.

Появлялись новички, но класс уменьшался. Переходили в недавно открывшееся коммерческое училище, переезжали в другие города. Я помню поразившую меня смерть Павлика Завадского, хорошенького, беленького, тихого, с голубыми глазами. На первой перекличке после утренней молитвы никто не отозвался, когда классный

наставник назвал его фамилию. Я дружил с ним. После уроков я пошел к Завадским на Запсковье, и сестра Павлика, похожая на него, с удивившим и оскорбившим меня равнодушием сказала, что Павлик в три дня умер от какой-то неизвестной болезни.

7

Похвальный лист, с которым я перешел во второй класс, к сожалению, не сохранился. Это была награда второй степени. Но первая отличалась от второй только тем, что кроме похвального листа давали «Князя Серебряного», которого я давно уже прочитал. В том году было трехсотлетие дома Романовых. На улицах жгли плошки со смолой, и похвальный лист был украшен сценами из истории этого дома. В одном углу красивый бородатый Минин обращался к народу, а рядом в панцире и шлеме стоял Пожарский, опершись о меч; в другом — молоденького, хорошенького Михаила Романова венчали на царство. Все цари были румяные, красивые, с добрыми лицами, и все ездили умирать в какую-то «Бозу». Об этом я узнал из учебника: почти под каждым портретом было написано: «Почил в Бозе» тогда-то. Церковнославянское «в Бозе», которую я долго считал каким-то священным городом на юге России, значило: «в Боге».

С этим великолепным листом, свернутым в толстую трубку, я вернулся домой и на дворе немного побросал его в воздух, чтобы доказать Борьке Петунину и другим ребятам, что нисколько не дорожу наградой и что мне вообще на нее наплевать. Но я бросал осторожно.

Дома никого не было, только отец. Я развернул перед ним похвальный лист, и он сказал, что отвезет его в Петербург показать деду и бабке. Я снисходительно согласился. Вообще, хотя я как бы презирал награду второй степени, все-таки это было приятно, что я ее получил, тем более что по арифметике мне с трудом удалось вытянуть на четверку. Пятерок совсем не было. Но это не имело значения, для награды второй степени нужно было только не нахватать троек. Потом я показал похвальный лист няньке, и она всплакнула, но неизвестно, от умиления или потому, что в последнее время стала здорово выпивать. Потом я положил лист на окно и стал читать «Вокруг света». Но время от времени я посматривал на него.

Все-таки это было здорово, что я его получил и что он такой раскрашенный, с царями! Возможно, что, вернувшись из Петербурга, отец закажет для него рамку, и он будет висеть между портретами родителей в столовой. На одном из этих портретов, несомненно, был изображен отец — стоило только посмотреть на его прекрасные черные усы и грудь, украшенную медалями, а про другой отец говорил, что художник сжульничал, взяв портрет императрицы Александры Федоровны и пририсовав серьги в ушах и высокий кружевной воротничок, который носила мама.

Нянька принесла мне стакан козьего молока и кусок хлеба. Мать считала, что коровье молоко не так полезно, как козье, потому что в нем чего-то не хватает, и мы купили козу Машку.

...В Пушкинском театре будет детский бал, и девочки в коротеньких легких платьях, с большими бантами над распущенными волосами будут посматривать на меня с интересом, потому что все, понятно, узнают, что я перешел с наградой. Будет жарко и весело, оркестр будет греметь с балкона, и, может быть, как в прошлом году, я увижу Марину Барсукову, и теперь я уже не буду стоять, весь потный и красный, и молчать, когда она вежливо заговорит со мной и когда, мелькая беленьким платьем и легко перебирая ножками, станет весело танцевать с этим толстым кадетом. Я буду отвечать ей свободно и, когда с балкона загремит вальс, стану перед ней вот так, слегка склонив голову, и это будет означать: «Позвольте пригласить вас на вальс». Кадет тоже подойдет, но она ответит ему: «Извините, я занята». И я положу руку на ее талию и поведу ее ловко, никого не толкая, плечи назад, держа голову прямо, и только один разочек украдкой взгляну на ее тоненькие, быстро перебирающие ножки.

Пришел Саша, я показал ему похвальный лист, но он только сказал равнодушно: «Ишь ты!» — и скрылся в своем чулане. Мама отвела ему чулан под лестницей, потому что он увлекся химией, и в доме стало невозможно дышать. У него было три двойки «в году» — по алгебре, геометрии и по немецкому. Немецкий он знал, но Елена Карловна разозлилась, когда он объяснился ей в любви и сделал в записке три грамматические ошибки.

Я посмотрел на подоконник: похвального листа не было, хотя не прошло и пяти минут, как я показывал его Саше. Окно было открыто,— может быть, он скатился на

землю? Я выбежал на двор — нет. Вернулся, спросил няньку, не взяла ли она,— нет. Еще раз внимательно посмотрел на подоконник — может быть, я его не вижу? Через четверть часа весь дом искал мой похвальный лист. Отца разбудили, он вышел, заспанный, в брюках со штрипками, с растрепанными усами. Нянька ругалась.

Увы, мы нашли его у Машки, за сараем! Но его уже нельзя было везти в Петербург, потому что коза сжевала большинство царей, не пощадив даже «ныне благополучно царствующего», как было написано в учебнике русской истории. По-видимому, она завтракала с большим аппетитом, потому что возмущенно затрясла бородой и даже попыталась меня боднуть, когда я вытащил у нее изо рта венчание Михаила на царство. Правда, Минин и Пожарский остались, и при некотором упорстве можно было разобрать, что с наградой перешел именно я. Но подписи директора и классного наставника были съедены без остатка.

Отец, который был огорчен еще больше, чем я, сказал, что никому не нужно рассказывать об этой истории, потому что похвальный лист в честь дома Романовых съела коза, а это можно даже принять за оскорбительный намек по адресу царской фамилии.

8

За две недели я привык к скромному интерьеру Псковского архива с его полутораметровыми стенами, с его церковными сводами, с его черной громадной голландской печью, которая, добродушно встречая меня, как будто говорила:

— Садитесь, пожалуйста!

О сотрудниках нечего и говорить. Они были так деятельно добры, так радовались моим маленьким открытиям, как будто не меньше, чем я, интересовались давно забытыми делами Псковской гимназии...

Когда мы перешли в третий класс, началась война — для меня она началась при странных обстоятельствах, о которых я еще расскажу.

Гимназия заметно изменилась за годы войны. В 1915 году из нее «выбыло 122 человека в связи с положением на позициях» — как указывалось в протоколе. Сокольские упражнения были заменены военным строем. В здании

гимназии разместился Главный штаб Северного фронта под командованием генерала А. Н. Куропаткина — старшеклассники занимались теперь в старом здании, а мы — во вторую очередь — в Мариинской женской гимназии.

В конце мая 1916 года на плацу возле Поганкиных палат состоялся смотр, после которого выступили директор гимназии А. Г. Готалов и генерал Куропаткин, «весьма высоко оценивший результаты испытаний».

Трудно сказать, было ли связано положение на фронте с открытием школьного огорода средних учебных заведений,— очевидно, до войны это событие произошло бы в более скромной обстановке.

На открытии огорода присутствовала е. и. в. великая княгиня Мария Павловна. Собственный оркестр гимназии исполнил государственный гимн, и директор выступил с речью, в которой указал на важность новшества во всех отношениях.

Я должен сознаться, что не помню ни военного смотра на плацу у Поганкиных палат, ни торжественного открытия огорода.

Первые военные годы почти исчезли из моей памяти, осталось лишь неясное впечатление, что, вопреки внешней подтянутости, все стало постепенно расшатываться в гимназии: иные из моих одноклассников стали, например, приходить на уроки в высоких сапогах — представить это год тому назад было невозможно.

Мне не удалось найти в протоколах педагогического совета упоминания о падении со стены портрета царя, хотя специальная комиссия, под председательством инспектора, занималась этим вопросом.

Говорили, что преподаватель Лаптев настаивал на политической причине этой истории. Всеволод Викторинович (или Гуталиныч, как называли его гимназисты) был среди преподавателей единственным членом Союза русского народа.

Причина заключалась в неожиданно развернувшейся и охватившей всю гимназию драке, во время которой кое-где вылетели окна, и нет ничего удивительного в том, что со стены сорвался портрет царя, висевший, должно быть, на прогнившей веревке.

Но расскажу по порядку.

Хаким Таканаев держал со мной пари, что он пройдет за Емоцией по всему коридору с папиросой в зубах, пуская дым за пазуху, чтобы было не так заметно. И он

бы прошел, если бы Гришка Панков не дал ему подножку. Емоция обернулся, побагровел, и Хаким попал в кондуит. Это было плохо: за него в гимназию платил дядя, а об отце, который служил официантом у дяди, Хаким говорил кратко: «Зверь».

На перемене я подошел к Панкову и сказал, что он — подлец. Он стал оправдываться, но я доказал, что он все-таки подлец. Он замахнулся, но не ударил, а только сказал: «Коньками». Это означало, что мы будем драться коньками.

Панков был маленький, горбоносый, желтый. В хрестоматии «Отблески» была картинка: «Утро стрелецкой казни», и мне казалось, что, если бы он жил тогда, он был бы одним из этих стрельцов с бешеными глазами. Стрельцы были связаны, и, когда я смотрел на Панкова, мне тоже всегда хотелось его связать.

Но как дерутся коньками? Я пошел к Альке Гирву, но и он не знал. Мы подумали и решили, что Панков так сказал потому, что в прошлом году коньками чуть не убили кадета.

Мы условились встретиться за катком, и я замерз, дожидаясь Панкова. Мне было все видно из темноты, я слышал, как одна гимназистка умоляла мать не ждать ее у входа на каток, потому что над ней смеются подруги. Гимназистка была дородная, краснощекая и все распахивалась — ей было жарко, а мама — маленькая, сухонькая и завернутая, как кукла, в шаль поверх шубы.

Я прождал Панкова час, но он не пришел. Это было поразительно, потому что хотя он был подлец, но смелый. Из нашего класса он один бросался в Великую с мола вниз головой. Испугаться, уклониться от драки — это было на него не похоже!

На другой день в гимназию пришла его мать, и я удивился, что она такая красивая — в пуховом платке, с большим благородным лицом. Панков, оказывается, пропал, и она боялась, что он сбежал на войну. Инспектор Емоция, с которым она говорила, объяснил, что, согласно положению о казенных гимназиях, учащийся не может сбежать на войну без разрешения начальства.

О Гришке поговорили и перестали: весь класс увлекся сокольством. В гимнастическом зале, в новом здании, под граммофон делали гимнастику старшеклассники в синих рубашках и синих в обтяжку штанах. Нас учили упражнениям с палками и булавами. Руководил нами Ко-

варж, о котором говорили, что он — австрийский офицер, перебежавший к нам «во имя идеи панславизма», и то, что этот плотный, мускулистый человек с большими черными усами рисковал собой ради идеи, тоже было интересно.

Придя к нам однажды в парадной форме — накидка на одно плечо, шнуры, как на венгерке, шапочка с пером,—он вместо гимнастики стал учить нас сокольской песне:

Гей, сокола, собирайтесь в ряды,
Крепкие мышцы не знают беды...

Словом, произошло так много, что забыли и думать о Гришке. И вдруг на уроке истории дверь распахнулась, вошел директор, а за ним Гришка — веселый, загорелый, желто-румяный, в солдатской гимнастерке, с Георгиевским крестом на груди.

Все обомлели, и директор сказал речь. Он сказал, что перед нами — маленький герой, показавший незаурядное мужество на позициях, и он, директор, надеется, что теперь Гришка покажет такое же мужество в борьбе против геометрии и латыни. Что касается нас, то мы теперь должны вести себя как можно лучше, поскольку среди нас находится маленький герой.

Вся гимназия заговорила об этой истории, и наш третий «б» сразу прославился. Меня даже остановил восьмиклассник Парчевский, в заказной фуражке с маленьким серебряным гербом, надушенный, с усами (о нем ходили сплетни, что он живет за счет дам), и спросил — правда ли это? Было неприятно, что приходилось как бы гордиться Панковым, но я все-таки ответил небрежно: «Конечно. И что же?» Но прошло два месяца или три, и мы перестали гордиться Гришкой Панковым.

У нас был довольно буйный класс, и прежде Гришку уважали за то, например, что он мог выстрелить в немку из стеклянной трубки катышком замазки. Теперь это стало безопасным: в крайнем случае немка оставила бы его на час после урока.

Мы любили изводить географа Островского, который легко раздражался, но никого не в силах был наказать. А теперь перестали, потому что Емоция, немедленно являвшийся на шум, лебезил перед Гришкой. Гришка всегда начинал «бенефис» — так называлось у него хлопанье партами, кукареканье и блеяние.

Он ходил, заложив руки в карманы, и врал: на новых похвальных листах в одном углу будет он, а в другом — казак Кузьма Крючков, уложивший одиннадцать немцев; царь на днях приедет в Псков и от губернатора махнет прямо к Панковым — специально чтобы пожать Гришке руку. Панковы жили в покосившемся, старом доме на набережной, из которого, переругиваясь с рыбаками, выходили на берег полоскать белье девки с румяными смелыми лицами.

Он нам надоел в конце концов, и однажды, когда он стал ругаться при Ване Климове, который не выносил ругательств и стоял весь белый, со стиснутыми зубами, я подошел к Панкову и сказал:

— Ну что, испугался тогда прийти на каток?

Он сразу кинулся на меня и ловко ударил маленьким, крепким, как железо, кулачком в зубы. Это было в длинном коридоре со столбами освещенной пыли, с неподвижной фигурой Остолопова, стоявшего, как всегда, расставив ноги, заложив руки за спину, под портретом царя. Сперва было не заметно, что мы деремся, тем более что Алька сразу властно раскинул руки, чтобы нам никто не мешал. Панков был ниже меня, но сильнее. Мы упали, но на полу мне как-то удалось отодрать его от себя.

Еще недавно брат Саша практически доказывал мне, что в драке замахиваться нельзя, потому что происходит огромная потеря времени, которой может воспользоваться противник. И когда мы вскочили, была подходящая минута, чтобы вспомнить этот совет. Но я не вспомнил. Панков снова ткнул меня в зубы, и так больно, что я не то что заплакал, а как-то взвыл от бешенства и боли.

Не знаю, как это произошло, но дрались теперь уже не только мы, потому что вдруг я увидел на полу Ваню Климова, который болезненно вздрагивал, стараясь закрыть голову руками. Взволнованное лицо Остолопова мелькнуло, но — куда там! Его мигом оттерли. И вся дерущаяся, кричащая толпа гимназистов двинулась по коридору. Классные надзиратели бежали вниз по лестнице, Емоция вышел из учительской и с изумлением остановился в дверях. Кончилась большая перемена, прозвенел звонок, но никто не обратил на него внимания. Баба, торговавшая булочками у шинельной, испуганно схватила корзину, но кто-то поддал корзину ногой, и булочки разлетелись по коридору.

Это была не та исконная драка между Запсковьем и Завеличьем, когда за медные монеты, зажатые в рукавицы, избивали до полусмерти. И не дуэльная, скрытая, где, окруженные толпой, противники сводили счеты где-нибудь в дальнем уголке двора, чтобы не увидели педагоги. Это было слепое, но естественное освобождение от всего, что было заранее обречено на строгое наказание. Кто-то запустил ранцем в окно, стекла посыпались, от разбойничьего свиста зазвенело в ушах.

Я потерял Панкова, потом снова нашел. «Берегись, кастет!» — закричал кто-то, и я понял, что кастет — это сверкнувшие металлические язычки, торчавшие из кулака Панкова. Он отскочил, ударил, и, когда я падал, мне показалось, что вместе со мной шатается и падает все — Остолопов, продиравшийся сквозь толпу с растрепанной бородкой и широко открытыми глазами, косые столбы пыли и — это было особенно странно — портрет царя, вдруг криво отвалившийся от стены на длинной веревке...

Я очнулся на полу в уборной. Алька брызгал мне в лицо холодной водой. Долго потом ходил я с маленьким синим шрамом на лбу.

9

В четвертом классе, прислушиваясь к разговорам наших гостей, я мысленно разделил класс пополам. Будущая революция смело могла рассчитывать на Арнольда Гордина, Гирва, Рутенберга, который — это выяснилось в 1917 году — был сыном известного эсера, братьев Матвеевых и меня. Напротив, монархический строй поддерживали — сознательно или бессознательно — Сафьянщиков, сын богатого купца, всегда как будто объевшийся, бледный и рыхлый, барон фон дер Беллен и маленький чистенький доносчик Чугай. Но были и противоречия. Отец братьев Матвеевых, неразличимых близнецов, сдававших экзамены друг за друга, был приставом, заметным полицейским чином.

И как поступил бы Андрей Мартынов, умный, начитанный, ничуть не гордившийся тем, что он свободно говорит по-французски, красивый, незастенчивый, с благородным лицом? Он был из дворянской семьи.

О, как мне хотелось, чтобы он присоединился к нам! И как хотелось хоть немного походить на него! Он как бы

не участвовал в этом воображаемом разделении. Но мимо него, казалось, проходил и тот бесспорный факт, что мы, в сущности, не разделены, а объединены, потому что являемся гимназистами, молодыми подданными Российской империи, одетыми в надлежащую форму, соблюдавшими надлежащие правила и возрастающими «нашему создателю во славу, родителям нашим во утешение, церкви и отечеству на пользу», как говорилось в утренней молитве.

10

В 1915 году в наш класс были переведены поляки-беженцы из Варшавской гимназии. «Беженцы» было новое, казавшееся странным слово. Все хотелось сказать — беглецы. И наши поляки были именно беглецами. Грустные, озирающиеся, как будто чувствующие, что они все еще куда-то бегут, они жили в преднамеренной пустоте, которая не только нравилась им, но, по-видимому, казалась естественной и необходимой. Ни с кем не ссорясь, они ни с кем не дружили. Они хорошо учились. Длинный вежливый бледный Пенкальский отвечал на вопрос, который преподаватель задавал всему классу, не вскидывая радостно руку, а робко поднимая два длинных пальца, похожих на церковные свечи. Они ничем не отличались от нас, кроме того, что были поляками,— но именно это и удивляло меня. В классе учились русские, татары, евреи, эстонцы, латыши. На Хакиме Таканаеве учитель истории Константин Семенович Шварсалон показывал «разделение человечества на расы». Коричневый красивый Хаким с угольно-черными прямыми волосами, с твердыми, выступавшими скулами принадлежал, оказывается, к большой монгольской расе. Мы сразу же стали завидовать ему, тем более что Хаким утверждал, что его дядя — прямой потомок того самого Акбулата, о котором написал Лермонтов:

Старайся быть суров и мрачен,
Забудь о жалости пустой:
На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.

Но поляки не стали бы завидовать Хакиму. Они были всецело поглощены сознанием, что они — поляки. Для них это было не только важно, но как бы определяло главный смысл существования.

— Быть поляком или умереть,— однажды сказал о них Алька Гирв, который был православным эстонцем.

Они были вежливыми мальчиками, одевавшимися строго по форме. На переменах они степенно прохаживались. Они прекрасно знали латынь, и Борода ставил их нам в пример на каждом уроке. Но они не имели права отличаться от нас только потому, что родились в Польше, от польских родителей, и приехали из Варшавы! Тогда и Хаким, и Андрей Мартынов, и лохматый, добрый, неряшливый, зачитавшийся Женя Рутенберг, каждый из нас имел это право?

11

Вспоминать — необыкновенно интересное занятие, и, расставшись с Николаем Николаевичем, который из деликатности не признался, что его утомил наш длинный разговор, я лег в постель — и не уснул.

Точно что-то ожило, затрепетало во мне — и клубок воспоминаний стал разматываться свободно, легко, будто он наконец дождался своего часа. На другой день нам с Николаем Николаевичем предстояла прогулка по городу — и я вообразил эту прогулку, но не в 1970 году...

Холодно, зима, снег похрустывает и искрится под ногами. Двенадцатилетний гимназист, подняв воротник шинели, идет вдоль Привокзальной, мимо заборов и маленьких домиков служащих железной дороги. Справа — одинаковые двухэтажные казармы Иркутского полка, длинные здания полкового склада. За складом — пустырь, с которого Сергей Исаевич Уточкин в 1912 году совершал полеты. Не знаю, почему я не был на этих полетах, о которых говорил весь город. Но мне помнится жаркий день, наш садик во дворе. Круглая тень яблони лежит у моих ног и становится все короче... Я читаю «Дворянское гнездо», букашка ползет вдоль страницы, на которой Лиза в белом платье, со свечой в руке идет по комнатам темного дома, не зная, что в саду ее ждет Лаврецкий. И вдруг в это оцепенение, в расплавленность летнего дня врывается переполох, смятенье, суматоха.

— Летит, летит! — кричали со всех сторон.

Нянька выбежала с черного хода с ведром, в подоткнутой юбке, и замерла, подняв голову и крестясь. Все остановилось. Только что неоткуда было ждать чудес,

только что по Гоголевской битюг протащил тяжело нагруженную телегу. Только что все было неразрывно связано, приковано друг к другу.

Все перемешалось. Тяжелая громада, состоявшая из двух плоскостей, пересекавших длинный ящик, похожий на гроб, выплыла откуда-то со стороны вокзала и, шумно работая, направилась к самому высокому в Пскове семиэтажному дому. Она двигалась степенно, не торопясь и как бы не обращая внимания на расступившееся перед ней небо. Она была похожа на взлетевший геометрический чертеж, но чем-то и на протащившуюся мимо дома телегу — может быть, колесами, висящими под ней как-то нелепо и праздно.

...Двенадцатилетний гимназист идет по городу, подняв воротник шинели. Холодно, воротник легонько трет замерзшие уши. Это приятно, но время от времени все же приходится снимать перчатки и мять уши руками. Шарфа нет, отец приучил сыновей ходить по-военному, без шарфа. Гимназист идет и думает. О чем? Не все ли равно?

Городская тюрьма, большое грязное здание за высоким забором. У ворот — полосатая будка. Усатый часовой выглянул из нее и сказал барышне, стоявшей на панели: «Проходите, сударыня». Но она не ушла. Начальник этой тюрьмы — полковник Чернелиовский. Говорят, что это не тюрьма, а «каторжный централ». Что такое централ? Почему каторжный? Ведь каторга — в Сибири?

...Двенадцатилетний гимназист идет по городу и трет, трет застывшие уши. Как бы не отморозить! Павлик Спасоклинский пришел в гимназию с отмороженными ушами, к большой перемене они у него стали огромные, розово-красные. Он смеялся, болтал головой и говорил, что не больно, но классный наставник Бекаревич сказал, что уши могут отвалиться, и отправил Павлика домой.

...Это было поразительно, что, когда у Павлика умерла мать и он, громко плача, убежал из дома, Столяров и Юпашевский дразнили его. Стало быть, им казалось, что стыдно плакать, даже если умирает мать?

...Синеет, голубеет. Снег поблескивает под ногами, синий, вечерний, голубой.

...Кто такие эсеры? В прошлом году вот здесь, возле тюрьмы, эсер Фалевич застрелил жандармского полковника Бородулина.

Потом я узнал, что наша домохозяйка Бабаева — родная сестра Фалевича. Она была лет на двадцать моложе

своего мужа, но тоже уже седая, с гладко зачесанными поблескивающими волосами, и всегда такая же неестественно красная, как ее муж. Может быть, они пили? «Это был ужас»,— все повторяла она. Меня поразило, что, рассказывая о брате, она улыбалась. Стало быть, прошедшее, даже самое страшное, чем-то приятно? Чем? Тем, что оно отлетело, миновалось, ушло? Тем, что сестре Фалевича больше никогда не придется бежать ночью по городу, не помня себя, оставив дома лежавшую в обмороке мать? Тем, что не повторится грубый окрик городового, больно толкнувшего ее в грудь, когда, сама не зная зачем, она хотела пробраться к месту убийства?

...Дом предводителя дворянства на Кохановском бульваре: у дворянства был свой предводитель, как у дикарей в романах Густава Эмара...

...Вот и Летний сад и домик цветовода Гуляева, а налево — Застенная, вдоль запорошенной снегом, озябшей крепостной стены. Летом здесь все по-другому: у входа — толпа, в кассе покупают билеты, на круглых будках — афиши, приезжий драматический театр дает спектакли. У Гуляева покупают цветы, чтобы бросать их на сцену, под ноги артистов, сторожа ловят мальчишек, которые перелезают через невысокую обветшалую стену.

...На Сергиевской замерзший гимназист останавливается перед бревенчатым срубом. Сруб — розовый, облупившийся, по-деревенски маленький, покрытый зеленой железной крышей. Это — дом Назимова. Между окон — доска: «Здесь временно проживал А. С. Пушкин».

...Кадетский корпус на той стороне, за толстой красивой железной решеткой. Говорят, что в честь императора Николая Первого он перестроен в форме буквы Н. В этом мог убедиться Уточкин, если у него было время, чтобы взглянуть на кадетский корпус, когда он пролетал над ним. Два длинных параллельных здания соединены третьим, коротким — это черточка в букве Н. Всегда свежеокрашенная сторожевая будка у ворот означала римскую цифру I.

Я любил смотреть, как на плацу маршируют кадеты. Фельдфебель командовал хрипло, самозабвенно, колонна шла, отбивая шаг, и когда раздавалось протяжное: «Кру-у...» — все еще шла, хотя вот-вот должна была с размаху врезаться в решетку... «Гом!» — радостно кричал фельдфебель, и, строго держа равнение, колонна делала полный поворот.

...В стройной красной кирпичной кирхе на Сергиевской зажигается свет, начинается служба. Я был в кирхе несколько раз, и мне понравилось лютеранское богослужение. Молиться можно было сидя за партами: пастор одевался скромно, во всем была простота, с которой странно не связывалась музыка органа. Мне казалось, что эта торжественная музыка и была богом, которому молились лютеране.

...Люся из магазина «Эврика» перебежала дорогу — и в булочную, кокетливо запахнув жакетку! Сейчас выйдет с парой горячих саек для хозяина, про которого говорили, что он «ни одной не пропустит». Не совсем было ясно, что значит «не пропустит» и вообще как он мог «пропустить», например, Люсю, если она работает в его магазине? Впрочем, я догадывался, что это значит.

...Магазины закрываются.

На витрине — китайские вазы и фарфоровый кот: чаеторговля Петунина и Перлова.

Серебряная посуда, солонки, ложки, ножи. Магазин Сигаева, в котором восьмиклассники заказывают выпускные жетоны.

Колбасная Дайбер.

Булочная Шоффа.

Магазин «Любая вещь — двадцать копеек».

Вольфрам — писчебумажные принадлежности, учебники, книги.

...Гимназист идет по Великолуцкой, и все преображается вокруг него, медленно, но невозвратимо.

Только что высокая гимназистка с буквами МЖГ — Мариинская женская гимназия — на форменном берете прошла мимо него. Улыбнулась, спросила: «Холодно?» — и сразу же свернула на Сергиевскую, стройная, в осеннем пальто, с заиндевевшей прядью волос, волшебно выбившейся из-под берета. Снег поскрипывает, поблескивает, вьется. Почему она улыбнулась ему? Снег вьется, в снегу вспыхивают и гаснут синие металлические искры. Извозчики сидят на козлах маленьких санок, звонко хлопая рукавицами, чтобы согреться. Вперед-назад, вперед-назад.

Он — на Ольгинском мосту, внизу белеет Великая, морозная темнота спускается с неба, звезда падает, прежде чем он успевает загадать желание. Спросила: «Холодно?» — и пропала, точно растаяла в молочном свете газовых фонарей...

КТО ЖЕ Я?

1

Впервые я влюбился в хорошенькую Марусю Израилит, ту самую, из-за которой я провалился в приготовительный класс. Почему-то мне всегда хотелось выкинуть что-нибудь, когда я видел Марусю, хоть покривляться, и я завидовал брату Саше, который мог пройти на руках, а однажды, показывая «солнце», грохнулся прямо с трапеции к ее ногам и вывихнул руку.

Было совершенно очевидно, что если нет никакой надежды на взаимность, надо покончить с собой. Но, с другой стороны, мне хотелось устроить так, чтобы я и покончил самоубийством, и остался жив, потому что мне было интересно, как подействует на Марусю мой решительный шаг. Поэтому я не стал скрывать своего намерения от брата Саши и решил повеситься в его присутствии, чтобы, в случае необходимости, он мне как-нибудь помешал. Нельзя сказать, что Саша отнесся к моему намерению равнодушно. С большим интересом он наблюдал, как я прилаживаю веревку к задвижке на русской печке, и, сунув свой острый нос, немного поправил петлю. «Этак еще оборвешься, пожалуй»,— сказал он. Ему было интересно, объяснил он впоследствии, как далеко я зайду в своем намерении, или, иными словами, достаточно ли у меня сильная воля.

Я поставил к печке табурет, влез на него и, дрожа, надел петлю на шею. Все это делал уже как бы не я, а кто-то другой, решивший доказать, что все должно произойти так, как он задумал, даже если это было страшно и трудно. Саша смотрел на меня, поджав губы, с вниманием натуралиста, впервые встретившего в природе любопытное, еще никем не описанное явление. Я толкнул ногой табурет — и, без сомнения, не писал бы сейчас эти воспоминания, если бы в кухню не вошел с улицы денщик отца Василий Помазкин. Они оба закричали, Саша — что-то насчет развития воли. Василий подхватил меня и осторожно вынул из петли. Сашу он слегка двинул по затылку, решив, что это — его затея...

2

Прошло несколько лет, прежде чем я влюбился снова.

В теплый августовский вечер я ждал Марину Барсукову на той стороне Великой, подле часовни святой Ольги, не зная, как мне держаться с такой умной девочкой и о чем разговаривать, прежде чем я начну ее целовать. Может быть, упомянуть как бы нечаянно, что я посвятил ей стихотворение, начинавшееся:

> Да, чернокудрая, ты властна и сильна,
> Хранишь отмстительной рукою
> Младую честь... Кому ж ты суждена
> Пожертвовать девическим покоем?

Или встретить ее сдержанно, тем более что она уже опоздала на пятнадцать минут?

Марина была пряменькая, в пенсне, не очень хорошенькая, но уверенная, что очень. Она свободно говорила по-французски и держалась немного загадочно, как бы давая понять, что знает многое, о чем я не имею никакого понятия.

Вообще она мне не нравилась, так что было не совсем ясно, почему мы назначили друг другу свидание. Но в сравнении с привлекательностью и соблазнительностью самого свидания не имело почти никакого значения, что Марина не нравилась мне или что я не очень нравился ей.

Она была дочкой директора и владельца новой женской прогимназии, помещавшейся недалеко от часовни. Одно из окон было открыто, женский голос пел романс Чайковского. Я нетерпеливо шагал вдоль берега. «Еще пять минут — и уйду». Но прошли эти пять минут, и я назначил себе еще десять.

Мягкие тени скользили по Великой, растворяясь в подступающих сумерках. За Ольгинским мостом неподвижно стояли темные лодки рыбаков. Длинное удилище вдруг вырезалось из полутьмы, описывая полукруг, и наживка с легким плеском падала в воду. На той стороне, в городе, неторопливо, уютно зажигались огни. Должно быть, в романсах Чайковского, которые пел незнакомый приятный голос, были и эти лодки, и розовые сумерки, и тени, скользившие по воде. Но мне, разумеется, и в голову не приходило, как необыкновенно хорош этот вечер. Взволнован-

ный, я шагал вдоль берега и сердился на Марину. И вдруг я понял, что поет она.

С Великой потянуло прохладой, я был в летней коломянковой рубашке, по спине пробежала легкая дрожь. В часовню зашла женщина, и перед образом святой Ольги мягко загорелась свеча.

Что делать? Подойти к окну и крикнуть: «Марина!»? Услышат родители. Хромой серьезный бородатый Барсуков, которого уважал весь город, спустится по лестнице и холодно спросит:

«Что вам угодно?»

Марина спела «Средь шумного бала» — и очень недурно. Потом «Мы сидели с тобой у заснувшей реки» — что обидно не соответствовало действительности.

У меня зуб не попадал на зуб, когда она пришла наконец — тоненькая, в черной мантильке, накинутой на узкие плечи. Надо было сказать что-нибудь умное, и я сказал, что у нее прекрасная дикция. Она с достоинством кивнула. Мне захотелось прибавить, что она кривляка, но я удержался. Потом я прочел ей свое стихотворение, и Марина, подумав, заметила, что, по ее мнению, мне совершенно не удалась вторая строфа:

На девственные плечи в сотый раз
Гляжу и мучусь мукой тайной,
Безумной мыслью, что в урочный час
Их тронул, может быть, счастливец неслучайный.

Меня трясло от холода и волнения. Мы помолчали, а потом все-таки стали целоваться, неумело прижимая к губам сжатые губы.

3

В годы моего отрочества я был влюблен почти всегда и уж без сомнения задолго до того, как стал догадываться об этом. Все приобретало особенный, благодарный интерес. Едва познакомившись с девочкой, которая нравилась мне, я уже испытывал чувство счастья.

Но в счастливом желании понравиться была и значительность, волнующее ожидание встречи. Разговоры, кончавшиеся поцелуями, были для меня важнее даже чтения, без которого я, казалось, не мог бы существовать. Но ничего счастливого или значительного я не чувствовал,

когда видел нянькину племянницу Зою. Она была веснушчатая, быстрая, рыжая. Отец у нее был поляк. Она жила в Лодзи, но часто приезжала в Псков к няньке, потому что в Лодзи — хотя она ее очень хвалила — никто не хотел на ней жениться.

Просыпаясь, я сразу начинал прислушиваться к стуку ее быстрых шагов: она так и летала по дому. Вернувшись из Польши, она показывала свою разорванную фотографию. Какой-то кавалер снял ее, когда она купалась, потом стал показывать на свидании, и она отняла, но не всю фотографию, а только до талии. И кавалер сказал: «Не беда, главное осталось». Должно быть, это казалось Зое очень остроумным, потому что она все повторяла, смеясь: «Главное осталось». Я смотрел на нее, но не на всю сразу, а как-то отдельно — на полную грудь, ноги, на некрасивое живое лицо с улыбающимися глазами, на рыжие, легко рассыпавшиеся волосы — и завидовал Саше, для которого очень просто было то, что казалось мне невообразимо сложным.

...Может быть, это было продолжение сна, но в то утро я проснулся с ощущением приговора. Я был приговорен — так мне снилось — к тому, что непременно должно было случиться в течение дня. Но одновременно я почему-то напряженно, страстно желал, чтобы этот приговор осуществился.

С этим-то необъяснимо грустным чувством я долго лежал в постели, прислушиваясь к быстрым шажкам Зои. Она служила теперь в аптеке Лурьи и не жила у нас, а только приходила, чтобы помочь няньке, которая стала сильно пить и хворать. Вот она побежала в столовую, на кухню, на лестницу черного хода. Я положил руку на сердце. Потом вскочил, оделся и с разгоревшимся лицом пошел к Зое.

Нянька кряхтела на лежанке, и ничего было нельзя, хотя Зоя, месившая тесто, только засмеялась, когда дрожащей рукой я поправил прядь ее волос, выбившуюся на слегка вспотевший лоб. На висках, тоже от пота, завились колечки.

— Жарко,— сказала она.

Верхняя кнопка на кофточке отстегнулась, и, когда Зоя месила, незагоревшая полоска груди открывалась и закрывалась.

— Идите, идите.

Она стала обтирать с пальцев тесто, потом поймала

край кофточки губами и стала ждать, когда я уйду. Нянька лежала лицом к стене. Я взял Зою за плечи. Она шутливо замахнулась, потом сказала одними губами:

— Вечером, когда пойду застилать постели.

Со странным чувством, что все вокруг плывет и колеблется, как раскаленный воздух, я вышел на улицу. Мне казалось, что все смотрят на меня и нужно говорить и ходить как-то иначе, чем прежде. Вечером — это значило в восемь часов. Перед ужином Зоя застилала родителям постели.

Стараясь не думать и неотступно думая о том, что произойдет, когда Зоя пойдет стелить постели, я пошел на Великую и долго бродил по берегу, распахнув шинель. Мне было жарко, щеки горели. Мороз был небольшой, но с реки задувал ветер. У меня болел бок, и я вспомнил, что весной провалялся две недели с плевритом. Чуть заметная косая дорожка была проложена по Великой к Мирожскому монастырю, какие-то закутанные люди тащили санки с поклажей.

День был воскресный, и накануне я решил, что с утра засяду за алгебру. Четверть кончалась, и Остолопов, который еще не спрашивал меня, мог вызвать к доске в самые ближайшие дни. Но эта мысль, так же как все, о чем я думал вчера, мигом канула куда-то, точно ее сдуло ветерком с Великой.

Я вернулся домой, пообедал и снова ушел. Было еще только три часа, но я почему-то торопился, и мне хотелось, чтобы все, что происходило на свете, происходило быстрее. Между тем все было совершенно таким же, как прежде,— дома, улицы, люди. Молодой бородатый мужчина в тулупе встретился мне на Великолуцкой и широко улыбнулся. Это был Володя Гельдт, городской сумасшедший. Он был сын богача Гельдта. Он ходил улыбаясь, показывая прекрасные белые зубы, и вдруг его румяное лицо становилось озабоченным, грустным.

Володя тоже был совершенно такой же, как прежде.

Саша с Вовкой Геем фехтовали, когда я вернулся домой,— время от времени отец покупал полагавшуюся ему по форме новую шпагу, и нянька вместо кочерги мешала старой шпагой в печах. Я тоже пофехтовал.

Смеркалось, но времени было еще много, и я уселся один в нашей комнате, где через двор видны освещенные окна соседнего дома. Женский силуэт неторопливо прошел за одним окном, потом за другим,— тонкий, словно

вырезанный из бумаги. Часы тикали под подушкой, и, должно быть, я не заметил, как лег на кровать, потому что теперь достал их лежа и старался рассмотреть в темноте. Половина восьмого. Теперь скоро.

Тик-так. Еще минута. Я встал и согнулся набок, как учил меня доктор Ребане. Да, болит. Не нужно было так долго, распахнув шинель, стоять на берегу Великой.

Что же я должен сказать, когда увижу ее, смелую, смеющуюся, страшную, все знающую и ничуть не стесняющуюся того, что должно произойти между нами? В спальне родителей? Ведь кто-нибудь может войти? Значит, все это должно случиться быстро? В пять минут? Или еще скорее?

Я зажег свет и достал с полки энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Лодзь, оказывается, была уездным городом Петраковской губернии. Пять шоссированных дорог соединяли ее с промышленными центрами Польши. Экономическое развитие Лодзи по своей быстроте напоминает, оказывается, Северо-Американские Штаты. Энциклопедия была горячая и почему-то рвалась из рук, так что мне пришлось положить на нее голову, чтобы она не убежала.

Саша вошел, когда я наваливал на нее гири, коньки, ботинки.

— Что с тобой?

Он взял меня за руку.

— Э, брат, да у тебя сорок.

Я сказал, что у меня не сорок, а двадцать одно и что умней Краевича не будешь. Пять дорог соединяют Лодзь с промышленными центрами Польши, а Марина Мнишек ждет меня на углу.

И с тяжелым плевритом меня уложили в постель.

Чувство приговоренности осталось у меня надолго — и после того, как я поправился и стал ходить в гимназию, и после того, как между Зоей и мной произошло то, к чему она относилась так беспечно, а я с волнением, перед которым был беспомощен и порывисто неуверен. Мы встретились в Соборном саду, отгороженном полуобвалившейся крепостной стеной от стрелки, где Пскова сливается с Великой.

Зоя пришла в старенькой жакетке с кокетливо поднятым воротником, но сейчас же сняла ее и положила под деревом.

— Изомнете.

И оказалось, что можно говорить о самых обыкновенных вещах, оставшихся такими же обыкновенными, несмотря на то что вдруг оборвалась лихорадочная поспешность, от которой я не находил себе места.

Зоя убежала, торопилась домой. Я взобрался на стену и стал смотреть на редкие огоньки, раскинувшиеся здесь и там на реке,— рыбаки с мережами выехали на ночь. Неужели так будет всегда?

ИЮЛЬ 1914-го

1

Никто не помнит в наше время о спиритических сеансах, которые в предвоенное время устраивались почти в каждом доме. Известно было, например, что, когда в газете «Псковский голос» губернатор барон Медем был назван «баран Медем», в семействе вице-губернатора имя преступника (хотя газета извинилась за опечатку) пытались выяснить с помощью спиритического сеанса.

У нас тоже иногда устраивались такие сеансы. За небольшой деревянный стол садились четыре-пять человек, клали на него, касаясь пальцами, растопыренные руки, и стол начинал двигаться, подпрыгивать и стучать. Но считалось, что стучит не стол, а души умерших людей, которых кто-нибудь — обычно Лев, приехавший на каникулы,— вызывал с того света. Можно было, например, вызвать Александра Македонского: «Александр Македонский, ты здесь? Если да, постучи два раза». Стол поднимался и стучал ножкой два раза. К великим людям в таких случаях почему-то всегда обращались на «ты».

Многие считали, что это ерунда. Но я своими глазами видел, как одна актриса упала в обморок, когда с того света вызвали ее мужа. Лев спросил, способен ли он «материализоваться», то есть явиться к ней в один прекрасный день. Стол постучал «да», и она брякнулась, а потом ее еле привели в чувство.

Это называлось «столоверчение». Но устраивались еще спиритические сеансы с помощью листа бумаги, на котором вкруговую была написана азбука. Это было интереснее: души умерших отвечали уже не только «да» или «нет», а вели целые разговоры. Блюдечко с нарисованной стрелкой клали посередине азбуки, а потом садились за

стол, соединив пальцы. Считалось, что души умерших разговаривали с живыми.

...Был жаркий, июльский, утомительный день. Я давно косолапил, ставил носки немного внутрь, и, по совету Льва, ходил, выворачивая ноги по возможности дальше, чем нормальные люди. Оказалось, что это трудно — главным образом потому, что при этом выворачивались ладонями наружу и руки. Но я ходил все утро, потом пообедал и снова стал ходить.

Когда я вернулся домой, у нас шел спиритический сеанс. В столовой сидели Лев, Лена, сестры Черненко, один вольноопределяющийся и Пулавский. Сестры были хорошенькие девушки, а Пулавский был медиум — так называется личность, которую души умерших особенно уважают и даже предпочитают через нее обращаться к живым. Но живые как раз не особенно уважали Пулавского. Лев говорил, что он — дурак, и действительно, эта мысль иногда приходила в голову. Приехав в Псков, Пулавские оставили у нас свои вещи, а потом он метался по всем комнатам — высокий, грузный, с обвислыми усами — и кричал: «Где мои рога?» Это было смешно, потому что у него была жена, которая ему изменяла. Весь дом, умирая от смеха, искал его рога, и наконец я нашел их в Сашином чулане. Конечно, это были не его рога, а оленьи, на которые в прихожих вешают шапки.

Поразительно, что все были как бы довольны, что ему изменяет жена. Лев и мужчины говорили об этом презрительно, а мама и сестра — с намеками, с загадочной, удовлетворенной улыбкой. И сама Пулавская — милая, бледная, воспитанная, прекрасно игравшая на рояле — тоже беспомощно улыбалась, точно от нее ничуть не зависело, что она изменяет мужу, и точно это была какая-то остроумная шутка.

Я жалел Пулавского, потому что все были против него. Но, по-видимому, он был действительно глуп, хотя бы потому, что утверждал, что с помощью спиритизма можно угадывать мысли на расстоянии. Тогда почему же он не мог, находясь в двух шагах от своей жены, разгадать ее мысли?

Он сердился, когда на спиритических сеансах начинали дурачиться. И в этот вечер тоже сердился и был похож на моржа. Оказалось, что вольноопределяющийся, который впервые был в нашей квартире, долго стеснялся спросить, где уборная. Сестры Черненко заметили это по

его поведению, блюдечко со стрелкой стало быстро крутиться, и вышло: «По коридору первая дверь налево».

Лев хохотал, а Пулавский надулся.

— Господа, позвольте мне уйти.

Никто не мешал ему, но он все-таки остался.

У меня ныли ноги, и я сел на них, уютно устроившись в кресле. Только что начало смеркаться, а для душ умерших нужен полумрак, и Лев задернул портьеры. У нас еще недавно провели электричество, и свет угольной лампочки не освещал, а как бы слабо желтил стол с блюдечком, руки, касавшиеся пальцами, и склонившиеся лица.

Теперь все были очень серьезны, потому что Лев предложил вызвать душу предсказателя Мартына Задеки, чтобы узнать, скоро ли будет распущена Четвертая Государственная дума. Предсказатель умер, оказывается, двести лет тому назад, и вполне естественно, что он ответил: «Не понимаю вопроса». Потóм Пулавский попытался вызвать своего покойного отца — коннозаводчика. Это сперва не удавалось. Блюдечко несло всякую чушь, но потом душа все-таки, по-видимому, явилась, потому что Пулавский побледнел и прошептал: «Чувствую приближение». Мне показалось, что все немного побледнели.

— Скажи, отец, будет ли война? — глухим голосом спросил Пулавский.

— Будет,— ответил коннозаводчик.

— Скоро?

— Да, очень скоро.

Потом снова пошла чушь, а потом Пулавский сказал:

— Укажи, отец, кому из нас суждено пасть первым.

Блюдечко как бы задумалось, потом стало медленно вращаться и остановилось против одной из сестер Черненко. Но коннозаводчик не был уверен, что именно она должна пасть первой, потому что стрелка поползла дальше и указала на Льва. Однако Льву, по-видимому, тоже не хотелось умирать, потому что после некоторых колебаний блюдечко быстро завертелось и попробовало совсем выйти из круга.

Все это было, конечно, жульничество. Я не сомневался, что они просто смеются над Пулавским — и сестры Черненко, и Лев, и вольноопределяющийся, который отлучился ненадолго и вернулся веселый. Наконец стрелка остановилась против Пулавского, и он трагически прошептал: «Ну что ж, божья воля».

...Пора было спать, а я все сидел в кресле, глядя на них слипающимися глазами. Они снова заспорили о материализации и вызвали Петра Великого, чтобы с его помощью решить этот вопрос. Петр попытался было увернуться, но потом все-таки сообщил, что готов явиться одному из нас.

Конечно, это тоже была выдумка Льва, потому что стрелка повертелась немного, а потом остановилась между сестрами, указав на тот темный угол, в котором я сидел, забившись в кресло с ногами.

— Странно,— фальшивым голосом сказал Лев,— он хочет явиться Вене.

Все посмотрели на меня. Я сильно покраснел и встал. Это уже было не просто жульничество, а свинство, потому что Лев прекрасно знал, что я боюсь темноты. И все-таки он сказал:

— Погасим свет.— И добавил: — Ты не боишься?

Я не просто боялся, а дрожал как осиновый лист, и мне хотелось со всех ног удрать из столовой. Но это было невозможно, и я удержал себя силой, заставил ноги стоять, а дрожащие губы небрежно выговорить:

— Конечно, нет.

Лев погасил свет, все вышли на цыпочках, и я остался один. Свет уличного фонаря стал виден не сразу, сперва где-то между портьерами. Было очень тихо, только газетчик прокричал на Гоголевской, под нашим балконом: «Экстренный выпуск!» Я стоял помертвев и теперь уже наверное знал, что сейчас портьеры раздвинутся и встанет Петр — в ботфортах, огромный, в шляпе с загнутыми меховыми полями, с белым лицом, на котором страшно чернеют усы. Что-то звякнет, и он шагнет ко мне, глядя прямо перед собой невидящими глазами...

Все вернулись, зажгли свет и стали спрашивать меня — все-таки с беспокойством. Сестра что-то сердито сказала Льву. Он спросил: «Испугался?» Я нарочно хотел засмеяться, чтобы показать, что ничуть. Но дыхание прервалось, и, подойдя к Льву, я изо всех сил закатил ему оплеуху.

Это было все равно, как если бы я ударил самого господа бога. С искаженным от ужаса лицом бросился я из столовой и, не зная, куда спрятаться от Льва, который — так мне показалось — сейчас убьет меня, побежал в переднюю.

Нянька открывала кому-то парадную дверь. Взволнованный отец Кюпар вошел со словами:

— Всеобщая мобилизация, господа. Мы предъявили Австрии ультиматум.

Отцу выдали походный сундучок, флягу, складную койку. На внутренней крышке сундучка за кожаными петлями торчали ложка, вилка с ножом и тарелка. Койка была хорошая, легкая, и мы с Сашей быстро научились собирать и разбирать ее, так что отец пошутил, что следовало бы взять нас с собой. Он все как-то покряхтывал, было видно, что ему не хочется на войну. Он мог остаться, потому что ему было больше пятидесяти лет, но тогда пришлось бы выйти в отставку, а он служил в армии всю жизнь и считал, что нет ничего лучше, чем военная служба.

— Армия, армия, армия — только! — говорил он.

Через два дня он стоял, махая палочкой, перед своей командой на Псковском вокзале. Бабы плакали, и в невообразимом шуме паровозных гудков, громыхания колес, топота ног солдат, вбегающих по доскам в товарные вагоны, веселый марш Преображенского полка был почти не слышен. Солнце поблескивало на медных тарелках, которые часто и звонко ударялись одна о другую. Отец стремительно махал палочкой, и мне было неловко за него, точно он вместе со своей командой притворялся, что не замечает плачущих баб, растерянности, пыли над перроном, всего, что вдруг стало называться войной.

В открытой коляске с лакированными пыльными крыльями приехал командир полка Дашкевич-Горбатский. У него тоже были усы, но не острые, как у отца, а как бы распространявшиеся по лицу. Все смотрели, как он ловко соскочил с коляски, подал руку жене, а потом с бравым видом подошел под благословение архиерея. Мне показалось, что и архиерей благословил его как-то лихо. Оркестр умолк. Все снова стали прощаться. Бабы заплакали, закричали. Но эшелон стоял еще долго, часа полтора.

Отец подошел. Мне захотелось пить; он налил из своей фляжки в завинчивающийся металлический стаканчик. Он был озабочен, негромко говорил с мамой, но мне казалось, что теперь ему уже нравится идти на войну.

Наконец командир полка стал прощаться с женой, которая была во всем белом, кружевном, в шляпе с птицей, сидевшей на широких полях. Они поцеловались, а потом картинно, крест-накрест, поцеловали друг другу руки.

Оркестр, который почти все время играл, хотя его никто не слушал, погрузился в вагоны, поезд тронулся, и вместе с ним двинулась вдоль перрона вся шумная, пыльная, кричавшая, плакавшая толпа.

Отец еще был виден среди офицеров, стоявших на подножке. Он махал нам рукой. Мама сняла пенсне и молча вытерла слезы.

2

Отец ушел на войну, и поразительно, как мало изменилось в доме! Сперва полк стоял под Варшавой, потом был переброшен на Западный фронт. Узнали о смерти поручика Рейсара, бравого офицера, всегда немного пьяного, почему-то носившего серьгу в мочке левого уха. Поохали, поогорчались.

Отец прислал свою фотографию. Он был в папахе, с черно-седыми усами на похудевшем лице, верхом, серьезно-грустный. Посадка была не кавалерийская, живот слегка выдавался. На груди — медали. Эта фотография у меня сохранилась. Погордились, написали ему, поздравили — и все пошло как прежде, когда он уходил в свою музыкантскую команду и к вечеру возвращался домой. Мать вспоминала о нем, жалела. Но редко, редко!

...Он вернулся из госпиталя в неподходящий день — накануне вечеринки, которую старшие решили устроить на рождественских каникулах, хотя мама считала, что во время войны, когда в город ежедневно привозят раненых, нечего устраивать вечеринки. Но Лев был «за». И еще важнее, что «за» был тенор Вовочка, который снимал у нас комнату и в которого все были влюблены, даже Саша, аккомпанировавший ему на рояле.

Словом, все были огорчены, когда вернулся отец, потому что уже настроились на праздничный лад. В гостиной, которая была больше, чем столовая, накрывали на стол, а в столовой хорошенькие сестры Черненко клеили цепи для елки. Студенты помогали им, и весь стол был завален золочеными орехами, картинками, коробочками и ангелочками с крыльями из ваты. Конечно, отец сразу заметил, что все помрачнели, когда он пришел,— испугались, что устроит скандал. Сестра сказала маме: «Даже сердце упало», и мама ответила: «А кто говорил, что не надо было этого делать?»

По-видимому, состоялся совет, на котором было реше-

но, что Лев поговорит с отцом. Я не слышал этого разговора, кроме самого начала, когда Лев начал издалека, а отец мрачно усмехнулся, услышав этот задушевный непривычный тон. Они ушли, а потом Лев вернулся и сказал маме: «Обещал». И пожал плечами: очевидно, не был уверен, что отец сдержит обещание.

Он сидел за столом, похудевший, больной, с неестественно черными, покрашенными усами, в парадном мундире,— захворал на позиции, и доктора думали, что язва желудка. Студенты смеялись, было шумно. Нам с Сашкой разрешили сидеть до двенадцати, и мы наелись до отвала — с провизией тогда было уже туговато, а за ужином все было вкусное и много. Так что некогда было смотреть на отца. Но я все-таки посматривал: за столом было тесно, и там, где он сидел,— тоже. Но вместе с тем вокруг него чувствовалась какая-то пустота, хотя Лев нарочно громко чокнулся и выпил за его здоровье. Отец пригубил и поставил рюмку на стол. Видно было, что он очень жалеет, что дал ему обещание.

И на другой день скандал все-таки разразился.

Тенор Вовочка был мужчина жгучего вида, с толстой грудью и страстно раздувающимися, когда он пел, ноздрями. У него был хороший голос, который помог ему устроиться в тылу,— и действительно было бы очень жаль, если бы немцы убили такого талантливого человека. Но отцу не понравилось, что Вовочка таким образом воспользовался своим талантом. Отец сразу же с презрением сказал о нем: «Дерьмо». Это показалось мне кощунством, потому что, кроме Льва, который относился к тенору иронически, весь дом благоговел перед ним.

Он снимал у нас лучшую комнату и, по-моему, не платил. Нянька ворчала, что он много жрет, не по уговору, поскольку его вообще не брались кормить. И действительно, говоря об искусстве, он съедал по две тарелки супа и по пять котлет. Саша утверждал, что это адефагия, или неутолимый голод, и для науки интересен вовсе не Вовочкин голос, а как раз его аппетит. Во всяком случае, это было накладно.

Пел он очень охотно, и почему-то чаще всего — романс «Тишина». Я помню, как Лев, войдя в столовую с Летаветом, сказал ему, беспомощно раскинув руки: «Этакая «тишина», изволите ли видеть, у нас с самого утра!» Но женщины слушали Вовочку с религиозным выражением на лицах — так на них действовал его тенор.

По-видимому, отец сразу потребовал, чтобы Вовочку выгнали из дома. Но мама объяснила, что надеется выдать за него свою сестру Люсю, и тут нечего было возразить, потому что это действительно было бы доброе дело. Мамина сестра была еще молода и с успехом играла в любительских спектаклях. У нее были прекрасные волосы до пят. Когда я слышал об этих волосах, мне всегда представлялась картинка в учебнике географии: «Первобытные люди». Она была еще девушка и нравилась Вовочке,— по мнению мамы, он уже обратил на нее внимание. Нам с Сашей казалось, что они уже давно обратили друг на друга внимание и что именно поэтому мало надежды, что ей удастся выйти за него замуж. Но отца удовлетворило мамино объяснение.

За обедом он молчал и старался не смотреть на тенора, хотя не мог удержаться от замечания, что он превосходно поправился,— несколько странно, поскольку он впервые увидел его лишь накануне. Но когда после обеда Вовочка зашел к маме, отец стал ходить по квартире оглядываясь, с изменившимся лицом. Он ходил в ночных туфлях, в военных брюках галифе со штрипками, и губы у него набухали.

Я готовил уроки, он подошел и спросил: «Давно он у вас?» Тенор жил давно, но я осторожно сказал: «Не очень». Потом я стал рассказывать, как он хорошо поет, почти не хуже Собинова, и что, если бы он захотел, его без разговоров приняли бы в Мариинский театр. Я заметил, что рассказываю как-то поучительно, точно в назидание отцу, и что мне самому это немного противно. Отец послушал, а потом сказал: «Те все — большие сволочи, а ты — маленькая сволочь». Я видел, что ему до смерти хочется устроить скандал и он удерживается только потому, что дал обещание Льву.

Он ушел к себе и занялся туалетом — должно быть, решил пойти куда-нибудь из дома. И возможно, что все обошлось бы благополучно, если бы Вовочка не запел в маминой комнате: «Тишина, тишина».

Потом Саша утверждал, что отец взорвался потому, что тенор сфальшивил и вместо ля-бемоль взял си. Но, конечно, Саша мог так шутить только потому, что не видел отца в эту минуту. Темно-белый, с забытыми на лице прозрачными наусниками, он вышел из своей комнаты и, легко шагая, прошел в Вовочкину. Теперь ему было уже все равно, и то, что он увидел у тенора свое зеркальце

для бритья, пригодилось ему просто для начала. Он бросил зеркальце на пол, раздавил каблуком и бешено обернулся, словно кто-то подошел к нему сзади. Потом сорвал занавески с окон и, запутываясь в них, швыряя, стал сокрушать все без разбора, сперва руками, а потом, когда он их порезал, стулом, которым с размаху двинул по люстре.

Нянька побежала к маме, замок щелкнул в двери. Это была ошибка, потому что женщины испугались за Вовочку и он остался в маминой комнате. Было бы разумнее, если бы он убежал. Опустив голову, с полузакрытыми глазами, отец вышел из комнаты, держа в руке обломок одного из тех дубовых стульев, которыми так дорожил. Сейчас же он бросил этот обломок и, зайдя на кухню, взял с полки большой медный пестик.

Нянька закричала: «С ума сошел!» Он отшвырнул ее и, размахивая пестиком, подошел к маминой двери. Мама была больна. Утром у нее была сердечная слабость, и Вовочка зашел ее проведать, хотя, конечно, мог бы в подобном случае не петь.

Раз! Дверь затрещала, и я услышал, как в столовой истерически заплакала Люся. Два! Нянька побежала за дворником. Он пришел с вожжами и стоял, нерешительно почесываясь и переступая. Три! Дверь затрещала, и мама встала на пороге, бледная, без пенсне, в голубом капоте.

— Опомнись, что с тобой?

Отец бросил пестик. Они постояли немного, потом обнялись и заплакали. Я тоже заплакал, а нянька сказала громко, на весь дом:

— Слава богу! — И, повернувшись к дворнику, добавила: — Иди домой.

Отец уехал в Петроград — оказалось, что у него язва желудка. Там ему поставили сто семьдесят льняных припарок, и, вернувшись, он показывал мне свой коричневый, обожженный живот.

СТАРШИЙ БРАТ. УНИВЕРСИТЕТ

1

Мать беспокоилась за старших — из Петрограда то и дело доносились слухи о студенческих беспорядках. Время от времени она проводила два-три дня в постели, дер-

жа на сердце блин из белой глины, как ей советовал петроградский профессор Гизе. Но вот блин перестал помогать. В семье заговорили — почему-то шепотом,— что Лев дрался на дуэли и ранен.

Мать, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы его не исключили из университета, пошла к юристу, который сказал, что обидчик, обнаживший оружие, подвергается лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Оставалось надеяться, что Лев — не обидчик.

Отцу о дуэли не сказали. Дядя Лев Григорьевич молодецки тряхнул головой и поправил кончиками дрожащих пальцев поредевшие, поседевшие усы (он давно уже снова отпустил их).

А я... Боже мой, какое смятение нахлынуло на меня! Дуэль, поединок, вызов — эти слова всегда загадочно волновали меня.

То был приятный, благородный
Короткий вызов, иль картель...

От одного этого слова звездочки бежали по моей спине.

А дуэль в тургеневском «Бретере», когда угрюмый, притворяющийся равнодушным гордецом Лучков убивает милого, искреннего Кистера накануне его свадьбы! А «Три портрета»! На дуэли дрались, когда была задета честь; на дуэли дрались ножницами, как в «Сент-Иве» Стивенсона. На дуэли дрались из честолюбия, из мести, из подлого расчета, ответный выстрел откладывался, чтобы убить противника, когда он будет счастлив! Все чувства перекрещивались, поспевая друг за другом, связываясь и распадаясь, участвовали в дуэли. Все ли? А трусость?

Да, это был не прыжок на сосну, даже если она росла на отвесном склоне. Не плаванье под плотами. А уж то, что я подошел к Альке, вопреки приказу Бекаревича, ну что ж, в самом худшем случае я провел бы в карцере воскресенье.

Но как держался бы я под наведенным в десяти шагах пистолетом? Хватило бы у меня силы воли, чтобы стоять, гордо подняв голову и сложив руки на груди? Или, чего доброго, я пустился бы опрометью в кусты, как перепуганный заяц?

О, я не сомневался в том, что брат держался, как пушкинский герой, который под пистолетом выбирал из фу-

ражки спелые черешни, выплевывая косточки, которые долетали до Сильвио!

В знакомой музыкальной семье Лев был представлен девушке, учившейся на курсах иностранных языков в Петербурге, и стал часто бывать у нее.

«Кира любила поэзию, и я часто читал ей Верлена, Бодлера, Сологуба, Тютчева при свете несильной лампы, стоявшей рядом с креслом и освещавшей только книгу,— пишет он в своих воспоминаниях.— Наши отношения были чисто дружеские. Вероятно, они не остановились бы на этой границе. Но Гамсун научил нас думать, что завершенность — это падение, что счастье, героика — в стремлении к цели, но не в ее осуществлении. Пагубная поэзия незавершенности владела тогда мною, как и многими другими. Это настроение тогда было особенно сильным, ибо совсем недавно мой первый «завершенный» роман оказался построенным на песке».

Верлен, Бодлер, «свет несильной лампы», «пагубная поэзия незавершенности» — все это черты, в которых я с любовью узнаю старшего брата. У него было свое, очень молодое и оставшееся на всю жизнь молодым отношение к изящному — гимназическое, псковское, сложившееся в спорах десятых годов, когда в жизни поколения небывалое до тех пор место занимало искусство.

«Однажды мы сидели, молчали и слушали Вагнера «Тристана и Изольду» (сестра Киры, игравшая на рояле в соседней комнате, была первоклассной пианисткой). Стук в дверь — и в комнату вошел поручик Лалетин... Сначала молчали. Потом завязался разговор. Через несколько дней он должен был уезжать на фронт. Неужели уедет, так и не получив от Киры определенного ответа?»

Возможно, что этот разговор действительно происходил под звуки «Тристана и Изольды»,— впоследствии, в рассказе брата о его дуэли, эта подробность не упоминалась.

«Я был лишним и хотел проститься. Кира ни за что не отпускала меня. Она шутила, говорила, что будет ему писать, что не рождена для трагедии, что все решится, когда кончится война. Он ответил, что, если не получит ответа до отъезда, он «перестреляет студентов, которые морочат ей голову дурацкими стихами». Я попросил его быть сдержаннее, он ответил грубым ругательством и выскочил из комнаты. Кира смеялась».

Нетрудно предположить, что поручик не читал Гамсуна и сомневался, что брат склонен к «пагубной поэзии незавершенности».

«На следующий день меня посетили его два приятеля и передали мне вызов на дуэль. Дуэль состоялась 12 апреля 1915 года.

Дистанция была 12 шагов. Каждый противник не делает более двух выстрелов. Порядок выстрелов — по жребию. Лесная поляна, на которой мы стояли, сняв верхнюю одежду, была залита солнцем. Это был первый по-настоящему весенний день. Снег местами уже стаял, и на прогалинах была видна прошлогодняя трава. Весенний воздух был свеж.

Мы написали записки: «В смерти никого не винить» — и положили в свои карманы. Я вытащил первый и четвертый номер.

Передо мной в одной рубашке стоял высокий, широкоплечий, розовощекий молодой человек с правильными чертами лица, с узковатым подбородком. Он смотрел на меня вызывающе. Никакого желания стрелять в него у меня, конечно, не было. Но я ясно сознавал, что он убьет меня если не вторым, так третьим выстрелом. Как же лишить его этой возможности? Мой выстрел был первый. Я поднял пистолет и стал целиться в голову. В его глазах было презрение и ненависть, но правая опущенная рука слегка вздрогнула. Я перевел прицел на грудь, потом на живот. Чуть заметно живот втянулся. Правая рука опять вздрогнула. А что, если стрелять в щель между правой рукой и туловищем, почти под мышку? При отклонении в ту или другую сторону будут порваны или мышцы руки, или мышцы туловища, тогда стрелять правой рукой ему будет трудно.

Выстрел. Пуля прошла ниже, чем я целил, скользнув по ребрам. Противник мог стрелять правой рукой. Один из секундантов, студент-медик, наложил ему повязку, и он поднял пистолет. Выстрелы последовали один за другим. Первая пуля просвистела над самым ухом. Второй я был легко ранен в правую кисть. Рана сильно кровоточила. Четвертый выстрел был сделан демонстративно в воздух. Мой противник уехал не прощаясь. Простреленная окровавленная манжета хранилась у меня долго — знак романтической глупости юных лет».

Она хранится и доныне, и, читая воспоминания брата, я пользовался ею вместо закладки. Толстая крахмальная

манжета с порыжевшими пятнами крови. Под надорванной петлей — маленькая круглая дырочка, след пули.

В статье «Как мы пишем» Тынянов советовал не полагаться на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его: «Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его».

Передо мной был немой, но продырявленный пулей документ. Самое присутствие его исправляло возможные неточности в рассказе о дуэли. Почему Лалетин стоял перед пистолетом, опустив правую руку? Ведь он мог поднять ее, локтем защищая сердце? Почему опущена подробность, о которой, помнится, рассказывал мне брат? Когда после выстрела запонка упала на траву, брат сделал шаг, поднял и, сунув ее в карман, занял прежнее место. Не думаю, что он пожалел грошовую запонку. Скорее это было похоже на выплевывание косточек черешни, заставившее Сильвио отложить свой выстрел.

2

Трезвость, с которой он вглядывался в будущее, ощущалась в нем почти физически: он обдумывал, взвешивал — и рисковал. Обладая даром сознательного наслаждения жизнью, он всегда готов был поступиться этим даром для достижения цели. Так он выбирал факультет.

Юридический был отвергнут за блеск и легкость, хотя внешние черты как раз соответствовали этой легкости и этому блеску — уже и тогда он был прекрасным оратором.

Отец настаивал на Военно-медицинской академии — он был верен себе: «Армия, армия!» Лев отказался, поссорившись с ним надолго, на годы. Он подал на биологическое отделение Петербургского университета, и это было одной из первых попыток угадать себя, впоследствии повторявшихся с неизменным успехом. Но от толстовского завета на гимназическом жетоне: «Счастье в жизни, а жизнь в работе» — до выбора профессии было еще далеко. Преподавателем природоведения в средней школе он быть не собирался.

Случай всю жизнь шел за ним по пятам. Это был случай из случаев: его исключительность соблазнительна для романиста.

Когда в 1915 году был объявлен первый студенческий призыв, полиция пыталась задержать студентов, собравшихся в актовом зале на общефакультетскую сходку. Брату удалось убежать. Городовые погнались за ним, он кинулся по коридору, спустился по лестнице и распахнул первую попавшуюся дверь.

Ассистент профессора Догеля сидел за столом и пил чай. Это был доцент А. В. Немилов. Не потеряв ни минуты, он накинул на Льва свой халат, усадил за микроскоп и спокойно вернулся к своему чаепитию. Дверь распахнулась... Вбежал пристав, за ним городовой.

— Виноват, господин профессор. Сюда забежал студент.

— В самом деле? Очень странно, но я его не заметил.

— Разрешите обыскать помещение?

— Ради бога. Но уверяю вас, посторонних здесь нет.

«Немилов говорил очень спокойно, барабанил пальцами по столу,— пишет в своих воспоминаниях брат.— Я сидел спиной к приставу, боясь выдать себя частым дыханием. Пристав вышел, и слышно было, как он побежал наверх».

Прошло полчаса, все стихло, брат хотел уйти, но Немилов не отпустил его. Закрыв лабораторию на ключ, он взял номерок и принес из раздевалки шинель.

«Мы еще долго сидели с ним. Он рассказывал поразившие меня факты о деятельности желез внутренней секреции и в заключение дал толстую книгу на немецком языке, посвященную этому вопросу.

— Вы читаете по-немецки?

— Плохо, к сожалению.

— Вот и учитесь по этой книге. Даю ее вам до осени.

Мы вышли. Было около восьми часов вечера — мы провели в лаборатории почти весь день. Только перейдя Неву и убедившись, что все благополучно, Немилов ушел».

Брат и раньше бывал на кафедре известного гистолога А. Г. Догеля. И все же после встречи с Немиловым начался новый отсчет времени. Не доцент Немилов, а сама биология, накинув на брата халат, усадила его на всю жизнь за лабораторный стол. Перед взглядом студента, счастливо избежавшего ареста, постепенно, с годами и десятилетиями, стала открываться такая даль, которая не мерещилась самому смелому воображению.

ЧТЕНИЕ

1

Брат Саша начал читать сразу с Шерлока Холмса, но не конан-дойлевского, с непроницаемо костлявым лицом и трубкой в зубах, а санкт-петербургского, выходившего тонкими книжками, стоившими лишь немного дороже газеты. Эти тоненькие книжки были, по слухам, творением голодавших столичных студентов. Вскоре к Шерлоку Холмсу присоединился Ник Картер, хорошенький решительный блондин с голубыми глазами, и разбойник Лейхтвейс, черногривый, с огненным взглядом, в распахнутой меховой куртке, из-под которой был виден торчавший за поясом кинжал. Украденные Лейхтвейсом красавицы в изодранных платьях и с распущенными волосами были изображены на раскрашенных обложках.

Саша рассказывал, останавливаясь в неожиданных местах, хохоча и восхищаясь. Я слушал его, чувствуя, как сладкая холодная дрожь бежит по спине, шевелит кожу на голове.

Это слушание, эта пора «до чтения» странным образом повлияла на меня, заронив сомнение в необходимости книги. Без особенной охоты я учился читать. Зачем мне этот скучный продолговато-прямоугольный предмет, в котором живые, звучащие слова распадаются на беззвучные знаки? Что мне в книгах, за которыми нет темного, как на иконах, цыганского лица няни? Нет носатого, с заросшим лбом, хохочущего брата? Нет усталого лица матери, приходившей ко мне перед сном в халате, без валика в волосах — тогда женщины носили валик.

Уже в шестидесятых годах читая «Письма и неопубликованные материалы» известного физиолога А. А. Ухтомского, напечатанные его ученицей А. А. Шур («Письма А. А. Ухтомского». «Пути в незнаемое». «Советский писатель», 1973, с. 418), я нашел ответ на эти детские вопросы: «...Были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству. Это, во-первых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им, как искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством, как почти недосягаемые исключения: это уже не искатели собеседника, а,

можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал и узнавал... Таковы Сократ из греков и Христос из евреев. Замечательно, что ни тот, ни другой не оставили после себя ни строчки. У них не было поползновения обращаться к далекому собеседнику. О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт».

Рассуждая о том, что писательство возникло из неудовлетворенной потребности иметь перед собой собеседника, Ухтомский приходит к выводу, что живая речь, по своему существу, дороже для человека, чем книга.

Я узнал в этих соображениях свою детскую неприязнь к книге, свою пору «до чтения», играющую в жизни незаметную, но важную роль.

2

Но вот наступили — и очень скоро — первые чтения. Теперь я знал, что в сказках далеко не все правда, а многое — неправда. У Кота в сапогах не было сапог, Иванушка-дурачок никогда не мчался на Сивке-бурке, вещей Каурке. Никогда не существовала пещера Лейхтвейса, о которой, еще и перевирая, рассказывал мне брат. Но для поющей дудочки в душе осталось особое место. Все было неправдой, а она — если и неправдой, так какой-то особенной, которая важнее, чем правда.

Чем же были для меня первые книги — «Серебряные коньки», «Маленькие женщины» и «Маленькие мужчины»?.. «Княжна Джаваха» и «Леди Джен, или Голубая цапля»? Они были для меня историями, которые кто-то выдумал, а потом записал, потому что ему некому было их рассказать. Не станет же взрослый человек записывать для себя эти выдумки, интересные только детям? Мне инстинктивно хотелось, чтобы они были не напечатаны, не сложены из букв, не спрятаны в картонные переплеты, а рассказаны. Разумеется, я тогда не знал, что именно так и были созданы лучшие детские книги — «Алиса в стране чудес», сказки Перро и Андерсена. Сперва рассказаны, а потом записаны. Я убежден и теперь, что для детей надо писать именно так.

3

Мне кажется, что главная черта детского чтения — театр для себя, непреодолимая и естественная склонность к театральной игре. Любовь к превращению себя в других, начинающаяся очень рано, с двух-трехлетнего возраста, сопровождается беспрестанной инсценировкой, в которой действуют созданные детской фантазией маски. В этом отношении дети мало отличаются от профессиональных актеров. «По-моему,— писала Комиссаржевская,— нельзя хорошо сыграть роль, где так часто себя узнаешь. С той минуты ты начинаешь хорошо играть, когда отрешаешься от себя и вскочишь в изображаемое лицо, а себя есть ли охота подавать?» («Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской», 1911, с. 141).

В чтении первых книг невольно участвует эта ставшая привычной любовь к перевоплощению. «Театр для себя» вдруг получает свет, реквизит, декорации, кулисы. Начинается — по меньшей мере, так было со мной — лихорадочное, неутолимое чтение. Это процесс непоследовательный, обособленный, не соотносящийся с окружающим миром, шагающий через пропасти обыденности, через машинальность — и через фантастические по своей безграмотности переводы. Автор — это характерно — безымянен, неведом, почти безразличен: Густав Эмар, Фенимор Купер. Кто стоит за этими загадочными именами? Жив или умер этот писатель? Когда, с какой целью он написал свою книгу? Не все ли равно!

Мать выписала мне журнал «Вокруг света», но он не очень заинтересовал меня. Зато от приложений — это был Виктор Гюго — меня бросало в жар и холод. Мне казалось, что лучше написать невозможно. Одна беда: тоненькие книжки этих приложений каждый месяц обрывались на полуслове. Господин Мадлен, он же — каторжник Жан Вальжан, навестив больную Фантину и собираясь уходить, ищет свою шляпу. «Не угодно ли мою?» — раздается чей-то иронический голос. Но чей? Это можно было узнать только через месяц. Целый месяц я бродил, сочиняя продолжение драматической сцены.

Но вот пришла пора, когда среди окружавших меня и могущественно увлекавших в разные стороны книг я впервые стал отбирать, отличать одни от других.

В беспредельности новых и новых открытий, в раскате невероятных происшествий я впервые почувствовал себя

не чеховским Чечевицыным, не гимназистом, мечтающим убежать в пампасы, а истинным читателем, то есть человеком, который в долгожданный час остается наедине с книгой. Этому научил меня Роберт Льюис Стивенсон, отстранив десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего не значившими именами. У нас знают Стивенсона главным образом по его роману «Остров сокровищ». Об этой книге надо упомянуть, потому что Стивенсон трогательно сказался не только в ней, но и в ее истории. Для своего тринадцатилетнего пасынка (впоследствии известного писателя) Ллойда Осборна он нарисовал карту с пиратско-мальчишескими названиями: «Холм Бизань-мачты», «Остров Скелета», а потом от имени такого же мальчика, как его пасынок, написал роман — пространный комментарий к этой загадочной карте. Однако те, кто прочитал только «Остров сокровищ», не знают Стивенсона. Он был первоклассным критиком, эссеистом, очеркистом и драматургом. Многие его произведения не вошли ни в старое Собрание сочинений (1913—1914), ни в новое, пятитомное. Английское издание состоит из тридцати томов.

Почему в неудержимом разбеге детского чтения меня остановил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора по отношению к тому, что происходит с его героями. Мне удалось нащупать его нравственную позицию, раскрывающуюся медленно, шаг за шагом. За кулисами театра-книги я увидел автора, силу его власти, направление его ума, преследующего определенную цель.

К «Острову сокровищ» был приложен портрет Стивенсона — и в тумане головокружительного чтения мне долго мерещился молодой человек с распадающейся как-то по-женски шевелюрой, усатый, сидящий за столом, держа перо в узкой руке, с нежными, требовательными чахоточными глазами. Он мог быть другим. Но именно он, и никто другой, приоткрыл передо мной таинственную силу сцепления слов, рождающую чудо искусства.

4

Русскую литературу преподавал Владимир Иванович Попов, автор хрестоматии «Отблески», которой мы пользовались, кажется, начиная с четвертого класса. В наше

время такие книги называются просто хрестоматиями, а между тем нечто привлекательное, поэтическое звучало тогда для нас и в самом названии «Отблески». Владимир Иванович был похож на свою большую, толстую, добрую книгу, но похож именно потому, что она совсем не была «хрестоматийной» в истертом, банальном смысле этого слова. Он понимал, что русскую литературу совсем не надо учить, как учат алгебру или географию. Он понимал, что надо учить не литературу, а литературой, потому что в мире не существует более сильного и прекрасного средства, чтобы заставить людей прямо смотреть друг другу в глаза. Смело рисковать во имя высокой цели. Быть не только свидетелем, но судьбой своего времени. Понимать, что захватывающе трудное — захватывающе же и интересно.

Все это относилось к нравственной стороне преподавания Владимира Ивановича. Но была и другая. В русскую литературу я ринулся с разбега, как верный подданный «Короля Самоанских островов» — так называли Стивенсона. В поэзии или прозе меня интересовала последовательность событий, их внутренняя связь. На уроках Владимира Ивановича для меня впервые открылась соотнесенность между литературой и жизнью. В Николеньке толстовского «Детства» я узнавал себя. Я ехал с Олениным на Кавказ. Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров я искал Вершинина и Тузенбаха, а среди своих товарищей по классу — гимназистов Гарина-Михайловского. В провинциальном городе, битком набитом реалистами, семинаристами, студентами Учительского института, постоянно спорили о Горьком, Леониде Андрееве, Куприне. Спорили и мы — по-детски, но с чувством значительности, поднимавшим нас в собственных глазах.

Преподавание литературы, в котором были заложены начала свободного ее изучения, возвращало к прочитанному охотой, а не силой. Ничего окаменелого не было для нас в Лермонтове, в Гоголе и, уж конечно, во Льве Толстом, кончину которого — за два года до моего поступления в гимназию — я помню отчетливо. Мы занимались литературой продолжающейся, в которой никто не превращался в собственное бронзовое или каменное изваяние.

Широко практиковались «вольные темы». Так, в пятом классе я написал сочинение «Иуда Искариот и дру-

гие» по одноименному рассказу Леонида Андреева, а в другой раз рассказал свой сон, украсив его подробностями, которые не пришли бы в голову — так мне казалось — даже Эдгару По.

5

В большой комнате на втором этаже деревянного дома — длинные столы, над которыми висят керосиновые лампы-«молнии» с пузатыми стеклами. За барьером — дама в черном платье с белым воротничком. Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усомнившись в моем праве на абонемент (я был лишь немного выше барьера), все же выдает мне «Давида Копперфильда». Я нахожу свободное место, раскрываю книгу — и не могу читать. Я поражен.

В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цокают по булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда по вечерам,— гулянье: гимназисты и реалисты в заломленных, измятых для шику фуражках гуляют с гимназистками по правой стороне улицы. (Иной год модно прогуливаться по правой, а иной — по левой.) Шумят, перебрасываются шутками, смеются.

А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест переворачиваемых страниц. Здесь — читают. Я — читатель. Мать Давида умирает, хотя госпожа Мордстон полагала, что она могла бы и не умереть, если бы очень постаралась. Давид идет в школу, и, когда товарищи смотрят на него, он замедляет шаг и делает скорбное лицо, потому что у него умерла мать, и он теперь особенный человек, не такой, как другие...

Так магический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошеломившей меня серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие же, как все, но еще и другие. Мы — особенные. В городе происходит то, и другое, и третье. Мы не участвуем в том, что происходит в городе. Мы — читатели. Мы читаем.

ПОЭЗИЯ

Ночью, когда мне не спалось, я сочинял стихи, подражая Жуковскому, которого узнал прежде Пушкина и полюбил на всю жизнь. Множество незнакомых слов в

его сочинениях поразили и очаровали меня. Его баллады были как будто написаны на неизвестном языке. Что такое «анахорет»? Кто такие Эвмениды? Почему он пишет не «ворон», а «вран», не «берег», а «брег», не «холодный», а «хладный»? Я никого не спрашивал, где находится Инглигфор или Стикс, и мне не удалось найти их на географической карте. Однажды я спросил Сашу, кто такой Асмодей, и он ответил:

— Дурак, не все ли тебе равно? Ведь это поэзия.

Может быть, Саша был прав?

Размышляя о сравнительном могуществе сатаны и бога, я читал «Балладу, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди».

Почти в каждой балладе кто-нибудь умирал или кого-нибудь убивали. Рыцарь Роллон, не испугавшийся самого сатаны, одолжил ему на год свои перчатки и был страшно наказан — в сущности, за простую любезность. В двух балладах — «Людмила» и «Ленора», странно похожих,— жених являлся мертвым к невесте, потому что не мог забыть ее и после смерти. Небо карало беззаконную любовь, но и законная почти всегда кончалась печально для влюбленных. Волшебные предметы — очарованная ладья, нетленный булат, Поликратов перстень, Аргусов талисман — участвовали в балладах, и становилось ясно, что обо всем этом можно писать только в стихах. Недаром же стихи были так не похожи на обыкновенную человеческую речь! Мне казалось, что поэзия требовала какого-то тайного уговора — все условились не замечать ее странностей, так же как в опере артисты как бы условились с публикой, что они будут не говорить, а петь.

Прошло два или три года, и в моей ночной поэзии вместе с Жуковским стал участвовать театр.

Летом я каждое воскресенье ходил в театр, и, хотя в утренниках играли второклассные актеры, о которых в нашем доме говорили с пренебрежением, мне казалось, что лучше сыграть невозможно.

Как и поэзия, театр был полон загадок. На занавесе был изображен древнегреческий бог Пан, безобразный, смеющийся, с венком на вьющихся волосах. Он сидел на упавшем дереве, поднеся флейту к губам и скрестив козлиные ноги. Перед началом спектакля, когда в зале становилось темно, раздавался таинственный удар в гонг. В мелодрамах «Две сиротки» и «Жизнь игрока» актеры

почему-то говорили прозой, но с таким выражением, как будто читали стихи. Напротив, в пьесах Островского актеры старались сделать вид, что они — обыкновенные переодетые люди. Да и не очень-то переодетые! В Гостином дворе было сколько угодно таких приказчиков и купцов. Отец Борьки Алмазова мог, не переодеваясь и не гримируясь, перебраться из своего трактира на сцену.

В некоторых пьесах актеры говорили то, что должен был услышать зритель, но как бы не слышал тот, с кем они говорили. Это называлось «в сторону» — и они действительно отворачивались от собеседника и даже прикрывали рот рукой.

Мне хотелось вмешаться в то, что происходило на сцене. Это было невозможно, и я вмешивался в уме. Я придумывал другие концы — более счастливые или, по меньшей мере, справедливые. Мне хотелось, чтобы в «Бесприданнице» Карандышев лучше убил Паратова, а не Ларису.

Но вот мать разрешила мне посмотреть «Орленка» Ростана — и все, что я видел прежде, показалось мне скучным и обыкновенным. Как горячо сочувствовал я Орленку, которого Меттерних заставляет забыть своего отца! В каком восторге был от наполеоновского гренадера Фламбо, в его высокой медвежьей шапке! Как презирал безвольную белесую Марию-Луизу, которую играла какая-то переваливающаяся с ноги на ногу гусыня!

После «Орленка» я попробовал писать пьесы в стихах, и хотя у меня ничего не получалось, все равно это было интересно. Некоторые слова соединялись сами собой, точно они только этого и ждали. Другие разбегались, и когда я наконец находил то, которое искал, оказывалось, что мне нужно совсем другое. Подбирая рифмы для второй строфы, я забывал первую и думал с отчаяньем, что никогда не стану поэтом, потому что у меня плохая память. Темнота, в которую был погружен город и дом, была темнотой только потому, что в ней происходило передвижение особенного ночного света. Тишина была тишиной только потому, что время от времени что-то шелестело, потрескивало, шуршало. Я сочинял стихи...

Кроме ночной поэзии была еще и дневная. Днем я писал стихи легко, почти не задумываясь. Для Саши, который нахватал двоек, я сочинил экспромт:

Кафедра. Учитель. Притихший класс.
Учитель — мучитель считается у нас.

Для мамы, которая устраивала бал-маскарад в Пушкинском театре «в пользу недостаточных студентов-псковичей», я тоже сочинил тогда экспромт:

Темно. По улицам Дамаска
Крадется медленно таинственная маска.

Мама была в восторге.

— Так и видна эта темная улица,— сказала она,— по которой медленно крадется маска.

Она заставила меня прочитать мой экспромт при гостях, и гости одобрили его, хотя и спросили, почему действие происходит в Дамаске, а не в Пскове, и на улице, а не в Пушкинском театре, где устраивается бал-маскарад.

Они не знали, что я стану поэтом...

Ночные и дневные стихи перемешались после этой встречи. Я выбрал лучшие из них и с небрежным сопроводительным письмом послал в журнал «Огонек».

Прошел месяц. Я перелистывал «Огонек» и удивлялся: редакция печатала стихи, которые были гораздо хуже моих. Под ними стояла подпись какого-то Сологуба. Журнал не напечатал ни одного моего стихотворения, и даже в «Почтовом ящике» в ответ на мое письмо не появилось ни слова.

Летом 1915 года к старшему брату приехал Тынянов, я прочел ему одно стихотворение, и он одобрительно кивнул. С воодушевлением я стал читать второе, запнулся, и, к моему удивлению, он закончил строфу. Потом прочел вторую, потом, засмеявшись, третью. Стихи были удивительно похожи на мои. Я растерялся.

— Разве я читал тебе эти стихи?

— Нет. Но понимаешь... Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— В твоем возрасте все пишут такие стихи.

В утешение он прочел мне несколько стихотворений Блока, и новая жизнь открылась для меня. Я влюбился в Блока.

ВЕСНА 1917-го

1

В этот день, наскоро проглотив обед, я полез в шкаф, где на дне валялась куча старых носков, и, выбрав две пары, не очень рваных, надел их, проложив для тепла газетой. День был морозный,

Помнится, я еще подумал, не поточить ли коньки — у меня были коньки «нурмис», на которых катались еще старшие братья,— и не стал точить. Я торопился: после пяти часов на катке у Поганкиных палат играл военный оркестр и брали на две копейки дороже.

Алька Гирв методически вырезáл на льду свои инициалы, и я покатил к нему — надо было поговорить о вчерашнем. У нас был кружок по литературе: младший Гордин, братья Матвеевы, Рутенберг и я собирались у Альки и читали рефераты. Как раз накануне, когда мы только что расположились и закурили, вошел Иеропольский, новый учитель, заменивший в четвертом классе Попова. Мы его не любили. Он был коротенький, красненький, в очках, с круглой, стриженной бобриком головкой. Поднимая толстый указательный палец, он говорил с поучительным выражением: «Надо произносить не Пётр, а Петр, Петр Великий». Иеропольский пришел потому, что он ухаживал за одной из Алькиных сестер.

Я не сомневался, что он доложил директору о нашем кружке, но Алька сказал:

— Наплевать.— И прибавил, подумав: — Тем более что в Петрограде — революция.

Оркестр заиграл вальс. Пошел снег. Мне захотелось есть, хотя я недавно пообедал. Отставной усатый поручик в бекеше, катавшийся на коньках, хотя ему было добрых лет сорок, лихо подлетел к хорошенькой гимназистке. Все было совершенно так же, как в любой вечер в конце февраля в Пскове или в другом городе Российской империи.

Но уже на следующее утро что-то сдвинулось, смешалось и стало меняться стремительно, как на киноэкране, где даже похороны Золя, которые я видел в «Патэ-журнале», происходили с головокружительной быстротой.

2

При слове «революция» в моем воображении возникали баррикады — по меньшей мере две, если удастся взорвать Ольгинский мост и отрезать Завеличье, где стоял Красноярский полк. Впрочем, полк давно ушел на позиции, в казармах формировались маршевые батальоны.

Первую баррикаду я решил устроить из мешков с мукой перпендикулярно к Торговым рядам. В Торговых ря-

дах были оптовые склады муки, а мешок с мукой — как утверждал Саша — не могла пробить даже пуля из винтовки образца 1891 года. Таким образом, присутственные места были бы отрезаны вместе с губернатором и всей его канцелярией.

Вторая баррикада — на Кохановском бульваре — должна была остановить правительственные войска, которые, прибыв из Петрограда, без сомнения, заняли бы казармы Иркутского полка. Тут, очевидно, пришлось бы валить деревья и телеграфные столбы — широкий бульвар было трудно перегородить, хотя я надеялся, что удастся опрокинуть два-три вагона трамвая.

Главный штаб Северо-Западного фронта помещался в здании нашей гимназии. Я видел генерала Рузского, командующего,— маленького, в очках, озабоченного, с узким симпатичным лицом. Он нравился мне, но это, разумеется, не имело значения. Кто-нибудь из нас, переодевшись в форменный сюртук сторожа Филиппа и нацепив седые, как у него, баки, мог войти в гимназию и, мигом вбежав по лестнице, распахнуть дверь в кабинет Рузского.

— Сдавайтесь, генерал! Сопротивление бесполезно.

...У Торговых рядов городовые сомкнутым строем идут на баррикаду. Свист пуль. Взрывы гранат. По одну сторону — братья Матвеевы, по другую — их отец, полицейский пристав. Мне хотелось, чтобы он, как Жан Вальжан, бросил свой мундир через баррикаду, но, зная пристава, я понимал, что рассчитывать на это не приходилось.

К полиции присоединяются мясники с топорами. На пожарной вышке вывешиваются четыре шара — это значит, что огнем охвачен весь город. И вот подпольщики во главе с доктором Ребане выходят из своих подвалов с бомбами в руках.

Словом, революция представлялась мне кровавой, трагической схваткой. Но ничего подобного не произошло в первые дни марта, а то, что произошло, было похоже на пасху.

На пасхе красные бумажные цветы втыкались в куличи, с утра до вечера приходили и уходили гости, все были радостно возбуждены, много смеялись и чего-то ждали. И в эти дни, как только стало известно, что царь отрекся от престола, весь город надел красные банты, со стола не убирали, гости приходили и уходили, одна новость сразу же тонула в десятке других, и дни, хотя еще была зима и рано темнело, стали казаться долгими, беско-

нечными. Никому — так же как на пасхе — не хотелось спать. И мне было весело, и я был радостно удивлен, увидев на углу Гоголевской и Сергиевской, где всегда стоял знакомый городовой, семинариста с красной повязкой на рукаве. На повязке появилось незнакомое слово: «Милиция».

Можно было не сомневаться в том, что революция действительно произошла, а не приснилась. Но мне казалось странным, что она произошла без баррикад, без уличных схваток. Только в Петрограде немногие из городовых оказали сопротивление. В Пскове их почти не трогали — пристава Матвеева я встретил на Сергиевской в штатском. Ни единого выстрела! Между тем царь отрекся от престола именно в Пскове...

Да, революция произошла с удивительной легкостью и быстротой. Не оказалась ли она неожиданностью даже для революционеров?

По-видимому, на этот вопрос мог ответить Толя Р., семиклассник, который жил у нас, потому что в городе Острове (откуда он был родом) не было мужской гимназии. Мама согласилась взять его на пансион в надежде, что он, как примерный мальчик, благотворно подействует на меня и Сашу. Примерный мальчик стал пропадать до полуночи — он участвовал в одном из подпольных кружков.

У Толи были серые смеющиеся глаза и отливающие синевой впалые щеки. Он долго, умно разговаривал с гимназистками, а потом, смеясь, рассказывал, что ему опять не удалось влюбиться. В конце концов удалось, и с тех пор он был постоянно влюблен — каждые две недели в другую.

В нем была черта, о которой я догадывался и в те годы, когда мы почти не думали друг о друге. Он ценил настоящее, но будущее имело для него неизмеримо большее значение. «Сейчас» было черновиком для «потом», сегодня — для завтра. А когда наступало завтра, он снова мог не пообедать, опоздать на свидание, не приготовить уроки. Впрочем, он их никогда не готовил.

В эти дни его «существование начерно» превратилось в почти полное исчезновение из нашего дома. Он являлся с новым поразительным известием, хватал со стола кусок хлеба и убегал.

Я встретил его на набережной вечером, третьего или четвертого марта. Он куда-то летел, заросший, похудев-

ший, мрачный. Не помню, о чем я спросил его. Вместо ответа он сильно ударил меня кулаком в грудь и ушел.

Я не стал спрашивать — за что? Я понял. Пока я строил баррикады в воображении, он на деле готовился к революции и теперь был в бешенстве, что ему ничем не удалось пожертвовать для нее.

Я помню общее собрание учащихся средних учебных заведений в актовом зале гимназии под председательством нашего директора Артемия Григорьевича Готалова. В городе говорили, что он — карьерист, потому что во время войны переменил свою немецкую фамилию на русскую. Но мне он нравился. Он был высокий, полный, величественный, с зачесанными назад серо-стальными волосами. Мне казалось, что настоящий директор должен ходить именно так — тяжеловато и неторопливо, именно так покровительственно щурить глаза и слегка заикаться. Нижняя губа у него была большая, немного отвисшая, но тоже представительная. Гимназисты непочтительно называли его Губошлепом.

Не прошло и полутора лет с тех пор, как он устроил гимнастический смотр на плацу у Поганкиных палат и в присутствии генерала Куропаткина произнес речь о том, что воспитанники Псковской Александра Первого Благословенного гимназии проходят сокольскую и военную подготовку, думая только о том, чтобы поскорее попасть на позиции и, если понадобится, умереть за российский императорский дом. Положение вещей изменилось с тех пор, и новая речь на первый взгляд ничем не напоминала прежнюю. Но было и сходство. В обоих случаях директор обращался к нам и в то же время не к нам. На смотру — к генералу Куропаткину, а на собрании — к Временному правительству, которое он, на всякий случай, все-таки не назвал.

Так или иначе, всем стало ясно, что он одобряет революцию и стоит на стороне новой власти. Одновременно он решительно возразил против «излишне активного» участия воспитанников средних учебных заведений в дальнейшей общественной работе. То, что было допустимо в первые, радостные дни, является нежелательным теперь, когда учащиеся должны заботиться о том, чтобы закончить год с должным успехом.

На собрание почему-то пришли родители, и это было ошибкой, потому что оно сразу же стало напоминать горячие завтраки, которые одно время устраивались в этом

же актовом зале на большой перемене. Мамы в белых передниках ходили между столиками, мы ели булочки, пили какао, нельзя было капнуть на скатерть, и многие, в том числе и я, давились, потому что не любили какао.

Теперь родители, среди которых были гласные городской думы, сидели в первых рядах, нарядные, торжественные, а некоторые сдержанно-грустные — быть может, жалели, что революцию, как горячие завтраки, нельзя отменить.

Отец Марины Барсуковой, прихрамывая, поднялся на кафедру, и его выслушали с уважением. Он сказал, что мы напоминаем ему стихотворение Некрасова:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум...

И прибавил, что счастливые события, развернувшиеся с такой стремительностью, не исключают трудностей в новом образе жизни и мышления.

Потом ввалились шумной толпой семинаристы, и всю благопристойность как ветром сдуло. Они не садились — да и не было мест. Лохматые, веселые, многие в высоких сапогах, они встали вдоль стен, в проходах, сели на окна.

Собрание было, как его назвали бы теперь, организационное. В Петрограде уже существовал ОСУЗ — Общество учащихся средних учебных заведений. Такое же общество предполагалось в Пскове. Записывались накануне, теперь предстояло выбрать председателя, и директор предложил кадета выпускного класса князя Тархан-Моурави.

О, какой шум поднялся, едва он назвал это имя! Гимназисты издавна враждовали с кадетами, а для семинаристов, которые почти все успели записаться в эсеры, было вполне достаточно, что Тархан-Моурави — князь.

— К черту князя! Долой! Нам нужен демократ, а не князь!

Тархан-Моурави, красивый, смуглый, кавказского типа, с сильными сросшимися бровями, с пробивающимися черными усиками, долго стоял, пережидая шум.

— Волевой,— сказал за моей спиной Алька.

— Как известно,— дождавшись тишины, спокойно сказал Тархан-Моурави,— Кропоткин тоже был князем. Однако это не помешало ему стать вождем международного анархизма.

Родители зааплодировали — и действительно, это было сказано сильно. Но семинаристы закричали:

— То Кропоткин!

И снова поднялся сильный шум.

Слово взял Орест Ц., который тогда еще не выступал с публичным докладом «Лев Толстой, Лев Шестов и я». Реалист-семиклассник, он заикался значительно сильнее, чем директор, так что некоторое время между ними происходил невнятный разговор, состоящий из одних междометий. Директор почему-то не давал Оресту слова. Семинаристы закричали:

— Дать!

Мы с Алькой тоже закричали: «Дать!» Но в это время подошел Емоция и ехидно спросил:

— А вы что здесь делаете, господа?

— То же самое, что и вы,—дерзко пробормотал Алька.

— Здесь имеет место разрешенное начальством собрание старших классов, а пятые не принадлежат к числу таковых.

Я объяснил Емоции, что нельзя отстранять пятые классы от участия в общественной жизни, но он прошипел: «Извольте удалиться»,— и пришлось уйти в самую интересную минуту: Орест убедительно доказывал, что мыслящие единицы независимо от принадлежности к учебному заведению уже примкнули или вскоре примкнут к враждующим политическим партиям,— следовательно, объединить их логически невозможно.

На лестнице мы с Алькой поссорились: я сказал, что чуть не убил Емоцию, а он возразил, что дело не в Емоции, а в том, что Валя К. видела, как нас выгоняли.

— А что, слабо вернуться? — спросил он.

Это было глупо — идти прямо к тому месту, где стояла Валя, потому что Емоция по-прежнему прохаживался в двух шагах от нас. Она улыбнулась, увидев меня, и показала глазами на инспектора — с ужасом, но, может быть, и с восхищением.

Я подошел к ней, и мы поговорили. Согласен ли я с Орестом? Она тоже считает, что из псковского ОСУЗа ничего не получится.

— Шесть часов в воскресенье,— сказал инспектор, почти не разжимая рта, когда я, нарочно не торопясь, проходил мимо.

Это значило, что в воскресенье я должен отсидеть с восьми до двух в пустом классе.

Емоция не записал меня в кондуит, не послал родителям «Извещение», и Алька рассмеялся, когда я все-таки пошел отсиживать свои шесть часов в воскресенье.

— Понимаю,— подмигнув, сказал он,— любовь требует жертв.

Я пожалел, что сторож Филипп запер меня в чужом классе. Мы переписывались с гимназистками, занимавшимися в первой смене, и я мог бы ответить Верочке Рубиной, которая сидела на одной парте со мной. В последнем письме она сообщила, что еще никого в своей жизни она не поставила на пьедестал. Верочка была дура.

...Первые строчки как бы сказались сами собой, еще дома, когда я готовил себе бутерброд:

Над городом восходит лик туманный.
Какой печальный, безнадежный лик...

Утро было ясное, и не «туманный лик», а весеннее солнце взошло над городом, наполнив его светом, от которого все с каждой минутой становилось просторнее и трезвее — голоса, шум шагов, стук копыт по булыжной мостовой, отдаленный звон колоколов Троицкого собора. Звонари ударили в колокола, это значило, что архиерей уже выехал из дома. Валя была в соборе, на архиерейской службе.

Как я устал от этой жизни странной.
Быть может, навсегда поник.

Обо мне нельзя было сказать, что я «навсегда поник». Я был широкоплечий, рослый не по годам, ходил по-военному прямо и еще вчера сделал на параллельных брусьях трудное упражнение, которое мне долго не удавалось. Но почему-то трезвость, параллельные брусья, стук копыт не находили себе места в моей поэзии...

Нечего было надеяться, что Валя придет раньше половины второго. Я видел однажды, как у собора встречали архиерея. Все было черное — лакированная карета, величественный кучер, который высоко и свободно держал руки, вороные рысаки, горбившие шею, косившие налитыми кровью глазами.

И архиерей был весь в черном, в длинной, до пят одежде с широкими рукавами, в мантии, от которой тянулся, спускаясь на плечи, длинный шелковый шлейф. Четверо служителей кинулись к карете, двое взрослых открыли дверь, выдвинули крыльцо, подхватили владыку под руки

и повели в собор, два мальчика понесли за ним концы покрывала...

Половина двенадцатого. Алька, скотина, не пришел, и, прождав его еще полчаса, я завернул в бумагу пятак и бросил его проходившей мимо знакомой девочке, младшей сестре Любы Мознаим. Девочка принесла две сайки, я спустил нитку с грузилом, съел сайки и продолжал сочинять:

И я грустил о позабытой были,
Разгаданной не по моей вине.
А вот теперь меня навек забыли,
И я один в неведомой стране.

В ту пору я писал две-три строфы в день, хотелось мне этого или не хотелось. Дмитрий Цензор, которому я однажды осмелился прочитать свои стихи, сказал, что мне надо учиться. Я учился. Но надеялся я на другое: а вдруг мне удастся придумать одно-единственное, удивительное, ни на что не похожее слово, которое сразу поставит меня в один ряд с лучшими поэтами мира? Мне хотелось, чтобы слава упала с неба, явилась, как Христос народу, постучала в дверь, вошла и сказала: «Я — Слава».

Время остановилось и снова двинулось вперед, когда я увидел Валю. Она стояла, подняв милое, уже успевшее загореть лицо,— искала меня за слепыми окнами, отсвечивающими на солнце. Я спустил ей записку на нитке. В записке были стихи:

Люди молятся в храмах смиренно и свято.
Древним словом звучит перезвон.
Только мне, только мне не дано о Распятом
Помолиться на лики икон.

Она прочла записку, оглянулась по сторонам и написала несколько слов: «Увы, не дано и мне! Скучала ужасно». Мы поговорили знаками. Она показала на пальцах — девять. Это значило — в девять часов. Где? Она пожала плечами. Это значило: конечно, там же!

Мы встретились вечером на черной лестнице Летнего театра.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

1

Не в силах сдержать радостного возбуждения, я, как волчок, вертелся перед гимназистками на катке у Поганкиных палат. По утрам, едва проснувшись, я в отчаянии

боролся с мучительным чувством неудовлетворенного желания. После четырнадцати лет оно не оставляло меня, кажется, ни на минуту.

— То, что произошло между Зоей и мной в Соборном саду, больше не повторилось — не потому, что было невозможно, а потому, что это было невозможно с ней, сказавшей: «Изомнете жакетку», когда, задохнувшись, я положил руку на ее мягкую, страшную, женскую грудь. С Зоей, спокойно сравнившей меня — не в мою пользу — с братом Сашей. С Зоей, надолго заронившей в меня чувство страха и неуверенности перед новыми встречами, когда я, быть может, стал бы так же слепо, растерянно тороппиться.

В нашей компании мальчики говорили о женщинах наивно и грубо.

Толя Р. однажды влетел в комнату с криком: «Я видел!» Он видел голую женщину на берегу Великой — это было событием.

Все чувствовали то, что чувствовал я, но мне казалось, что только я так неотвязно хочу, чтобы поскорее повторилось то, что произошло между мной и Зоей,— не один, а тысячу раз, и не с ней, а с другими.

Но это была лишь одна сторона постоянно терзавшего меня подавленного желания. Была и другая: я выдумывал отношения.

Мы встречались с Мариной Барсуковой у часовни святой Ольги и долго умно разговаривали — ждали удобной минуты, чтобы начать целоваться. Она была гладко причесана, волосок к волоску, в только что выглаженном платье, в пенсне, немного плоская — это меня огорчало. Мы целовались потому, что она была девочка, а я — мальчик, и потому, что на свиданьях было принято целоваться. Мы придумали эти свидания, эти разговоры, иногда интересные, потому что Марина читала больше, чем я. Но чаще — скучноватые, потому что ей нравилось поучать меня, и тогда она, в своем пенсне на тонкой золотой цепочке, становилась похожа на классную даму. Вскоре мы перестали встречаться.

...Я осмеливался только любоваться Женей Береговой, хорошенькой блондинкой, носившей модные шляпки, очень стройной, естественно вежливой и державшейся весело и скромно. В ней чувствовалась сдержанность хорошего воспитания, она была не похожа на других барышень из нашей компании.

Отношения, о которых Женя и не подозревала, развивались сложно. После внезапного объяснения в любви, которое она, очевидно, выслушала бы с сочувственным удивлением, Женя должна была случайно встретить меня — побледневшего, молчаливого. У меня были круглые, вечно румяные щеки, но Саша говорил, что барышни пьют уксус, чтобы побледнеть,— и некоторым это удается.

Женя не могла не пожалеть меня, а от жалости до любви — только шаг. Каждый день она получала бы розу — об этом нетрудно было договориться в садоводстве Гуляева. В конце концов мы стали бы встречаться, тем более что она — это я знал — интересовалась моими стихами. Свидания сперва были бы редкие, потом — ежедневные. Возможно, что она стала бы ревновать меня, а я — доказывать, что ревность — низменное, пошлое чувство. Потом ссоры, взаимные упреки и, наконец, окончательный, бесповоротный разрыв.

Я не пил уксус — попробовал и не стал. Но для того чтобы покончить с этой затянувшейся историей, я написал Жене Береговой письмо.

«Прошу Вас,— написал я на матовой голубой бумаге, которую стащил у сестры,— не считать меня более в числе своих знакомых».

На другой день Люба Мознаим, подруга Жени, пришла ко мне объясняться. Я молчал. Мне хотелось казаться загадочным, сложным. Прямодушная Люба сказала, что я — дурак, и ушла.

2

Зимой четырнадцатого года, слоняясь по Сергиевской, я встретил Валю К., она спросила: «Холодно?» — и, улыбнувшись, прошла мимо. Даже и эта случайная встреча сама собой украсилась в воображении.

Летом семнадцатого компания гимназистов и гимназисток на двух лодках отправилась ловить ужей на Снятную гору. Я был самым младшим в этой компании, Валя — самой старшей. У нас были общие друзья. С одним из них — Толей Р. — Валя еще до революции познакомилась в подпольном кружке.

Весь день мы провели на Снятной — наговорились, нахохотались, варили уху, пекли в золе картошку, а когда

стемнело, долго сидели у костра. Ужи были никому не нужны, и никто не стал их ловить. Вдруг решили купаться, и мы с Валей, не сговариваясь, поплыли вдоль лунной голубой полосы, которая просторно легла поперек Великой. За день мы не сказали друг другу ни слова и теперь плыли молча, точно стараясь сберечь тишину, которая шла от реки, от подступавшей ночи. Нас звали, кто-то сердился. Мы вернулись, не вытираясь и, освеженные, даже немного продрогшие, дружно взялись за весла.

...Из деревни на правом берегу, недалеко от Снятной, слышались голоса, пенье, игра на гармошке; темные фигуры бродили у самой реки. Мы присоединились, хотя давно пора было возвращаться домой. В деревне гуляли. Одна изба была ярко освещена, через открытые окна виднелись топтавшиеся в тесноте девки и парни. Там шли посиделки. Кто-то из нашей компании остался в лодках, другие нерешительно остановились недалеко от избы, а мы с Валей вошли и, неловко протиснувшись, смешались с толпой, стоявшей у выхода в сени.

— Вы когда-нибудь были на посиделках? — спросила меня Валя.

— Нет.

— А я была. И очень люблю.

Гармонист играл не останавливаясь, девки хихикали по углам. Парень, одетый по-городскому, в пиджаке, из-под которого выглядывала неподпоясанная голубая рубаха, подлетел к Вале, раскинул руки. И она, поклонившись, сразу же плавно пошла за ним в маленьком тесном кругу, с платочком, серьезная, как другие девки.

Потом мы ушли и немного побродили вдоль берега. После душной избы дышалось легко, но внутри у меня не унималась какая-то дрожь, и хотелось сейчас же, не теряя ни одной минуты, сделать что-нибудь хорошее или хоть показаться вежливым и приятным. Спускаясь к лодкам, мы встретили двух девок, и я показал им избу, в которой шли посиделки:

— Идите туда. Там весело, танцуют.

Девки засмеялись. Одна из них была дочка старосты и жила в этой избе. Чувство неловкости, когда они засмеялись, было особенно острым, потому что рядом стояла Валя.

Когда мы возвращались и были уже недалеко от города, я вынул портсигар и, небрежно щелкнув им, закурил. Портсигар был новый, томпаковый. Мать знала, что я

курю тайком, и демонстративно подарила мне его в день рождения.

— Зачем вы курите? — спросила Валя.— Ведь вам не хочется.

Я докурил и бросил портсигар в воду.

3

Так же, как это было с Мариной и Женей, я вообразил, что влюбился в Валю К. Но что-то совсем другое сразу же появилось между нами, и это другое заключалось в том, что ей не только не могло прийти в голову, что я не влюблен, а «как бы» влюблен, но она была бы глубоко оскорблена, догадавшись об этом.

Мы встречались в Соборном саду, у Покровской башни, мы гуляли подолгу, часами, и это «как бы» незаметно растаяло, отступило перед серьезностью Вали, перед ее искренностью, твердостью и покоем.

Может быть, она была и не очень хороша, но мне нравился ее смуглый румянец, чуть выдававшиеся скулы, небольшой четко очерченный рот, ровные белые зубы. В те годы гимназисток, особенно мариинок, учили ходить плавно, держаться прямо — и в ней была особенно заметна эта плавность походки, прямота откинутых плеч.

Она была нелегкомысленна, участлива, признательна, и мне сразу же захотелось стать таким же, как она. Мы не только влюбились, мы — это было гораздо важнее — привязались друг к другу.

В гимназии отменили латынь, псковские гимназисты и реалисты раскололись на правых и левых, начались выборы в Учредительное собрание, и Остолопов оказался трудовиком, а Ляпунов — кадетом. Город Кирсанов изгнал представителей Временного правительства и объявил себя автономной республикой.

Но что бы ни случалось в Пскове, в России, в мире, мы с Валей встречались почти ежедневно: иногда — у нее, а иногда — на черной лестнице дощатого Летнего театра после спектакля.

В маленькое кривое окошко светила луна. Легкие декорации стояли вдоль стен, точно спускаясь по ступеням в сад, где на аллеях лежали тонкие тени листьев и веток. Это был сад, где мы с Сашей степенно гуляли в красных фесках (почему-то дети носили тогда красные турецкие

фески), где мой отец по воскресеньям дирижировал своей музыкантской командой, где актер Салтыков, еще молодой, в панаме, ухаживал за нянькой Натальей. Но теперь этот сад казался мне таинственным, незнакомым. Кусты жасмина как будто кружились над землей. На аллеях, на серебристой раковине эстрады лежали тени маленьких листьев и веток. Было страшно, что сейчас появится сторож, и, когда он действительно появлялся, мы, волнуясь, поднимались еще выше по лестнице, прятались в тень.

Мы целовались — о, совсем не так, как с Мариной! Валя расстегивала кофточку, я целовал ее грудь, и, хотя был так же нетерпелив, как с другими, она умела, оставаясь нежной, сдерживать мое нетерпение.

4

У Вали не было чувства юмора, это огорчало меня. Однажды я читал ей Козьму Пруткова. Она слушала внимательно, подняв красивые глаза, но стала смеяться, лишь когда я объяснил ей, что это смешно.

Она была убеждена, что к чтению надо готовиться, и книга долго лежала у нее на столе, прежде чем она за нее принималась. Все время, пока я был влюблен в нее, она готовилась прочитать толстую книгу «Библия и Вавилон». В конце концов, садясь у ее ног на полу, я стал подкладывать под себя эту книгу.

К — ны жили на Застенной, напротив Летнего сада, на втором этаже, в светлой квартире с вышитыми накидками на высоких подушках, с ковриками у диванов, с кружевными дорожками на столах. Все это было рукодельем Валиной мамы. Отец служил в льняной конторе. Он был сухощавый, со светлой бородкой, всегда что-то мурлыкавший про себя, незаметный. Однажды он вошел, когда мы целовались. Он сказал только: «А, Валя, ты здесь?» — и вышел, смутившись больше, чем мы.

5

Каждый день мы бродили по городу, но не по главным улицам, а вдоль крепостных стен, по берегам Псковы и Великой. В полуобвалившихся башнях еще сохранились бойницы. Большое, похожее на железное коромысло

би́ло висело на крюке в Соборном саду. По би́лу ударяли палкой, созывая вече. Гуляя с Валей, я впервые заметил, в каком старом городе мы живем.

Я знал наперечет все ее платья. Страстный велосипедист, я предложил ей кататься вместе — старшая сестра подарила ей свой велосипед. Она попробовала — и раздумала: ветер раздувал юбку, и открывались ноги. Тогда перестал в то лето кататься и я.

Мы говорили о любви, и Валя утверждала, что любовь без детей безнравственна. Я нехотя соглашался.

— Раз в месяц природа напоминает женщине, что она может стать матерью,— поучительно сказала она однажды.

Она считала, что мне необходимо освободиться от самоуверенности, которая мне очень вредит. Было верно и это. Но как? И мы приходили к выводу, что помочь может только дисциплина духа.

— Впрочем, ума моего спутника мне совершенно достаточно,— сказала она в другой раз, когда мы бродили по Немецкому кладбищу и спорили о том, что важнее — ум или чувство.

Почти всегда она была серьезна и становилась еще серьезнее, когда мы целовались. А в эту запомнившуюся минуту румянец пробился сквозь загар, и она посмотрела на меня засмеявшимися глазами.

6

Двадцать пятого июня ДОУ (Демократическое общество учащихся) решило устроить гулянье и спектакль в Летнем саду, и мы с Валей немного раскаивались, что удрали от хлопот, которыми была занята наша компания.

Встреча была условлена на пристани в семь утра просто потому, что еще никто, кажется, не назначал свиданий так рано. Великая слабо дымилась. Видно было, как на той стороне от Мирожского монастыря отвалил баркас, а на этой бабы с корзинками стали спускаться к перевозу. Пароходик попыхивал и вдруг дал свисток.

Удирая, я стащил две французские булки и теперь рассказал Вале — почему-то два раза подряд,— как мама сонным голосом спросила: «Кто там?» — а я притаился и не ответил. Валя смеялась. Она пришла в моем любимом маркизетовом платье с оборочками и короткими рукава-

ми. Мы оба не успели позавтракать и съели булки на пристани всухомятку.

Было решено доехать на пароходе до Черехи, а потом пойти куда глаза глядят,— и все время, пока пароходик шел по Великой, меня не оставляло чувство свежести и новизны, которое — я это знал — испытывала и Валя. Как будто это было первое утро на земле — так весело шлепали лопасти колес, с которых, сверкая, скатывалась вода, так торопился вместе с нами шумно пыхтевший пароходик.

Хотелось поскорее пуститься в дорогу, мы чуть не сошли в Корытове. Но передумали, доехали до Черехи и сразу быстро пошли по пыльному большаку, изрезанному колеями. Потом свернули, пошли проселком, снова свернули...

О, как легко дышалось, как хорошо было долго идти среди золотисто-зеленой ржи!

Кончилась пашня, начался лес, еловый, сосновый, с песчаным сухим подлеском и редкими пепельно-серыми мхами. Мы шли, болтая, и вдруг наткнулись на знакомое место: час или два тому назад мы уже были на этой поляне с одинокой флаговой сосной. Заколдованный лес! И мы пошли, никуда не сворачивая, прямо и прямо.

В первой же попавшейся деревне мы зашли в крайнюю избу, и пожилая крестьянка с добрым лицом встретила нас, как жениха и невесту. Она сварила нам пшенную кашу на молоке, пышную, рассыпчатую, душистую, и на всю жизнь запомнилась мне зарумянившаяся корочка, которую мы с Валей разделили пополам.

Хозяйка сказала, что до Пскова верст восемнадцать, и мы удивились, что зашли так далеко. На пароход было уже мало надежды. Что делать? Возвращаться пешком? Домой мы добрались бы только к утру. Попало бы, без сомнения, но это еще полбеды. Мы не знали дороги, а если идти вдоль Великой, сказала хозяйка, набежит не восемнадцать верст, а все двадцать пять. Заночевать?

И, точно угадав наши мысли, она предложила нам заночевать, а когда мы согласились, повела в чистую половину, где стояла кровать, покрытая ватным одеялом из разноцветных лоскутков, высокая, с горой подушек. Она и думать не думала, что мы ляжем врозь. Мы растерянно помолчали, не глядя друг на друга, поблагодарили и отказались: может быть, еще успеем на пароход. Я хотел заплатить — хозяйка с обидой замахала руками. Мы про-

стились, не глядя друг на друга, молча прошли деревню и стали хохотать — долго, неудержимо.

Так и прохохотали почти до пристани, когда хлынул с веселым шумом проливной, заблестевший в сумерках дождь. Валя сняла туфли, связала их шнурками, перекинула через плечо. Дорога вскоре размокла, я поскользнулся и чуть не упал. Валя поддержала меня, и впервые за весь этот день мы остановились и прижались друг к другу. Под ее платьем, мигом промокшим до нитки, я остро и обнаженно почувствовал ее грудь, ноги, ее сильные, обнявшие меня руки. Дождь хлестал, как бешеный, и попадал даже в рот, когда мы отрывались друг от друга, чтобы перевести дыхание.

Услышали гудок, припустились и, прыгнув с причала на отходивший пароход, почти свалились на палубу, мокрые, грязные, счастливые, с онемевшими ногами.

7

Валя была на четыре года старше меня; в ту пору я не понимал, как сильно сказалась в наших отношениях эта разница лет. Я кидался из стороны в сторону, летел опрометью, все так и трепетало во мне. Характер складывался неровный, вспыльчивый, противоречивый. Самоуверенность соединялась с застенчивостью, педантическое упорство — с ожиданием чуда.

Театр заставил меня впервые задуматься над понятиями «быть» и «казаться». В «Бесприданнице» Островского Лариса, которую только что застрелил Карандышев, через две-три минуты выходила на сцену, улыбаясь, раскланиваясь и прижимая к груди цветы. Она была уже не Лариса. Она только казалась Ларисой.

Впоследствии я привык к этому раздвоению, беспощадно разрушавшему то, что минуту назад заставляло зрителей волноваться, возмущаться, плакать. Ведь актер на то и существовал, чтобы не быть, а казаться! Но чувство неловкости, разочарования все-таки осталось надолго.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах я в самом себе встретился с этим раздвоением.

Что заставляло меня повторять чужие мысли, выдавая их за свои? Что заставляло меня тянуться, выставляться перед одноклассниками, перед Алькой, который доверчиво слушал все, что я врал ему о книгах, знакомых мне лишь понаслышке? Небось в нашей компании меня мигом оса-

дил бы Толя Р., который читал вдвое больше, чем я, или скептический Орест Ц. О девочках нечего и говорить! Перед ними я не тянулся, а выламывался. Болтая беспорядочно много, старался показаться иронически-недоступным, неудачно острил и, оставаясь наедине с собой, недолго корил себя за хвастовство, за неудачную остроту. Меня интересовало не то, что я думаю о себе, а то, что думают обо мне другие.

Чувствовала ли все это Валя? Понимала ли то, о чем я и теперь еще лишь догадываюсь, пытаясь собрать рассыпавшиеся воспоминания? Нет. Она просто оставалась сама собой, и этого было достаточно, чтобы понять, что лететь опрометью — смешно, а кидаться из стороны в сторону — бесполезно. В ней было спокойствие обыкновенности, которого мне так не хватало. Это спокойствие было и в квартире К., и в рукоделии Валиной мамы, и в отношениях между родителями — красивыми добрыми людьми, которые очень любили друг друга.

Так же как и я, Валя не стояла на месте — особенно летом семнадцатого года. Но она не рвалась, а плыла. В ней была поэзия спокойной трезвости, женственности, уюта. Она любила детей, хотела стать учительницей, да уже и стала, окончив восьмой, педагогический класс Мариинской гимназии.

Мне нравилось уважение, с которым она относилась к моей начитанности, к моим стихам,— она переписала их в две школьные, сохранившиеся у меня до сих пор тетради. Это было уважение, которое незаметно вело к самоуважению, а самоуважение заставляло вглядываться в себя, оценивать себя беспристрастно.

Перед Валей мне было стыдно притворяться — ведь в самом желании, чтобы она принадлежала мне, не могло быть и тени притворства. И, встречаясь с ней, я искренне старался быть — а не казаться. Она как бы приучала меня к самому себе — и, встречаясь с ней, я, с бешено стучавшим сердцем, становился спокойнее, увереннее, скромнее.

ЛЕТО 1917-го

1

Помнится, весной 1917 года был большой паводок. Великая разлилась широко, подступив к стенам Мирожского монастыря, а на берегу Псковы, у решеток, были

затоплены дома. Но если я даже и ошибаюсь, все же самое понятие наводнения удивительно подходило к тому, что началось в апреле и мае 1917 года.

Слова, которые в течение многих лет прятались, произносились шепотом, с оглядкой, вдруг со всего размаха кинулись в город — и среди них очень скоро появились новые, странные на первый взгляд,— митинг, исполком, совдеп. Каждый мог говорить все, что ему вздумается,— это было особенно ново. Терпеливо слушали даже тех ораторов, которые выступали, просто чтобы показать себя и тем самым утвердить свое право на существование. Но одни слова оставались словами, а другие с нарастающей быстротой превращались в дело...

2

То, что еще до революции заставляло меня мысленно делить класс пополам, теперь распространилось не только на весь город, но, судя по газетам, на всю Россию.

Это стало ясно уже на первом собрании, когда директор предложил выбрать председателем общества учащихся князя Тархан-Моурави. С другого собрания мы ушли с пением «Варшавянки». Толя с воодушевлением дирижировал нами. Мы пели с чувством восторга и нависшей над головой опасности, хотя нам никто не угрожал и нечем было, кажется, восторгаться.

Так возникло ДОУ. Мы выбрали председателя — тоже Толю — и, не теряя времени, стали собирать деньги на витрину для объявлений. Помню, что столяр долго возился с этой витриной и что самые нетерпеливые из нас часто спрашивали друг у друга, когда же наконец она будет готова. Наконец она появилась — темно-красная, с маленьким карнизом от дождя.

Вражда вспыхнула острая, нешуточная и сразу же стала укрепляться, развиваться. Уже не казалось странным (как это было сначала), что можно ненавидеть такого-то за то, что он думает иначе, чем ты. «Да, можно и должно,— сказал мне однажды Толя,— конечно, в том случае, когда спор идет не о пьесе «Соколы и вороны», а о судьбе России». Но кадетов ненавидели не только за то, что они думали о судьбе России иначе, чем мы, но и за то, что они каждое утро маршировали на своем плацу, как будто ни-

чего не случилось. Толя был неправ — ненависть таинственно захватывала и то, что не имело к политике никакого отношения.

Военный строй входил в программу кадетского корпуса и был так же обязателен для них, как для гимназистов — латынь. Впрочем, латынь отменили еще до конца учебного года, и я был, кажется, единственный из гимназистов, который выступил на общем собрании двух пятых классов с энергичной защитой этого предмета.

Помню, что Борода, который все еще был нашим классным наставником, вошел в класс, когда собрание было в разгаре, и, устроившись на задней парте, выслушал мою речь. На другой день он вызвал меня и сказал: «Посмотрим, как некоторые ораторы на практике осуществляют свои теоретические взгляды». Он поставил мне тогда пятерку, хотя, отвечая Цицерона, я сделал две или три ошибки. Это значило, что и в году у меня будет пятерка по латыни — честь, которой удостаивались до сих пор только поляки.

На другой день Алька, который нехотя соглашался со мной, что латынь нужна или, по крайней мере, небесполезна (он собирался на медицинский), сказал, что пятый «а» собирается устроить мне «темную», потому что я — «ханжа и подлиза».

У нас почему-то не было последнего урока, но я остался — решил явиться в пятый «а» и потребовать объяснения.

Почему с такой остротой запомнилась мне эта, в сущности, незначительная история? Потому что впервые в жизни я был оклеветан? Или потому, что в ней были черты, тогда еще не разгаданные и впоследствии заставлявшие меня мысленно к ней возвращаться?

Алька не ушел, хотя я уверял его, что не боюсь,— и действительно не боялся. Он остался со мной, справедливо рассудив, что хотя мне едва ли устроят «темную», но фонарей могут наставить — и немало.

Мы влетели, едва прозвучал звонок, почти столкнувшись с преподавателем (кажется, это был Остолопов). Я вскочил на кафедру, а перед кафедрой встал Алька, крепко сжав кулаки и расставив сильные ноги.

...Мы выбрали неудачную минуту — все собирали учебники, торопились домой,— и свести счеты с клеветниками не удалось. Я начал горячо, меня послушали минуты две-три, а потом стали выходить из класса.

Только Д., высокий белокурый мальчик с длинным холодным лицом, аккуратно складывая книги и затягивая их ремешком, отпустил по моему адресу язвительное, но такое же вялое, как он сам, замечание. Я не сомневался в том, что именно он назвал меня «ханжой и подлизой». Пожалуй, он мог предложить и «темную», однако, если бы меня избили под шинелями, сам остался бы в стороне, ловко выскользнув из небезопасной затеи.

3

Гулянье, которое ДОУ устроило в Летнем саду, прошло с успехом, в пьесе «Нищие духом» Невежина выступил известный артист Горев, и всем понравился дивертисмент с лотереей-аллегри и «цыганским шатром», в котором наши барышни, одетые цыганками, гадали на картах и предсказывали судьбу по линиям рук. Не помню, много ли удалось выручить «для кассы взаимопомощи», но теперь мы могли снять помещение — и немедленно сняли пустовавшую лавку напротив колбасной Молчанова.

Собраний было много, и припомнить, чему они были посвящены, невозможно. Но о чем бы мы ни говорили, в каждом серьезном выступлении чувствовалось желание участвовать в обсуждении того господствующего вопроса, который решался тогда на всем пространстве России, на фронтах и в тылу: как и зачем жить и как открыть возможность нового — достойного и разумного существования?

В «Псковской жизни» появилась статья «Гибель революции»: «Но вот прошли три месяца, и мы с ужасом и недоумением убеждаемся в том, что вся революция пропитана ядовитыми соками охлократии, демагогии, глупости и бездарности. Надоело говорить о том, что невероятный произвол, грубейшее насилие, система террора, господствующая сейчас в России, не могут внушить ничего, кроме ужаса и отвращения».

Это было нападение справа, и наши правые, во главе с князем Тархан-Моурави, немедленно поддержали статью.

О, какой шум поднялся в нашем ДОУ! С какой неотразимой убедительностью опрокидывали мы наших противников на обе лопатки! Как язвительно высмеивали пытиков, испугавшихся «охлократии». Что такое «охлократия»? Выродившаяся демократия! А наша демократия искренне

и энергично занята поисками новых форм своего существования.

Правые трубили свое: каждый день появляются новые республики, солдаты устраивают самосуды, на Галицийском фронте повальное бегство. Это ли не охлократия?

Мы единодушно сетовали, что заказали слишком маленькую витрину. Она не вмещала и пятой доли наших возражений. И вдруг она опустела. Вместо статей, карикатур и фельетонов на ней появилось постановление общего собрания ДОУ: мы объявили правым бойкот.

Но большому бойкоту предшествовал маленький. Я объявил бойкот брату Саше.

4

У Саши был оригинальный характер, который в те годы я не мог понять, потому что думал, что это сложный характер. Он огорчался, когда у него были неприятности, но скоро забывал о них и даже с трудом мог припомнить. Он постоянно стремился к какой-нибудь цели. То добывал гремучую смесь в чулане, который мама отвела ему под лестницей, то сочинял «Лунную сонату». Он считал, что у Бетховена своя «Лунная соната», а у него — своя, и еще неизвестно, которая лучше.

Но гимназистки интересовали его больше, чем музыка. Он шутил, болтал с ними, и все у него получалось просто и ловко. Только однажды — это было весной 1917 года — он серьезно расплатился за свою легкость и ловкость. Три семиклассника из класса «а» (он учился в классе «б») вызвали его с урока, влепили пощечину и ушли.

Наша схватка с правыми была в разгаре, когда я встретил его на Сергиевской с Леночкой Халезовой, которая откровенно сочувствовала Милюкову. Возможно, что я не обратил бы на это внимания, но Леночка принадлежала к Тархан-Моурави — фон-дер-белленской компании, возглавлявшей правых, и ухаживать за ней было, с моей точки зрения, подлостью.

Я попытался объяснить это Саше, но он поднял меня на смех, а потом стал доказывать, что политические взгляды в данном случае не имеют значения. Отнюдь не все должны иметь убеждения, некоторые могут прекрасно обойтись и без них. Но он как раз не может. Он думает, что за хорошенькими гимназистками надо ухаживать,

даже если они сочувствуют самому Вельзевулу. Это был беспринципный ответ, и, посоветовавшись с Толей Р., я объявил Саше бойкот.

Мы жили в одной комнате, и делать вид, что я не замечаю его, было довольно трудно. Но я был непоколебим. Вовка Гей пришел, когда мы ссорились. Сгоряча я объявил бойкот и ему, потому что он заговорил с Сашей. Старшие братья Вовки были большевиками, одна из сестер — меньшевичка, вторая — эсерка, а отец крайний правый, так что у себя дома Вовка, очевидно, не раз встречался с отношениями, сложившимися между мной и Сашей. Тем не менее он отказался поддержать меня. Он сказал, что вопрос имеет принципиальное значение, и предложил устроить товарищеский суд.

Суд должен был состояться у Шурочки Вогау, и Валя сразу сказала, что ничего не выйдет, потому что у Вогау все собрания кончаются танцами или загадками в лицах.

Когда я пришел, было уже шумно, весело; в гостиной стоял настоящий судейский стол, покрытый зеленой скатертью, и среди незнакомых студентов и офицеров я заметил того невысоконького, беленького, который в Черняковицах чуть не подрался со Львом. Он и теперь был со стеком и похлопывал им, сидя в кресле и иронически усмехаясь. Потом он показывал — в стеке был спрятан длинный узкий стилет, который можно было выдернуть, как шпагу из ножен.

Впервые я был в такой богатой, просторной квартире. Комнат было много, у Шурочки своя, с диваном и креслами, покрытыми белым шелком. В гостиной стоял белый рояль, а рядом с ним, прямо на полу, высокая лампа под нарядным абажуром. Мне казалось, что все эти вещи поставлены здесь как бы нарочно, а не для того, чтобы жить среди них. На одной из картин была нарисована голая женщина, в которой не было ничего особенного, кроме того, что она была совершенно голая. Эта картина мешала мне, потому что все время хотелось на нее смотреть.

Все говорили разом, смеялись и умолкли, только когда студент Распутин, который, представляясь, неизменно объяснял, что к Григорию Распутину он не имеет отношения, взял слово. Он считал, что необходимо выяснить причину нашей ссоры, в которую не следовало бы вмешиваться, потому что она началась между братьями и характерна как семейная ссора, не подлежащая товарищескому

суду. При этом он вертел носом, откидывал назад длинную шевелюру, и у него был добрый, озабоченный вид.

Председатель, прапорщик Сосионков, то и дело стучал карандашом по столу. Он был розовый, лет девятнадцати, с шершавыми детскими щечками. Впоследствии, обсуждая в нашей компании этот суд, мы называли его не Сосионков, а Поросенков.

Прапорщик сказал, что теперь, когда трехсотлетняя империя Романовых отжила свой век, политические партии надо запретить до полной победы. Потом он предоставил слово Саше, который заявил, что он лично принадлежит к партии независимых, которой в России еще нет, но зато она играет заметную роль в Западной Европе. Как представитель этой партии, он считает, что в Пскове надо организовать лигу свободной любви. Любовь есть частное дело каждого гражданина и должна охраняться специальной хартией — вроде Великой хартии вольностей, ограничившей в 1215 году английскую королевскую власть в пользу баронов.

Леночка выступила последней, и, слушая ее, я подумал, что Саша, может быть, прав — с таким беленьким, круглым личиком, с такими синими глазами, с такими локонами, прикрывавшими розовые уши, можно было, на худой конец, обойтись без убеждений. Она говорила горячо, но обращалась почему-то исключительно к прапорщику Сосионкову, который розовел все больше, моргая и надуваясь, так что постепенно для меня стало ясно, что Саша прогорел, несмотря на всю свою беспринципность.

В общем, из суда ничего не вышло. Позвали ужинать. Стол был длинный, не составленный из нескольких, как это делали у нас, когда было много гостей. У каждого прибора лежало несколько вилок и хорошенький овальный ножик, с которым я не знал, что делать.

5

Семинаристы крепко схватились где-то за городом с кадетами, и, хотя дело обошлось без крови, бойкот вспыхнул и развернулся, прихватив коммерческое училище, до сих пор не принимавшее участия в наших схватках.

Не знаю, кому пришло в голову пригласить в Псков представителей ОСУЗа. Они приехали вдвоем — черненький сухощавый Шершнев и Лев Успенский из гимназии

Мая, поразивший своей внешностью не только гимназисток. Будущий известный писатель и лексиколог, он и в самом деле напоминал вежливо-добродушного льва. Он был очень высок, красив и по-столичному свободен в обращении.

С Шершневым я разговорился, гуляя по Сергиевской после собрания. Оказалось, что он тоже любит стихи. Он первый обратил мое внимание на то, как Бунин тонко чувствует все оттенки цвета.

В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон,
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,—

процитировал он. Он не выступал на собрании. Зато Успенский произнес длинную блестящую речь. Кратко рассказав историю ОСУЗа, он упомянул о незначительном, с его точки зрения, но характерном примере: в первые послереволюционные дни гимназисты общими силами быстро разобрали почту, залежавшуюся в отделениях. Да, и у них, в Петрограде, между учащимися были политические столкновения. Однако после общегородского митинга, на котором присутствовал французский министр-социалист Альбер Тома и с большой речью выступил Керенский, удалось достигнуть равновесия. Каждый из нас может исповедовать любые политические взгляды. Это — завоевание революции, ее оружие, ее сила. Но этим оружием надо пользоваться без угроз и оскорблений. От имени Управы ОСУЗа он, Успенский, просит товарищей псковичей, жителей древнего города вольности, вспомнить, что пройдет год или два, и мы, взрослые люди, окажемся перед лицом всенародных задач.

Он говорил искренне, с увлечением. Но оттенок снисходительности померещился мне в его убедительной речи. Я слушал, и мне казалось, что в Петрограде все умеют выступать так же свободно и дельно, в то время как мы — самые обыкновенные провинциальные мальчики и девочки, поссорившиеся между собой без всякой причины.

Едва Успенский кончил речь, Толя ринулся на кафедру, лохматый, с впалыми, сизыми щеками, узкоплечий и вдохновенный.

Да, сказал он, оратор прав. Каждый из нас имеет право свободно выражать свои взгляды. Но швырять на ветер энергию, которая нужна новой России? Нет! Пора покон-

чить с бесчисленными нападками друг на друга. От имени ДОУ он протягивает бывшим противникам руку.

И широким движением он протянул руку в ту сторону, где сидели правые,— зал, естественно, раскололся в самом начале собрания. Наступило молчание. Рука повисла в воздухе. Никто не ждал от нашего председателя такого решительного шага. Наконец один из правых подбежал к кафедре и пожал руку. Раздались слабые аплодисменты, и Толя покинул кафедру, встретив каменные лица своих товарищей, справедливо считавших, что он мог выступить с подобной речью от своего имени, а не от имени ДОУ.

На другой день мы выбрали другого председателя, Хилкова, о котором говорили, что такого умного и развитого гимназиста не было в Псковской гимназии со времени ее основания. Он мало говорил, пожимал узкими плечиками и действительно очень умно улыбался. Фамилия вполне соответствовала его чахлому сложению. Он хотел стать купцом, а когда я с удивлением спросил его: «Почему?» — он ответил: «Хорошая профессия. Можно много читать и ничего не делать».

Осузовцы уехали, а на другой день семинаристы снова схватились с кадетами — открыто, у Летнего сада. Если бы не вмешались милиционеры, дело кончилось бы плохо: хотя палаши полагались только при парадной форме, кадеты не снимали их, а некоторые ходили с ножами.

6

Друзья, о которых я мог бы написать с наглядной полнотой, лишь промелькнут на этих страницах. В каждом из них было нечто иносказательное, нуждавшееся в разгадке. Характеры еще далеко не сложились, интересы бродили ощупью, фантастическое настоящее быстро становилось будничным, привычным, будущее казалось необозримым плацдармом энергии, доверия и счастья.

Споры были не только политические, не только на собраниях и заседаниях. В нашей компании схватывались часто и надолго, горячо и серьезно.

О чем же мы спорили?

Что такое внутренняя свобода? Не политическая, дарованная нам навсегда,— в этом никто не сомневался. Нет, нравственная, свобода души, которая делает человека неуязвимым, бесстрашным.

Кто внутренне свободнее — Пьер Безухов во французском плену или Платон Каратаев с его языческой готовностью подчиняться Року?

Герой и толпа. Человечество ползет на четвереньках. Имеет ли право сильный человек взять в руки бич, чтобы подстегнуть отстающих?

Что такое любовь? Безотчетное предпочтение кого-то кому-то? И только?

Споры то шли напролом, то уходили в сторону — по меньшей мере, в сторону от меня, потому что я быстро уставал от них и обрывал, не соглашаясь.

Керенский, выступая перед солдатами, покинувшими позиции, спросил: «Кто передо мною — свободные граждане или взбунтовавшиеся рабы?» — и навстречу нам двинулась необходимость оценить настоящее с исторической точки зрения. Здесь вспомнились и сотни лет крепостного права, и контраст между Древней Русью, захваченной татарами, и республиканскими островками Новгорода и Пскова.

Кто-то процитировал ибсеновского доктора Штокмана: «Самый опасный враг истины и свободы — это соединенное свободное большинство»,— и я как будто вновь услышал голоса, доносившиеся из комнаты старшего брата. Голоса были негромкие, ночные. Отец сердился, что гимназисты засиживаются допоздна и не дают ему спать.

7

Омский полк стоял на острове Даго, и отец написал, чтобы мальчики приехали к нему, потому что «здесь такая сметана, что ее можно резать ножом». Почему-то среди других достоинств острова его поразила именно эта сметана.

Решено было, что на Даго мы поедем вдвоем — я и Саша. Но в последнюю минуту он передумал. Выбирая между химией и музыкой, он окончательно остановился на музыке. Как Рахманинов, он мог взять одиннадцать нот. Композитор должен стать виртуозом, чтобы публика могла понять его произведения. Он решил «переставить руку», как советовал дядя Лев Григорьевич, и мама наняла для Саши Штегмана, получавшего полтора рубля за урок. Кроме того, Саше не хотелось на Даго, потому что там, очевидно, не было гимназисток.

Я плохо помню свои впечатления, хотя впервые отправился в такое далекое путешествие по железной дороге. Помню только, что обычная самонадеянность сразу же оставила меня, едва я оказался в купе, среди незнакомых людей, которым не было до меня никакого дела. Ни с кем не заговаривая и неохотно, угрюмо отвечая на вопросы, я сидел и все поглядывал на свой чемоданчик, боялся, что его украдут. Ночью я спал, положив на него голову, а проснувшись, решил, что у меня кривошея: хотя я мог повернуть голову, но с трудом.

Отец встретил меня в Балтийском порту. Мы не виделись больше двух лет. Он обрадовался, сказал, что я очень вырос. Мы поцеловались и сперва заговорили оживленно, но скоро замолчали.

Вдруг я понял, что мы почти никогда не разговаривали, что он почти ничего не знает обо мне, а я — о нем. В этой бричке с извозчиком-евреем, кучерявым, курносым, в белом балахоне и картузе, надвинутом по самые уши, мы впервые были вдвоем, и оказалось, что мне нечего даже рассказать ему, кроме того, что он и без меня знал из маминых писем. Но я все-таки сразу же стал искусственно рассказывать что-то, стараясь не упоминать Льва, о котором отец не хотел и слышать. Отец похудел, потемнел, в усах стала заметна седина, может быть потому, что он перестал их фабрить.

Мне показалось, что он расстроен, растерян. Потом я понял причину этой растерянности: он не понимал, что творится в армии, которой был так долго и бескорыстно предан.

Полк стоял в богатом имении. Мы проехали большой прекрасный парк, в котором были раскинуты палатки и стояли пирамиды винтовок с примкнутыми штыками. Хозяйственные постройки, крытые черепицей и сложенные из огромных валунов, были удивительно не похожи на русские риги и амбары. Потом открылся за просторной ровно-зеленой лужайкой большой старинный буро-коричневый дом с двумя коническими башнями над правым и левым крылом, с высокими овальными воротами, резными, из темного дуба. Ворота раскрылись, и мы въехали в квадратный, мощенный плитами двор.

Это был замок какого-то барона — не помню фамилии,— и мне показалось, что из двадцатого века я шагнул прямо в семнадцатый или восемнадцатый, когда отец провел меня в темноватую прохладную гостиную и показал

диван, где уже были приготовлены для меня простыни и одеяло. Никогда прежде я не видел таких тяжелых — не сдвинешь с места — кресел, украшенных бронзой, таких ковров, мягких, ворсистых, и совсем других — шелковых, гладких, нежных. На стенах были не обои, а тоже ковры — тогда я не знал, что они называются гобеленами,— и на этих огромных коврах были изображены сцены: охота, свадьба, прогулка в лесу.

Я устал от дороги, но долго не ложился — все расхаживал и рассматривал эти кресла, ковры, диваны, а они как будто рассматривали меня — и недоброжелательно, с укором...

На Даго гостил еще один мальчик, тринадцатилетний сын командира полка. Отец хотел, чтобы я подружился с ним, но мы поговорили раза два и больше не встречались. Мальчик — хорошенький и отчаянный — интересовался только лошадьми и по целым дням пропадал на конюшне. Накануне моего отъезда он умчался на рысаке без седла, был переполох, за ним поскакали, вернули, и я видел, как командир полка, высокий, бледный, с благородным лицом, подошел к нему и что-то с бешенством сказал по-французски. Мальчик выслушал, гордо подняв голову, коротко ответил, повернулся и ушел как ни в чем не бывало.

Совсем другие, далекие от нашей семьи отношения приоткрылись для меня в этой сцене. Мама влепила бы мне затрещину, если бы я отмочил такую штуку, и была бы совершенно права.

8

Я давно заметил плотного юношу в охотничьей куртке, в толстых ботинках и гольфах, понурого, с умным, слегка одутловатым лицом. Его трудно было не заметить — он бродил вокруг и около, по парку, в котором стояли солдаты, по хозяйственному двору. В замке он появлялся неожиданно, то в одной комнате, то в другой. Вскоре я понял, что вся жизнь полка проникнута тайной враждой. Но он был далек и от этой вражды, он был чужим для всех, и это в особенности чувствовалось, когда он в одиночестве мерно, гулко шагал по каменным плитам двора. Казалось, он не находил себе места.

Я спросил о нем отца, и с уважением, понизив голос, отец сказал, что это Герберт, сын владельца замка.

— А владелец — барон?

— Не знаю. Очень богатые люди, очень. Родители уехали в Ревель, а он остался присмотреть за хозяйством.

Наше знакомство произошло неожиданно. В комнате, где я спал, висел на стене барометр, вставленный в деревянную, украшенную орнаментом круглую рамку. Уже самый крюк, на котором он висел, заинтересовал меня: крюк изображал змейку, высунувшую длинное жало. За толстым стеклом можно было рассмотреть устройство. На круге были обозначены определения погоды. Черная стрелка двигалась медленно, а золотую можно было передвигать рукой, сравнивая сегодняшнее давление с вчерашним.

Герберт вошел, когда я снимал барометр с крючка, чтобы разглядеть поближе — в комнате было полутемно. Без сомнения, он подумал, что я хочу украсть барометр, и подумал недаром: из замка каждый день что-нибудь пропадало, я своими глазами видел, как солдат выносил, не скрываясь, оправленную серебром хрустальную вазу. Как бы молчаливо признавалось, что воровать можно. Между «можно» и «нельзя» была тоненькая ниточка, которую одни позволяли себе разрывать, а другие — не позволяли.

Я смутился, увидев Герберта, и поспешно повесил барометр на место.

Он усмехнулся:

— Берите, берите.

У него был глухой голос, очень спокойный, и он сказал это с оттенком горечи и в то же время странного удовлетворения.

— Вы думаете, что я хотел его украсть?

Он посмотрел в сторону.

— Берите, пожалуйста, все берут. В деревне высекли крестьянку за то, что она не позволила им украсть поросенка. Если я не отдам вам барометр, вы можете попросить вашего отца, чтобы он приказал меня высечь. Ведь он офицер?

Странно, что и это было сказано с таким выражением, как будто ему очень хотелось, чтобы мой отец приказал его высечь.

Пока я кричал что-то бессвязное в том припадке вспыльчивости, которых я сам боялся, он спокойно слушал, молчал и смотрел в сторону большими грустными тусклыми глазами. Он был старше меня всего года на три, но в нем чувствовался сложившийся человек, и, когда я замолчал в бессильном бешенстве, он так и заговорил —

как взрослый с мальчишкой. По-видимому, сперва он остерегался быть откровенным в полной мере. Он обидно давал мне понять, что не доверяет мне и принужден к осторожности. Потом перестал остерегаться и выложил все, что думал.

Скучным голосом, глядя мимо меня, но не пряча глаза, он сказал, что русский солдат всегда был вором, как, впрочем, каждый солдат. Но каждый — в чужой стране, а русский — и в чужой и в своей. Но плохо не то, что он вор, а то, что он получил право выбирать и быть избранным и, следовательно, может выбирать между исполнением и неисполнением приказа. От революции никто не выиграл, кроме евреев, получивших правожительство, но и они когда-нибудь пожалеют об этом. Эстляндия никогда не признавала присоединения к России, произведенного в 1710 году.

— Петр Первый кидался из стороны в сторону и думал только о том, чтобы вытравить из России все русское, и для вас, русских, счастье, что он был пьяница и маньяк. У Эстляндии своя история, которая ничем не похожа на грязную историю России. В Эстляндии крестьяне освободились от крепостной зависимости на пятьдесят лет раньше, чем в России. Она должна принадлежать Швеции и будет принадлежать, потому что русские проиграют войну. Солдаты и офицеры, превратившиеся в бездельников и воров, не способны сопротивляться Германии.

Я переспросил:

— И офицеры?

— Да, и офицеры.

Это было в июне 1917 года. В нашей гимназии только один гимназист, Валька Лаптев, красивый пустой малый, объявил себя монархистом. Он оригинальничал, красуясь перед гимназистками «независимостью» своих убеждений. На Даго я встретился с человеком, который не скрывал, что революция не внушает ему ничего, кроме отвращения. Он не только не жалел своего имения, он был доволен, что его имение разворовывают у него на глазах. Он хотел, чтобы еще тысячу раз повторился этот случай с крестьянкой. Он не пожалел бы самой жизни, чтобы русские проиграли войну. Он хотел, чтобы вся революция состояла из воровства и насилия. Из его тусклых глаз, похожих на глаза умного грустного пса, смотрела такая ненависть, что я испугался.

Неловко и грубо я оборвал разговор:

— Нам не о чем говорить!

Он усмехнулся презрительно, пренебрежительно. Все было в этой кривой усмешке — и сожаление, что он разговорился с мальчишкой, и напоминание о том, что я живу в его доме.

9

Отец ложился рано, но по случаю моего приезда изменил свои привычки и однажды вечером, когда мы гуляли по аллее, огибавшей замок, попросил меня рассказать о политических партиях — чем они отличаются друг от друга. Я горячо принялся за дело, но остыл, когда после часового разговора оказалось, что отец путает кадетов — членов конституционно-демократической партии и кадетов — учащихся кадетских корпусов.

Он смутился, когда я только развел руками. По всему было видно, что существование кадетских корпусов казалось ему более необходимым, чем существование кадетской партии, а их цель — несравненно разумнее и яснее. Впрочем, о Милюкове он не только слышал, но отозвался с большим уважением:

— Ну как же! Член Государственной думы!

И в свою очередь развел руками, когда я сказал, что наше Демократическое общество учащихся намеревается выбить окна в доме Лохова, где собираются последователи этого уважаемого члена Государственной думы.

— Хулиганство, дорогой мой, хулиганство!

Какой-то солдат, проходивший мимо, приостановился, услышав мои рассуждения, вежливо поздоровался с отцом и присоединился к нам. Это был человек лет тридцати, в чистой, аккуратно перетянутой ремнем гимнастерке, с добрым, даже, пожалуй, красивым лицом. Я не заметил в нем ничего, что отличало бы его от других солдат, и не понял, почему, когда он подошел, в отце появилась какая-то напряженность. Прежде он был всецело обращен ко мне, теперь — к этому солдату. Я продолжал рассуждать и даже, вдохновленный появлением нового слушателя, с еще большей охотой. Но теперь что-то мешало мне. Помехой была — это я понял не сразу — непривычная новизна отношений между отцом и солдатом: новизна, к которой солдат относился спокойно, а отец — неуверенно и нервно.

Мы дважды прошли мимо левого башенного крыла замка, в котором было устроено офицерское собрание.

В первый раз окна были закрыты, и все-таки даже издалека доносились возгласы и веселый нестройный шум. Когда, обогнув замок, мы стали возвращаться, шум усилился, и к нему присоединились звуки духового оркестра. Теперь окна были распахнуты настежь, офицеры в расстегнутых кителях чокались стаканами, оркестр грянул мазурку (потом я узнал, что у отца были неприятности за то, что он послал вместо себя старшего музыканта) — и две или три пары с топотом прошлись по залу. Женщины были русские, не эстонки.

Я знал, что в офицерском собрании пьют и всегда много пили. Случалось, что и отец возвращался домой скорее больной, чем пьяный,— при своем могучем сложении он не выносил спиртного. Но это бывало давно, до войны. А теперь... Что-то неприятное и даже непристойное померещилось мне в этом разгуле, который грубо ворвался в мягкую тишину июньского вечера, в тишину парка с белевшимися палатками, в которых уже давно спали солдаты.

Отец поглядел и отвернулся, нахмурясь. Солдат... Глаза его широко раскрылись, лицо потемнело. Он что-то пробормотал, мне показалось даже, что он заскрипел зубами. Мы пошли дальше. Вскоре он откозырял и простился.

Я начал было:

— Этот солдат...

— Какой же это солдат? — сердито сказал отец.— Это теперь начальство, дорогой мой. Начальство, начальство.

Солдат оказался председателем полкового комитета.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Я лег, но долго не мог уснуть, все думал.

...Отец не одобрял офицерский кутеж, это было ясно. Он понимает, что сейчас не время кутить, и сердится, что командир полка приказал явиться оркестру. Но еще больше он сердится на то, что после двадцатисемилетней службы в армии должен относиться к солдату как-то иначе, чем прежде, только потому, что этот солдат — председатель полкового комитета. Он просто не знал, как теперь к нему относиться.

Я вспомнил, что солдат и держался как председатель: говорил мало и как бы взвешивая каждое слово, хотя ничего особенного не было в том, что он говорил. Что же случилось, что совершилось в нем, когда с блеснувшими зубами он смотрел на кутивших офицеров?

Еще одна неизвестная, неожиданная сторона жизни лета 1917 года открылась для меня после поездки на Даго.

ОСЕНЬ 1917-го

1

Почему наш дом, гимназию, город в разные времена года, сады — Ботанический и Соборный, прогулки к Немецкому кладбищу, каток, себя между четырьмя и пятнадцатью годами я помню рельефно, фотографически точно? И почему семнадцатый год расплывается, тонет в лавине нахлынувших событий, поражающих своей приблизительностью, как это ни странно? Может быть, потому, что до революции жизнь шла согласно устоявшемуся порядку вещей и, как бы к нему ни относиться, память невольно пользовалась им как опорой? Сегодняшний день повторял вчерашний, вчерашний — третьегодняшний. Перемены, если они происходили, были, казалось, связаны не с людьми, а с природой. Невозможно было увидеть учениц гимназии Агаповой в коричневом платье, а Мариинской — в бордо. Наш классный наставник Бекаревич был статский советник, и, отвечая ему, я видел на петлицах его форменного сюртука просветы жгутиков и два блестящих кружочка — такие жгутики и кружочки мог носить только статский советник.

Но, может быть, память изменяет мне, потому что для меня семнадцатый год был битком набит слухами, происшествиями, большими и маленькими, случайностями, бестолковщиной — и все это бешено неслось куда-то, опережая тревожное чувство счастья? Впервые в жизни я выступал на собраниях, защищал гражданские права пятого класса, писал стихи, без конца бродил по городу и окрестным деревням, катался на лодках по Великой, влюбился искренне и надолго.

Рельефность внешнего мира как бы подернулась туманом, растаяла, отступила. Зато состояние души, в котором я тогда находился, запомнилось мне отчетливо, живо. Это был переход от детства к юности. От затянувшегося детства с его медленностью привыкания к жизни, заставляющей меня останавливаться, оглядываться на каждом шагу,— к стремительной юности с ее «памятливостью изнутри», характерной для людей, сосредоточенных на себе, эгоистичных и самовлюбленных.

2

Дожди идут днем и ночью, на город как будто накинута огромная мокрая рыбачья сеть с чешуей, поблескивающей в ячейках, а когда выдается ясный денек, в его бледном свете чувствуется шаткость, непрочность.

В Петрограде арестовано Временное правительство, в Москве идут уличные бои. Но в Пскове на первый взгляд не изменяется почти ничего.

Два казачьих полка расквартированы на Завеличье, в Омских казармах, и никто не может с полной определенностью сказать, как они относятся к тому, что происходит в Москве и Петрограде. Днем двадцать шестого октября сотня, а может быть, и две во весь опор мчатся по Кохановскому бульвару к тюрьме, где сидят арестованные большевики. Спешиваются, неторопливо закуривают. Надзиратели в полной форме, вооруженные, стоят у ворот. Казаки собираются группами, размышляют вслух: «Да ну их всех к... На Дон бы!»

И, покурив, побродив, возвращаются в казармы.

Город — вымокший, серый, унылый. Солдаты в шинелях, накинутых на плечи, раздают листовки: «Долой большевиков» — эти слова напечатаны крупно, а за ними с красной строки: «Кричат контрреволюционеры всех и всяческих мастей, помещики и капиталисты». К вечеру тюремные служащие сдают оружие, и солдаты освобождают большевиков.

Власть переходит в руки Военно-революционного комитета.

3

Я не вспомнил, а «довоспоминался» до случайностей, которые были связаны с этими днями. Ни до, ни после них эти случайности были невозможны.

...Раннее утро седьмого или восьмого ноября. Просыпаясь, я думаю о колченогом нищем, который тайно живет на дворе дома баронессы Медем, в ящике из-под рояля. Не промок ли нищий? Боюсь, что промок. Правда, ящиков много, они навалены друг на друга. Еще недавно, играя в казаки-разбойники, мы прятались за ними, потом Саша, прочитав миф о Дедале, построил из них лабиринт.

Нищий живет в глубине лабиринта, в маленьком ящике из-под рояля «миньон». У него рыжая бороденка, он ходит с палкой, странно выбрасывая ногу вперед. Он называет себя матросом — и врет, путается, когда я расспрашиваю, на каких судах он служил. Похоже, что он сбежал из монастыря. Рвань, в которую он одет, напоминает подрясник. Зовут его Тимофей. Он просит хлеба, но с хлебом в городе плохо, очереди, и я таскаю ему сухари. В нашем доме не переводятся ржаные сухари — отец вырос в Финляндии, там мальчишки постоянно грызут твердые, каменные сухари: вот почему у финнов — и у него — такие крепкие, белые зубы.

Нищий прячется — от кого? Когда я приношу ему сухари, он снимает шапчонку, крестится и шепчет молитву. Как-то он при мне сбросил подрясник, и я увидел на его заношенной рубахе бурые пятна. Кровь? Похоже, что он боится не милиции, которой уже давно никто не боится, а какого-то определенного человека. В Новоржевском уезде псаломщик зарезал семью попа — на днях «Псковская жизнь» сообщила об этом убийстве. Может быть, он?

Сухари стащить легко, а за огурцами надо лезть в подпол. Без ботинок, на цыпочках я захожу в кухню. Все спят. Я кладу огурцы вместе с сухарями в бумажный кулек, надеваю ботинки и выхожу из дома.

На улицах — пусто, дождь перестал. Я бегу и, завернув на Сергиевскую, догоняю Константина Гея, старшего брата моего товарища Вовки. Догоняю, обгоняю, оборачиваюсь и возвращаюсь.

Гей — в грязи с головы до ног. Мокрая шинель висит на его прямых узких плечах. У него черные руки. В петлях шинели застряли комочки земли.

Обычно Константин мрачноват, немногословен, сдержан. Встречаясь, я никогда не решаюсь заговорить с ним первый. Но сегодня решаюсь:

— Что случилось? Вы упали? Может быть, помочь?

— Ничего особенного. Керенский вызвал с фронта войска, и надо было...

Сухари торчат из разорванного кулька. Он смотрит на них и отводит взгляд.

— Мы разобрали рельсы.

Теперь видно, что у него немигающий взгляд. Я протягиваю ему кулек с сухарями. Он берет сухарь. Усики неприятно шевелятся, когда он жует. Берет второй. Не по-

мню, о чем мы еще говорим. Он сухо благодарит, и мы расстаемся. Колченогий нищий остается без завтрака. Я возвращаюсь домой.

...Боборыкин из седьмого «б» класса, неуклюжий, с длинным туловищем и короткими ногами, объявляет, что он — большевик. Никто этому не верит, тем более что ему трудно объяснить суть своих убеждений, и он только повторяет, что ему нравятся большевики. У него много братьев и сестер, семья бедствует, отец — штабс-капитан Иркутского полка — за три года только один раз был в отпуску.

Приехавший с фронта прапорщик Околович, неузнаваемо повзрослевший и поздоровевший, грязно и хвастливо говорит о женщинах, а потом с такой же хвастливой уверенностью — о необходимости войны до победного конца. Боборыкин возражает, путается, теряется, повторяется. Гимназисты хохочут. Околович высмеивает его. Я молчу. Грубо выругавшись, Боборыкин уходит.

...Еще летом Толя Р. подробно объяснял мне, почему он отказался участвовать во всероссийском дне эсеров 15 июля. День, по его мнению, был устроен правыми эсерами, которые почти не отличались от трудовиков. А он не правый, а левый. Я выслушал его, все понял, но вскоре забыл. «У тебя неполитическая голова»,— с досадой сказал мне Толя.

В нашем классе учился Костя фон дер Беллен, очень маленький, важный, лопоухий. Одна из заметок в записных книжках Чехова: «Крошечный гимназистик по фамилии Трахтенбауэр» — и до сих пор неизменно заставляет меня вспомнить о Косте.

Мы возвращаемся из гимназии — Толя Р., семиклассник фон дер Беллен (старший брат Кости) и я. Между Толей и фон дер Белленом — спор долгий, неукротимый, свирепый. Впрочем, свирепеет с каждой минутой Толя, а фон дер Беллен, красивый, в хорошо сшитой шинели, спорит толково, неторопливо. Он доказывает, что Керенский был болтуном и бабой.

— Если бы на его месте был Савинков, большевикам живо прищемили бы хвост. Единственным решительным шагом Временного правительства является арест Корнилова и Лукомского, но вся трагедия как раз и заключается в том, что этот арест был преступлением. В русской армии, которую пытаются погубить большевики, Корнилов — воплощение чести и славы. Здоровые силы армии немедленно

объединились бы вокруг него. И это произойдет все равно, потому что Ленин захватил власть на две недели, не больше.

Толя уже не возражает. Он старается справиться с собой, губы вздрагивают, ему трудно дышать. Вдруг он говорит срывающимся, бешеным голосом:

— Еще слово — и я тебя застрелю.

И фон дер Беллен, который только что говорил твердым, уверенным голосом, осекается, умолкает. Теперь все его усилия направлены только на то, чтобы доказать, что он не испугался. Пробормотав что-то, он круто поворачивается и уходит.

Почему этот спор — один из тысяч — запоминается мне? Потому что еще месяц тому назад невозможно было вообразить, что один семиклассник скажет другому: «Я тебя застрелю» — и тот не рассмеется, а испугается, растеряется. Угроза еще казалась почти невероятной возможностью одним махом закончить спор. Но Толя воспользовался этой возможностью— и с полным успехом. Он никого не мог застрелить, угроза сорвалась неожиданно, как будто она пролетала где-то над нами и он, протянув руку, схватил ее на лету. Но она пролетала. Она вооружалась, принуждала переходить от слов к делу и сама была этим еще почти немыслимым переходом.

Мы существовали уже в другом времени, наступившем незаметно, пока в Пскове лили и лили дожди, беспросветные, скучные, и весь город ходил под зонтиками и в калошах.

4

Я хожу в гимназию каждый день. Саша — два-три раза в неделю.

У педагогов — растерянный вид, и только Ляпунов, прямой, горбоносый, с небольшим животом под форменным мундиром, такой же энергичной походкой проходит по коридору. Его не избрали в Учредительное собрание — с моей точки зрения, напрасно. Остолопов тоже провалился, хотя с успехом выступал на собрании трудовиков. По слухам, ему помешала фамилия.

Латынь не преподается, но Борода по-прежнему ходит в гимназию. И прежде он выпивал, а теперь все чаще, хотя на керенки водку достать почти невозможно. Керенки, вы-

пускавшиеся листами, как переводные картинки, быстро обесцениваются. Бороде обещан другой предмет, а пока он сидит в учительской и читает. Похудевший Иеропольский больше не настаивает на том, что надо говорить не «Пётр», а «Петр, Петр Великий», и не поднимает с благоговением свой толстый указательный палец.

Занятия продолжаются, и порядок, как это ни странно, поддерживается тем самым «подпольным» кружком из пяти гимназистов, которые еще до революции собирались у Альки, занимаясь чтением рефератов и спорами о том, была ли смерть Рудина на баррикадах 48-го года в Париже единственным выходом для русского революционера. ДОУ продолжает существовать, хотя собрания к осени надоедают.

То, что волновало нас в июне и июле, теперь кажется мелким, ничтожным. Товарищеский суд из-за какой-то Леночки Халезовой! Снисходительные осузовцы, приезжавшие мирить нас с кадетами, как будто мы были нашалившие дети!

Красная витрина на Сергиевской, стоившая нам так много забот, пустует.

Осенью семнадцатого года Женя Рутенберг поступает на работу в тыловые оружейные мастерские на Завеличье, и жизнь пятого «б» класса приобретает винтовочно-револьверный уклон. В мастерских женщины и несколько гимназистов промывают керосином, чистят и собирают русские, американские и японские винтовки. Динамит, «гремучий студень», который Рутенберг иногда приносит в гимназию, завернут в пергамент и похож на пачки махорки. Если на горящий кусочек этого студня наступить ногой, он взрывается с такой силой, что можно коленом выбить зубы. У Рутенбергов с помощью динамита ставят самовар: бросают на горящие угли кусочек, величиной с горошину, и вода в полминуты закипает так бурно, что крышку срывает паром.

Поздней осенью бравый унтер, начальник оружейных мастерских, самовольно демобилизуется, одни женщины разбегаются, другие не знают, кому сдавать винтовки,— и наш класс постепенно начинает вооружаться. Для себя Женя выбирает почти новенький «смит-вессон».

КЛАССНЫЕ СОЧИНЕНИЯ.
ПРИЕЗД ОТЦА.
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

1

Среди товарищей старшего брата, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на Великой, решать философские проблемы века, Юрий Тынянов был и самым простым, и самым содержательно-сложным. Хохотал, подражал учителям — и вдруг становился задумчив, сосредоточен: писал стихи.

Гимназические друзья всю жизнь хранили его письма, стихи, его домашние и классные сочинения. «Даже короткая разлука с ним казалась нам невыносимой»,— пишет в своих воспоминаниях Лев. После гимназии были разлуки не короткие, а долгие, бесконечные, вынужденные, роковые. Но дружба продолжалась. Брат посвятил Юрию свой первый научный труд. Юрий посвятил ему первую книгу — «Гоголь и Достоевский».

Синие тетрадки с белой наклейкой: «Ю. Тынянов. VIII «а» класс» — сохранились у Августа Андреевича Летавета, действительного члена Академии медицинских наук, в прошлом — известного альпиниста. Ему без малого восемьдесят лет, но его запомнившийся мне еще с детства смех звучит так же оглушительно-простодушно. Как и я, он пишет воспоминания — и каждая страница дышит душевным здоровьем, добротой, твердостью и трогательной верностью дружбе...

Обо многом передумал я, читая гимназические сочинения Тынянова. К семнадцати годам он не просто прочел, а пережил русскую литературу. Ему понятны и близки были трагедия Лермонтова, самоотречение Толстого. Он уже свободно владел крылатым знанием, основанным на памяти, которую смело можно назвать феноменальной.

Принимая творчество как бесценный дар, он отнюдь не думает, что оно ограничивается искусством или наукой. На первое место он ставит творчество сердца. Его любимый герой — Платон Каратаев, потому что он «обладает чем-то таким, что не дано Наполеону и Александру... Счастье его — в непрерывной творческой работе, претворяющей каждого голодного пса в носителя жизни».

Эпиграфом к сочинению «Жизнь хороша, когда мы в ней необходимое звено» взяты строки из «Мистерий» Гам-

суна: «Я — чужой, я чужестранец здесь. Я — каприз бога, если хотите». Мысль, подсказанная эпиграфом, развивается: живая человеческая цепь движется по законам, ею самой для себя созданным. Но вот появляются люди, которые не желают «плясать страшный танец жизненной бестолочи»,— мыслители, мечтатели, безумцы. Над мертвой машинальностью жизни задумывается Гамлет — и «с тех пор в цепи бытия кровь Гамлета передается от рода к роду; и последние потомки его названы страшным именем «лишних людей». Так перебрасывается мост между Гамлетом и Рудиным. Поучительно-благонамеренная тема неожиданно перевернута — «необходимое звено» оказывается уделом избранных. Возникает и утверждается идея несходства, право на несходство, которое иногда стоит жизни людям «со слишком глубокими, слишком ясными глазами». Но «пора понять, что эти чужестранцы, эти святые бродяги земли — необходимые звенья той жизни, к которой они приближают человечество, может быть, одним своим появлением».

Слишком глубокие, слишком ясные глаза были у Тынянова, и «право на несходство» обошлось ему дороже, чем можно было ожидать. Но он и не искал легкой доли.

Это не сочинения, это — признания. Нечего и говорить о том, как обдуманно, как обреченно решен в этих тоненьких синих тетрадках выбор жизненного пути. Читая их, можно в семнадцатилетнем гимназисте узнать будущего автора «Кюхли» и «Смерти Вазир-Мухтара».

2

Однажды летней ночью я долго не мог уснуть, прислушиваясь к голосам, доносившимся из садика бабаевского дома. Сестра Лена лежала в гамаке, Юрий Тынянов сидел подле нее, и хотя невозможно было разобрать ни слова — да я и не прислушивался,— мне невольно пришло в голову, что это один из тех разговоров, которые решают в жизни многое, а может быть, самую жизнь.

Я уже упоминал, что сестра жила в Петербурге, и в ее возвращениях домой для меня всегда было что-то волновавшее, значительное: Петербург, консерватория, студенческие концерты, на которых сестра выступала с успехом. Нельзя сказать, что она, как Лев, не замечала меня. Случалось, что мы разговаривали, и я, осторожно хвастаясь

своей начитанностью, гордился и ценил эти редкие разговоры.

В семье она считалась умницей и красавицей, и я был искренне огорчен, когда она вышла замуж за студента К. Правда, студент был «политический» и даже сидел в тюрьме, но мне казалось, что этого все-таки мало, чтобы выйти замуж за такого скучно-серьезного человека, маленького роста, слегка сгорбленного, в очках, крепко сидевших на его большом, унылом, висячем носу.

История этого первого замужества сестры прошла мимо меня, помню только, что Лена была «бесприданница», родители студента — богатые мучные торговцы — были против брака, молодые где-то скрывались, приезжали и уезжали, иногда разъезжались. История была сложная, и по маминым участившимся головным болям, по ее сдержанному лицу нетрудно было заключить, что это была невообразимо сложная сложность. «Но, может быть, все кончится теперь?» — подумал я, очнувшись под утро от дремоты и увидев Юрия Тынянова и сестру, возвращавшихся из садика с тихими, счастливыми, точно хранившими какую-то тайну лицами.

И эта сложность действительно кончилась, но сразу же началась другая. Я понял это по обрывкам разговора между Юрием и старшим братом, который с удивившей меня откровенностью советовал другу не торопиться со свадьбой...

Но Юрий торопился — и свадьба состоялась в феврале 1916 года в Петрограде. Почему-то мама взяла меня с собой. С вокзала мы поехали в какую-то дорогую гостиницу, я понял это по движению веселого отчаянья, с которым мама назвала ее, усаживаясь в сани. Возможно, что это была «Астория» или «Англетер». Она повеселела, узнав, что свободных комнат нет, и, спускаясь по нисходящей — от самой дорогой гостиницы до самой дешевой,— мы сняли комнату в номерах на Петроградской, где баба с подоткнутым передником вошла не стучась и спросила — не нужен ли нам самовар? Вместо ответа мама с веселым лицом сунула ей оставшуюся с дороги французскую булку.

Мне не понравилась свадьба, которую устроил богатый племянник Софьи Борисовны Тыняновой, матери Юрия. Но еще меньше понравилась она молодым, которых я нашел уединившимися в нише, полускрытой портьерой. Они тихо разговаривали и, кажется, обрадовались, увидев меня. У них были усталые, скучающие, напряженные лица. Без

сомнения, они с нетерпением ждали окончания затянувшейся, никому не нужной церемонии. На сохранившейся фотографии Юрий сидит, положив руки на колени, как провинившийся школьник, а по красивому лицу сестры видно, что она только что тяжело вздохнула. В нише за портьерой они ласково поговорили со мной, и я чуть не рассказал, что однажды нашел на полу в комнате сестры программу концерта, на которой острым, летящим почерком Юрия было написано:

В комнате Леночки — пудра и духи,
В комнате Леночки пишутся стихи.

Но я промолчал. Так далеки были эти мелькнувшие беспечные, изящные отношения от никому не нужной, невеселой свадьбы!

Молодые сняли квартиру где-то на Гатчинской, и Февральская революция застала их в Петрограде. Осенью восемнадцатого сестра приехала в Псков с маленькой дочкой Инной — и между молодыми супругами вскоре пролегла линия фронта.

3

Отец возвращается неожиданно, мрачный, с повисшими черно-седыми усами — и сразу начинает скандалить. Его известили, что Лена вышла замуж, но, по-видимому, известили мельком или письмо не дошло. Нельзя сказать, что ему не нравится Тынянов, напротив, из товарищей Льва он любил его больше других. «Юшенька — душа, душа»,— говорит он. Но сестра уже была замужем, когда он из отпуска уезжал на фронт, и вторичный брак без его ведома и согласия кажется ему беспорядком.

Хмуро выслушивает он мамин рассказ о том, как зимой 1916 года в Петрограде была отпразднована свадьба. На внучку он не хочет смотреть, а когда мама спрашивает: «Что в полку?» — машет рукой и отвечает одним выразительным словом.

По всему дому развешано детское белье, он скатывает его в ком и вышвыривает из своего кабинета. Лена кричит на него, он с треском захлопывает перед нею дверь и принимается клеить скрипки.

Нельзя не согласиться с ним — в доме беспорядок. Нянька собралась переехать к актеру Салтыкову в Петров-

ский посад, но живет по-прежнему у нас. Зоя ходит беременная, подурневшая, с ярко-рыжими веснушками на бледном лице, но веселая, и даже почему-то веселее, чем прежде. Она уходила от нас, полгода служила продавщицей в магазине игрушек «Эврика» и вернулась с «прибылью», как говорила нянька. Отец хотел рассчитать ее, мать отказалась, настояла на своем, и Зоя осталась. И действительно, переваливаясь, грузно топая, она поспевает всюду.

Впрочем, поспевать надо только к маленькой Инне: все происходящее в доме направлено к ее благополучию и концентрически вращается только вокруг ее существования. Фрукты и овощи достать невозможно, но они откуда-то появляются — очевидно, падают с неба. Мама терпеливо готовит какие-то овощи, протирая их через сито, нянька громко доказывает, что так кормят только цыплят. Но больше всех сердится и недовольна сестра. Она и прежде часто сердилась и была недовольна, и это всегда не только молчаливо прощалось, но считалось как бы естественным: ведь в ее жизни произошло несчастье — она была бы замечательной виолончелисткой, если бы не переиграла руку...

Только девочка ни на кого не сердится и очень мила: беленькая, с голубыми глазами. Когда мама наконец уговаривает отца посмотреть на внучку, он приходит с корнет-а-пистоном и оглушительно играет над кроваткой, в которой она лежит, утреннюю зорю — сигнал, которым в полку начинается день.

Девочка улыбается, и, сморгнув набежавшую слезу, отец целует ее ручку и уходит, стараясь не скрипеть сапогами.

4

В городе ждали налетов немецкой авиации, и Женя Рутенберг, больше не работавший в оружейных мастерских, придумал развлечение. Он выходил на Сергиевскую и начинал внимательно смотреть на небо. На вопросы он не отвечал. Быстро собиралась толпа, люди стояли, подняв головы и тревожно переговариваясь, а он тем временем незаметно скрывался.

Своего товарища Кисселя, которому Емоция отказывался выдать свидетельство об окончании четырех классов, он потащил к матросу П., председателю городского рев-

кома. Матрос понравился Рутенбергу. На поясе у него висели гранаты, из кармана торчал наган. Записку он написал синими чернилами, а расписался красными: «Директору гимназии. Приказываю немедленно выдать гимназисту Киселю свидетельство об окончании четырех классов. Матрос П.». Емоция, которого чуть не хватил удар, попытался уклониться от выдачи документа, ссылаясь на то, что фамилия Киссель была написана через одно «с», но потом все-таки выдал.

Эту историю мы с Алькой выслушали с интересом. У нас был свой повод обратиться к матросу П., более серьезный: накануне Алька набросал собственный план обороны Пскова и, хотя я считал, что глупо идти с этим планом в ревком, Алька настаивал, и я почти согласился.

...В Пушкинском театре с утра шел митинг, и, когда мы пришли, слово получил трудовик, худенький, пожилой, в очень приличном, болтавшемся на нем костюме.

Начиная свою речь, он упомянул, что очень устал, и меня это ничуть не удивило: у него был измученный вид. Но со всех сторон закричали: «Устал — так и катись к такой-то матери!» Трудовик терпеливо пережидал шум и продолжал свою речь. Он был знаменитый, кто-то сказал, что он только что приехал из Петрограда... Мы с Алькой попытались пробраться на сцену, но матросы не пустили нас, и мы пошли в фойе, а потом на балкон.

С острым интересом приглядывался я к лицам, прислушивался к вспыхивающим спорам. Что-то горячее, обжигающее было в этих людях, бродивших в накинутых нараспашку шинелях, с самокруткой, прилипшей к нижней губе. Если прежде они не могли сделать и шага по своей воле, потому что носили солдатские шинели, теперь, в тех же шинелях нараспашку, они были вольны делать все, что хотят.

Как будто немцы не стояли под Псковом, трудовик решительно возражал против неорганизованного захвата крестьянами помещичьих имений и требовал постепенного перехода частновладельческих земель в общенародную собственность. Поднимался шум, и он ждал утомленно и терпеливо.

Мы стояли на балконе, там, откуда я слушал Губермана. Но как все изменилось с тех пор! Тогда в зале была «публика», люди, заплатившие деньги, чтобы сидеть здесь в приличной одежде и слушать. Дамы оглядывали друг друга с головы до ног, мужчины были в черных костюмах.

Вице-губернатор сидел в ложе, и знаменитый скрипач поклонился публике, а потом — отдельно — ему.

А теперь было холодно и шумно, солдаты курили, и табачный дым медленно расплывался в тускло освещенном зале. Все двери в коридор и фойе были распахнуты настежь, везде сидели солдаты и матросы, и на балконе, под скамейками некоторые даже спали. На сцене все было красное — длинный стол президиума, за которым сидели члены исполкома с повязками на рукавах, и другой стол — для выступлений. Знакомый занавес с бородатым богом, сидящим на пне и играющим на свирели, который зрители всегда рассматривали, ожидая, когда начнется спектакль, был оттянут в глубину, и бог, скрестивший свои козлиные ноги, выглядел сморщенным и сердитым.

Не слушая трудовика, громко разговаривая, солдаты выходили в фойе. Один, молодой, сидевший рядом с нами, сказал: «С нас, брат, хрен возьмешь! Мы — распропагандированные».

Вдруг все повалили обратно. Плотный лысый усатый человек в бушлате вышел из-за стола президиума. И прежде казалось, что этот митинг происходит не в городе, не в Пушкинском театре, а где-нибудь на поляне или в лесу — вихрь налетал порывами и клонил зал, как лес. Теперь, когда этот человек в мертвой тишине сказал: «Братья!» — вихрь налетел и затих. Он говорил медленно, веско. Один за другим матросы поднимались на сцену и, проходя мимо него, в знак почета с размаху швыряли бескозырки на пол. Это был известный большевик Позерн...

Мы пошли доставать патроны к винтовкам, но один знакомый типографский ученик, встретившийся нам на Сергиевской, сказал, что наши уходят из города без боя. Он сказал, что сейчас важно не обороняться, а отступать, тем более что немцы — те же солдаты, только обманутые Антантой. Но Алька не согласился и возразил, что это предательство — сдавать без боя такой город. Мы проходили в это время мимо губернаторского дома, в котором помещался ревком.

— Зашли? — спросил Алька.

Я не решался — и в эту минуту Константин Гей вошел с улицы в Анастасиевский садик. Он торопился, но мы все-таки остановили его — и Алька твердым голосом стал излагать свой план. У него рано стала расти борода, и теперь, когда он побледнел от волнения, она была особенно видна, белая, пушистая, начинавшаяся почти под глазами. Гей

слушал внимательно, но, кажется, больше интересовался Алькиной бородой, чем его стратегическим планом.

— Сейчас дело обстоит так, что ваш план едва ли пригодится,— сказал он.— Но вы можете нам помочь. И очень. Кстати, сейчас мне звонила Блюм из книжного склада. Там для вас найдется работа.

И он крепко пожал нам руки.

Мы зашли в книжный склад, но там не было никакой работы. Заведующая Блюм раздавала книги, и можно было взять сколько угодно и унести домой. Я хотел набрать разных, но она не дала, и пришлось взять наудачу несколько толстых пачек. Мы снесли, а потом вернулись, потому что Блюм была старая, больная и один раз уже слетела с лестницы, таская книги. Она все говорила ласково: «Ну и ребята, ну и ребята!» — и уговорила нас взять еще несколько пачек, одну здоровенную, так что пришлось тащить ее на палке.

5

В доме был переполох, когда я вернулся. Зоя рожала, но пока кричала не очень сильно, и Саша предполагал, что у нее будут средние по трудности роды.

— Держу пари, что мальчик,— сказал он.

Мама настояла, чтобы позвали акушерку, она сидела в столовой и пила ячменный кофе с кокорами из картошки. Нянька сидела на кухне, плевалась и говорила, что это — чистый перевод денег: она четверых, слава богу, родила без всяких там докторов и акушеров. На самом деле у нее был только один сын Николай, годом старше меня.

— Проспалась бы, Наталья,— махнув рукой, сказала ей мама.

Сама она тоже рассказала, что Сашу родила легко, чуть ли не на извозчике, а меня — трудно. И все посмотрели на меня с укором. Мне показалось странным, что в столовой спокойно разговаривали, а когда Зоя кричала, никто к ней не шел, а только прислушивались — и опять начинался неторопливый разговор. Акушерка поднялась, сказав наконец:

— Пойти, что ли, взглянуть.

Стемнело, начали постреливать, кто-то сказал, что немцы уже в Крестах. Сестра, укачивая девочку, пела незнакомым грубым голосом — сердилась, что девочка еще не спала.

Потом где-то по соседству ударило, рвануло, послышался треск раздираемых досок. Снаряд попал в сапожную мастерскую на углу Гоголевской — и все забегали, засуетились: девочку надо было спасать. Открыли тяжелую крышку подпола на кухне, снесли туда большую бельевую корзину, мама спустилась, чтобы устроить постель. Потом спустилась сестра, уложила девочку и через полчаса принесла ее обратно с криком, что в подвале сыро.

Все ходили оглушенные, морщась, затыкая уши. Никогда еще в доме не было так шумно. Акушерка сердилась: стемнело, выстрелы приближались, она жила далеко, за Ольгинским мостом,— и нянька стала бояться, что она что-нибудь сделает, чтобы Зоя родила поскорее. Но Саша сказал, что это невозможно. Зоя кричала теперь по-польски — по его мнению, это был верный признак, что скоро родит.

Нянька сидела в платке, сползающем с лысой головы. От нее пахло самогоном, и она говорила, что, когда немцы придут, она скажет им: «Гут морген» и «Зетцен зи зих».

Наконец Зоя родила девочку. Все побежали к ней — и немного погодя стали выходить с довольными, добрыми лицами. Мама была рада, что позвала акушерку.

— Девушка золотая,— сказала она.— С кем не бывает.

...Мы с Сашей стояли у окна, и меня немного трясло, хотя я не чувствовал страха. Саша объяснил, что это не страх, просто в подобных случаях человек за миллионы лет приучился бояться, и во мне лязгают зубами предки, с которыми можно справиться усилием воли.

Окна в кухне завесили ватным одеялом. На улице мело, снег закручивался как-то страшно, словно кто-то бросался им из темноты.

— Стой! Куда, куда? Назад! — закричали на улице, и мы услышали выстрел, а потом долгий замирающий крик.

Потом все стихло, и только, мотаясь и как бы не зная, куда деваться, все падал и падал косой, остренький снег...

Отец вышел из своей комнаты, прислушался и сказал:

— Немцы выпили по рюмочке и завалились спать.

И сам, зевнув, отправился спать.

6

Утром я пошел смотреть, взяли ли немцы город, и встретил одного у чаеторговли Петунина и Перлова. Молоденький, он шел, зажав под локтем винтовку и беспечно

оглядываясь. Другой — старый, сердитый — расклеивал афишки: под страхом смертной казни комендант генерал Штанген приказывал немедленно сдать оружие.

— Черта с два,— сказал кто-то у меня за спиной.

Это был Женя Рутенберг, небритый, в шинели с оборванными пуговицами и в давно не чищенных сапогах. Обычно он выглядел мрачноватым, а в этот день не то что сиял, но было видно, что все ему интересно — и то, что немцы взяли город, и что комендант приказал сдать оружие, и даже что наши, отступая, взорвали Ольгинский мост. Немцы, по его мнению, не смогут удержаться в Пскове больше недели. Он сказал, что в поле за товарной станцией валяются руки, ноги, головы в касках, искореженные винтовки и обрывки сине-серых немецких шинелей: два матроса согласились кружным путем провести немцев в город и на товарной станции взорвали заминированные вагоны с динамитом.

— Решили, что если умирать, так с музыкой,— сказал Женя.— Непременно сходи. Интересно.

Сам он уже успел притащить оттуда несколько пироксилиновых шашек, бикфордов шнур и ручные гранаты.

— Штук десять. Завтра еще пойду. Там какие-то картонные трубки валяются. Здоровенные. Толщиной с руку. Надо будет стащить.

— Зачем?

— Взорвем. По-моему, это — ракеты.

Мы пошли смотреть Ольгинский мост. Красивый, изящно взлетавший над Великой, он был теперь безобразно оборван. Опустевший бетонный бык, над которым, как бы ничем не поддерживаемые, висели спирали железа и нацеленные в небо пики, выглядел одиноким и тупо-унылым.

Все несли оружие. К площади у Троицкого собора две женщины тащили винтовки на одеяле. Усатый немец ловко разбирал винтовки к винтовкам, гранаты к гранатам. Сабли и кучи патронов лежали в сторонке, а на столе перед немцем — груда револьверов.

Я вернулся домой. У нас с Сашей не было такого арсенала, как у Рутенберга, но две винтовки были — русская трехлинейная и американский винчестер.

Мы отодвинули собачью будку и закопали винтовки, предварительно смазав их лампадным маслом.

— Пригодятся,— пробормотал Саша.

Его кривой, острый нос блестел решительно. Мы поставили будку на место. Наша собака Преста, умирающая от старости, смотрела на нас покорными, слезящимися глазами.

НЕМЦЫ ЗАНИМАЮТ ГОРОД

1

Немцы занимают город, и становится тихо и скучно. Улицы они называют по-своему: Кузнецкую — Шмидтштрассе, еще какую-то — Унтер-ден-Линден, совсем как в Берлине. Уже не думают ли они остаться здесь навсегда?

Прежде денег было много, а провизии мало. Теперь — наоборот. В магазинах появляются хлеб, мясо, консервы, рыба. Но денег нет, потому что нет работы. А на керенки купить ничего нельзя.

Высокий офицер, в очках, с бородкой, является к нам: военный постой. Он выбирает комнату. Поджав губы, гордо закинув голову, мама водит его по квартире. В комнату, где лежит Зоя со своей рыженькой девочкой, она его не пускает:

— Здесь больная.

Наконец он выбирает комнату, конечно самую лучшую, бывшую гостиную, в которой, напоминая о лучших временах, стоит слегка потрепанный бамбуковый шелковый гарнитур.

Он просит перенести к нему рояль — иногда ему хочется помузицировать в свободное от службы время. Парадной лестницей пользуется теперь только он, а мы начинаем ходить через кухню.

Кажется, нет особых оснований ненавидеть этого корректного офицера, но я его ненавижу. Отец почти не выходит из своей комнаты, но с мамой Herr Oberst иногда разговаривает покровительственно — по какому праву? Маленький щупленький денщик, стреляющий глазами в каждую девку, приносит ему обед, и, пока офицер запивает котлеты вином, денщик сидит у крыльца и играет на маленькой гармошке. Мы обедаем позже: мама режет хлеб на неравные доли — мужчинам побольше. На заседании городской думы купец Сафьянщиков напоминает, что некогда Псков был вольным городом и до Ивана Грозного управлялся посадником, власть которого была ограничена вечем. Никто не соглашается взять на себя роль посад-

ника, но выбирается комитет, которым будет управлять городской голова.

Ровно в полдень в Анастасиевском саду играет военный оркестр, и немецкие офицеры, прямые, с откинутыми плечами, прогуливаясь, приветствуют друг друга коротким, полным достоинства рычанием: «Моен» («Morgen»).

По воскресеньям теперь служат в соборе, дамы приезжают в страусовых боа, в шляпах с птицами, и кажется, что такие боа и шляпы носили не два года тому назад, а двести. Вдруг выясняется, что в Пскове много генералов и даже один сенатор, явившийся, как Бонапарт, в треуголке. Устраиваются верховые прогулки, и однажды я видел всадницу, сидевшую не верхом, как мужчины, а боком, спустив на сторону маленькие ножки. Шурочкин дядя, ротмистр Вогау, ехал за нею, играя стеком, в котором был спрятан стилет.

Очень странно, что неисчислимые перемены происходят как бы сами собой, без участия человеческой воли — и совершенно бесшумно, если не прислушиваться к мерным шагам патрулей. Но не прислушиваться — невозможно, в особенности ночами, когда все думается, все не спится...

Шумит только мадам Костандиус или Компандиус — пожилая дама в богатой каракулевой шубе, в круглой каракулевой шапочке, надетой по-офицерски лихо, немного набекрень. Эта лихость заметна и в самой мадам, и в том, как торопливо, хлопотливо летают по городу ее саночки с кокетливо выгнутым передком и полстью, обшитой каким-то нарядным мехом. Мадам — это известно в городе — в прекрасных отношениях с немецким командованием. Каждый день она посещает дома, в которых живут бывшие офицеры. К нам она не заезжает; очевидно, сводный полк, о котором хлопочет мадам, не нуждается в военном оркестре.

У входа в здание Государственного банка на Великолуцкой стоит часовой, и над подъездом висит черно-бело-красный флаг. Немецкая комендатура. Здесь всем жителям, начиная с 16 лет, выдаются аусвайсы — удостоверения с отпечатком большого пальца, с описанием примет.

В гимназии — солдатская дисциплина.

— Как при Кассо,— с возмущением замечает Саша.

Кассо был министром просвещения, когда Саша поступил в приготовительный класс.

Снова мы ходим на утреннюю молитву, и у отца Кюпара теперь не елейно-добродушный, а мстительный вид. Уроки закона божьего и латыни возобновляются — и классные наставники с особенным рвением наблюдают, чтобы мы не пропускали эти уроки. Борода даже полякам не ставит больше трех с плюсом. Его глазки из-под косматых бровей смотрят теперь пронзительно-остро.

Время от времени наш комитет, который снова становится «подпольным», собирается у Альки Гирва, но больше мы не читаем рефераты и не спорим о том, был ли прав Рудин, погибший на баррикадах 1848 года. О, с какой горечью вспоминаем мы лето прошлого года, когда на заседаниях ДОУ мы говорили о самом важном — как жить, как найти себя! Мы были уверены в том, что, куда бы ни повернула история, она действует в интересах большинства, а воля большинства естественно и непреодолимо превращается в право.

Открытые споры на собраниях ДОУ — неужели они казались нам счастьем только потому, что о них теперь нечего было и думать? И неужели так будет всегда — самое светлое в жизни будет легко забываться, а темное мучить нас упреками за то, что мы не ценили пролетевшего счастья?

Через много лет, читая Хлебникова, я был поражен простотой, с которой он выразил это чувство:

Как часто после мы жалеем
О том, что раньше бросим.

2

Можно ли провести границу, разделяющую детство и юность? Переход происходит незаметно: тает одно, бесшумно отдаляется другое, все глуше доносятся ломающиеся мальчишеские голоса. Иначе было со мной, и хотя нельзя сказать, что мои размышления были такими отчетливыми, какими они мне кажутся теперь, когда полстолетия отделяет меня от зимы восемнадцатого года, я вижу себя упрямо приближающимся к светлой черте понимания.

Войдя в Псков зимой 1918 года, немцы как бы захлопнули дверь за моим детством. Впервые в жизни я подводил итоги, и состояние души, в котором я тогда находился, запомнилось мне отчетливо, живо.

Почти всегда я находился в кругу эгоистических мело-

чей, и даже если у меня «неполитическая голова», как говорил Толя, мне давно пора было понять и оценить то общее, что скрывалось за этими мелочами. И, оценив, вести себя совершенно иначе.

Когда на острове Даго я разговаривал с человеком, который не скрывал, что русские для него — это пьяные, «взбесившиеся звери», у меня не нашлось ни одного убедительного слова, чтобы доказать ему, что взбесились не мы, а такие, как он. Я был просто опрокинут на обе лопатки. Между тем я мог бы спокойно доказать, что, презирая «человеческое», он подставлял под это понятие «свое родное», хотя это «свое» вовсе не было для него родным, потому что он был прибалтийским бароном, потомком тех, кто некогда поработил Эстляндию. Он был контрреволюционером, потому что отказывался признать, что и эстонцы, и русские, и евреи — прежде всего люди, а уже потом — эстонцы, русские, евреи. И врал он, заявляя, что ничуть не жалеет своего имущества. В свои двадцать лет он выглядел на сорок и еще постарел на моих глазах, потому что боялся, что его имение, его имущество вырывают и непременно вырвут у него из рук...

Почему я смолчал, когда Околович спорил с Боборыкиным? Ведь Околович был мне отвратителен, а Боборыкин — близок. Он не мог, не умел возразить Околовичу — ему только и оставалось ругаться.

А встреча с Константином Геем? Упорно вглядываясь в далекое прошлое, я едва различаю две фигуры — шестнадцатилетнего гимназиста, не уверенного ни в чем, и прежде всего — в целесообразности своего внутреннего мира, и студента, в сущности, тоже еще мальчика, но вполне сложившегося в свои 22 года и действовавшего с резавшей глаза определенностью и силой. Гимназисту интересно все: и то, что студент так спокойно идет по улице, после того как он взорвал рельсы, чтобы остановить войска, вызванные Керенским; и то, что он с такой охотой жует сухари,— наверно, ему давно хотелось есть, но не было времени или он ничего не успел взять из дома?

Гимназисту и в голову не приходило, что студент заговорил с ним только потому, что был в лихорадке дела. Он рисковал, и рисковал смертельно. Вся страна тонула в словах, а перед гимназистом в то утро встало дело. Оно отпечаталось комочками грязи в петлицах мокрой студенческой шинели. Оно смотрело на гимназиста темными умными усталыми глазами.

ЧТЕНИЕ. ГЕРЦЕН

1

В книжном шкафу старшего брата стояли приложения к «Ниве» — подписчики этого иллюстрированного еженедельного журнала получали собрания сочинений русских и иностранных писателей. Уезжая в Петербург после каникул, Лев запирал шкаф на ключ, и долго еще облизывался бы я, поглядывая сквозь стекла шкафа на книжные корешки, если бы Зоя, убирая комнату, нечаянно не разбила эти стекла. Удачно получилось, что, падая со стула (она обметала потолок), ей удалось разбить оба стекла — и в правой дверце, и в левой.

Она попросила меня сказать маме, что это сделал я, пообещав по-своему расплатиться за услугу. Ей и в голову не приходило, что, несмотря на постоянно терзавшее меня желание, от которого подчас впору было сойти с ума, я с чувством постыдного провала вспоминал то, что произошло между нами в Соборном саду...

К этому книжному шкафу в доме было особенное отношение — довольно и того, что он принадлежал Льву. От мамы мне влетело, как давно не влетало, но я торжествовал. Можно было не сомневаться, что стекла вставят не скоро — в нашем доме это могло произойти лет через пять.

Вот когда добрался я наконец до Ибсена, которого читал, подгоняемый особенным интересом — ведь о нем больше всего спорил Лев со своими гимназическими друзьями!

Бьёрнстьерне Бьёрнсон — его надо было прочесть хотя бы для того, чтобы выяснить, о чем может написать человек с такой загадочной, сложной фамилией.

Теперь, спустя полстолетия, мне кажется, что психологический портрет писателя, его образ рано сложился в сознании, потому что я читал не отдельные книги, а целые собрания сочинений, от первого до последнего тома. В этом внутренне связанном чтении мне всегда слышалось что-то музыкальное — взлеты громкости, повторение мелодии, чувство времени, которое у каждого писателя было своим. Тургенев был медлепен, его короткие романы казались длинными. У Гончарова длинноты были обстоятельны и напоминали о серьезности содержания. Достоевский был быстр, стремителен, энергичен, требователен, зол. Он за-

ставлял читателя надолго останавливаться там, где это было для него необходимо, чтобы снова обрушиться на него серией немыслимых, скандальных ударов.

Но каждый из них был связан еще и с обстоятельствами моей собственной жизни.

Тургенев — это был длинный, ленивый летний день на каникулах, когда, не расставаясь с книгой, можно успеть так много. Это — ловля пескарей где-нибудь за городом, в Черняковицах, не на удочку, а руками или фуражкой. Это — долгое, интересное купанье на Великой, когда можно нырять с мола и плыть поперек волны, которую поднимает идущий из Черехи в Псков пароходик. Это — гимназическая куртка, накинутая на голое тело, потому что стоит ли одеваться, чтобы сбегать домой за парой котлет и горбушкой посоленного хлеба? Это — «Отцы и дети», с презрительным, беспощадным, обожаемым Базаровым, которому — с моей точки зрения — так же не шли его висячие бакенбарды песочного цвета, как и то, что он влюбился в эту придуманную, холодную Одинцову. Это — Рудин, из-за которого я чуть не утонул. Потрясенный тем, что в конце романа он должен ехать в Пензу, но соглашается ехать в Тамбов только потому, что в Пензу нет лошадей, я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добравшись до противоположного берега, рухнул на песок задохнувшись, с обмякшими ногами и руками.

И в самом Тургеневе все было летнее — мелькающие среди берез женские платья, запах леса, травы, сирени. Наташа с горничной без оглядки спешит на свидание с Рудиным через поле, по мокрой траве. С горничной! На свидание!

2

Совсем другое чтение началось, когда зимой восемнадцатого года я принялся за книги, которые мы с Алькой унесли из книжного склада Совдепа. Казалось, что авторы — Степняк-Кравчинский, Плеханов, Кропоткин — торопились написать их, наборщики — набирать, переплетчики — переплетать, так же как торопилась старуха Блюм, у которой для этого были свои основания. Они были напечатаны на желтой ломкой бумаге и совсем не похожи на аккуратно переплетенные приложения к «Ниве». Я мало знал о русской освободительной борьбе до тех пор. В этих

книгах передо мной впервые появились — и ослепили меня — имена Желябова, Кибальчича, Морозова, Веры Фигнер.

Кибальчич накануне казни думает не о том, что завтра он не будет дышать, говорить, думать, двигаться, жить. Последнюю ночь он проводит в работе над своим летательным аппаратом. Для него не существует «никогда» — так действовать можно, только опираясь на полную уверенность своего участия в будущей жизни.

Впервые я почувствовал «вещественность» истории — не той, которую преподавал нам в гимназии солидный, справедливый, скучноватый Коржавин, а совсем другой — неотвратимой, неизбежно связанной и с самим Коржавиным (который, быть может, и не подозревал об этом), и с любым из моих одноклассников, и со мною.

Это были не имена и даты, которые полагалось запомнить к очередному уроку, а люди и сцены, которые воочию проходили перед моими глазами. Мог ли я предположить, читая статью о Воронежском съезде и распаде «Земли и воли», что придет время, когда близкое знакомство с Николаем Александровичем Морозовым по-своему озарит трагизм этой сцены? Что старик, носивший вместо галстука детский, в горошинку, бантик, возьмет меня за руку и не спеша поведет назад, через ухнувшие десятилетия?

Что он окажется именно таким, каким я ожидал его увидеть,— как бы ежедневно радующимся своему появлению на свет, по-юношески влюбленным в людей и природу? Что его единственный в своем роде, полуфантастический восьмитомный труд о Христе (в котором смелые догадки соединились с детской наивностью) помешает ему записать (несмотря на мои уговоры) удивительные истории, которые он рассказывал мне своим простодушным говорком?

...Нельзя было не ходить в гимназию, не готовить, хотя бы и бегло, уроки, не помогать по дому — у мамы были головные боли, нянька совсем спилась. Я читал ночами, и недолго, часа полтора. Но мне казалось, что не было минуты, когда бы я не читал. И в гимназии, и за домашним сочинением, и встречаясь с Валей я был в полной власти прочитанного, понятого впервые и поразившего меня загадочной небоязнью смерти.

3

Читая Диккенса, мне ничего не стоило вообразить себя в долговой тюрьме, где произносил свои жалкие и величественные речи отец Крошки Доррит. Вместе с Жаном Вальжаном я спускался в подземный Париж, в клоаку узких подземных переходов, по которым были проложены канализационные трубы. В романах Стивенсона я с нетерпением ждал плавных, как бы бесшумно подкрадывающихся неожиданностей — и не обманывался, потому что они встречались почти в любой главе.

Каждый раз чтение превращалось в путешествие, далеко уносившее меня из дома, из Пскова. И возвращения были разные: то я стремительно скатывался вниз, как с ледяной горки, то медленно опоминался, оглядывался с недоумением: «Да где же это я? Неужели заколдованное «там» исчезнет с последней страницей?»

Но совсем другое почувствовал я, читая Герцена — медленно, потому что это было новое для меня, трудное чтение. Он не уводил меня с собой; напротив, он сам явился ко мне в своем длинном сюртуке, в светлых штанах, бородатый, с высоченным лбом, держа в руке мягкую шляпу. Вошел и как будто сказал, что ему до всего дело — и до города, в котором хозяйничали немцы, и до гимназии, и до нашей беспорядочной, беспокойной семьи.

Да, для него было важно, что в городе на первый взгляд все так благополучно, как не было, кажется, еще никогда за всю его многовековую историю. Улицы переименованы, хлеба — вдоволь, хотя и дорог, на любом углу — бирхалле, по воскресеньям — гулянье в садике под военный оркестр, как где-нибудь в Свинемюнде. И все — неблагополучно, шатко.

Когда мне минуло шестнадцать лет, меня вызвали в немецкую комендатуру: худощавый, с прямой шеей, пожилой офицер записал мои приметы в аусвайс (удостоверение личности), а потом велел мне приложить палец сперва к штемпельной подушке, затем — к аусвайсу.

В Герцене было все — и этот офицер, и ощущение неблагополучия, и бирхалле, и военный оркестр. И в столкновения между гимназистами — еще небывало острые — Герцен вмешивался уверенно, смело. Уже не мадам Костандиус или Компандиус летала в своих саночках по улицам Пскова. Уже действовал — и весьма уверенно — пере-

бежавший от красных Булак-Балахович. С верхней площадки гимназической лестницы, на ступенях которой стояли старшеклассники, он произнес речь, в которой говорил о разгоне Учредительного собрания, о «восстановлении порядка и справедливости на Руси», о «национальном возрождении». Но немногие вступали в его ряды, как будто предчувствуя, что не пройдет и года, как по его приказу будут вешать невинных людей на фонарях Кохановского бульвара.

Мне казалось, что Герцену важно и то, что происходило в нашей семье,— ссоры родителей, обидное равнодушие братьев и сестер к отцу, гордая беспомощность матери перед старшими, у которых была уже своя, особенная, сложная жизнь. Как все это было не похоже на поразившую меня, как бы вознесшуюся над временем откровенность, с которой Герцен написал о себе. Так ничего не скрывать, так распахнуться перед всем человечеством, с такой прямотой рассказать историю своей любви, трагедию своего ревнивого счастья — о, как близко все это касалось сложных и день ото дня все больше усложнявшихся отношений в нашей семье! Я ничего не сравнивал, я только останавливался с изумлением перед контрастом света и тени.

Через много лет в лавке букиниста я купил впервые изданное собрание сочинений Герцена — много плохо переплетенных книг с портретом автора на тонкой обложке. Это было очень странное издание: все, что писал Герцен, редактор Лемке напечатал в последовательном порядке — день за днем, неделя за неделей. Запись из дневника шла вслед за газетной заметкой, личное письмо — вслед за письмом, обращенным ко всему человечеству. Впрочем, каждая строка была обращена ко всему человечеству, и обыкновенность, естественность этого обращения была загадочна, непостижима!

Диккенс с помощью бог знает каких преувеличений заставлял меня то смеяться, то плакать. В Тургеневе я смутно отличал намерение заинтересовать читателя от истины, не украшенной изяществом литературы. Так вот: не выше ли этого удивительного искусства герценовский свободный, блистательный разговор с читателями, в котором нет ни принужденных встреч, ни выдуманных столкновений?

Теперь, когда Герцен наконец великолепно издан в тридцати томах под редакцией видных ученых, его читают

немногие. Это говорит не о нем, а о них. К «шуму времени» прислушиваются те, для которых всегда был дорог Герцен. Решение иных загадок современности они находят на его страницах.

«КУЧКА БЕЗУМНЫХ ОРАТОРОВ ПОЛУЧИЛА ДОСТОЙНЫЙ УРОК»

1

В этот день Бекаревич первым вызвал Соркина, маленького, чернявого, на редкость плотно сбитого мальчика, и немедленно влепил ему двойку. Соркин ходил в изношенных высоких сапогах — других у него не было — и старательно мазал их ваксой. Прежде чем снова уткнуться в классный журнал, Бекаревич с отвращением потянул носом воздух и спросил:

— И зачем ты ходишь в гимназию, Соркин?

Эта фраза повторялась по меньшей мере два раза в неделю.

Потом он вызвал Смилгу. Это был высокий белокурый уже не мальчик, пожалуй, а юноша, прекрасно игравший на скрипке и неизменно уклонявшийся от выступлений на гимназических вечерах — помнится, это внушало мне уважение.

Смилга был неловок и простодушен — кто из нас, выходя к столу преподавателя, прихватил бы с собой листок из подстрочника?

Листок выпал из книги, и Бекаревич поднял его, прежде чем Смилга успел наклониться.

Сильно нахмурясь, латинист почесал свою бороду под нижней губой — это всегда было признаком скверного настроения. Потом поставил единицу, а листок не вернул — положил его в классный журнал. Ничего особенного, казалось, не произошло. Мы пользовались подстрочниками, правда — не в классе. Были подстрочники заслуженные, ветхие, которые прилежно служили еще нашим старшим братьям, были и новые, свободно продававшиеся в любом книжном магазине. Их выпускал известный ученый с немного странной фамилией Нетушил, которого мы справедливо считали одним из лучших людей на земле. На другой день мы узнали, что решением педагогического совета Смилга исключен из гимназии.

Боже мой, что поднялось! Мы сразу поняли, что нас

хотят проучить,— шестой «б» был одним из самых неспокойных классов. Негодовали — впрочем, сдержанно — даже любимцы Бекаревича, поляки. Возмущение охватило всех, кроме разве что Чугая и еще двух-трех доносчиков.

Следующий день прошел спокойно, но решено было остаться после уроков. И мы остались, хотя прекрасно знали, что собрания в гимназии строжайше запрещены. И не только в гимназии.

Никто не знал, что в классе сохранился комитет,— в последнее время мы не собирались. Но накануне собрания комитет решил, что единственным достойным ответом на решение педагогического совета будет однодневная забастовка. Убедить в этом класс было поручено мне.

Я подготовился к своей речи и с первых же слов почувствовал, что говорю то, что класс хотел от меня услышать. Уже я и помнил и не помнил себя, уже успел походя высмеять Чугая, записывавшего что-то (очевидно, мою речь) в тетрадку, уже мурашки бежали по спине от волнения, когда дверь распахнулась и вошел директор. Не знаю, почему он был в этот день в парадном мундире, с большой звездой на груди. Он был — или показался мне — неестественно громадным, точно вылитым из зеленоватой стали. Гладко зачесанные серо-седые волосы блестели, лицо гневно разглажено — таким я никогда еще его не видел. Класс встал, когда он появился в дверях; он сделал повелительный знак рукой. Все сели — и я продолжал свою речь. Теперь я говорил о том, что исключение Смилги, мало сказать, несправедливо, но оскорбительно, потому что он исключен не за то, что, пользуясь подстрочником, переводил Овидия, а по совершенно другой причине, о которой, надо полагать, не упоминалось на педагогическом совете.

Было именно так — и директор, без всякого сомнения, знал об этой причине, которая носила скорее политический характер.

Ходили слухи, что Смилга сочувствовал большевикам: подстрочник был здесь только предлогом. А среди наших преподавателей самым правым из правых был Бекаревич.

Директор крикнул: «Молчать!» Я замолчал. Мне стало страшно. Не помню, сказал ли я еще что-нибудь. Теперь для меня было важно только одно — показать, что я его не испугался, и, кажется, это мне удалось...

Принимаясь за свою книгу, я просил немногих моих одноклассников — в том числе инженера Арнольда Моисеевича Гордина — поделиться со мной своими воспоминания-

ми. Вот что он написал: «Идет общее собрание класса, председательствуешь ты, стоишь на кафедре. В класс с шумом врывается директор и начинает кричать, что всякие собрания недопустимы, требует, чтобы мы немедленно разошлись. Но ты с неожиданным для нас спокойствием обрываешь директора, говоришь, что слова ему не давал, и собрание продолжается. Вероятно, это был один из самых героических поступков в твоей жизни — так отшить этого толстого дядю в форме действительного статского советника. Самое интересное, что директор действительно ушел».

Я не «отшивал» директора, это было невозможно. В последних словах своей речи я сказал что-то о самолюбии, и он оглушительно закричал:

— Спрячьте ваше самолюбие в карман!

Он не наставлял нас, не поучал. Он не занял моего места на кафедре. Сквозь зубы, но достаточно внятно он сказал:

— Кучка безумных ораторов получит достойный урок.

Потом он действительно потребовал, чтобы мы немедленно разошлись. Но мы не разошлись. Когда он вышел, класс единогласно — на этот раз полуподнял руку даже Чугай — решил согласиться с моим предложением и объявить однодневную забастовку.

2

Вечером комитет собрался снова, на этот раз у меня. Надо было обдумать план действий. Когда после собрания Алька спросил: «Слово?» — и весь класс ответил: «Слово!» — это значило многое. Но далеко не все. Можно было не сомневаться в поляках, хотя они и держались в стороне. Но среди нас были трусы, которые стыдились товарищей и только поэтому согласились на забастовку. Были мальчики, с которыми родители и не разговаривали иначе, как держа в руке ремень. И наконец — что делать с Квицинским, который рисковал оказаться на улице, раздетый и разутый, потому что он был племянником Бекаревича и жил в его квартире?

Решения, которые принял комитет, и теперь удивляют меня своей трезвостью. Прежде всего мы согласились разрешить Квицинскому пойти — это только подчеркнет единодушие класса. На всякий случай решено было выставить

на подходах пикеты — причем из числа пикетчиков мы предусмотрительно исключили Смилгу.

Было очень важно, чтобы нас поддержали другие классы — седьмой, например, в котором учились старший Гордин и его близкий товарищ Крейтер — умные ребята, которые могли дать дельный совет.

У меня мелькнула мысль, что с помощью старшеклассников удастся поднять всю гимназию — многие из них были деятельными участниками ДОУ, но Алька, задумчиво пощипывая белый пух под носом, высмеял меня в двух словах.

Мы учились во вторую смену, и утро я провел в бесполезной, взволнованной беготне между членами комитета. На Сергиевской, которую немцы почему-то не переименовали, я встретил веселого замерзшего Панкова, того самого георгиевского кавалера, который два года тому назад чуть не проломил мне голову кастетом. Он остался в пятом классе на третий год, его выгнали, он поступил в милицию, а когда милиция снова стала полицией, просто шлялся по городу без дела. Я рассказал ему о нашей забастовке, и он так загорелся, что спросил даже: «Стрелять?» — очевидно намереваясь первого же штрейкбрехера уложить на месте. У него дома был наган. Я сказал, что стрелять пока не надо.

День был морозный, и мы с Алькой, стоявшие в пикете у Поганкиных палат, замерзли, не спуская глаз с хлопающей двери гимназии. Другие пикеты стояли на Гоголевской — братья Матвеевы, Гордин и Рутенберг.

Решено было, что разговор с штрейкбрехерами — если они появятся — надо начинать мирно, с попытки убедить, а уж если... Мы с Алькой были самые сильные из нашей компании и знали, что надо делать, если убедить не удастся.

И штрейкбрехер нашелся — правда, только один. Толстяк Плескачевский, тот самый, который заснул на опере «Сельская честь», обойдя дальние пикеты, вышел из проходного двора, пугливо оглядываясь и по-медвежьи подворачивая ноги. Я собрался было приступить к переговорам, и, возможно, они произвели бы впечатление, если бы Алька, просто из предосторожности, не взял его за отворот шинели. Плескачевский рванулся, пуговицы отлетели, и мы, подхватив его под руки, затащили обратно в подворотню проходного двора. Тут уже было не до переговоров. Он укусил Альку за руку, мы отлупили его по розовым

щекам, и он кинулся бежать от нас — не в гимназию. Я подобрал учебники, рассыпавшиеся в драке, догнал Плескачевского, сунул ему учебники и сказал:

— Подлец!

3

Забастовка удалась. Пришел только Квицинский и был, разумеется, немедленно отпущен домой.

Потом мы узнали, что Борода допрашивал его до полуночи, и, надо полагать, это был пристрастный допрос.

На другой день мы явились в гимназию как ни в чем не бывало — и день прошел спокойно, хотя скрытое напряжение чувствовалось во всем: старшеклассники собирались группами в актовом зале и торопливо расходились, когда мимо проходил преподаватель. Директор не показывался. Емоция, у которого в торжественные или тревожные дни был остолбенело-свирепый взгляд, так и выглядел — остолбенело-свирепым.

С ощущением опасной неопределенности нашей победы я вернулся из гимназии, поужинал и только что собрался приняться за чтение, когда в окно моей комнаты постучала Валя. Как сейчас помню ее, взволнованную, задохнувшуюся (она бежала), почему-то не в берете, а в платке, накинутом на голову и плечи. Она вошла в мою комнату и сказала:

— Только что кончилось заседание педагогического совета. Весь класс исключен.

— Быть не может! Кто вам сказал?

Она назвала Наташу Коржавину, свою подругу.

— Пять — без права поступления.

...Это значило, что кто-то выдал наш комитет.

— А все остальные должны покаяться и дать клятву, что больше никогда не будут устраивать забастовок.

Как передать странное чувство, с которым, проводив Валю, я побежал — уж не помню, к Гордину или Гирву? Это было и нетерпение, точно мне хотелось, чтобы самый факт моего исключения подтвердился немедленно, сию же минуту,— я с трудом удержался, чтобы не сорвать герб с фуражки. И злость! И восторг! Не знаю, откуда взялся этот восторг, от которого мне становилось и весело и страшно.

Комитет собрался немедленно, и вот что было решено:

спокойно выслушать постановление, парами выйти из класса — и немедленно кинуться в другие, старшие классы, чтобы снять их с уроков. Кто знает, а вдруг и в самом деле удастся устроить общую забастовку?

На следующий день мы молча заняли свои парты...

Звонок. Донесшийся из коридора топот ног опоздавших гимназистов, занимавшихся в соседнем классе. Еще несколько минут тревожного, томительного ожидания.

Дверь распахнулась. Вошел Емоция — белый, насупленный, с бумагой в руках — и Бекаревич. Они устроились за столом, и до меня — я сидел на первой парте — донесся слабый запах водки. Бекаревич пил и, должно быть, хватил лишнего в этот исключительный день.

Держа бумагу в дрожащих руках, Емоция дрожащим голосом прочитал постановление педагогического совета.

Оно не сохранилось в бумагах Псковской гимназии, которые я просматривал в городском архиве. Жаль, потому что в конце длинного, торжественного постановления было что-то о забастовке, впрочем в неясных выражениях. В первой четверти всем, в том числе и Квицинскому, была выставлена двойка по поведению.

— За всю историю нашей гимназии,— поучительно сказал Емоция,— это первый и, будем надеяться, последний случай.

Все встали и, как было условлено, парами вышли в коридор. Вышли — и с разбега кинулись в седьмой, где учились Гордин и Крейтер. Добежали — и остановились в дверях. Класс был пуст. Кто-то крикнул:

— Айда в восьмой!

Но и в восьмом не было ни души. Директор предусмотрительно распорядился, чтобы вся гимназия была отпущена по домам, с первого урока, еще до начала занятий.

— В Ботанический! — крикнул Алька.

И мы со всех ног побежали в Ботанический, как будто именно там, в занесенном снегом Ботаническом саду с его красивой, вдоль крутого обрыва, аллеей, могли найти защиту от несправедливости и насилия. В овраге лежал плоский, заросший мхом камень — память о Раевском, основателе Ботанического сада. Мы столпились вокруг него, разгоряченные, возмущенные, а некоторые испуганные, кислые и, очевидно, уже подумывавшие о том, чтобы подать, пока не поздно, покаянное заявление.

И скоро стало ясно, что подадут почти все. Пансионеры — потому, что они жили в гимназическом пансионе, и

если откажутся, для них останется только одно — идти побираться. Поляки — потому, что они надеялись, что война скоро кончится и они вернутся в свои Петраковскую и Ченстоховскую гимназии.

Хаким Таканаев сказал, что он тоже подаст, потому что ему будет худо, если он не подаст. Он не стал объяснять, но все поняли, что тогда отец изобьет его до полусмерти. Он вдруг заплакал, и всем стало страшно, когда, плача, он почему-то стал мять руками осунувшееся скуластое лицо...

4

Формула «пять без права поступления» была всего лишь хитрым ходом педагогического совета. В сущности, это и был «волчий билет», но что он значил теперь, когда за взятку — а немцы, стоявшие под Торошином, охотно брали даже скромные взятки — любой из нас мог уехать в Петроград и там спокойно кончить гимназию? Не прошло и месяца, как наши родители были приглашены к директору, который дал им понять, что, если мы в любой форме напишем покаянные заявления, «кучка безумных ораторов» займет свои парты. Но мы держались. Мы ходили в фуражках с сорванными гербами и держались, хотя неясно было, что произойдет, например, с братьями Матвеевыми, когда вернется из командировки их отец, полицейский пристав. Мы держались, хотя однажды утром Алька пришел заметно изменившийся, с расстроенными глазами: ночью отец разговаривал с ним — не упрашивал, не настаивал, а только сказал, что это было тяжело для него — платить за Альку в гимназию — и что он, Алька, был надеждой семьи.

Мне было легче всех: еще в прошлом году, когда мать получила «извещение», приглашавшее ее к инспектору по поводу поведения младшего сына, она написала на оборотной стороне: «Считаю сына достаточно взрослым, чтобы он мог сам отвечать за свои поступки». Мать не упрашивала, не настаивала. Может быть, она молчала, потому что каждый день с раннего утра вся наша компания усаживалась за книги.

Нельзя сказать, что я был ленив — учился на тройки, четверки. Кроме математики, мне легко давались почти все предметы. Но так усердно я еще никогда не занимался.

Более того, мне и в голову не приходило, что я способен, почти не выходя на улицу (только вечерами, на полчаса, чтобы повидаться с Валей), сидеть над геометрией, которую не любил, или зубрить наизусть Овидия, которого можно было и не зубрить наизусть. По математике мы занимались вместе, и, должно быть, все-таки ничего не получилось бы из этих занятий, если бы нам не помог один из товарищей старшего брата — Леша Агеев. И бесконечно важно было для нас не только то, что без него мы напрасно теряли бы время, а то, что он сам вызвался помогать нам! Он сочувствовал нам, он был за нас. Он — сам преподаватель Агаповской гимназии — был возмущен тем, что наш класс исключили...

Мне кажется теперь, что привычка к добровольному, никем и ничем не подстегиваемому труду открылась во мне именно в эти недели. Это было, если можно так выразиться, «наслаждение самопринуждения» — я чувствовал гордость, распоряжаясь собой.

Полицейский пристав вернулся, Матвеевы подали заявление, и мы остались одни — Гордин, Гирв и я. У нас были разные склонности: у одного лучше шла математика, у другого — латынь. Никогда еще мы с такой охотой не помогали друг другу. В два месяца мы обогнали класс почти на полгода. Только однажды в наши занятия с Агеевым, который был спокойно-требователен и очень сдержан, ворвалась неожиданность — одна из тех, которые волей-неволей запоминаются навсегда. Когда мы решали какую-то сложную задачу на построение, в окно постучали и чей-то голос сказал протяжно:

— Солнышко!

У Агеева стало строгое лицо, ребята засмеялись.

Под окном стояла Валя. Возможно, что у нее были основания называть меня так иногда. Все равно, сперва надо было выяснить — один ли я, да и достаточно было того, что она постучала.

Я в бешенстве выскочил во двор. Не помню, что я наговорил ей. Она повернулась и ушла.

Это была наша первая ссора, и, когда занятия кончились, я распахнул форточку и выглянул, точно Валя еще могла стоять под окном. Как внимательно, как грустно слушала она меня, не зная, что ответить, как загладить неловкость! И я решил, что вечером непременно пойду к ней и попрошу извинения за то, что я так грубо разговаривал с ней.

ЛЕВКА ГВОЗДИКОВ

1

Сопоставляя воспоминания школьных друзей, я все больше убеждаюсь в том, что наша забастовка была прямым отражением того, что происходило в городе зимой 1918 года.

Как я уже упоминал, при исключении нашего товарища шпаргалка была предлогом. Причина была в «политике». Забастовка была нравственно-политической, и хотя никто из нас не мог выразить словами этого ощущения нравственной правоты, его чувствовали даже те, кто прекрасно жил под немцами и не хотел, боялся возвращения красных. Никто не мог заставить время вернуться назад. Мы хлебнули свободы, и перестроить сознание по старому образцу оказалось уже невозможным.

И еще одно: на нашей стороне была грозная сила — неопределенность. У Торошина стояли наши, за линией фронта распахнулось беспредельное пространство России. Ходили слухи один страшнее другого, но правду знали лишь те, кто стремился ее узнать. Все было сдвинуто, спутано, неясно...

Нечто нравственно-политическое было и в дуэли между Толей Р. и Левкой Гвоздиковым, о которой я хочу рассказать.

Вечеринки устраивались и «под немцами» — невеселые хотя бы потому, что Люба Мознаим, наша всегдашняя хозяйка, должна была следить, чтобы все получили поровну — скажем, по одному куску хлеба с соленым огурцом или по два куска сахара, не больше и не меньше. В этот вечер к нашей компании присоединился Левка Гвоздиков, ученик выпускного класса Коммерческого училища.

Я рано ушел, рано лег спать. Толя, который тогда еще жил у нас, вернулся после полуночи и сказал, что он просит меня быть его секундантом. Завтра он дерется с Гвоздиковым на дуэли. В восемь вечера, на Степановском лужке.

Я знал, что между ними каждую минуту могла вспыхнуть ссора. В Гвоздикове Толю раздражало все — и мнимая демократичность, и мнимая начитанность — он любил щеголять цитатами из Шопенгауэра, которого не читал,— и внешность. Гвоздиков был грубо-плечистый, с гривой прямых волос, которыми он постоянно взмахивал с какой-то лихостью, тоже неприятной.

— Из-за Шопенгауэра?

— Черт его знает! Да.

— Или из-за горжетки? — спросил я, слушая Толю, который от Шопенгауэра перешел к какой-то горжетке, которую он хотел застегнуть на Соне Закликовской, а Левка выхватил, накинул и сам застегнул.

— Потому, что он — грязный шут,— мрачно сказал Толя.

Он разделся, лег и мгновенно заснул.

Толя был влюблен в Соню Закликовскую, гимназистку восьмого класса Мариинской гимназии, а влюблялся он всегда бешено, страстно. Соня была тоненькая, высокая, гибкая девушка, с удлиненным лицом, с улыбающимися глазами. Я помню, как в холодный январский день она, зачем-то заглянув к нам, сказала замерзшими губами: «А весной все-таки пахнет!»

2

Утром я долго доказывал Толе, что, как социалист, он вообще не имеет права драться на дуэли.

Он слушал, поглядывая на меня исподлобья.

— А Лассаль?

— Послушай,— сказал я негромко,— ты думаешь, я не знаю?

Он понял. Подпольщики работали в Пскове, и он, без сомнения, был одним из них. У него-то как раз была политическая голова.

Он нахмурился.

— Об этом я вчера не подумал. Вообще — чего ты беспокоишься? Я его убью.

— Ты, брат, не убьешь и мухи.

— Посмотрим.

Он ушел в свою комнату, а когда я, спустя полчаса, постучал к нему, крикнул:

— Иди к черту!

На другой день я пошел к Соне и сказал, что как секундант я обязан скрывать место и время дуэли, но на всякий случай пусть она запомнит, что они будут драться сегодня вечером на Степановском лужке. Она испугалась, но не очень, гораздо меньше, чем я ожидал. Она только повторяла: «Какой ужас!», а один раз нечаянно сказала: «Ужасть» — и засмеялась.

Она соврала, что идет на урок музыки, и даже взяла папку с нотами, но на самом деле — я был в этом уверен — Толя должен был встретиться с ней у Шурочки Вогау.

Я вернулся домой с неприятным чувством, как будто просил ее пощадить Толю, а она отказалась.

...Не знаю, где весь этот день прошатался Толя. Я что-то сказал ему, но он, не слушая, рванулся к буфету и стал жрать хлеб. Сине-зеленый, с запавшими глазами, он глотал не прожевывая. Я испугался, что он подавится, но он счастливо засмеялся:

— Теперь-то? Дудки!

— Что ты хочешь этим сказать?

Вместо ответа он с бессмысленной улыбкой закрыл глаза и немного постоял, качаясь. Потом снова стал торопливо жевать.

3

Было светло как днем, когда мы наняли извозчика и поехали на Степановский лужок. А я-то еще надеялся, что в темноте зимнего вечера Гвоздиков промахнется! С тех пор как немцы заняли Псков, уже в семь часов становилось тихо и пусто. Только на Сергиевской стояла очередь у публичного дома, и теперь, когда мы ехали мимо, тоже стояла. В окнах мелькали растрепанные девицы, солдаты громко разговаривали, смеялись, а из ворот, оправляя мундиры, выходили другие.

Я вспомнил, как однажды мы с Гвоздиковым купались и как, вылезая из воды, он неприятно дурачился, встряхивая длинными волосами. У него была взрослая, прыщавая грудь. В сравнении с нами — со мной и Толей — он был взрослый, давно уже знавший и испытавший то, о чем мы избегали упоминать в наших разговорах. Он рассказывал с грязными подробностями о том, что не раз был в этом публичном доме,— и ведь мы слушали его с интересом. Все знали, что Левкина мать, докторша, мучается с ним и что он подло пристает к девушке, сироте, которая жила у Гвоздиковых,— просто не дает прохода. Однажды я зашел к нему. В комнате был таинственный полумрак, Левка с книгой в руках сидел у камина. И вдруг вошла с подносом — принесла нам чай — эта девушка, в платочке, накинутом на узкие плечи, с усталым лицом...

Город как будто отнесло далеко направо, и впереди показалась чистая светлая река — голубая от луны и снега. Гвоздиков со своим секундантом Кирпичевым обогнали нас и нарочно поехали почти рядом. Кирпичев тоже был выпускником Коммерческого училища — надутый, с выражением твердости на квадратном лице. Все на нем было новое — шинель, поблескивающие ботинки. Он носил не измятую фуражку, как это было модно еще в прошлом году, а торчащую, с поднятым сзади верхом, как немецкие офицеры.

Недалеко от Ольгинского моста санки остановились, Гвоздиков вышел, и я увидел, что по набережной к нему кто-то бежит. Было так светло, что я сразу же узнал Флёрку Сметанича, тоже «коммерсанта», плотного парня с тупым добродушным лицом. Уже и по тому, как он, пошатываясь, бежал по набережной, видно было, что он сильно навеселе. Гвоздиков посадил или, точнее, положил его в санки, и они поехали дальше, вновь обогнав нас за Ольгинским мостом. Они громко пели — тоже, без сомнения, нарочно.

Толя молчал, опустив голову. Я понял, что ему стыдно за них.

Извозчики остались возле прогимназии Барсукова, а мы пошли дальше по набережной, к Степановскому лужку. Почему он назывался «лужком»? Не знаю. Это был большой заливной луг на берегу Великой, летом — ярко-зеленый, с душистыми травами — любимое место гуляний псковских мастеровых. Теперь пустая равнина холодно блестела под луной.

Где-то сверкнула протоптанная узкая тропинка, мы свернули на нее, пошли гуськом, и я оказался в двух шагах от Гвоздикова, почти вплотную за его спиной. Два столбика стояли по сторонам тропинки, перегородив ее, чтобы по лугу не ездили на телегах.

Почему с такой остротой запомнились мне эти столбики? Потому что, поравнявшись с ними, я тронул Гвоздикова за плечо и сказал негромко:

— Лева.

Он обернулся.

— Что же, Лева? Неужели убьешь человека?

Мы знали, что Гвоздиков был охотник, меткий стрелок, не раз хваставшийся, что может попасть в подброшенную монету. А Толя, хотя, читая о народовольцах, я

так и видел его рядом с Желябовым и Софьей Перовской, никогда не держал в руках револьвера.

— Убью,— ответил Гвоздиков твердо.

Мы свернули с тропинки и прошли недалеко по глубокому снегу. Все молчали.

— Ну, хотя бы здесь,— сказал Кирпичев.

В руках у него был стек. Наклонившись, он провел по снегу черту.

Забыл упомянуть, что, когда мы оставили извозчиков у прогимназии Барсукова, Сметанич выкатился из санок и поплелся за нами. Никто не обращал на него внимания. Но когда Кирпичев предложил мне отмерить десять шагов, Флёрка с удивлением огляделся вокруг и громко спросил:

— Ребята, я не понимаю, что происходит?

Стараясь делать огромные шаги, я сосчитал до десяти и остановился. Мне хотелось двинуться дальше, но Кирпичев сказал подчеркнуто вежливо:

— Виноват...

Я вернулся.

Гвоздиков встал у черты и скинул на снег шинель. Он был в штатском, в новом костюме, с торчащим из наружного кармана платочком. Он снял и пиджак, хотя было очень холодно, и остался в белой рубашке с бантиком, с накрахмаленной грудью.

Толя спросил весело:

— Как? Раздеваться? Брр...— И, подумав, тоже сбросил шинель.

Он стоял отчетливый, как силуэт, в гимназической курточке, на фоне снежного сугроба, переходившего за его спиной в маленький овальный холм.

Кирпичев раздал пистолеты.

— Ребята, вы что, ошалели? — крикнул Флёрка.

Все сделали вид, что не слышат, хотя теперь было ясно, что выпивший «коммерсант» окончательно протрезвел.

Кирпичев спросил деревянным голосом:

— Не желают ли противники помириться? Предупреждаю, что в этом случае вызванный на поединок должен публично попросить у вызвавшего прощения.

— Как, просить прощения? — спросил Толя.— Э, нет! К черту! Тогда будем стреляться.

Ничего нельзя было остановить или изменить — и я

горестно понял это, когда он прицелился, крепко зажмурив один глаз, и его доброе лицо стало жестоким, с поехавшей вперед нижней губой.

И вдруг все действительно изменилось, остановилось...

Раздался крик — что-то матерное — и Флёрка со всех ног кинулся к Гвоздикову, который не спеша, бравируя, поднимал пистолет...

О Флёрке я до сих пор знал только одно: он швырялся деньгами, которые таскал из кассы отца, владельца табачного магазина. На каком-то аукционе он купил за неслыханные деньги китайский бумажный зонтик и тут же подарил его своей девице. Но вот оказалось, что этот парень, безуспешно притворявшийся гусаром, не лишен здравого смысла. Барахтаясь с Левкой в снегу и стараясь вырвать у него пистолет, он кричал, что в двух шагах отсюда — Балтийский кожевенный завод, выстрелы могут услышать немцы и тогда несдобровать ни дуэлянтам, ни секундантам. Он кричал, что можно устроить товарищеский суд или на худой конец просто набить друг другу морду...

Успокоившись, он взял своего товарища под руку, и, вернувшись на тропинку, они стали ходить туда и назад. Не знаю, о чем они говорили,— доносился только неясный, низкий, горячий голос Флёрки: без сомнения, он убеждал Гвоздикова помириться с Толей.

Наконец вернулись.

— Ну, собаки, мир! — сказал он.— И чтобы у меня больше этого не было. Впрочем, с условием: ты первый протянешь Левке руку.

Толя молча отдал Кирпичеву пистолет и протянул руку. Но долго держал он ее протянутой — все время, пока Гвоздиков одевался, неторопливо застегивая на все пуговицы шинель.

Так было и на том собрании, когда столичные осузовцы убеждали нас помириться с правыми: протянутая рука и долгое ожидание.

У Толи было грустное лицо, с добрым, исподлобья взглядом. Кроме стыда за Гвоздикова, который наконец пожал его руку, он ничего не чувствовал — для меня в этом не было ни малейших сомнений.

Так кончилась эта история, и, размышляя над ней, я думаю, что память не случайно ее сохранила. В ней были и тоска несвободы, и растерянность, и раздражение, искавшее и не находившее выхода. В ней было и то проти-

воречие между понятиями «быть» и «казаться», с которым, случалось, я сталкивался в себе самом. Если Гвоздиков казался мне живым воплощением понятия «казаться», Толя всегда «был» — и будущее трагически подтвердило всю опасность его прямоты.

«ПАУКИ И МУХИ»

Я уже упомянул о том, что мог бы написать эту книгу с большей полнотой — иные друзья моей юности лишь промелькнут на ее страницах.

С Колей Павловым, нянькиным сыном, который до десяти лет жил у нас, судьба развела нас в 1912 году. Вопреки настояниям моей матери, которая была готова платить за Колю в гимназию, нянька отдала его в типографские ученики, и с тех пор мы почти не встречались. В ту пору, о которой я рассказываю, он был невысоким плотным юношей, русым и сероглазым, с некрасивым добрым лицом. Главной чертой его была совестливость — в этом отношении он напоминал Толю. Он всегда отвечал не только за себя, но и за других, если они делали не то, что соответствовало его, может быть, и неосознанным нравственным понятиям. Я вполне убедился в этом лет через десять, выслушав длинную, невнятную грустную историю его жизни. Он был осторожен, и, хотя я так и не узнал, принадлежал ли он к псковским подпольщикам, по некоторым намекам нетрудно было догадаться, что время от времени он переходил линию фронта. Газеты, листовки, а иногда и отдельные номера журналов, которые он приносил, Гордин и я читали запершись, с острым чувством опасности и восторга. Иногда к нам присоединялся Женя Рутенберг, который доказывал, впрочем, что разумнее взрывать немецкие мотоциклетки, чем читать советские газеты. Ему удалось взорвать за товарной станцией фугасы, которые могли бы пригодиться немцам, если бы они вздумали нарушить Брестский мир. Как известно, именно это и случилось.

Перебирая книги из склада Совдепа, я развернул наконец самую тяжелую пачку, которую мы с Алькой с трудом унесли на палке. Это была брошюра Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи» — тонкая брошюра в трех или четырех сотнях экземпляров. Моего знания немецкого языка хватило, чтобы понять (не без труда) несложную

мысль автора, который убедительно доказывал, что капиталисты — пауки, а рабочие — мухи.

Коле Павлову пришло в голову, что недурно было бы раздать эти брошюры немецким солдатам. Я участвовал в этой операции только два раза — вместе с одним реалистом из религиозной еврейской семьи.

Мы выбрали солдата в очках, с интеллигентным лицом. Реалист попросил у него на ломаном еврейско-немецком языке несколько сигарет. Солдат отдал нам пачку, мы пошарили в карманах и вместо денег всучили ему «Пауков и мух». Солдат взял брошюру, серьезно посмотрел на нас и зашагал, тут же принявшись за чтение. Уходили мы, как было условлено, не торопясь, и это было самое трудное, потому что хотелось бежать.

Точно так же действовал Коля. Среди рабочих городской типографии были люди, говорившие на немецко-еврейском языке не хуже, чем мой реалист. Словом, дело пошло. Через две-три недели добрая половина «Пауков и мух» исчезла из нашего дома.

...Я был у Гордина, когда в их квартиру зашли двое в штатском — молодой человек с неестественно белым, известковым лицом, с белыми ресницами и красными глазами и скучный пожилой мужчина, с жидкой бородкой, в длинном потертом пальто. Если бы мать Арнольда не прислала к нам его трехлетнего братишку, мы не догадались бы, что это — обыск. Очень хорошенький мальчик в бархатной курточке с бантиком вошел и весело сказал:

— А мама велела тебе, чтобы сгорели газеты.

В комнате топилась голландская печка. Минуты не прошло, как в топку полетела вся наша подпольная литература.

Квартира была большая, голоса слышались еще издалека. Но вот сыщики пришли к нам — тогда-то я впервые в жизни и увидел перед собой альбиноса. Кажется, они удивились, взглянув на предполагаемого подпольщика. Худенький, маленький, узкоплечий Арнольд был годом моложе меня, ему недавно минуло пятнадцать. Впрочем, это не остановило их. Альбинос стал внимательно перелистывать книги, лежавшие на столе,— искал листовки. Пожилой записал мое имя и фамилию и сказал:

— Можешь идти.

Не помню, когда еще я был так перепуган: из альбиноса как будто вынули все человеческое и оставили только способность хлопать белесыми веками и таращить крас-

ные глаза. «Времена были суровые,— пишет мне в недавнем письме Арнольд.— Если бы нашли газеты и листовки, могли бы и вздернуть».

Надо отдать должное сестре Лене, которая возилась у раскаленной плиты, готовя какие-то отвары для дочки. С первого взгляда на вороха бумаги, которые я притащил из своей комнаты, она поняла, в чем дело. Мгновенно сняла она с плиты все кастрюли, сбросила конфорки, и в поднявшийся, полыхнувший из плиты огонь мы стали бросать газеты, листовки и — увы — оставшихся «Пауков и мух», которых хватило бы, пожалуй, еще на два-три взвода. Была серьезная причина торопиться: кто знает, может быть, сыщики шли следом за мной и с этой-то целью, почти не расспрашивая, отпустили?

Но никто не пришел. Через четверть часа кастрюльки с отварами снова стояли на плите. Я засел в комнате и стал ждать продолжения событий.

Продолжения не было. У Арнольда ничего не нашли. Через два-три дня почему-то арестовали его отца, но за крупную взятку отпустили.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ. ОСЕНЬ 1918-го

1

Мы с Сашей съездили в деревню, и очень удачно: старые портьеры променяли на полтора пуда картошки. С вокзала нас подвез ломовик — это тоже было кстати. Хотя Саша, занимавшийся сокольской гимнастикой, был вдвое сильнее меня, мы измотались бы — от станции до Гоголевской было далеко.

Я втащил свой мешок в сени, трахнул об пол — и замер: знакомый баритон фальшиво пел: «Утро туманное, утро седое»,— и это был голос Юрия, сейчас же оборвавшего свой романс и весело закричавшего сестре: «Леночка, ушло!» Ушло молоко.

Я влетел в кухню. Юрий стоял у плиты, похудевший, полуодетый, в студенческой тужурке, накинутой на пижаму.

...Красивый, с вьющейся густой шевелюрой, выглядевший лет на двадцать, хотя ему шел уже двадцать пятый, озабоченный — его дела были плохи,— веселый, он в первый же день приезда обнадежил весь наш полуголодный,

томившийся неизвестностью дом. И даже не обнадежил, а как бы преобразил, хотя ничего для этого, кажется, не сделал.

Он не только перешел линию фронта, чтобы повидаться с женой и дочкой. И не только привез какие-то продукты — мед и сало, которые в Пскове можно было купить только за царские деньги. Он ворвался (это я понял не сразу) в тесноту, в напряжение, охватившее весь город,— и раздвинул эту тревожную тесноту одним своим появлением.

Дела его действительно были плохи: дипломная работа о Кюхельбекере сгорела во время ярославского мятежа, вместе с библиотекой, которую он собирал с гимназических лет. (В Ярославле жили тогда его родители.) Государственные экзамены он затянул, оставление при университете, на которое рассчитывал, откладывалось на неопределенный срок.

Но что все это значило теперь, когда после волнений и тревог долгой разлуки ему удалось встретиться с женой, похудевшей и похорошевшей, на которую он смотрел добрыми, влюбленными глазами? Дочка, по его мнению, стала похожа на инфанту со своей белокурой изящной головкой на пряменькой шейке.

Он разговаривал с ней изысканно-вежливо: «Сударыня, если не ошибаюсь, вам хочется пи-пи?» Он изображал собаку, кошку, лошадь — и все было не так: лошадь мяукала, кошка лаяла, собака становилась на задние лапы и заливисто ржала.

Он сажал дочку на колено и, подбрасывая, пел по-немецки:

Wenn der Schneider reiten wili
Und hat kein Pferd.
Nimmt er doch ein Ziegenbok
Und reit verkehrt.

(Через несколько лет, когда я начал печататься, мне пригодились эти стихи для рассказа «Бочка»:

Портной пустился в путь со зла,
А за коня он взял козла.
Паршивый хвост ему взнуздал,
Его аршином погонял.
Аршином бьет, иглою шьет
И едет задом наперед.

Перевод был вольный.)

В Петрограде, по словам Юрия, была неразбериха, но в этой неразберихе, в этой неизвестности, сменявшей новую неизвестность, было для меня что-то соблазнительное, остро не похожее на Псков, по которому уже ходили с песнями, в строю, одетые в белые полушубки недавние гимназисты и реалисты, вступившие в отряды Булак-Балаховича.

Совет Народных Комиссаров переехал в Москву, и теперь не Петроград, а Москва будет столицей. Кто-то, по-видимому правые эсеры, обстрелял автомобиль Ленина на мосту через Фонтанку. Принят закон об отделении церкви от государства.

Восстание левых эсеров в Москве началось с убийства немецкого посла Мирбаха. Еще в феврале в московском Политехническом музее состоялось избрание «короля поэтов». Первое место занял Игорь Северянин, второе — Маяковский, третье — Бальмонт.

Я спросил:

— А Блок?

Для меня Блок давно был королем поэтов.

— А Блок,— ответил Юрий,— написал «Двенадцать».

Если бы он ничего не рассказал о том, что произошло с февраля по октябрь 1918 года в Москве, в Петрограде, в России, одного только восторженного изумления, с которым Юрий говорил о «Двенадцати», было достаточно для того, чтобы мне страстно захотелось ринуться с головой в этот загадочный, опасный, перепутанный мир. И это несмотря на то, что, десятки раз перечитывая поэму, записанную со слов Юрия, который знал ее наизусть, я почти ничего в ней не понял.

Блок смеялся над писателем, утверждавшим вполголоса (из трусости?), что «Россия погибла». Но чьими глазами смотрел он на попа, который еще недавно

Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Кем были эти «двенадцать», державшие «революцьонный шаг»?

В зубах — цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Бубновый туз на спине носили каторжники, убийцы.

Ванька, по которому стреляют, который пытается увезти Катьку на лихаче,— солдат, а они — нет, они — «наши ребята», которые пошли

В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Они голытьба, им все нипочем. Но, «раздувая на горе всем буржуям» мировой пожар, они все-таки просят божьего благословенья:

Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

И когда Петруха нечаянно убивает Катьку, с его уст все-таки срывается скорбное поминанье:

Упокой, господи, душу рабы твоея...

После музыкальности, которой было проникнуто все, что написал Блок, режуще-непривычными были эти «запирайте етажи», этот «електрический фонарик», эти грубости повседневной, полуграмотной речи. И только в конце поэмы вступал голос прежнего Блока:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Так вот кому грозили красногвардейцы! Вот кого они преследуют, вот кому кричат:

Выходи, стрелять начнем!

Вот кого убили бы, если бы он не был «от пули невредим»! Но, может быть, они не преследуют его? Может быть, он ведет их за собой, хотя они не догадываются об этом?

Мне было стыдно признаться Юрию, что я не понял поэму, которую он считал гениальной. Впрочем, у него и времени не было на литературные разговоры. Он приехал на несколько дней, вскоре пора было возвращаться в Петроград, в университет, к государственным экзаменам, к новой дипломной работе.

2

Саша со дня на день ждал повестку, ему шел девятнадцатый год, и надо было либо прятаться, либо уехать из Пскова. Ежедневно заниматься строем на плацу у Поганкиных палат, учиться верховой езде и ходить по городу с песнями под командой есаула ему совсем не хотелось. Юрий предложил взять его с собой в Петроград, тем более что Саша, учившийся на тройки и просидевший два года в четвертом классе, несмотря на все это, твердо решил кончить гимназию с золотой медалью.

Устройством обратного перехода у станции Торошино занялся почему-то Хилков, тот самый, который был председателем нашего ДОУ и решил стать купцом, потому что это была профессия, «не мешавшая много читать». Очевидно, у него действительно были торговые наклонности — он действовал обдуманно, неторопливо и с толком. Сам ли он сторговался с немцами или через посредников, которые профессионально занимались этим небезопасным делом,— не знаю, но вскоре день был назначен, и Юрий стал готовиться к отъезду.

Конечно, он прекрасно понимал, что мне хочется почитать ему свои стихи, и однажды, когда Инна спала, а ему было приказано немедленно доложить, когда она проснется, он подмигнул мне с доброй улыбкой и сказал:

— Ну, давай!

Помню, что я прочел ему стихотворение, которое ценил главным образом за то, что оно, как мне казалось, ничем не напоминало Блока, прежнего Блока, до «Двенадцати».

Я долго подражал Блоку, и мне казалось, что пора наконец освободиться от этого магического влияния. Помню, что в стихотворении была строчка:

...На рельсы
Прольется жизнь молодого
прозаика.

— Да-а,— внимательно выслушав меня, заметил Юрий.— На Блока не похоже. Совсем не похоже!

Расстроенный, я сложил свои листочки и собрался уйти. Но он схватил меня за руку и заставил сесть.

— А почему прозаика? Разве ты пишешь прозу?

— Да. И не только прозу.

— Пьесы?

— Да. Трагедии в стихах.

— Ого! Как они называются?

Я мрачно ответил, что последняя, только что законченная, называется «Невероятные бредни о совокупном путешествии черта, смотрителя морга и студента Лейпцигского университета в женский католический монастырь».

Юрий засмеялся.

— Ну-ка, почитай.

Я начал:

Черт. Почтенный врач, проклятый Спиагудри,
Ленивый смотритель морга в Дронгейме,
Старый шут! Я, конечно, вполне уверен,
Что ты и все твои предки были
Воры. Это — во-первых. Во-вторых и в-третьих.
Мне нужно многое: ты. Черту лучший друг
Привратник мертвых. Да еще к тому же
Ты лыс, высок, сух, стар. Все это очень важно.
Спиагудри. Так ваша милость — черт? Ага. Теперь я вижу,
Что доктор Кун сугубо ошибался,
Доказывая, что обыкновенный черт...
Черт. Молчи. Мне некогда с тобой возиться.
Ну, живо одевайся, и пошли.
Спиагудри. Куда?
Черт. Там будет видно.
Спиагудри. Ваша светлость!
Черт. Дурак! Ты будешь сыт и пьян. К тому же
Я дам тебе полсотни экю.
Спиагудри. Пощадите.
Черт. И двух девиц. Согласен?
Спиагудри. Двух девиц?
Черт. Ну, в дальний путь, милейший Спиагудри.

Инна вздохнула во сне, и, боясь, что сейчас она проснется, я стал читать с такой быстротой, что Юрий, у которого было заинтересованное лицо, сказал негромко:

— Не торопись.

— «Комната студента в Лейпциге»,— шпарил я с бешено стучавшим сердцем.

Студент. В далекой снежной России
Запевает призывный рог,
Цветут янтари золотые,
Мадонна, у ваших ног...

...Задыхаясь, я прочел трагедию до конца. Она была небольшая, страницы четыре. Инна проснулась. Юрий побежал за женой. На ходу он сказал мне:

— В тебе что-то есть.

И больше — увы — мы не говорили о литературе.

До Торошина падо было ехать в телеге, и с этим «в тебе что-то есть» я через два дня провожал его ранним утром, едва рассвело. Он был взволнован, расстроен и даже — что с ним никогда не случалось — прикрикнул на Сашу, который глупо и беспечно острил.

С этим «в тебе что-то есть» я вернулся к себе, принялся за «Фауста», но вскоре захлопнул книгу. Это сказал не Дмитрий Цензор, которому я прочел когда-то беспомощное, детское стихотворение и который сам писал — теперь это было ясно для меня — плохие стихи. Это сказал Юрий. «В тебе что-то есть». Как жаль, что я не успел прочитать ему и мою вторую трагедию, которая называлась «Предсмертные бредни старого башмачника Гвидо»!

Я не знал тогда, что придет время, когда я буду горько корить себя за то, что не записывал наших ежедневных в течение многих лет разговоров. Его ждет трудная жизнь, физические и душевные муки. Его ждет комнатная жизнь, книги и книги, упорная борьба с традиционной наукой, жестокости, которых он не выносил, признание, непризнание, снова признание. Рукописи и книги. Хлопоты за друзей. Непонимание, борьба за свою, никого не повторяющую сложность. Книги — свои и чужие. Счастье открытий. Пустоты, в которые он падал ночами...

Я не знал тогда, что его неслыханная содержательность на всю жизнь останется для меня требовательным примером. Что и после своей безвременной смерти он останется со мной, поддерживая меня в минуты неверия в себя, безнадежности, напрасных сожалений. Что в самом нравственном смысле моего существования он займет единственное, как бы самой судьбой предназначенное место.

НЕМЦЫ УШЛИ

Казалось бы, ничего не переменилось в городе после отъезда Юрия осенью восемнадцатого года. Солдаты попрежнему шумели в бирхалле и стояли в очереди у публичного дома, офицеры с моноклями по-прежнему гуляли

по Сергиевской, надменно приветствуя друг друга. Но что-то переменилось.

В городском саду, на темной аллее, гимназисты набили физиономию немецкому офицеру и ушли как ни в чем не бывало.

Во дворе кадетского корпуса по-прежнему маршировали, по-гусиному выкидывая ноги, солдаты. Однажды — это было на моих глазах — один из них спросил о чем-то офицера, тот резко ответил, и начался громкий, с возмущенными возгласами, разговор между солдатами, стоявшими в строю,— еще недавно ничего подобного и вообразить было невозможно. Я нашел среди солдат того «интеллигентного» в очках, которому мы с реалистом всучили «Пауков и мух», и решил, что это — наша работа. Но потом оказалось, что для взволнованного разговора в строю были более серьезные основания: Германия проиграла войну, кайзер Вильгельм бежал в Голландию, и династия Гогенцоллернов прекратила свое существование.

...Похоже было, что немцы потеряли интерес к тому, что происходило в городе. Они собирались уходить — это было совершенно ясно. Но почему, прежде чем уйти, они занялись вывинчиванием медных ручек сперва в гостиницах «Лондон» и «Палермо», потом в учреждениях и, наконец, со все возраставшей энергией — в частных домах? На вопрос нашего домовладельца Бабаева (который долго, грустно смотрел на следы, оставшиеся от больших ручек, украшавших парадные двери) Herr Oberst ответил кратко:

— Приказ.

Не помню, чтобы тогда, в восемнадцатом году, кто-нибудь объяснил мне смысл этого приказа. Уже в наши дни я узнал, что ручки из цветного металла были нужны для производства оружия. Но может ли быть, чтобы, только что проиграв войну, немцы стали готовиться к новой?

Немцы ушли, Herr Oberst вежливо простился с мамой — может быть потому, что она одна хорошо говорила по-немецки, а может быть потому, что он, с полным основанием, считал ее главой нашего дома. В гостиной, где он жил, еще долго чувствовался сладковатый запах табака — он курил трубку. Я и прежде не любил эту комнату с ее шелковым потрепанным гарнитуром, а теперь стал заходить в нее только на час-полтора, когда надо было позаниматься на рояле. Я стал учиться поздно, в четырнадцать лет, увлекся, быстро продвинулся и так же быст-

ро остыл. Искать причину, чтобы бросить занятия, не приходилось — причин было много. Я выбрал самую простую: в комнате было холодно, и пальцы стыли. После отъезда немца в гостиной перестали топить.

Немцы ушли, и хотя под Торошином сразу же начались бои, как-то удалось узнать, что Юрий с Сашей благополучно добрались до Петрограда.

Деньги, мыло и папиросы «Сэр» подействовали, и караулы, как было условлено, пропустили «большевиков» (так они называли Юрия и Сашу) через линию фронта. Но наши, очевидно, усомнились, что они — «большевики». Они уложили бы их на месте, если бы Юрий не потребовал, чтобы его провели к Яну Фабрициусу, который командовал фронтом. Фабрициус — громадного роста латыш с великолепными усами — сказал Юрию, что он подослан белыми, и Юрий, глубоко оскорбленный, накричал на него. Это произвело впечатление, и они, уже спокойно, поговорили о положении в Пскове. Город, с точки зрения Юрия, был «в состоянии испуганного онемения».

— «Как кролик»...— начал было он — и спохватился.

— «Перед разинутой пастью удава»,— спокойно докончил Фабрициус.

Потом привели Сашу, но и он оказался не робкого десятка. Ответил на вопросы смело и с толком — и Фабрициус не только отпустил их, но даже приказал устроить на поезд.

«Испуганное онемение»,— сказал Юрий, и это было действительно так. Белые продержались в городе недели две, и это были недели похоронные — почти каждый день кого-нибудь провожали. Из знакомых гимназистов были убиты Юрий Мартынов, старший брат Андрея, и Ваня Петунин, веселый розовый мальчик, учившийся в одном классе с Сашей и однажды заглянувший к нему, чтобы покрасоваться новенькой офицерской формой.

Его отец — «Чаеторговля Петунина и Перлова» — сказал в городской думе речь, в которой с горечью спросил: кто виноват в смерти его сына? За что он голову сложил? За свободу? Где она, эта свобода?..

Я плохо помню день, когда белые отступили и наши заняли город,— без сомнения, по той причине, что к вечеру этого дня произошло событие, заслонившее в моей памяти все другие.

Уже было известно, что миллионер Батов пытался бежать, попался и, по слухам, расстрелян на месте (его дом

с единственным в Пскове мозаичным фасадом, на котором изображены яхты под парусами, и до сих пор сохранился на Завеличье, у бывшего Ольгинского моста), уже были арестованы офицеры (и в их числе те, кто сидел по домам, сторонясь и белых и красных), когда отец решил пройтись по Сергиевской, соскучившись клеить свои скрипки.

У него не было штатского пальто, и он надел шинель, с которой, вернувшись из полка, своими руками спорол погоны. Никто его не останавливал — казалось, что повода не было, а сам он ничего и никого не боялся.

Он ушел, а час спустя явились перепуганные Бабаевы и сказали, что они собственными глазами видели, как отца арестовали и повели по Кохановскому бульвару, очевидно в тюрьму. Плохо было дело, и кончилось бы оно совсем плохо, если бы на другой день Юрий не приехал из Петрограда. К счастью, он приехал с двоюродным братом Алей Сыркиным, который был командирован в Псков Чрезвычайной комиссией.

Аля был высокий, худой, с серовато-зелеными глазами, в которых мелькало подчас жесткое выражение. Нос у него был с горбинкой, лицо узкое, волосы рыжеватые, вьющиеся, губы слегка полураскрыты. Пистолет в кобуре был пристегнут к солдатскому ремню, который туго стягивал его мальчишескую фигуру.

Два года тому назад я видел его на свадьбе сестры — еще гимназистом. Сын очень богатого человека, владельца типографии, он в первые же дни Октябрьской революции взял из сейфа завещанные ему матерью драгоценности. Получая партийный билет, он выложил их на стол, весомо подтвердив таким образом свои политические убеждения.

Впоследствии я не раз виделся с ним. Он перешел на дипломатическую работу, стал дипкурьером, потом советником и объездил весь свет, не удивляясь ничему на свете. «Рим как Рим»,— вернувшись из Италии, однажды сказал он мне в ответ на мои нетерпеливые расспросы...

Не знаю, куда отправился, с возмущением пробурчав что-то неопределенное, Аля, но часа через два отец вернулся домой. У него был озадаченный вид. Он провел ночь в битком набитой камере, не спал и теперь, плотно пообедав, завалился в постель. Проснувшись, он все рассказывал о каком-то бароне, который лежал рядом с ним на полу, оборванный и голодный. Барон этот — молодой

человек — был самой заметной фигурой среди немецкого офицерства. Еще недавно он носил богатую шинель с серебристым меховым воротником, что не полагалось по форме, и повсюду появлялся с какой-то приезжей красавицей актрисой. Из-за нее-то он и остался в Пскове, хотя легко мог уйти с белыми,— вот чем был озадачен отец. «Дураком, дураком, дорогой мой»,— жалея барона, говорил он. Это значило, что надо быть дураком, чтобы рисковать жизнью из-за актрисы.

ПРОЩАЙ, ПСКОВ

1

В декабре восемнадцатого года приехал из Москвы Лев, похудевший, в болтавшемся на нем полушубке, в некрасивой меховой шапке с ушами,— и для меня это был первый день новой, неведомой жизни.

Еще в пятнадцатом году он перевелся в Москву на медицинский факультет университета. С первых студенческих лет он наотрез отказался от помощи родителей, позволив присылать ему только гильзы и табак — это стоило дешевле, чем папиросы. В Петрограде он жил на стипендию — 200 рублей в год — и уроки. В Москве, где жизнь была дороже, нанялся писать объявления для торговых фирм, магазинов и ресторанов — они печатались на больших транспарантах, которые развешивались в почтовых отделениях, в парикмахерских, в столовых.

Потом он стал «нянькой душевнобольного», как он называет себя в своих воспоминаниях. Не оставляя ни днем ни ночью своего сорокалетнего пациента — образованного человека, прекрасного пианиста, он играл с ним в шахматы, помогал собирать коллекцию спичечных коробок, соглашался, когда сумасшедший утверждал, что он — московский градоначальник, сочувственно выслушивал соображения о том, что Полина Виардо отравила Тургенева,— и гонялся за своим пациентом по всей Москве, когда тот с неожиданной быстротой на ходу вскакивал в пролетавший трамвай. Сумасшедший — сын богатого человека — любил проводить вечера в ресторанах и кафешантанах, и таким образом Лев познакомился с жизнью, о которой знал до той поры сравнительно мало. Случалось, что пациент в бешенстве набрасывался на свою «няньку», и

тогда Льву «не очень хорошо спалось» рядом с ним, в комнате, которую приходилось запирать на ключ, чтобы больной не сбежал из дома. Работа оплачивалась превосходно, но брат уволился через два месяца. Август Летавет, который устроил его на эту должность, продержался только полтора.

Зато в следующем учебном году — девятьсот шестнадцатом — материальные дела неожиданно устроились, и, как надеялся Лев, надолго. Он готовил в гимназию мальчика из богатой семьи, и отец этого мальчика однажды предложил ему пойти в Английский клуб на Тверской, где в то время был именно клуб и играли в карты. Почему, рассказывая эту историю, брат пишет в своих воспоминаниях, что он никогда до той поры не играл в карты на деньги? Играл. Я помню вечер на студенческих каникулах, должно быть, тринадцатого года, когда компания офицеров затеяла (к неудовольствию мамы) игру в шмен-де-фер («железку»), одну из самых азартных. Вечер запомнился мне потому, что, пока меня не отправили спать, я неотрывно следил за братом — остальные участники меня не интересовали. Сначала он проиграл, и, очевидно, немало. Он смеялся, шутил, но я за этой искусственной веселостью чувствовал огорчение, которое понимал так остро, как будто мне каким-то чудом удалось превратиться в брата. Он не прекратил игру, только ставил все меньше и, дождавшись, когда банк перейдет к нему, стал метать. Карты так и летели из его крепких рук. Теперь мне стало казаться, что он приказал себе выиграть, и действительно брал ставку за ставкой.

Нечто подобное произошло, очевидно, в Английском клубе. Он проигрался, хотел уйти, его уговорили остаться, и Лев встал из-за стола с пятью тысячами — громадной для него, почти фантастической суммой.

Теперь, когда можно было не думать о заработке, он стал энергично заниматься в клиниках медицинского факультета. Его учителем был знаменитый Дмитрий Дмитриевич Плетнев, с которым он постоянно ссорился и спорил.

Давно решено было кончить не только медицинский, но и физико-математический факультет, последние экзамены по естественному отделению не были сданы в Петрограде. Лев обратился к ректору, получил отказ и поехал к министру народного просвещения. В своих воспоминаниях он рассказал о том, как принял его министр:

«При входе в зал стоял небольшой стол, за которым сидел секретарь. Он спросил меня только о том, имею ли я в письменной форме свою просьбу, и просил пройти в зал. Там, на стульях, расставленных вдоль стен, сидели человек сорок. Ровно в 12 часов в зал вошел министр, сопровождаемый молодым человеком, по-видимому секретарем. Министром в то время был граф Игнатьев, об относительном либерализме которого в то время много говорили. Довольно высокий, очень стройный, спокойный, он подходил по очереди к каждому посетителю, тот вставал и минуту-две излагал свое дело. Министр брал его заявление, писал на нем резолюцию и передавал секретарю. Дошла очередь и до меня. Я изложил ответ ректора на мое желание учиться на двух факультетах. Игнатьев улыбнулся, написал на моем заявлении «принять» и подошел к следующему просителю. Прием почти 50 человек занял не более полутора часов».

Государственные экзамены по физико-математическому факультету Лев сдавал «под гром Октябрьских пушек».

«Очень трудно было добраться до университета,— пишет он,— почти все подступы к нему обстреливались... Все мысли — и экзаменаторов и экзаменующихся — были весьма далеки от сдаваемых предметов. Может быть, это способствовало в какой-то степени моим пятеркам. Получить диплом 1-й степени со званием кандидата биологических наук было весьма приятно».

Прощаясь с Плетневым, он сказал ему, что решил работать санитарным врачом. Плетнев пожал плечами.

— Да полно, это не для вас,— сказал он и щелкнул по мальтийскому крестику, который брат стал носить после окончания университета.— Биологическая подготовка — вот что важно. Надоест санитария, приходите ко мне.

«Но судьба,— пишет брат,— повела меня по другому пути».

2

Он любил родных: одних — больше, других меньше. Тех, кто добился в своей жизни заслуженного успеха,— больше. Тех, кто мог бы добиться, но не успел или не захотел,— меньше. Он переоценивал значение успеха.

Была в его характере холодность, стремление не жертвовать своими интересами для других. Но в трудных (для других) обстоятельствах он был великодушен, а в трагических — энергично и самоотверженно добр.

Когда мать постарела, а семья обеднела, он оказался главой нашего дома, и этот дом мешал ему, висел на ногах. Надо было что-то изменить, перекроить, перестроить. Надо было перевезти этот старый, развалившийся дом в Москву, где у него была выигранная в карты (как он шутил) квартира на Второй Тверской-Ямской. И где, как он надеялся, образовался бы новый дом, у него под боком, дом, который мог сам позаботиться о себе.

...Юрий давно увез жену и дочь в Петроград. Саша еще не вернулся, и предполагалось, что, окончив гимназию, он поедет прямо в Москву. Перевезти, стало быть, надо было только мать и меня. Отец заявил, что он остается в Пскове.

— Большевики, меньшевики,— сказал он, когда я зашел в его комнату, заваленную музыкальными инструментами и похожую на пропахшую клеем и лаком столярную мастерскую.— Не знаю, не знаю, дорогой мой! Армия есть армия. Полк — это полк. В каждом полку должен быть военный оркестр.

И он взял со стола дирижерскую палочку из черного дерева, украшенную слоновой костью,— подарок любителей музыки к его двадцатипятилетнему юбилею. Палочка была тяжелая, он дирижировал другой, тонкой и легкой.

— Она мне еще пригодится,— сказал он.

3

Не думаю, что в этой книге мне удастся найти другое место, чтобы окинуть одним взглядом жизнь отца. Между тем эта книга была бы далеко не полна, если бы я не рассказал о его судьбе хотя бы на нескольких страницах.

...Самый большой в городе граммофон с трубой, на которой была нарисована наяда, стоял в доме полковника Черлениовского. Механическое пианино исполняло концертный вальс Дюрана, который, как сказал мне Саша, был по плечу только Падеревскому, да и то — когда он был в ударе. Вольнонаемный регент тюремной церкви получал от полковника ценные подарки.

В городе говорили — и это было самое поразительное,— что у Черлениовского есть даже скрипка работы знаменитого мастера Никколо Амати, хранящаяся в стеклянном футляре. Когда в Псков приезжал Бронислав Губерман, полковник разрешил ему поиграть, но Губерман взял только несколько нот, а потом посоветовал Черлениовскому время от времени открывать футляр — скрипка могла задохнуться. «Скрипки дышат,— будто бы сказал он,— а когда перестают дышать, они умирают, как люди».

Отец вечно возился со скрипками, разбирал их, клеил; его усатое солдатское лицо становилось тонким, когда он, как врач, выслушивал лопнувшую деку. Он не верил, что у полковника настоящий Амати.

— Не Амати, не Амати, дорогой мой,— говорил он.— Не Амати.

Но когда после голодовки политических Черлениовского перевели в Тверь и он умер, не перенеся понижения в должности, его приемная дочь, горбунья, однажды появилась на нашем дворе. Она была в трауре. В прихожей она откинула креп, и показалось бледное тонкое лицо с маленьким опустившимся ртом. Надменно закинув ушедшую в плечи головку, она стояла в прихожей. Отец вышел, и она сказала звонко, как бы насмешливо:

— Я пришла предложить вам скрипку Амати.

Родители разговаривали долго, ночами. Даже если бы удалось продать какие-то страховые полисы, у нас было мало денег, чтобы купить эту скрипку. У нас было только тысяча пятьсот рублей, отложенных на приданое для Лены.

И все-таки отец считал, что скрипку надо купить. Мама сердилась, но неуверенно: в глубине души ей нравились необъяснимые увлечения.

Скрипку купили. Она была темная, изящная, небольшая и вовсе не в стеклянном, а в самом обыкновенном потертом футляре — это меня огорчило. Отец ходил по квартире веселый, с торчащими усами. У него был праздничный вид. На внутренней стороне деки он показал мне неясную, сливающуюся надпись: «Amati fecit». Это означало: «Сделал Амати». Жизнь отца была наконец полна; у него были семья, армия и скрипка Амати.

Первой стала рассыпаться семья. Ему хотелось, чтобы дети служили в армии и, как он, играли почти на всех инструментах. Это было, по-видимому, невозможно. Лена прекрасно играла на виолончели — у нее было редкое

туше,— но служить в армии она, разумеется, не могла. Саша, которого он любил меньше других, играл на рояле — самый этот инструмент не имел никакого отношения к службе. Лев, которого он старался сделать виртуозом, не только бросил скрипку, но поступил в университет, а не в Военно-медицинскую академию.

Мама всегда знала и понимала то, чего он не понимал и не знал. Она любила, например, говорить о Достоевском. А отец был простой человек, не читавший Достоевского, но зато обладавший абсолютным слухом.

— Ля-ля-ля,— говорил он, когда в тишине летнего вечера копыта цокали мягко и звонко и слышались еще долго, до самой Застенной, где кончалась булыжная мостовая.

Постепенно он стал чувствовать себя в семье хуже, чем в музыкантской команде. Там все было ясно. Кларнет играл то, что было ему положено, ударные инструменты, которым отец придавал большое значение, вступали не прежде, чем он давал им знак своей палочкой.

В семье же все было неопределенно, неясно. Деньги уходили неизвестно куда, гостей было слишком много. Дети интересовались политикой, которая в сравнении с армией и музыкой казалась ему опасной и ничтожной.

— Начальство, начальство, дорогой мой,— говорил он,— политикой должно заниматься начальство.

Мать развелась с ним вскоре после революции, когда стал возможен односторонний развод. Он бы не согласился. Он любил ее. Жизнь без постоянных ссор с ней, без ее высокомерия, гордости казалась ему пустой, неинтересной.

Она уехала от него, но когда в конце двадцатых годов они оба оказались в Ленинграде, отец стал заходить к ней — посоветоваться или просто когда становилось скучно. И мама советовала, настаивала насмешливо, потом добродушно. Она не раскаивалась, что развелась с ним. Она говорила, что, если бы это было возможно, она развелась бы на другой день после свадьбы.

У детей теперь были дети. Сыновья женились не так и жили не так, как надо. Он не знал, как надо, но все же было совершенно ясно, что они жили как-то не так. Он любил их. У него не было денег, но время от времени он делал им дорогие подарки. Словом, с семьей было кончено. Зато с армией все было как нельзя лучше.

— Армия — это все! — любил говорить он.— Сыт, одет, обут. И порядок, главное — порядок.

Когда перед первой мировой войной сокольскую гимнастику заменили военным обучением, он ходил на плац посмотреть, как мы с Сашей маршируем, и однажды, с бешенством выкатив глаза, закричал мне:

— Ногу!

Накануне Великой Отечественной войны он еще служил в свои семьдесят два года. Его оркестр был лучшим в округе, и только какой-то знаменитый Белецкий считался более опытным капельмейстером, чем он. Он сочинил военный марш, который записали на граммофонную пластинку. Марш был ужасный. В одном месте барабан заглушал все другие инструменты, и каждый раз отец подробно объяснял мне, как это случилось: барабан поставили слишком близко к записывающему аппарату.

Полк стоял в Стрельне, и, приезжая из Стрельны, отец вспоминал, что ему всегда хотелось жить за городом, на свежем воздухе, чтобы перед домом росли кусты, по возможности полезные — крыжовник, малина,— а на дворе расхаживали куры. Но вот однажды командир полка пришел на сыгровку, и отец, скомандовав «смирно», отрапортовал ему о состоянии своей музыкантской команды согласно уставу, утвержденному в 1892 году императором Александром III. Командир полка отправил его на гауптвахту, и смертельно оскорбленный отец подал в отставку, несмотря на мои уговоры.

Теперь у него осталась только скрипка Амати. Он женился вторично — от скуки. Но стало еще скучнее, хотя жена была красивая, сорока пяти лет, с большими бараньими глазами. С ней нельзя было спорить — она соглашалась. Нельзя было скандалить — она начинала плакать. Она скоро поняла, что с ним невозможно жить, но все-таки жила, потому что больше ничего не оставалось. Скрипку Амати, по ее мнению, надо было продать.

— Дурак! — отвечал ей с презрением отец.

Это было обиднее, чем «дура».

Дальний родственник, флейтист, томный красавец с вьющейся шевелюрой, приехал из Свердловска и сказал, что скрипка хорошая, но не Амати. Амати делал изогнутые скрипки, с высокой подставкой. Они и теперь еще ценятся, но не очень, потому что у них тон глуховат для современного концертного зала. А это не Амати. Он ви-

дел точно такую же у одного любителя, и тот показывал ее именно как подделку.

У отца был осунувшийся вид, когда я пришел к нему через несколько дней. Скрипка висела на прежнем месте. Он старался не смотреть на нее.

— Шваль, шваль, шваль музыкант! — сердито сказал он, когда я спросил о флейтисте.

Он пожаловался, что по радио редко передают духовую музыку, и мы написали открытку в Радиокомитет с просьбой, чтобы передавали почаще.

Через несколько дней он умер — от паралича сердца, как объяснили врачи. Зеркало было завешено, окна распахнуты настежь. Все входили и выходили. К вечеру мы остались одни. Он лежал, как будто прислушиваясь, матово-бледный, с лицом древнего воина. Дюжий гробовщик вошел, стуча сапогами, и вытащил из-за голенища метр.

— Ваш старик? — гулко спросил он.

Я ответил:

— Мой.

4

Очевидно, мои математические познания остановились на том уровне, до которого довел их Леша Агеев, потому что, пытаясь осенью 20-го года поступить в Петроградский политехнический институт, я сумел провалиться по алгебре, не решив задачу из курса шестого класса. Тогда же Люба Мознаим на экзамене по истории Анну Иоанновну назвала Анной Ароновной, вспомнив, по-видимому, известного в Пскове зубного врача.

В этих неудачах не было ничего удивительного, потому что зимой восемнадцатого года, забросив учебники, мы энергично принялись за общественную работу. Чуть ли не каждый день я выступал с речами и, не отличаясь находчивостью, научился все же говорить уверенно и свободно.

Больше я не защищал латынь, тем более что однажды встретил Бекаревича в рясе. Я поклонился, но он в ответ только злобно скосил свои пронзительные маленькие глазки. Крепенький, коренастый, он шагал твердо, с большим крестом на груди. Очевидно, он кончил не университет, как другие учителя, а духовную семинарию, и разумно решил в тревожные дни вернуться к заброшенному делу.

Школьный журнал, в котором любой гимназист или реалист мог критиковать степень подготовленности учителей и методику их преподавания,— вот что меня теперь занимало! И нам действительно удалось напечатать первый номер, весьма содержательный, с моей точки зрения. Но заведующий гороно, молодой эстонец, которому мы с гордостью принесли наш журнал (не помню, как он назывался), холодно перелистал его и сказал, что в нем слишком много лирики и мало политического осознания событий.

Я выступал с речами на собраниях, со стихами на литературных вечерах, и мне казалось, что мои речи и стихи — все, что я говорю и пишу, не может быть пустым, легковесным, ничтожным. Это было рано проснувшееся честолюбие, которого я не замечал, но приходил в бешенство, когда его замечали другие. Везде мне хотелось быть первым. Это было нетрудно в гимназии, где к нашему комитету теперь относились так, как будто он немало сделал, чтобы белые были выбиты из Пскова. Но это было невозможно в нашей компании, где надо мной подсмеивался Толя, где меня легко срезал скептический Саша Гордин, где со мной из вежливости соглашалась Женя Берегова и где добродушно помалкивала в ответ на мои парадоксы скромная Люба Мознаим.

И только Валя знала, что в классе, в компании я был одним: самоуверенным, хвастливым, стремившимся доказать свое особенное значение, а с ней — совершенно другим: сомневающимся, раздумывающим, терзавшимся мыслью, что я не так говорил и не так поступил.

Как и прежде, мы встречались почти каждый день, но теперь между нами началась совсем другая полоса отношений.

Валя кончила восьмой, педагогический класс и пыталась устроиться преподавательницей в той же Мариинской гимназии. Эта сцена была разыграна в лицах: сперва она изобразила мадам Тубенталь в длинном черном платье, из которого торчали кое-как собранные острые кости, потом себя, присевшую в низком, почтительном реверансе. Мадам величественно отклонила просьбу: в ее глазах репутация Вали была не вполне безупречной. Днем Валя помогала матери, а вечерами спешила в театр — устроилась билетершей. Теперь я забегал к ней по утрам — в гимназии мы занимались по-прежнему во вторую смену.

...Казалось, что это было очень давно — поездка в Череху, заколдованный лес, крестьянка, встретившая нас как жениха и невесту. Больше мы не говорили о любви. Я согласился — хотя это было очень трудно — с убеждением Вали, что полная близость возможна только в замужестве: тогда мы еще не знали, что этот измучивший нас обоих запрет навсегда разлучит нас зимой девятнадцатого года в Москве. Я согласился, потому что это была особенная женская правота, с которой я не только должен был, но мне хотелось считаться.

5

...Вспоминая об этой поре, я вернулся к произведениям, посвященным первой любви (начиная с «Ромео и Джульетты»), и передо мной в их бесчисленном множестве остро заблестел маленький рассказ Достоевского, о котором, кажется, писали немного. Я говорю о «Маленьком герое. Из неизвестных мемуаров».

В юности я прочел Достоевского не отрываясь, с разбега — и отложил в сторону, как бы почувствовал, что для меня он еще весь впереди, что я еще не раз и не два буду к нему возвращаться. И, конечно же, возвращался — студентом даже писал о композиции «Бесов», а потом всю жизнь не просто читал, неторопливо вглядываясь, как читаю всегда, а вдруг кидался к нему, останавливался на любимых сценах, спешил, точно «Братья Карамазовы» или «Идиот» были даны мне тайно, на два-три дня, и надо читать их не отрываясь, ночами, чтобы поскорее вернуть.

На первый взгляд не было ни малейшего сходства между историей, которая рассказана в «Маленьком герое», и тем, что происходило между мной и Валей.

Одиннадцатилетний мальчик, о котором написан рассказ, ничем не походил на меня, хотя и я в припадке вспыльчивости, дерзости, беспамятства мог решиться на отчаянный шаг. И спокойно-энергичная, склонная к разумной уравновешенности Валя могла бы, пожалуй, служить примером душевного контраста, если сравнить ее с m-me M., с ее «тихими, кроткими чертами, напоминавшими светлые лица итальянских мадонн».

Но вопреки этому очевидному несходству — сходство было, и не только внешнее, но и внутреннее, скрытое.

В «Маленьком герое» с непостижимой силой написана свежесть чувства, испытанного впервые. Это даже не чувство, а предчувствие чувства, которое не может осуществиться. И не потому, что одиннадцатилетний мальчик влюблен в молодую женщину, а потому, что весь строй, весь замысел этого предчувствия основан на воображении. Душевная драма развернута на фоне другой любви, между взрослыми,— любви, которую «маленький герой» разгадывает еще до той минуты, когда случайность помогает ему спасти m-me M. от позора, от душевной казни. И прикосновенье к чужой тайне не страшит мальчика, потому что любовь той, которую он любит, для него — святыня.

Сонеты Петрарки, посвященные Лауре, в которых любовь побеждается целомудрием, а целомудрие — смертью, невольно вспоминаются при чтении этого рассказа. И подумать только, что Достоевский написал его в Петропавловской крепости, в ожидании суда над петрашевцами, в ожидании, может быть, казни! Уж не крепостные ли стены вернули ему зоркость детского зрения, остроту первой встречи с самим собой, чувство изумления перед зрелищем детской души, всей сложности которой взрослые не замечают?

Именно здесь-то и открывается та внешняя сторона, о которой я упомянул, говоря о «сходстве вопреки несходству». Чувство первой любви стеной одиночества отделено от постороннего взгляда. И хотя любовь «маленького героя» названа — и названа грубо, она остается неразгаданной, почти неразгаданной. Никому, кроме m-me M., и в голову не приходит заглянуть в бездонную пропасть, трагически разделяющую детство и зрелость, возмужание души и трезвость устойчивого, равнодушного существования.

...Никто не знал, не подозревал, какие сложности нагородил я в своих отношениях с Валей,— недаром же я всегда лучше воображал, чем соображал! В глазах взрослых я просто «ухаживал» за ней, как ухаживали гимназисты за другими гимназистками, как ухаживал, например, с неизменным успехом Саша. Но я не «ухаживал» — самое слово это казалось мне пошлым. Мне было весело видеть, как разгоралась, расцветала Валина обыкновенность в свете моих странностей и чудачеств! Я верил, а может быть, не верил, а выдумывал, что она сродни героиням моих фантастических трагедий в стихах.

И не одну ее я выдумал, а выдумав — поверил и не поверил. Толпа видений мерещилась мне, воплощенная в действительность, которая была бы ни на кого и ни на что не похожа. Мне чудилось, что, если я не сумею участвовать в создании того «ломящегося в века и навсегда принятого в них, небывалого, невозможного государства» («Охранная грамота» Пастернака), я попытаюсь создать свой собственный мир, в котором выдуманные действующие лица будут существовать с такой же физической зримостью, как живые.

...Если бы в ту пору мне встретился человек, который понял бы меня тогдашнего, как я себя теперь понимаю, что изменилось бы в моем душевном мире? Ничего. Я бы ему не поверил.

6

Я уже упомянул о том, что даром предвидения Лев не обладал. Он не знал, что через полгода добровольно отправится на фронт в составе штаба Девятой армии. Он не знал, что новый московский дом развалится бесконечно скорее, чем старый. Может быть, он действовал так решительно — более того, беспощадно — потому, что смутно чувствовал грозящую нашей семье опасность. Город, от которого белые стояли в тридцати — сорока верстах, был, в сущности, полем сражения. В девятнадцатом году белые искали меня и, пожалуй, вздернули бы, хотя я не был ни большевиком, ни комсомольцем. Вместо меня был арестован и отпущен гимназист К., впоследствии — делегат III съезда комсомола. В двадцатом, в Ленинграде, он сам рассказал мне об этом.

...Что-то новое, незнакомое показалось мне в облике и в поведении старшего брата. Можно было подумать, что он раздвоился, послав в Псков своего двойника,— и этот двойник, легко раздражавшийся, не терпевший возражений, беспокойно-торопливый, был удивительно не похож на него. Впрочем, однажды я видел его таким. Сдавая экзамены на аттестат зрелости и получив двойку по латыни, он держался так, как будто весь дом был виноват в том, что он провалился.

Наконец он заметил меня — кажется, только по той причине, что именно я должен был первым отправиться вместе с ним в Москву: мама собиралась приехать к вес-

не. Волей обстоятельств, которые он стремился упорядочить возможно быстрее, я попал в поле его зрения, и он впервые окинул меня трезвым, оценивающим взглядом. То, что я писал стихи и даже трагедии в стихах, интересовало его очень мало. Я был крепок, здоров и, по всей видимости, не трус — ничего другого от меня не ждали. Чем я намерен был заниматься после окончания гимназии, он не спросил — и хорошо сделал, потому что едва ли я внятно ответил бы на этот вопрос. О моем ближайшем будущем он сам рассказал мне — скупо, но с исчерпывающей полнотой. Он спросил, умею ли я мыть полы и стирать белье,— и сдержанно кивнул, когда я ответил, что не умею, но буду. Моя общественная деятельность не очень заинтересовала его, а когда я расхвастался, он спросил, усмехнувшись:

— Так ты тут, стало быть, персона грата?

Потом, перед отъездом, когда речь зашла о билетах, достать которые было почти невозможно, он снова спросил, уже иронически:

— Может, поможешь? Ведь ты тут персона грата.

Но некоторых обстоятельств он не предвидел и о том, как вести себя в этих обстоятельствах, не подумал.

Я не сомневаюсь в том, что он просто забыл о дяде Льве Григорьевиче, который по-прежнему жил в маленькой комнатке и по-прежнему «развивал руку», мечтая о предстоящем концерте.

Летом восемнадцатого года дядино пианино пришлось променять на окорок и два мешка сухарей, и немая клавиатура, которую он некогда возил с собой, чтобы в турне развивать руку, была извлечена из чулана. Вот когда можно было играть, решительно никому не мешая! Он играл в темноте, в холодной комнате, с закутанными старым пледом ногами. Слышен был только стук клавиш.

Его давно не интересовало то, что происходило вокруг. Пришли и ушли немцы. Herr Oberst недурно играл на рояле, но дядя не пожелал познакомиться с ним. Пришли и ушли белые. Пришли красные. В этом мире, где все менялось, куда-то летело, перекрещивалось, сшибалось, он один был воплощением неподвижности, неизменности.

Нянька, от которой пахло самогоном, приходила убирать его комнату, ругаясь, мыла его, жаловалась на своего

актера. Кто же будет ухаживать за ним в Москве, в маленькой, пустой, с инеем на стенках, квартире?

Лев разговаривал с мамой тихо, долго — и она вышла из своей комнаты взволнованная, измученная, с похудевшим, постаревшим лицом.

Дядю решено было поместить в Дом призрения.

Я ужаснулся. В Дом призрения, где кормили только щами из замерзшей капусты, где он будет жить в одной комнате с таким же, как он, беспомощным стариком! Почему нельзя было договориться с нянькой, чтобы она продолжала ухаживать за дядей? Ведь он был очень болен, слаб и едва ли протянул бы больше года... Не знаю. Все, что требовал или советовал Лев, становилось неоспоримым и должно было осуществиться быстро и бесповоротно.

Когда мама, приняв лавровишневые капли, пошла к дяде, я убежал из дома.

Директор Дома призрения, несмотря на хлопоты, решительно запретил перевозить немую клавиатуру — для нее в тесной комнатке не было места. Дядя уехал, а клавиатура осталась — узенькая, черная, с пожелтевшими клавишами. Старинные фотографии висели на стенах — Друскеники, Баден-Баден. Дамы в белых кружевных платьях, в шляпах с большими полями сидели под зонтиками в саду. Дядя, в коротком пиджаке с закругленными полами, в канотье, небрежно откинутом на затылок, с тростью в руке шел по аллее...

Он никогда не жаловался, ничего не требовал. Никто почти не замечал его присутствия в доме. Но вот его увезли, и дом опустел. В маленькой комнате, и прежде почти безмолвной, наступила полная тишина — странно-требовательная, заставлявшая всех ходить с виноватыми лицами, а Льва — решительно подавлять в себе сознание, что он виноват больше всех.

Через несколько дней дядю привезли домой умирающим, почти без сознания. Он умер, когда я сидел подле его постели. Вздохнул с облегчением и закрыл глаза.

7

Черный отцовский полушубок был коротковат мне, а в плечах — широк. Он был сильно потерт, и потом, уже в Москве, я замазывал чернилами те места, где просту-

пала грязно-серая кожа. Из других запомнившихся вещей я взял с собой плащ-крылатку, застегивавшуюся на медную цепочку с львиными, тоже медными мордами, в которых были спрятаны петля и крючок. Крылатка была из толстого сукна, с клетчатой изнанкой. Служа мне (весной и осенью) шинелью, она была неизменным спутником моей внутренней жизни. Кем только не воображал я себя в этой крылатке! Иногда я просто стоял где-нибудь на пустынной улице в сумерках, закинув одну полу на плечо и дожидаясь, когда случайный прохожий заметит мою таинственную фигуру. Прохожие замечали и, случалось, опасливо обходили меня.

Весело посвистывая, укладывал я свой чемодан. Прощай, Псков! Гардероб был небогатый. Кроме крылатки, запасной серой рубашки с гимназическими пуговицами, пары брюк из чертовой кожи и белья я положил на дно чемодана тетрадку стихов, переписанных Валей, две трагедии и рукопись первого рассказа.

Я давно пытался перейти на прозу — еще когда Юрий сказал мне, что «в тринадцать лет все пишут такие стихи». Для начала мне показалось полезным записывать застольные разговоры. Но едва ли могли они пригодиться для будущей прозы! Мама говорила о знаменитой пианистке Бариновой, игравшей в почти пустом зале, Саша — о какой-то бородатой женщине Юлии Пастрана или о новостях техники, вычитанных из сборника «Знание», старшая сестра — о том, что труппа Гайдебурова напрасно поставила «Гамлета», и т. д. Каждый говорил о своем. Я сравнил свои записи с разговорами в романах Тургенева и Гончарова. Ничего общего! По-видимому, разговоры надо было не записывать, а сочинять, и рассказ, который я взял с собой в Москву, весь состоял из воображаемых разговоров.

Прощай, Псков! Из книг я увозил «Фауста» и сборник «Стрелец». Первую часть «Фауста» я знал почти наизусть, вторую прочитал через много лет в переводе Пастернака. Футуристический сборник «Стрелец», в котором были напечатаны стихи Маяковского и Бурлюка, я купил на книжном развале. Бурлюк писал:

Мне нравится беременный мужчина.
Лишь он хорош у памятника Пушкина.

Я был поражен — не стихами, которые мне не понравились, а тем, что эти поэты жили и писали, не думая

о том, что одновременно с ними живет и пишет Александр Блок. Это было открытием...

Прощай, Псков! В гимназии письмоводитель Никитин выдал мне свидетельство об окончании пяти классов. Мне показалось, что на его грубом бородатом лице мелькнуло удовлетворение.

С Валей я стал прощаться в тот день, когда было решено, что Лев берет меня с собой в Москву. Накануне отъезда заглянул — входная дверь была почему-то открыта — и застал Валю спящей. Свет зимнего солнца косо летел через комнату прямо к ней, она ровно дышала — и не проснулась, когда я вошел. Впервые в жизни я увидел ее спящей. Прикрытая знакомой старенькой шалью, она уютно подогнула колени, подложив обе руки под разгоревшуюся смуглую щеку...

Летом семнадцатого года, уезжая на две недели к родственникам в Ростов-на-Дону, она оставила мне свои часики, и каждый вечер, ложась спать, я целовал их и клал под подушку. Теперь мы стали другими, и разлука предстояла совсем другая, ничего не обещавшая, неопределенная, безнадежная...

Долго сидел я, прислушиваясь к еле слышному дыханию. Тихо было, и если бы не солнечный свет, медленно передвигавшийся вдоль полосатой спинки дивана, можно было вообразить, что время остановилось и вместе со мной терпеливо ждет, когда Валя откроет глаза.

8

В день отъезда я рано встал, оделся, поднял штору — и мне почудилось, что я еще сплю: под окном стоял, раздеваясь, китаец. Утро было морозное, но он неторопливо снял толстую синюю кофту, потом заношенную рубашку, достал из мешка другую и стал натягивать ее на худые желтые плечи. Штаны на нем были тоже синие, простеганные, а на ногах — чуни, не пеньковые, а теплые, войлочные. Он переоделся, вздохнул и ушел.

Я побежал в гостиную, чтобы посмотреть на него из окна, выходившего на Гоголевскую,— и остолбенел. По Гоголевской шли китайцы — старые и молодые, с солдатскими мешками за спиной, мужчины — с косами, болтав-

шимися поверх мешков, женщины — с прическами, высокими, неприкрытыми, в подпоясанных халатах, и многие — с детьми, которых они несли за плечами, с трудом ступая маленькими, похожими на костылики, ногами. Откуда они пришли? Куда направлялись? У них был такой вид, как будто они явились в Псков, чтобы остаться здесь навсегда.

И днем, когда мы ехали на вокзал в санках, с чемоданами в ногах, с мешками на коленях, они все еще шли и шли во всю ширину Кохановского бульвара. Извозчик был знакомый, и Лев спросил о китайцах.

— Да кто же их знает? Нынче разве что разберешь? — сказал извозчик.— Говорят, их будут в армию брать. А баб куды? И какое из косастых войско?

Впоследствии я узнал, что в 1916 году по решению правительства десятки, а может быть, сотни тысяч китайцев были завербованы для работы на рубке леса, на фабриках и в портах. После революции, когда деньги потеряли цену, они разбрелись по всей стране. Одна из многочисленных партий в 1918 году ненадолго задержалась в Пскове.

...Не впервые я уезжал из дома, но это были поездки, начинавшиеся и кончавшиеся в Пскове и, быть может, поэтому оставившие чувство мимолетности, непрочности, необходимости возвращения.

Зимой девятнадцатого года мы с Львом не ехали, а продирались в Москву. Мы продирались в здание вокзала, а потом, прождав четыре часа, продирались из здания к костру, который горел на площади. Мы продирались в вагон, а потом в другой вагон, потому что первый оказался неисправным.

Когда это продиранье, ругательства, тасканье вещей кончились, я увидел себя на полу, в коридоре, слабо освещенном свечой, которая горела в фонаре, висевшем над дверью. Дверь не закрывалась, хотя это была дверь в уборную. Ноги торчали со всех сторон, в сапогах, валенках, босые, и от одной корявой голой ноги мне приходилось то и дело отодвигаться, потому что она лезла мне в лицо. Люди лежали, полулежали, сидели, полусидели, были скорчены, стиснуты и распластаны от потолка до пола. В уборную, из которой несло холодом и вонью, все-таки ходили.

Теперь мне казалось, что самый поезд с трудом продирается сквозь гудящие заслоны снега, сквозь черный

свистящий воздух, морозный туман. Лев спал, прислонившись к мешку с картошкой, за который обеими руками держалась испуганная, измученная женщина. Во сне он не заметил, что с головы свалилась шапка, и мы долго искали ее, шарили среди вещей, заглядывали под нижнюю лавку. Он повторял жалобно: «Хорошая шапка». Но хорошая она была или плохая, страшно было и представить себе, как он без шапки доедет до дома, а нам предстояла еще пересадка. Соседи не ругались, сочувствовали, искали вместе с нами, и шапка наконец нашлась.

Не помню станции, на которой мы должны были пересесть. Дожидаясь поезда, мы стояли, озябшие, усталые, грязные, на зашарканной платформе, когда к брату подошел худенький черненький солдатик в папахе с красной ленточкой, в длинной, не по росту, шинели, и сказал негромко:

— Идите за мной.

Чекисты, дежурившие на станции, заинтересовались братом — может быть, потому, что он действительно походил на офицера со своей плечистостью, твердой осанкой и манерой держать голову по-военному прямо? Он ушел с солдатом, я остался один — и боже мой, каким подавленным, испуганным, одиноким почувствовал я себя на этой продутой ледяным ветром платформе! Блок, трагедии в стихах, речи, персона грата, слава, которая войдет бесшумно и скажет: «Я — слава»,— голодный, усталый, подавленный, подбадривавший себя мальчик стоял, грея руки дыханьем и не сводя глаз с чемоданов и мешков, как строго приказал ему брат.

Он вскоре вернулся и сказал, что все в порядке. Чекисты проверили документы, убедились в том, что он — не офицер, а заместитель председателя совета старост медицинского факультета, и сказали: «Можете идти».

Поезд подошел, и снова началась давка, толкотня, матерщина. Лев ругнул и меня — по его мнению, надо было энергичнее действовать локтями.

Нам повезло, в вагоне второго класса можно было растянуться на полу, подбросив под голову мешок. Я уснул, едва тронулся поезд...

Поразившие меня сны я стал записывать через много лет после того, как уехал из Пскова, в конце тридцатых годов. Сон, приснившийся мне в поезде, запомнился потому, что он много раз повторялся — в вариациях, кото-

рые были одна грустнее другой. То я рисовал себя мелом на классной доске, а потом какой-то вежливый человек в визитке — может быть, Рудольф Карлович Гутман — подходил и, неопределенно улыбаясь, стирал меня с доски мокрой тряпкой. И я исчезал. То, спасаясь от преследователей, я прыгал с конки и летел прямо в пруд, разбивая собственное зеркальное отражение.

Каждый раз я раздваивался, и либо я, либо мой двойник стушевывался, стирался, и каждый раз я напрасно старался найти его, мучаясь тоской и надеждой.

Хлебников писал, что у человека два разума — дневной и ночной. Он не стал описывать их, очевидно полагая, что эта мысль не требует доказательств.

Мне кажется, что в ночном разуме сознание невольно возвращается к предчувствиям, преувеличениям и страхам, давно (или недавно) отброшенным при свете дня. Дневное «мне некогда» заменяется неторопливостью ночи. Прислушиваешься к шорохам, а слышишь далекую музыку прошлого.

Но в шестнадцать лет у меня еще не было прошлого. Откуда же взялся этот лихорадочный, перепутанный сон?

Мне приснилось, что из Пскова я еду в какой-то маленький город и брожу там веселый, радуясь, что обманул кого-то и остался один. Потом спохватываюсь, что пора вернуться. Но как? Конка ушла, когда придет — неизвестно. Кто-то говорит: «Идите пешком». Я иду, но никак не могу выйти из города. Кажется, еще поворот — и за углом откроется наш дом, садик с молодой березой, у которой любили сниматься студенты, товарищи брата, дровяной сарай, где я напугал мальчика топором. Нет и нет. Тупики — и все чудится, что за мною кто-то идет. И вдруг я попадаю в толпу мужчин, которые, посмеиваясь, толкают меня от одного к другому. Толкают сильно, почти перебрасывают, коренастые, усатые, некоторые — в поддевках и ямщицких шапках. Я бегу от них через проходные дворы и знаю, что они бегут за мной. Это знают и те, кого я встречаю, но притворяются, что не знают, потому что я все равно обречен. У меня мелькает надежда, что все это снится, я бросаюсь к какому-то неопределенно доброму человеку и спрашиваю его: «Это сон?» Он молчит, и я понимаю, что, если он ответит, ему придется бежать вместе со мной. Он молчит, но мы уже бежим вместе, сперва по коридорам нежилого здания, потом по колодцу, кото-

рый из вертикального становится горизонтальным, чтобы вдоль него было легче бежать. Колодец кончается щелью, заваленной мусором. Мы протискиваемся с трудом, прислушиваясь к приближающимся развязным, беспечным голосам. Наконец становится тихо, мой спутник встает, его неопределенное лицо проясняется, и я вижу, что это — нищий, который прятался во дворе дома баронессы Медем, в ящике из-под рояля «миньон». Он ведет меня в баню, я хочу раздеться, но меня уже нет. Здесь должны быть руки, здесь — ноги. Пусто. Не могу найти себя в курточке. Нищий тоже ищет меня, читая молитву, и не находит.

Я обрадовался, когда брат разбудил меня. Поезд приближался к Москве.

1970—1973

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД

МОСКВА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

1

Мы наняли «рикшу» на вокзале, и Лев сказал, что с него нельзя сводить глаз, потому что он может в любую минуту нырнуть в подворотню со своими салазками, на которых лежали наши мешки и чемоданы. Бояться было некогда — хмурый «рикша» в рваном толстом пиджаке, из которого торчали клочья ваты, шел быстро. Но я все-таки боялся — ночная, незнакомая Москва поразила меня. Со своей путаницей переулков и темными провалами ворот она была громадная, безлюдная. Она была притаившаяся, точно следившая за нами, готовая ежеминутно окликнуть нас, остановить, пригрозить. Снег остро, опасно блестел под луной, от которой некуда было скрыться. У подъездов неподвижно стояли дежурные, завернувшиеся в громадные шубы.

Брат шел за мной, я помедлил, поравнялся, и вид его высокой, прямой, твердо шагающей фигуры успокоил меня.

Была глубокая ночь, когда мы добрались до маленькой амбулатории в Оружейном переулке. Она принадлежала какому-то ловкому врачу-спекулянту, и брат — тогда кончавший студент-медик — работал у него, принимал больных.

Я хотел умыться с дороги, но Лев сказал, что вода не идет, и стал устраивать мне ночлег. Подушки не было, кроме кислородной. Развязывать вещи мы не стали. «Завтра переедем»,— сказал он. По очереди мы долго надували подушку. Потом он пристроил ее в изголовье клеенчатой кушетки — на которую, без сомнения, ложились больные —

и задумался. Я смотрел на него, как на волшебника, который сейчас взмахнет рукой, и неведомо откуда прилетят, как две белые птицы, две чистые простыни и теплое одеяло. Но он накинул на кушетку старый чехол, кажется, от рояля и сказал:

— Ну вот, брат, и все. Прикроешься полушубком.— И ушел в приемную, где стояла такая же клеенчатая кушетка.

Я снял ботинки и лег, дрожа. В амбулатории было холоднее, чем на улице. Голова скатывалась с подушки, чехол — с кушетки, и надо было лежать совершенно неподвижно, чтобы не происходило ни того, ни другого.

Голый свет луны падал в комнату сквозь голые, без штор, окна, голо поблескивали стеклянные шкафчики, висевшие на стенах, голые столы мертвенно белели. Все вокруг было голым, стеклянным и скользяще-пустым.

Я достал из мешка свою любимую драповую псковскую крылатку, завернулся в нее и заснул.

Брат разбудил меня рано, он торопился. Мы позавтракали, а потом он взял с письменного стола толстую телефонную книгу и раскрыл ее на разделе «Средние учебные заведения».

— Надо найти школу поближе к дому,— сказал он.— Как ты насчет реального училища Алябьева? В двух шагах, на Тверской.

Мне захотелось спросить его: уж не потому ли ему понравилось реальное училище Алябьева, что на гимназических вечерах он с успехом исполнял «Соловья» Алябьева на скрипке? Но я не спросил. Было очевидно, что это какой-то другой Алябьев.

Мне не хотелось в реальное, но я сказал, что можно пойти и посмотреть.

— Вот и прекрасно. Пойди и посмотри. И возвращайся сюда. С двух до трех у меня прием.

Конечно, я бы ни за что не сознался, что мне страшновато идти одному по незнакомым улицам Москвы, напугавшей меня еще ночью. Но брат — это было ясно — не желал замечать, что мне страшновато. Разговаривая со мной, он как бы давал понять, что теперь, в Москве, я должен действовать по своему разумению.

Я надел полушубок и помедлил, выбирая между гимназической фуражкой и зимней шапкой с ушами. Тот

факт, что я учился в гимназии, казался мне значительным. Реалистов мы дразнили «яичницей с луком».

Нельзя сказать, что я совсем не волновался, идя по Воротниковскому, но самый переулок, чем-то напоминавший мне Псков, успокоил меня. Утро было светлое, не очень морозное.

Я шел и думал: как держаться в реальном училище Алябьева?

Очевидно, я буду приглашен к директору, и мне представится случай изложить ему свои взгляды на самоуправление в школе.

Идея совместного обучения нашла во мне горячего сторонника. Институт классных наставников подлежал полной отмене. Профсоюзы могли воспользоваться энергией старшеклассников, но для этого надо создать секцию, посвященную школьному делу. И много других важных соображений сложилось в стройную систему, когда я повернул на Тверскую и остановился у подъезда, на котором висела эмалированная доска «Реальное училище Алябьева».

Много мальчиков и девочек моего возраста и постарше лениво слонялись по вестибюлю. Одни съезжали с перил, другие, собравшись группами, разговаривали и смеялись. Девочек было даже больше, чем мальчиков,— очевидно, в столице совместное обучение уже осуществилось?

Казалось, все они ждали чего-то: некоторые выбегали на улицу и сразу же возвращались.

— А я вам говорю, ребята, что они ее слопали по дороге! — закричал один.

— Если не слопали, так уж, верно, приложились.

— Там же Варька! И Сережка Ахметов.

— Сережка первый приложится.

— Варька не даст.

Я спросил, как пройти к директору, и угрюмая девочка с опухшей физиономией сказала, что директора нет, бастует.

— За директора у нас теперь Николай Петрович.

И она показала на тощего мужчину в пальто и шляпе, стоявшего поодаль с виноватым, как мне показалось, видом.

Я подошел, назвал себя и сказал, что хочу поступить в училище.

— Ну что же, очень хорошо,— ответил он, кисло улыбаясь.— Мы сейчас вообще-то не занимаемся, а больше,

так сказать, питаемся. Но, вообще, что ж... Зачислим и вас.

Я был поражен. Мужчина говорил со мной робко. За золотым пенсне моргали покрасневшие глазки. В эту минуту раздались крики: «Привезли, привезли!» И он, встрепенувшись, торопливо вынул из кармана столовую ложку.

У подъезда стояла на санях большая кастрюля, укутанная старым одеялом. Ребята бережно внесли ее в вестибюль, и вдруг неведомо откуда у всех в руках появились котёлки и чашки.

В кастрюле была жидкая чечевичная каша. Толстая девочка в красноармейском шлеме стала раздавать ее, покрикивая на ребят, совавшихся без очереди. Мужчина в пенсне получил первый.

Я не рассчитывал на чечевицу и не обиделся бы, если бы меня как новичка обошли. Но когда толстуха сказала: «Эй ты, новенький, подходи!» — ребята стали кричать, что меня нет в списке.

— У тебя чашка есть? — не слушая их, спросила толстуха.

Я повернулся и вышел.

2

Все не понравилось мне в реальном училище Алябьева. И тощий заискивающий мужчина в пенсне. И это «не столько занимаемся, сколько питаемся». «Директор бастует». Что это?

Широкая улица, на которую я машинально свернул, называлась Садовая-Триумфальная. Она продольно делилась бульваром, по которому никто не ходил — он был завален снегом. Ходили по утоптанной грязной панели.

Фанерная дощечка, на которой было крупно написано печатными буквами «144-я Единая трудовая школа», остановила меня. Я подумал — и решительно вошел в подъезд.

Мальчик лет пятнадцати в гимназической форме обогнал меня, прыгая через ступеньку, и я спросил его, где найти директора школы.

— Директор школы бастует, — сказал гимназист. — У нас сейчас вместо него Николай Андреевич.

— А кто такой Николай Андреевич?

— Завуч.

Очевидно, завуч был зав-уч, то есть заведующий учебной частью. Это слово я услышал впервые.

Гимназист толкнул входную дверь на втором этаже с медной дощечкой: «Н. А. Старостин»,— дверь была не закрыта. Мы вошли в прихожую, и сразу же послышались голоса — говорили в разных комнатах одновременно.

Мой провожатый показал мне кабинет Николая Андреевича, я постучал и услышал: «Войдите». В маленькой комнате, неприбранной, но уютной, было тепло. У письменного стола сидел человек лет сорока пяти, с льняной бородкой и прозрачными голубыми глазами, добродушный, в халате и цветной тюбетейке. Ребята стояли возле него полукругом, и, разговаривая с ними, он живо оборачивался то направо, то налево в своем вертящемся кресле.

С моим появлением разговор прекратился. Я сказал, что хотел бы поступить в 144-ю школу, и положил на стол свидетельство об окончании пяти классов Псковской гимназии.

— О, Псков? — сказал он с живым интересом.— Ну как же! Но ведь в Пскове, кажется, немцы?

Я ответил, что немцы ушли еще в декабре.

— Превосходно! Один из старейших городов русских! Никогда не был, но всегда мечтал побывать. Знаком по литературе.— И он продекламировал:

Посадники, бояре и князья!
Челом вам бью за милостное слово.
И пусть меня великий Псков рассудит
От старшего до меньшего. По правде,
По всей заветной псковской старине.

Николай Андреевич встал, читая стихи, и оказалось, что он — маленький, плотный, с животиком под распахнутым халатом.

— «Ты слышишь, князь, как Псков заговорил?» — торжественно спросил он и стукнул себя кулаком в грудь.— Ну-ка, ребята, покажите знание русской литературы. Кто это написал?

Ребята молчали.

— Мей,— сказал я.— «Псковитянка». Драма в пяти действиях. Монолог князя Токмакова.

Это был мой первый успех,— вот почему и теперь еще,

стоит мне закрыть глаза, как передо мной возникает маленький человек в халате и тюбетейке, толстенький, симпатичный — буквально онемевший от восторга, когда я назвал Мея.

— Великолепно! — закричал он.— Конечно, можно понять... Пскович... и «Псковитянка». Но какая память! Ну, просто...

И он горячо пожал мою руку.

Не прошло и получаса, как двумя этажами ниже, в большом запущенном помещении школы, я получил большую тарелку чечевичной каши. Меня кормили, а потом показывали школу девочки, среди которых были сестры Светлановы, Лена и Оля. Они объяснили, что бастуют не только директора, но и многие преподаватели. Забастовка началась еще в прошлом году после рождественских каникул — учителям не нравится реформа школы. Но им, девочкам, нравится, хотя, когда соединили женские и мужские гимназии, все действительно перемешалось. Пока Трейвас был здоров, еще можно было кое в чем разобраться. Но на днях он заболел сыпняком, ребята хотели его навестить, но их не пустили. По-видимому, Трейвас был видным общественным деятелем 144-й школы.

Вернувшись к Николаю Андреевичу, который успел пообедать и вздремнуть, пока девочки показывали мне школу, мы устроили маленькое совещание: как поступить, чтобы наша школа заняла в Тринадцатом объединении, к которому она принадлежит, первое место?

Это был интересный разговор, в котором мне удалось наконец высказать свои взгляды на школьное самоуправление. Странно было только одно: никто даже не упоминал о занятиях, хотя после рождества они еще не начинались. По-видимому, предполагалось, что мы можем стать образцовой школой независимо от занятий. Как бы между прочим, Николай Андреевич сообщил, что он лично беседовал с Луначарским.

— Вы читали в «Правде» его статью «Школьная забастовка»? — спросил он.

— Нет.

— Советую. Серьезная статья,— сказал Николай Андреевич.— Глубокий, проницательный ум.

По всему было видно, что ребята очень любят своего завуча,— и действительно он был, без сомнения, душой 144-й школы.

Вскоре я узнал, что часть продуктов, полагавшихся нашей школе, он выхлопотал в виде сухого пайка — некоторым ребятам удобнее было готовить дома. Он достал — с большим трудом — рыбий жир и выдавал его сам по ложке в день, а слабым иногда и по две ложки. Он был, оказывается, видным подпольщиком, работавшим под кличкой «Пахом», и бежал с каторги (в гробу, притворившись мертвым).

В особенности привлекательной показалась мне его простота.

В Пскове можно было заглянуть, например, к Владимиру Ивановичу Попову, преподавателю литературы, но в определенные часы, по делу и ненадолго. А у Николая Андреевича мальчишки играли в столовой в военно-морскую игру, а на кухне девочки горячо обсуждали, кто в кого влюблен, занимаясь мытьем посуды.

Кто из псковских учителей стал бы с таким участием расспрашивать меня о моих родных, о моих делах? Я ответил, что первое время буду жить с братом, студентом-медиком, а потом приедет мать и, может быть, другой брат из Петрограда. Потом я сказал, что хотел бы устроиться на работу, и Николай Андреевич, подумав, ответил, что его знакомая, Елена Марковна Ландау, заведует большой библиотекой, недалеко от школы, на Садовой.

— Вот что мы сделаем,— живо сказал он.— Я ей напишу. Мне приятно рекомендовать такого начитанного молодого человека.

Я поблагодарил, взял у него письмо и помчался к брату.

Нельзя сказать, что Лев сочувственно выслушал мой восторженный отчет. Но то, что я самостоятельно выбрал школу, очевидно, понравилось ему, хотя он не сказал об этом ни слова. Однако рекомендательное письмо он прочитал не без лестного для меня удивления.

— Молодец!

Впрочем, это чувство вскоре, по-видимому, сменилось другим: он был доволен, что энергия, которая была ему так необходима для множества собственных дел, на меня может не распространяться.

Он принес из столовой овсяную кашу, и мы разогрели ее на спиртовой горелке.

— А разве «Псковитянку» написал Мей? — спросил он.— Стихи у него хорошие, а драмы, по-моему, плохие.

И он прочел:

Минувшего нельзя нам воротить,
Грядущему нельзя не доверяться,
Хоть смерть в виду, а все же нужно жить;
А слово жить — ведь значит покоряться.

Я сказал, что это не Мей, а Фет, и мы отправились из амбулатории на Вторую Тверскую-Ямскую.

ДРОВА

1

Квартира на Второй Тверской-Ямской давно тревожила мое воображение. Лев утверждал, что выиграл ее в карты,— невозможно было представить себе, что квартира, выигранная в карты, ничем не отличается от обыкновенных квартир. Увы! Именно в этом мне пришлось убедиться.

Две светлые комнаты выходили на Оружейный переулок, а одна, полутемная, рядом с кухней, во двор. Потолки были низкие, окна — небольшие. Квартира была перестроенная или очень старомодная — в полутемную комнату вели две высокие ступеньки. С крыши кирпичного сарая, пристроенного к дому, можно было заглянуть в окно, выходившее во двор.

Мебель тоже была плохая, хотя и добротная: маленький ореховый буфет с неприятно пузатыми стеклянными дверцами, старые стулья с гнутыми спинками фирмы братьев Тонет — эта фамилия запомнилась мне, потому что над рекламой фирмы подшучивали: вместо «Братья Тоне́т, венская мебель» читали: «Братья, то́нет венская мебель».

Брату хотелось, чтобы я похвалил квартиру, и я похвалил, хотя ее нельзя было даже сравнить с нашей, хотя небогатой, но уютной, обжитой псковской квартирой. В каждой комнате стояли на ножках «буржуйки» — так назывались маленькие железные или чугунные печки. Под закопченным потолком висели на проволоке трубы, соединявшие их с дымоходом.

Дрова — вот о чем мы заговорили прежде всего, побродив по комнатам в полушубках и шапках. Недели через две-три должна была приехать мать, а в квартире было четыре градуса ниже нуля. Что делать?

Я заметил, что, разговаривая о дровах, брат то и дело поглядывал на старый порыжевший саквояж с ручками,

который мы привезли из Пскова. Я знал, что он принадлежал поручику Рейсару и что мама, узнав, что поручик убит — у него не было ни жены, ни детей,— держала саквояж в своем гардеробе.

Почему она отдала его Льву?

Маленьким ключиком он открыл саквояж, и я ахнул: в саквояже лежали новенькие брюки-галифе, парадный мундир с поясом и погонами, хорошенькие мягкие хромовые сапоги — словом, полное офицерское обмундирование.

Мгновенно, как при вспышке магния, вспыхнул передо мной полустанок, на котором у нас была пересадка, морозная ночь, жесткий, крутящийся снежок, овальный свет единственного фонаря, под которым я стою, продрогший в своем стареньком полушубке. Чекисты, дежурившие на станции, посылают за братом. Уходя, он строго наказывает мне следить за вещами — и его мгновенный тревожный взгляд скользит по саквояжу.

Теперь я понял этот взгляд: если бы чекисты, не поверив, что перед ними заместитель председателя совета старост медицинского факультета, принялись обыскивать наши вещи и наткнулись на саквояж поручика Рейсара, мы с братом, пожалуй, надолго остались бы на этом полустанке.

Но почему, задумчиво рассматривая обмундирование бравого офицера, носившего, помнится, в левом ухе золотую серьгу, брат прикидывал стоимость дров? Дело объяснялось просто: в соседнем доме, который был продолжением нашего, жила владелица и того и другого, Анна Власьевна Холобаева, с мужем и сыном. Лев рассказал о них кратко: Анна Власьевна — злобная стерва, которая бьет своего больного мужа, в прошлом знаменитого военного портного, гордившегося тем, что он обшивал кирасиров. Портной ходит с палкой, часто падает, и Анна Власьевна ставит его на ноги с помощью этой же палки. Зато сына Ваську она обожает. Васька глуп, смешлив и невероятно худ, хотя, запершись на замки и засовы, мать кормит его сливками и малороссийским салом.

Лев рассказывал не улыбаясь, но, зная его манеру шутить с серьезным лицом, я слушал — и не знал: верить или не верить? Но какая же связь между покупкой дров и обмундированием поручика Рейсара?

— Связь психологическая,— ответил Лев.— Понимаешь, Васька не только худ, но еще и стесняется своей ху-

добы. Ваське хочется, чтобы его было много. А его — мало. Поэтому он надевает на себя по три толстые суконные рубашки и носит под брюками по две пары егерского белья. При этом он ежится от холода и ежеминутно смеется. Когда я покажу ему эти галифе и мундир, он ошалеет от восторга.

— Офицерские же!

— Перекрасит. Или будет дома носить.

— Ты хочешь их продать?

— Дубина! Я обменяю их на дрова.

— А у них есть дрова?

— Полный сарай. Для начала запрошу полторы сажени.

2

Когда, после получасового стука — руками и ногами — в обитую железом дверь, она наконец открылась, я убедился, что, рассказывая о Холобаевых, брат ничего не преувеличивал. Анна Власьевна, со своей маленькой головкой и странно вздернутыми худыми плечами, на которые была накинута черная шаль, была похожа на какое-то летающее хищное животное. Старый портной действительно падал — рухнул, едва мы вошли в тесную переднюю, и был поднят с ругательствами, хотя и без помощи палки. Васька ежеминутно смеялся без всякого повода и действительно старался скрыть свою худобу: из-под одной суконной гимнастерки была видна другая. Он был туго перетянут, выгибал грудь и старался казаться бравым.

Лев помедлил, загадочно постукивая пальцами по саквояжу, потом вдруг распахнул его — и у Васьки идиотически задрожало лицо: от восторга или изумления?..

Торг был бешеный, утомительный, длинный. Сперва Холобаева сулила деньги, от которых Лев решительно отказался. Потом чуть не упала в обморок, когда он заговорил о дровах. Потом, когда он аккуратно, не торопясь, стал укладывать мундир в саквояж, она побелела, а Васька странно, болезненно заверещал.

Торг возобновился с новой силой, когда мы зашли в сарай — на этот раз старуха кидалась к дровам, точно надеялась защитить их от нас своим тщедушным телом.

А потом, после изрядного ломтя твердой овсяной каши, мы принялись за работу. И все эти три или четыре часа, когда мы складывали дрова, перехватывали веревкой и, вязанку за вязанкой, тащили из сарая в подвал, старуха стояла на дворе, держа замерзшей рукой крошечную керосиновую лампу,— боялась, чтобы мы не стащили лишнее полено.

3

Затопить уже не было сил, в амбулатории было немногим теплее, и ничего не оставалось, как заночевать в холодной, как подвал, квартире. Это сказал Лев, занимаясь какими-то, на мой взгляд, загадочными приготовлениями. В полутемную комнату, где стояла широкая низкая софа, он принес большой медный таз. Бутылка с голубоватой жидкостью появилась в его руках, и он неторопливо вылил в таз эту жидкость.

— Денатурат,— объяснил он, плотно закрыв двери.— Сейчас я его подожгу, а пока он горит... Словом, ты сразу догадаешься, что надо делать, пока он горит.

Я догадался. Надо было раздеться и, не снимая нижнего белья, завалиться на софу, укрывшись полушубком.

Лев бросил спичку в таз, спирт вспыхнул, и поразительно, с какой быстротой стала согреваться комната! Увы, ненадолго!

Брат первый лег, привалившись к стенке, я успел завернуться в крылатку и лечь рядом с ним. Отсветы пламени еще бродили по потолку. Окно слабо сверкнуло — и передо мной поплыли дрова, ступени подвала, закутанная в теплую шаль старуха с хищным носиком в тусклом свете маленькой лампы. Поплыли, поплыли...

СТОЛОВКА НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ

1

Лев разбудил меня в начале восьмого. Никогда еще он не был так похож на себя, как в это утро,— по меньшей мере, в том смысле, что, сам не теряя времени, строго следил, чтобы его не теряли и другие. Не обратив ни

малейшего внимания на мою робкую жалобу (я пробормотал, что у меня ломит руки и ноги), он сказал, как нечто само собой разумеющееся:

— Значит, так. Сейчас мы позавтракаем, а потом ты затопишь печки и вымоешь полы. Ведро и тряпка на кухне.

Я подивился его дальновидности: ведь еще в Пскове он спросил — умею ли я мыть полы?

Именно так и был проведен мой первый московский день. Лев ушел, и я спустился в подвал за дровами.

К четырем часам, когда полы были вымыты, а печи вытоплены, я умылся, причесался, надел новые брюки, свою лучшую серую рубашку и отправился с рекомендательным письмом в библиотеку.

Еще вечером, таская дрова, я обдумал свой разговор с Еленой Марковной. Я намеревался держаться скромно, но так, чтобы она без единого намека с моей стороны поняла, что перед ней — юноша, прочитавший не одну сотню книг и сам далеко не чуждый литературе. К слову я собирался упомянуть, что, посещая в течение многих лет псковскую городскую библиотеку, я чувствую себя в любом карточном каталоге как дома.

...К сожалению, я не застал Елену Марковну, и никто не знал, вернется ли она сегодня. Мне предложили подождать, я поблагодарил, недолго посидел в кресле, а потом сперва нерешительно, а затем все смелее стал прохаживаться между стеллажами.

Не помню, как долго я бродил по библиотеке, должно быть, с полчаса, однако успел сделать несколько любопытных наблюдений. Пожалуй, лучше было оставить их при себе, но мне не терпелось поделиться ими с Еленой Марковной, тем более что это могло подготовить наш разговор. Сотрудники работали небрежно, подолгу болтали. Классификация, если судить о ней по карточному каталогу, почти не соблюдалась. Сочинения Генриха Гейне в русском переводе стояли на одной полке с пятитомной «Библейской археологией» на немецком языке. Почему?

Свои наблюдения я изложил в обстоятельной записке, которую одна из сотрудниц обещала передать Елене Марковне. Название «Библейская археология» я написал не латинским, а готическим шрифтом — это выглядело как-то солиднее.

Потом я пошел домой и вернулся только в конце рабочего дня. На этот раз я застал Елену Марковну. Это была черноволосая женщина, без пальто, хотя в комнате было холодно, но почему-то в длинных, до локтя, вязаных перчатках, приветливая и даже, пожалуй, хорошенькая, если бы не возраст — на мой взгляд, ей было лет тридцать.

Сотрудники оживленно разговаривали с ней и, как по команде, замолчали, едва я появился в дверях. Как-то странно шарахаясь от меня, они вышли из комнаты, и мы с Еленой Марковной остались одни. Она была смущена и, казалось, даже не знала, как начать разговор.

— Видите ли... Библиотека только формируется, очень много книг из частных собраний, и нам действительно очень нужны начитанные молодые люди,— мягко сказала она.— Но дело в том, что...— Она покраснела.— Вы оставили мне записку, и ее, к сожалению... Вот тут... Прочитали. Это, конечно, неблагородно,— поспешила она прибавить.— Но вот...— Она вертела в руках мою записку.— Боюсь, что, работая у нас, вы можете оказаться в несколько сложном положении...

— Да, конечно,— пробормотал я. У меня горели уши.— Извините.

На улице развернул свою записку и убедился в том, что показавшаяся мне такой симпатичной Елена Марковна не отказалась от возможности пошутить надо мной. В готическом тексте была подчеркнута ошибка, а под моей уверенной подписью стояла отметка — три с плюсом.

Впрочем, может быть, это сделала не она.

2

Лев вернулся поздно, сердитый, усталый — не попал на трамвай и пришел пешком с Пироговки. Кажется, он даже не заметил, что печи вытоплены, полы вымыты и мокрая тряпка не без успеха прошлась по квартире. Я ошибался. Он заметил. Но не в его характере было хвалить за то, что должное было сделано, как должно.

— Напрасно ты беспокоился,— сказал он.— Я мог и совсем не прийти. В дежурке акушерской клиники тепло, и я иногда остаюсь там ночевать.

Слегка запинаясь, я рассказал ему о своей неудаче. Слушая, он устало, но внимательно смотрел на меня.

— Что-то ты врешь, но это не важно,— сказал он.— Вот что: ты умеешь резать хлеб?

Вопрос был неожиданный. Я ответил с иронией, что, вообще, случалось.

— Вообще — это одно, а в частности — совсем другое,— заметил он.— Покажи-ка бицепсы!

Не без гордости я согнул правую руку. Лев пощупал:

— Так себе. Так слушай: в нашей столовке освободилось место хлебореза. Парень работал прекрасно, но стал красть, и сегодня его чуть не убили. Вообще, не красть хлеб, когда ты возишься с ним целый день, трудно. Ты, я полагаю, не станешь?

Я засмеялся.

— Обедают с двенадцати до двух. Ты будешь не только резать хлеб, но еще и разносить его по столам. Сколько ты должен был получать в библиотеке?

— Семьдесят рублей.

— Ну, а у нас вдвое меньше. Столовая студенческая, на общественных началах. Зато будешь обедать каждый день. Иногда — выдачи: постное масло, крупа. Очень редко. Согласен?

— Да.

— Завтра поедешь со мной. Если попадем в трамвай. Спокойной ночи.

3

С чувством медленно оживающей новизны, которая тогда скрашивала все мое существование, вспоминаю я студенческую столовку на Девичьем поле. Впервые я стал самостоятельно зарабатывать — мне еще не было семнадцати лет. Псков вдруг отодвинулся куда-то далеко, и стало казаться странным, что все происходившее там было для меня так важно. Не было бестолковости семейного уклада, с которой безуспешно, терпеливо боролась и в конце концов смирилась мать. Исчезла, как за крутым поворотом, гимназия, воспитывающая меня в границах сложившегося десятилетиями порядка. Эти границы были узкими, устаревшими, порой бессмысленными. Но они действовали — с этим я не мог не считаться.

Исчезло характерное для провинции чувство соотнесенности — все знали всех, все были в бесконечно разнообразных, но взаимодействующих отношениях. Знали и меня как беспокойного гимназиста, устроившего рискованную школьную забастовку.

Не было Вали, и даже ее письма перестали приходить с тех пор, как Псков был захвачен отрядами Булак-Балаховича.

Все это и многое другое превратилось в прошлое — неразрывно связанное со мной и все-таки ушедшее, может быть, безвозвратно... Никому не было до меня никакого дела в огромной, заваленной разъезженным и растоптанным снегом Москве. Здесь шла, развертываясь и нарастая, неукротимая политическая борьба, которую я ежедневно и ежечасно чувствовал и в столовке, и в школе, и дома, особенно — когда ко мне забегал ошалевший от бессонных ночей, небритый, всегда голодный Толька Р., который обрушивался на меня, доказывая, что надо создавать не армию, а народное ополчение, и что Брестский мир — катастрофа. Здесь, в Москве, я оказался лицом к лицу не с повседневной, а с исключительной, ни на что не похожей жизнью — то, что происходило вчера, могло до неузнаваемости измениться завтра. Здесь было не до книг, с которыми я не расставался в Пскове, не до вымысла, каким бы он ни был захватывающе острым.

Здесь сама жизнь казалась вымыслом, состоявшим для меня из стужи, из голода, из сыпняка, из борьбы не на жизнь, а на смерть, из вакханалий снежной крупы, накатывавшейся весь февраль, как будто нарочно, для того чтобы залепить глаза, не дать оглянуться.

Вот почему так важно было для меня стать хлеборезом в студенческой столовке. Это было не только место, позволявшее мне существовать. Это было мое место в мире.

4

На трамвае, который шел к Девичьему полю, схватившись за поручни и справа и слева, живыми, шевелящимися гроздьями висели люди. Уже издали были видны четыре толпы, вцепившиеся в поручни и друг в друга. На углу Тверской и Садовой-Триумфальной эти толпы от-

цеплялись, пропуская новых пассажиров, и вот тут-то надо было найти местечко на поручне, чтобы схватиться за него рукой, а если это не удавалось, на худой конец вцепиться в того, кому это удалось.

Впрочем, в марте трамваи перестали ходить, и мне даже нравилось вставать затемно и идти пешком на Девичье поле. Я выходил на Малое кольцо, шел бульварами и сочинял стихи. В городе было пусто, но очереди уже стояли у булочных и молочных. На площадях, как в поле, лежали нетронутые овальные сугробы, но вдоль бульваров Малого кольца вилась довольно широкая расчищенная полоска. Я шел между деревьями, на которых блестели под утренним солнцем зимние домики, скрещенные хризантемы, высокие уланские шапки, а иногда можно было даже разглядеть бежавших и вдруг остановившихся девушек, поднявших к небу тонкие руки.

Я сочинял стихи и думал. Это был единственный час, когда в Москве я оставался наедине с собой.

В столовке — небольшом деревянном доме — работа уже шла, когда я приходил. Повар, дядя Егор, толстый, важный, в высоком колпаке и медицинском халате, из-под которого были видны широкие штаны, засунутые в голенища, рубил капусту для щей, покрикивая на бабу, разжигавшую большую плиту.

Говорил дядя Егор главным образом об убийствах, грабежах, расстрелах — и никто не удивлялся, когда он вдруг провозглашал на всю кухню, сморщив свой диковинный бесформенный нос:

— Вооруженный налет на Моховой. Вся публика, не исключая дам, раздета догола и обыскана.

Или:

— Зверское убийство фабриканта Бутурина. Старик умер под пыткой. Главарь шайки смертельно ранен. Вот тебе и — «в борьбе обретешь ты право свое»!

Профессия хлебореза исчезла давным-давно, ее заменила машина, а в небольших домах отдыха и в столовых — длинный нож на рычаге, который поднимается и опускается в щель, прорезанную в металлической кромке. Между тем это была профессия, требовавшая навыка и острого глазомера. Подле хлебного стола стояло ведро с горячей водой, работая, я смачивал широкий нож с толстой короткой ручкой. Буханка вкусно вздыхала, когда я делил ее пополам. Задача — и нелегкая — заключалась в том, чтобы осьмушки, каждая с четверть тетрадного листа, были пря-

моугольно равны — ни длиной, ни шириной, ни толщиной не отличаясь друг от друга.

Этому я научился не сразу, и может быть, совсем не научился бы, если бы не дядя Егор, который посоветовал мне резать хлеб «с душой», не спеша и каждый раз помедлив, хотя бы одно мгновенье, прежде чем пустить в дело нож. Время от времени я снимал с ножа налипшие крошки — они шли в форшмак или котлеты.

Торжественная минута наступала, когда дядя Егор пробовал щи. Он выливал в котел постное масло, долго размешивал щи длинной палкой, потом ею же поддевал кусок капусты и прикусывал его, значительно сощурив левый глаз.

Толпа студентов с грохотом врывалась в столовку — первая очередь должна была пообедать за двадцать минут. Смешанный шум голосов, смеха, стука ложек и вилок по жестяной посуде наполнял маленький деревянный дом, и казалось, что еще минута — и он сорвется с места и взлетит вместе с обедающими студентами, подавальщицами, кухней и дядей Егором, который с поразительной для его толщины ловкостью орудовал поварешкой, разливая щи и отпуская второе.

Первым, прежде подавальщиц, в длинной комнате, где стояли обеденные столы, появлялся я. Деревянный лоток, на котором были аккуратно уложены осьмушки хлеба, висел у меня на шее, входя, я придерживал его, вытянув руки, а раздавая хлеб, ставил на край стола. Каждый брал свою долю. С пустым лотком я бегом возвращался на кухню, укладывал хлеб и возвращался в столовую, где нетерпеливые студенты, дожидаясь меня, уже стучали ложками по столам.

Работа шла, хотя к трем часам я едва держался на ногах, и шла бы еще лучше, если бы среди подавальщиц не было Даши — высокой, улыбающейся, с серыми, немного навыкате глазами, по которым было видно, куда неудержимо летят ее мысли. Иногда к ней приходил любовник, смуглый солдат с усиками, с черными, как дробины, пятнышками на скулах. Он сидел в кухне, покуривая, и она начинала нервно, мелко посмеиваться. Глаза у нее становились пьяными. Все она делала быстро, ловко.

В конце рабочего дня я собирал грязную посуду и относил ее на кухню, где бабы с обтянутыми полотенцами животами окунали ее в лохань и ловко швыряли вдоль

длинного деревянного желоба. Встречаясь с Дашей по сто раз в день, я волновался и ронял посуду. Впрочем, я ронял ее только в те дни, когда к Даше приходил ее солдат, которого я ненавидел.

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Между тем в школе мои дела шли превосходно. По предложению Николая Андреевича меня единогласно выбрали председателем школьного коллектива, и я предложил программу, которая, без сомнения, могла поставить школу на одно из первых мест в Тринадцатом объединении. Она заключалась в том, что общественную работу я предложил соединить с лекционной системой. Дело в том, что многие педагоги по-прежнему бастовали, а три-четыре, пытавшиеся продолжать занятия, не могли собрать аудиторию. Кстати, среди учителей, переставших бастовать, был историк Курчевский, который на педсовете произнес длинную и на первый взгляд обоснованную речь, доказывая, что школа — не университет и что, хотя он готов читать лекции,— они не могут заменить регулярных занятий. Но Николай Андреевич истолковал эту речь как резкий выпад против обсуждавшейся реформы средней школы, а самого Курчевского (когда педсовет кончился) — как представителя отжившего дворянского слоя.

— Сплошная личи́на,— сказал он с негодованием.

Я был не согласен с Курчевским, но не понял, почему его речь — «личина», тем более что этот представитель отжившего дворянства производил на меня хорошее впечатление. Мне казалось, что именно таким и должен быть историк — спокойным, достойно-вежливым, неторопливым, в пенсне, с черной палкой, на которую он не опирался — носил под локтем. Вскоре после моего появления в 144-й школе мы как-то вышли вместе, разговорились, и он стал расспрашивать: откуда я приехал и намерен ли остаться в Москве. Как бы между прочим он задал мне два-три вопроса по истории, и когда я на них не ответил, он, деликатно помолчав, спросил, чем я намерен заняться после школы, кроме общественной деятельности, о которой он много наслышан. Я стал читать ему стихи, свои и чужие, он слушал, тонко щурясь под золотым песне. Тогда мы расстались в хороших отношениях, и теперь мне было неприятно услышать от Николая Андреевича, что Курчев-

ский «ханжа» и что вокруг него «все и вся пропитано лицемерием».

Второй вопрос, тоже сложный, касался вечеринок. По моим псковским понятиям, вечеринки устраивались компаниями — близко знакомые девочки и мальчики собирались у кого-нибудь на квартире, ужинали, а потом танцевали и пели. В 144-й школе вечеринки устраивались по меньшей мере два раза в неделю. Не ужинали (по понятной причине), не танцевали, не пели, а просто разговаривали в актовом зале, а иногда — пока не начинало темнеть — затевали какую-нибудь игру: жмурки или пятнашки. А потом понемногу разбредались по классам. Трудно было установить, чем они занимались в темных классах: как председатель школьного коллектива я не считал возможным вмешиваться в личные отношения. Но, с другой стороны, эти вечеринки не могли помочь школе занять одно из первых мест в Тринадцатом объединении, и доказать это обязан был именно я, как председатель школьного коллектива.

Это была сложная задача, и я едва ли справился бы с ней, если бы не Ванька Пестиков, мой заместитель. Маленький, скучный, он однажды прошел ко мне по темному залу, где за грудами пособий и книг целовались пары, и сказал, что мы с Николаем Андреевичем развалили школу.

— Правда, разваливать было нечего,— прибавил он,— но вы все-таки умудрились.

Он был рыжий, твердый, и его почему-то хотелось слушаться. Мне нравилось, что он занимается самоиспытанием. Не самовоспитанием — это была, по его мнению, ерунда,— а самоиспытанием, то есть выяснением того, на что человек способен в отношении добра и зла. Добро, по его мнению, не требовало усилий, и посвящать ему жизнь, как Лев Толстой, не имело смысла. Принуждать же себя к злу полезно для развития воли. Для этого, как он полагал, надо научиться презирать страдания. Боль он научился презирать, держа палец над свечкой.

— Ты неглуп,— сказал он мне однажды.— Но человека не понимаешь.

— Какого человека?

— Вообще. Как особь.

Ванька считал, что человечество делится на простаков и вурдалаков. Любопытно, что к вурдалакам, причем опасным, он причислял Николая Андреевича. Это был, разумеется, вздор.

С вечеринками Ванька расправился просто.

По новому тарифу обслуживающий персонал получал жалованье в зависимости от валового дохода дома, а так как дом, в котором помещалась школа, приносил маленький доход, швейцар и уборщицы уволились. Ванька подобрал ключи и закрыл классы. После этого на коллективе я произнес речь о полной бесполезности вечеринок в свете задач новой школы, и хотя это выступление подорвало мой авторитет — собираться стали реже: два-три раза в месяц...

Кроме Курчевского лекции согласился читать математик Шахунянц — всегда небритый, с ястребиными глазами, и хотя оба преподавателя читали, по-моему, с блеском, в классах было пустовато.

Тогда, на новом собрании, я предложил посещать лекции в порядке очередности: согласно заранее составленному расписанию, одни ребята будут ходить на Курчевского, другие — на Шахунянца. Николай Андреевич горячо поддержал меня, и дело пошло́: почти на каждой лекции класс был полон. На первой парте, подавая пример, сидел председатель школьного коллектива.

САША

1

Память изменяет мне: я не помню, кто первый приехал в Москву — мать или Саша. Очевидно, Саша, потому что все в доме сразу же запуталось, зашаталось.

Как будто не было ни революции, ни развертывающейся гражданской войны, ни голода, ни сыпняка, ни ночных перестрелок, ни оглушающей новизны всего совершавшегося — таким он явился в Москву, быстрый и поджарый, как молодой конь, худой, высокий, с острым кривым носом, охотно веривший фантастическим слухам и мгновенно забывающий о неприятностях и огорчениях. Я не знал тогда, что таким он останется на всю жизнь. Он был человеком прямодушным, мужественным, способным легко переносить лишения, беспечным. Но как-то уж слишком беспечным, что раздражало даже тех, кто был искренне привязан к нему. Сосредоточенный на факте собственного существования, он, при всей своей редкой общительности, был, в сущности, одинок.

Часто ссорясь с ним, Лев упрекал его в лени, бездеятельности — и ошибался. Саша был деятелен и даже — как это выяснилось с годами — трудолюбив и работоспособен. Но он не умел входить в существо дела, даже если занимался им с захватывающим увлечением.

Человек разнонаправленный, скользящий, он с бессознательным упорством готовил себя к трудной жизни, в которой обещающие парадоксальные черты его юности выцвели, выветрились, поредели...

2

Вопрос о выборе профессии, горячо обсуждавшийся в семье, когда ему было тринадцать лет, решен еще не был. В Москве он решительно остановился на химии, поступив на физико-математический факультет Московского университета, в надежде стать учеником знаменитого Каблукова, о котором ходило множество анекдотов. Сдать химию Саша решил досрочно — очевидно, был убежден, что, выращивая в Пскове с помощью поваренной соли искусственные сады в банках из-под варенья, он давно разобрался в тонкостях этой науки. Конечно, он провалился, и я помню, с каким презрением Лев говорил с ним по поводу этого провала.

— Посмотри на брата,— с горечью закончил он,— он уже персона, по меньшей мере в своей школе. А ты?

С поразившей меня быстротой Саша забыл о своей неудаче. Уже на другой день он держался так, как будто на свете не было ни химии, ни Каблукова, ни, может быть, даже и самого университета. Больше он туда не ходил. Он поступил тапером в маленький кинотеатр под странным названием «Великий немой» на Тверском бульваре. Впрочем, Саше оно не казалось странным. Более того, он был в восторге от этого названия, в котором, по его мнению, отразились две главные черты киноискусства: с одной стороны, оно было великим, а с другой — немым.

Он оказался первоклассным аккомпаниатором, и на работе его очень ценили. Я упоминал о том, что еще мальчиком он умел изобразить на рояле хриплый, беспокойный лай нашей собаки Престы, ворчанье няни Натальи, строгий голос мамы,— теперь эта способность не только пригодилась ему, но приняла профессиональный характер. Сопровождая такие картины, как «Суррогаты любви» или «По-

зор дома Романовых», он подражал бетховенскому похоронному маршу, а для комических, вроде «Антоша — Шерлок Холмс», у него находились хроматические гаммы, синкопы и трели.

Не думаю, что в его жизни была хоть одна минута, когда ему захотелось бы заглянуть в свой внутренний мир. Это удается немногим. Но, заглянув, он сам, мне кажется, удивился бы, убедившись в том, что самое большое место в этом мире занимает чувство, без которого его существование потеряло бы всякий смысл: я бы назвал его физиологическим оптимизмом. К этому чувству, которое навсегда окрасило его жизнь, мужчины относились с оттенком пренебрежения — вот почему среди мужчин у него никогда не было любящих друзей, несмотря на то, что он был верным товарищем и мужественным человеком. Зато легкий тон, нетребовательность, беспечность, равнодушие к деньгам, в которых он постоянно нуждался,— нравились женщинам, по меньшей мере тем женщинам, которые были похожи на него.

Тем более странным, почти непостижимым показалось мне появление в нашем доме Кати Обуховой. Впрочем, это было не «появление», а «явление» — так я и должен о нем рассказать. Но прежде — о другом.

ИСПАНКА

1

Мы с Сашей болели от голода, и Лев предложил нам загнать на Сухаревке его костюм, который теперь уже едва ли мог ему пригодиться. Костюм состоял из визитки — однобортного короткого сюртука — и черных брюк с блестящей глянцевитой полоской. В 1913 году Лев, надевая пенсне, хотя он прекрасно видел, посещал в этом костюме Мариинский театр и Оперу-буфф.

Старик Холобаев, с которым он посоветовался, сказал, что визитка хороша, а брюки испорчены «лощилом» — очевидно, Лев гладил их слишком часто.

— Но продать можно,— сказал он.— Если возьмут.

И посоветовал взять салазки, чтобы привезти продукты, которые мы получим в обмен на костюм.

Я никогда ничего не продавал, и мне даже не приходило в голову, как это сложно. Сухаревка раскинулась так

широко, что сама Сухаревская башня, с ее часами и строгим остроконечным фасадом, казалась сиротливо пристроенной к громадной толпе, хлопающей руками, чтобы согреться, и отбивающей дробь ногами. Все говорили разом, с клубами морозного пара изо рта, смеялись, ругались, пели — впрочем, пели что-то божественное только слепцы, одетые в такое живописное тряпье, что я невольно на них загляделся. Здесь продавалось все — корсеты, царские медали, шандалы, бритвы, манекены, иконы, заспиртованные уродцы в стеклянных банках, четки, ложечки для святых даров. Прилично одетый мужчина с большущими усами предлагал какие-то раскрашенные щепочки, уверяя, что это — «целебные останки иконы Николая Чудотворца, уничтоженной большевиками».

Ошеломленный, я молча плелся за Сашей. Но интересно, что и он, обычно нахальный, оробел и только говорил негромко: «А вот кому...», в то время как надо было не говорить, а кричать, тем более что салазки, на которых лежал костюм, выглядели совершенно пустыми. Наконец кудрявый парень, скинув романовский полушубок, примерил визитку. Она затрещала на его могучих плечах, но понравилась, и он предложил цену. Саша отказался, он просил вдвое больше, и мы снова поплелись вдоль длинных рядов, где прямо на снегу стояли шкатулки из слоновой кости, веера, книги, статуэтки, часы с фигурками, фарфоровые чашки, а над ними кутались в ротонды тощие дамы с интеллигентными лицами. Другие, с неинтеллигентными, торговали горячими черными лепешками на сале, от которых шел круживший голову, соблазнительный чад.

Саша еще говорил слабым голосом: «А вот кому...» — но было уже ясно, что наше предприятие провалилось. Парень в романовском полушубке мелькнул, мы ринулись к нему, чтобы отдать товар, куда ни шло, за его цену. Но он пропал в толпе, и остаток короткого зимнего дня мы провели, разыскивая его и ругая друг друга.

Потом Саша сказал, что ему надо в кинотеатр «Великий немой», и ушел. Я один поплелся домой, и вдруг меня наняли до Рижского вокзала мешочники, гоготавшие и жравшие всю дорогу. Они заплатили мне хлебом, и я решил немного побродить у вокзала: может, снова наймут?

И действительно, не прошло и получаса, как меня нанял какой-то военный.

Мы разговорились дорогой, и оказалось, что он — тоже пскович, как и я.

— Кончил реальное в двенадцатом году,— сказал он.— Знаю, знаю вашу семью! Ну как же: «Бюро проката роялей и пианино». А где братья? С Львом я встречался в Пскове.

Он отправлялся в Дом Советов — далеко. Мы оба замерзли, устали, и я вдруг предложил ему остановиться у нас: места много, не очень холодно. Лев будет очень рад. Военный — его фамилия была Климанов — сказал задумчиво:

— Возможно.

2

Мне повезло — Лев был дома, стол накрыт, оладьи из мороженой картошки, жаренные на касторовом масле, еще дымились, когда мы вошли. В ту пору у нас часто бывал, а иногда и оставался на три-четыре дня ближайший друг Льва, Алексей Александрович Захаров, впоследствии известный эпидемиолог. Это был человек, трезво подходивший к действительности, как бы она ни была сложна и какими бы новыми сложностями ни угрожала. Свет ясности так и шел от его крепкой, широкоплечей фигуры, от его аккуратного ежика, от его красивого с правильными чертами лица, от улыбки, показывавшей на редкость красивые белые зубы. Это была ясность трезвого аналитического ума, но не сухого, при всей своей определенности, а щедрого и благородно направленного. В его сдержанности мне мерещилась скрытая мягкость и доброта — многолетнее знакомство подтвердило эту догадку.

В ту пору жизнь так и кипела в нем: он был спокойно весел, богатырски силен и добродушно ироничен.

Таков был один из участников разговора в тот запомнившийся зимний вечер 1919 года. Вторым был Лев. А третьим — Климанов, оказавшийся комбригом одной из армий Южного фронта.

Почему этот вечер так живо запомнился мне? Потому что он связался в памяти с теми псковскими вечерами, когда, затаив дыханье, я прислушивался к голосам восьмиклассников, споривших о том, будет ли вынуждена жизнь, связанная по рукам и ногам старыми ценностями, признать свое поражение. Жадно ловил я тогда

незнакомые имена Гамсуна, Ибсена, и даже то, что все это говорилось не для меня, было полно таинственного смысла.

...Я смертельно устал, проведя весь этот день на ногах, продрог и, хотя был теперь сыт, с трудом удерживался, чтобы не взять еще кусок хлеба с салом, которое привез и щедро выложил на стол Климанов. Глаза слипались, и надо было ежеминутно что-то делать со своим лицом, да и со своим телом, которому неудержимо хотелось растянуться на постели. Но я держался еще и потому, что мне необходимо было видеть собеседников, даром что время от времени их лица расплывались в неясные пятна.

Климанову, как я узнал потом, было двадцать семь лет, но он выглядел моложе — разгоревшийся, с нежными усиками и тонкими, как у девушки, руками. Я слушал только его: то, что говорили Захаров и Лев, казалось мне давно знакомым. И тогда, в Пскове — семь или восемь лет назад,— и теперь речь шла о долге и назначении в его определяющем всю жизнь смысле. Но в гимназических спорах эта идея выражалась отвлеченно, неясно, а теперь она стала определенной, получила реальную цель и практическое значение. Она была названа. Она присутствовала в комнате, вглядывалась в лица спорящих, требовала решения. Она называлась гражданской войной.

— Как, вы едете в Подмосковье санитарным врачом? — спросил Климанов.— Нашли время! А если бы у власти был Корнилов?

И с холодным интересом он прослушал отрывок из текста присяги, которую подписывали оканчивающие врачи. Захаров знал ее наизусть: «Принимая с глубокой благодарностью даруемое мне наукой звание врача, я даю обещание в течение всей моей жизни не помрачить честь сословия, в которое вступаю. Обещаю во всякое время помогать по лучшему моему разумению прибегающим к моей помощи страждущим. Свято хранить семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия...»

— В одной Москве три эпидемии,— сказал Захаров.— Холеры, испанки и сыпного тифа.

Лев заговорил горячо. Как будто нарочно, чтобы напомнить мне гимназические споры, он процитировал Ибсена: «Самый опасный враг свободы — это соединенное, свободное большинство». И Климанов ответил, что это свободное большинство — не свободно, потому что взялось за оружие, чтобы доказать свое право на свободу.

— Стало быть, если страждущий принадлежит к меньшинству, врач не должен ему помогать? — спросил Захаров.

Но все, что он говорил, было уже сном, шумом, толкотней Сухаревки, медленно таявшей в сумерках, как грязная снежная баба. Студенческий загородный бал в Корытове, на который как-то пробрались маленькие гимназисты, вспомнился мне. Электричество погасло, мы закричали, засвистели в темноте. Студент в белых перчатках, с распорядительским бантом на красивой куртке технолога, подошел и спросил повелительно:

— Это еще что такое?

Мы струсили, а потом удивились, как сильно мы струсили, хотя он ничего, в сущности, не сказал.

Почему мне почудилось, что этот студент был Климанов? Может быть, потому, что и сейчас в нем было что-то повелительное, властное, странно связывавшееся с почти юношеским, нежным лицом? Я знал, что это чувствовал даже Лев, который говорил с ним свободно, но как-то слишком свободно, по-видимому, не забывая, что Климанов — комбриг.

Когда он собрался уходить, они стали вспоминать псковских знакомых, и среди них — реалиста Раевского. Я знал его: он был тяжелый, добродушный, медленно говоривший, хавбек футбольной команды. Звали его почему-то Джоном. Это было не имя, а прозвище. И Климанов с неизменившимся лицом сказал, что Раевского «разменяли».

— То есть? — спросил Лев.

— Раевский служил в контрразведке белых. Удалось захватить его, и он был приговорен к расстрелу...

— Ничего нельзя было сделать,— прибавил Климанов, подумав.— Даже если бы я пожелал вспомнить, что мы пять лет сидели на одной парте. Впрочем, я не пожелал.

Они заговорили о другом. Дела на юге были плохи, и Климанов приехал в Реввоенсовет. Уходя, он назначил Льву свидание.

— Мы не договорили,— сказал он.— Завтра в семь часов, у носа товарища Гоголя.

Что-то твердое было в его изяществе, в том, как он говорил, сразу находя нужное слово. Он был похож на синюю стальную пружинку в часах, разгибающуюся не раньше, чем позволит время.

Через несколько дней, уезжая в Звенигород, Лев устроил отвальную, и Климанов пришел с девушкой, очень хорошенькой, с немного длинной талией, как это бывает у подростков.

— Черубина де Габриак,— сказал он весело,— или, точнее, Нина Габриэлян. Рекомендую. Тоже пишет, и нисколько не хуже.

Потом я узнал, что под фамилией Черубины де Габриак выступали будто бы известные русские поэты. Стихи были не очень хорошие, зато фамилия — необыкновенная, и я решил, что невозможно представить девушку, которой она подходила бы больше, чем Нине Габриэлян.

Она говорила тихо, часто краснела и, когда Климанов взглядывал на нее, сразу же покорно опускала глаза. Как будто они и были и не были здесь, в шуме вечеринки, в танцах, которыми громко, с азартом, командовал Лев, прошедшийся с высокой, красивой медичкой, а потом долго круживший ее, бросившись на одно колено. Потом пошли танцевать Климанов и Черубина де Габриак, он — прямо, она — откинувшись в его твердых руках. Он шутил, смеялся. Она поднимала к нему нежное продолговатое лицо и опускала глаза, точно у него была власть над ней, и она была счастлива, что могла покоряться.

Когда они уходили и Климанов надел шинель, оказалось, что она вся в дырках, прострелена, и Лев, силой стащив шинель, сказал, что отдаст ее нашему хозяину Холобаеву.

— Заштопает не хуже, как его... Помнишь, у Лескова? — (Они перешли на «ты».) — Гениальный-то штопальщик?

Я сказал:

— Мусье Лепутан.

Климанов возразил, что его шинель не стоит внимания гения, потом вспомнил, что у него есть еще одна, дома, и ушел в старом студенческом пальто Льва с потертым барашковым воротником.

Наутро я отнес шинель Холобаеву, но у старика была испанка, опасный грипп, которым в ту зиму многие болели в Москве. Он не мог «работать шинель», как он выразился, да еще принадлежащую комбригу, то есть, по-старому, как мы выяснили,— генералу.

Прошло недели три, прежде чем шинель была готова, и это были недели, битком набитые событиями: мне удалось с помощью Николая Андреевича добиться увольнения учи-

теля рисования Коха; мать приехала из Пскова; Саша женился.

После февральской оттепели снова ударил мороз, повалил снег, занялась вьюга, и город опять стал заиндевевший, скрипучий, мохнатый. Извозчики в толстых шубах понуро сидели на козлах и вдруг начинали звонко бить в рукавицы. В Петрограде (я читал в газетах) была забастовка извозчиков. Очевидно, москвичи к ней не присоединились.

Волнуясь, я шел в Дом Советов. Здесь жили знаменитые люди, и не было бы ничего удивительного, если бы я встретил даже и Ленина, который мог навестить кого-нибудь в Доме Советов. Но в коридоре с малиново-пыльными портьерами мне попался только длинный старорежимный дядька в мундире и шали. Он проворчал что-то невнятное, когда я спросил, где живет Климанов, а потом костлявым пальцем ткнул в дверь.

Я постучал. Женский голос ответил:

— Войдите!

По углам в большом полутемном номере тихо разговаривали какие-то люди, по-видимому, друзья или родственники комбрига. Все замолчали, когда я вошел. Он сам тоже был здесь, на своей постели. Он лежал мертвый, вытянувшись, подняв белое молодое лицо. Нижняя челюсть была подвязана черной лентой, выпуклые кости лба блестели, и две точки света безжизненно дрожали на них.

Женщина, которую он называл Черубиной де Габриак, сидевшая в кресле, подле постели, встала и вежливо поговорила со мной.

— Вы принесли шинель, благодарю вас,— сказала она, глядя мне прямо в лицо.— Какой Лев Александрович милый! Как же он ходил без пальто? Такие холода. Надеюсь, он не простудился? Боже мой, в каждом доме испанка!

Я ответил, что брат уехал в Звенигород. Она сказала только: «Ах, да?» — и, подойдя к шкафу, достала его пальто. Платье пусто шевельнулось на ней.

— Подумайте, какая прекрасная работа,— продолжала она, рассматривая шинель.— Ведь при всем желании нельзя найти, где заштопано.— Она и прежде пошатывалась, а теперь, наклонившись над шинелью, чуть не упала.— Как он сказал? Мусье Лепутан? А я не помню, что за мусье? Что он делал? Штопал одежду?

Я сказал, что — да, штопал. Я старался не смотреть на Климанова, но все-таки видел черную тень носа на закинутом лице и полоску рта, точно обведенного мелом. Лучше бы она говорила о нем.

— Ну и мастер! Пожалуй, единственный в Москве, правда?

Я сказал горестно:

— Да.

Теперь у нее было грозное от напряжения лицо, и верхняя губа мелко дрожала. Но все-таки мы еще поговорили, все о шинели, о том, что это действительно трудно, потому что материя ворсистая, грубая, и штопать, наверно, приходилось очень тонкой иглой.

Потом она сказала:

— Сколько я должна вам?

Я пробормотал:

— Ничего.

Это была правда. Тайно от жены Холобаев сказал, что ничего не возьмет с комбрига. Я взял пальто Льва, простился и ушел.

Обгоняя извозчиков, еле тащившихся вдоль накатанного взгорья, я шел по Тверской.

В книжной лавке, под скрещенными знаменами, на которых было написано: «Анархия — мать порядка», два курчавых задумчивых мальчика играли в шахматы за треснувшим зеркальным стеклом. Толя Р. рассказывал, что в прошлом году анархистов, засевших в купеческих особняках на Покровке и Малой Дмитровке, брали с пулеметами, и трамваи шли в обход, чтобы миновать улицы, на которых шла перестрелка. Потом некоторых анархистов выпустили, и, очевидно, они открыли на Тверской свою книжную лавку.

В нетронутых, сияющих снегах стоял Страстной монастырь, безмолвный, с большой красной надписью «Кто не работает, тот не ест» на красных приземистых стенах.

ИЗГНАНИЕ КОХА

1

Я ухаживал за Леночкой Светлановой, что ничуть не мешало мне с сердцебиением, с головокружением думать о Вале и ждать ее приезда. Леночка была длинноногая,

решительная, с длинной косой, которую она проклинала, а вместе с косой — и мать, не позволявшую ей остричься. Мне нравилось, что она не подпускала к себе мальчишек, а мне сказала: «До первого апреля», хотя я провожал ее через весь город (она жила в Замоскворечье), мы целовались, и я читал ей стихи. И действительно — первого апреля она прислала мне краткую записку: «Все»,— и отказалась, когда я предложил ее проводить.

Ее сестра Оля была маленькая, губастая, кривоногая, и когда в школе заговорили, что учитель рисования Кох пристает к ней, я первый этому не поверил. Но Николай Андреевич, к моему удивлению, очень серьезно отнесся к этим слухам. Правда, он был привязан к Оле, и, по-видимому, не без основания: хотя все девочки наперебой бросались помогать ему, главной хозяйкой в доме (он был холостяком) неизменно оставалась Оля. Недаром же я часто встречал ее с огромной тарелкой каши, которую она несла Николаю Андреевичу из кухни. Так или иначе, нельзя было пройти мимо этой истории, тем более что она произвела, по-видимому, сильное впечатление на Николая Андреевича. Он похудел и часто с огорченным видом теребил свою льняную бородку.

— Факт сам по себе ничтожный,— говорил он.— Но можем ли мы пройти мимо него — вот вопрос!

И он объяснил, что в свете самоуправления коллектив едва ли имеет право пренебречь возможностью сыграть свою роль.

— Я знаю Олю,— добавил он.— Воплощенная справедливость. И надо заметить, что не от нее идет этот неприятный слух. Она только подтвердила его. С трудом, нехотя, но подтвердила.

И он подсказал мне одну остроумную мысль: я не знал, что существует постановление, согласно которому члены домкома являются одновременно — и даже с решающим голосом — членами педсовета.

— Если они придут и поддержат представителей учащихся...— нерешительно сказал Николай Андреевич.— Тогда, пожалуй...

Я посоветовался с Ванькой Пестиковым, и он, подумав, предположил, что вся эта каша заварилась, потому что Олька — рожа.

— Не такая уж рожа. Но если даже рожа?

— Завидует, что за другими девчонками таскаются, а за ней — нет. Самолюбие!

Я вспомнил, как Лена Светланова, когда мы как-то заговорили об Оле, долго отмалчивалась, а потом отрезала: «Дрянь».

— Ты когда-нибудь действовал против совести? — спросил Ванька.

— Нет. И не собираюсь.

— Ну, а я однажды действовал. И, между прочим, сделал для себя любопытный психологический вывод. Короче говоря, история вонючая, но мы с тобой доведем ее до конца.

Как всегда, он действовал энергично: в тот же день узнал фамилии членов домкома и отрапортовал мне, что среди них только один принадлежит к мелкой буржуазии — владелец фотографии, а все остальные — рабочий класс: пожарник, дворники, слесаря. Мы напечатали на машинке несколько внушительных удостоверений, я подписал их, а Николай Андреевич, как завуч, поставил печать. Потом мы с Ванькой, приодевшись, посетили членов домкома.

— Наш коллектив,— объяснили мы,— твердо решил изгнать из школы учителя рисования Коха. Он приставал к одной девочке и, таким образом, подорвал авторитет педагогического персонала. Возможно, что ваше появление на педсовете вызовет протест. Тогда, не говоря ни слова, вы должны достать эти удостоверения и положить их на стол. Потом начнется голосование, и, как мы надеемся, вы проголосуете «за», то есть за исключение Коха.

Все поняли и согласились. Усатый добродушный пожарник спросил — надевать ли форму? Мы ответили, что форма не обязательна, и ушли.

2

По-видимому, слух о том, что Коха собираются «исключить из состава преподавательского персонала», как выражался Николай Андреевич, распространился, потому что на заседание пришли учителя, которых я до сих пор не видел ни разу. Некоторые из них здоровались с ним, не подавая руки. Но он держался мужественно: сразу было видно, что он — за нас, а эти еще недавно бастовавшие учителя — против.

Он председательствовал как завуч и начал с хозяйственных дел.

— Хотя весна на носу,— сказал он,— надо позаботиться о заготовке дров. В прошлом году мы этого не сделали и, как известно, тяжело расплатились. Фактически холод сорвал занятия, несмотря на все усилия руководителей школьного коллектива. В настоящее время согласие Гортопа получено, и дело только за нами. Разумеется, сами учащиеся должны будут принять участие в погрузке дров — об этом мы уже предварительно договорились.

Члены домкома ввалились значительно раньше, чем он заговорил о Кохе, и хорошо сделали: получилось, что они вообще обеспокоены положением школы. Но все-таки их появление вызвало переполох, тем более что пожарник остался в своем широком полотняном поясе, на котором висели какие-то крючки и колечки.

— Это еще что такое? — грозно спросил Шахунянц.

Николай Андреевич сдержанно объяснил, что дети членов домкома учатся в нашей школе, и нет ничего удивительного, что председатель коллектива — он указал на меня — пригласил их на заседание. Кроме того, согласно существующему положению, члены домкома являются одновременно членами педсовета.

Шахунянц, под которым затрещал стул, повернулся ко мне.

— То есть — как? — зверски выкатив глаза, спросил он.

Я ничего не ответил, только многозначительно поднял брови, и члены домкома, как по команде, положили свои удостоверения на стол.

Это была рискованная минута. Учителя стали рассматривать удостоверения, одни с удивлением, другие с негодованием. Шахунянц захрипел, и я испугался, что его хватит удар. Кто-то иронически засмеялся, кто-то пробормотал: «Только этого еще не хватало».

Члены домкома сидели, как перед фотоаппаратом, с прямыми спинами и деревянными лицами. Пожарник самодовольно покручивал усы.

Вопрос об учителе рисования стоял в текущих делах, и Николай Андреевич подошел к нему издалека. Он начал с заявления, что совершенно согласен с родительскими комитетами, которые еще в прошлом году утверждали, что политика — отнюдь не дело учащихся средних учебных заведений.

— Именно поэтому перед нами встала другая, не ме-

нее важная проблема,— сказал он.— Проблема нравственная, требующая не менее чуткого отношения. Я не беру на себя смелость формулировать обвинение, предъявленное преподавателю Коху. Слово предоставляется тем, кто добился, чтобы этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания.

Ванька молчал, время от времени записывая что-то в тетрадку — очевидно, свои соображения о том, что должен чувствовать человек, который вступает в сделку с собственной совестью. Впрочем, никто не сомневался, что выступать буду я.

Коха я не только не знал, но даже никогда не видел. Странным образом он соединился в моем воображении с Порфиридовым, учителем рисования Псковской гимназии, который постоянно ставил мне двойки. Из-за него я должен был поступить в рисовальное училище Фан-дер-Флита, где целую зиму копировал орнаменты, вместо того чтобы ходить на каток. Он был желчный пьяница, вспыльчивый, волосатый, со злым лицом, на котором грубо торчал толстый с красными жилками нос. Как и полагается художнику, он носил бархатную куртку, и не Коха, а эту куртку и этот нос я видел перед собой, произнося свою пылкую речь...

Потом состоялось голосование, и Кох большинством голосов был исключен из числа преподавателей 144-й школы.

3

Вспоминая теперь эту почти неправдоподобную историю, я стараюсь найти причины, заставлявшие меня действовать, как бы намеренно обходя эти причины и стараясь о них не думать. Мне не только не понравилось поведение Николая Андреевича на педсовете, оно вернуло меня к мелькавшим и прежде догадкам о том, что он совсем не тот человек, за которого я его принимаю. Он льстил мне, расхваливая меня и наедине и публично. Все мои выступления были заранее известны ему, и всегда как-то получалось, что он одобрял эти выступления и одновременно оставался в тени. Ванька Пестиков был прав, заподозрив, что история с Кохом выдумана, но выдумана она была не потому, что за Олей никто не ухаживал, а потому, что Николай Андреевич еще до революции служил в одной гим-

назии с Кохом, и они были в очень плохих отношениях. Все это — и многое другое — стало ясно, когда вернулся Трейвас, коротконогий парень в очках, румяный, с туповато-упрямым выражением на деревянном лице. Надо отдать ему справедливость — он действовал энергично.

...В этот день я пошел в школу, чтобы посидеть хотя бы недолго на уроке тригонометрии. Это была уже не лекция, а настоящий урок — Шахунянц незаметно превратил лекции в уроки.

Для других ребят мое появление могло служить примером — ничем не отличаясь от них, председатель коллектива посещает занятия. Но в классе никого не было, хотя я немного опоздал. Все собрались в актовом зале и слушали Трейваса, который, по-видимому, говорил обо мне — входя, я услышал свою фамилию.

Это было возмутительно, что коллектив собрался как бы за спиной председателя, и я немедленно прервал Трейваса и заявил протест. Но меня выслушали с неопределенными лицами, и заседание продолжалось.

Нельзя сказать, что Трейвас предъявил мне серьезные обвинения. Он просто постарался доказать, что я, может быть, и хороший парень, но со странностями, которые мешают мне последовательно руководить коллективом.

— Говорят, что он пишет стихи,— сказал Трейвас,— и возможно, что в этом деле он специалист и даже будущий Лермонтов или Пушкин. Но того, что у него под носом, он не замечает. Идея самоуправления, например, является вздором, пока она не утверждена Народным комиссариатом по просвещению.

И, доказывая, что я был лишь «оружием в чужих руках», он перешел к Николаю Андреевичу.

4

...Жизненный опыт в юности растет почти бессознательно, еле заметно. В его развитии случаются перепады, когда он становится физически ощутимым.

В тот день — и в ближайшие после собрания — я пережил такой перепад. Все происходившее зимой девятнадцатого года в 144-й школе предстало предо мной, как психологическая ловушка. Я попал в нее, потому что меня подстегивало честолюбие, в котором я не хотел сознаваться.

Суть дела, как изложил ее Трейвас, заключалась в том, что добрая половина наших сухих пайков продавалась на Сухаревке — один из членов домкома сообщил об этом в уголовный розыск. Каждое утро пайки поступали в распоряжение Николая Андреевича, а от него — прямо на рынок. Он никогда не работал в подполье под кличкой Пахом. Он служил в женской гимназии, а потом — в пансионе для благородных девиц.

— А мы, значит, неблагородные? — заметил с горечью присутствовавший на собрании член домкома.

Потом Трейвас, хотя никто его об этом не просил, предложил переизбрать председателя коллектива — и получил на один голос больше, чем я. Я потребовал повторного голосования — выходом в дверь. Но и на этот раз Трейвас получил больше, причем не на один голос, а почему-то на восемнадцать.

5

Было темно и пусто, когда я вернулся домой. Хотелось есть, но потом перехотелось, и, постояв немного у окна, за которым в овальных сугробах лежала Вторая Тверская-Ямская, я лег и с головой покрылся одеялом.

Саша привел закутанного крошечного студента в валенках, который, раздеваясь, снял самодельный ватный футляр с покрасневшего маленького носа. В Москве Саша каждые два-три дня являлся домой с новым проектом мгновенного обогащения. Крошечный студент, по его мнению, был гениальный конструктор электрических мельниц, который уже и сейчас превосходит Толстопятова, а в дальнейшем, по-видимому, доберется до Бунге. Я не знал, кто такие Толстопятов и Бунге, но все-таки этот крошечный парень заинтересовал меня.

— В ближайшее время,— сказал Саша,— мы намерены приступить к строительству электрической мельницы без крыльев, в три-четыре раза ускоряющей помол пшеницы и ржи.

...Всю зиму мы ели оладьи из мороженой картошки. На Пречистенке были две вегетарианские столовые, одна называлась «Убедись», а другая — «Примирись». На днях я видел, как у входа в «Убедись» чуть не убили прохожего, бросившего корку хлеба собаке. Мне захотелось спросить,

откуда Саша собирается достать рожь и пшеницу, но я раздумал и снова спрятался с головой под одеяло. Презрение к себе томило меня. Ванька Пестиков говорил, что человечество делится на простаков и вурдалаков. Вурдалак с льняной бородкой, с прозрачными голубыми глазками смотрел на меня из темноты, и беспомощность наваливалась на сердце, как подушка, мягко и безнадежно.

6

Через несколько дней состоялся педсовет, о котором подробно рассказал мне Ванька. Пришли все преподаватели, даже Кох, который отнюдь не считал себя уволенным из школы. Новым директором был назначен Курчевский. Он сказал краткую, вежливую речь, в которой объяснил, что дело не в забастовке, а в том, что преподаватели не желали работать под руководством Николая Андреевича, считая его сомнительной личностью и уж по меньшей мере — невеждой.

Потом слово было предоставлено Николаю Андреевичу, который принялся было рассказывать свою биографию, но тут же схватился за сердце, захрипел и упал вместе со стулом. По-видимому, это был сердечный припадок, а может быть, и нет, потому что он сперва посмотрел, куда падать, а потом грохнулся, опрокинув стул. Женщины бросились к нему, но Курчевский остановил их, и, полежав недолго, Николай Андреевич встал. Он был бледен, бороденка тряслась, глаза потускнели. Он вышел, пошатываясь. Курчевский сказал, что его дело передано в ревтрибунал, и стал рассказывать о предстоящей реформе средней школы.

Прошло недели три, и я подал новому директору заявление, в котором просил разрешения досрочно сдать выпускные экзамены.

Курчевский выслушал меня хотя и сдержанно, но благожелательно и с обезоруживающим вниманием. Он спросил, подготовился ли я к выпускным экзаменам, но тут же почему-то прибавил, что уверен в успехе.

— Впрочем, теперь экзамены, в сущности, только проформа,— заметил он.— Не знаю, как в других городах, а в Москве для поступления в университет нужны только четыре фотокарточки и справка из домкома.

Он спросил, на какой факультет я намерен поступить,

и горячо одобрил мое намерение заняться историей русской литературы.

Вскоре я оценил его уверенность в том, что экзамены пройдут благополучно. Я почти не готовился к ним, только перелистал алгебру и решил несколько геометрических задач. Меня беспокоил немецкий. Елена Карловна Иогансон, заменившая в Псковской гимназии своего отца, получала от нас вместо письменных работ любовные записки.

Опасения мои не оправдались. Спотыкаясь на каждом шагу, я кое-как перевел несколько строк из детской книжки для чтения, и немка, к моему удивлению, с сияющей улыбкой поставила мне пятерку. Мрачный Шахунянц попросил меня доказать знаменитую теорему, известную под названием «Пифагоровы штаны», которую мы проходили в четвертом классе. С такой же легкостью я сдал историю и литературу.

С тревогой я ждал только экзамена по рисованию. В Пскове рисование кончилось в третьем классе. В Москве, кончая школу, я должен был показать законченные рисунки. Уж не знаю, откуда Ванька Пестиков притащил мне какие-то композиции на вольные темы, но ничего другого не оставалось, как выдать их за свои. Среди них были две подходящие — портрет Вольтера, сильно заштрихованный, и пиратская каравелла с раздутыми парусами, на которой наклонно стояла обвитая змеей полуголая женщина в шлеме.

Кох, которого я увидел впервые, оказался маленьким, добродушным, носатым, с красивой шевелюрой. Меньше всего он походил на Порфиридова. Предположить, что он симпатизировал Оле Светлановой, было невозможно.

Он с интересом посмотрел на рисунки, потом на меня, потом опять на рисунки.

— Недурственно,— сказал он и мазнул пальцем по Вольтеру.— Уголь?

Я ответил: «Тушь». Ванька, понимающий в рисовании не больше, чем я, сказал, что рисунки сделаны тушью.

Кох мазнул еще раз.

— Нет, уголь,— сказал он, показывая мне запачканный палец. И, добродушно посмеявшись, поставил в графе «рисование» — «пять».

Давно уже я догадался, что преподаватели заранее договорились ставить мне — как бы я ни отвечал — только

четверки и пятерки: надо же было избавиться от беспокойного провинциального гимназиста с его сомнительной идеей школьного самоуправления.

На днях должна была приехать мама, и у меня мелькнула мысль, что ей приятно будет взглянуть на мое свидетельство об окончании школы. Но в ту же минуту чувство стыда — презрения к самому себе — так и пронзило меня, перехватив дыхание. Я не кончил школу. Меня вежливо, но настойчиво выставили из школы.

МАМА В МОСКВЕ

1

...Она давно поняла, что ничего не может изменить в жизни своих детей, когда они становятся взрослыми,— и не пыталась. Я помню, как Лев, едва кончив гимназию, сказал ей за обеденным столом: «Мамочка, я женюсь. Передайте мне, пожалуйста, сахар». Когда через три года он разошелся со своей первой женой, она только вздохнула.

В Пскове была нянька Наталья, была Зоя, беспечно топавшая своими каблучками и всегда поспевавшая куда и когда было нужно; в «Бюро проката» работал грустный многосемейный мастер Черни, от которого пахло политурой,— люди, которые были обязаны ей и которые ее любили.

В Москве она сразу поняла, что на Второй Тверской-Ямской нет и никогда не будет того придуманного ее любимым старшим сыном дома, в котором она могла бы все устроить по своему вкусу. Дом оказался стоянкой, и уклад этой стоянки был не семейный, как в Пскове, а случайный, бивачный.

Псковичи, разлетевшиеся по всей стране, вдруг являлись в эту стоянку — иногда друзья, иногда знакомые, а иногда знакомые знакомых.

Из Воронежа приехали Саша Гордин и Крейтер — веселые, грязные, голодные, с вокзала попавшие прямо в Чека — у одного из них соскользнула с плеча и, ударившись о перрон, выстрелила винтовка. Ни тот, ни другой не были в армии, их мобилизовали, когда белые приближались к городу, но все-таки они явились «оттуда», с фронта — хотя рейд генерала Мамонтова только задел Воронеж. Я спросил Гордина, что он чувствовал, лежа на земле и целясь в атакующих кавалеристов.

— А черт его знает,— ответил он, смеясь.— Чувствовал, что «вот сейчас, вот сейчас», а что сейчас — так и не понял.

Они приехали с каким-то поручением и через несколько дней вернулись в Воронеж.

В другой раз — это было уже летом, в июне — я открыл выходную дверь и увидел стоявшего на четвереньках человека в грязной студенческой шинели. Так, на четвереньках, он и вполз в переднюю и тогда только слабым голосом назвал себя. Он был бледен, невообразимо худ, зарос белокурой щетиной и говорил, переводя дыхание после каждого слова.

Это был Николай Лепорский, младший брат Бориса, одного из близких товарищей Льва. В нашей семье знали и любили Лепорских. Но как-то случилось, что я — да и мама — увидели Николая впервые.

Он перенес сыпняк, тайком, боясь умереть от голода, ушел из больницы и всю ночь то на ногах, то ползком добирался до нас.

Целый месяц мама выхаживала его — и вы́ходила, хотя почти ежедневно с помощью старухи Холобаевой меняла вещи на муку и крупу.

Почти всегда в доме были чужие. Часто заглядывал и оставался ночевать Захаров, работавший в Волоколамске. Саша приводил гениального конструктора электрических мельниц.

Со всеми мама была ровно вежлива, всех угощала оладьями из мороженой картошки, которую она отжимала, чтобы отбить противный сладковатый вкус, и жарила, перемешав с размолотой пшеницей.

Она уже не была теперь прежней полной дамой в поблескивающем пенсне, гордившейся тем, что Лабинский прислал ей любезное письмо, тем, что по ее приглашению в Псков приезжали Смирнов и Губерман. Она похудела и хотя не осунулась, но как будто стала меньше ростом, и что-то старушечье показалось в лице. С утра до вечера она была занята стиркой белья, уборкой квартиры. Она не жаловалась. О том, что она волнуется, расстроена, я догадывался только по выпуклой голубой жилке, сильно бьющейся на виске.

У нее было о ком беспокоиться, не находить себе места, не спать по ночам.

2

Мне не случалось еще упоминать о брате Давиде (он был шестью годами старше меня), хотя, когда я учился в первых классах, он один, кажется, интересовался моими отметками, подсчитывал, выводил средний балл, который неизменно оказывался выше того, который в конце концов появлялся в итоге четверти или года.

Но он существовал в атмосфере ежедневности, машинальности, а для меня жизнь состояла из накатывающих друг на друга необыкновенных событий.

Он был добр, миролюбив, не очень любил читать и никогда не спорил. В нем теплилось разгоравшееся с годами желание добра — он любил людей и в этом отношении был глубже и сердечней Льва, не говоря уже о Саше. Он учился средне, остался в восьмом классе на второй год, чтобы получить медаль,— и не получил.

В нашей сложной, недружной семье он один был внутренне связан с жизнью всех сестер и братьев, не говоря уже о родителях,— огорчался неудачами, радовался успехам.

Медицинский факультет он кончил в 1918 году, был назначен полковым врачом и еще до приезда мамы вдруг явился на Вторую Тверскую-Ямскую — длинный, бледный до голубизны, худой, с усталыми глазами на побледневшем, повзрослевшем лице. Полк перебрасывался на восток, эшелон задержался в Москве.

Не помню, как случилось, что он не застал дома никого, кроме меня. У него было мало времени — три или четыре часа,— и в эти немногие часы он высказался, открылся передо мной весь, со своим недуманьем о себе, с заботой о других, со своей добротой, невоинственностью, естественностью, и, кажется, впервые я почувствовал, что люблю его,— никогда прежде об этом не думал.

Он притащил буханку хлеба — легкого, пропеченного,— кусок соленого шпига, что-то еще, и, когда я обрадовался, увидев эти редкости, о которых мы забыли и думать, он тоже обрадовался и, улыбаясь, все посматривал на меня задумчивыми, добрыми глазами.

— Как ты вырос! Да, я забыл. Ты — маленький и еще растешь.

Он не знал о том, что решено было всей семьей переехать в Москву, и я так и не понял, одобряет ли он это решение. Он был не из тех людей, которые устраивают

свою жизнь так, а не иначе, спорят с судьбой, упорно идут к намеченной цели. Он не вглядывался в будущее, не прикидывал и не выбирал. Шла гражданская война, и он участвовал в ней, не стараясь выдвинуться, занимаясь своим делом спокойно и терпеливо.

Два или три часа, проведенные со мной, были для него счастьем, которое он и принял, как неожиданное, свалившееся с неба счастье — ведь эшелон мог и не остановиться в Москве.

О каждом из братьев и сестер он расспросил подробно, неторопливо — и огорчился, узнав, что отец отказался уехать из Пскова. На Западном фронте шли тяжелые бои, и город мог снова оказаться под ударом.

Он удивился, узнав, что Льву удалось кончить пятилетний курс медицинского факультета,— сам он был выпущен зауряд-врачом с обязательством сдать государственные экзамены после окончания войны.

— Как это ему удалось? — спросил он и с интересом выслушал все, что я знал о совете старост медицинского факультета.

— Выхлопотали, вот молодцы! — все повторял он.— А вот я... Когда еще кончится война! Мне кажется, что я уже и сейчас все забыл. Да ведь и знал очень мало!

Я пошел провожать его — и оказалось, что эшелон ушел. Брат огорчился, но не очень.

— Догоню. Мне не попадет. Расскажу комиссару, почему я задержался, и он поверит. У нас хорошие отношения. Ему, между прочим, девятнадцать лет.

Мы простились, он пошел к военному коменданту, я — домой и дорогой вдруг спохватился, что Давид так толком ничего и не рассказал о том, каково же ему-то жилось за время нашей разлуки. Я спрашивал несколько раз, он отвечал, но мельком, между прочим, как если бы для него это не имело существенного значения.

Прошло месяца два после его отъезда, когда из Казани мы получили письмо от того самого девятнадцатилетнего комиссара, о котором он упомянул. Комиссар писал, что брат перенес сыпняк, стал поправляться, но снова заболел какой-то неизвестной болезнью.

Потом пришло второе письмо — от врача, случайно оказавшегося однокурсником брата. Врач писал, что, если кто-нибудь из родных может приехать в Казань — следует поторопиться.

Я сунулся с этим письмом в комиссию по выездам при Моссовете и, выстояв длинную очередь, узнал, что проезд по железным дорогам временно запрещен.

Добиться разрешения на поездку в Казань, которая только что была освобождена от чехословаков и которой угрожал Колчак, мог только Лев. Но между первым и вторым письмом он уехал на фронт.

3

В мае девятнадцатого года в Звенигород, где Лев работал врачом сыпнотифозного отделения местной больницы, приехал Борис Данилович Михайлов, член Реввоенсовета Девятой армии,— и приехал с единственной целью: поговорить с Львом, который был ему нужен.

Они дружили с гимназических лет (Михайлов кончил гимназию годом позже), но дружба была совсем другая, чем между Львом и Тыняновым или Летаветом,— не душевная близость, а взаимное уважение. Михайлов был социал-демократом, примыкавшим к большевикам. Еще в седьмом классе он с Борисом Лепорским выпускал подпольный гимназический журнал «Узник».

Он был хорош собой, стройный, среднего роста, с темной, слегка вьющейся шевелюрой.

Теперь, когда я в общих чертах знаю историю его необыкновенной жизни, мне начинает казаться, что в нем всегда чувствовалось не только презрение к опасности, не только способность к почти фантастическому самообладанию, но и беспощадность, делавшая его похожим на фон Корена из чеховской «Дуэли». Возможно, что в юности он был другим и что перемена произошла в последние годы. Это отразилось в воспоминаниях брата: «Я не видел его больше двух лет. Он похудел, черты лица стали острее, подстриженные усики подчеркивали бледность лица, зачесанные назад волосы открывали большой лоб, на котором уже появились морщины, хотя ему еще не было двадцати пяти лет. Черные галифе, высокие сапоги, черный френч».

Объяснение началось без предисловий. Михайлов сказал, что стыдно чистить мусорные ямы, когда решается судьба революции и, стало быть, человечества. Вместо ответа Лев показал на висевший в его комнате плакат, изо-

бражающий громадную вошь, опиравшуюся лапками на лаконический вопрос: «Вошь или социализм?» Спор о сравнительном значении работы на фронте и в тылу продолжался почти всю ночь и кончился тем, что Лев, заглянув с чемоданом в руках в больницу, оставил главному врачу письмо, в котором сообщал, что уезжает добровольно на фронт, и ссылался на исключительные обстоятельства, помешавшие ему проститься: Михайлов очень торопился и не хотел уезжать без него.

Мама спокойно приняла неожиданное решение, только спросила — не будет ли Лев в Казани?

— Не знаю,— ответил он.— Но мы едем па Волгу. Я надеюсь, что Борис поможет мпе связаться с Казанью.

Я вошел, когда Лев прощался с мамой. Они сидели на диване, и она вдруг крепко прижала его голову к груди.

— Все будет хорошо, мамочка,— ласково пробормотал Лев.

Я пошел провожать его, и дорогой он все просил, чтобы я позаботился о маме.

— Говорят, с Волги можно отправлять посылки. Я сделаю это при первой возможности. Ты теперь старший в семье. На Сашу плохая надежда. Не позволяй ей так уставать.

Я промолчал. Каким образом могла она не уставать, если весь дом был у нее на руках?

Мы обнялись. Я вернулся домой. Мама сидела на диване, без пенсне, с покрасневшими глазами. Я подсел к ней и стал говорить, говорить...

А через несколько дней пришло второе письмо из Казани. И ожидание страшного известия наступило в доме, как наступает тишина или ночь.

4

Я оценил в эти дни душевную стойкость матери. Не забывая ни на минуту о том, что несчастье должно совершиться, она заранее приняла его как неизбежность, уже вошедшую в жизнь.

Теперь у нее были два существования — одно там, в Казани, у постели умирающего сына, а другое здесь, в Москве, где рядом с непривычностью из ряда вон выходя-

щего быта происходило то в нем, что она решительно отказывалась принять.

Я уже упоминал о том, что Саша, по складу своего характера, не мог оставаться надолго вне круга своих интересов.

Безраздельно оставаясь самим собой, он просто не в силах был поставить себя на место другого, даже и близкого человека.

Конечно, он знал о безнадежном положении брата и, вероятно, жалел его — но время от времени и все более редко. В конце концов он просто забыл о нем — не от бездушия, а от бездумия. По-прежнему у него часами сидел Васька Холобаев, заходили и допоздна засиживались сомнительные девицы.

Из его комнаты то и дело доносился хохот, заставлявший маму вздрагивать, а меня — беситься. Но была и особенная причина, глубоко огорчившая маму. Он не только задумал жениться, но решил отпраздновать свадьбу немедленно, в ближайшие дни.

...Конечно, это была просто вечеринка, но особенно шумная, многолюдная, с танцами, с пением под гитару. Аккомпанировал Васька, явившийся в перекрашенном мундире поручика Рейсара, а исполняла романсы тощая, рыжая, похожая на метлу певица, с которой Саша познакомился в кино «Великий немой» — в ту пору перед каждым сеансом выступали эстрадные артисты. Звали и меня. Я отказался, ушел из дома, вернулся поздно. Все еще веселились.

Мама сидела в столовой, при свете ночника, который Саша искусно устроил из свитой им толстой полотняной нитки, вставленной в стеклянную баночку.

— В такие дни...— только и сказала она.— В такие дни...

5

Мы были далеки, когда Катя Обухова была женой брата, и сблизились через много лет, когда она вышла замуж за Евгения Львовича Шварца, знаменитого драматурга и одного из самых благородных людей, с которыми я встречался в жизни. Всегда она была хороша, но когда в 1919 году я увидел ее впервые, она была так хороша, что

я застыл, онемел перед ней в каком-то томительном изумлении.

Чехов в рассказе «Красавицы» писал, что «русскому лицу, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт». Но в лице Кати Обуховой была эта строгая правильность, хотя ее лицо как раз можно было назвать чисто русским. У нее был высокий ясный лоб, прелестные легкие волосы, благородный овал лица, огромные, редко улыбающиеся серые глаза — и всем этим чертам придавала особенную прелесть задумчивая, неподвижная строгость. Она была выше среднего роста, чуть сутуловата, в фигуре была заметна девическая нескладность, но и это почему-то казалось трогательным. С первого взгляда было видно, что эта редкая красота не противоречит складу ее характера и ума, что она связана с ее молчаливостью, с уже тогда определившейся прямотой.

Странно было бы предположить, что она вышла замуж назло самой себе, из бесстрашия, подстегнутого стремлением к независимости, но похоже, что это было именно так. Независимость сразу же стала чувствоваться и в ее отношениях с Сашей.

Знала ли она, что со дня на день мы ждали рокового известия? Возможно, что и нет. Саша — на него это похоже — мог не сказать ей о безнадежном положении брата.

С первого дня между мамой и Катей появилась какая-то недоговоренность. Может быть, потому, что обе они были сдержанны и немногословны. Но чувствовалось в этой недоговоренности и что-то неприязненное, в особенности когда оказалось, что Катя, только что окончившая школу и не поступившая в университет, нигде не служила, предпочитая проводить целые дни дома, над книгой, вместо того чтобы помочь маме, которая по-прежнему вела хозяйство, готовила, стирала. Только свою комнату, самую большую, с окном на Тверскую, она держала в полном порядке. Впрочем, иногда, как будто спохватившись, она принималась помогать маме. Но проходил час, другой, и она либо убегала куда-нибудь, либо снова принималась за книгу.

6

В этот день я вернулся домой взволнованный — поссорился с новым заведующим и ушел из столовки.

За последнее время многое изменилось: на смену прежним руководителям совета старост и столовки, таких, как Лев и Захаров, появились новые, тоже дельные, но раздражавшие регламентацией — то и дело они вывешивали правила, приказы, отчеты.

Теперь столовой заведовал студент Фиттих, напоминавший мне назидательно-тупого папу Фиттиха из стихов о Максе и Морице: все у него было предусмотрено заранее, все исполнялось минута в минуту. Маленький, чистенький, розовенький. Неаккуратных он наказывал, аккуратных хвалил.

Недоразумения начались с мелочи, однако существенной для девятнадцатого года. Для обедающих он приказал делать форшмак из очищенной, а для работников столовой — из неочищенной картошки. Дядя Егор возмутился, я поддержал его, и мы оба получили выговор в приказе.

Почему-то Фиттиху не понравилось, как я режу хлеб, и он перевел меня на другую работу: сидя за столом в передней, я должен был принимать от студентов грязную посуду. Предполагал ли он, что обедающие могли унести с собой оловянную вилку или ложку? Студенты обидно швыряли посуду на стол, и, не долго думая, я подал Фиттиху просьбу об увольнении. С последним пайком в руках (растроганный дядя Егор тайком сунул мне бутылку постного масла) я простился и пошел домой, пожалев, что в этот день Даша не вышла на работу.

У меня был свой ключ, и мама не слышала, как я вернулся. Она была чем-то занята в столовой. Но едва я открыл дверь, как ясное, несомненное чувство, что случилось нечто прекрасное, то, чему трудно поверить, охватило меня. Майское солнце косо светило через полуотворенную дверь столовой, мама ставила посуду в буфет — и в этих уже вечерних, но еще ярких лучах, в этом постукивании посуды тоже было что-то неожиданное, необъяснимо-радостное. Мне показалось даже, что мама чуть слышно напевает.

Я положил паек на кухню, вышел в столовую — и она, всегда сдержанная, быстро, легко подбежала ко мне и стала целовать куда попало — в лоб, в глаза, в щеки.

— Спасен, спасен,— повторяла она.— Вот, посмотри, письмо! — На столе лежал конверт и рядом — листок, исписанный незнакомой рукой.— Он сам еще не в силах писать, но поправляется, выздоравливает. Ты подумай только! Спасен! Это чудо.

В пьесе Пристли «Время и семья Конвей» акты переставлены, будущее и прошлое меняются местами, и зритель узнает о том, что случится с действующими лицами, прежде, чем — спустя десятилетия — они сами узнают об этом.

Только один из членов семьи, незаметный чиновник — его зовут Алан — остается таким же скромным, каким он впервые появляется на сцене. Только над пим не властна судьба, превращающая его брата, блестящего офицера, в пьяницу и неудачника, а сестру, мечтающую о литературной славе,— в маленькую журналистку. Он нужен всем: в этом приглушенном свете обыкновенности, непритязательности выстраивается перед нами трогательный характер.

Я не хочу сказать, что мой зауряд-врач был так уж похож на Алапа. На него не возлагали никаких надежд — однако он стал одним из лучших знатоков в новой области: гигиене труда. О том, что он защитил докторскую диссертацию, родные узнали через полгода. В конце тридцатых годов он, уже профессор, прослушал студенческий курс физико-математического факультета, когда оказалось, что для новой задачи необходима специальная подготовка. Все это могло и не случиться. Зато случилось другое: к его непритязательности, мягкости, доброте в семье с годами стали прислушиваться. Оп был нужен всем, хотя искренне удивился бы, если бы ему сказали об этом.

ПОЭЗИЯ.
ВЕСНА 1919-го

1

Мне давно хотелось заняться работой, связанной с книгами, и я ругал себя, вспоминая о том, как глупая самоуверенность помешала мне поступить в библиотеку. Но в коллектор Московского военного округа меня охотно взяли, хотя, заполняя анкету, я все перепутал, записав в

графу «Семейное положение» братьев и сестер и изумив начальника, старого политкаторжанина, который заинтересовался, каким образом в семнадцать лет я оказался главой такого внушительного клана.

Он поручил мне собирать библиотечки для военных частей, и я азартно принялся за дело. В чистом подвале на Новинском бульваре было тепло — ножовкой я пилил во дворе чурбачки для чугунной «буржуйки».

Отправив очередную партию библиотечек, я удобно устраивался на растрепанных комплектах старых газет, лениво перелистывал «Столицу и усадьбу» — и писал стихи.

Каждый день, задавая себе урок, я писал триолеты, сонеты, терцины и японские танки. Я называл их экзерсисами и даже нумеровал, очевидно, надеясь доказать себе, что от номера к номеру пишу все лучше и лучше. И действительно, стихи были лучше тех, которые Валя К. переписала для меня в школьную тетрадь, сохранившуюся в моем архиве. Теперь я не утверждал, что «давно поник от этой жизни странной», и не хоронил в длинной погребальной оде свою мать, которая была жива и здорова.

В моих стихах появились размышления, и хотя влияние Блока по-прежнему было неотразимым, иногда удавалось сделать шаг в сторону, как это ни было трудно.

Некому было почитать мои стихи, вот что меня тяготило! Но прошел месяц, другой, и слушатель нашелся. Не только слушатель, но советник и друг.

Не помню, где я встретился с Женей Куммингом, приземистым, некрасивым, коротконогим юношей, еще недавно принадлежавшим к кругу богатой московской молодежи. Лето, до революции, он проводил в фешенебельной Барвихе, играя в теннис,— и этого было достаточно, чтобы я вспомнил аристократов, которые в Черняковицах ходили со стеками, в кремовых брюках.

Квартира Кумминга (он жил один, родители уехали за границу) была битком набита дорогими вещами, мебелью из мореного дуба, картинами в золоченых рамах, хрустальными вазами в серебре, старым оружием на старых коврах. И все это угрюмо стыло в нетопленных комнатах, как бы настаивая на своем непреходящем значении.

Женя был, что называется, светлая голова. Буржуазное происхождение не мешало ему служить в угрозыске,

где он получал хороший паек. Его ценили за оригинальные мысли: и действительно, в борьбу против мешочников он внес много нового, предложив более совершенную систему облавы. Устаревший воровской словарь Трахтенберга он дополнил множеством новых слов и выражений. Начальник угрозыска советовался с ним чуть ли не ежедневно. В операциях он почти не участвовал.

Не знаю, что заставило Женю привязаться ко мне. У него было много друзей среди молодых московских поэтов, и вскоре он познакомил меня с Надей Вольпиной, а потом — это было событием — с Павлом Антокольским. Возможно, что ему понравилось упорство, с которым я писал свои экзерсисы. Но еще вероятнее, что в глубине души он считал себя мастером, метром, а у метра, естественно, должен же быть хоть один ученик! И надо сказать, что едва ли он встретил бы ученика более послушного и старательного, чем я. С неподдельной искренностью я восхищался каждой его строкой.

— Тебе надо познакомиться с общей картиной нашей поэзии,— сказал он однажды и притащил десятка два поэтических сборников.

Незнакомые имена Грузинова, Шершеневича, Ивнева, Боброва, Рюрика Рока замелькали перед моими глазами. Я знал, что поэт непременно должен принадлежать к какому-нибудь направлению: Блок и Брюсов были символистами, Маяковский — футуристом. Но оказалось, что кроме футуристов и символистов были еще имажинисты, центрифугисты, неоромантики, парнасцы, ничевоки, экспрессионисты. Были даже и просто «эклектики», как бы предупреждавшие читателей, что они отнюдь не намерены сказать в поэзии новое слово. Ничевоки утверждали, что «ничевочество — это единственный путь, который приведет к желанной цели: в ничего». Тем не менее глава этого направления Рюрик Рок призывал к «царству машины и человеку с заводом в 24 часа». Он подражал, как мне показалось, то Маяковскому, то Шершеневичу. Имажинисты, по-видимому, пытались связать свои взгляды с французской поэзией — я убедился в этом, прочитав интересное предисловие Шершеневича к книге Ш. Вильдрака и Ж. Дюамеля «Теория свободного стиха». Вообще, молодые поэты, независимо от направления, были люди начитанные — имена греческих и римских богов попадались почти на каждой странице. Но почему почти все они считали себя пророками — и Рюрик Рок, и Рюрик Ивнев, и

Кусиков, и Есенин? Правда, это были какие-то очень разные пророки: Рюрик Рок — самодовольный и даже, пожалуй, нагловатый, а Есенин — очень грустный, ничем не гордившийся и рассчитывающий не на себя, а на чудо. Я прочел его «Преображение» (на титульном листе был поставлен 2-й год I века):

Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Он не мог бы назвать свою книгу «Стихами чванствую», как это сделал Мариенгоф. Он будто просил заступничества и на светлое будущее надеялся неуверенно, робко.

2

Женя считал, что коллектор — работа не для меня, и посоветовал перейти в Художественный подотдел Московского Совета, которым руководил поэт Юргис Балтрушайтис. Это была превосходная мысль. Все московские театры были подчинены Художественному подотделу. По-видимому, можно было надеяться, что вскоре знаменитые деятели искусства окажутся в числе моих близких знакомых.

Забегая вперед, скажу, что надежды не оправдались. Не знаю почему, но жизнь подотдела шла сама по себе, и театры относились к нему с оттенком пренебрежения. Впрочем, судить об этом с уверенностью я не мог, потому что был одним из самых незначительных служащих подотдела.

Я попал в бюро информации, которым заведовала Рашель Эммануиловна Эйдельнант. Пенсне ежеминутно падало с ее крупного мужского носа. Шляпа торчала на затылке. Длинный плюшевый жакет был подпоясан солдатским ремнем. Многочисленные бумажки извлекались из разноцветных карманов, пришитых к жакету с внутренней стороны. Она носила высокие ботинки на шнурках, с острыми носками. Железная арматура — ключи и какие-то кольца — грозно бренчала на ремне, когда, быстро и твердо ступая, она появлялась в подотделе.

Мы часто переезжали, таская с собой длинные, идущие в разных направлениях трубы времянок с подвешенными

к ним консервными банками, в которые капала из колен, соединявших трубы, черная жидкость. Сотрудники сидели в пальто, а я в старом, еще псковском, полушубке, от которого в припадке франтовства однажды отрезал полы. Куртка тем не менее не получилась, и я с нетерпением ждал весны, рассчитывая сменить полушубок на плащ-крылатку с львиными застежками, которым очень гордился.

Может быть, работа нашего бюро получила бы полезное направление, если бы Рашель Эммануиловна ясно представляла себе, кого она должна информировать: подотдел — о том, что делается в театрах, или театры — о том, что делается в подотделе. Последнее казалось мне предпочтительнее, но моя начальница была другого мнения.

Каждое утро она врывалась в подотдел, как будто брала его с бою, и немедленно начинала требовать от меня информацию, без которой, по ее мнению, не могла правильно развиваться художественная жизнь страны. Я был ее единственным сотрудником, по званию — секретарем, а по должности — посыльным, разносившим по другим секторам наши требования, полные угроз и восклицательных знаков.

Считая, что каждый день и час ее существования принадлежит Республике, она требовала такой же самоотверженности от всех. Одних она упрекала в лени, других — в непозволительном комфорте. Слово это она понимала своеобразно.

— Кожа нужна Республике,— однажды сказала она, неодобрительно глядя на портфель, с которым приходил на работу наш старший бухгалтер.

Мне нравился Камерный театр, а Рашель ежедневно, воспитывая меня, доказывала, что Республика ничего не выиграет от «Саломеи» Уайльда. Но, по-видимому, и реалистическое направление в искусстве не устраивало ее, потому что однажды она явилась на работу с идеей о немедленной ревизии МХАТа. Эту идею она намеревалась изложить Балтрушайтису в докладной записке.

— А для ревизии нужна информация,— сказала она, вручая мне мандат и ловко подхватывая пенсне, едва не угодившее в кастрюльку с кашей, которую она варила на подотдельской времянке.

Выхода не было, и я отправился в МХАТ.

Высокий седеющий иронически-вежливый администра-

тор, похожий на шведского короля, попросил меня подождать, а потом повел в таинственную глубину театра. Я несколько оробел, но держался. Почему-то страшно было идти по сукну, которым были покрыты полы. Бесшумно раздвигались тяжелые портьеры, встречавшиеся разговаривали приглушенными голосами. Мы прошли один, потом другой закруглявшийся коридор, поднялись по лестнице и оказались в приемной, где сидела за машинкой строгая, ослепительно прекрасная дама.

— К Владимиру Ивановичу,— почтительным полушепотом сказал администратор.

Дама посмотрела на меня с холодным недоумением. Почему-то мне не предложили раздеться, и я был в полушубке и в старой, сильно помятой студенческой фуражке.

Дверь отворилась, и... «Шапку долой!» — повелительно сказал сидевший за большим письменным столом холеный бородатый мужчина. Меня провели прямо к Немировичу-Данченко. Однако я успел сдернуть фуражку немного раньше, чем он закричал, так что не я, а он должен был почувствовать неловкость. Так или иначе, предполагаемая ревизия приблизилась к своему концу именно в эту минуту.

Мало того, что я забыл приготовленную заранее фразу. Я тотчас же почувствовал себя не представителем Художественного подотдела, а тем, кем я был,— семнадцатилетним мальчиком, который, растерянно моргая, смотрел на знаменитого человека.

— Хорошо, я позвоню Юргису Казимировичу,— взглянув на мандат, недовольно сказал Немирович.

Ослепительная дама, не глядя на меня, всеми пальцами прошлась по машинке, как по роялю, когда через две минуты я вышел из кабинета. Администратора не было. Крепко сжимая в руках фуражку, я проблуждал полчаса, выбираясь из театра. Ненависть к моей руководительнице с ее мужским носом и верой в собственную непогрешимость душила меня...

3

Я надеялся, что мне удастся показать Балтрушайтису свои стихи или хотя бы последнюю балладу о графе Калиостро. Ее я писал старательно, долго, и это, воз-

можно, отразилось на работе бюро информации, потому что Рашель все с большей энергией упрекала меня в рассеянности и лени. Время от времени она грозилась, что подаст Балтрушайтису рапорт о моем увольнении. Но я знал, что она не сделает этого: она привязалась ко мне...

Вдруг она перестала ходить на работу. Заболела? Дня через три я пошел разыскивать ее и нашел в маленькой, холодной, ободранной комнате где-то в Замоскворечье. У нее было воспаление легких. В бухарском халате, под солдатским одеялом, в вязаном колпаке, из-под которого выбился клок седых волос, она была похожа на грустного Петрушку со своим огромным носом на похудевшем лице.

Все жили бедно, трудно, но с такой подчеркнутой, принципиальной нищетой я встретился впервые: похоже было, что Рашель была убеждена, что даже ее подушка может пригодиться Республике,— грязная наволочка была набита каким-то тряпьем.

Я затопил «буржуйку», потом сбегал в булочную и получил по карточке хлеб за три дня — ей полагалось по второй категории полтора фунта в день. Потом притащил к ней Захарова, только что приехавшего из Волоколамска, и он поставил ей банки. Наволочку, набитую тряпками, я из-под нее вытащил, заменив подушкой — у нас было много подушек. Щели в окнах забил паклей, дверь, от которой сильно дуло, завесил старым ковром.

Наконец мы поговорили не только о служебных делах. Выяснилось, что до революции она была учительницей музыки и что со своим мужем, правым меньшевиком, разошлась по политическим причинам. Я прочитал ей несколько своих стихотворений, которые почему-то показались ей очень смешными — она долго хихикала, забавно выпячивая верхнюю усатую губку.

Через несколько дней прежней, строго-решительной, в неизменном туго подпоясанном жакете, быстро и твердо ступая, она явилась на работу.

Я не сказал ей, что хочу показать свои стихи Балтрушайтису — для нее известный поэт-символист был прежде всего руководителем подотдела. Правда, меня немного огорчало, что Балтрушайтис почему-то всегда улыбался, встречая меня на лестнице или в подотделе. Улыбка была добрая. Может быть, его смешил мой подрезанный полу-

шубок? Но он улыбался и летом, когда я сменил его на свою разлетайку.

Впоследствии в книге И. Эренбурга «Портреты русских поэтов» я прочитал, что «Балтрушайтис очень скучен и однообразен, но в этом его мощь... Прекрасны девственные леса, священное бездорожье, прекрасны тысячи тропинок, несхожих друг с другом... Но так же прекрасна длинная прямая дорога, белая от пыли... которую метят только скучные верстовые столбы. Балтрушайтис идет по ней, куда — не все ли равно?».

Перелистав книгу стихов Балтрушайтиса, я решил, что ему совсем не все равно, куда идти по белой пыльной дороге. Но сам он — высокий, в длинном пиджаке, задумчивый, с бесформенным носом и красными жилками на щеках, всегда погруженный в какие-то далеко идущие размышления, действительно был похож на одинокого пешехода.

Первая строфа моей баллады была готова уже давно, и, мысленно повторяя ее, я, кажется, уже ничего не мог в ней изменить:

Бежал, отстреливаясь. На горбатый нос,
На низкий лоб морщины упадали.
И взгляд тяжелый был угрюм и кос,
Так он бежал, и вслед за ним бежали.
Нога хромая умеряла шаг,
Патронов нет, а за спиною враг.

Будущие читатели могли предположить, что бежал, отстреливаясь, налетчик — в газетах ежедневно печатались сообщения о вооруженных налетах на квартиры и клубы. Но мне мерещился некий анархист из группы «Черная гвардия», не присоединившийся к «идейным». Во второй строфе появлялся граф Калиостро. «Натягивая кафтан на трясущиеся плечи», он отправлялся из Парижа в Москву. В третьей строфе он должен был встретиться с моим героем, но вот тут-то я и застрял.

Решение пришло неожиданно. Наш подотдел получил конину, и в очереди я оказался рядом со знаменитыми трагиками Робертом и Рафаилом Адельгеймами. Некогда они приезжали в Псков на гастроли, и один из них в пьесе «Трильби» произносил знаменитую фразу: «Я поеду к моей тетке, старой жидовке. Она приготовит для меня фаршированную щуку». Фраза сделалась знаменитой, потому что, подражая Адельгейму, ее повторял весь город.

Не знаю почему, но, волнуясь, оттого что рядом со мной стояли братья Адельгеймы, я сочинил третью строфу:

И видят, что из запертых ворот
Старинная карета выезжает,
На козлах кучер весело орет:
«Пади, пади!» — и в небо загибает.
В окне старик подносит трость к устам:
«Садитесь, сударь. Не угодно ль вам?»

Завернув в газету кусок лошадиной головы с мохнатыми ноздрями, я помчался домой. Баллада была почти готова.

И все же мне, должно быть, так и не удалось бы встретиться с Балтрушайтисом, который вскоре ушел из подотдела, если бы моей Рашели не пришло в голову заняться театрами эстрады и миниатюр — она давно поговаривала о том, что этот жанр противоречит задачам Республики, склонной к монументализму.

Эстрадных театров было много, и, должно быть, недели две я ходил из одного в другой, собирая информацию и постепенно проникаясь ненавистью к оживающим куклам, гетерам, попадающим в рай, и нарумяненным девицам в кринолинах, которые, танцуя, пели:

Что танцуешь, Катенька?
Польку, польку, маменька.

В театре Балиева «Летучая мышь» я неосторожно проговорился о затее нашего бюро, и на другой день по меньшей мере пятьдесят куплетистов, готовых постоять за себя, явились в Художественный подотдел.

Один из них лез на меня, щелкая зубами,— можно было подумать, что он готов съесть меня в буквальном смысле слова.

Рашель опять заболела, и мне пришлось принять удар на себя. Поддерживая принципиальную линию бюро информации, я подтвердил, что театры миниатюр, к сожалению, придется, возможно, закрыть. Я сказал, что представителям малых жанров еще повезло, потому что во времена Великой французской революции, например, вопрос был бы решен более радикально.

Многоголосый рев раздался в ответ, и возможно, что я был бы действительно съеден, если бы в комнату не вошел Балтрушайтис, в своем длинном пиджаке, неторопли-

вый, погруженный в собственные мысли, не имевшие, по-видимому, никакого отношения к московским театрам эстрады и миниатюр. Куплетисты накинулись и на него, но он спокойно сказал, что, по-видимому, бюро информации проявило собственную инициативу, которую он отнюдь не намеревается поддержать. Крича: «А, это совсем другое дело!» — актеры разошлись, а меня Балтрушайтис провел в свой кабинет и попросил рассказать, в чем дело.

Это и была минута, которую я ждал с таким нетерпением. В двух словах я рассказал ему о затее Рашели Эммануиловны. Между бюро информации и поэзией была пропасть, но с мужеством отчаяния я перемахнул ее. Я говорил с ним, засунув руку в боковой карман, где лежала моя баллада, переписанная на машинке. Последняя строфа была закончена ночью:

Они летят в тумане поутру
Под небесами Пруссии Восточной,
Как птицы, лошади щебечут на ветру,
Как дети, спит измученный налетчик.
Все решено. Внизу в цветных шарах
Париж. «Прошу. Вы у меня в гостях».

— А, вы пишете стихи? — как будто очнувшись, спросил Балтрушайтис.

Это было сказано после того, как я долго бессвязно доказывал ему, что, несмотря на всю свою «романтическую вещественность», акмеисты холодны, неопределенны. Я высмеивал ничевоков. Я защищал Блока от имажинистов. Мы говорили недолго, минут пятнадцать, потом он извинился, и мне пришлось уйти, так и не показав ему свою балладу.

— Это очень хорошо,— сказал он мне на прощанье,— когда дети пишут стихи. Я заметил, что из них обычно получаются вполне порядочные люди.

Дети! Расстроенный, огорченный, я вышел из его кабинета и разорвал свою балладу в клочки. Впрочем, я помнил ее наизусть.

Прошла неделя, и другой слушатель, мнение которого я ценил больше всего на свете, приехал в Москву. Это был Юрий Тынянов.

4

Он уже приезжал в марте, но остановился у родных и заглянул к нам, только чтобы познакомить со своей сестрой Лидочкой, которая училась в Московском университете. Это была пухленькая, хорошенькая девочка, такая молчаливая и скромная и в таком чистом, только что отглаженном платье, что было решительно непонятно, почему Юрию захотелось, чтобы она бывала в нашем неуютном, беспорядочно-шумном доме, который, как только она пришла, стал казаться еще более беспорядочно-шумным.

— Сидит целый день над своим Круазе[1] и скучает,— сказал мне Юрий, ласково обняв сестру за плечи.— Знакомых нет, подруг — тоже. Ты ведь тоже собираешься на филологический? Вот и поговорите.

Лидочка засмеялась. На брата она смотрела с обожанием. По манере держаться можно было предположить, что она чопорна,— это было ложное впечатление. Чопорным или, по меньшей мере, слишком серьезным в ее присутствии всегда становился я.

Однажды я зашел к ней — она жила у родных, на Воротниковском. Заходил я и прежде, почему же с такой отчетливостью запомнилась именно эта минута? Ее смущенье — она что-то гладила, когда я вошел,— ее вспыхнувшее доброе лицо, и то, что она засуетилась и как бы извинилась, и ее детский голос девочки, который так и остался детским. Десятки лет прошли после этой встречи, а ее, когда она подходила к телефону, подчас просили «позвать кого-нибудь из взрослых». Очень странно, но ее глаженье в этот день так и стоит у меня до сих пор перед глазами. Оно почему-то шло к ней, вместе с белизной постели, с нежным светом окна, запахом белья, стопкой книг и раскрытым учебником на столе, подле которого лежала исписанная тетрадка. Это был, конечно, конспект — мне бы и в голову не пришло конспектировать пухлый учебник!

Чувство чопорности не оставляло меня и потом, во время наших прогулок — случалось, что мы подолгу гу-

[1] Учебник по истории греческой литературы.

ляли по набережным Москвы-реки. Возможно, что я немного хвастался, рассказывая ей о знакомстве с молодыми поэтами. Время от веремени я запутывался — мне хотелось казаться многозначительным, сложным. Но в конце концов серьезность, с которой, слушая, она поднимала на меня внимательные, доверчивые глаза, усовестила меня, и хотя я не научился держаться так же просто, как она, но все-таки перестал пускаться в ненужные сложности и привирать, выдавая соображения Жени Кумминга за свои.

Такой она и осталась в памяти — стоящая отдельно, в нетронутой белизне, легко угадывающаяся в запутанной, напряженной толще событий 1919 года. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что эта невообразимо вежливая, застенчивая девочка, которая всегда казалась мне только что умывшейся и уложившей косы, через три года станет моей женой, я бы от души рассмеялся...

5

Все было запутано, неясно в нашем доме летом 1919 года. Между мамой и Катей были напряженные, все усложнявшиеся отношения. Я заставлял себя разговаривать с Сашей, мне не нравилось, что он и жил и как будто не жил дома. Целые дни он проводил у Холобаевых, подружившись с Васькой, от которого меня тошнило. Впрочем, время от времени он приносил два-три порошка сахарину, которые Анна Власьевна давала ему за то, что он учил Ваську играть на рояле.

Последнее время от Льва не было посылок, и мама, готовившая из наших пайков бог знает что, беспокоилась и снова ходила с покрасневшими под пенсне глазами. Судя по оперативным сводкам, наши на юге стремительно отступали. Все ходили злые, голодные, мрачные — и повеселели, когда Юрий снова приехал из Петрограда. И не только приехал, но — я торжествовал — остановился у нас.

Мама настояла, чтобы он немедленно помылся и сменил белье после поезда — сыппяк,— и мы с Сашей, чуть подогрев большой чайник, долго терли Юрия мочалками, пропитанными зеленым мылом. Он хохотал и брыкался. Потом переоделся, прифрантился и пошел знакомиться

с Катей. Они разговорились сразу, и никогда прежде я не видел Катю такой оживленной, смеющейся, такой расположенной — оказалось, что она умеет быть расположенной. Я не замечал этого прежде и в ее отношениях с Сашей.

— Да он прелестный, обаятельный,— сказала Катя, когда Юрий ушел. И странно прозвучали для меня, который знал его с восьми лет, эти слова — именно потому, что он так уж не старался казаться обаятельным и прелестным! Когда я рассказал ему об этом, добавив, что Катя находит его еще и красивым, на него накатил такой припадок смеха, что я за него испугался. Между тем, отрешившись от привычного чувства, что он всегда существовал где-то близко, рядом, о нем действительно можно было сказать, что он хорош собой. Рост у него был небольшой, плечи узковаты, но на этих плечах сидела такая соразмерная голова, с нежно очерченными губами, с великолепной темно-каштановой, слегка вьющейся шевелюрой! Глаза глядели прямо и как бы немного поверх, мягко соединяя задумчивость и внимание. Лоб был громадный, но не грубо, а тоже как-то мягко выпуклый. Он был изящен. Разговаривая, он обращался к собеседнику весь — и это трогало и привлекало. А рассмеялся он, когда Катя назвала его красивым, потому что эта красота, которая ясно видна теперь на его портретах, относилась к той не замечаемой им стороне его существования, к которой относилась и вежливость, и веселость.

Он был тогда переводчиком французского отдела Коминтерна и приехал в Москву по делам, связанным с его новой работой.

В первый же свободный вечер я накинулся на него со своими стихами, и он удивился, узнав, что я пишу их каждый день, хочется мне этого или нет.

— Если не хочется,— сказал он,— зачем же писать?

Баллада о налетчике, которого граф Калиостро спасает от уголовного розыска, не очень понравилась ему. Но он все-таки сказал:

— Занятно.

И прибавил, помолчав:

— Если бы это был рассказ, тебе пришлось бы подумать, зачем Калиостро отправляется в Москву. Цель должна быть серьезной. Было бы естественнее, если бы твоего налетчика он прихватил по дороге.

Он морщился, слушая мои лирические стихи, и только

вздохнул, когда я открыл свою трагедию в стихах «Савонарола».

— «...Душить трагедией в углу»,— обидно процитировал он Пушкина и, обняв за плечи, добродушно сказал: — Давай!

В трагедии душа Савонаролы попадала в ад.

— Почему не в рай? — спросил Юрий.— Ведь его, помнится, только что не причислили к лику святых?

Но для сюжета мне был необходим ад, а не рай. Там, верный своим убеждениям, Савонарола уговаривал Сатану сразиться с Ватиканом:

Почтенное бесовское собранье,
Я вас прошу серьезно оценить
Всю смелость моего предначертанья...

Юрий терпеливо выслушал трагедию до конца.

— Есть хорошие строки,— сказал он задумчиво.— Сюжет. Живой диалог.

Он помолчал.

— Знаешь что? На твоем месте я занялся бы прозой.

В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ

Рашель донимала меня, заставляя собирать информацию; в каждом театре меня встречали с опасением, что я хочу подорвать его политическую благонадежность, и я ушел бы, если бы не одно неоценимое преимущество: как сотрудник Художественного подотдела я легко доставал театральные билеты. В МХАТе я видел «Месяц в деревне», «У жизни в лапах»; в Первой студии — «Гибель «Надежды»; во Второй — «Зеленое кольцо»; в театре Незлобина — «Петербургские трущобы». Я пересмотрел весь репертуар «Летучей мыши» на большой и малой сцене. Многочисленные изящные миниатюры почти не запоминались — но запомнился сам Балиев с его широким, круглым, красным и, на первый взгляд, как бы туповатым лицом. Не сразу догадывались вы, что эта мнимая туповатость была тонкой игрой...

В оперу и оперетту я, вопреки завету отца, не ходил.

Этому трудно поверить, но я скучал на спектаклях МХАТа. Мне все казалось, что актеры как будто просили поверить, что все было именно так, как происходило на сцене. Предлагая узнавать знакомое, они еще и требова-

ли, чтобы зрители удивлялись и восхищались этому действительно поразительному сходству.

И хотя я сочувствовал Норе из «Кукольного дома» и волновался за доктора Астрова и доктора Штокмана, мне легко было представить, что актеры, игравшие эти роли, вернувшись домой, вели себя совершенно так же, как я, с той разницей, что, открыв входную дверь своим ключом, они не пробирались на цыпочках (мама спала очень чутко) на кухню, чтобы съесть свою порцию оладий из мороженой картошки, запивая их холодной водой...

Совсем другие чувства испытывал я в Камерном театре.

Пол сцены был сломан и состоял из горизонтальных или вертикальных плоскостей. Интонация, звучавшая в монологах и диалогах, ничем не напоминала обыкновенный разговор, и если бы Аркадин, игравший Ирода в «Саломее» Уайльда, где-нибудь в очереди за крупой заговорил так, как он говорил на сцене, его посадили бы в сумасшедший дом. Блеск неожиданности не подкрадывался издалека, а бил в глаза, едва занавес поднимался или разлетался. Подчас это был даже не занавес.

В «Саломее» черно-серебряная завеса медленно раздвигалась, оставляя зрителя наедине с исступленными пророчествами Иоканаана.

«Принцесса Брамбилла» была поставлена так, как будто никто и думать не думал о том, чтобы заранее подготовить декорации, нарисовать костюмы, написать музыку, осветить сцену ежеминутно менявшимся магическим светом. В этом спектакле я воочию увидел всех своих чертей, разговаривающих с флюгерами, и портных, превращающихся в собственные манекены. Идея импровизации ожила в «Принцессе Брамбилле», и теперь, перечитывая эту маленькую повесть, которую автор назвал «Каприччио в духе Жака Калло», я вижу, как верно, с каким тактом уловил Таиров в своем спектакле эту характерную для Гофмана идею.

Камерный театр не предлагал «узнать и поразиться сходству». Он предлагал обратное: познакомиться с неизвестным. Не познать неведомое, а познакомиться с ним, как с чудаком, который, может быть, станет твоим лучшим другом.

В этом театре актеры ничего не просили и ни на чем не настаивали. Шарлатан и фокусник Челионати не мог, сбросив свой волшебный костюм, ходить, как обыкновен-

ные люди, стоять в очереди за крупой или мылом. Слушая его трескотню, поражаясь его прыжкам, вообразить это было почти невозможно.

И каждый раз, бывая в Камерном театре, я думал о том, что, когда занавес опускается и зрители расходятся, на сцене продолжается не ведомая ни актерам, ни режиссеру жизнь. Они приблизились к ней, смутно различили ее в полутьме и остановились у ее порога.

Впоследствии я прочел об этом в воспоминаниях А. Я. Таирова, создателя Камерного театра.

«Если вы бывали когда-нибудь в театре... после спектаклей, когда, при слабом свете рабочего софита, рабочие разбирают сцену, то вы, несомненно, испытывали то несколько странное, особое чувство, которое невольно и неизменно овладевает вами в эти минуты,— пишет Таиров в своих «Записках режиссера».— Вы сидите в темном и опустевшем зрительном зале и смотрите на сцену. Вдруг висящий перед вами задник стремительно падает вниз — и в воздухе повисают колеблющиеся лучи веревок. Они сплетаются с другими, томившимися за упавшим задником лучами, и на призрачных скелетах станков и опрокинутых, сейчас ненужных форм возникают какие-то фантастические корабли и мачты, рушатся девственные, непроходимые леса, в бесконечных извивах тянутся и манят вас зыбкие и таинственные коридоры... В разных местах то с шумом взвиваются, то молчаливо плывут холсты и сукна, и в их прихотливом движении маячат все новые и новые миражи, властно вовлекая вас в свою органическую фантасмагорию... Это невидимые духи театра оживили своим извечным действенным чудом мертвые и безразличные куски декораций».

Мне кажется, что именно на спектаклях Камерного театра мне пришла в голову мысль, что если я ничем не волен распорядиться в том мире, который меня окружает, значит, надо построить свой собственный мир, как это сделал Таиров. Отношения между людьми в этом мире зависели бы не от реальной, а от магической связи, а причины и следствия могли поменяться местами. Смело вмешиваясь в жизнь моих героев, я заставлял бы их поступать так, как хотелось мне, а не им.

Прошло два года, и в своем первом опубликованном рассказе я попытался выстроить этот воображаемый мир. Рука была еще детская, проза хрупкая, точно вырезанная из бумаги. Я занимался в ту пору теорией литературы, но

вмешательство автора в жизнь своих героев было связано не с моими занятиями, а с мыслью о неограниченной власти художника, впервые померещившейся мне на спектаклях Камерного театра.

СТАРШИЙ БРАТ. ФРОНТ. 1919-й

1

В неоконченных записках брата немало страниц отдано фронту, и, принимаясь за эту главу, я с трудом удержался от соблазна воспользоваться ими в нетронутом виде. Он писал хорошо — это не только мое мнение. Когда в журнале «Наука и жизнь» появились его воспоминания о борьбе против эпидемии чумы в Азербайджане, Ираклий Андроников написал мне трогательное письмо: «Бывают прекрасные мемуары, написанные великолепным пером, построенные, как живописное полотно, картинные, сочные, образные. Но такой естественности, живости, легкости, достоверности, простоты... захватывающего интереса, умения передать время, характеры, показать их самоотверженность, благородство — и при этом ни слова не сказать о себе... Какая потеря, и какое ощущение бессмертия этого человека!» Письмо было получено мною вскоре после смерти брата.

Вот другое мнение: о «Записках фронтового врача», напечатанных в альманахе «Прометей», Виктор Шкловский сказал: «Латинская проза».

Но в записках брата нет взгляда со стороны. Лишь мельком упоминает он, что фронт был для него мостом, переброшенным между студенческой скамьей и наукой. Член Реввоенсовета увез с собой молодого врача, который еще в 1916 году, окончив бактериологические курсы Блюменталя, купил па базаре трех кроликов, чтобы поставить опыт, который должен был доказать профессору Сахарову (общая патология), что перед ним — будущий ученый. Опыт не удался — кроликов съели кошки...

Когда штаб Девятой армии добрался до берега Дона, его ожидала баржа, из которой выгружали раненых и больных — почти исключительно сыпнотифозных. Переправившись на другую сторону и расположившись в станице Заметчинской, штаб приступил к работе.

Брат пишет, что работы было немного и что скромные врачебные познания его не подводили. Штабной околоток состоял из двух лекпомов, четырех санитаров и двух медсестер. Одна из них — Наталья Васильевна — была женой Михайлова, другая — начальника штаба армии Петрова. В дальнейшем это причинило брату немало хлопот...

Уже тогда впервые пришла ему в голову мысль о санитарной разведке. Как известно, санитарная разведка широко развернулась в годы Великой Отечественной войны и вошла существенной долей в дело победы.

На берегу Дона летом 1919 года эта мысль была воплощенной конкретностью, многократным опытом, который даже не нуждался в контроле. Опыт ставился не в лаборатории, а под открытым небом. В основе его лежал не эксперимент, а наблюдение.

Мост через Дон был взорван, и одна и та же большая баржа переправляла на один берег — больных, на другой — здоровых. Здоровые — это легко установил Лев — заболевали сыпняком через две-три недели после переправы — характерный для этой болезни инкубационный период. Значит, источником заражения была сама баржа, и ее необходимо было дезинфицировать перед каждой погрузкой здоровых.

Дошел ли рапорт, в котором Лев доказывал справедливость своей догадки, до начальника штаба? Едва ли.

Белые прорвали наш фронт, и началось, как пишет брат, «бедственное отступление 1919 года». В Балашове он попал в плен вместе со своим околотком.

Накануне Михайлов сказал ему, что белые обходят наших с правого фланга, и надежда только на одну из отступающих кавалерийских бригад, которая может удержать Балашов. Он уехал на фронт, попросив брата позаботиться о Наталье Васильевне и жене Петрова. «Околоток,— сказал он,— будет отправлен рано утром, с первым эшелоном».

И действительно, рано утром две теплушки, в которых находился околоток, прицепили к одному из эшелонов. Но у этого эшелона, нагруженного военным имуществом, не было паровоза.

Время приближалось к полудню, артиллерийская канонада усиливалась. Начальник эшелона куда-то исчез, поезда ушли, депо опустело. Однако на путях, недалеко от депо, стоял паровоз под парами. Труба дымилась, слы-

шалось шипенье. «Из уроков физики в гимназии я знал, конечно, принцип действия паровоза,— пишет брат,— и помнил, что существует какая-то «кулиса», от которой зависит движение паровоза вперед или назад. Но где она, эта чертова кулиса?» Кулиса нашлась, но первая попытка оказалась неудачной, паровоз двинулся назад. Маневрируя и переводя стрелки, удалось подвести его к эшелону. Санитары набросили крюки, состав двинулся вперед— и через несколько минут стало ясно, почему никто не воспользовался этим вполне исправным паровозом. Недалеко от Балашова, на расстоянии двух-трех верст от станции, путь был взорван.

Что делать? Бросить околоток и уходить налегке, без вещей, пешком? Но была причина, о которой брат мог говорить только со своими медсестрами, да и то намеками: после отъезда Михайлова остались чемоданы, в которых могли оказаться штабные материалы, важные для белых.

Решено было вернуться на вокзал —и только что они расположились, чтобы отдохнуть в своей теплушке, как дверь открылась, и вошел солдат, которого Лев принял за красноармейца. Он ошибся. К фуражке была пришита ленточка, а на ленточке чернильным карандашом написано: «С нами бог».

— Какая часть?

Брат успел легко толкнуть Наталью Васильевну, и она ответила быстро:

— Околоток и аптека.

— А спирт есть?

— Как не быть.

— Гони по-быстрому.

Все, о чем в дальнейшем рассказывал брат, удивило меня своей обыденностью. По станции бродили солдаты. Иногда проходил и офицер. Все они были одеты из рук вон неряшливо и небрежно. На некоторых офицерах были гимнастерки из мешковины с погонами, неумело нарисованными карандашом. Но и другая, бесконечно более важная сторона всего происходившего выглядела чем-то весьма обыкновенным.

Бесчисленная литература о гражданской войне углубила и усложнила наше представление о переходе на сторону белых. В одних случаях это было вынужденное предательство, в других — отказ от самого себя. Брат рассказывает о предательстве добровольном.

«Через некоторое время я увидел группу военных, которая шла по направлению к вокзалу...— пишет он.— Когда я подходил к ним, я услышал:

— Лев Александрович! Ты как сюда попал?»

Вместе с штабным околотком в плен попал наш 274-й санитарный поезд, и врачи этого поезда, как они сообщали брату, шли «представляться новому начальству».

«Среди них,— продолжает Лев,— оказался и мой товарищ по медицинскому факультету. К сожалению, я забыл его фамилию. Буду называть его Нестеров. Он был главным врачом санитарного поезда. Врачи предложили мне присоединиться к ним. У меня, однако, были другие планы».

Немного отстав от группы, он попросил Нестерова взять к себе в поезд двух медсестер, зачислив их приказом под другими фамилиями. Самое соединение фамилий члена Реввоенсовета и начальника штаба было небезопасным. Разговор, который последовал за этой просьбой, характерен:

«— А они у тебя действительно сестры?

— Да, конечно, но, понимаешь, они жены наших командиров, и это может осложнить положение.

— Ну, а ты что решаешься делать?

— Я подожду, может быть, ты дашь мне возможность остаться на два-три дня в твоем вагоне с ранеными. Без регистрации.

Нестеров помолчал.

— Ладно, но если что-нибудь обнаружится, мне ничего не известно.

На ходу я пожал ему руку и пошел в свою теплушку.

Я мало знал Нестерова в студенческие годы. Не больше, чем других однокурсников. Но дух товарищества был тогда столь крепким, что мне и в голову не пришло, что он может предать нас белым. И я не ошибся».

Теперь предстояло самое трудное: Лев приказал своим лекпомам прицепить к фуражкам белые ленточки и перенести свои вещи в последний вагон санитарного поезда. В теплушке остались только Наталья Васильевна и он. Они открыли чемоданы: полно бумаг. Может быть, и ничего секретного, но служебные бланки, копии приказов... Как поступить? Вынести их из вагона? Куда? Любой встречный солдат мог заинтересоваться необычной ношей — бумага, да еще в таком количестве, была на фрон-

те редкостью. Каждым обрывком пользовались для цигарки.

И вдруг Лев увидел большой пузатый самовар, заменявший в околотке бак с кипяченой водой.

Всю ночь, задыхаясь от дыма, они жгли в этом самоваре бумаги штаба Девятой армии. Время от времени, когда пепел переполнял трубу, они выносили его горстями подальше от вагона. Ночь была свежая, и пепел легко подхватывался ветерком. Начинало светать, когда чемоданы наконец опустели.

2

С юных лет брат любил оружие. Уезжая из Звенигорода, он взял с собой великолепный браунинг «Петербургской столичной полиции». На фронте он собирал гранаты. Если бы кому-нибудь из белых пришло в голову обыскать околоток, он нашел бы среди предметов медицинского оборудования и наши «бутылки», и французские «лимонки».

Вслед за штабными бумагами пришлось заняться оружием. Время от времени Наталья Васильевна выносила и опускала гранаты в уборную на вокзале. Взрывные капсюли Лев вынимал и прятал в нагрудный карман гимнастерки, надеясь при случае бросить их в бочку с водой. Потом он забыл о них и несколько дней ходил, рискуя взорваться при случайном ударе.

Костер из бумаг, когда черный дым валил из окон вагона, уничтожение оружия и то, что околоток в полном составе незаметно перешел в санитарный поезд,— все это удалось только потому, что наши — случайно или нарочно — оставили на станции цистерну со спиртом. По перрону бродили пьяные солдаты, ночью откуда-то доносилось нестройное пенье.

Однако нельзя было сидеть сложа руки. Надо было либо спрятаться где-нибудь в Балашове и дождаться подхода кавалерийской бригады, либо сразу же, не теряя времени, бежать из плена.

К утру решили спрятаться, и Лев, отправив Наталью Васильевну в санпоезд, приказал одному из своих санитаров прицепить к фуражке ленточку «С нами бог» и пошел с ним в город. Он рассчитывал два-три дня провести

у одного адвоката, в семье которого останавливался Михайлов. Но навстречу им, в палисадник, выбежала девочка лет пяти и сказала весело:

— А у нас офицеры!

Едва ли она разбиралась в политической обстановке; без сомнения, ее родители увидели брата через окно.

Ничего не оставалось, как вернуться на вокзал, притвориться раненым и присоединиться к санпоезду, который был еще ни белым, ни красным; врачи «представились новому начальству», персонал колебался, не зная, как поступить, раненые застыли в тревожном оцепенении. С перевязанной здоровой рукой, Лев нашел своих лекпомов и с первого взгляда понял, что случилось несчастье — в местной, балашовской, газете было напечатано сообщение, что Михайлов расстрелян.

Он условился с лекпомами, что они не скажут об этом Наталье Васильевне. Но, может быть, ей уже попалась на глаза эта газета? Он смотрел на нее и думал: «Знает или не знает?» Через несколько дней, в Пензе, куда откатился штаб и где они встретились с Михайловым, который был жив и здоров, она показала мужу газету. Прочла, знала и не выдала себя ни голосом, ни взглядом.

Наутро стало ясно, что в поезде оставаться нельзя. Брат отправился к Нестерову и застал у него корпусного врача в погонах и с врачебными знаками царского времени: над чашей, в которой сплелись две змеи, сложил крылья двуглавый орел. Нестерову оставалось только одно: представить ему брата.

— Когда кончили университет?

Лев ответил.

— Специальность?

— Бактериолог.

— Вот и прекрасно! Вы даже не представляете себе, как нам нужны бактериологи! Лаборатория — в Новочеркасске. На днях поедете туда. Есть возражения?

Лев ответил, что возражений нет. Кстати, он никогда не был в Новочеркасске. Говорят, красивый город?

— О да!

И после короткого корректного разговора брат вернулся в поезд. Что делать?

Тем временем Наталья Васильевна узнала адрес одной «безопасной» семьи — отец и сын служили в Красной Армии. Может быть, удастся скрыться у них?

Обогнув центральную улицу, они прошли через весь город. Никто их не остановил. Быть может, белая косынка медицинской сестры, которую носила Наталья Васильевна, страховала от опасного любопытства?

Маленький домик, до которого они в конце концов добрались, был заперт и пуст. На окнах — ставни, во дворе — ни души.

Они просидели на скамеечке часа полтора. Никто не пришел...

Откуда-то с юга слышалась ружейная перестрелка. Они решили вернуться.

«Санпоезд белые, без сомнения, немедленно отправят в тыл,— думал Лев.— Но эвакопункт останется в Балашове. Ведь они наступают — и, по-видимому, быстро. (Перестрелка усилилась, и к ней присоединилась артиллерийская канонада.) Кажется, начальник эвакопункта — порядочный человек. Кстати, я не видел его среди тех, кто шел представляться новому начальству».

Первый человек, которого они встретили на станции, был начальник эвакопункта. Он бежал куда-то с чемоданчиком в руке и, увидев Льва и Наталью Васильевну, приостановился:

— Вы куда, доктор?

— Мы хотели навестить раненых.

— Немедленно за мной! И сестра, разумеется, тоже.

Недаром он так спешил: к вокзалу стремительно приближался шум нарастающего боя.

Начальник эвакопункта побежал к поезду — паровоз уже разводил пары. Лев и Наталья Васильевна отстали от него, свернули и спрятались под порожняком, стоявшим на запасных путях; не они одни надеялись «зацепиться». Среди санитаров, лежавших под вагонами, Лев нашел весь свой околоток.

Вдруг шум боя умолк — ему показалось, что надолго, хотя прошло десять или пятнадцать минут. Потом тишина, такая глубокая, что он услышал тревожное дыхание лежавших рядом люцей, сменилась тяжелым топотом конницы, донесшимся издалека — и сразу же ближе и ближе. Кавалеристы промчались через станцию.

Один из санитаров закричал радостно:

— Наши!

Это была та кавалерийская бригада, о которой Михайлов говорил брату.

3

Санитарный поезд никуда не ушел. Кто-то из красноармейцев изловчился снять крюки, и паровоз увез только два вагона.

История ближайшего дня рассказана с характерным для брата лаконизмом. Кавалерийская бригада взяла Балашов отступая и задержаться в городе и на стации не могла. Она отступала, выходя из окружения, пробиваясь к тем, кто с нетерпением ее дожидался; судьба отвела лишь неопределенно-краткие часы для выбора: уйти с бригадой или остаться и перейти к белым?

Кому же предстоял этот выбор? Далеко не все врачи санпоезда приносили присягу, согласно которой они должны были «во всякое время помогать по лучшему своему разумению прибегающим к их помощи страждущим». Но и те, что не приносили, оставляя раненых, жертвовали ими для спасения собственной жизни. Это относилось и к сестрам. Кроме профессионального выбора был и политический, и первый подпирал второй: для тех, кто хотел остаться, он был естественной опорой. Понимали ли это те, кто не мог или не хотел остаться? Да, понимали. Одни, нацепив ленточку «С нами бог», могли рассчитывать на благополучный исход, для других неизвестность попахивала расстрелом. Лишь немногие ясно различали свой путь в психологической буре, разыгравшейся в санпоезде, затерянном на станции Балашов.

Лев пошел разыскивать командира бригады.

«Уже немолодой человек, бывший офицер царской армии, он сообщил мне мало утешительного,— пишет брат.— Бригада пробивалась с тяжелыми боями, у белых было громадное превосходство сил».

Он обрадовался, узнав, что Лев — бактериолог. В годы первой мировой войны он был в немецком плену, и в его руки случайно попал старый, заброшенный микроскоп. С тех пор мир для него преобразился: каждую свободную минуту он проводил над микроскопом.

— Подумайте, доктор! Стоит ли вам связывать свою судьбу с нами? У вас дело в руках. Белые в плен наших бойцов не берут.

— От судьбы не уйдешь,— ответил Лев и попросил назначить его в один из полков кавалерийской бригады.

Так он стал — ненадолго — старшим врачом 204-го Сердобского полка.

Если бы после этого разговора он со своими медсестрами, не теряя времени, присоединился к бригаде, ему не пришлось бы ночью разыскивать ее по Полярной звезде и он не был бы вынужден первый и последний раз в своей жизни убить человека.

Получив назначение, он отправился навестить раненых в околоток полка, помещавшийся в полуразрушенном каменном здании, недалеко от железной дороги.

«Под вечер стала слышна артиллерийская канонада, а позже — и пулеметная и ружейная трескотня,— пишет он.— Сестры и я быстро собрались и побежали в околоток. Никто не пошел с нами, но нас завалили письмами. Мы бежали по тропинке вдоль полотна. Тропинка была еле видна. Когда мы пробежали половину пути, стали свистать пули. По-видимому, косынки сестер были видны в темноте, и по ним откуда-то стреляли. Я сорвал косынки, и мы побежали дальше.

Прибежали мы поздно. В околотке уже никого не было. Что было делать? Возвращаться мы не могли, вероятно, нас предали бы. Со мной две женщины, за которых я отвечаю. Стало уже совсем темно, куда же бежать? Я понимал, что пробиваться наша бригада могла только на север. Сориентировавшись по Полярной звезде, мы быстро пошли по дороге, ведущей в северном направлении. Через некоторое время нас нагнала телега. Я подскочил к ней и попросил крестьянина подвезти нас до ближайшей станции. Вместо ответа он ударил меня так, что я упал, и погнал лошадь».

То, что произошло через несколько минут, можно объяснить только сверхъестественным напряжением сил. Лев вскочил, догнал телегу, погромыхивавшую уже довольно далеко, впрыгнул в нее и попытался отнять у хозяина вожжи.

«Завязалась борьба,— пишет он,— и весьма серьезная. Хотя крестьянин и был уже лет пятидесяти, но он оказался весьма сильным, и под градом кулачных ударов я едва удержался в телеге. Совершенно озверев, я схватил его за горло. Что-то хрустнуло, он сразу весь обмяк, и я сбросил его с телеги».

Сестры были уже далеко. Он вернулся за ними, подхватил их на телегу и погнал лошаденку вперед.

Было совершенно темно и тихо. Только кузнечики стрекотали в траве, да изредка были слышны птичьи голоса. Мы ехали так около часа. Лошаденка стала приуставать, вожжи и кнут уже не оказывали на нее никакого действия. Немного спустя стали слышны какие-то неопределенные звуки — не то постукиванье, не то скрипенье, потом далеко вспыхнул маленький огонек и тут же погас. Вскоре стало ясно — впереди идет обоз и люди. Кто же это? Свои или белые?

Держась на некотором расстоянии от них, мы мучительно вслушивались в каждое долетавшее до нас слово. Наконец поймали: «Товарищ...» Еще раз. И еще раз. Значит, свои. Мы подъехали ближе. Это был 204-й Сердобский полк».

4

Не стану подробно рассказывать, как работала маленькая санитарная группа, которую Лев наскоро сколотил в течение ночи. Весь следующий день прошел в тяжелых боях под селом Малиновкой. Легкораненых перевязывали и отправляли в строй. Но что было делать с тяжелоранеными, которых нужно было срочно оперировать? Посоветовавшись с командиром полка, Лев приказал укладывать их на подводы и под белым флагом отправлять в Тамбов. Одна подвода бесследно пропала, хотя у старшего была записка, в которой на всякий случай «удостоверялось, что жидов, комиссаров и командиров среди раненых нет».

Тамбовские военные курсанты вышли навстречу бригаде, и с их помощью удалось войти в город.

За действия под Малиновкой Лев получил от командующего фронтом отличный кожаный костюм, в котором два месяца спустя приехал в Москву.

ВАЛЯ В МОСКВЕ

1

С весны по осень 1919 года Псков был занят отрядами Булак-Балаховича, и все-таки Вале каким-то чудом удалось прислать мне одно письмо — странное, с полуна-

меками, с оборванными фразами, с упоминанием о каком-то человеке, который бежал из тюрьмы, скрывался у К — ных и снова был арестован.

Не до меня было Вале и не до писем, которые можно было изредка отправлять со случайной оказией.

Я ответил ей, оставив письмо у себя,— придет же когда-нибудь день, когда мы прочитаем его, прижавшись друг к другу!

И это произошло наконец.

Саша достал два билета в Малый, на воскресный спектакль «Ричард Третий» с участием Сумбатова-Южина, знаменитого актера и драматурга. Катя была занята, пошел я — и пожалел. Мне не понравился Сумбатов-Южин. Он часто становился спиной к залу, судорожно сжимая и разжимая пальцы, чтобы наглядно убедить зрителей, что Кларенс все равно от него не уйдет... Когда кроватка с зарезанными в Тауэре детьми поплыла по воздуху, он сердито засопел — может быть, потому, что веревку заело, и кроватка долго не хотела уступить место другому виденью. Но одна, тоже старая, актриса играла превосходно. Я рассердился на Сашу, который только в четвертом акте сказал насмешливо:

— Дурак, это же Ермолова!

Потом он вспомнил, что Валя приехала из Пскова еще утром, когда я был в библиотеке, и, бросив «Ричарда Третьего», я побежал домой.

Она спала, когда я вернулся. Краешек знакомого платья торчал из чемодана, стоявшего на стуле в передней. Бесшумно, сняв ботинки, я вошел и остановился у порога. В эту сырую, полутемную комнату, которая была двумя ступенями ниже других, вечернее солнце приходило лишь на полчаса в день. Волнуясь, я простоял эти полчаса, глядя на Валю. Мы не виделись больше года. Она похудела, повзрослела. Волосы были перекинуты через плечо на приоткрывшуюся под знакомым халатиком грудь. Она дышала ровно, счастливо.

Первое время казалось странным, что мы могли почти не расставаться. В Пскове мы тоже виделись каждый день, но там все было иначе: прогулки на велосипедах, свиданья в Соборном саду, на Покровской башне, у темной лестницы Летнего театра, когда я ждал ее, волнуясь и представляя себе, что сегодня непременно произойдет то, что давно должно было произойти между нами. Теперь я не только надеялся, я был заранее счастлив

уверенностью, что она сама с нетерпением ждет этой минуты...

Мама предложила Вале остаться у нас — да ей и некуда было деваться. Она всегда любила ее, хотя, по ее понятиям, мне не хватало семи-восьми лет, чтобы ухаживать за этой серьезной девушкой из очень порядочной, скромной семьи. Тем не менее отношения между ними более чем сердечные вскоре установились. Совсем иначе встретили ее Саша и Катя. Саша еще куда ни шло. Не считая Валю хорошенькой, он просто недоумевал, с какой стати я привязался к ней, и еще так прочно, что она приехала ко мне в Москву.

Катя — вот кто не «принял» Валю, умолкая иногда на полуслове, едва она появлялась. Она и не думала скрывать, что Валя кажется ей поучительно-скучной и провинциальной особой, которой давно пора замуж на двадцать втором году и которая смешна со своим почти неприличным отсутствием кокетства. Однажды я случайно подслушал разговор Кати с подругой, в котором она назвала Валю мещанкой. И болезненно-острым было для меня то, что я, быть может, не сразу нашелся бы, что возразить. Не только Кате — и мне не нравились кружевные накидочки и полотенца, которые она привезла из Пскова, и настойчивое стремление Вали найти «интересную» службу, и то, что она добросовестно старалась понять мои новые стихи — и не понимала. С первого же дня приезда она кинулась помогать маме. Но почему она стала называть ее не Анной Григорьевной, а «мамочкой», хотя никогда не собиралась за меня замуж — это подтвердилось тем, что впоследствии произошло между нами? Прежде я огорчался, что у нее не хватает чувства иронии, теперь убедился в том, что у нее не было и вкуса. Но что же делать, если я любил ее, рвался к ней и начинал скучать без нее, едва лишь мы расставались?

Она поступила в Наркомпрос. Паек был маленький, но зато люди «интересные», а это, с ее точки зрения, было важнее всего. Мне казалось, что эти интересные люди свалили на нее всю работу, но Валя спорила с жаром, и я соглашался. Стояла мягкая осень, мы уходили на Ходынку, а иногда добирались даже до деревни Щукино — там был лес на берегу Москвы-реки, и никто не мешал нам целоваться.

Я прочел Вале свою балладу о налетчике, и кое-что показалось ей странным.

— Невольно получается,— сказала она,— что граф Калиостро летит в Москву с единственной целью помешать работе уголовного розыска. Было бы лучше, если бы у него были свои цели, а налетчику просто повезло и он встретился с графом случайно.

Это было похоже на то, что сказал мне Юрий, но прозвучало странно — как будто речь шла не о стихах.

Мы спорили, я доказывал, что даже если автор не в силах объяснить свое произведение — это еще ничего не значит: другие сумеют найти его внутренний смысл. В доказательство я повел Валю в Камерный театр на «Саломею» Уайльда. Она сидела, хорошенькая (Саша был неправ), расстроенная, очень серьезная, и молчала. Зато в Морозовской галерее она нерешительно согласилась со мной, когда я туманно, но энергично доказал, что Рубенс и Тициан вместе взятые не стоят любого полотна Ван Гога.

Мы поступили в университет на историко-филологический факультет и вместе ходили на лекции знаменитых Челпанова, Сакулина, Поржезинского. Я скучал на лекциях, ничего не записывал, но почему-то многое запоминалось. Валя записывала, составляла конспекты по ночам, и все-таки занятия не давались ей, мне казалось — от чувства благоговения, с которым она относилась к университету. Однажды случилось, впрочем, что и мне из прослушанной лекции не удалось запомнить ни слова. Более того, она прозвучала для меня, как будто была прочитана на иностранном языке. Профессор Шпет, тогда молодой человек, стройный, в прекрасно сшитом костюме, быстро вошел в аудиторию, легко взлетел на кафедру и заговорил с такой же легкостью и свободой. Лекция состояла из законченных, изящных и, без сомнения, глубоко продуманных обобщений. Я слушал ее, рассчитывая уловить связь, ухватиться за лейтмотив, который то пропадал, то как будто слышался откуда-то издалека. Разумеется, дело было еще и в том, что я был не подготовлен, плавал в терминах, не читал Шпенглера, о котором часто упоминал Шпет.

Но на этой лекции я впервые понял, что, как невообразимо скучной была для меня математика, так же, если не более, чужд я и философии. И та и другая фатально не удерживались в моей памяти, не запоминались, ускользали. И та и другая стоили мне усилий, о которых я инстинктивно жалел.

Особенно остро почувствовал я это через два года, занимаясь логикой у известного Лосского в Петроградском университете. Быть может, я надеялся, что мои усилия с большей пользой пригодились бы мне для поэзии. Или прозы?

2

Прошли десятилетия, и, задумываясь над историей моей первой любви, я поражаюсь эгоистической слепоте своего отношения к Вале. Искренняя, спокойная, правдиво-рассудительная, она выросла в семье, уважавшей высокое значение брака. Но брак между нами, по ее понятиям, был невозможен. Значит, невозможна была и та полная близость, на которой я настаивал упрямо, неудержимо.

— Боже мой, да я сама с ума схожу, разве вы не видите? — однажды сказала она с горечью.— Но не знаю, как вы... А мне хочется и смеяться и плакать, когда я вижу вас семнадцатилетним отцом...

Но я ничего не хотел ни видеть, ни слышать. Едва мы оставались одни, как я начинал мучить ее и себя.

...Вдруг я понял причины ее упорства! Это человек, о котором она так невнятно писала из Пскова. Она уже принадлежала ему и боится, что я узнаю об этом!

В первые дни после Валиного приезда мы прочитали все мои неотправленные письма, а потом и то, единственное, которое я получил от нее. Тогда я спросил ее об этом человеке, и она ответила:

— Помнишь, мы говорили, что у каждого должно быть *свое*... То, что тогда произошло в Пскове, принадлежит ему, а не мне. И не будем,— мягко сказала она,— не будем больше говорить об этом.

Я согласился, и она нежно поцеловала меня. Но не прошло и недели, как я забыл о своем обещании.

— Кто был этот человек? За что его арестовали? Почему, прежде чем скрыться из города, он прибежал к вам?

Лучше бы я не расспрашивал, не настаивал, доходя до грубости, не ссорился с Валей, когда она упорно молчала. Измучив ее, я добился ответа, который далеко не успокоил меня.

— Он хотел проститься со мной,— твердо сказала Валя.

Этот человек, сорокалетний типографский рабочий, любил ее, она остро жалела его, и моя мальчишеская ревность была смешна в сравнении с этим чувством, которое она из гордости не желала скрывать от меня.

Больше они не встречались. Уж не был ли он одним из тех, кто при Булак-Балаховиче с доской на груди висел на фонарях Кохановского бульвара?..

Вале тяжело жилось в нашем доме: мама молчала, но я догадывался, что разница лет между нами ужасала ее. Никогда не вмешиваясь в дела взрослых детей, она впервые изменила себе — и сделала это неловко, неумело. Вернувшись из бани, где она была с Валей, она сказала мне мельком, с притворным, не свойственным ей сожалением:

— А Валя-то... Вот уж не думала... Желтая, худая...

Мне стало смешно. Как будто я не целовал эти милые похудевшие плечи? И вовсе не желтые, мама сказала неправду: светлые и нежные, с выступающими круглыми косточками, которые я знал наизусть.

Саше, по-видимому, было все равно — живет Валя у нас или нет, но ему ничего не стоило заговорить о ничтожно малой калорийности, содержащейся в пайках служащих Наркомпроса. Правда, Катя в этих случаях неизменно останавливала его:

— Сашка, ты — дурак.

Однако, когда Лидочка Тынянова как-то заглянула к нам, Катя нарочно, с потаенной серьезностью, спросила ее:

— Лидочка, а почему бы вам не выйти замуж за Веню?

Лидочка помолчала с вежливым недоумением — и заговорила о другом. Подобная возможность, без сомнения, показалась ей невероятной.

...То мы ссорились, то заключали условия: решено, мы будем только друзьями. Почему-то теперь мне все время хотелось обидеть Валю, и я с трудом сдерживался, чтобы не очень обидеть. Она записывала лекции и составляла конспекты по психологии, а потом провалилась, хотя это был легкий экзамен, я сдал его, едва перелистав учебник. И вместо того, чтобы посочувствовать ей, я только с обидным недоумением пожал плечами.

...Не помню, каким образом я однажды забрел в столовку на Девичьем поле — может быть, где-нибудь неподалеку был театр или театрик, в котором мне предстояло получить информацию для Рашели? Меня встретили при-

ветливо. Дядя Егор долго расспрашивал, где я работаю, а потом, надвинув колпак на лоб, сказал с уважением: «Наука»,— хотя наш подотдел не имел никакого отношения к науке. Бабы-мойщицы ласково сказали, что я подрос.

Даша носилась по столовке, и я не мог отвести глаз от ее лица с полными, немного влажными губами, от ее крепких ног, проступавших под натягивающимся платьем. Солдат с дробинами сидел в кухне над дымящейся тарелкой каши...

Когда я вернулся домой, Валя встретила меня с туфлями в руках — в ее отдел попала по распределению пара туфель, и любившие ее сотрудники, устроив лотерею, позаботились, чтобы туфли выиграла именно она. И действительно уже невозможно было ходить в ее чуть живых, донельзя растоптанных туфлях.

Она весело рассказывала мне об этом, а я в припадке мстительного вдохновения рассказал о том, что произошло между мной и Дашей.

Ничего не произошло и не могло произойти, потому что ошеломленная солдатом с дробинами Даша едва ли видела меня или видела в неопределенном отдалении. Но я солгал, что мы случайно столкнулись в коридоре, я обнял Дашу — и она засмеялась. Да, засмеялась, как это ни странно! На замерзшем кухонном стекле она поставила мне «четыре». Мне захотелось доказать, что я могу получить и пятерку, и тогда — я понизил голос — она глазами показала мне на сарай. В сарае пахло березой и чем-то еще, корой от хвороста, лежавшего на земляном полу. Мы закрыли дверь на щеколду, а потом... Словом, ясно, черт побери, что было потом!

Почему-то у меня сильно дрожала одна нога, и хотелось, чтобы Валя сразу поняла, что все это — ложь. Но она не поняла. С туфлями в руках она плавно прошла в холодную полутемную комнату и заперлась на ключ.

Она не вышла к ужину. Я постучал. Она не открыла. Потом постучала мама — забеспокоилась, не больна ли Валя.

— Нет,— ответила она, не открывая дверь.— Или немного. Я полежу.

Была полночь, когда я сунул под дверь письмо, в котором не было и сотой доли того, что я чувствовал — неясно, но сильно. Я позвал ее:

— Валя!

Она не ответила. Я вернулся к себе и не уснул до утра... «Что же я сделал? — думалось мне.— Зачем я солгал? Я хотел отомстить ей. За что? В чем она передо мной виновата?»

И с отчаяньем, с раскаяньем я думал о Вале. Я вспомнил, как она стеснялась есть у нас за столом, пока не поступила на службу. Как в Камерном театре не сводила со сцены внимательных, расстроенных глаз. Как притворялась, что понимает мои стихи, как терпеливо слушала мой туманный вздор о Ван Гоге. Она — чистая, верная. Со своей смешной серьезностью, со своими накидочками и вышитыми полотенцами, со своим экзаменом, на котором она провалилась,— она в тысячу раз лучше меня. И все равно — солгал я или нет! Раз я мог так солгать, значит, мог так и сделать. Вот почему я теперь навсегда останусь с этой Дашей, с ее ногами, проступающими под натянувшимся платьем, с ее полной грудью и пьяными глазами. Или с другой Дашей, которая поставит мне пятерку на замерзшем оконном стекле...

Я вскочил и снова подошел к Валиной двери. Прислушался — все ходит, ступая ровно, бесшумно. Я позвал ее — шаги удалились, пропали.

И мне вспомнился тот весенний день, когда Емоция посадил меня на восемь часов в воскресенье, и она с прислушивающимся нежным загорелым лицом ждала, искала меня в отсвечивающих окнах. Больше она не ждала, не искала. Я горько убедился в этом, когда в седьмом часу утра влез со двора на крышу кирпичного сарая и увидел Валю сквозь грязное стекло окна: она все ходила легко и быстро, с косами, перекинутыми на грудь, в неподпоясанном платье. Мое письмо лежало у порога. Она даже не подняла его!

...Краешек знакомого платья не торчал из чемодана, когда я вернулся домой после работы. Все были расстроены, даже Катя. Мама попыталась привязать к ручке чемодана узелок с картофельными оладьями — Валя поблагодарила, поцеловала ее, но отказалась. Поезд в Псков отходил вечером, она не знала точно — в семь или восемь. Пропуска у нее не было, по своим документам она могла легко доказать, что приехала из Пскова. Билет? Подумаешь, она и в Москву приехала без билета!

— Не нужно провожать меня,— сказала она, не поднимая глаз, и ушла, милое, строгое, надолго исчезнувшее виденье.

ПОЭЗИЯ. ОСЕНЬ 1919-го

1

Рассказывая о своем детстве, я упомянул о поразившей меня независимости поэзии от каждодневной жизни. Поэзия существовала как бы над ней, и странности, которыми она отличалась, показались бы в жизни нелепыми и даже смешными.

В Москве это забытое чувство вернулось ко мне, но теперь не похожей на себя была сама жизнь. Ее прежняя ординарность, машинальность начисто стерлись. Дни не повторялись. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и оставлять их за собой приходилось по одному, в то время как прежде незаметно могли пролететь две-три недели.

Жизнь была полна неожиданностей, загадок, риска — казалось, что очередным декретом она могла потребовать, чтобы поэзия стала еще одним признаком ее полного несходства с внезапно отдалившимся прошлым. Самая ее атмосфера толкала к причудливости, волшебству, к праву *фантастического* на самостоятельность мысли и чувства.

2

Стихи, которые мы, пугая прохожих, громко читали на бульварах Москвы, а когда не терпелось — шептали друг другу на ухо, сидя на подоконниках Дворца искусств, сохранились в рукописях, быть может, лишь у тех немногих счастливцев, которые впоследствии стали известными поэтами. Мы не были центрифугистами или люминистами и не надеялись, что нашими произведениями заинтересуются такие солидные издательства, как «Хобо» или «Чихи-пихи». Бесчисленные маленькие поэтики, мы почтительно расступались перед красивым, высоким, веселым Шершеневичем, всегда окруженным влюбленными женщинами, перед маленьким Кусиковым, который старался казаться значительным, задумчивым. Он редко печатался. Когда я спрашивал о нем имажинистских девушек, у них появлялось религиозное выражение лица, и они отвечали вполголоса, почтительно: «Он пишет «Кореванrелиеран». Легко догадаться, что это название составилось из «евангелия», вставленного в «коран», и хотя

обе книги были, как известно, написаны давно и пользовались успехом, смелое намерение Кусикова и мне невольно внушало уважение.

Мы не печатались, но иногда удавалось литографированным способом выпустить тоненькую тетрадку, как это сделал Женя Кумминг.

Одна из его «театральных поэм» называлась «Смерть Варлена»,— Женя хотел показать, что он не остался в стороне от революционной действительности.

Луи Варлен, видный деятель Парижской коммуны, был заочно приговорен к смертной казни. Ему удалось бежать, но Женя, не считаясь с историей, привел приговор в исполнение.

Монолог, в котором Варлен рассказывает о защите последней баррикады, не лишен поэтического движения.

Горячий май змеился. Каждый волос —
В расправленном дыму. На баррикадах
Жакен, Валлес, Тринкэ. Последней местью
Вздуваются сухие вены. Горечь
Дымит во рту. Там взвод федералистов
Бросается в атаку...
Париж — костер. Заря едва плетется
Сквозь заросли порохового дыма...

Я писал хуже, чем Кумминг, но в другом ключе, быть может догадываясь, что подражать Антокольскому хотя и соблазнительно, но просто.

3

В голодной Москве, с торчащими через форточки трубами времянок, с балаганами Охотного ряда, раскрашенного кубистами, с картами фронта на площадях, с окнами РОСТА, в которых каждые три-четыре дня появлялись новые плакаты, шла настойчивая, острая литературная жизнь. О ней написано много, и, к своему удивлению, я нашел в одном из сборников СОПО (Союза поэтов) упоминание о «Зеленой мастерской» — так называлась маленькая группа, в которую входил и я. Не помню, чтобы мы хоть раз собрались в полном составе. Кажется, среди нас одно время была талантливая Н. Д. Вольпина. Была грустная горбатая девушка с необыкновенно большими глазами, о которой говорили, что она — бывшая княжна — истинная поэтесса, насколько я могу судить по

воспоминаниям тех лет. Был Теодор Левит, юноша необычайных способностей и познаний. Но был и Я. Полонский, однофамилец знаменитого поэта, впоследствии ставший известным врачом-гинекологом.

Почти каждый вечер мы встречались в Кафе Союза поэтов на Тверской.

Об этом кафе писали многие, но предпочтение, по-видимому, следует отдать воспоминаниям М. Д. Ройзмана «Все, что я помню о Есенине» («Советская Россия», 1973). Они бесстрастны. В самой неуклюжести, с которой написаны некоторые главы, чувствуется настоятельная правдивость. Почти одновременно издательство «Искусство» выпустило воспоминания художника В. П. Комарденкова «Дни минувшие». И эта книга — скромная, потому что автор мало пишет о себе и много о других — читается с признательностью и интересом. Но в деталях авторы расходятся; В. П. Комарденков пишет, например, что помещение для Кафе Союза поэтов оборудовал именно он вместе с художником Анненковым, который вскоре исчез, оставив всю работу на автора воспоминаний. Между тем Ройзман даже не упоминает Комарденкова.

О знаменитых брюках Василия Каменского, распластанных вдоль центральной стены рядом с клеткой из-под яиц, пишут оба. Но Комарденков утверждает, что под этим сооружением была какая-то хвастливая фраза Каменского, а на жердочке в клетке выставлена надпись: «Птичка улетела». Ройзман уточняет: под брюками белыми буквами были выведены строки:

Будем помнить Стеньку,
Мы от Стеньки, Стеньки кость,
И пока горяч кистень, куй,
Чтоб звенела молодость.

Он же пишет, что вдоль стены были гротескные рисунки и цитаты из Блока, Белого, Брюсова, имажинистов. Под красной лодкой были крупно выведены строки Есенина:

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Я не помню ни распластанных брюк Каменского, ни клетки из-под яиц — может быть, эта композиция надоела какому-нибудь нетерпеливому посетителю и, не долго думая, он сорвал ее со стены. Это случалось. Но стена, пестро расписанная стихами и рисунками, вспыхнула передо

мной с удивительной остротой: Ройзман описал ее с хозяйской заботливостью — скупо, но точно.

В кафе было два зальца: первое — побольше, с эстрадой, на которой читали стихи. Лестница в три-четыре ступеньки с зеркалами по сторонам вела в другое зальце — поменьше. Нам, маленьким поэтам, ходить в это зальце не полагалось: там днем заседали, а по вечерам пили — не только желудевый кофе — члены правления и гости, знаменитые люди.

4

Это произошло после вечера буриме — стихотворений на заданные рифмы. Председательствовал Брюсов. Он прочел рифмы, показавшиеся мне довольно слабыми, и наступила тишина, которую можно было бы назвать торжественной, если бы в верхнем зальце не шумели ничевоки во главе с хорошеньким, как девушка, Рюриком Роком. Поэты, у которых всегда был немного заговорщицкий вид, особенно когда они уединялись по двое, по трое, принялись за дело.

Опустив глаза, прямой, скрестив руки на груди, Брюсов сидел на эстраде в черном сюртуке, с крестьянским скуластым лицом, внушавшим самозабвенную любовь к русской поэзии. Он тоже сочинял, но в уме, в то время как мы наперегонки марали наши блокноты.

Я запнулся на второй строфе, в которой было слишком много «уж». Кроме того, я глазел по сторонам — в кафе были интересные посетители: вот пришел Блюмкин, левый эсер, застреливший германского посла графа Мирбаха. Какой страшный! Молодой, бородатый, черноволосый, нарочно громко хохотавший, чтобы все видели его крепкие белые зубы. Неужели и он пишет стихи? И мне представилось, что он не застрелил посла, а, громко разговаривая и смеясь, перегрыз ему горло.

Вот поэт Василиск Гнедов, тоже ничевок, утверждавший, что высшая ступень поэзии — белая страница. Он был неряшливый, добродушный, прожорливый, в падающих штанах, которые привычно поддерживал руками.

Брюсов негромко ударил ладонью по столу — это означало, что осталась одна минута. Поэтесса, о которой знали

только, что она влюблена в Шершеневича, первая прочла свой сонет. У нее тоже было много «уж», но ее это не остановило.

Потом выступилКумминг, не получивший приза только потому, что не удержался и срифмовал «метр Фрагонар» с Наташей Бэнар. Заданные рифмы были другие: самовар и антиквар. Наташа была рыженькая, тоненькая, быстрая и самая хорошенькая среди молодых поэтесс. Мы все были влюблены в нее, но Женя еще и посвящал ей стихи: фамилия Бэнар хорошо рифмовалась.

Потом выступил Василиск Гнедов, заявивший, что его сонет будет состоять только из трех слов: «будьте», «трава» и «сосиски». Последнее, если угодно, можно объяснить тем, что он не прочь бы сейчас пообедать. Его проводили аплодисментами, но не очень шумными, потому что он всем надоел.

Поэты из нашей «Зеленой мастерской» прочитали несколько талантливых, но по-детски неумелых сонетов, потом с короткой речью выступил огорченный Брюсов. Он сказал, что важно, без сомнения, повторять своих предшественников, но еще важнее — попытка новизны, даже несмелая.

— Нужно выбрать героя,— сказал он.— И мой герой — Пушкин, изучавший д'Аламбера, теорию вероятности, историю средних веков.

Он говорил о значении брошенного, непригодившегося, неоконченного.

— Когда я вижу, какое количество набросков, поразительных по глубине, осталось в бумагах Пушкина, мне становится не жалко моих никому не ведомых работ. Стихотворения, прочитанные здесь, кажутся слишком законченными. Шагая через поэзию, они на самом деле не заслуживают названия набросков.

Он говорил о простоте поэзии.

— Чтобы написанное было просто, это должен сделать писатель. Чтобы оно стало понятно, этого должен достигнуть читатель.

Я шепнул Женьке, что мы через пятнадцать лет поймем то, о чем говорит Брюсов. Женька согласился.

— И еще одно: в любительском спектакле — профессиональный актер,— прошептал он.

Женька слушал с восторгом. Но сонет, который прочел Брюсов в заключение, не понравился нам. Сонет был искусный, но холодный, и странно прозвучала «пленная

пена на взморье» рядом с такими словами, как «ультиматум» и «Совнарком».

Брюсов уехал, и неизвестно откуда появилось и стало быстро нарастать ощущение скандала. Симпатичный длинноволосый дядя в косоворотке появился на эстраде и заявил, что он отрицает имажинизм, символизм, футуризм, акмеизм и реализм.

— Что касается ничевоков,— сказал он,— то их надобно просто посечь. И незачем дробить стихи на отдельные строки, тем более что при этом даром пропадает много бумаги.

В доказательство он прочел свое стихотворение, начинавшееся так: «У меня заболели зубы, и сосед посоветовал мне полоскать их ромашкой с шалфеем».

Его проводили насмешками, свистом, топаньем ног.

Скандала еще не было, но все его ждали. Какие-то молодые люди в цилиндрах, с накрашенными губами, вышли на лесенку, которая вела из кафе, и переговаривались, презрительно усмехаясь. Пьяный лез на эстраду, его не пускали. Шум нарастал. Все говорили сразу.

Поэт С — в появился на эстраде. Он был в потертой бархатной куртке, в брюках с бахромой, в шелковом шарфе, небрежно повязанном на шее, и хотя ничего неожиданного не было в его претенциозной фигуре, почему-то стало ясно, что скандал сейчас или очень скоро начнется.

Это было время, когда по всей Москве были расклеены плакаты, изображавшие громадную коричневую, отвратительную вошь, перечеркнутую словами Ленина: «Вошь или социализм?» С — в был известен не столько своими стихами, сколько страстным стремлением не заболеть тифом.

На вечер буриме я шел вместе с ним. На мне был старенький, из толстого драпа плащ, застегивающийся на медную цепочку с львиными, тоже медными, мордами, в которых были спрятаны крючок и петля. Разговаривая, я закинул полу на плечо и остановился, заметив, что мой спутник испуганно отшатнулся.

Пола сползла. Я снова закинул. Он опять отскочил. Через несколько минут это превратилось в игру: пола сползала, я закидывал ее (теперь уже нарочно), он отскакивал с неопределенным, сердитым ворчанием. Потом все начиналось сначала. Это было загадочно, но вскоре я понял, в чем дело. Он боялся насекомых, которые могли (если бы они были) перескочить на него с плаща и заразить сыпным тифом.

Теперь этот смельчак стоял на эстраде и читал свои стихи. Его не слушали: стихи были плохие. Он оборвал на полуслове и вдруг в длинной, запутанной фразе, которую он старательно выговаривал, заранее пугаясь того, что он скажет, он обвинил Есенина в плагиате... у Рильке.

Это было, разумеется, вздором, который мгновенно потонул бы в насмешках, посыпавшихся со всех сторон, если бы на лесенке не появился Есенин.

Он тоже был в цилиндре, с накрашенными губами, как те молодые люди, но все это не только не шло к нему, но выглядело ненужным и жалким. У него было доброе юношеское лицо, не потерявшее спокойной доброты и внимания, когда он слушал высокий, возбужденный голос, старавшийся перекричать зал.

Видно было, что он удивился, но не очень, и, спустившись на ступеньку, послушал еще, кажется желая увериться в том, что С — в действительно обвиняет его в плагиате. Потом быстро, как мальчик, сбежал вниз, вскочил на эстраду и ловко ударил его по щекам, сперва слева направо, потом справа налево.

Все закричали сразу. С — в отпрыгнул, как кузнечик — это было смешно,— и закричал, размахивая руками.

Звон разбитой посуды послышался в кафе: это ничевоки ринулись в зал, еще не зная, кого бить, но уже засучивая на ходу рукава. Страшный Блюмкин хохотал на лесенке, показывая широкие белые зубы. Все смешалось, зашаталось, дрогнуло.

Есенин стоял, раздумывая. У него был сконфуженный вид. Он снова двинулся было к С — ву, кажется собираясь объяснить, за что он его ударил, но тот снова отпрыгнул. С недоумением махнув рукой, Есенин спустился с эстрады.

ЖИВОПИСЬ

Если бы моя жизнь в 1919 году не была переполнена остротой новизны... Если бы беспечность молодости не соединялась с жадным интересом к этой новизне... Если бы не совершилось незаметное, но стремительное повзросление души — я не стал бы через полтора года деятельным студентом двух ленинградских вузов.

Это «если бы» состояло из множества фактов, наблюдений, происшествий и встреч. Я слышал «Сто пятьдесят

миллионов» Маяковского в его собственном чтении. Я был поражен пылкостью Антокольского, у которого провел запомнившийся на всю жизнь вечер. Тоненький, легкий, красивый, он читал стихи с таким увлечением, что казалось, еще секунда — и он оторвется от пола, вылетит из окна и начнет кружить, парить над Москвой. На стене висел портрет поэта. И на портрете он летел против ветра, придерживая рукой поднятый воротник пальто, глядя в сторону скошенным, вдохновенным, внимательным взглядом. Недавно я узнал, что портрет был написан Юрием Александровичем Завадским. Комната, перегороженная шкафами, заваленная книгами, таяла, уплывала. Он читал, и чувство недосягаемости его поэзии томило и восхищало меня.

Во Дворце искусств я слушал пространные, блестящие лекции Луначарского и скупые, математические, саркастические — Сергея Боброва. Я совался всюду, куда меня не так уж и звали,— в Пушкинский семинар Вячеслава Иванова, например, или к Андрею Белому, который показал мне первый номер «Записок мечтателей». Там была напечатана статья Блока «Русские денди», которая оказалась причиной самого важного в моей жизни решения.

Из этих многочисленных «если бы» особое место занимала живопись. За полтора года, проведенных в Москве, мне удалось не только увидеть, но рассмотреть неповторимые по своей оригинальности холсты, к которым я возвращался всю жизнь. Первое впечатление жилой квартиры Морозова на Пречистенке стушевалось, стерлось, когда открылся Музей западной живописи, в котором я часто бывал в 20-х годах. Теперь мне кажется, что пролеты лестничной клети, раздвинутые контурными фигурами Матисса, я увидел впервые в этом музее. Они напоминали танцующих вавилонских богинь. Казалось, что их объединяет беззвучная, но повелительная мелодия.

Другие, теперь всемирно известные холсты Матисса долго висели в первом зале, на правой от входа стене, под углом к Ван Гогу, который поразил меня невозможностью писать иначе, настигшей его, как настигает судьба. Подолгу стоял я перед «Прогулкой заключенных». Ничего не зная о Ван Гоге, по одному этому холсту можно было угадать его приговоренность к мученичеству и непризнанию.

В зале Гогена я с головой кидался в странный разноцветный мир, к которому удивительно подходило само слово «Таити». Коротконогие коричневые девушки, почти го-

лые, с яркими цветами в волосах,— я смотрел на них с тем чувством счастья и небоязни, о котором Б. Пастернак написал в стихотворении «Ева».

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставит.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Но и это чувство так же, как воспоминания об Ассирии, когда я смотрел Матисса, так же, как попытки разгадать трагическую судьбу Гогена, не мешали еще чему-то очень важному — тому, что я видел как бы сквозь свои мысли и воспоминания и что доставляло мне особенное, совершенно новое наслаждение. Конечно, это был только первый шаг к постижению формы, которая, может быть, и должна оставаться незамеченной, но постижение которой с необычайной силой приближает нас к пониманию искусства.

ПРИЕЗД ЛЬВА

И Кафе поэтов, и Художественный подотдел, и лекции во Дворце искусств, где я бывал чаще, чем в университете, и новая поэма Кумминга «Петрушка-пилигрим», и имажинистские девушки, среди которых одна, очень хорошенькая, кажется, была готова отказаться от безответной любви к Шершеневичу и подарить ее мне,— все это как ветром сдуло, когда с фронта приехал Лев.

Это произошло неожиданно, его не ждали, хотя в одной из последних посылок была записка о том, что он, может быть, получит недолгий отпуск. Он приехал похудевший, окрепший, веселый. В новом кожаном костюме он был похож не на скромного полкового врача, а по меньшей мере на командира дивизии. Впрочем, этот костюм он вскоре сменил на штатский, потому что, когда он садился, непроницаемые кожаные штаны издавали неопределенный, вздыхающий звук.

— Не дыщат,— смеясь, объяснил Лев и надел свой лучший костюм, который носил только в исключительных случаях. Уж не произошел ли в его жизни исключительный случай?

На второй или третий день он устроил вечеринку, на которую позвал близких друзей — в том числе, разумеет-

ся, Захарова, с которым встретился особенно сердечно. Были и девушки. Одна, лет двадцати пяти, толстенькая, пучеглазая, поминутно краснела. Лев представил ее: врач — и превосходный. Толстенькая была, очевидно, влюблена в Захарова. Он смеялся, шутил, был очень любезен с ней, но еще более — осторожен. Не помню, как ее звали. Другую звали Мара Шевлягина. Она только что кончила медицинский, стало быть, тоже была врачом, хотя в ее наружности решительно ничто об этом не напоминало. Костюм мадам Рекамье пошел бы ей гораздо больше, чем медицинский халат. Высокая, с грациозной и в то же время решительной походкой, она была на редкость хороша собой, но не сдержанно хороша, как Катя Обухова, а вызывающе, ярко. О ней можно было сказать, что она всем взяла — и ростом, и здоровым румянцем щек, и блеском черных глаз, и блеском небрежно прибранных красивых черных волос. Мне сразу почудилось, что женственность и деловитость счастливо соединяются в ней.

Будущее показало, что я не ошибся. В этом отношении она была полной противоположностью Кате, в которой ум, ирония, гордость таились до поры до времени и которая как будто ленилась противостоять тому, что могло с ней случиться. Мара не ленилась. Понятия судьбы для нее не существовало. Она сама хотела стать судьбой по меньшей мере для одного избранного ею человека. Однако надеяться на избрание этот человек, по ее мнению, не только не должен был, но и не смел.

Это был вечер, на котором я впервые почувствовал себя наблюдателем чужой, скрытой от посторонних глаз жизни. Еще ничего не было решено, все казалось накатившим внезапно, с размаху. Можно было подумать, что впервые они встретились утром этого дня. Кажется, так или почти так и было. Всегда Лев держался весело, непринужденно, но на этот раз он еще и старался так держаться, и Мара находчиво ловила его на этих почти незаметных усилиях. Но и она была в счастливом напряжении. Все, что она делала или говорила, для нее самой было непривычно и ново, но она не боялась этой новизны, а в ее смелости подчас проглядывала даже и грубоватость.

Они были наедине в этот вечер, и для них ничего не значило, что вокруг разговаривали, пили, спорили, смеялись. На столе, по тем временам необыкновенно богатом, стояла даже бутылка самогона, превращенного с помощью

сложного химического процесса «в нечто вроде коньяка»,— и Лев забавно рассказал об одном любителе этого «коньяка» — адъютанте командира полка. На первой стадии адъютант на все вопросы отвечал по-французски: «Почему?», а на последней, уже лежа: «Не знаю» — тоже по-французски. Других слов на этом языке он не знал.

Все смеялись, кроме Мары — по-видимому, она не находила адъютанта смешным.

Лев не забыл, что перед ним — молодой врач. Мара родилась и выросла в Коломне, устроилась на работу в Москве; он заботливо расспрашивал ее, она отвечала и серьезно и посмеиваясь — как будто давая понять, что не сомневалась в том, что он заговорит о «первых больных, которых она поставила на ноги». Это было сказано в духе Льва, чуть-чуть высокопарно.

Разговор стал общим; толстенькая девица, хватив «коньяка», напропалую кокетничала с Захаровым, он хохотал и вежливо отбивался. Катя сидела бледная и молчала, мама осаживала Сашу и не могла наглядеться на любимого старшего сына. Потом все стали просить Льва рассказать еще что-нибудь, и он рассказал — но не о фронтовых или медицинских делах.

— О юридических,— сказал он.— Угодно?

И действительно, история была любопытная. Однажды к нему пришел красноармеец с простреленной ладонью. Ладонь была обожжена. Не было сомнения в том, что он сам прострелил ее — и с очень близкого расстояния. Красноармейца отдали под суд как самострела. Приговор мог быть только один — смертная казнь.

Но белобрысый курносый мальчишка, пошедший в армию семнадцати лет, утверждал, что, стоя на часах, он сделал шаг в сторону, а так как место было неровное и накануне шел дождь, невольно оперся на винтовку. От удара о землю она выстрелила. Несмотря на боль и кровотечение, он не оставил поста.

— Зачем же мне, товарищ защитник, себя стрелять, если я добровольцем пошел? Мой год еще не призван.

Лев был назначен защитником. Он энергично убеждал красноармейца сознаться. Куда там! Мальчишка упорно настаивал на своем.

Следствие продолжалось три дня. Экспертная комиссия дала заключение: винтовка исправна. Что было делать? Лев прилежно изучил учебник по стрелковому оружию — может быть, удастся оспорить заключение комис-

сии? Он отправился к председателю суда — в недавнем прошлом молодому петроградскому рабочему, благожелательному, чуждому нарочитых подозрений.

Разговор был недолгий.

— Нет, доктор, самострелов надо расстреливать перед фронтом. И никакой пощады.

Настал день суда. Еще в гимназии Лев собирался идти на юридический, в университете он был одним из лучших ораторов, и можно не сомневаться, что ему удалось произнести блестящую речь. Показание подсудимого он подтвердил с медицинской точки зрения: у красноармейца на стопе была хроническая язва, и ему было трудно долго стоять, опираясь на больную ногу. Заключение экспертов он оспорил — недаром же два дня он штудировал учебник. Он вызвал свидетелей, которые удостоверили, что ночью шел проливной дождь. Он заставил членов суда осмотреть то место, где стоял его подзащитный, и доказал, что поскользнуться было очень легко.

Никого он не убедил и ничего не добился. Винтовка была разобрана в присутствии оружейного мастера, и на все вопросы тот отвечал определенно: винтовка исправна, выстрелить не могла.

Все было ясно. Председатель суда и Лев обменялись взглядами: «Не выходит твое дело, доктор»,— так можно было понять выражение, с которым председатель посмотрел на Льва.

Оружейный мастер собрал винтовку, вложил затвор, оставив его в зарядном положении, и приставил ее к столу, за которым сидели члены суда, слегка ударив прикладом об пол. И винтовка «выстрелила», боек сработал. Жизнь красноармейца была спасена.

— Честное слово, я не помню, чтобы прежде был когда-нибудь так счастлив! — смеясь, сказал Лев.— Я просто ликовал.

Казалось, он даже не смотрел на Мару, а все-таки рассказывал все это ей, а не нам. И мне представилось, что он как будто ведет ее куда-то в толпе, повернувшись к ней лицом, глазами, всем существом, и она шла беспечно, насмешливо слушая, только чтобы поймать его на неловком слове, передразнить,— и все это смущаясь, краснея.

Я спросил, почему же винтовка вдруг выстрелила, и Лев ответил, что это так и осталось неясным.

— Думаю, что оружейный мастер подшлифовал спусковой механизм. Кстати, это был человек лет пятидеся-

ти, с добрым лицом. Должно быть, не умом, а чувством разгадал, что парнишка говорит правду.

Таков был этот вечер, на котором я впервые почувствовал себя наблюдателем чужой, скрытой от посторонних глаз, напряженной жизни.

Я всегда любил брата, а в этот вечер еще и любовался им, не потому, что он стал другим, а потому, что редко я с такой ясностью понимал его душевное состояние. Он был, что называется, «в полете» — и с изумлением я вдруг ловил в его твердых серо-зеленых глазах почти умоляющее выражение.

Наверное, кроме меня только Катя понимала, что между Марой и Львом шел взволнованный, может быть, решающий разговор, который не имел никакого отношения ни к приготовлению «коньяка», ни к юридической деятельности брата. Высокие, красивые молодые люди были в чем-то очень важном странно похожи, и это сходство одновременно и притягивало и отталкивало их друг от друга.

Перед отъездом Лев поговорил со мной очень откровенно и по-братски сердечно. Он сказал, что не понимает, почему Катя, показавшаяся ему не только красивой, но незаурядной — развитой и умной,— вышла за Сашу.

— Интеллектуальный мезальянс? — задумчиво спросил он.

Я не знал, что ответить.

Еще меньше мог он понять, почему Катя сидит сложа руки, в то время как Саша часами барабанит на рояле в захудалом кино и еще прирабатывает в каком-то рабочем клубе.

Маму он нашел постаревшей, очень усталой, и хотя не признался, что идея «нового семейного дома в Москве» провалилась, но в туманных выражениях все же как бы признался. Из столовки я ушел, по его мнению, напрасно, тем более что Фиттих, кончив пятый курс, уехал на фронт. Впрочем, Лев понимал, что служить в Художественном подотделе все-таки интереснее, чем резать хлеб и разносить его по столам.

— Словом, на тебя все-таки вся надежда,— вздохнув, сказал он.— Береги мать. Сам видишь, какое время.

До поздней осени Мара жила в Коломне, а зимой переехала к нам.

Теперь в квартире жили две красавицы, мало интересовавшиеся друг другом. Одна из них уезжала в больницу без четверти семь и возвращалась поздно, а другая читала, вышивала и наводила в своей комнате фантастический, по тем временам, блеск и порядок.

Ничего, в сущности, не изменилось. Только мама все чаще и чаще стала повторять, что хорошо бы ей вернуться в Псков.

ЛЫЖНЫЙ БАТАЛЬОН. ССОРА

Это случалось со мной очень редко, но я затосковал после отъезда брата. В сущности, везде был фронт — и в Москве, и на Дону, и на Дальнем Востоке. А все-таки самое главное происходило там, откуда приехал Лев, а не здесь, где я время от времени ходил в университет на лекции Сакулина, писал и читал стихи и проводил вечера в Кафе Союза поэтов.

...Вот уже недели две — это было в конце ноября,— проходя по Кузнецкому, я останавливался перед небольшой листовкой, наклеенной на дверь заколоченного подъезда. Не помню, какая организация формировала лыжный батальон. С неопределенным чувством вины перед теми, кто шел на Кадашевскую набережную, где формировался этот батальон, я проходил мимо листовки, чтобы с головой погрузиться в дела Художественного подотдела.

Но дня через три после отъезда Льва я, постояв с минуту перед этой листовкой, вернулся на Петровку, а потом долго бродил по Красной площади, ни о чем, кажется, не думая, и меньше всего о том, что Рашель уже давно проклинает меня, в десятый раз принимаясь за рапорт о моем увольнении.

День был солнечный, морозный, Василий Блаженный стройно и прочно стоял или даже сидел, разноцветно блистая. Скульптура Коненкова «Стенька Разин со товарищи» была выставлена на Лобном месте, и раскрашенные фигурки, в сравнении с собором, казались маленькими, как игрушки.

Ветерок, сдувавший с сугробов белую пыль, пробивался и под короткие полы моего полушубка. Телеги грохо-

тали по деревянному настилу Замоскворецкого моста, каждый звук отдавался пусто и звонко.

Как передать чувство, с которым я шел записываться в лыжный батальон? Здесь был и страх, которого я стыдился, и соблазнительное желание вдруг все изменить в жизни, не раздумывая, с размаху. И неясные обрывки неизбежного разговора с мамой. И чувство, что я держу в руках что-то режущее, колючее — то, что уже нельзя ни отстранить, ни остановить.

На Кадашевской набережной, в небольшой, пустой, холодной комнате сидел за столом средних лет человек в кожухе и барашковой шапке. Возможно, я попал в неурочное время, потому что он был совершенно один. Шея была закутана толстым шарфом, который он отодвинул, подняв голову и увидев меня,— тогда показались рыжие усы.

— Тебе чего? — спросил он.

Я объяснил, что пришел записаться в лыжный батальон. Он пониже отодвинул шарф. Теперь стал виден небритый подбородок.

— Сформировался и ушел,— сказал он.— Недели две будет. А ты на лыжах когда-нибудь ходил?

Я честно сознался, что нет.

— Ну вот. Сколько лет?

— Семнадцать.

— Призовут на будущий год, тогда и пойдешь. Где работаешь?

Я ответил.

— Ну и работай себе на здоровье.

Он снова закутался шарфом. Очевидно, говорить больше было не о чем.

Я попрощался и вышел.

Почему я так озверел после этой неудачи? Рашель послала меня в «Летучую мышь», я ответил, что не пойду, потому что меня в конце концов спустят с лестницы в этом театре. Женя Кумминг закончил своего «Петрушку-пилигрима», позвал меня к себе (что бывало редко), и я неожиданно разнес этого «Петрушку», хотя сейчас, когда пишутся эти страницы, вижу, что это была лучшая из его «театральных поэм». Затейливая, живая, она напоминала одновременно и русские лубочные картинки, и средневековый миракль.

Петрушка и Заморская Снегурочка влюбляются друг в друга, но Самаркандский купец отнимает у него неве-

сту, и она, соблазнившись голубым жемчугом и персидскими коврами, выходит за него замуж. Проходит сорок лет, и праздношатающаяся леди Судьба рассказывает о том, что Петрушка стал святым человеком. «Два раза он ходил пешком в Иерусалим. Два раза целовал священную туфлю моего личного друга папы Бенедикта».

Похожий на столетнего юродивого, Петрушка умирает у ограды дома Заморской Снегурочки. Поэма кончается занимательно: Петрушку причисляют к лику святых.

ПАПА БЕНЕДИКТ

Мы слушали с великим нетерпеньем
Простой рассказ о подвиге Петрушки.
Мы тронуты. Мы, Бенедикт Блаженный,
Молитвами причислим ныне к лику
Святых отцов Петрушку-пилигрима.

Но любовь к озорству не покидает героя. Проплывая перед папой и кардиналами, он показывает им длинный нос...

До сих пор мне нравилось все, что писал Кумминг, и на этот раз, окончив чтение, он, без сомнения, ждал, что я его похвалю. Но, промямлив что-то для начала и рассердившись на себя за нерешительность, я сказал, что поэма не удалась.

— Ты находишь? — поджав губы, спросил Женя.

— Да, нахожу.

— Почему?

— Потому что праздношатающаяся леди Судьба похожа на праздношатающегося автора. И ей и ему нечего сказать. Почему Петрушка называет Самаркандского купца сыном Катушки? Какой Катушки? Почему он говорит: «Теперь я теряю свою размеренную, сладкую речь»,— и продолжает говорить совершенно так же, как прежде?

Кумминг позеленел. Он встал и медленно прошелся по комнате. Я давно привык к его «некрасоте», но как будто впервые заметил его нескладное, неуклюжее сложение, его слишком широкие плечи, узкие бедра и длинные, обезьяньи руки. Ему было двадцать лет, но сейчас, когда у него обиженно набрякло лицо, он выглядел гораздо старше.

— Ты что, с цепи сорвался? — спросил он.

Я засмеялся. Мне стало весело и захотелось сказать еще что-нибудь — похлестче.

— Как там у тебя?

И я процитировал его стихотворение, посвященное Наташе Бэнар:

Пленительный метр Фрагонар
Мечтал ли об огненной деве?

Стихотворение кончалось риторическим вопросом:

А знаешь ли? Ведь я ослеп в аду.

— А собственно, кто тебя заставляет жить в этом аду? Махнул бы к родителям! Где они у тебя? В Берлине? В Париже? Интересно, знают ли они, что ты служишь в угрозыске и ловишь мешочников на вокзалах?

Он подошел к двери и, картинно ударив ее ладонью, распахнул настежь.

— Ясно,— сказал я, застегивая полушубок.— Да, забыл... Там у тебя есть еще какой-то горбатый клоун Бем. Его ты содрал у Антокольского. Прощай.

ВЕЧЕР В КАФЕ ПОЭТОВ

Я был уверен, что мы поссорились надолго, может быть, навсегда. Не прошло и двух недель, как под вечер, когда, вернувшись со службы, я рисовал улицу, на которой жил портной Шваммердам, герой моего первого рассказа, в дверь постучали. Я открыл. Веселый, прифрантившийся Кумминг поздоровался как ни в чем не бывало.

— Пошли в Кафе. Сегодня интересный вечер. «Искусство или агитация». Коган против Айхенвальда.

Я ответил:

— Пошли.

Мы о чем-то говорили дорогой, но «Петрушка-пилигрим» упомянут не был. Кумминг как будто молчаливо признал, что отношения между нами изменились. И не потому, что мне не понравилась его поэма, а потому, что я разругал ее грубо. Он понял, что это произошло не только потому, что я был в дурном настроении: мне надоел его учительский тон. И теперь я с облегчением чувствовал, что с меня как бы снялось добровольное обязательство восхищаться всем, что он написал.

Но, казалось, и он был доволен: редко я видел его в таком хорошем настроении. Он что-то насвистывал, шутил...

— Уж не жениться ли ты собрался?

Он засмеялся.

— Нет. Знаешь, а ведь я ушел из угрозыска.

— Почему?

— Мне предложили другую работу,— сказал он значительно.— Точнее сказать, я сам себе ее предложил. И получил согласие.

— Что же это за работа?

— А вот поговорим... Не сегодня. Вопрос должен решиться на днях. Впрочем, я уверен в успехе.

Когда мы пришли в Кафе, уже не было свободных мест, и весь вечер мы простояли. Коган и Айхенвальд сидели на эстраде за двумя маленькими столиками, и хотя они спорили длинно и вежливо — их слушали, что в Кафе случалось сравнительно редко.

Я впервые видел знаменитых критиков. У Айхенвальда было нерешительное, мягкое лицо, и он выглядел моложе своего противника, хотя они были приблизительно одного возраста, лет сорока пяти. Держался он свободно, иногда подчеркивая изящным, но сдержанным жестом какое-нибудь особенно значительное слово. Коган производил более определенное впечатление: в нем было нечто геометрическое — крепко посаженный прямой нос, усы стрелками. Он был ниже ростом, говорил не такими длинными фразами и держался увереннее. Почему-то в нем чувствовался человек добрый.

Спор, сколько мне помнится, заключался в том, что Айхенвальд решительно отрицал тенденцию в искусстве, а Коган доказывал, что понятие тенденции естественно входит в эстетический критерий, «если его не ставить вверх ногами». Айхенвальд настаивал, что критика сама по себе явление искусства, а Коган утверждал, что, даже если это так, нельзя ставить знак равенства между критикой и историей литературы. Наука ли вообще история литературы? «Нет»,— мягко, но настойчиво повторял Айхенвальд. «Да»,— убедительно доказывал Коган.

Айхенвальд упрекал своего противника в том, что он проповедует политический утилитаризм, между тем политика по своей природе чужда всяческому искусству. В ответ Коган язвительно упрекнул Айхенвальда в том, что он, еще недавно опубликовавший книгу изысканных эссе, назвав ее «Силуэты русских писателей» (слово «силуэты» он язвительно подчеркнул), сам внезапно превратился в политика, исповедующего весьма определенные

взгляды. И он процитировал какую-то статью Айхенвальда, в которой тот утверждал, что большевики как революционеры, торжествующие, захватившие власть, ничем не напоминают своих предшественников в литературе и жизни.

Спор был в разгаре, когда пришел Маяковский. Он вошел и остановился в дверях, очень похожий на известный фотопортрет, который висит в доме его имени в Ленинграде. Мне случалось видеть его и прежде. Но еще никогда он не был так похож на самого себя: именно он написал «Флейту-позвоночник». Именно он оскорбил хрестоматийную поэзию, назвав свою поэму «Облако в штанах». Именно он предсказал революцию в поэме «Война и мир»...

«Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий,— писал в «Охранной грамоте» влюбленный в него Пастернак.— Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивал глаза и не поворачивал головы, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные отрывки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотой разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то, предшествующий всем дням, его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно».

В тот вечер, заглянув на диспут, он недолго послушал, поглядывая исподлобья то на Когана, то на Айхенвальда,— и улыбнулся. Должно быть, они показались ему старомодно смешными в своих твердых белых воротничках и отглаженных костюмах.

Он пришел с красивой молодой женщиной, и она сразу же стала что-то говорить ему. Он слушал вежливо, но, кажется, равнодушно. Потом открылись прения. Маяковский выступил, и я впервые услышал этот голос, который связан с многими стиховыми «Америками», открытыми Маяковским, голос человека, писавшего стихи, которые невозможно читать шепотом.

На эстраде он утвердился между двумя столиками, за которыми сидели критики, и начал с того, что «не видит разницы между Коганом, сидящим справа, и Коганом, сидящим слева». Раздался хохот. Остолбеневшие критики

помедлили, не зная, как поступить, а потом обиделись и ушли — сперва сторонник утилитаризма в искусстве, а потом, презрительно усмехнувшись, сторонник искусства без утилитаризма. А Маяковский отставил столики и стал расхаживать по эстраде. Он один занял ее, причем не только в пространстве, но и во времени, заменив собою весь длинный список еще не выступивших ораторов. Нельзя сказать, что он высоко оценил значение диспута. Он приблизительно подсчитал, сколько времени потеряно даром, и получилось, что около ста восьмидесяти человеко-часов.

— Что можно сделать за сто восемьдесят человеко-часов? — спросил он.— Многое.

И он предложил нам убирать снег на улицах Москвы — мероприятие, с которым не могли справиться домовые комитеты.

— Маяковский, прочтите «Сто пятьдесят миллионов»,— крикнул кто-то.

Он объяснил, что это невозможно. Поэма выходит без имени автора. «Сто пятьдесят миллионов — автора этой поэмы имя». Если он ее прочитает, станет ясно, кто ее написал.

Со всех сторон закричали:

— Не кокетничайте! А так не догадаются?

— Володя, прочтите,— негромко сказала женщина. Она сидела в первом ряду. Он исподлобья посмотрел на нее и послушно стал читать...

Поздно вечером наша «Зеленая мастерская» в полном составе возвращалась из Кафе поэтов.

Москва была таинственная, огромная, заваленная снегом, искрившимся под луной. Мы шли и громко читали Маяковского:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

— На днях я к тебе загляну,— прощаясь, сказал Кумминг.— Это дело, о котором я тебе говорил... Возможно, что оно покажется тебе любопытным.

ИДЕЯ КУММИНГА

1

Я мог есть что угодно, даже тюрю из заплесневевших каменных крошек хлеба. Но мама почти перестала есть, все подсовывала нам и сердилась в ответ на мои уговоры. Она получала хлеб по второй категории, а мы все — и даже Катя, которая нигде не служила,— по первой. Васька Холобаев влюбился в нее и устроил первую категорию, хотя никто его об этом не просил.

Тяжелый, вязкий хлеб был даже и не похож на хлеб. Не знаю, что подмешивали в муку, но, высыхая, он разламывался, как штукатурка. Все время хотелось есть, и я жалел, что ушел из столовки.

Иногда мы покупали на Сухаревке дуранду — плоские, твердые, как камень, лепешки из отжатого льняного семени или конопли. Мама разбивала их молотком, размачивала, перемалывала, прибавляя горстку муки, и готовила с помощью еще сохранившихся специй полный обед — суп с клецками и оладьи. К сожалению, это случалось редко.

Играя по вечерам в кино «Великий немой», Саша устроился еще в двух клубах. Иногда я ходил с санками на вокзалы, но меня не нанимали, профессиональные «рикши» были проворнее и сильнее, чем я. Раза три в неделю надо было откинуть снег перед домом и во дворе, у черного хода. Чувство слабости проходило не сразу, сменяясь злостью, помогавшей делу. Злились мы на известного впоследствии историка литературы Н. Ф. Бельчикова, который жил где-то над нами. Наблюдение за снежной повинностью домком поручил ему.

Мысль, что надо куда-то поехать, что-то продать, променять и вернуться с продуктами, высказывалась неоднократно. Но как это сделать? И кто поедет? Очевидно, Саша или я — ездили же мы из Пскова в деревню за картошкой! Но он не мог оставить работу, а я мог. Мне нетрудно было отлучиться на несколько дней, я мог откровенно поговорить с Рашелью. Стало быть, я. Куда?

Именно в это время — весной двадцатого года — подоспел со своим предложением Кумминг.

2

Размышляя о нем теперь, когда пишутся эти страницы, я понял, что в юности оценил его поверхностно и невнятно. Он казался мне человеком однозначным. К поэзии, которой он был бескорыстно предан, могло присоединиться все что угодно — квартира, битком набитая дорогими вещами, прекрасный паек в угрозыске, язвительные рассуждения о «плебее». Самим собой, казалось мне, он был только в поисках своей непостижимой поэтической цели.

Но поэзия не выражала той стороны его личности, которая определяется понятием «дело». В «деле» он был смелее и талантливее, чем в поэзии, в особенности если это было крупное и рискованное дело. В уголовный розыск он пошел, потому что риск там отлично уживался с «делом». Однако задерживаться в угрозыске, где его действительно очень ценили, он все-таки не собирался. Хотя он и написал в стихотворении, посвященном Наташе Бэнар, что он «ослеп в аду», ему хотелось, по-видимому, сделать в этом «аду» карьеру.

Через несколько дней после диспута «Искусство или агитация» он явился ко мне с длинным, напечатанным на отличной бумаге командировочным удостоверением, которое было подписано кем-то из видных деятелей. В удостоверении было сказано, что предъявитель его направляется в Харьков, как управляющий делами такого-то комиссариата. Это было высокое назначение. Все советские организации, равно как и отдельные лица, приглашались содействовать Е. Куммингу как в дороге, так и при выполнении порученной ему ответственной задачи.

Я внимательно прочитал командировку.

— У тебя, оказывается, высокие связи?

— Положим,— ответил он небрежно.— И что же?

— Да нет, ничего. Что это ты вдруг собрался?

Он объяснил, что не намерен долго оставаться в Харькове. Не пройдет и полгода, как он вернется в Москву. А там... И несколько туманно, но красноречиво он наметил свою дальнейшую перспективу: поднимаясь по служебной лестнице, он надеялся, что через года два ему удастся занять пост руководителя одного из комиссариатов — может быть, внешней торговли.

— Разве у нас есть такой комиссариат?

— Нет. Но будет.

Я подивился его уверенности. Трудно было представить себе, что передо мной — автор «Петрушки-пилигрима».

— Ну что ж! Как говорится, с богом. Но при чем здесь, собственно, я?

— Не догадываешься? Я пришел, чтобы предложить тебе поехать со мной.

— Это еще зачем?

— Ты будешь назначен секретарем комиссариата.

— Позволь, но, по-моему, такой должности нет.

— Может быть. Тогда придется ее учредить. Такой-то,— он назвал известную фамилию,— не возражает. Я уже говорил ему о тебе. На Украине сейчас нужны исполнительные работники,— прибавил он, очевидно повторяя чью-то фразу.— Не понравится — вернешься. Или ты предпочитаешь оставаться на побегушках у своей Рашели?

Предложение было ошеломляюще неожиданным, и я даже подумал — не подделал ли он командировку? Но нет: она была аккуратно напечатана на бланке (не помню, какого комиссариата), справа стояли подписи, слева — четкая круглая печать. Да и с какой стати взялся бы он за такую опасную затею?

— Ну, вот что: я не поеду.

— Почему?

— Я не хочу быть секретарем комиссариата.

— А кем ты хочешь быть?

— Я хочу учиться и писать.

— Питаясь воздухом?

Он знал, что в семье решено было отправить меня куда-нибудь за продуктами, и стал убедительно доказывать, что мне никогда не представится лучшей возможности, чем та, которую он предлагает. Без пропуска ехать опасно, на первой же станции меня ссадят, и хорошо еще, если мне не придется по шпалам тащиться домой. Ему-то, как специалисту по мешочникам, я могу поверить. Между тем из Харькова я могу послать родным все что угодно — муку, крупу, малороссийский шпик. И наконец, если мне не понравится, кто мешает мне вернуться в Москву? Кстати, в Харькове свой круг поэтов, и с некоторыми из них (помнится, он назвал Арго) он — в приятельских отношениях. Он убеждал, настаивал, почти кричал на меня — и я в конце концов согласился.

На другое утро он принес мне командировку: я направ-

лялся в Харьков, в такой-то комиссариат, для работы «по усмотрению управляющего делами».

Следовало бы посоветоваться с мамой, но, зная, что она не станет меня отговаривать, я просто сказал, что еду с Куммингом в Харьков, откуда буду по возможности часто отправлять продовольственные посылки. Она расстроилась: сыпняк. Но куда бы я ни поехал, всюду был сыпняк, а Женя обещал, что мы поедем в отдельном купе, в мягком вагоне,— и, кстати сказать, сдержал обещание.

Отъезд был назначен, когда я получил открытку от Толи Р. из Бутырской тюрьмы. Он просил меня зайти к его хозяйке, чтобы заплатить за минувший месяц и за два месяца вперед. Ему не хотелось терять комнату, он рассчитывал скоро вернуться. «Свидания и передачи разрешаются»,— писал он.

НА БОЖЕДОМКЕ

...Перечитывая эту открытку, я вспомнил сентябрьские сумерки 1919 года, когда я шел куда-то по Тверской, и вдруг совсем близко раздался взрыв — такой сильный, что земля, казалось, дрогнула под ногами. Грохот далеко раскатился, рванувшиеся камни пронзительно засвистели, и мне сразу же представились взлетевшие в воздух распластанные тела.

Не прошло и пяти минут, как на пустынной улице появились люди. Двое штатских остановили меня.

— Оружие есть?

— Нет оружия.

Я показал свое студенческое удостоверение, и меня отпустили...

Как это выяснилось на следующий день, картина, которую я вообразил, ничем не отличалась от действительности. Был взорван Московский комитет партии, и погиб при взрыве его секретарь, известный Загорский.

Почему я решил, что бомбу подложили левые эсеры? Не знаю. Я любил Толю и как-то по-родственному сердился, что мне постоянно приходится за него бояться. Если левые эсеры, он, без сомнения, был среди них. И мне представился тайный сговор, споры, решенье, выбор того, кто, может быть, сам погибнет при взрыве.

Бомбу подложили анархисты. Их разоружали несколько раз. Еще в 18-м году с бою был взят «Дом анархии»,

особняк на Малой Дмитровке. В городе говорили, что взрыв в Леонтьевском был устроен главой анархистов, известным артистом Мамонтом Дальским.

Толя снимал комнату на Божедомке,— потом я узнал, что улица называлась так странно, потому что в конце ее, недалеко от Марьиной рощи, был «божий дом», приют для престарелых. Но и не зная этого, я почему-то думал, что на Божедомке живут богомольные старушки, которые ходят в черных платках. В квартирах пахнет сушеными грибами, и перед иконами теплятся в деревянном масле фитильки лампадок.

Именно такая старушка встретила меня в квартире у Толи. Она была в старомодном салопе и, очевидно, только что вернулась домой, потому что аккуратно складывала головной платок и собиралась снять салоп, когда я вошел.

Мы поздоровались. Я сказал, что получил открытку от Анатолия Ильича, который неожиданно уехал на родину, в город Остров, а меня попросил достать из его письменного стола деньги и передать ей квартирную плату. Она выслушала меня, сняла салоп и неторопливо повесила его в гардероб, занимавший почти половину передней.

— Пожалуйста,— сказала она радушно.

Головка у нее была маленькая, с желто-седыми, гладко причесанными жидкими волосами, лицо — худое, бледное, спокойное.

— Только у него с утра один молодой человек сидит,— тихо сказала она.— Он — приятель Анатолия Ильича и бывал у него очень часто. Так что я его оставила, а сама ушла.

Она помедлила.

— Он, впрочем, мне сказал, что Анатолий Ильич не на родину уехал, а по какой-то причине месяца два-три должен провести на другой квартире.

Я покраснел. Как мне не пришло в голову, что Толю могли арестовать — и даже, наверное, арестовали — в его комнате? К чему я так глупо соврал? Ведь она, может быть, даже присутствовала при аресте? И как деликатно вышла она из неловкого положения.

Она показала мне дверь. Я постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Я был настроен решительно. Мне казалось, что можно еще что-то исправить, изменить...

Комната была небольшая, но светлая, в два окна, и, по-видимому, хозяйка убрала ее после ухода Толи. На стене висело его зимнее пальто, прикрытое простыней, кни-

ги — на полочке, на подоконнике — были составлены аккуратно. За письменным столом сидел человек и перебирал бумаги. Он встал, когда я вошел.

Это был студент, лет двадцати пяти, белокурый, плотный, невысокого роста. В широком бледном лице, довольно красивом, если бы не слишком короткий нос, была медлительность, замкнутость, твердость. Впоследствии я замечал эту особенную твердость у людей, постоянно носивших оружие. Оттенок напряженности мелькнул в светлых глазах, когда он увидел меня.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

...Не только разговор между нами запомнился мне от слова до слова. Разговор был самый обыкновенный. Мне запомнилась неизвестность, состоявшая из смятения, догадок, недоверия, инстинктивного испытания, которое мы волей-неволей должны были устроить друг другу. Я не знал, кто передо мной, он — в этом не было сомнения — принял меня за сотрудника Чека. В первую минуту именно это я подумал о нем. Мы стояли в двух шагах и смотрели друг другу в глаза. Что-то деревянное, прочно вырубленное было в его твердой фигуре, квадратном лице, холодных глазах, чуть-чуть удивленных. Никто не заговаривал первый. Наконец я не выдержал.

— Я получил от Анатолия Ильича открытку. Он просит взять в его письменном столе деньги и заплатить хозяйке. За прошлый месяц и за два вперед.

Студент не двинулся с места. Своим молчанием и неподвижностью он ясно давал мне понять, что я не подойду к столу, прежде чем он мне этого не позволит.

Я и прежде сердился на Толю за то, что его посадили. Теперь этот студент, который вел себя в его комнате, как хозяин, взбесил меня.

— Послушайте, я вас не знаю и не хочу знать. И плевать я хотел на то, что у вас там лежит, в столе, кроме денег! Я знаю Толю давным-давно, он пять лет жил в нашей семье. Или я должен показать вам открытку?

— Да, покажите, пожалуйста,— сказал он. И прибавил вежливо: — Если вам не трудно.

Я в бешенстве выдернул из кармана открытку и швырнул ее на стол.

Он прочитал ее, но не вернул, а, помедлив, взглянул на адрес и прочитал снова. Я чуть не вырвал открытку из его рук.

— Извините,— наконец сказал он.— Да, конечно. Я переложил деньги.

Все изменилось сразу. Если прежде, две минуты тому назад, все мысли и чувства этого человека были направлены на меня, как на воплощение опасности, теперь сразу же стало видно, что ему нет до меня никакого дела. Я просто не существовал для него, и переход этот был так оскорбителен, что я растерялся, не зная, что сказать, что сделать. Но ничего не надо было ни говорить, ни делать.

Он открыл один из ящиков и достал клеенчатую тетрадь, в которой лежали деньги.

Я сказал: «Прощайте»,— взял деньги и вышел.

Хозяйку я нашел на кухне. «Буржуйка» топилась, какие-то лепешки жарились, едва ли не на стеарине, в кухне стоял запах только что погашенной свечки.

— Вот, пожалуйста.— Я отдал ей деньги.— Здесь за три месяца. Мне хотелось еще спросить вас: как Анатолий Ильич? Он не болел последнее время?

У Толи были слабые легкие, и еще в Пскове боялись туберкулеза.

— Нет, не болел,— так же тихо ответила она.— Да когда же ему было и болеть-то? Придет ненадолго и убежит. Я уж уговаривала его хоть выспаться одну ночку. Он очень добрый,— помолчав, сказала она.— Ему для себя ничего не нужно.

У меня вдруг защипало в глазах, и захотелось плакать.

Мы простились.

ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ

1

Я так плохо помню эту поездку, что теперь, намереваясь рассказать о ней, не знаю, с чего начать и чем кончить. Эта непамятливость характерна: поездка не забылась бы так основательно, если бы в ней было хоть что-нибудь, изменившее мою жизнь. Изменились, может быть, только отношения с Куммингом. Но эта перемена началась уже давно, зимой, и упрочилась, может быть потому, что мы еще никогда не проводили так много времени вместе.

Он достал для нас мягкий вагон, громко радовался этому и даже как будто немного сердился, что я не так

восторженно, как ему хотелось бы, отзываюсь на его восклицания. На станциях мы могли выходить и возвращаться, никто не осмелился бы занять наши места. У нас были деньги, уже за Курском Женя покупал вареную немороженую картошку. Соседи, озабоченные, молчаливые, говорили только друг с другом и только по-украински. Днем мы сидели за столиком, глядя в окно.

Конечно, я не мог бы сказать, что мягкий вагон, сытость, возможность ночью растянуться на мягком диване не нравились мне. И все же я не мог отделаться от чувства неловкости, когда видел, что другие люди, ничем не отличавшиеся от нас, ехали в грязных, душных, битком набитых, провонявших теплушках. Но ничего похожего не испытывал, без сомнения, Женя. Напротив, он даже гордился нашим особенным положением в этом поезде, который осаждали на полуразрушенных станциях измученные голодом и жарой, отчаявшиеся, с испуганными лицами люди. Крича и ругаясь, проводники отпихивали их ногами, но они все-таки лезли, цеплялись за поручни, упрашивали, умоляли. Беспризорники в лохмотьях, с черными лицами шныряли повсюду. С ними проводники справиться не могли: они лежали на крышах, сидели на буферах. На моих глазах длинный оборванный парень сложился пополам, как факир, чтобы влезть в небольшой деревянный ящик под вагоном.

Не помню, сколько дней мы ехали, но долго-долго. И все, что произошло в Харькове, запомнилось мне как продолжение этой томительно затянувшейся, тревожной, бесцельной поездки.

Часа три мы просидели на вокзале и просидели бы еще больше, если бы молодой безусый розовый милиционер не достал для нас солидного дядю с салазками, на которого, как он сказал, можно положиться. Кстати, этот милиционер, даром что на вид ему было лет восемнадцать, очень умно и тактично предупредил Женю, чтобы он не очень-то размахивал своей командировкой, потому что в городе положение сложное и к русским, «особенно которые из Москвы», относятся не всегда дружелюбно.

Но Женя не придал его словам никакого значения. Он и в гостинице именно «размахивал» командировкой, выбивая хороший номер,— и мы его действительно получили. Потом, не теряя времени, он ушел в Наркомат. И снова началось ожидание, причем я невольно заметил, что оно относится вовсе не только к возвращению Кум-

минга, а ко всей этой с первой минуты не понравившейся мне затее.

Ждать было особенно тяжело, потому что и на вокзале, и на улицах города, и в нашем номере стояла удушливая жара, от которой некуда было деться. К ней присоединилась странная красноватая пыль, медленно раскачивающаяся в раскаленном воздухе и незаметно проникавшая всюду. Когда, выстояв длинную очередь, я попал в столовую, где с давно забытым наслаждением съел молочный суп с вермишелью, во рту остался почему-то отвратительный вкус пыли. Все время хотелось пить, рубашка намокла от пота, носовой платок, которым я вытер шею, сразу же стал красновато-рыжим. Солнце выглядело, как во время затмения, когда, не помню, в каком году, еще в Пскове, мы смотрели на него сквозь закопченные стекла: оно висело в небе, как маленький красноватый шар без лучей.

Я спросил у коридорного, что это за странная пыль, от которой нечем было дышать, и услышал равнодушный ответ:

— Суховий.

И он прибавил (по-украински, но я понял), что по вёснам он редко бывает.

Прошло десять лет, прежде чем я снова встретился с суховеем. Толя Р., который давно отказался от своих левоэсеровских заблуждений и стал, несмотря на свою молодость, одним из руководителей Харьковского ИРУ, Института рационализации управления, предложил мне поехать в Сальские степи, где работали его сотрудники в совхозах и новостройках. С гордостью показывал он мне флажки ИРУ на тракторах и комбайнах, знакомил с работой учетчиков, пылко выступал на ночных конференциях полеводческой службы...

Суховей застал нас в совхозе, который в ту пору назывался «Верблюд», и я не только навсегда запомнил эти дни, но, вернувшись, рассказал о них в книге «Пролог». Это было бедствие, грозившее погубить первый подопытный урожай. О нем говорили с утра до ночи. Его проклинали. Он срывал палатки и тенты, набивал уши и рты раскаленным песком. Когда на пятый день ветер упал, удалось — тогда это было рекордом — собрать по восьми центнеров с гектара...

Весной двадцатого года в Харькове никто, кажется, и не замечал суховея, и меньше всего, как вскоре выясни-

лось, были заняты им те люди, от которых зависело, будет ли назначен товарищ Кумминг управделами такого-то комиссариата.

В день нашего приезда он вернулся в гостиницу несколько подавленный. Один из руководителей харьковской промышленности (едва начинавшей восстанавливаться после ухода белых) встретил его без должного уважения.

— Ты знаешь, что он мне предложил? — с негодованием сказал Женя.— Мыловаренный завод! Наладить производство мыла.

Я промолчал. Предложение показалось мне дельным: Харьков, без всякого сомнения, настоятельно нуждался в мыле.

— И чем, как ты думаешь, все они заняты? Борьбой с децистами.

— А кто такие децисты?

— Черт их знает! Сторонники какого-то демократического централизма. Ты когда-нибудь слышал о Сапронове?

— Нет.

— Ну, а здесь только о нем и говорят. На днях его отозвали, а децистов вышибли из ЦК. Везде новые люди, никто никого не знает, и такого-то,— он назвал фамилию видного деятеля, подписавшего наши командировки,— тоже не знают. Или притворяются, черт их разберет. Ты обедал?

— Да. А ты?

— Еще как! В столовой ЦК. Завтра пойдешь со мной.— Он показал два талона.— И еще эта пыль, пропади она пропадом!

Я сказал:

— Суховий!

И, взглянув на Кумминга, который был похож в эту минуту на озадаченного, встрепанного гнома со своими узкими бедрами и короткими ногами, с трудом удержался от смеха.

Под вечер Женя ушел и вернулся с поэтом Арго. Судя по сохранившейся в моей памяти внешности этого человека (он был высокий, могучего сложения, белокурый, с добрым, на мой взгляд, красивым лицом), это был действительно Арго, но я не удивился бы, если бы оказалось, что Арго не был в Харькове весной 1920 года. Так или иначе, это был поэт, и тотчас же вспыхнул оживленный

разговор об имажинистах, центрифугистах, ничевоках. Неужели правда, что Есенина исключили из Союза поэтов? «А судьи — кто?» Кончил ли Кусиков свой «Коревангелиеран»?

Потом Арго попросил Кумминга почитать стихи, горячо одобрил их и стал читать сам — очень хорошо, простым, разговорным языком, без подчеркивания и завывания. Мне показалось, что он подражает Эмилю Кроткому. Я слушал, и не свойственные мне трезвые мысли медленно проплывали в голове, усталой от жары, духоты и все нарастающего отвращения к нашей поездке. «Экий здоровяк,— думалось мне.— Лицо мягкое, но энергичное, лет, должно быть, под тридцать. А вот тоже пишет стихи, и ему важно, чтобы мы, мальчишки, его похвалили. Такой, пожалуй, мог бы и батальоном командовать — и в два счета наладить в Харькове производство мыла...»

Арго кончил, выслушал наши комплименты и снова стал читать, на этот раз — сатирическую поэму.

«Да и невозможно вообразить, чтобы в одной стране, даже такой большой, как Россия,— сонно думалось мне,— появились сразу сотни хороших поэтов! Мы все поэты плохие. И Женька — плохой, а уж обо мне нечего и говорить, хотя я и пишу чуть не с восьми лет и перемарал сотни две или три школьных тетрадок. Нет же среди нас, скажем, Анны Ахматовой или Блока?»

Арго кончил читать и прошелся по комнате. По его приветливому лицу видно было, что он желает добра всему человечеству — и в том числе мне, хотя я и не сказал по поводу его поэмы ни слова. Он стал просить меня прочитать что-нибудь. Я отказывался, он настаивал.

— Это же все равно что обменяться визитными карточками,— сказал он.

Я сдался и прочел отвратительное стихотворение. Смутно помню, что речь в нем почему-то шла о конце света.

Наступило неловкое молчание. Арго что-то одобрительно промычал и снова заговорил об имажинистах, центрифугистах...

2

На следующий день Кумминг добрался наконец до наркома. Трудно восстановить разговор между ними, потому что мой друг вернулся бледный от злости и стал ру-

гать все на свете — Харьков, жару, суховей, децистов, неразбериху, плохой обед в столовой ЦК и главным образом наркома.

Узнав, что Женя еще две недели назад был агентом угрозыска, он сказал:

— Черт знает что!

А взглянув на схему нового устройства комиссариата, которую Кумминг разноцветными карандашами красиво вычертил еще в Москве, заметил хладнокровно:

— Мы живем не при Иване Третьем. Нам не надо управделами — князя.

Узнав, что я — студент, он спросил, нельзя ли послать меня в Сумской уезд, чтобы разъяснить местным работникам, что такое план ГОЭЛРО. Куммингу он предложил заведовать канцелярией комиссариата.

— Справитесь? — сомневаясь, спросил он.

Разумеется, Женя отказался. Он взял обратные командировки и, вернувшись в гостиницу, объявил, что завтра мы уезжаем.

Последний день был проведен на базаре. И в сложном деле купли-продажи, так же как в поэзии, Женя оказался человеком бесконечно более опытным и искусным, чем я.

Что-то уже приобретенное он сумел тут же продать и на полученные деньги купил то же самое, что продал, но в большем количестве и лучшего качества, чем прежде. Без него я просто пропал бы на харьковской «Сухаревке». Ему удалось выгодно променять вещи, которые я привез, на сало, крупу и мешок сухарей. Сухари некуда было пересыпать, и на смешанном русско-украинском языке он убедил добродушную бабу продать мешок вместе с сухарями.

Я забыл, что мы покупали и что продавали, но этот мешок так до сих пор и стоит перед моими глазами... Беспризорники украли его у меня на Курском вокзале.

Дома мне обрадовались — в особенности, разумеется, мама. Саша пожалел, что на Украине мне не удалась административная карьера. Продукты, которые я привез, были оценены по достоинству, но с меньшим воодушевлением, чем я ожидал. Накануне моего приезда от Льва с оказией пришла посылка. Одновременно кто-то привез посылку из Острова, от матери Толи Р.

На другой день я побежал в Бутырки и случайно попал в день передач и свиданий. Передачу приняли вскоре,

но Толю я ждал часа полтора. Наконец он явился, возбужденный, с синими от щетины щеками, и прежде всего рассказал, что, когда левых эсеров привезли в Бутырки, они потребовали, чтобы их посадили в общую камеру, и получили отказ. Повесив голову слушал я Толю. Только что Захаров, узнав, что я иду к нему, сперва последовательно выстроил бастионы левоэсеровских взглядов, а потом с неумолимой логикой разгромил их один за другим. Мне хотелось взять Толю за руку и увести на Вторую Ямскую. Впрочем, он не сомневался в том, что его выпустят через месяц-другой,— и не ошибся.

Осенью мы вместе поступили в Институт живых восточных языков в Ленинграде.

Свидание было короткое — пятнадцать минут. Мы обнялись, и он до боли крепко сжал мои руки.

Всю жизнь он говорил, что «у него ко мне слабость». И действительно, не раз прощал он мое невнимание, беспечность, забывчивость, в то время как сам относился ко мне с неизменным вниманием и дружеской любовью. Он тоже писал стихи, и мое упорное стремление стать поэтом интересовало и волновало его.

ПУШКИНСКИЙ СЕМИНАР

Мама любила, когда ко мне приходили молодые поэты, хотя Женя Кумминг напоминал ей неприятного коммивояжера из фирмы «Генрих Циммерман. Рояли и пианино». Ей нравился Толоконников, высокий, бледный, красивый, белокурый. Мне всегда казалось, что он слишком похож на поэта, чтобы писать хорошие стихи. Но мама придерживалась другого мнения.

Когда Толоконников пришел к нам впервые, она вдруг предложила ему яйцо, и он снисходительно согласился.

— Всмятку?

— Благодарю вас. Да, всмятку.

Я был поражен. Яйца не выдавались по карточкам. В нашем доме они представляли собой насущно необходимый ингредиент, без которого невозможно было приготовить ни мучные, ни картофельные оладьи. Я давно забыл их вкус. Но Толоконников неторопливо съел яйцо и, полузакрыв глаза, стал читать стихи. Мама слушала с благоговением. Внешность поэта, его медленная, сдержанная речь, по которой было видно, что он глубоко себя ува-

жает, произвели на нее сильное впечатление. Стихи были плохие.

Толоконников запомнился мне не потому, что он съел в нашем доме яйцо,— забывались и более существенные события. Знакомство было скользнувшее и не стоило бы упоминания, если бы Толоконников, гордившийся тем, что он занимается в семинаре, который ведет у себя на Зубовском бульваре Вячеслав Иванов, не предложил мне пойти вместе с ним. Разумеется, я с благодарностью согласился.

Мы пришли рано, первые. Высокий, слегка сгорбленный хозяин, в старомодном костюме, с тонкими чертами серо-желтого пробкового лица, приветливо встретил нас, усадил и, спросив у Толоконникова, как подвигается его реферат, обратился ко мне:

— Чем вы намерены заниматься?

Мне уже случалось упоминать, что застенчивость подчас заставляла меня совершать необъяснимые по своей тупости поступки — недаром же я с трудом поступил в подготовительный класс. На вопрос Иванова, пожелавшего узнать, чем будет заниматься новый участник *пушкинского* семинара, я ответил:

— Лермонтовым.

Склонив голову несколько набок, Иванов с удивлением посмотрел на меня поверх золотых очков. Толоконников опешил, но удачно замял неловкость, объяснив, что меня интересует влияние Пушкина на молодого Лермонтова. Иванов вежливо, но неопределенно кивнул и обратился к другим подошедшим участникам семинара.

...Еще недавно, в пятом классе гимназии, я увлекался Писаревым. Громить Пушкина было занятием, удивлявшим меня своей легкостью,— так, прыгая с мола в Великую, я раз от раза убеждался в том, что это не так уж и страшно. О своем увлечении я написал Тынянову, и он ответил: «Писаревщина — как корь. Ею должен переболеть каждый». Корь быстро прошла. В семинаре Вячеслава Иванова «писаревщина», наивно, хотя и азартно язвившая Пушкина, сменилась многозначительными намеками, туманными иносказаниями.

Совсем другой Пушкин предстал передо мной на семинаре Иванова. В одном реферате сон Татьяны рассматривался как общение с потусторонними силами, в другом говорилось о мистических прозрениях Пушкина, о роковой неизбежности, преследующей его героев. Поэзия Пуш-

кина снова была прочтена, но как бы вполголоса, многозначительно, проникновенно. Без его помощи русское сознание не проникло бы в мифы античности, созданные Эсхилом и Еврипидом.

Все это было похоже на церковную службу в маленьком, уютном, заслонившемся от времени храме.

Слушая очередной реферат, я невольно вспоминал Кафе поэтов, где, под распластанными на стене старыми брюками Василия Каменского, мы старательно утверждали свое право на существование в русской поэзии. В сравнении с семинаром Иванова это был просто кабак, и, без сомнения, стоило подумать о том, почему в кабаке я чувствовал себя свободно, а в храме, присмирев, забивался в угол.

Готовясь стать участником семинара, я пытался прочитать трагедию Иванова «Прометей» — и, размышляя над одним из первых явлений, вдруг перемахнул на одно из последних. Стихи были превосходные, но трагедия требовала такого знания античной мифологии, о котором я, окончив шесть классов гимназии, не мог и мечтать.

Мне казалось, что мою участь в семинаре разделял только один из его участников — высокий тоненький рыжий юноша в очках, с добрым бледным лицом. Это был Иван Александрович Кашкин, будущий основатель новой школы русского перевода.

Мы и тогда и потом, всю жизнь, встречались редко. И всегда жалели об этом. Не знаю, что Иван Александрович думал обо мне, но мне он всегда казался одним из самых скромных, добрых и вежливых людей на земле. Однажды, еще в Москве, я встретил его на Моховой и, уж не помню по какому поводу, расхвастался, говорил оживленно, пылко. А он в ответ только сказал, что и у него все было бы хорошо, если бы в его комнате не стояло кресло, обладающее загадочной усыпляющей силой. «Сядешь в него с книгой в руках — и через четверть часа спишь, как дитя».

Даже если бы семинар подарил мне только знакомство с Кашкиным, он остался бы в моей жизни событием. Но произошло и другое. Мне не удалось подойти к античности, но зато я близко подошел к поэтам, с которыми был связан, соотнесен Вячеслав Иванов. Соотнесенность была полудружеская, полувраждебная, складывавшаяся годами. Я смутно почувствовал то, что в наши дни заставляет

историков русского символизма деятельно трудиться над изучением этой необычной по своей сложности полосой в истории русской литературы.

ВЕСНА 1920-го

Если бы можно было одним словом определить то душевное состояние, в котором я находился этой весной, я назвал бы его «воспаленным смятением». С темной головой я вставал поутру, и день в оживающей, недавно показавшейся из-под снега неубранной Москве проходил медленно, точно я нехотя толкал перед собой тяжело нагруженную тачку. Тогда я еще не умел расправляться с этой беспричинной подавленностью. Раздумывая, откуда она взялась, я нашел бесспорную, как мне показалось, причину. Она заключалась в том, что стихи, которые я писал изо дня в день, не просто плохи — это было бы еще полбеды,— но безнадежно, неотвратимо плохи. Что во мне нет и следа дарования. Что я как личность просто не существую. Что надо жить только потому, что по счастливой или несчастливой случайности мне дарована жизнь.

Это произошло просто и спокойно, при свете разума, при свете чистого весеннего дня. «В тебе что-то есть»,— сказал Юрий Тынянов. Он ошибся. Зачем я поверил ему?

Утро, когда я стал растапливать плиту своими рукописями, запомнилось мне — 16 апреля по новому стилю. Через три дня мне должно было исполниться восемнадцать лет.

Я сохранил только баллады, трагедию «Савонарола» и одну школьную тетрадь — рука не поднялась на стихи, переписанные Валей.

Мне казалось, что теперь у меня станет легче на душе — ведь это было освобождением. Но ничего не изменилось. Впрочем, нет: почти ничего. В глубине моей подавленности, растерянности появилось нечто новое: ожиданье. Чего я ждал? Не знаю. Может быть, надеялся, что за мой решительный шаг судьба расплатится со мной какой-нибудь счастливой переменой, событием, которое покажется мне чудом?

«Но откуда,— думалось мне,— явиться этому событию, этому чуду?» В надоевшем подотделе Рашель уже не ворчала на меня, а рычала — и справедливо рычала. В университете, чувствуя себя одиноким, я редко бывал, хотя

сдал, едва перелистав учебники, два экзамена — психологию и греческую литературу. Дом наш так и не превратился в семейный дом, освещенные окна которого я, бывало, издалека различал в Пскове.

Правда, маленькая надежда на чудо мелькала иногда перед моими глазами. Розовая, деловая не по возрасту девушка — на вид ей было лет восемнадцать — время от времени проносилась мимо моего стола в подотделе. Но если бы даже я не был вчерашним гимназистом, красневшим, когда она появлялась, а рыцарем Круглого стола, она не обратила бы на меня никакого внимания. В ее стремительных появлениях и исчезновениях, в ее топоте, энергии, даже в ее берете, небрежно сбивавшемся то на правое, то на левое ухо, была одержимость. Она родилась, выросла и теперь носилась по Москве во имя одной, всецело захватившей ее идеи. Девушку звали Наташа Сац. Ее созданием стал впоследствии Детский театр в Советском Союзе.

...Ожидание чуда быстро прошло, и началась полоса, о которой я вспоминаю с отвращением: бездельничанье, выламыванье и близкая к отчаянью душевная пустота.

Вдруг я подал Рашели просьбу об увольнении, и она, подхватив пенсне, которое упало, потому что она грозно сдвинула брови, размашисто написала на моем заявлении: «Прочла с удовольствием». Уходить было глупо. Мне минуло восемнадцать лет, со дня на день я ждал повестку из военкомата и с этой повесткой в руках уволился бы с почетом — по меньшей мере не обижая Рашели, которая была, в сущности, доброй женщиной, хотя и немного сумасбродной.

Из поэтов, входивших в нашу «Зеленую мастерскую», я почему-то сблизился с В. Случается мне и теперь встречаться с ним на улице, мельком — и каждый раз, глянув на солидного литератора, опубликовавшего несколько солидных книг, я не верю самому себе, вспоминая юношу в котелке, который шлялся по Тверской с накрашенными губами и читал у памятника Пушкину манерные стихи, нахватанные у поэтов всех направлений. Наигранное стремление к оригинальности привело его в компанию молодых людей, носивших в наружном карманчике пиджака порошки с кокаином. Побывал и я в этой компании, но недолго. От кокаина и подозрительной, оживающей только по ночам квартиры на Остоженке, куда ездили со своими девушками эти молодые люди, меня спасли пере-

шитая студенческая тужурка и старые, еще псковские, брюки из чертовой кожи. Я взбесился, когда В. сказал, что в таком виде он не может взять меня с собой на Остоженку. Впрочем, он был прав: его друзья одевались прекрасно.

Одна из Катиных подруг — ее звали Липа — кокетничала со мной, и я стал ухаживать за ней, может быть, потому, что она напоминала Дашу из студенческой столовки. Но от Даши с ее пьяными, влажными глазами у меня голова кружилась, а от Липы — высокой, слишком здоровой, с грубым красивым лицом — почему-то не кружилась. Однажды, когда мы остались вдвоем (нетрудно было догадаться, что Катя устроила это решающее свидание), я без всякой причины стал издеваться над Липой и впервые в жизни получил увесистую оплеуху. С трудом удержался я, чтобы не ответить, а выйдя из комнаты, столкнулся с Катей, которая спросила меня язвительно-участливым голосом: «Вот странно, почему это у вас щечки разного цвета?»

К чувству ясности, к душевному равновесию меня вернула, как это ни странно, книга. И самое удивительное заключалось в том, что это была книга, от которой, казалось, могло бы еще больше расшататься сознание. У меня оно вернулось к трезвости, к определенности стремлений, к цели.

Толстая, без переплета, в серой обложке, она стояла в лавке имажинистов, среди изданий «Хобо» и «Чихипихи». И стоила дорого, очень дорого. Однако я не мог не купить ее. Бережно держа в руках распадающийся толстый том, я открыл его на первой попавшейся странице — и дрожь сразу стала окатывать спину, холодить лоб, дрожь изумления, восхищения, вдохновения:

«С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник... надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа — Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву — два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные безумные из твоих сыновей — хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуть-

ся после в водные хáосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туман, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропáсть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась над грозной судьбой, сюда тебя бросившей — среди этого мрачного Севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то — в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинны́х пространств из обманчивых стран?

Да не будет!»

Я продал на Сухаревке часы, чтобы купить «Петербург» Андрея Белого. Эти часы мама подарила мне в те, казавшиеся доисторическими, времена, когда, переходя во второй класс, я получил великолепный похвальный лист, вскоре съеденный козою.

ВСТРЕЧА

1

Перечитывая уже в наши дни этот знаменитый роман, я взглянул на него совершенно другими, спокойными, многое увидевшими глазами и, кажется, понял, почему в юности эта книга так поразила меня. Это был первый роман о пустотах, о провалах сознания, о мнимой значительности ослепляющих своим блеском пустот. Можно смело сказать, что именно Белому и его «Петербургу» принадлежит почин в этом жанре, захватившем, начиная с «Улисса» Джойса, и западноевропейскую, и американскую литературу.

Героям «Петербурга» нечего сказать друг другу, любой разговор состоит из начатых и брошенных фраз. Аполлон Аполлонович Аблеухов, сенатор, действительный тайный советник, глава учреждения, управляющего Российской империей, разговаривает со своим сыном междометиями, и сын отвечает междометиями совершенно независимо от того, что в ящике его письменного стола лежит бомба, которая должна взорваться в кабинете отца. Если бы бомба, которую подсунула неосторожному Николаю Аполлоновичу неведомая Партия, не лежала в его письменном столе, отец и сын все равно разговаривали бы междометиями: отношения между ними обусловлены не степенью близости, не чувствами, не расчетом, а «Петер-

бургом». Подпоручик Лихутин пытается покончить с собой, потому что не может откровенно поговорить с женой, которая ему изменяет. Аблеуховы — отец и сын, Лихутины — муж и жена, Дудкин, Липпанченко, чиновники особых поручений и просто чиновники, юнкера, правоведы, террористы, дворники, филёры недоговаривают, многозначительно подмигивают, намекают. Хотя мотивы, на которых основано развитие романа, случайны, невнятны, они все-таки требуют, чтобы разговор был доведен до конца. Герои молчат не потому, что им нечего сказать. Им *нечем* сказать, у них нет языка, они немы, пусты. Эта пустота — Петербург, легко настигающий тех, кто не в силах ему сопротивляться.

Об этой пустоте, опасно растворенной в жилах, впервые написал Достоевский. В самые счастливые дни своей жизни, накануне свадьбы, канцелярист Вася Шумков («Слабое сердце») сходит с ума, потому что ему «нечем отблагодарить за счастье». Размышляя о загадочной причине безумия, его друг Аркадий останавливается на берегу Невы, вглядываясь в «морозную дымно-пыльную даль»: «...Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь по дороге, так что казалось — новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Какая-то странная дума посетила осиротевшего товарища бедного Васи... Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови... Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту...»

Новое — догадка о роковом порождении города, о нравственном самоуничижении. В «Петербурге» Андрея Белого это — главная тема.

2

Конечно, не об этом думал я, когда прочитал роман весной двадцатого года — да не прочитал, а ворвался в него, прикрывая глаза рукой, чтобы не ослепнуть, тороп-

ливо перекидывая обжигающие пальцы страницы. Книгу можно было читать, как стихи. Она была не написана, а нашептана, и хотя этот лихорадочный шепот иногда поднимался до крика, а крик переходил в ритмически-страстную речь, господствовал все тот же отчаявшийся, доверительный шепот.

Прежде у Белого я читал только стихи, и мне нравились не заклинания, не скорбь по «глухой России», а ирония, с которой были написаны его портреты, смелость, с которой он сталкивал противоположные смыслы. Мне нравились в его поэзии не цвета, не живопись, а рисунок.

Но «Петербург»! Разве можно было сравнить с его стихами «озаренные смутности» «Петербурга»? Таким, как он написан у Белого, он запомнился мне навсегда, и первое чувство, которое я испытал, закрывая роман,— желание увидеть Петербург, понять этот вставший из мшистых болот загадочный планиметрический город. И тут же мелькнула — и спряталась и снова мелькнула — дерзкая мысль: увидеть человека, написавшего эту книгу, предсказавшего Революцию, осмелившегося метнуться в неведомое будущее, далеко за его пределы. Разглядевшего *фантастическое* в самом устройстве Российской империи. Империя расшаталась, рухнула, исчезла, но ее образный знак, ее ни на что не похожее постижение остались и были навсегда запечатлены в этой книге.

Но зачем я пойду к Белому? Что же, прийти и сказать: «Простите, мне ничего не надо. Я хотел только посмотреть на вас»? Но это бездарно и глупо. Или сказать: «Я прочитал «Петербург» и пришел, чтобы выразить вам свое восхищение»? Это не только бездарно, но пошло: что ему до меня и до моего восхищения?

Почти невообразимо было уже и то, что он, так же как я, живет в Москве и даже недалеко от меня, на Кудринской площади.

Было бы легче, если бы я где-нибудь хотя бы мельком видел его. Нет. Или мне не везло, или он редко бывал во Дворце искусств, в Кафе поэтов. Впрочем, я слышал, что однажды на лужайке перед Дворцом искусств он разгромил ничевоков. Эта сцена рассказана в блистательных воспоминаниях Марины Цветаевой («Пленный дух»): «Говорит, не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, потому что, вот, вытер с сияющего лба пот...

— ...Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить) — выехали! Выбыли!.. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда *одно* ничего... ...беда, когда — *ки*... Ки, ведь это, кхи... При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи... И от всего осталось... кхи. От всего осталось не ничего, а кхи, хи... На черных ножках — блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как *вы* неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной ямы, где погребена русская литература...»

Наконец я решился — была не была! Псковские брюки заменять было нечем, но вместо перешитой тужурки Льва я надел нарядную серую курточку. Жаль только, что она молодила меня.

Ничего не помню — ни того, как я стремительно летел по Садовой-Кудринской, ни того, как искал и нашел квартиру, а в ней — комнату Бориса Николаевича. Помню только, что постучал и замер от ужаса, потому что постучал неожиданно громко.

Дверь распахнулась стремительно, и передо мной появился маленький человек в халате — тоже стремительный или стремящийся куда-то, хотя он неподвижно стоял за порогом.

...В молодости я всегда говорил слишком сложно, запутываясь, а уж на этот раз, без сомнения, сразу же нагородил бог знает какую невнятицу. Но в этой невнятице одно было ясно: я намеревался выяснить, каким образом ему удалось написать «Петербург».

Вероятно, в том, что я как бы напал на него, да еще с таким настоятельным требованием, было что-то смешное, потому что он вдруг засмеялся, подобрел. Лицо, показавшееся мне с первого взгляда застывшим, тоже подобрело, засветилось, заиграло.

Посадив меня на стул у окна, он стал бегать по комнате в развевающемся халате. Но что-то, по-видимому, мешало ему. Вдруг остановившись, он посмотрел на меня большими прозрачными серыми глазами. Так родители смотрят на маленьких детей, когда ждут, что они чем-нибудь порадуют незнакомого дядю.

— Простите, но... Я не знаю. Я хотел спросить... Вам пятнадцать лет, да? Вы еще учитесь в школе? Вам пятнадцать лет, вы пишете стихи и учитесь в школе. И это очень хорошо, что вы учитесь... А стихи... я не знаю. Все пишут стихи. Это какая-то беда. Вам не кажется, что это беда?

Я ответил, что мне восемнадцать лет, и я учусь в университете... Стихи я прежде писал, а теперь бросил.

— Бросили? Это прекрасно! Вы знаете... Я тоже бросил.

И, кинувшись к письменному столу, он вынул из ящика книгу в великолепной желто-серой обложке. Высокий человек в цилиндре, в старинном пальто с раскинувшимся по плечам клетчатым шарфом, глядел, глубоко задумавшись, на черные крыши города, а перед ним кружились, метались, взлетали затейливые штрихи облаков. Название «Записки мечтателей» было напечатано крупно овальными, состоявшими из черточек, буквами, а внизу, в черной рамке над годом — 1919 — я прочел загадочное слово: «Алконост». Так называлось издательство. Рисунок принадлежал А. Я. Головину.

— Вот,— сказал Борис Николаевич, почти угрожающе.— Вот!

...И, разгораясь, увлекаясь, он заговорил о том, что его приглашают писать статейки и читать лекции, а он не хочет и не будет, потому что *вот,*— и он снова показал на «Записки мечтателей»,— *вот* его дело. Все, что он написал до сих пор — и «Симфонии» и «Серебряный голубь»,— только наброски, очерки, эскизы. И «Петербург» — эскиз, который он написал, чтобы отделаться от Петербурга. Этот город мучил его; он решил отделаться от него и вот написал.

Я сидел как прикованный и молчал. Но для Бориса Николаевича я — как это ни странно — по-видимому, изменялся, превращался. Я был уже не первый встречный, неожиданно заглянувший к нему и оторвавший его от работы. Первому встречному он не стал бы так пылко, так откровенно рассказывать о том, что он подчас падает под бременем чуждой ему работы. Никогда прежде он не видел меня, а между тем доверял мне, доверялся мне! Неужели он понял, что за моей смешной просьбой рассказать о том, как ему удалось написать «Петербург», скрывалось самое важное в моей жизни? И если бы не

понял, разве стал бы он говорить со мной о том, что важнее всего *для него?*

Сложное словесное здание выстроилось в наступающих сумерках — быть может, чем-то похожее на тот «храм всемирной мудрости», который Белый строил в Швейцарии и о котором через несколько дней я прочитал в «Записках мечтателей».

Размахивая рукавами халата, как крыльями, он расхаживал из угла в угол, выпутываясь из лабиринтов этого здания. Ныряя в его пустоты, открывая двери ему одному принадлежащим ключом.

СТАРШИЙ БРАТ. 1920-й

1

Читая главы фронтовых воспоминаний брата, я отчетливо вижу все ступени его неуклонного движения к науке. Надежда стать микробиологом никогда не покидала его.

Он обрадовался, узнав, что полк перебрасывается в Саратов. Неужели в этом большом университетском городе он не найдет возможности поработать на кафедре микробиологии?

Жизнь без отлагательства ответила на этот вопрос: направляясь в санитарное управление армии, он встретил две подводы, нагруженные гробами. «Гробов было много, они были поставлены друг на друга в несколько рядов и привязаны веревками к подводам. Я был уверен,— пишет Лев,— что это пустые гробы, которые везут куда-либо в госпиталь. Встречная машина задела одну из подвод, веревка оборвалась, гробы рассыпались, и из них выпали трупы, которые устлали всю мостовую».

В Саратове была тяжелая эпидемия сыпного тифа. Не микробиология, а банно-прачечные отряды, регулярные осмотры красноармейцев, контроль «на вшивость» ожидали его. Кафедра мелькнула и исчезла. У него не оказалось ни одной свободной минуты.

В начале февраля начсанарм Стоклицкий вызвал Льва и назначил его начальником этапной линии Саратов — Каменская. Большая резервная армия перебрасывалась на Дон.

— Железная дорога исключается,— сказал Стоклицкий.— В Ртищеве — пробка. Пропускная возможность уменьшается с каждым днем. А время не терпит.

Шестьсот километров надо было пройти пешком по территории, сплошь охваченной эпидемией сыпного тифа.

Лев рассказал Стоклицкому о барже, на которой через Дон переправлялись бойцы Девятой армии: на один берег — здоровые, на другой — больные. По-видимому, армия должна двигаться вслед за санитарно-эпидемическими отрядами, которые в намеченных для отдыха селах и деревнях должны заранее отметить все избы, в которых находятся больные. Таким образом удастся предохранить красноармейцев и, может быть, помочь больным.

«Эта идея «санитарной разведки», как она была тут же окрещена, очень понравилась Стоклицкому,— пишет Лев.— В сущности говоря, ничего оригинального в ней не было».

Это сказано скромно. Вскоре директивы о санитарной разведке появились во многих частях Красной Армии. Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны, она была перенесена на поля сражений. Я писал о ней в романе «Открытая книга»: «Нужно было посылать разведчиков впереди наступающих войск, на территорию, занятую противником, чтобы наши войска могли миновать зараженные села. Это была санэпидразведка, отличавшаяся от военной разведки тем, что к обычным опасностям присоединялась опасность заражения, и еще тем, что медицинские работники не только не стремились избегнуть этой опасности, но шли прямо на нее, в самую глубину эпидемии».

На бумаге, когда обсуждался план, все складывалось прекрасно: значительная часть этапа проходила по территории будущей Республики немцев Поволжья. Жители богатых сел должны были предоставить подводы, фураж, лошадей. Но на третьи сутки немцы неожиданно стали разгружать уже готовые к этапу повозки и, несмотря на энергичные уговоры райсовета, отказались двигаться дальше. Лев поставил у повозок вооруженную охрану и лег спать. Он проснулся рано утром от сильного шума. Подводчики собрались во дворе и что-то кричали, перебивая друг друга. «Я пытался установить тишину,— пишет Лев,— обещая отпустить часть повозок сегодня, а остальные — завтра. Они ничего не хотели слушать, кричали и

угрожали мне. Один из них забрался на крыльцо и ударил меня в грудь. Я схватился за кобуру, но не успел вынуть наган. Сильный удар по ногам — и я полетел в разъяренную толпу... В этот момент раздались выстрелы, и толпа разбежалась... Мои лекпомы вышли во двор, увидели, как меня сбили с ног, и начали стрелять в воздух. Вероятно, меня били не больше минуты, но поднялся с земли я с большим трудом. На голове оказались две небольшие раны... все тело было в синяках и кровоподтеках. Но самым неприятным был разговор с комиссаром...»

Дело в том, что из многочисленных трудностей этого похода одна из самых непреодолимых, едва не кончившихся трагедией, была воплощена в комиссаре отряда. Работница саратовской швейной фабрики, пожилая, мелочно-требовательная, она не доверяла брату. Почему? Это осталось загадкой. Может быть, ее смущал его возраст? Трудно поверить — двадцатилетние мальчики в годы гражданской войны командовали полками.

В столкновении с подводчиками она обвинила Льва. По ее мнению, в деревне надо было остаться еще на два-три дня — райсовет за это время сумел бы уговорить немцев. Очевидно, она не придавала серьезного значения тому обстоятельству, что санразведка должна идти *впереди* продвигавшихся войск.

«Между тем,— пишет Лев,— за нами шла артиллерийская часть, и если бы мы провели в деревне еще хоть один день, приказ был бы нарушен».

Это была первая ссора, кончившаяся тем, что Лев, вопреки настояниям комиссара, вызвал виновных и предложил им на выбор: или они будут отданы под суд за избиение командира Красной Армии, или немедленно предоставят повозки.

Движение возобновилось.

Вторая и более серьезная ссора произошла в марте, когда начались оттепели и красноармейцы в ботинках и обмотках по размякшей дороге шагали мокрые до колен. Начались простудные заболевания, и Лев предложил комиссару не лишенную остроумия мысль: отдыхать днем, а двигаться по ночам, когда дорога замерзла. Комиссар не согласилась: день, по ее мнению, был создан для марша, а ночь — для сна.

Очевидно, знаменитая формула «приказ есть приказ» не оказала заметного влияния на решение брата. Вечером, когда комиссар легла спать, он повторил в объяснитель-

ной записке свои доводы и двинулся с отрядом вперед, оставив в селе санитара с этой запиской. До Каменской оставалось три перехода...

Решение было рискованное, и Лев это, без сомнения, понимал. Он не только отказался подчиниться комиссару, но действовал вопреки его настояниям. Вот почему он не очень удивился, получив в Каменской телеграмму, в которой начальник политуправления армии требовал, чтобы он немедленно явился к нему.

...«На столе у начальника политуправления лежала длинная телеграмма, в которую он заглядывал, разговаривая со мной.

— Как же так, доктор! Вы отдаете приказы, не согласованные с комиссаром, бросаете его без предупреждения... Придется отдать вас под суд».

Не оправдываясь, Лев рассказал о трудностях марша. Санитарная разведка оправдала себя: задача была решена в указанный срок. Потери ничтожны. Вдоль всей этапной линии энергично действовали банно-прачечные отряды. Здоровье населения в тех местах, через которые проходили войска, обследовано, и соответствующий — малоутешительный — отчет послан в губздрав.

Разговор кончился мирно.

— Надеюсь, вы больше не будете ссориться с нашими комиссарами, доктор?

Лев поддержал его в этой уверенности. Он получил приказ явиться к начсанарму Стоклицкому за новым назначением. В том, что его направят в какой-нибудь запасной полк, у него не было ни малейших сомнений. Он ошибся. От Стоклицкого он вышел начальником санитарной части Второй Донской стрелковой дивизии.

2

Можно ли сказать, что он воспользовался опытом войны, когда ему удалось добраться до научной работы? В известной степени — да. Война научила его собранности, размаху и риску. Он с головой уходил в дела, требовавшие этого размаха и риска и не оставлявшие времени для размышлений. Но случалось ему сталкиваться и с понятием общего дела, соединившего в Красной Армии людей, беспредельно далеких друг от друга. В своих записках он подробно рассказал о встречах с Колчигиным,

командиром дивизии, носившим на груди, рядом с орденом Красного Знамени, желтую ленточку — цвет лейбгвардии уланского полка: его полка. Память о нем он свято хранил.

«Как-то я получил коньяк для наших госпиталей,— пишет брат.— Коньяк в 1920 году — это была большая редкость. Я позвонил Колчигину и доложил, что... не могу отправить этот коньяк в госпитали, прежде чем командир дивизии не произведет дегустации. В телефоне я услышал легкий смешок. «Хорошо, доктор, давайте продегустируем вместе, но по одной рюмочке». Вечером, в садике дома, где я квартировал, на окраине Азова, мы с ним попробовали этот коньяк. Он оказался не очень хорошим, но все-таки это был коньяк. Сначала мы говорили о делах дивизии, а потом я перевел разговор и на политические темы.

— Знаете, доктор,— говорил Колчигин (ему было лет тридцать, волевое, очень спокойное лицо, серые холодные глаза),— я не политик и ничего в политике не понимаю, но я русский человек, и, конечно, мне очень дороги интересы моей страны. Большевики — они же собиратели земли русской, продолжатели великого дела Ивана Калиты. Ну что было бы с нашей страной без большевиков? Англичане оттяпали бы Кавказ, японцы — Приморье. Вряд ли сохранились бы в неприкосновенности западные границы... А большевики-то всю нашу землю собирают. Вот поэтому я и с большевиками. А с политикой как-нибудь разберемся.

Он говорил очень искренне и убежденно, и я нисколько не сомневался в том, что именно эти мотивы побуждали его так энергично сражаться в рядах Красной Армии. Эти же мотивы прозвучали позже в известном воззвании генерала Брусилова.

— Мы очень много говорим об интернационализме,— продолжал Колчигин.— И, конечно, наша революция имеет международное значение. Но посмотрите, как одета наша армия и под каким знаменем она сражается?

Я очень удивился этому замечанию.

— Ну как же — ведь шлемы, в которые мы одеваем наших красноармейцев, и эти широкие красные петлицы — это же одежда великокняжеской рати, а красное знамя — это ведь то самое знамя, под которым русский народ сражался при Калке. Знамя, под которым русский народ сверг татарское иго. Так что большевики совсем не забы-

вают, что они являются политической партией русского народа».

Оба собеседника ошибались, что, впрочем, не изменяло сущности разговора. Брусилов обратился с воззванием к русским офицерам не позже, а значительно раньше. На кафтанах великокняжеской рати не было широких красных петлиц, и едва ли можно с уверенностью утверждать, что под красным знаменем русские свергли татарское иго. Цвета русских боевых стягов были и красные, и синие, и зеленые. И царские знамена еще в XVII веке были разных цветов — алые, малиновые, лазоревые и даже зеленые с желтым откосом. Под красными же стягами сражались, случалось, и татары.

Кажется, знаменитый Виктор Васнецов, автор «Богатырей», нарисовал красноармейскую форму. Тогда неудивительно, что именно он предложил «буденовку», шлем, который иногда называли «богатыркой», и шинель, напоминавшую одежду древнерусского воина.

Разговор этот происходил, как упомянуто, в Азове. Совсем рядом был Ростов-на-Дону, большой университетский город. Кафедрой микробиологии руководил известный ученый профессор В. А. Барыкин. С тех пор как Лев узнал об этом, одна мысль неотступно тревожила его: как попасть к Барыкину? Или хотя бы в Ростов, где была лаборатория Санитарного управления фронта? Между тем в судьбе его намечалось нечто прямо противоположное этим надеждам. Вскоре Колчигин сообщил Льву, что готовится приказ о назначении его помощником начальника санупправления одной из армий Южного фронта.

Лето прошло в размышлениях, как отделаться от слишком счастливо складывавшейся военной карьеры, о которой, без сомнения, любой из двадцатишестилетних врачей, служивших в Красной Армии, мог только мечтать.

Разумеется, он ничего не придумал — и кто знает, когда еще удалось бы ему добраться до лаборатории, если бы осенью 20-го года не появился приказ об использовании военных врачей по специальности. Специальности у него, в сущности, еще не было. Была попытка заняться в Петроградском университете гистологией, были подопытные кролики, которых в Москве на чердаке съели кошки.

Существенным оказалось другое: еще в 1916 году, заканчивая второй вуз, Лев нашел время для занятий на

бактериологических курсах Блюменталя. С дипломом об окончании этих курсов он поехал в Ростов к Стоклицкому и после долгих упрашиваний и уговоров получил разрешение обменять высокое положение начсандива на скромную должность лаборанта.

«РУССКИЕ ДЕНДИ»

Через несколько дней после встречи с Андреем Белым я где-то достал «Записки мечтателя» и с жадностью принялся за чтение.

Большая часть первого номера принадлежала его перу — и предисловие, и «Дневник писателя», и начало эпопеи «Я» с подзаголовком «Записки чудака». В первую очередь я прочел эти записки. Меня привлекло название: ведь и князь Мышкин, и Рудин, и даже Пьер Безухов были, в сущности, чудаками.

Но совсем другой человек открылся передо мной на первых же страницах: не человек со странностями, которых он, быть может, сам не замечает, а человек, который настаивает на этих странностях, гордится ими и, уж во всяком случае, не намерен от них отказаться.

Ни тени самовлюбленности не заметил я в Борисе Николаевиче, когда он метался по комнате в своем распахнувшемся халате и говорил, говорил, как будто долго ждал меня и наконец дождался. В «Записках чудака» эта самовлюбленность была заметна на каждой странице. Время от времени она переходила в самоумаление, необъяснимое для автора «Петербурга».

«Петербург» был написан в стихотворном ритме, и этот лихорадочный ритм действовал на читателя с завораживающей, магической силой.

В «Записках чудака» примириться с ним было невозможно: он не помогал, а мешал пониманию.

В «Петербурге» я невольно следил за сюжетом, хотя подчас он оказывался лишь поводом для предсказаний, для странных «воспаленных» видений.

В «Записках чудака» не было сюжета, а когда удавалось наконец разобраться в бесчисленных отступлениях, читатель узнавал о какой-нибудь случайности, которая под пером Белого вырастала до звезд,— недаром же слово «астральный» встречалось едва ли не на каждой странице.

Но больше всего меня поразил сознательный переход к бесформенной рассыпанной прозе.

В нашем разговоре Борис Николаевич мельком упомянул, что он написал «Петербург», чтобы отделаться от Петербурга. В «Записках чудака» он отделывался от самого романа. Более того, от романа как жанра. Почему «всякий роман — игра в прятки с читателем»? Почему важнее всего не сюжет, а «выраженье авторского лица, ищущего сказаться и не могущего отыскать никаких выражений»?

Расстроенный, не смея признаться себе, что «Записки чудака» просто скучны, я стал перелистывать альманах и остановился перед очерком Блока «Русские денди». Я прочел: «Перед вечером раздался звонок, вошли незнакомые молодые люди и повезли меня заниматься недобросовестным делом: читать старые и пережитые мною давно стихи на благотворительном вечере в пользу какого-то очень хорошего и полезного предприятия».

Это было как пушкинское: «Гости съезжались на дачу». С чувством освобождения от невольной вины перед декламацией, перед ученостью «Записок чудака», которая была мне не по плечу, я принялся за Блока.

Впечатление туго натянутой тетивы, с которой срывается стрела, попадающая в самое сердце,— вот что я испытал, читая очерк «Русские денди». Смысл его состоит в том, что на благотворительном вечере Блок встречает молодого человека, которого не интересует ничего, кроме стихов, своих и чужих. Он читает их и в артистической, и провожая поэта. Под музыку этих стихов начинается разговор, который напоминает суд — и на скамье подсудимых оказывается Блок, а на кафедре обвинителя — молодой человек, отравленный современной поэзией.

Истоки гибели совершенно ясны для него: «Все мы — дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии... Если осуществится социализм, нам останется только одно — умереть... Нас меньшинство; но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, революцией, работой. Мы живем только стихами... Ведь мы — пустые, совершенно пустые».

И Блок, который думает, что если они — пусты, то не все стихи пусты, не решается ему возразить.

Они идут по ночному Петрограду, сильный ветер, мороз, темнота, и обвинитель в первый раз говорит не «мы», а «я»: «Мне негде ночевать».

Почему же Блок не в силах пригласить его к себе? Он боится «заглядеться в этот узкий и страшный колодезь... дендизма».

И тогда произносится приговор: «Вы же и виноваты, что мы — такие».— «Кто мы?» — «Вы — современные поэты... Мы просили хлеба, а вы давали нам камень».

Признает ли себя виновным Блок? И да и нет. Он пишет: «Я не сумел защититься; и не хотел и — не мог. Мы простились — чужие, как встретились».

И, заканчивая очерк, он страстно предостерегает от «русского дендизма 20-го века». В пятнадцати строках дана вся его история — западноевропейская и русская: «У нас от «москвича в Гарольдовом плаще» оно потянулось подсушивать корни, превращая столетние клены и дубы дворянских парков в трухлявую, дряблую древесину бюрократии. Дунул ветер, и там, где торчала бюрократия, ныне — груды мусора, щепы валежника. Но огонь не унимается, он идет дальше и начинает подсушивать корни нашей молодежи. А ведь в рабочей среде и в среде крестьянской тоже попадаются уже свои молодые денди. Это — очень тревожно. В этом тоже своего рода возмездие...»

С похолодевшим от ужаса сердцем я читал и перечитывал этот очерк, стараясь заслониться от него, доказывая самому себе, что ничем не похож на «денди». Но сходство было. В самом деле, что сделал я за последние полтора года, когда неизвестная, острая, сложная жизнь кипела вокруг меня? Ничего. Я сидел в опостылевшем подотделе, а вечерами бродил по Москве с такими же бездельниками, как я, заглядывая время от времени в Кафе поэтов. В университет я заглядывал реже и реже.

Стихи, которыми я разжигал плиту,— были ли они лучше, чем стихи «русского денди»? Не все ли равно! Но он не прав, обвиняя современных поэтов — стало быть, того же Блока, Ахматову, Гумилева, Мандельштама — в том, что они нравственно опустошили его.

«Нет, это сделала не поэзия,— думалось мне,— а его отношение к ней. Он пуст, потому что стихи для него — замена дела, дурман, который помогает ему не замечать, как проходит время».

— А ты? — я спрашивал себя.— Ты замечаешь?

Время, которое он потерял, так же бесследно, напрасно прошло для меня. Между тем мне уже восемнадцать лет! Восемнадцать лет!

И снова, в сотый раз, я сравнивал себя с «русским денди». Нет, не Блок сидел на скамье подсудимых. На этой скамье сидели тысячи, быть может, десятки тысяч таких, как я. И нечего притворяться, что случайный разговор морозной ночью в Петрограде между незнакомыми людьми не имеет ко мне никакого отношения.

Уже не впервые в растерянности или, напротив, в припадке беспричинной самоуверенности я писал Юрию и получал от него короткие, но отрезвляющие ответы. В новом письме я рассказывал не только о впечатлении, которое произвел на меня очерк Блока. Решение было бесповоротное — переехать в Петроград и поселиться, если можно — у Юрия, если нет — где-нибудь недалеко.

Еще читая роман Белого, я почувствовал острое желание увидеть своими глазами Медного Всадника, Неву, Невский проспект, Острова. Теперь это желание превратилось в потребность... Нет, в другое, более сложное чувство! С физической ощутимостью я вдруг понял, что мое место — там. Что Петроград — мой город, моя родина, до которой я еще не добрался.

Я написал Юрию и в конце апреля получил ответ. Он не только приглашал меня, но, зная, как трудно выехать из Москвы, намеревался послать мне вызов из Коминтерна, где служил переводчиком.

Но отъезд пришлось отложить. Вместе с его письмом я получил повестку из военкомата.

В АРМИИ

1

На медицинском осмотре я удивил старого бородатого доктора, сказав ему «Sanus sum» [1], прежде чем он приставил к моей груди стетоскоп.

Совершенно голый, я долго ждал своей очереди, замерз, посинел и пытался согреться, приседая и, как извозчики зимой, хлопая за спиной руками. Высокий беленький юноша с хохолком, падавшим на лоб, которого я приметил еще в приемной сборного пункта, не посинел, а полиловел. Он с удивлением посмотрел на меня, отвернулся и стал смотреть в окно. Почему-то среди голой молодежи был один — по моим тогдашним понятиям — старик,

---

[1] Здоров *(лат.)*.

лет сорока пяти, с зеленовато-седыми усами. На этого, тоже голого, старика юноша с хохолком посмотрел иначе, чем на меня,— с улыбкой, чуть тронувшей тонкие губы.

Мы разговорились одеваясь, и оказалось, что юноша — тоже студент, но не университета, а Свободных художественных мастерских, бывшей Школы живописи и ваяния. Уже и это было интересно. Фамилия его была Вильямс, а имя — Петр, и я немедленно произвел его в англичанина.

— Стало быть, Пите

Он пожал плечами.

— Вообще-то Петя.

Ему не хотелось в армию, он только что начал заниматься. Я сказал, что мне тоже не хочется, и тут же рассказал ему все — и о том, что писал стихи, а теперь бросил, и о том, что собираюсь перевестись в Петроградский университет.

— Как вы думаете? — спросил он, помолчав.— Нас отправят на фронт?

— Возможно. Но прежде будут учить.

— Долго?

— Не знаю. Месяца три. Да ведь война скоро кончится!

— Нет.

Он был неразговорчив, и, кажется, ему не понравилось, что я пошел провожать его. Но мне он нравился, хотя в нем было что-то осторожное, суховатое. Все же, когда мы расставались, он сказал, что хорошо бы попасть в один взвод или на худой конец в одну роту.

И так счастливо сошлось, что мы попали даже в одну палатку.

Лагерь мы ставили на Ходынке, там, где теперь, между станциями метро «Аэропорт» и «Динамо», стоят кварталы многоэтажных домов. Весной двадцатого года это были места загородные, пустынные — обширное поле, но не деревенское, довольно пыльное, кое-где заросшее свежей травой. Добираться от Второй Тверской-Ямской было утомительно, особенно в первые дни, когда ночевать еще было негде и нас отпускали домой. Зато каждый вечер я приносил маме добрые полфунта хорошо пропеченного хлеба.

Это продолжалось недолго. Вскоре большие палатки, каждая на одиннадцать человек, были поставлены, дорожки проложены, утоптаны и покрыты битым кирпичом.

Большая красная звезда была выложена в центре лагеря, где каждое утро под звуки «Интернационала» по высокому древку поднимался флаг. Начались занятия, и увольнительные прекратились.

Кажется, не так уж интересно было после чтения Белого и Блока заниматься устройством затвора русской винтовки образца 1891 года или строевым учением, за которым строго наблюдал кривоногий усатый взводный из бывших офицеров. Не так уж, а все-таки интересно! В новом существовании была определенность назначения, ясность цели — словом, нечто прямо противоположное тому нравственному «самосуду», который мучил меня в последние дни. Он был отложен на неопределенный срок, а пока надо было жить размеренной жизнью, не оставлявшей времени на размышления. И мне нравилась эта жизнь. Может быть, я унаследовал любовь к армии от отца?

Занятия начинались в шесть утра и, с часовым перерывом на обед, продолжались до шести вечера. Рано настала жара, поле выгорело, мы дышали пылью, самолеты, садившиеся неподалеку, пролетали низко, оглушая ревом моторов. Нас хорошо кормили, но воды — не питьевой, а для умывания — было мало, у рукомойников стояли длинные очереди, и случалось, что мы с Вильямсом ложились не умывшись — и мгновенно засыпали мертвым, каменным сном. Зато утром, если удавалось проснуться рано, мы, повязавшись полотенцами, умывались до пояса, терли друг другу спины сохранившей ночную свежесть водой.

Мне долго не удавалось подружиться с ним, хотя и очень хотелось. Он был молчалив, терпелив. О нем как раз можно было сказать, что в армии у него находилось время для размышлений — причем вполне определенных и даже немедленно принимавших реальную, видимую форму. Взводный гонял нас в жару с полной выкладкой, на перекурах Вильямс валился на землю и, едва отдышавшись, тащил из сумки карандаш и блокнот. Сперва он рисовал как бы небрежно примеривающейся рукой, и линии были летящие, легкие. Все как бы плыло откуда-то издалека — и вдруг останавливалось, приплывало. Косо склонив голову, он смотрел на рисунок и что-нибудь поправлял. И хохолок падал на лоб тоже косо.

Он рисовал на папиросных коробках, на земле, на песке. Забыл упомянуть, что, когда я впервые увидел его на сборном пункте, он сидел и рисовал сборный пункт.

Нас сблизила случайность, неожиданная для меня, потому что он никогда не выказывал мне особенного расположения.

2

Я не успел рассказать Лидочке Тыняновой о том, что получил письмо от Юрия и решил перевестись в Петроград. Она куда-то переехала с Воротниковского переулка, и увидеться с ней, по-видимому, можно было только в университете. В разговорах со мной она не раз упоминала о сакулинских четвергах — известный Павел Никитич Сакулин вел семинар по истории русской литературы...

Взводный не дал увольнительной, отправил к Пекарю — так мы прозвали ротного, который и был до службы пекарем: ухватистый, плотный, подвижной, с невыразительным, но добрым лицом.

Выслушав меня, он спросил:

— Разве есть еще семинарии?

И отпустил.

...Слушая доклад о «Каменном госте», я искал глазами Лидочку — и не находил. Почему-то она не пришла. Зато я встретился глазами с другой девушкой и подошел к ней после семинара. Мы разговорились, я рассказал, что хотя и в армии, но еще не уволился из университета. После семинара мы пошли в кино Ханжонкова у Триумфальных ворот: там шла нашумевшая картина «Три распятия» — о предательстве Иуды, которого играл какой-то знаменитый актер. Потом я проводил эту девушку до Крестьянской заставы. Она утверждала, что Иуда поступил по меньшей мере дальновидно, потому что, если бы Христа не распяли, христианство не получило бы такого широкого распространения. Этот взгляд заинтересовал меня, тем более что девушка была стройная, самоуверенная и все встряхивала хорошенькой головкой.

На полчаса я забежал домой и, вернувшись в лагерь, узнал, что Вильямс сидит под арестом. На перекличке он ответил сперва за себя: «Я», а потом за меня: «Здесь», но другим голосом, потолще. Взводный рассердился и отправил его под арест.

У нас не было гауптвахты, и палатку, которая ее заменяла, можно было узнать только по часовому у входа, сонно опиравшемуся на винтовку.

Я далеко обошел палатку, потом пополз к ней по-пластунски, как нас только что научил на занятиях ротный. Я полз долго, придерживая за пазухой хлеб.

Бутылка с огарком стояла перед Вильямсом. Он рисовал, сидя на земле по-турецки, в майке и трусиках, и не очень удивился, когда я вполз в палатку за его спиной. Он сказал, что нечаянно отозвался вместо меня и что мне едва ли попадет, потому что в глубине души ротный меня уважает. Он уверен, что я все-таки хожу в семинарию, а для будущего духовного лица не так уж важна военная дисциплина.

Вильямс рисовал гауптвахту, когда я пришел,— своды полотнищ, грустно припавших к земле, тень человека, сидящего по-турецки, и как бы отогнутое рукой пламя огарка. Я отдал ему хлеб, он жадно куснул два раза и продолжал рисовать. Но теперь он уже рисовал то, о чем мы говорили, и жаркий солдатский день на Ходынке стал медленно вплывать в сонную ночную гауптвахту. Вот появился взводный, кривоногий, с грозно торчащими усами. Вот влетел и застыл, вытянувшись, руки по швам, затянутый ремнем Вильямс, тоненький, с торчащим хвостом гимнастерки.

Он забыл обо мне, увлекшись расставленными ногами взводного, которым старался придать такое же глупое торчащее серьезное выражение. Я спросил: «Питер, кем ты хочешь быть, художником?» Он ответил, что нет — его интересует химия почвы.

Светало, когда я уполз от него. Грустный тонкий запах шел от опаленной травы. Гимнастерка намокла от росы. Самолеты проносились низко с угрожающим шумом. Я перевернулся на спину и, как всегда, лежа на земле и глядя в небо, вспомнил Андрея Болконского на Аустерлицком поле.

3

Вильямс и все, что связывалось с ним, вспоминается мне как светлая сторона моей недолгой службы. Была и темная: Хлынов, красноармеец нашего взвода, ненавидел меня. Я ни в чем не был виноват перед ним, мы едва

перекинулись двумя-тремя словами. Между тем это чувство, вспыхнувшее, казалось, с первого взгляда, с такой силой овладело им, что он хоть и хотел, может быть, но не в силах был с ним справляться. И не справлялся.

...В конце двадцатых годов со мной был близок Леонид Александрович Андреев, о котором я неизменно вспоминаю с чувством преждевременной, горькой утраты. Он умер сорока с лишним лет. Это был человек и расположенный, и располагающий. Один из любимых учеников И. П. Павлова, он обладал редко встречающимся чувством ежедневной радости существования. Павловская идея «простоты природы» наложила на него свой отпечаток. Высокий, белокурый, с неправильными, но приятными чертами чисто русского лица, он зимой носил огромную доху и был похож в ней на сказочного северного бога.

Сближаясь, мы рассказывали друг другу о себе, и однажды я упомянул о необъяснимой ненависти Хлынова, которая так и осталась для меня загадкой.

Леонид Александрович задумался, потом спросил, встречались ли впоследствии в моей жизни люди, похожие на Хлынова, и как они ко мне относились. Я стал перебирать в памяти своих немногих врагов (или недоброжелателей) и с удивлением убедился в том, что (хотя по внешности иные из них были лишь как бы сродни Хлынову) они поразительно напоминали его *животной обнаженностью* чувств. Но иные напоминали и внешностью: как Хлынов, они были людьми коротконогими, короткопалыми, с маленькими злыми глазками и, что особенно характерно,— с большой челюстью, как будто обведенной мелом.

— Вот видите,— полушутя сказал мне Леонид Александрович.— Это не случайное совпадение. Это вражда конституций. В основе человечества лежит множество видов, когда-то ненавидящих друг друга и передавших эту вражду своим потомкам, разумеется, в рудиментарном виде. Может быть, ненависть между народами, враждующими уже тысячелетия, не что иное, как борьба видов? А?

Мне показалась занятной эта гипотеза, и я написал повесть «Черновик человека», которая была первой попыткой рассказать о себе. Повесть построена на этой теории. Правда, я вложил ее в уста подопытного пса, но Леониду Александровичу «Черновик человека» не понравился по другой причине: ему показалось, что повесть

написана холодно, скупо. И он был совершенно прав: о тех опасных отношениях, которые сложились между Хлыновым и мною, нельзя было писать ни холодно, ни скупо.

Мы виделись почти ежечасно, спали в одной палатке, и невесело было мне устраиваться на ночлег, зная, что в десяти шагах от меня спит человек, который охотно зарезал бы меня, если бы это сошло ему с рук. Стоило ему только увидеть меня, как верхняя губа мясистого рта поднималась, показывая большие плоские зубы, взгляд становился матовым, тусклым.

Когда вспыхнула эта ненависть? Мне кажется, в ту минуту, когда он услышал, что мы с Вильямсом называем друг друга на «вы».

— Кто? Ленин — интеллигент? — сказал он, прислушавшись к случайному разговору.— Нет, он не интеллигент! Он — свой, нашенский.

Батальонный комиссар пришел, чтобы поговорить с нами. Я спросил его, как дела на Южном фронте, где находился мой брат, на Западном, где был другой, и, слушая ответ, спиной почувствовал устремленный на меня ненавидящий взгляд: Хлынов сидел неподалеку, скрестив ноги, с изуродованным от злобы лицом.

И это была вражда, искавшая выхода,— недаром я назвал ее опасной. Однажды я сидел подле пирамиды винтовок — в ту пору винтовки, как бы прислоняясь друг к другу, выстраивались красивой пирамидой, которая держалась на кольце, надевавшемся на хомутики в том месте, где вставлялся штык. И вдруг вся эта пирамида с грохотом упала на меня, больно ударив по голове и плечам. Нельзя было снять кольцо незаметно. Оно оказалось разрезанным, и в том, кто это сделал, можно было не сомневаться.

Обучение шло своим ходом, мы кололи штыками рогожные мешки, набитые соломой, ходили на стрельбище. Вильямс, перепутав мишени, два раза выстрелил по моей и попал. Наблюдатели взмахнули флажками пять раз. Это значило, что с его помощью я всадил в мишень пять пуль из семи. У Хлынова, меткого стрелка, все семь попали в яблочко или неподалеку.

Две роты, наша — первая и, кажется, третья выбили равное количество очков. Взводный приказал мне тащить из фуражки жребий: не знаю, почему именно меня он считал достойным этого акта справедливости, который

должен был решить — получит ли Хлынов дешевые карманные часы с выгравированной надписью «За отличную стрельбу» или тот пожилой мужчина с зеленовато-седыми усами, которого я приметил еще на сборном пункте. Закрыв глаза, я пошарил в шапке рукой и вытащил сложенную бумажку: приз достался третьей роте.

Я старался не смотреть на Хлынова: теперь я был убежден в том, что он либо убьет меня, либо искалечит.

4

Стоял конец июля, Ходынка выгорела, ежеминутно хотелось пить, и казалось, что на маневрах, когда полк разделили на «синих» и «красных», выиграет сраженье тот, кто лучше переносит жару.

Я переносил ее плохо, а Вильямс, который сразу много хлебнул из своей фляжки, и вовсе не переносил. В потемневшей от пота гимнастерке он плелся кое-как, думая, по-видимому, только о том, чтобы удержаться и не выпить фляжку до дна. Я пытался подбодрить его, но он только махнул рукой и спросил хриплым голосом:

— До деревни далеко?

Мало сказать, что до деревни — не помню, как она называлась — было далеко. До деревни мы должны были обойти «синих» и ударить на них с правого фланга.

Согласно приказу, взвод двигался короткими перебежками. Он был разделен на звенья, я командовал одним из них, и моя несложная обязанность заключалась в том, что после каждого минутного привала я должен был кричать: «Звено, вперед, за мной, бегом марш!»

Но один из моих бойцов неизменно отставал от других. Повесив винтовку на ремень, как предмет, с которым ему решительно нечего было делать, Вильямс не бежал, а тащился по открытой местности, отнюдь не стараясь избежать огня «синих», и добирался до нас, когда надо было снова бежать.

Поле кончилось, в жиденьком лесу стало легче дышать. «Синих» мы еще не видели, но где-то поблизости слышались выстрелы — нам роздали учебные патроны, предупредив, что ими нельзя стрелять с близкого расстояния. По взволнованному виду пробежавшего взводного нетрудно было заключить, что правый фланг «синих» пересекал этот лесок...

Я поил Вильямса из своей фляжки, когда раздался пронзительный свист — взводный предупредил нас, что этим свистом он поднимет нас в атаку.

Со штыками наперевес мы кинулись в лесок — и в эту минуту я увидел Хлынова: он обогнал меня, обернулся и выстрелил, целясь в лицо. Не знаю, когда я успел заслониться. Комок пыжа ударил в ладонь, я взвыл от боли, но продолжал бежать куда-то по буеракам, навстречу «синим», которые залегли, встретив нас плотным «огнем».

Не знаю, какое чувство заставило меня сказать Вильямсу, что я сам нечаянно поранил руку. В деревне я долго держал ее в холодной воде, а потом перевязал носовым платком. Это странно, но у меня не было никакого желания отомстить Хлынову, по милости которого я мог лишиться глаза. Может быть, я был немного подавлен — ведь с такой, казалось бы, беспричинной ненавистью я встретился впервые. Но мне наконец удалось мысленно как бы поставить себя на его место, и я не то что пожалел его, а с чувством сознательной гордости подумал, насколько он ничтожнее и духовно беднее, чем я. Эта психологическая «перемена мест», так пригодившаяся мне, когда я стал писать прозу, случилась со мною впервые.

Любопытно, что на разборе учения и Хлынов казался не то что подавленным, но растерянным, смущенным. Казалось, его зверское лицо не могло выглядеть жалким. Однако — выглядело. И когда мы случайно встретились глазами, он, торопливо отвернувшись, усердно занялся стволом орешника, с которого срезал кору перочинным ножом. Но, может быть, он просто жалел о своей неудаче?

СТАРШИЙ БРАТ. НАКОНЕЦ-ТО ЛАБОРАТОРИЯ!

1

В Ростове брат был вынужден заняться бактериологическими анализами и совершенно потонул бы в них, если бы не хорошие помощники.

Свободным временем он воспользовался, чтобы заняться изучением сыпного тифа, тем более что лабора-

тория помещалась в сыпнотифозном госпитале, и будущими «подопытными» были до отказа забиты палаты.

Никакого лечения, непосредственно действующего на болезнь, не было и в помине. Возбудитель сыпного тифа еще не был открыт, и знали о нем только одно: он находится в крови и переносится вшами...

Мысль была проста: что, если взять эту кровь, убить нагреванием находящегося в ней возбудителя и ввести ее под кожу больного?

Он договорился с врачами, начал опыты и вскоре убедился в благотворном, неоспоримом, как ему казалось, влиянии сыпнотифозной «вакцины». Контроль был поставлен с такой же соблазнительной простотой: одни больные получили «вакцину», а другие — нет. Но она действовала — вот в чем не было никакого сомнения! Сокращался температурный период, болезнь протекала с меньшей остротой, смертность уменьшалась.

«Я ликовал,— пишет Лев,— и решил доложить наши данные на научной комиссии санупраления, чтобы другие госпитали могли воспользоваться нашими наблюдениями».

Доклад блистательно провалился. Барыкин внимательно выслушал Льва, несколькими вопросами уточнил детали, а потом убедительно доказал, что новый метод теоретически необоснован, а контроль поставлен из рук вон плохо.

Легко себе представить, как был расстроен Лев. Более того, он был взбешен: «Добиваясь постановки доклада на научной комиссии, я надеялся не только показать Барыкину, какой я «умный»... Но и открыть себе дорогу на его кафедру. Теперь все рушилось. Страшно волнуясь, я начал возражать ему, стараясь разбить по пунктам все его возражения...»

Впоследствии Лев рассказывал мне, что в эти решающие минуты ему счастливо вспомнился Дженнер: прививки от оспы применяются более полутораста лет, они спасли и спасают миллионы людей: может ли профессор Барыкин теоретически обосновать этот метод? Да и какое дело больному, обоснована ли теоретически успешность его лечения?

«После заседания В. А. Барыкин подозвал меня к себе. Он улыбался.

— Откуда вы, такой горячий?

Я рассказал ему, что кончил два факультета, работаю

в лаборатории сануправления, и прибавил, что был бы счастлив слушать его лекции, когда это возможно, и поработать у него на кафедре.

— Ну что ж, приходите, ежели хотите действительно работать...»

Однако к Барыкину брат попал не скоро. Ему предстоял отпуск, он поехал домой, в дороге заразился и через две недели заболел тяжелым сыпным тифом.

2

Как случилось, что он не нашел в Москве никого из родни? Новый семейный дом не удался, не сладился, опустел.

Мама в августе 1920 года уехала в Псков — об этом я еще расскажу. Саша с Катей гостили в Липецке у ее родных.

Но где была Мара Шевлягина, которая ждала его, сердясь на себя, на него, на войну, добилась командировки в Азов, вернулась и снова ждала — беспокойно, нетерпеливо? Не знаю. Может быть, снова была в командировке — длительной и на этот раз не добровольной? В своих записках Лев почти не касается отношений семейных, личных, хотя в размахе его целеустремленного существования личной жизни была отдана немалая доля душевных и физических сил.

Так или иначе, он лежал в госпитале, на более чем скудном пайке, который ему приходилось делить пополам. Сперва он съедал обед, а потом, спустя три-четыре часа,— хлеб, полагавшийся к обеду. Плохо было то, что стоило только оставить хлеб на столике, подле кровати, как сразу же появлялась маленькая мышка. Она часто дышала, подбираясь к хлебу, и у брата не было сил, чтобы ее отогнать.

На соседней койке лежал моряк, приятный человек, которого часто навещала молодая дама. «Почти всегда она садилась спиной ко мне, и я не мог разглядеть ее лицо,— пишет Лев.— Но как-то, прощаясь, она подошла к моряку с другой стороны кровати. Солнце ярко светило прямо на нее. Прекрасное лицо. Нежный овал розовых щек, живые глаза с длинными ресницами, белые ровные зубы. Она была просто красавицей. Натягивая перчатку,

как-то грустно посмотрела на меня и, ласково улыбнувшись, кивнула мне головой. «До свиданья, до свиданья»,— неожиданно почти громко крикнул я».

Каждая койка была на учете, и ему предложили выписаться в начале мая. Он попросил зеркало и увидел в нем человека средних лет, с торчащими скулами и провалившимися щеками. Усы были рыжие, черная и рыжая бородка отросла кустиками на подбородке и под ушами. Глаза на похудевшем незнакомом лице казались неестественно большими. «Я попросил, чтобы меня побрили и постригли. Процедура страшно утомила меня, но вряд ли заметно способствовала улучшению моего экстерьера...»

Первая часть далеко не законченных записок брата заканчивается сценой, мимо которой трудно пройти. Известный Вильгельм Оствальд делил ученых на классиков и романтиков, сдержанно пользуясь литературными аналогиями и еще более сдержанно включая в свою гипотезу личную жизнь деятелей науки. В наши дни это предположение кажется безнадежно устарелым: понятие «классический» утвердилось в своей неопределенности, а понятие «романтический» давно сносилось и не имеет ничего общего с нравственным движением, охватившим европейскую культуру начиная с конца восемнадцатого века. Но наивная формула Оствальда оживает, когда я думаю о брате. Он принадлежал к тем немногим счастливцам, за которыми по пятам шла молодость, полная размышлений о совести, разуме, чести,— и мимо этой черты трудно пройти тому, кто стремится разглядеть существо его сложной натуры.

«Через несколько дней,— пишет он,— мне нужно было уезжать домой. Когда я уже натягивал свою военную шинель, в палату вошла дама, посещавшая моряка.

— Вас уже выписывают? Поздравляю вас. Но как же вы доберетесь домой? Куда вам нужно?

— Еще не знаю, но как-нибудь доберусь. Мне на Вторую Тверскую-Ямскую.

— Знаете что, вы подождите здесь. Я посижу немного с Василием Николаевичем, а потом я доставлю вас на Вторую Тверскую. У меня машина.

В голосе звучали теплота и участие.

— Спасибо большое. Я буду очень обязан вам.

Машина оказалась открытой. Шофер в морской форме вел ее спокойно и небыстро. Весеннее солнце заливало

улицы. Воздух был прозрачен и свеж. Мы перекидывались ничего не значившими словами... Потом вдруг неожиданно:

— Скажите, кто вы?

— Я военный врач. Приехал с фронта в командировку и заболел сыпным тифом. А вы?

Молчание. Немного погодя:

— Я жена брата Василия Николаевича. Мой муж убит на фронте несколько месяцев тому назад.

Долгое молчание.

— Ну вот, мы уже подъезжаем к Тверской. Вы не очень устали? Такой чудесный день. Хотите, я немного покатаю вас? Проедемся в Петровский парк.

— О, конечно, поедем! Спасибо.

Петровский парк только одевался свежей листвой. Деревья казались какими-то прозрачными. Зеленые листочки ярко блестели на солнце.

— Весной все воспринимается как-то по-другому. Для людей, которые любят и понимают природу, весна — это какое-то таинство, которое никого не может оставлять равнодушным.

— Да,— отвечал я.— И поразительно, что это чувство никогда не притупляется, и каждую весну встречаешь, как что-то новое. У меня сейчас две весны. Выздоровление — это тоже весна.

Мне все время хотелось спросить, как ее зовут. Какое-то удивительное очарование было присуще этой женщине. То ли лучистые и вместе с тем печальные глаза, то ли голос, певучий и обволакивающий — не знаю что, но сидеть с ней, слушать ее, смотреть на нее было необычайно приятно.

Не хотелось говорить, только смотреть и слушать. Кружилась голова. Казалось, что мы летим в какой-то зеленый, радостный мир.

Мы выехали из парка в обратный путь. Остаются минуты. Надо же спросить ее имя, телефон, адрес. Наконец, это же просто невежливо! Она так мила и любезна к совершенно незнакомому человеку. Сейчас спрошу...

— Где же на Второй Тверской-Ямской? Мы уже едем по ней.

— Вот в конце, дом три с правой стороны.

Я поцеловал ее руку, отвернув край перчатки.

— Бесконечно благодарен вам.

Точно пьяный, я поднялся на второй этаж и вошел

в свою комнату. Не раздеваясь, я бросился на кровать и заснул мертвым сном.

Так запомнился мне на многие годы этот день, который остался в памяти, как один из счастливейших. И годы я не мог простить себе эту непонятную робость, которая помешала мне узнать имя женщины, которой я был обязан этим счастливым днем».

ПРОЩАЙ, МОСКВА!

1

Но вернемся к августу 1920 года.

Всю дорогу от Ходынки до дома я думал, сказать ли маме, что нас отправляют на Западный фронт. Может быть, еще не было окончательного решения, но недаром вчера на собеседовании комиссар сказал, что успех мировой революции во многом зависит от того, удастся ли нам разгромить белополяков.

Пожалуй, стоило до поры до времени помолчать, а потом поступить, как Лев: сказать накануне отправки, когда нас отпустят проститься с родными.

Весь июль я не получал увольнительных — готовились к полковому ученью — и, придя на Вторую Тверскую-Ямскую, с первого взгляда понял, что произошли перемены: в передней стоял упакованный, перевязанный крест-накрест мамин чемодан, а рядом с ним — саквояж поручика Рейсара, тоже туго набитый и для верности стянутый ремешком.

Мне открыла Катя. Мы поздоровались, и она сразу же ушла в свою комнату — да не ушла, а убежала. Что случилось?

Маму я нашел на кухне. С хорошо знакомым мне выражением оскорбленной гордости она пекла картофельные оладьи на керосинке. Я поцеловал ее.

— Кто уезжает?

— Я уезжаю,— спокойно ответила мама.— Вот пеку себе оладьи на дорогу.

— Почему?

Вместо ответа она сказала, что сестра Люся давно зовет ее в Псков, а теперь сняла для нее комнату и нашла работу в Доме культуры.

— Но почему?

Мама молча переворачивала оладьи. У нее было измученное, решительное лицо.

— А потому, что я здесь никому не нужна. А там еще могу заняться полезным делом.

Она с трудом удерживалась от слез. В последнее время она стриглась и причесывалась по-мужски, и у меня сжалось сердце, когда я взглянул на эти короткие, жалкие волосики, едва прикрывавшие уши.

— Мамочка, почему никому? Вы всем нужны. И потом, как же вы поедете одна?

— И что же! Ездят же люди!

— А билет, пропуск?

— Есть у меня и билет и пропуск.

Маме помог один из Свердловых — эта семья, родственная Я. М. Свердлову, издавна жила в Пскове.

Что же произошло? Откуда это неожиданное решение? С Сашей говорить об этом было бесполезно. Его не было дома, но по дорожным вещам, умело перевязанным его сильными руками, я понял, что он не станет уговаривать маму остаться. Мара? Но она возвращалась из клиники поздно, а у меня была увольнительная только до вечерней поверки.

Я еще поговорил с мамой, а потом постучал к Кате и неожиданно застал ее за работой: тоненькой кисточкой она рисовала на черной лакированной коробочке китайского богдыхана. Это был заказ какой-то артели.

— Катенька, что случилось?

Богдыхан был оранжево-желтый, с длинными усами. Она тронула усы кисточкой, полюбовалась и тронула снова.

— Загорел и нагулял щечки,— сказала она, взглянув на меня.— Посмела бы теперь Липка закатить вам оплеуху! Между прочим, я ее выгнала: пошлячка и дура.

— Почему мама решила уехать? Вы поссорились?

— Я? — Она удивилась.— И не думала.

— А кто же? Мара?

— Тоже нет. Просто Анна Григорьевна решила вернуться в Псков. Мы ее даже уговаривали. Особенно Саша. Но она сердится и говорит, что она здесь как в лесу.

— Что это значит?

— Не знаю.

И она снова принялась за своего богдыхана. По тщательности, с которой она отделывала его усы, нетрудно было догадаться, что ей глубоко безразлично — уедет мама

или нет. Я посмотрел на ее сияющий лоб, на легкие, летящие волосы, на серые, неправдоподобно большие глаза, которые уже рассеянно глядели на меня, вздохнул — и вышел.

У меня были дела в городе, но весь этот день я провел с мамой. Сперва мы разговаривали на кухне, потом в столовой. «Значит, не говорить? — думалось мне.— А сказать потом, когда дадут увольнительную для прощанья с родными. Но ведь мама уезжает?»

Я позвал Катю к обеду, она вышла и сказала маме — вполне дружелюбно,— что пообедает позже, а сейчас увлеклась работой.

Мама много говорила — слишком много. Я посматривал на нее с тревогой.

Мне казалось, что она уезжает, потому что жила в пустоте и тяготилась тем, что никто, кроме нее, этой пустоты не замечает. Она умела, но не любила заниматься хозяйством, а ведь надо было готовить, убирать; только для большой стирки раз в месяц приходила уборщица из клиники, в которой работала Мара. И мама не рассчитывала на благодарность, она оценила бы и простое внимание. Ее решение уехать казалось ей значительным, важным. Оно и было значительным, дом держался на ней и, без сомнения, сразу же опустеет после ее отъезда. Но и до этого никому не было дела.

Я слушал ее и думал, что, в сущности, так было всегда: «бюро проката», дети, муж, которого она не любила. Деньги, которых всегда не хватало. Безнадежно больной брат, ежедневно напоминавший ей о молодости, когда казалось, что жизнь будет содержательной, интересной: консерватория, Рубинштейн.

Сказать или нет? Я вспомнил, как сдержанно мама приняла решение Льва. Может быть, для нее имело значение, что он уходил добровольно? Это был шаг, поступок.

«Не скажу,— решил я.— Напишу с дороги».

— А где тетя Люся нашла вам комнату?

— На Кохановском.

У меня фальшиво дрогнул голос, когда я спросил адрес, и она, подняв голову, посмотрела мне прямо в глаза.

— Когда вас отправляют?

Я не успел ответить.

— Ты думаешь, я не вижу, что ты расстроен?

— Мамочка, еще не знаю.

— Не врать,— строго сказала она.
— Честное слово. Очевидно, скоро.
— Куда?
— Еще неизвестно. Кажется, на Западный фронт.
Я подсел к ней и стал говорить, что все будет хорошо, ведь братья уже два года на фронте, и ничего не случилось.
— Они — врачи, это другое дело. Да полно,— сказала она, слегка оттолкнув меня.— Неужели я не думала об этом каждую ночь?
Две слезинки выкатились из покрасневших глаз. Она сбросила пенсне, и стали видны две красные вдавлинки на переносице, памятные мне с самого раннего детства. Нашла платок и сердито вытерла слезы.

Мама уехала, а через несколько дней взводный отдал приказ построиться в одну шеренгу и закричал:
— Бойцы, состоявшие до призыва в высших учебных заведениях,— шаг вперед!
Человек семь-восемь — в том числе и мы с Вильямсом — вышли из строя.
— Согласно приказа наркомвоенмора,— кричал взводный,— получаете отсрочку для окончания образования.
Он прочел приказ, а через полчаса мы с Вильямсом, обязавшись в канцелярии полка сдать казенное обмундирование и получив свои военные билеты, уже шагали в Москву по выгоревшей пыльной дороге.

2

И в лагерях я не расставался с письмом Юрия,— если бы это было возможно, я на другой день после демобилизации поехал бы в Петроград. Но надо было дождаться вызова из Коминтерна — при одном этом слове меня прохватывала легкая дрожь. Отчасти дрожь была связана с непроизвольной мыслью о том, чем же я буду заниматься в Коминтерне, не зная ни одного иностранного языка, кроме латыни. Ведь во французском отделе, где работал Юрий, не позволят перепутать «les enfants» с «les éléphants», как это однажды случилось со мною в гимназии!
О том, что нужен служебный, а не личный вызов, я узнал в Моссовете, вернее, во дворе Моссовета, где к пред-

седателю выездной комиссии записывались за три-четыре дня.

Записался и я, хотя мало было надежды, что вызов придет так скоро. Завелись знакомства, и среди них — приятное: девушка, татарка, лет восемнадцати, смуглая, узкоглазая, с нежными торчащими скулками. Своим гортанным говорком она подробно рассказала мне, что у нее очень болен, может быть, умирает отец, и показала телеграмму-вызов из Петрограда. Она уже была у председателя выездной комиссии и, когда я спросил, каков он, ответила только: «У-у» — и зябко повела плечами. От нее-то я и узнал, что непременно нужен служебный вызов, хотя иногда — она не переставала надеяться — может подействовать и личный.

Случайно я оказался во дворе, когда, радостно взволнованная, она вылетела из дверей и кинулась прямо ко мне, размахивая какой-то бумагой. «Разрешил, разрешил!» — закричала она.

Ее обступили.

— Я у него спросила: «Дочь у тебя есть или сын?» Он говорит: «Есть».— «А помирать будешь, захочешь на них посмотреть?» Ну, конечно, заплакала,— весело сказала она.— Хотела на колени встать, не дал. И разрешил.

Расставаясь, я спросил, как ее зовут.

— А тебе зачем?

— Не знаю. Я тоже собираюсь в Петроград. Может, когда-нибудь встретимся?

— Конечно, встретимся. Гюль зовут. А по-русски — Гуля.

Дел было немного, и я справился с ними в два дня: получил удостоверение, что учился в Московском университете, и выхлопотал карточки первой категории, полагавшиеся мне как демобилизованному красноармейцу,— после моего отъезда они могли подкрепить продовольственную базу нашей квартиры...

Все опостылело мне в Москве, никого не хотелось видеть, и, хотя надо было проститься с товарищами из «Зеленой мастерской», я не мог заставить себя пойти даже к Жене Куммингу, хотя летом он не раз справлялся обо мне.

Что-то перестроилось, сдвинулось в душе за эти три пролетевших месяца, и вопреки тому, что не было, ка-

жется, ни одной свободной минуты, чтобы задуматься о себе, однако же случались и запоминались такие минуты.

Однажды ночью я ждал смены караула у вещевого склада. Хотелось спать, день был утомительный. Негромко, про себя, я стал читать Баратынского, и непривычно ново прозвучали в тишине уснувшего лагеря его удивительные строки:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол...

Не знаю, как передать чувство, охватившее меня в эту минуту,— восторг, озаренье, гордость и снова восторг до умиленья, до подступающих слез. Я был счастлив, что на свете существуют слова. Вот они, дивно превращенные в зримое, вещественное признание:

Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

Этих «превращений» еще нет у меня, но они придут. Они уже существуют. В гулких шагах смены, которую я ждал,— разводящий с двумя бойцами показались на краю дорожки. В знакомых созвездиях, в темном, теплом июльском небе, в бледно-голубых палатках, облитых лунным светом и как бы неторопливо плывущих над землей.

Слова придут, и я превращу их — не знаю во что... В чудо, которое заставит всех забыть о том, что это только слова.

Я сменился, пошел в палатку, разделся, лег, закутался в одеяло. Но долго еще не мог я заснуть от беспричинного, радостного волнения...

3

Наконец пришел долгожданный вызов, напечатанный на бланке, который даже нельзя было назвать этим скучным канцелярским словом: большой лист плотной бумаги начинался словами — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Коммунистический Интернационал. Северная коммуна», а уже потом шли две или три строчки, предлагающие мне немедленно выехать в Петроград. Немного странным показалось мне, что на этой внушительной бу-

маге не было печати. Я посмотрел вызов на свет, подумав, что, может быть, на месте обыкновенной печати стоит какая-то особенная, водяная. Не оказалось и водяной, и, слегка обескураженный, но не теряя решимости, я побежал в Моссовет.

Очередь свою я пропускал несколько раз, и в новом списке она стояла чуть ли не на двухсотом месте. Но нашлись свидетели моих ежедневных набегов, и в конце дня я, слегка оробев, но держась непринужденно, вошел в небольшую комнату, где за пустым столом сидел моряк лет тридцати, небритый, насупленный, в накинутом на плечи бушлате. Не знаю, почему татарочка, вспоминая о нем, зябко повела плечами. У моряка было хорошее лицо. Слегка хмурое, как и полагалось председателю выездной комиссии, но доброе, с усталыми глазами.

Он внимательно прочитал вызов.

— А почему нет печати? — спросил он.

Я был приготовлен к ответу.

— А разве вы не знаете,— веско сказал я,— что на бланках Коминтерна не ставят печати?

Это было сказано в неторопливо-разъясняющем тоне, как если бы я был слегка удивлен, что председатель не осведомлен о таком общеизвестном факте.

Он подумал — недолго — и выписал мне пропуск. (Когда в Петрограде я сказал Юрию, что на вызове не было печати, он схватился за голову: «Вот черти, забыли поставить!»)

Но и без печати вызов действовал безотказно. Я поехал на вокзал и получил билет, нимало не тяготясь на этот раз, что поеду в бывшем международном вагоне.

Прощанье с Женей Куммингом было не то что неловким, но, кажется, менее сердечным, чем ему бы хотелось. У него только что вышла книжечка «Театр Мировых Панорам» (та самая, которая сохранилась в моем архиве), и он подарил мне ее с преувеличенно-дружеской надписью, заставившей меня слегка растеряться: «Какими нежными эпитетами окружить твое имя?», и т. д.

— Мы расстаемся навсегда,— торжественно сказал он и, помолчав, прибавил с горечью: — Ты будешь писать прозу.

И прежде мне случалось видеть моего приятеля в угрюмо-высокопарно-торжественном настроении. Мог ли я

ожидать, что его предсказание сбудется? Мы действительно больше не увиделись, а я действительно стал писать (и пишу до сих пор) прозу. В 1921 году он уехал за границу. По слухам, которым я верю, он стал миллионером.

Совсем по-другому простился я с Вильямсом, даром что не прошло и трех месяцев, как мы подружились. Я встретил его на Кузнецком мосту. Он шел с хорошенькой беленькой девушкой и, извинившись перед ней, подошел ко мне. Разговор был сердечный. Он горячо одобрил мое решение переехать в Петроград: «Ведь там самые лучшие филологические силы. А город!» Он уже занимался в Художественных мастерских и от души засмеялся, когда я пожалел, что не подобрал рисунки, которыми он усеял Ходынское поле.

Предсказаний друг другу мы не делали, но я не удивился, узнав через несколько лет, что он стал одним из руководителей Общества художников-станковистов, а потом — одним из лучших театральных художников Советского Союза.

Встретились мы только однажды, незадолго до его ранней кончины в сороковых годах,— да и то случайно, едва узнав друг друга. Наши интересы — жизненные и профессиональные — не пересекались, и мне оставалось только радоваться его возраставшему с каждым годом успеху.

Главный художник Большого театра, он оставил работы, которые и до сих пор поражают блеском молодости и вдохновенья. Мне кажется, что «Ромео и Джульетта» — лучшая из его постановок. Когда я впервые увидел этот балет — танцевала Уланова,— мне то и дело вспоминался тоненький юноша с хохолком, отозвавшийся вместо меня на перекличке.

4

В день отъезда я проснулся рано и решил полежать — оставалось только уложить чемодан, а на это хватило бы и получаса. Но полежать не удалось. Кто-то, очевидно Саша (потому что Мара уже давно была в клинике, а Катя уехала к родным), каждые четверть часа мчался в кухню или в уборную, гулко шлепая босыми ногами. Я оделся, зашел к нему. Он лежал, держа руки

на животе и задрав к потолку свой острый побелевший нос. Над кроватью, приколотый кнопкой, висел лист бумаги, на котором под датой — 18 августа 1920 года — шли цифры 1, 2, 3, 4, и т. д.

— Пошел бы ты к себе, бес-дурак,— сказал он добродушно.— Еще заразишься.

И, вскочив, он снова побежал — теперь у меня уже не было сомнений, куда, а вернувшись, записал очередную цифру — 12 или 13 — и, рухнув на постель, опять уставился в потолок.

— Что с тобой?

— Похоже, что дизентерия. Так что тебе придется сбегать в это синемá, будь оно проклято, и сказать, чтобы послали за Петькой Ершовым. Он меня уже заменял.

— Послушай, но что же делать?

— Ничего не делать. Дизентерию, по-моему, вообще не лечат. Либо пройдет, либо помрешь.

— Что же ты съел?

— Балда, дело не в том, что я съел. Я заразился. И ты заразишься, если будешь здесь торчать. Айда, ну!

Это был день, когда Захаров приезжал в Москву. Но где его искать? Я пошел в кино «Великий немой», сообщил администратору, что Саша болен, а потом отправился в клинику к Маре. Она сказала, что не знает, где Захаров, но постарается сегодня пораньше вернуться домой.

— Грелку на живот,— сказала она.— И пускай ничего не ест до моего прихода. Пить можно, но мало.

Грелки у нас не было, и пришлось взять ее у Холобаевых, разумеется, утаив от них, что у Саши дизентерия.

Счет на бумажке значительно вырос, пока я отсутствовал, и стало ясно, что оставлять Сашу в таком положении нельзя. Он ослабел, поднимался с трудом, а возвращался, стиснув зубы, с помутившимися глазами.

— Когда у тебя поезд? — вдруг громко спросил он.

— В четыре.

— Ты уложился?

— Нет еще.

— Почему?

— Как же ехать? Ты тут без меня подохнешь, пожалуй!

— С тобой или без тебя, невелика разница. Иди укладывайся. И не дури.

Я послушно пошел к себе и уложил чемодан. Это заняло пятнадцать минут. Книги были уложены в первую очередь, над рукописями я задумался, но тоже взял, почти все. Крылатку я решил перекинуть через плечо, а полушубок, из которого давно вырос,— оставить в Москве. Гардероб не занял и пятой доли моего чемодана. У меня были запасные брюки, серая гимназическая курточка и одна смена белья, состоявшая из рубахи с единственной солдатской пуговицей и пары кальсон в розовую полоску.

— Не поеду,— сказал я, вернувшись к Саше и найдя его сидящим на кровати с померкшими, запавшими глазами. Остывшая грелка валялась на полу.

— Я тебе не поеду,— слабым голосом ответил он.— Вообще, что ты беспокоишься? Я твердо решил, что не умру. Значит, не умру. И баста!

И все-таки я, может быть, не решился бы, если бы не одно воспоминание — ничтожное, но вдруг убедившее меня в том, что если Саша решил, что не умрет, значит, так и будет.

Еще до отъезда Льва в Звенигород у нас засорилась уборная, и он решил исправить дело с помощью каких-то едких кислот... Уж не знаю, какие яды он лил в наш старомодный туалет, но химический способ — как это выяснилось после трехчасового ожидания — не оправдал ожиданий. Тогда, не долго думая, Саша снял рубашку и запустил руку чуть ли не до плеча в ледяную, отравленную жижу. Долго он возился, сидя на корточках, и в конце концов вытащил огромный мохнатый тряпично-бумажный ком.

— Лучший в мире хватательный инструмент,— сказал он, показывая с гордостью красную, изъеденную кислотами руку.

Почему этот случай заставил меня решиться? Не знаю. Но время шло. Я сменил грелку, простился с Сашей — он почти выгнал меня,— подхватил чемодан и отправился на вокзал. Чувство, что я поступил бессердечно, мучило меня всю дорогу.

5

Бывают встречи мимолетные, мгновенно скользнувшие, как будто самопроизвольно стремящиеся исчезнуть,— и запоминающиеся на всю жизнь.

В четырехместном купе международного вагона кроме меня оказался только один пассажир — мужчина лет сорока, в добротном, накинутом на плечи пальто. Из-под слегка расстегнутого полувоенного френча виднелся галстук и белый воротничок, на брюках была свежая стрелка, ботинки блестели. Он был одет аккуратно, и той же аккуратностью было отмечено его лицо — румяное, с подстриженными усиками, приятное, если бы не глаза, похожие на оловянные бляшки. В сравнении с ним я выглядел оборванцем.

Мы поздоровались, и я сразу же забился в угол, закутавшись в свою крылатку. В полном одиночестве, без родных или друзей, я путешествовал впервые. Мой сосед мельком взглянул на меня и хотел, кажется, что-то сказать, но промолчал. Должно быть, моя дикая, необщительная внешность огорчила его.

Поезд тронулся, и, негромко посвистывая, мой попутчик открыл маленький чемоданчик, вынул из него белоснежную салфетку, расстелил ее на столике и — боже мой!.. Трудно поверить, какие яства стали появляться из чемоданчика одно за другим: яйца, бутерброды из белого хлеба с колбасой, ветчиной и сыром, вкусно пахнущее чесноком копченое мясо. Все это он неторопливо разложил на столике и с удовольствием откашлялся, прежде чем приняться за еду.

— Все жена-с,— не удержавшись, похвастал он. Это значило, разумеется, что он обязан жене не продуктами, а тщательностью, с которой они были приготовлены и уложены. И действительно — каждая пара бутербродов была завернута в лист белой бумаги.

— Не угодно ли? — предложил он.

Мне в этот день не удалось пообедать, я был голоден, хотя, тащась на вокзал с тяжелым чемоданом, не удержался и съел горбушку хлеба, которую взял в дорогу. Но что-то заставило меня отказаться — может быть, подозрительная роскошь этого угощения, которое в ту пору могло померещиться только во сне.

Но я уже заинтересовался своим соседом, и мне захотелось поговорить с ним. Ждать пришлось недолго.

— Искусство? — вдруг спросил он.

— Нет, я студент. Учился в Московском университете, а теперь перевожусь в Петроград.

— А позвольте узнать... факультет?

— Историко-филологический.

Он неодобрительно поджал губы.

— Значит, насколько понимаю, вам предстоит всю жизнь читать книги, а потом, на основании прочитанного, писать статьи или в лучшем случае новые книги?

Я засмеялся:

— Пожалуй.

— Ну что же! Поприще, естественно, небесполезное. Однако не для себя.

— А для кого же?

— Для других.

— Почему?

— Потому что на этом поприще крайне трудно *ухватить идею.* А если наше время ее не ухватишь — в безбедности не прожить-с. Если, разумеется, вы не гений.

— А вам удалось?

— Удалось.— Он все еще ел.— Правда, судьба помогла.

Он предложил закурить. Я не отказался.

— Позвольте узнать, весной восемнадцатого года вы случайно не находились в Москве?

— Нет.

— Стало быть, не слышали о зверском убийстве владельца суконной фабрики Ивана Яковлевича Сысоева?

— Нет.

— Ну как же! Вся Москва говорила. Явились молодчики с подложным ордером на обыск и зарезали всю семью — старика, трех сыновей и дочку. Бандиты-с. Причем главарь, очевидно, был психованный, потому что перед убийством заставил девочку — ей всего-то было лет шестнадцать — сыграть на рояле похоронный марш. Он потом сам себя выдал, как психованный, и его, естественно, расстреляли. Остальных не нашли. Ну, а я на этой фабрике был главным экспертом, и притом, осмелюсь доложить, первого класса.

Он покончил с ужином, упаковал оставшиеся бутерброды и яйца и уложил их в чемоданчик.

— Да-с. Ну, а когда хозяина зарезали, дело, естественно, оказалось на моих руках. А тут, как снег на голову, заказ! Да еще какой! Государственного значения. Для обмундирования Красной Армии потребовалось шинельное сукно в количестве — ну, прямо сказать, невообразимом. А у нас его — ни аршина-с! Почему? Потому что мы

в шестнадцатом году выполнили точно такой же заказ. И солдатское, и офицерское сукно продали подчистую. Что делать? Между тем со мной разговаривают, вы знаете ли, серьезно. Вынь да положь! Да-с. Вот тут и пришла мне в голову идея.

Он самодовольно усмехнулся.

— А надо вам сказать, что сукно у нас было. Но не шинельное, а дамское, причем склады буквально ломились, потому что сообразно обстоятельствам последнее время сукна этого никто у нас не брал. Вот я и подумал: «А не пустить ли его на шинели?» Конечно, ткань совершенно другая, тонкая, мягкая, но поскольку ее все равно надо перекрашивать, можно при этой операции ее слегка *утвердить*. Не подумайте только, что я этим втихомолку занимался! Вы знаете, кто меня лично принял...— Он назвал знаменитую фамилию.— Да-с. Принял и дал «добро». Ну, а дальше что же? Я при хозяине был хотя эксперт, но холуй. А теперь живу вдвоем с женой в его же квартире и, мало сказать, удовлетворен, но даже и сверх меры!

Он еще продолжал рассуждать о том, как он «огрублял» сукно и какие прекрасные получились шинели. Я уже не слушал его. Не знаю почему, но меня понемногу стало трясти от ненависти к этому человеку, к его аккуратности, к его бутербродам и копченому мясу, к его самодовольству, хвастовству, к ничего не выражающим бляшкам его оловянных глаз, а потом, когда он уснул,— к его равномерному, и тоже самодовольному, храпу.

«Но ведь он же не сделал ничего дурного,— убеждал я себя.— Напротив, в сложном положении нашел выход. Обмундировал три или, если он врет, два полка и справедливо получил благодарность. И все-таки... Все-таки. Недаром определял он мою филологию как дело «не для себя». Он-то как раз «ухватил идею» для себя. И вся его пошлая философия основана на том, что жить надо «для себя, а не для других». Ну, а ты? — спросил я себя.— Ты живешь для других? Нет, милый друг, и ты живешь для себя. Иначе ты, например, не оставил бы в пустой квартире полумертвого Сашу».

Долго возился я с этими мыслями, пока наконец как будто рукой не отстранил их от себя и затолкал в беспамятную темную щель.

«Боже мой, Петроград! — с охватившим меня ознобом

счастья думал я.— Увижу Неву, Эрмитаж, Сенатскую площадь, Медного всадника».

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

На Греческом проспекте, где живет Юрий, наверное, можно будет снять комнату в каком-нибудь спокойном греческом семействе. Мы станем видеться каждый день! И к черту стихи! Я буду заниматься! Подумать только, за последние два года у меня вылетело из головы все, чему я учился в гимназии!

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Я расскажу Юрию о своей встрече с Андреем Белым, о том, как я понял, что напрасно теряю время в Москве. И уж Юрий-то скажет, похож ли я на «русского денди»!

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Ночью я несколько раз просыпался, сам не знаю — от голода или от счастья.

1974

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕТРОГРАДСКИЙ СТУДЕНТ

ПЕТРОГРАД

1

На «буржуйке» что-то булькало и шипело, тоненький детский голосок звал мать. Сестра только всплеснула руками, увидев меня на пороге, и побежала к дочке. Я поставил чемодан, снял с гладильной доски утюг и занялся кашей. Надо было добавить что-нибудь жидкое, и Лена крикнула из соседней комнаты: «Подлей молока».

На кухонной полке стояла банка с молоком: я не видел его с 1918 года. Подкладывая в «буржуйку» чурбачки, я уронил один из них на пол, а Лена, появившись на пороге, приложила палец к губам: Инне еще полагалось спать. Минут через двадцать Лена снова пришла и засмеялась: раздувая утюг, я доглаживал детское платье.

Так, занимаясь хозяйственными делами, мы поговорили и наконец рассмотрели друг друга. Она спросила, где я так загорел, и тут же вспомнила:

— Ах да! В лагерях!

Я сказал, что она похудела, похорошела. В нашей семье Лена считалась самой красивой, а Льву отводилось второе место.

Хотелось есть, но почему-то надо было подождать, пока проснется Инна. Показывая мне квартиру, Лена упомянула, что на днях получила от мамы письмо: с Домом культуры не получилось, но ей предложили заведовать книжным магазином. Она была довольна, что уехала из Москвы, хотя и беспокоилась: все четыре сына за полтора месяца не написали ей ни строчки. Я, кстати сказать, написал, но перед самым отъездом.

Квартира была темноватая, все окна выходили во двор, но приятная — с маленькой столовой, маленьким кабинетом и большой детской, в которой еще спала, улыбаясь во сне, хорошенькая девочка с беленькой головкой. Впрочем, все комнаты напоминали детскую — то здесь, то там висели на протянутых веревках штанишки, рубашки, платьица, а на полу валялись потрепанные зайцы, медведи и куклы. Письменный стол в кабинете был завален раскрытыми книгами, рукописями. Юрий не позволял его прибирать, пыль приходилось вытирать украдкой. И Лена сердито и добродушно махнула рукой.

Инна проснулась, и началось мученье с завтраком. Нимало не считаясь с продовольственным положением страны, она ничего не ела, а когда соглашалась наконец проглотить ложку каши, внимательно осматривала ее, точно подозревала, что ее хотят отравить. Сперва ее кормила мать, потом я, страдая от желания в одно мгновенье слопать ее кашу. Потом снова мать — со сказками и стихами. Наконец позавтракали и мы — бог знает чем, а после завтрака я выслушал весь репертуар своей племянницы — действительно необыкновенный, если вспомнить, что ей еще не было и пяти лет. Она уже не только читала, но и сочиняла стихи. Одно из них изумило меня:

Обложение ос,
Пораженье пчел.
Положенье открытого ящика,
В котором лежит собака.

Может быть, не следовало говорить, что в этих строках заметны все признаки гениальности, но я все-таки сказал, и сестра радостно засмеялась.

Потом, расщепив несколько чурбачков на лучины, я разжег полупогасшую «буржуйку» и с полчаса поиграл с Инной, чувствуя нестерпимое желание удрать — ведь я уже добрых два часа был в Петрограде, а видел только Московский вокзал и греческую церковь. Но долго, долго еще сестра не понимала моих робких намеков. Наконец поняла — когда, изображая льва, я с тоской замычал, в то время как льву полагалось рычать. Она засмеялась и спросила:

— Хочется посмотреть город, да?

2

Мне казалось, что я знаю Петербург — Петроград прекрасно,— и действительно, задолго до своего отъезда чуть ли не наизусть заучил те столбцы энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в которых рассказывалось о достопримечательностях бывшей столицы. И все-таки, выйдя на какую-то улицу, показавшуюся мне не очень широкой, я спросил прохожего:

— Скажите, пожалуйста, как пройти на Невский проспект?

И получил суровый ответ:

— Вы на нем находитесь.

Так вот он каков! Не так величествен, как представлялось воображению, даже, пожалуй, скромен — и пуст! Окна магазинов заколочены, кое-где стекла разбиты, панель не подметена, мостовая выложена деревянными торцами. Я знал об этом и все-таки удивился. Но главное — пуст. Время от времени попадались редкие прохожие, но чем дальше я шел, тем больше меня удивляла необъяснимая пустота.

Правда, время было служебное, и ближе к вечеру, когда я возвращался, все чаще встречались торопливые люди. Но с утра он был пуст, и это мгновенно превратилось для меня в неожиданное счастье. Подумать только — я был наедине с Петроградом. Я бродил по его улицам, по набережным, и мне казалось, что город свободен от всего, что было сказано и рассказано в нем и о нем. Не было города Андрея Белого с его лакированными каретами, пролетавшими по Невскому «согласно законам симметрии и гармонической простоты».

Не было города Достоевского, почти не рассказанного, угаданного, охваченного одним взглядом, чтобы едко, пронзительно раствориться в жилах.

Не было гоголевского Петербурга, с его фантасмагорией «Носа».

В Пскове я жил не замечая города, прошли десятилетия, прежде чем я оценил его строгую красоту. Москва промелькнула, и хотя запомнилась, но на ходу, в разлете набежавших друг на друга стремительных дней.

Петроград возник в ту минуту, когда я его увидел. У него не было прошлого. Он проступил сквозь все неяс-

ности и загадки, которые ему приписали, о нем придумали, вообразили. Он был пуст, свободен — и ждал. Куда бы я ни шел, меня сопровождало тревожное чувство ожидания.

3

Это чувство стало явственным, ощутимым, когда на Морской перед моими глазами встали огромные, распахнутые настежь двери. Они были не раскрыты, а именно распахнуты, как бы приглашая всех проходивших мимо заглянуть в темную прохладную глубину.

Сердце забилось быстро и глухо, и, хотя мне захотелось уйти, я принудил себя заглянуть в просторный, богато украшенный вестибюль. Такие же неправдоподобно высокие двери вели в просторный зал с прилавками-барьерами, образовавшими замкнутую овальную линию, вдоль которой можно было идти и идти. Отодвинутые за барьерами кресла еще хранили, казалось, движение быстро вскочивших в испуге или негодовании людей. Свет шел сверху, сквозь стеклянные матовые стекла плафона. Но кроме естественного дневного света зал был сумрачно озарен еще и другим, призрачным, приглушенным. На столах, на окнах, на высоких пыльных лакированных барьерах лежала бумага. Александр Грин, который весной двадцатого года заглянул в этот дом, пишет, что она «взмывалась у стен, висела на подоконниках, струилась по паркету» («Крысолов»).

Толстые, как Библия, здесь и там громоздились бухгалтерские книги, гроссбухи — бумага, бумага, красно и черно разлинованная, довоенная, дореволюционная, забытая, как был забыт вкус белого хлеба. Когда-нибудь архивные работники оценят ту счастливую случайность, что рядом с Домом искусств, в котором жили тогда петроградские писатели, находился брошенный, с распахнутым входом банк,— на этой бумаге, которая проживет десятилетия, были написаны стихотворения, рассказы, романы.

Растерянный, расстроенный бродил я по мертвому зданию: и здесь была пустота, но угрожающая, затаившаяся. Пустота сопротивления, отрицания, отказа.

4

Юрий был уже дома, когда я вернулся. Веселый, растрепанный, в распахнутой белой апашке, он весело встретил меня — и сразу забеспокоился:

— Так и шлялся голодный целый день?

Но я не был голоден — купил на Литейном у бабы два полусырых пирожка с картошкой, а возвращаясь, у другой бабы еще два — почему-то в Петрограде пирожки были почти вдвое дешевле, чем в Москве.

...К нашему разговору я готовился задолго до отъезда. Правда, Пушкинский семинар не соединялся с Белым, а «русский денди» — со стихами, которые я снова стал писать в лагерях. Но я надеялся на вдохновенье.

В конечном счете Юрий должен был оправдать меня, потерявшего в Москве почти два года. Тогда я не понимал, что разговор состоялся бы, как раз если бы они не были потеряны. То, что я писал стихи, не имело для него никакого значения. Почти все интеллигентные мальчики писали стихи. Если бы я пошел на флот или поступил на биофак, он удивился бы, но не очень.

Но разговор не состоялся еще и потому, что я, приступая к нему, сказал, что Юрий нужен мне «до зарезу». Он засмеялся и рассказал историю: адвокат защищал извозчика, который убил и ограбил купца. И защитил, дело шло к оправданию. Но речь была такая трогательная, что подсудимый, умиленный до слез, воскликнул:

— Да что, господа присяжные! Деньги были нужны до зарезу, вот я его и зарезал.

От этой истории нелегко было перейти к многозначительному разговору, и я долго мямлил что-то, пока Юрий не сказал, хлопнув меня по плечу:

— Давай!

— Что давать?

— Все. Стихи, прозу.

— Нет... Я хотел... Ты помнишь, о чем я писал тебе в последнем письме?

— Помню. О Блоке. Ты в восторге от его статьи.

— А ты?

— А я нет. О его собеседнике я слышал. Его фамилия — Стенич. Блок польстил ему, он не денди. Он — сноб, а это совсем другое. Дендизм основан на стремле-

нии к несходству. К сожалению, распространяется обратное — стремление к сходству.

— Но Блок говорит...

— Он просто устал, и Стенич заморочил ему голову своими и чужими стихами. Дендизм вообще явление нерусское. Байрон — вот денди! Это — целое направление со своей историей и психологией. У нас был, кажется, только один денди: Дружинин.

Я сознался, что о Дружинине слышу впервые.

— Вот видишь! — с упреком сказал Юрий.— Ну-с, ладно. При чем здесь ты?

Теперь было уже совсем невозможно сказать ему, что я не спал по ночам, вообразив себя собеседником Блока. Но я все-таки сказал, и Юрий от души рассмеялся.

Лена выглянула из соседней комнаты и зашикала, он чуть не разбудил дочку.

— Вот уж уничижение паче гордости,— сказал он.— Если бы ты присутствовал при этом разговоре, тебя не заметил бы ни тот, ни другой. (Впоследствии Стенич стал известным переводчиком и еще более известным острословом и анекдотистом.)

...На этом вопрос, принадлежу ли я к русским денди, был исчерпан, если не считать, что недели две-три Юрий не называл меня иначе как денди.

— А денди дома? — спрашивал он, приходя со службы и заглядывая в столовую, где я уже сидел над «Введением в языкознание».

— Выдала бы ты, Леночка, нашему денди какие-нибудь штаны,— критически оглядев меня, сказал он однажды.

Леночка выдала старые студенческие брюки, но они, к сожалению, были мне коротки, а запаса не оказалось.

«Денди», с которым я легко примирился, продержалось, к сожалению, недолго. Его заменило другое прозвище, неизменно заставлявшее меня хохотать: «Олд фул Бен», что значит по-английски «Старый глупый Бен».

У Тыняновых любили прозвища, и, когда через полгода приехала Лидочка, у нее нашлось не менее десятка ласковых прозвищ для брата.

В УНИВЕРСИТЕТЕ И ДОМА

1

Я поступил в полуразвалившийся университет и не помню, чтобы я когда-нибудь пожалел об этом. Установившийся за столетие порядок, система, связывающая его с другими учреждениями, были отменены. Для того чтобы стать студентом, достаточно было сняться в фотографии и взять справку у домкома. На лекции можно было не ходить — как, впрочем, и в дореволюционном университете. Неудобно было манкировать семинарами, которыми руководили любимые профессора. Но если семинарами руководили нелюбимые, мы не ходили и на семинары. Много времени проводили в архивах и библиотеках, работая над рефератами, которые читали часто, независимо от того, входили ли они в курсовую программу. Программа была нужна главным образом для того, чтобы спохватиться — да ведь я же еще не сдал римскую литературу! Римскую или другую литературу можно было сдавать независимо от сессии. Этот свободный выбор был ограничен пределами года: не полагалось экзамены второго курса сдавать на четвертом. Но и на это смотрели сквозь пальцы. Мы могли серьезно заниматься не всеми предметами на свете — понадобятся они нам потом или нет,— а только теми, которые действительно отвечали нашим интересам. В двадцать лет мы были взрослыми людьми, которые должны были выбрать свой путь в науке и жизни. Вот почему самая мысль о том, что я обязан пойти на лекцию, которую не желаю слушать, в ту пору показалась бы мне просто вздором.

Я поступил на этнолого-лингвистическое отделение филологического факультета. И факультет и отделение время от времени переименовывались, программа с каждым годом расширялась. Ко времени моего окончания отделение растворилось и потеряло свое красивое название. Факультет общественных наук (бывший историко-филологический) стал называться в просторечии ФОНом, что расшифровывалось еще и как Факультет Ожидающих Невест. Для этого были серьезные основания: вдоль знаменитого, в три четверти версты, коридора то и дело

сновали стайки розовых приодетых девушек, которые взволнованно перебегали от одного расписания к другому.

Но как бы ни назывался наш факультет, по составу профессоров и преподавателей он был, без всякого сомнения, одним из лучших в мире. На восточном отделении читали В. М. Алексеев, В. В. Бартольд, И. Ю. Крачковский — в любой энциклопедии двадцатого века можно найти имена этих великих ученых.

И на других отделениях (в том числе и на этнолого-лингвистическом) основные курсы читались академиками — так, я слушал Е. Ф. Карского (история русского языка), В. Н. Перетца (история древней русской литературы).

В конце двадцатых годов я написал роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» — свидетельство того, что мимо меня не прошли усталость, растерянность, отчаянье старой профессуры перед лицом обрушившейся на него новизны. Но теперь, вспоминая те годы, я вижу на кафедрах своего факультета первоклассных ученых, охотно делившихся своими знаниями со студентами, от которых судьба не требовала ничего, кроме терпения, упорства и любви к литературе.

А дома меня ждал второй университет — Юрий Тынянов.

2

В своих воспоминаниях я неизменно называю его своим учителем. Но он никогда и ничему не учил меня. Даже на его лекции в Институте истории искусств, о которых с восхищением отзываются слушатели, впоследствии известные историки литературы, я не ходил. Вероятно, мне казалось странным снова услышать то, что мелькало, скользило, вспыхивало в домашней обстановке и, в сущности, создавалось на моих глазах. Теперь я глубоко сожалею об этом. «Все, кому довелось слушать Юрия Николаевича,— пишет его ученица Т. Ю. Хмельницкая,— ...никогда не забудут это удивительное ощущение радости, праздничного открытия, ощущения чуда. Как будто вы попали в доселе неизвестную страну слова — сложного, многозначного, богатого оттенками и переменчивыми

смыслами. Как будто бы устоявшиеся, привычные и гладкие представления о книгах и писателях спадают, как кора, а под ними бурная, тайная жизнь — борьба направлений, школ, позиций».

Так он учил своих слушателей в Институте истории искусств. Но меня он не только не учил, но отстранял эту возможность, когда она вставала между нами,— и это в особенности относится к началу двадцатых годов. С полуслова он схватывал то, что я написал или собирался написать,— и начиналось добродушное передразниванье, недомолвки, шутки. Из них-то я и должен был сам, своими силами сделать выводы, иногда заставлявшие меня крест-накрест зачеркнуть все, что я сделал. Он никогда не поддерживал и не осуждал моих подчас неожиданных решений. В конечном счете все сводилось к тому же, некогда сказанному: «В тебе что-то есть». Мне предоставлялась полная возможность написать все что угодно: фантастический рассказ, научный реферат, поэму — и получить вместо отзыва эпиграмму.

Именно эта «антишкола» приучила меня к самостоятельности и вглядыванию в себя, к самооценке. Он не учил меня, меня учил его облик, в который легко вписываются меткие, запоминающиеся прозвища, пародии, шуточные стихи. Это был человек, дороживший ощущеньем легкости живого общения, беспечности, свободы, обладавший редким даром перевоплощения, смешивший друзей и сам смеявшийся до колик, до упаду. Как живого вы видели перед собой любого из общих знакомых, а когда он стал романистом, любого героя. Ему ничего не стоило мгновенно превратиться из длинного, растерянного, прямодушного Кюхельбекера в толстенького, ежеминутно пугающегося Булгарина. Он превосходно копировал подписи. В моем архиве сохранился лист, на котором рядом с роскошной и все-таки канцелярской подписью Александра Первого написано некрупно, быстро, талантливо: «Поезжайте в Сухум. Антон Чехов».

Через несколько лет, отмечая годовщину со дня смерти Льва Лунца, писателя, о котором я еще расскажу, он обратился к нему с письмом о друзьях, о литературе: «Вы, с Вашим умением понимать людей и книги, знали, что литературная культура весела и легка, что она не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи нужные и веселые. Это потому, что Вы были настоящий литератор. Вы много знали, мой дорогой, мой легкий друг,

и в первую очередь знали, что «классики» — это не книги в переплетах и в книжном шкафу, и что они не всегда были классиками, а книжный шкаф существовал раньше их. Вы знали секрет, как ломать книжные шкафы и срывать переплеты. Это было веселое дело, и каждый раз культура оказывалась менее «культурной», чем любой самоучка, менее традиционной и, главное, гораздо более веселой...»

Это и была «антишкола», которую я проходил под его руководством.

3

За ужином, который мало отличался от московских — Лена не хуже матери умела готовить оладьи на пережаренной с луком касторке,— Юрий рассказывал о своем французском отделе. Ему нравилась работа в Коминтерне. Хотя и косвенно, со стороны, она позволяла ему наблюдать охватившее пол-Европы революционное движение. Он видел, слышал, а вечерами изображал крупных деятелей этого движения — Марселя Кашена, например, с его моржовыми усами. Немногие сослуживцы — люди скучноватые, но приятные — любили его, а «наверху» знали и умели ценить его необычайный лингвистический дар. Это началось с какого-то существенного письма на одном из сербскохорватских диалектов. Необходимо было срочно ответить, и Юрий перевел письмо, возведя каждое слово к его корневому значению.

Помню, как, рассказывая об этом, он очень живо изобразил хихикающего от восторга сослуживца — и вдруг задумался, вскочил и побежал в кабинет. Я с недоумением посмотрел на сестру. Она засмеялась:

— Придумал что-нибудь. Сейчас вернется.

Но Юрий вернулся только минут через пятнадцать, да и то когда Лена стала сердиться. Точно так же он вел себя за любым другим ужином, завтраком, обедом. Более того, он мог оторваться от любого разговора и, бросившись к письменному столу, записать мелькнувшую мысль.

Однажды рано утром я нашел его сидящим в одной ночной рубашке, с голыми ногами за письменным столом, на краешке стула. Он быстро писал что-то, время от вре-

мени грея дыханьем замерзшие руки. В кабинете было очень холодно.

Я накинул на него купальный халат, но он только сказал рассеянно:

— Не мешай!

4

В ту пору я был не подготовлен к тому, чтобы войти в круг его научных интересов. Это неудивительно. Он писал книгу «Достоевский и Гоголь», отдавая много времени монографии «Тютчев и Гейне», и размышлял над системой взглядов, охватывающей всю пушкинскую эпоху,— вскоре она была изложена в курсе, прочитанном в Государственном институте истории искусств. Как удавалось ему соединить службу в Коминтерне с этой неустанной работой? Мне кажется, что ключ к загадке подобрать легко: в Коминтерне (так же как за обедом или ужином) он не переставал мысленно вглядываться в далекую эпоху, которая стала для него вторым домом. Он встречался в этом доме с Пушкиным и Кюхельбекером, с Катениным и Чаадаевым, с Булгариным и Грибоедовым, с Тютчевым и адмиралом Шишковым. Он знал историю и предысторию их отношений, сплетни их жен, полемику личную и литературную, надежды, честолюбие, зависть. Он разгадал клевету как тайное орудие власти. Он понял давление времени как силу, вынуждавшую ложные признания, ломающую судьбы.

На заседании Союза писателей, отметившем первую годовщину со дня его смерти, Б. В. Томашевский, известный историк литературы, сказал, что каждый абзац из каждой статьи Юрия Николаевича можно развернуть в работу, которая по смелости и оригинальности займет видное место в нашей литературной науке. Лишь однажды, через много лет, случилось мне встретиться с подобной оценкой, но речь шла о другом человеке и другой науке. Видный биолог, провозглашая тост за здоровье моего старшего брата (кажется, в день его шестидесятилетия), сказал о своей диссертации, что она целиком вышла из единственной фразы Льва Александровича, случайно заглянувшего в чужую лабораторию. Но брат любил и умел объяснить читателю, далекому от науки, значение своих и чужих работ, для Юрия это было невоз-

можно. Он вводил новые понятия, не заботясь о том, что многие остановятся перед ними с недоумением. Если бы не знак историзма, стоявший над каждой строкой, нелегко было бы находить в его теоретических статьях мосты, переброшенные через пропасть. Впрочем, вскоре он раскрылся как изящный критик, иронический эссеист. Объемное знание прошлого не только не отяжелило, но, напротив, сделало легкими его шаги в художественной прозе. Его первый исторический роман «Кюхля» не упал с неба, как почудилось многим. «Моя беллетристика возникла главным образом из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. Такая «вселенская смазь», которую учиняли историки литературы, понижала произведения старых и новых писателей. Потребность познакомиться с ними ближе и понять глубже — вот чем была для меня беллетристика».

Не возвращаясь к строго научным статьям, он писал скупо, ни на кого, кроме себя, не равняясь.

5

Стук в дверь.

— Кто там?

— Извините за выражение: Поливанов.

Так странно шутил только один из друзей Юрия Николаевича. Дверь открывалась, и в кухню — все парадные были в ту пору закрыты — входил, слегка прихрамывая, высокий человек лет тридцати, худощавый, без кисти левой руки, в солдатской шинели.

Его встречали мало сказать с радостью — с захватывающим интересом. Интерес, однако, приходилось сдерживать, потому что он касался не только удивительной личности Евгения Дмитриевича, но и не менее удивительной его биографии.

Вот как началось наше знакомство. Занимаясь «Введением в языкознание», я услышал чей-то низкий, красивый голос, донесшийся из кабинета. Гость Юрия рассказывал, что в Петрограде, на Церковной улице, открывается Институт живых восточных языков, в котором будут учиться будущие дипломаты. Интонация была хозяйская: можно было подумать, что почин в этом деле принадле-

жит Поливанову (это был он) и что от него зависит, чтобы институт был устроен так, а не иначе. Трудно восстановить ту бессвязную цепь размышлений, которые стремительно пролетели в моей голове, пока я слушал этот рассказ — дверь в кабинет была полуоткрыта. Возможно, что это были не размышления, а чувства, сложившиеся в острое желание, заставившее меня бросить учебник и вскочить с забившимся сердцем.

Никогда до сих пор я не думал об изучении восточных языков. Способности у меня были, по-видимому, средние, в Псковской гимназии мне давалась — и то не без труда — только латынь. Тем не менее я постучал в кабинет, услышал чуть удивленный голос Юрия: «Войдите» — и вошел.

Евгения Дмитриевича я тогда увидел впервые: стриженный по-солдатски, в солдатской шинели, из-под которой виднелся поношенный костюм, он был немногословен, прост и аристократически сдержан. У многих необыкновенных людей — обыкновенные лица. Этого нельзя было сказать о Поливанове. При всей свободе и открытости, с которой он держался, лицо казалось не открытым, а, напротив, закрытым. Рот под небольшими усами был очерчен чувственно-смело. Глаза смотрели почти с детским выражением. Однако нетрудно было догадаться, как много видели эти глаза и как давно научились ничему не удивляться. У него не было кисти левой руки, что не мешало ему действовать рукой очень ловко. В этом молодом — ему не было и тридцати лет — человеке мелькало иногда что-то мрачное — может быть, отблеск непреодоленного разочарования.

Юрий познакомил нас, и я с первого слова сказал, что хотел бы поступить в Восточный институт.

— Позволь, ты же в университете?

Я ответил, что в университете хочу заниматься историей русской литературы, а в институте... Пауза затянулась.

— На какой же разряд вы намерены поступить? — вежливо спросил Поливанов.

В институте факультеты назывались разрядами.

— На японский,— брякнул я, вспомнив, что Поливанов, кажется, японист.

Не выбор языка, а выбор профессии — дипломат! — вот что меня поразило. Подумать только — провести всю жизнь за письменным столом, дыша архивной пылью, пе-

релистывая книги, или действовать на мировой сцене, показывая хитрость, прозорливость и, главное, тонкое умение думать одно, а говорить другое.

Жизнь показала, что трудно найти человека, менее пригодного к этой профессии, чем я. Дипломатический дар, увы, был прямо противоположен складу моего характера и мышления.

Но Поливанов, как я впоследствии узнал, был как раз причастен к той мирной и всемирной войне, которая называется дипломатией. В первые послереволюционные дни он принял участие в опубликовании тайных договоров царского правительства — что было, как известно, актом мирового значения.

Не знаю, догадался ли он о моей тайной надежде. Но я понравился ему — уж не потому ли, что мое неожиданное решение напомнило ему собственную юность? В 1908 году он поступил в Петербургский университет, а через год в Восточную практическую академию.

Евгений Дмитриевич обещал мне сообщить условия приема, и я, взволнованный собственной решительностью, вернулся к своему учебнику по языкознанию.

Юрий проводил его и заглянул ко мне.

— Что это ты вдруг?

— Ей-богу, не знаю.

— Справишься?

— Почему бы и нет?

— Ты — странный парень,— подумав, сказал Юрий.— Хочешь есть?

Мне всегда хотелось есть, но из вежливости я ответил:

— Не очень.

— Скоро будем ужинать.

Но Лена еще не накормила дочку, и, стало быть, до ужина было далеко.

А через несколько дней приехал Толя Р., который убедил меня поступить не на японский, а на арабский разряд. По его мнению, колониальные войны, в которых важное место займет Ближний Восток, неизбежно будут предшествовать мировой революции. Он тоже подал заявление на арабский разряд, но видел я его в институте лишь на первых трех-четырех занятиях.

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

1

Четыре фотокарточки и удостоверение от управдома не помогли мне поступить в Институт живых восточных языков. Я должен был пройти мандатную комиссию, ответив на несколько вопросов, из которых самым сложным был: «Почему вы избрали именно арабский, а не какой-либо другой восточный язык?»

Обдумывая ответ, я решил отказаться от пророческих предсказаний Толи. У меня не было уверенности в том, что мировая революция с роковой неизбежностью пройдет через колониальные войны. Мне хотелось убедить комиссию в том, что флективные языки заинтересовали меня еще в детстве.

— Я избрал арабский,— ответил я неторопливо,— потому, что этот язык является коренным языком Ближнего Востока, отличаясь от других как изысканностью грамматических форм, так и богатством лексического состава.

Председатель — полная женщина в кожаной тужурке — одобрительно кивнула и обменялась взглядами с членами комиссии. Один из них, молодой, чернявенький, в бушлате, из-под которого виднелась тельняшка, спросил — не комсомолец ли я?

Я ответил, что нет, не комсомолец. Но к советской власти отношусь лояльно.

— Ну что же, нас это устраивает.— Полная женщина чуть улыбнулась.— На первых порах...

2

Из нашей маленькой группы мне запомнились только четыре студента: молоденькие татарки, М. С. Салье, известный впоследствии переводчик «Тысячи и одной ночи», и, на мой взгляд, пожилой, хотя ему едва ли было больше тридцати пяти, историк медицины. Кажется, его фамилия была Якубовский. Татарки пошли на арабский разряд потому, что выросли в религиозных семьях и немного знали язык по Корану. Гуля (к сожалению, не та, с которой я познакомился во дворе Московского Совета)

была из Казани, Маршиде — откуда-то из Крыма. Язык давался мне с трудом — не только потому, что у меня средние способности и хотя ассоциативная, но неязыковая память.

Арабы относятся к своему языку как к предмету искусства. Мне нелегко было оценить пренебрежение к гласным — гласные не писались. Я рвал горло на гортанных звуках, похожих на крики ночных птиц. Глагольных форм было больше, чем нужно обыкновенному человеку, не оратору или поэту. При свете коптилки (в те годы часто выключали электрический свет) я возился с арабской скорописью, у которой были свои законы: быстро пишущий араб отличался от медленно пишущего, как простой паломник от паломника, совершившего путешествие в Мекку.

Наши занятия почему-то назывались «репетициями». На деле они отличались от преподавания немецкого или французского языка в Псковской гимназии только тем, что их надо было готовить, не полагаясь на застенчивость Елены Карловны Иогансон или на любовь Рудольфа Карловича Гутмана к Парижу. Пропуская «репетиции» без уважительных причин, можно было и вылететь из института. По другим предметам — географии, этнографии, истории Востока — читались лекции, на которых я, занимаясь еще и в университете, бывал редко или совсем не бывал.

Арабский язык преподавал Иван Павлович Кузьмин, молодой человек в пенсне, с бледным, тонким лицом, требовательный и академически строгий. Едва ли ему было больше двадцати четырех лет — и, может быть, его немногословность, преувеличенная серьезность объяснялись стремлением казаться старше. Но случилось однажды, что я увидел его совершенно другим...

3

Эта сцена отчетливо связалась в сознании с погромыхиваньем колес, с поблескиванием откатывающихся назад мокрых рельсов, с мелким дождем, косо залетавшим на открытую заднюю площадку трамвайного вагона.

Мы оба стоим на этой площадке — я и Кузьмин. Но я в толпе, а он, держась за поручень, на нижней ступеньке.

У него — нетерпеливое, радостное лицо. Он смотрит вперед, туда, где мелькают под углом темные провалы улиц. Мне надо выходить у дома Фредерикса, я проталкиваюсь через толпу, прыгаю на мостовую и вижу, как наш строгий, сдержанный преподаватель, размахивая портфелем, легко бежит по Греческому проспекту. Девушка в длинном, узком пальто, с сияющим лицом, спешит ему навстречу. Я успеваю заметить, что она белокурая, хорошенькая, совсем молодая. Она держит на плече раскрытый зонтик и вдруг начинает весело крутить им над головой... Кузьмин берет ее под руку, и они исчезают в размытой туманом и дождем темноте.

Проходит два или три месяца, и в маленькой группе арабистов волнение: Кузьмин женится. Известие это приносит Гуля, ее отец служит дворником в том доме, где живут родители невесты.

Поздравить или нет? Решаемся поздравить, но Иван Павлович с таким непроницаемо-вежливым лицом делает выговор кому-то из нас за плохо приготовленный перевод, так требовательно проверяет чье-то домашнее задание, что его женитьба начинает выглядеть почти незначительным фактом в сравнении с простыми и в то же время сложными особенностями арабских глагольных форм. А еще через месяц мы хороним его — заражение крови: мы — это директор института, профессор Котвич с желто-зеленым лицом, медленно двигающийся, худой (я вижу его впервые), арабский разряд в полном составе, отец Кузьмина, на которого он похож поразительно, необыкновенно, немного друзей и молодая жена. Она — в том же узком, длинном пальто, с тем же раскрытым зонтиком, но сжавшаяся, удивленно и скорбно поднявшая плечи. Шляпа с широкими полями не держится на пышных, белокурых волосах, она поправляет ее бессознательно, машинально. Ей восемнадцать лет. Или девятнадцать?

Мы несем легкий гроб, в котором лежит юноша с восковым лицом — незнакомым, может быть потому, что на носу нет привычного пенсне. Вносим в церковь, начинается панихида.

Строки Белого вспоминаются и вспоминаются мне:

Венки снимут —
Гроб поднимут —
Знаю,

Не спросят.
Над головами
Проплываю
За венками —
Выносят
В дымных столбах,
В желтых свечах,
В красных цветах,
Ах!..
. . . .
Поют,
Но не внемлю
И жалко,
И жалко,
И жалко
Мне землю...

Проходит несколько дней, и в нашей маленькой аудитории появляется директор Котвич — как всегда, еле живой, на шатких ногах — и вместе с ним человек лет сорока пяти, с подстриженной бородой, уже начинающий седеть, очень красивый, с ясным, спокойно-оживленным лицом.

— Позвольте представить вам профессора Крачковского,— говорит Котвич.— К нашему глубокому удовлетворению, Игнатий Юлианович согласился заменить покойного Ивана Павловича Кузьмина, который был его ближайшим учеником.

4

Эти страницы были уже написаны, когда, разбирая старые книги, я наткнулся на свой «матрикул» — так называлась в годы моего студенчества зачетная книжка. Я перелистал ее и с удивлением убедился в том, что слушал лекции великого В. В. Бартольда, труды которого еще в начале века получили мировую известность. Курс, который он читал, назывался «Прошлое и настоящее Египта и Сирии». Но с еще бóльшим удивлением я обнаружил, что занимался у Кузьмина не три или четыре месяца, а полтора года. Свидание, случайным свидетелем которого я оказался, произошло осенью двадцать первого года. Лишь в марте двадцать второго срывающийся, небрежный почерк Кузьмина сменяется в моем матрикуле плавным, закругленным почерком Крачковского, с хвостиками взлетающих букв.

Как же произошло это смещение времени? Отрази-

лась ли в нем торопливость, без устали подгонявшая меня в студенческие годы? Или острое ощущенье целого заслонило, заставило промелькнуть какую-то долю этого целого, состоявшего из множества событий, впечатлений и лиц? Разгоревшаяся и быстро погасшая жизнь моего молодого учителя запомнилась как стихотворение, над которым знак времени почти неразличим, а подчас, может быть, даже не нужен...

И еще одно: сквозь эту историю я вдруг увидел другую: трудно вообразить всю полноту несходства между академически-сдержанным Кузьминым, в его неизменном черном костюме, и комбригом Климановым, иронически-твердым, спокойным, властным, приехавшим с фронта в простреленной, обожженной шинели. Но в моей памяти судьба поставила их рядом: оба любили — и я случайно оказался свидетелем их потаенной нежности. Оба были внезапно настигнуты смертью; оба прошли перед моими глазами в плывущем, сдвинутом ракурсе, как бы нарочно для того, чтобы я рассказал о них на этих страницах.

5

После окончания института я встретился у Тыняновых с пожилым литератором, который сказал мне, что и он в молодости был арабистом, занимался вместе с Крачковским у Виктора Романовича Розена, а потом, с годами, забыл язык.

— Вы не думаете,— спросил он,— что нечто подобное может случиться и с вами?

Я рассмеялся. Забыть язык, изучению которого было отдано столько труда?

После выпускных экзаменов — очень трудных — мы должны были с листа читать не только страницы «Тысячи и одной ночи», но и частные письма, Крачковский предложил мне остаться при его кафедре на восточном факультете университета. В наше время это называется аспирантурой. Я горячо поблагодарил, но отказался. Тогда я уже был — и остался на всю жизнь — историком русской литературы.

Жалею ли я о том, что одновременно с университетом я в течение трех лет изучал один из трудных языков, историю Египта и Сирии, историю ислама? Да, жалею,

если вспомнить, что я испортил зрение, разбирая при свете коптилки современные арабские почерки, удивительно непохожие друг на друга.

Да, если вспомнить, что, окончив институт, я забыл язык, увлекшись историей русской литературы.

Да, если вспомнить, что, занимаясь в двух вузах, я должен был с Церковной улицы опрометью бежать в университет, чтобы не пропустить семинара, на котором я, с головой, набитой арабскими спряжениями, нырял в древнецерковнославянский. Или на лекцию В. Н. Перетца, который встречал каждого опоздавшего длинной паузой или едкой насмешкой.

Но если положить на одну чашу весов все эти «да», которых я не перечислил здесь и половины, а на другую — «нет», перевесит все-таки вторая.

Нет, не жалею, потому что институт приучил меня к дисциплине, к работе неустанной, ежедневной, трудной.

Нет, не жалею, потому что, хотя я и забыл язык, ощущение мусульманского мира сохранилось в памяти как нечто совершенно особенное, обогатившее душу. Я уже упоминал об отношении арабов к своему языку как к искусству. Оно остро припомнилось мне, когда я читал книги Халдора Лакснесса, в которых почти каждый крестьянин — поэт.

Нет, не жалею, потому что знание литературы арабского Востока помогло мне в работе над книгой об Осипе Ивановиче Сенковском («Барон Брамбеус»), который был одним из основателей русского востоковедения, что не помешало ему, как известно, стать знаменитым русским журналистом.

Нет, не жалею, потому что мне посчастливилось заниматься у академика Игнатия Юлиановича Крачковского, который был — и навсегда остался для меня — воплощеньем поэтического отношения к науке.

ГРЕЧЕСКИЙ, 15, КВАРТИРА 18

1

Перелистывая в Ленинской библиотеке старые газеты, я выяснил, что Тыняновы получили новую квартиру до «упразднения управдомов» (так называлась заметка)

и замены их домкомтрудами, которые должны были с 21 февраля 1921 года руководить жилищным хозяйством. В получении новой квартиры решающую роль сыграл именно управдом. Фамилия его была Виноградов, и я, занимаясь тогда диалектологией, определил его по говору как ярко выраженный северорусский тип.

Настроенный по отношению к интеллигенции критически, но не терпевший пустоты, он сосредоточился на заселении квартир чиновников и буржуазии, покинувших город. Юрию Николаевичу он предложил переехать в квартиру статского советника Барца, выходившую окнами на Греческий, на втором этаже. Ее существенным недостатком было количество комнат — шесть, не считая просторной кухни и темной комнаты, в которой Барц держал отслужившую мебель.

Отопить такую квартиру зимой 1920/21 года нечего было и думать! Решено было — куда ни шло — занять четыре: кабинет, спальню, столовую и — для меня — маленькую, длинную, с шифоньером и роскошными креслами из карельской березы.

Из квартиры не уехали, а бежали. Розовый пеньюар валялся в уборной на полу. Заслоняя двуспальную кровать, драконы извивались в спальне на японской шелковой ширме. В кабинете на письменном столе стоял прибор в русском стиле — чернильница изображала голову бородатого богатыря в шишаке, нож для бумаги был стилизован под старинный меч. Шишак отваливался, в голову наливались чернила.

Мы с размаху вломились в чью-то внезапно брошенную жизнь. Вообразить ее было нетрудно — уклад вещественно отпечатался в мебели, в затейливом, дорогом убранстве, в пошлой изысканности обоев.

Здесь жил немец, притворявшийся истинно русским, благонадежный чиновник министерства финансов, отгородившийся от всего, что могло грозить его благополучию, аккуратно отмечавший семейные праздники, холодный и сентиментальный. Кажется, у него не было детей — первоначальность детства согрела бы душевный холод этой квартиры. Существование было придуманным, мнимым. Перед надвинувшейся реальностью оно распалось без тени сопротивления.

Мы переезжали весело, еще не веря своему счастью и боясь, что оно ускользнет,— управдом мог и передумать. Работая как профессиональный грузчик, я таскал на вто-

рой этаж наш несложный скарб. Мы разгуливали по просторным, светлым комнатам и пели. У Юрия был прекрасный, мягкий баритон и не было слуха. Лена поминутно поправляла его и смеялась.

...Впервые в жизни у меня была своя комната. Своя комната! Привыкнуть к этому было почти невозможно.

2

Почему в ту пору я был убежден, что меня ждут не дождутся удивительные, единственные в мире события? Надежда осуществилась: не сделав из своей комнаты ни шагу, я узнал историю чужой, неизвестной жизни. Узенький шифоньер, тяжелый, из какого-то редкого дерева, стоял в моей комнате, я долго не обращал на него никакого внимания. Потом заинтересовался, попробовал открыть — и доска, откинувшись на металлических полосках, превратилась в письменный стол, покрытый красным, в чернильных пятнах, сукном. Верхние ящики были набиты школьными тетрадками, с кляксапирами на цветных ленточках, прикрепленных облатками, поучительными немецкими книжками с засушенными между страниц цветами. Пониже — письма от подруг, украшенные смеющимися таксами, полишинелями, подковами счастья. Я нашел застегивающийся тагебух в змеиной коже с ежедневными, а потом все более редкими записями, оборвавшимися в 1914 году.

Это было то, что на языке историков называется «частным архивом». Можно было из года в год проследить, как Варенька П — ва, сестра жены статского советника Барца, постепенно превращается в Варвару Николаевну, преподавательницу частной женской гимназии. В одном из ящиков хранились письма ее учениц: «По естественной истории мы начали с сотворения мира... На практических занятиях Николай Михайлович предложил нам наблюдать за образом жизни молодых тараканов».

Но потом что-то изменилось в жизни барышни из почтенной русско-немецкой семьи: «Дорогая Варвара Николаевна! У нас в гимназии все горевали, узнав о Вашей болезни. Надежда Егоровна тоже сперва говорила, что Вы больны, но потом сказала, будто Вас арестовали на границе за какие-то бумаги, но потом отпустили и Вы бу-

дете теперь преподавать в другой гимназии или, может быть, даже уедете из России...»

Любовных писем было много. Приват-доцент Риттих утверждал, ссылаясь на Бёма, что природа украшается любовью, а бог есть господство любви. На полях быстрой женской рукой были разбросаны иронические замечания.

В пьесе И. Бабеля «Мария» все говорят о Марии, старшей дочери генерала Муковнина, чистой, твердой, убежденной, что она действует в решении светлой, высокой задачи. Но ее нет в списке действующих лиц, она не участвует в пьесе. Участвует — и с удивительной силой — ее отсутствие. Она — и прошлое, которое никогда не вернется, и будущее, закрытое для всех, кроме нее. Отец читает ее письмо с фронта: «На рассвете меня будит рожок штабного батальона... На нашей Миллионной... мы жили, как в Полинезии — не зная нашего народа, не догадываясь о нем... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только поляки не зашевелятся... В парке внизу переминаются, задремывают лошади. Кубанцы ужинают вокруг костра и заводят песню... Снег налег на деревья, ветви дубов и каштанов переплелись... Поленья в камине вспыхивают и распадаются. Столетия сделали кирпичи звонкими, как стекло,— они озарены золотом в ту минуту, когда я пишу вам... Не могу заснуть от необъяснимой тревоги за вас».

Все совершившееся — падение сестры, гибель отца — не совершилось бы, если бы она была с ними. Внутри отмененных судеб, грязи, приговоренности, невозможности что-нибудь изменить горит чистый, неяркий свет — Мария.

Читая эту прекрасную пьесу, я вспоминал первый «частный архив» Вареньки П — вой, нечаянно оказавшийся в моих руках зимой 1921 года. Она уехала из Петербурга или, может быть, бежала. Но ей писали и после отъезда. Ей писали портнихи, сельские старосты, художники. Она была нужна всем. Этот архив был свидетельством брошенной, несовершившейся жизни.

Я нашел ее фотографию — низко заколотые волосы, причесанные на прямой пробор, почти прямая линия лба и носа, плавный поворот головы, широкий разрез умных и нежных глаз...

Где она теперь? Жива ли?

3

Управдом Виноградов сообщил, что бывший хозяин квартиры Барц приезжает на днях. И Барц действительно приехал — длинный, вежливый, лысеющий, улыбающийся, осторожный. Он объяснил, что у него нет претензий, тем более что, являясь ныне латвийским подданным, он живет постоянно в Риге. Квартира в Риге, к сожалению, пуста. Он приехал за мебелью — и только.

Хотя фамилия «Барц» ничего не значила, он был похож на нее. Его крепкий нос с белым кончиком время от времени вздрагивал — от страха или отвращения? Мы были для него бандой оборванцев, ворвавшихся в его обжитой, уютный, чистенький дом.

Опьяненный тем, что его имущество сохранилось, он танцующей походкой расхаживал по квартире, объясняя нам значение семейных реликвий.

— Эта музыкальная шкатулка, играющая несколько старинных пьес, была подарена моей жене, когда она была еще ребенком...

— Эти цветы, сделанные, как вы видите, очень искусно, я подарил своей теще в день ее семидесятипятилетия.

Цветы были дрянные. Вместо пестиков в них торчали свечки.

— Ровно семьдесят пять,— с восторгом объяснил Барц.— Ни больше и ни меньше.

Три дня он вывозил мебель, и в квартире становилось все пустыннее, все веселее. В комнатах, которые стали теперь огромными и светлыми, почему-то хотелось петь, расхаживать большими шагами. Солнце, прежде тонувшее в портьерах, в мягкой, пыльной мебели, рванулось из окон. Не хуже самого господа бога статский советник Барц ускорил для нас приближение весны. Я принес ему письма Варвары Николаевны, и он сказал, что это была необыкновенная личность — женщина-деятель, женщина-революционер. Лично он, Барц, глубоко уважает ее как свояченицу и революционера. Она уехала за границу, в Швейцарию, и там работала для революции, так что мы (он сперва сказал «вы») должны быть ей благодарны. Он, Барц, не знает, где она находится в настоящее время, но думает, что она, к сожалению, едва ли жива. Прошел

слух, что она действовала среди французских моряков, высадившихся в Одессе, и в результате, к сожалению, ее, кажется, расстреляли. Жена очень плакала, очень рыдала. Он, Барц, тоже рыдал, потому что это была потеря, большая потеря.

Он говорил вибрирующим от умиления голосом. Белый кончик носа блестел. От всей души он поблагодарил меня за то, что я сохранил ее письма.

— Вы получите от моей жены признательное послание,— сказал он.

Дорогая мебель была отправлена в Ригу, а отслужившая, сложенная в темной комнате, осталась для нас. Она была сложена до потолка. Мы вытащили кухонный стол, венские стулья, железные кровати. В комнате пахло пылью. На полу белели маленькие мягкие горки бумаги. Это была бо́льшая часть архива Варвары Николаевны, спрятанная на всякий случай в укромном месте. Письма были съедены мышами, но среди немногих сохранившихся я нашел листок из Одессы: «Милая Леля, я счастлива. Не беспокойся, не думай обо мне. Как тебе живется на Песках с твоим лапутянином? Бедная ты моя! Говорят, у вас голод, поговори с Аносовым, сошлись на меня...» И дальше: «Марсель Ве́ржа будет весной в Петрограде. Ты все поймешь, с первого слова. Расскажи ему обо мне, покажи мои письма...» В старой редкой книге «Памятник борцам революции» я нашел биографию Марселя Вержа. Это был рабочий, металлист, делегат Третьего конгресса Коминтерна. В конце сентября 1920 года, возвращаясь на родину через Норвегию, он утонул в Ледовитом океане...

Я собрал разрозненные листочки и вместе с фотографией присоединил к письмам близких друзей.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОН

1

Света не было, и к этому так привыкли, что разговор при коптилках приобрел даже особенную задушевность и пустоту. Температура уже в ноябре редко поднималась выше десяти градусов, и только в спальне, где стояла кроватка Инночки, было пятнадцать — шестнадцать. И все-таки редкий вечер обходился без гостей —

дом был радушный, открытый. Приходили товарищи Юрия по университету, и среди них — В. Л. Комарович, запомнившийся мне потому, что, занимаясь Достоевским, он был похож на него. Сослуживцы по Коминтерну являлись с женами, а жены — иногда с кастрюльками, в которых была каша, разогревавшаяся на «буржуйке». Впрочем, с кашей приходила, кажется, только жена симпатичного Варшавера, не замечавшего, когда он переходил с русского языка на французский. Приходил, прихрамывая, Поливанов. Но один из гостей не приходил, а врывался, и все в доме сразу же приходило в движение. Врывался он каждый раз с новой мыслью, от которой начинала кружиться голова.

«Сюжет возникает самопроизвольно,— иначе нельзя объяснить одновременное возникновение одинаковых сюжетов в разных концах мира».

«Сумма художественных приемов передается не от отца к сыну, а от дяди к племяннику».

«Очень важен литературный фон».

Это был Виктор Борисович Шкловский, худой, двадцатишестилетний, быстро лысеющий, с короткими руками и коротковатыми ногами, сильного сложения, говоривший только главными предложениями — просто и одновременно сложно. Пожалуй, можно было сказать, что он и сам похож на главное предложение — ничего «придаточного» не было ни в его одежде, ни в манере держаться. И он и Поливанов запомнились мне в полувоенной форме. Поливанов неизменно ходил в солдатской шинели и, помнится, очень хвалил ее: «Напрасно ругали наших интендантов». На Шкловском были солдатские ботинки с обмотками. Не переставая разговаривать, он наклонялся и терпеливо поправлял их, когда они разматывались и мягкой спиралью опускались на пол.

Литературный круг уже давно существовал в Петрограде — открылся Дом литераторов на Бассейной, каждую неделю выходил новый номер «Жизни искусства», в издательстве «Всемирная литература» работали Чуковский, Гумилев, Блок, открылась Вольная философская академия — Вольфила.

Существовал круг академической литературной науки, возмущавшийся ОПОЯЗом — Обществом изучения поэтического языка. В свою очередь опровергал, отвергал или в лучшем случае поправлял академическую науку не кончивший университета Шкловский. В том, что он говорил,

было нечто похожее на новое исчисление времени. В том, что оно ничем не напоминало старое, уже никто, кажется, не сомневался.

Почти всегда он приходил с заплечным мешком,— впрочем, так ходили тогда почти все. Мне казалось, что он высыпает из этого мешка рабочие гипотезы, предположения, доказательства, догадки.

Разговаривая, он улыбался — ему казалось до смешного простым то, что другие не понимали. Но Юрий и Поливанов понимали его с полуслова, а мне еще долго казалось, что они разговаривают на каком-то особенном опоязовском языке, в котором то и дело вспыхивали новые языковые открытия.

Восхищаясь собой, Шкловский щедро делился этим чувством с другими. На своей особливости он не настаивал. Он был уже как бы между прочим ни на кого не похож. Но выводы из этого несходства были для него важны. Выводы должны были внести новый строй в теорию искусства или по меньшей мере литературы.

Тогда я еще ничего не знал о его прошлом, но вскоре узнал: он сам рассказал о нем в книге «Революция и фронт». Впрочем, это было и настоящее и прошлое одновременно.

Книга кончалась словами: «Еще ничего не кончилось». Ими же он мог закончить любую из своих книг. И действительно, ничего не может кончиться для писателя, который рассчитывает на то, что он всегда начинает. В начале двадцатых годов он начинал с особенным блеском. Все в мире делилось для него на две большие группы понятий: «интересно» и «неинтересно».

— Интересно,— сказал он, узнав, что я поступил в Институт восточных языков. Но вскоре я попал в другую «неинтересно».

На первом курсе, по просьбе известного С. А. Венгерова, он заполнил анкету, в которой написал, что поступил в университет с двойной целью: во-первых, основать новое направление в теории и истории литературы, а во-вторых, доказать, что венгеровское направление — ложно. В юности он напечатал книгу стихов. Одно из них запомнилось мне:

Семь или восемь,
Девять или двенадцать —
Не все ли равно человеку,
Считающему себя гениальным?

Самый способ существования был тогда для каждого из нас небывало новым. Шкловский был новее и этой новизны. Он не только размышлял, но и действовал парадоксально.

Однажды, прихлебывая чай из эмалированной кружки, он спросил Лену, не нужен ли ей сервиз. «Конечно, нужен»,— ответила она, не придавая неожиданному вопросу никакого значения.

Но вот однажды колокольчик над кухонной дверью прозвенел особенно громко. Лидочка, уютно примостившаяся подле отдыхавших после обеда Юрия и Лены, открыла дверь и всплеснула руками: на площадке стоял смущенный, улыбающийся Шкловский с большим, туго набитым заплечным мешком. В руках он держал что-то завернутое в тряпку и тоже большое.

Задыхаясь от смеха, Лидочка побежала в спальню и крикнула:

— Сервиз!

— Виктор? — только и ответил ей Юрий.

Сервиз был на двенадцать персон, белый, украшенный матовым золотом, с выгравированной надписью «Rue de la Paix» на оборотной стороне каждого предмета.

— Откуда?

— Бесхозный?

— Из дворца?

Шкловский пыхтел и отдувался, вынимая соусницы, селедочницы, салатницы, тарелки.

— Очень тяжелый,— все повторял он.— Очень тяжелый.

Осталось неизвестным, откуда перекочевал в скромную тыняновскую квартиру этот великолепный сервиз. Кажется, Виктора Борисовича просили продать его, но попросить деньги у Юрия он не решился. Денег не было, и он это знал.

2

Почему я решил показать свои стихи Шкловскому? Потому, что мне было страшно показать их Юрию. Это были новые стихи, написанные как бы от имени моего двойника, новые и сложные. Баллада о налетчике выглядела рядом с ними, как таблица умножения рядом с фи-

лософским трактатом. С необычайной остротой запомнились мне эти минуты. Шкловский жил в Доме Искусств, на углу Невского и Мойки,— вскоре я стал каждую субботу бывать в этом доме. Рядом с его комнатой — елисеевской спальней — был бассейн, выложенный безвкусными японскими изразцами — над желтыми волнами кружились голубые чайки. Стояли гимнастические снаряды, висели кольца, на неподвижном цандеровском велосипеде никуда нельзя было уехать. Цандер был изобретателем медико-механических аппаратов.

Я прочел стихотворение, и Шкловский сказал: «Не смешно»,— как будто я только и думал, чтобы рассмешить его. Я прочел второе, и он, подумав, сказал: «Элементарно». И спросил жену, приветливую блондинку с голубыми глазами: «Люся, правда, элементарно?»

Я был убит. Как? Элементарно? Нельзя было нанести мне более меткого удара.

Потом Люся стала готовить чай, а Шкловский сел на велосипед и, крутя педалями, стал доказывать, что я пишу плохие стихи, потому что ничего не понимаю в устройстве автомобиля. Он был доволен. Ему казалось, что должен быть доволен и я. Потом мы пили чай на мраморном столе без скатерти — я помню запотевшие от чашек кружочки. Люся, заметив, что я огорчен, подсыпала в мою чашку немного больше сахарина, чем полагалось по нормам двадцатого года.

...И все-таки я не смирился. Я пошел со своими стихами к Осипу Мандельштаму. Где, когда происходил этот разговор? Долго ли он продолжался?.. Я был так взволнован, что память не сохранила ничего, кроме того, что сказал Мандельштам. Следя за полетом его мысли, я понял, что поэзия не существует сама по себе и что, если она не стремится запечатлеть внутренний мир поэта, никому не нужен даже самый искусный набор рифмованных или белых строк. Тут уже не было места для иронии. Ему было важно, чтобы я перестал писать стихи, и то, что он говорил, было защитой поэзии от меня и тех десятков и сотен юношей и девушек, которые занимаются игрой в слова...

Впоследствии он написал очерк «Армия поэтов», в котором я легко узнал черты нашего разговора.

КОММУНА В ЛЕСНОМ

1

Был, однако, в Петрограде дом, где не только охотно слушали мои стихи, но обсуждали их и даже хвалили. Где чуть ли не с первых гимназических лет знали о моей склонности к сочинительству и надеялись, что когда-нибудь — кто знает — меня заметят и оценят в литературе.

Студенческих землячеств не было в послереволюционные годы, но маленький двухэтажный дом — три комнаты внизу, одна наверху — был воплощением псковского землячества, разумеется в неузнаваемо преображенном виде. Он стоял на том месте, где дорога на Сосновку пересекается с «финишной прямой», приводившей прямо к Политехническому институту. В доме жили семеро псковичей, приехавших в Петроград учиться,— братья Гордины, Люба Мознаим, неизменная хозяйка наших псковских вечеринок, Женя Берегова... Мы не вспоминали о том, как, разыграв в воображении любовный роман, я послал ей записку: «Прошу Вас не считать меня более в числе своих знакомых». Мне казалось, что ей удалось стать еще вежливее, приветливее и милее, чем прежде. Саша Гордин ухаживал за ней, но безуспешно: в Киеве ее ждал жених.

Кроме друзей, тесно связанных встречами друг у друга, на катке у Поганкиных палат, на лодках вниз по Великой, спорами в ДОУ, были и другие, тоже давно знакомые: Владимир Островский, младший брат нашего учителя географии, которому мы устраивали беспощадные «бенефисы» и который влепил мне заслуженную двойку за то, что я написал, что буры живут на юге Сахары; Павел Заррин (впоследствии профессор-экономист), бескорыстно, молчаливо, с беспредельным упорством ухаживавший за Любой Мознаим. Они прожили счастливую и не очень счастливую, долгую, благородную жизнь.

Потом, отвоевавшись, приехал из-под Варшавы Вовка Гей, младший из многопартийного, известного в Пскове семейства.

Вот что пишет о коммуне в Лесном Арнольд Гордин — его правдивые воспоминания помогли мне написать эти страницы:

«В наших комнатах стояли старые железные койки и два или три дивана с продавленными пружинами. Матрацы были набиты соломой. Спали по-спартански. Хорошо, что из дома удалось привезти немного постельного белья... С самого начала решили жить коммуной. Получили продовольственные карточки. По ним осенью 1920 года выдавали по 300 или 400 граммов черного хлеба, совсем немного сахара и других продуктов. В первое время выручала привезенная из дома картошка. Каждый день один из нас был «Матрешкой» (дежурным) — готовил обед, нарезал хлеб, мыл посуду, подметал пол. Когда хлеб лежал на блюде — восемь почти одинаковых ломтиков,— каждому хотелось взять ломтик побольше, но все крепились и брали поменьше. По ночам мне часто снился хлеб — большой ломоть ржаного, плотного хлеба. Я думаю, что в 1920/21 году мы тратили — если перевести на нынешние деньги — семь-восемь рублей в месяц на человека.

И все-таки жили мы тогда весело... дружно, совсем не ссорились... Все считали, что в России впервые строится социализм и что на нашей стороне — правда».

Коммуна в Лесном нравилась мне не только потому, что земляки уважали мою непреодолимую склонность к литературе,— рассказывая о чем-нибудь интересном, каждый говорил: «Запиши, пригодится». В самом существовании коммуны мне чудилось нечто новое. Ведь до сих пор, в Пскове, они — и я вместе с ними — собирались почти всегда по какому-нибудь поводу: исключительность этого повода соединяла нас или, если мы ссорились, разъединяла. А в домике подле Политехнического семь псковичей жили постоянно, виделись каждый день, спорили о политике, литературе, театре. Изредка пили — тайком. В стране был сухой закон до весны 1921 года. По вечерам играли в шарады, буриме, много пели. По улицам Выборгской стороны, через Литейный мост морозными зимними вечерами отшагивали восемь километров туда да восемь обратно — в Мариинку, где пел Шаляпин, в Александринку, где играли Давыдов и Юрьев, на гастроли студии МХАТа, где шел «Потоп» и «Сверчок на печи». По ночам валили вековые сосны в роще, подходившей к ограде института, разделывали их на дрова и однажды попались, были вызваны в суд и приговорены «...к взысканию стоимости древесины... после окончания института».

Много занимались — надежда стать инженерами-металлургами, инженерами-строителями, физиками, экономистами осуществилась.

В неузнаваемо изменившейся жизни они создали свою, особенную, и она казалась мне не только завидно-увлекательной, но в своей ясности и простоте почти недостижимой.

Думали ли они тогда, что это были их лучшие, неповторимые годы? Конечно, нет. Такие догадки приходят или на крутом повороте, или на покое, когда, как небывалое счастье, вспоминаются тонкий ломтик хлеба на блюде, собачий холод в комнате, перекидывание острыми шутками в темноте, прежде чем уснуть на железной койке, под шинелью.

Грановская и Надеждин в «Пигмалионе»! Михаил Чехов в «Потопе»! Шаляпин!

2

В январе приехала Лидочка Тынянова — провела зимние каникулы в Ярославле, у родителей, и решила перевестись в Петроградский университет.

К письму, которым Юрий ответил ей, приглашая к себе, я приписал несколько слов. «А он-то чему обрадовался?» — холодно спросила Софья Борисовна, собирая дочку в дорогу,— об этом я узнал через несколько лет... Лидочка только пожала плечами.

Многое изменилось в доме с ее приездом — она стала помогать Лене, гулять с Инночкой (которая к ней сразу же привязалась), кормить ее — это было сложно, прибирать квартиру. Но кроме этих вещественных перемен были и другие, почти неуловимые — уж она-то, не зная, как мы жили до ее приезда, без сомнения, их не замечала. Случалось, что Лена с отчаяньем встречала большие и маленькие огорчения, из которых состояла зима двадцать первого года. Ей казалось, что на ее плечах лежит вся тяжесть семейной жизни, в то время как ее, красивую и талантливую, судьба предназначила для какой-то другой. Никто с ней не спорил, но почему-то все были перед ней виноватыми. Она сердилась на Юрия,— размышляя о теории пародии, он отвратительно вытирал посуду, неумело накрывал на стол и неизменно забывал, что продовольственные карточки нельзя прикрепить без удостоверения с

места работы. На меня она тоже сердилась — уже на второй или третий месяц я стал потихоньку отлынивать от хозяйства. Да и времени не хватало, уже в ноябре я сидел над арабскими письменами.

С приездом Лидочки в отношениях появилась бо́льшая мягкость, а в трудностях ежедневной жизни — терпение и тихая, нетребовательная веселость. Они были смешливы — и брат и сестра. Оба умели подметить забавную черту в том, что было подчас совсем не забавно. Отец, Николай Аркадьевич, которого я вскоре узнал и полюбил, в минуты крайнего негодования говорил только: «А сс...» — так что оставалось неизвестным, хотел ли он сказать «свинья» или «скотина». И Юрий, беззлобно поссорившись с женой, тут же сочинял эпиграмму на собственную неудачу.

Казалось бы, появление Лидочки никого ни к чему не обязывало. Но для меня почему-то было важно, что она приехала, хотя в моей жизни решительно ничего не изменилось. Но она приехала в январе, а в феврале я почему-то попросил Юрия научить меня бриться — и он серьезно согласился, приступив к делу издалека. Сперва он прочел длинную лекцию о том, как надо разводить мыло — не жидко, но и не густо, а так, чтобы оно ложилось на лицо ровным и тонким слоем. «Мылить морду надо долго, минут пять»,— сказал он. Поточив бритву, надо направлять ее на ремне, а потом осторожно пробовать на ногте. О том, с какого виска начинать, какой придать наклон, как согласовать при этом действия правой и левой руки, он рассказывал долго — это была, как выяснилось, целая наука. Он упомянул кстати об историческом побоище между раскольниками и православными, обидевшимися за бранную кличку «бритоус», и процитировал поучительную поговорку из Даля: «Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить». Потом, внимательно посмотрев на меня, он спросил:

— А где у тебя, собственно, борода?

Я кинулся на него с кулаками, он отбивался, хохоча. Но, черт побери, он был прав! Я не мог похвастаться даже пушком, который в пятнадцать — шестнадцать лет появляется на тех местах, где впоследствии растут борода и усы. Лишь года через два я впервые воспользовался бритвой.

...Весь этот день Юрий распевал: «Скучно! Мне хочется побриться, побрить весь мир и — побрить тебя»,— в из-

вестном романсе было, конечпо, не «побриться», а «забыться». И он подмигивал мне с заговорщицким видом.

...Я давно ни за кем не ухаживал, сердце окатывало холодком раскаянья, когда я вспоминал о Вале К. Дорого дал бы я теперь, если бы она позволила мне поцеловать себя, как в тот день, когда мы возвращались под проливным дождем из Черехи и, промокнув насквозь, вдруг остановились на дороге, обнялись,— и я остро, счастливо почувствовал ее грудь, ее сильные, обнявшие меня руки.

Никто мне не нравился давным-давно, все женщины были чем-то похожи на грубую, красивую подругу Кати, отвесившую мне оплеуху. А вечерами я метался по своей узкой комнате, где под коптилкой, рядом с арабской хрестоматией, лежал Достоевский, прижимался лбом к холодной спинке кровати и, стиснув зубы, клялся когда-нибудь отомстить за мои мучения всем женщинам в мире.

Среди них не было Лидочки, спокойной и за всех беспокоившейся, маленькой, кругленькой и все-таки стройной, с прямыми, маленькими ножками, причесанной на косой пробор, молчаливой, но, когда ее разговоришь, любившей поболтать и нахохотаться вволю. Она спала в столовой, в десяти шагах от меня. О ней я не осмеливался и думать.

3

«Репетиции» в Институте восточных языков начинаются рано, с Греческого надо поспеть на Церковную, Петроградская сторона далеко,— и, наскоро перехватив что-нибудь, я убегаю из дому уже в восьмом часу. Но когда «репетиций» нет, я провожаю Лидочку па Васильевский. Она прилежно слушает некоторые курсы, я или совсем не слушаю, или не очень прилежно. Но некоторые семинары мы посещаем вместе. Нельзя было полагаться на трамваи, мы шли пешком, и эти утренние прогулки, естественно, слились, заслоняя друг друга. Но первая стоит отдельно, нетронутая, бережно сохранившаяся в памяти.

...Лидочка была в Петрограде, но давно, маленькой девочкой, и недолго, несколько дней,— вот почему я чувствую себя старожилом, называя здания и безбожно перевирая имена строителей и даты.

...Утро — солнечное, и снег с его то вспыхивающим, то стелющимся сияньем смягчает остроту города, его геометричность, прямолинейность. В августе, когда я приехал, он был совсем другим — опустевшим, строгим. Теперь он весело раздвинут блеском и мохнатостью снега, и только стрела Невского, по которому мы идем, летит вперед, легко побеждая зимний беспорядок. Я показываю Лидочке Публичную библиотеку — мы еще не знали тогда, что в тишине рукописного отдела, прерываемой лишь осторожным шелестом страниц, нас ждут «Сказание о Иосифе Прекрасном» и «Повесть о Вавилонском царстве».

Казанский собор не достроен... «Неужели?» Да, да. Воронихин намеревался и с другой стороны построить такую же полукруглую колоннаду. Знает ли Лидочка, что собор построен в память о войне 1812 года? И что в соборе могила Кутузова?

Кому принадлежат статуи Кутузова и Барклая де Толли — я не помню, и хочется соврать. Но я удерживаюсь. Зато помню, что они появились в середине XIX века, а прежде перед собором стоял обелиск.

Самый близкий путь к бронзовому льву, от которого начиналась тропинка, пересекавшая Неву,— мимо Адмиралтейства, но я сворачиваю на Морскую — нарочно, чтобы из-под арки Главного штаба увидеть Дворцовую площадь — скромную, торжественно-гордую и как бы отвечающую нам сдержанным взглядом.

— Какова?

И Лидочка, как и следовало ожидать, тихонько ахнув, замирает от восторга и удивления. Знаменитый золотой кораблик на шпиле Адмиралтейства можно было различить, еще когда мы подходили к Морской. Теперь мы снова пытаемся разглядеть его, и Лидочка так высоко закидывает голову, что чуть не падает, оступившись. Я подхватываю ее, и мы, замерзшие, веселые, бежим через дорогу к Неве.

Дворцовый мост остается справа. Мы смеемся — у бронзового льва, потонувшего в снегу, обиженный, недоумевающий вид. Тем не менее он как бы протягивает нам лапу, и приходится схватиться за нее, направляясь к тропинке,— спуск крутой, да еще обшарпанный — без сомнения, ногами студентов.

Мы идем по тропинке то друг за другом, то рядом, когда она становится пошире, и я болтаю без умолку — почему мне так весело в этот ничем не замечательный день?

Я рассказываю о коммуне в Лесном — Сашу Гордина она знает, я познакомил их у нас на Второй Тверской-Ямской, Женю Берегову и Любу Мознаим тоже знает — по моим рассказам, когда мы гуляли по набережной Москвы-реки. Я рассказываю об «островичках» — рядом с университетом студенческое общежитие, в котором живут землячки Толи Р., девушки из города Острова,— и среди них красивая, глупая Маша К., которая вместо «маститый» говорит «мастистый». Однажды, когда я зашел к островичкам, у них не было ничего, кроме лука,— ни хлеба, ни сахара, ни крупы. Они лежали, ели лук и пели.

...Лидочка слушает, негромко смеется и раза два вежливо поправляет меня, когда, упомянув, что здание университета было первоначально предназначено для Двенадцати коллегий, я в чем-то ошибаюсь.

Вот и он. У ворот стоит полосатая будка — пустая, но так и кажется, что из нее выглянет полусонный, бородатый вахтер в форменном мундире, с медалями на груди.

Под сводами вдоль главного здания темновато даже в этот ослепительный зимний день. Раздевалки пусты. Университет не отапливается, студенты слушают лекции в пальто и калошах. Мы поднимаемся по лестнице — и знаменитый коридор открывается перед нами. Слева — широкие окна, справа — двери аудиторий, а прямо — библиотека, где приветливый, сухонький, седобородый Шах-Пароньянц встречает каждого студента, как гостя, а расставаясь с любимцами, дарит им тетрадочки своих стихов, напечатанные в типографии и состоящие подчас из двух, четырех листочков. Стихи искренние, старательные, но смешные. Одно из них посвящено Ньютону:

Бином и флюкции, земное тяготенье,
Движение комет и радуги цвета,
Вкруг Солнца всех планет с Землей коловращенье,
Что за значительных открытий пестрота!

Пообещав Лидочке познакомить ее с Шахом, я провожаю ее в деканат:

— Страшно?

Она смущенно улыбается:

— Очень.

— Да что вы! Знаете, кто наш декан? Крачковский. Все девицы в него влюблены. И вы влюбитесь с первого взгляда!

Мы расстаемся, условившись встретиться через час — где? Да хотя бы у этого столика, за которым сидит похожая на пуделя девушка — должно быть, записывает в какой-нибудь кружок или на Шаляпина в Мариинку. Таких столиков шесть или семь в коридоре, но мы выбираем «пуделя» — эту не спутаешь с другими.

И Лидочка идет в деканат, а я в Научно-исследовательский институт имени Веселовского — сдавать введение в языкознание профессору Щербе.

Институт тут же, во дворе, но Щербы нет, и где он — никто не знает. В канцелярии я сажусь у окна, раскрываю учебник, но глаза рассеянно скользят по знакомым строчкам. Снова, в который раз, я задумываюсь над бессмысленным — по меньшей мере для студента первого курса — вопросом: почему в пределах одной и той же генетической отрасли строение слов и предложений может совершенно измениться? Вместо того чтобы принять лингвистическое явление как данность, я пытаюсь, разумеется безуспешно, угадать причину его возникновения, исчезновения. Опасное занятие в ожидании профессора, который и сам едва ли может ответить на подобный вопрос. Стук машинки раздражает меня, я выхожу и в коридоре сталкиваюсь с высоким человеком, в длинном пальто, с рюкзаком за спиной.

— Простите, вы не видели профессора Щербу?

— Я — Щерба, я! — отвечает он добродушно.

У него умное, но по-детски остолбенелое лицо, редкая бороденка. Он охотно соглашается проэкзаменовать меня, и, найдя свободное местечко в гудящей от шума смешанных голосов, переполненной комнате, он говорит: «Тэк-с» — и начинает спрашивать — так мягко и одновременно так основательно, что идея причинности мигом вылетает из моей головы...

Через полчаса мы с Лидочкой встречаемся у столика, за которым сидит «пудель». Она — веселая, Крачковский очень понравился ей. Учтивый, красивый, он предложил ей сесть — к такой вежливости она не привыкла в Московском университете. Мы записываемся у «пуделя» на чайное довольствие, которое вскоре стало называться «отчаянным удовольствием»,— кусочек сахара с ломтиком хлеба,— и, заглянув в буфет, где нет ничего, кроме подкрашенного кипятка и лепешек зловещего глиняного цвета, направляемся к дому.

...Кто-то невидимый мечется по Неве на длинных но-

гах, швыряя в лицо обжигающие иголочки снега. Мы молчим. Холодно и очень хочется есть. Лидочка, заметив, что я расстроен, осторожно пытается развлечь меня — спрашивает о Восточном институте, рассказывает что-то смешное. Щерба поставил мне «удовлетворительно», или, по-студенчески, «уд». «Пересдам»,— вдруг решаю я. Но так и не пересдал — и этот «уд» остался единственным в моем свидетельстве об окончании университета.

Года через три, когда я стал печататься, Щерба, к моему удивлению, рассказал Юрию, на какие вопросы я не ответил. У него была необыкновенная память.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО

1

Вспоминая теперь эту пору, я вижу, как счастливо досталась мне бесценная возможность остаться наедине с собой. В своей комнате я мог писать, читать, наслаждаться бездельем, которое было не совсем бездельем — я обдумывал свои первые рассказы. Началась другая жизнь — без суеты, без потери времени, и я встретил ее засучив рукава. За стеной жил Юрий, перед которым я уже тогда чувствовал ответственность за все, что собирался сделать. Время не рассыпалось, не расплывалось, натыкаясь на случайности, уводившие в сторону, как это происходило в Москве. Оно делилось на отмеренные часы и минуты.

Эта перемена произошла не вдруг, она совершалась постепенно. Но самая эта постепенность была быстрая — вероятно, я давно был готов к тому, что произошло со мной в Петрограде.

В эту новую жизнь мне помог втянуться двойник, которого я придумал, встретив на Невском человека, поразительно похожего на меня, хотя повыше ростом и старше. Я долго шел за ним, ловя в сохранившихся витринах его отражение. «Через десять лет,— с беспричинным восхищением подумалось мне,— я стану таким».

Конечно, это была игра, но серьезная, то и дело заставлявшая меня оценивать со стороны свои мысли, поступки, желания. Серьезная и тайная — никому и в голову не могло прийти, что я каждый день, каждый час могу встретиться с собственным «я».

2

Толстая общая тетрадь лежит передо мной, исписанная мелким почерком от первой до последней страницы. Двадцатый год, бумагой дорожат. Это — планы, черновики, начатые и брошенные стихотворения. Почти на каждой странице льющийся, скатывающийся справа налево бисерный арабский шрифт. «Люзум ма аль яльзам»,— читаю я с трудом. «Обязательность необязательного» — так называется сборник стихотворений поэта и философа Абу-ль-Аля, которого любил цитировать Крачковский: поэт хочет сказать, что его мысли и выводы из них не обязательны для других, но для него — обязательны и он не может от них отказаться.

Трудно придумать лучшее название для чудачеств, которые толпятся у дверей моей комнаты и наконец входят не стучась, чтобы занять свое место в толстой общей тетради. Вот некоторые из них:

План

Глава первая. Бродяга Проподит закладывает в ломбард левую руку. Рука обижена и начинает жить самостоятельной жизнью. Загадочные кражи.

Отступление. Части тела, из которых состоит бродяга, играют в двадцать одно.

Глава вторая. Проподит женится на каменной бабе. Они путешествуют во времени, но не вперед, а назад...

Отступление. Строки рассказа ссорятся и угрожают друг другу.

Глава третья. На берегах Черного моря бродяга знакомится с Овидием. Дружеский разговор.

Отступление. Строки рассказа независимо от воли автора складываются в концентрический круг.

(Для наглядности я нарисовал этот концентрический круг. Вращая тетрадь, можно и теперь прочитать строки, из которых он состоит.)

Глава четвертая начинается так: «Широко известно, что после ночи неизбежно приходит день. Но надежда, что когда-нибудь день сменится новым днем, а за ночью последует новая ночь, никогда не покидала мой критический разум...»

И ведь был написан этот «Проподит»! Каменную бабу я назвал «Псапсупсита». Разговор с Овидием касался его знаменитой книги «Ars amatoria» — «Искусство любви»...

За планом этого рассказа — попытка перевести стихотворение Эредиа:

...Богиня мрамора и пламенная медь...

За переводом — набросок письма: «Я останусь верен своему обещанию и не упомяну о нашем нечаянном свидании ни словом». Кому адресовано это письмо? Никому. Не было «нечаянной встречи». Зато была «Нечаянная радость» Блока — книга, которую при всей моей беспамятности на стихи я знал почти наизусть.

За наброском письма — новый план: «Записки сумасшедшего математика». Служитель желтого дома находит рукопись математика, который помешался на измерении точки. Размышления построены на алгебраических формулах. В эпилоге — самоубийство. Математик вешается, желая упрочить перпендикулярность собственного тела по отношению к полу.

Таких планов, набросков, начатых и брошенных, много среди моих рукописей двадцатого года. Во время ленинградской блокады пропали письма Пастернака, Тихонова, Федина, Тынянова, Антокольского, книги с автографами Тургенева и Брюсова, а эти никому не нужные черновики сохранились.

ПОЛИВАНОВ

1

Я не задумывался над исключительностью тех, кто бывал у Тыняновых в ту пору. Исключительность была разная: у Шкловского — экстенсивная, основанная на поворотах, перепадах, неожиданной легкости, с которой он шумно настаивал на своем существовании. У Поливанова — сдержанная, потаенная, скромная.

Он держался просто. Но это была совсем не та простота, которая позволила бы спросить его о чем-либо не относящемся к предмету разговора. Расспрашивать его было не принято, а по существу — невозможно.

...Никто не был ближе, чем он, к моему настойчивому стремлению уйти от обыденных представлений или, если это было невозможно, по меньшей мере поставить их вверх ногами. Однажды, безуспешно промучившись с полчаса над трудной арабской фразой, я, с воспаленными глазами, зашел к Юрию. У него сидел Поливанов.

— А вот попробуем,— сказал он, узнав, что я никак не могу найти смысл в дословно переведенной фразе. Он легко перевел ее. Японист и китаевед, он знал французский, немецкий, английский, латинский, греческий, испанский, сербский, польский, татарский, узбекский, туркменский, казахский, киргизский, таджикский. Исследователи считают, что этот список заведомо преуменьшен и что он владел еще восемнадцатью языками. Никто не сомневался в его гениальности. Юрий считал, что даже мельком брошенные мысли Поливанова принадлежат мировому языкознанию. Убежденный коммунист, он никогда не говорил о своих политических убеждениях. Между тем именно он расшифровал и перевел опубликованные впоследствии тайные договоры царского правительства. Он был связан с китайскими добровольцами, сражавшимися на фронтах гражданской войны, и еще в 1918 году организовал Союз китайских рабочих.

О, старый мир, пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип
Пред сфинксом с новою загадкой.

Поливанов казался мне этой загадкой. Он пошел навстречу соблазнам старого мира. «Революция,— сказал о нем Шкловский,— спасла его от распада».

О нем ходили странные слухи. Правда ли, что у него были какие-то загадочные приключения в Японии, где он бродил среди простых людей, изучая диалекты и скрывая, что он — человек науки? В воспоминаниях его матери, журналистки и переводчицы Екатерины Яковлевны («Исторический вестник», 1913, май), угадываются цельность характера, спокойное мужество, ясность ума. Евгений Дмитриевич унаследовал эти черты. К ним прибавилась еще одна — ощущение оставившей болезненный след катастрофы.

2

Он приходил и оставался иногда надолго, на несколько часов, устраиваясь в холодном кабинете Юрия и утверждая, вполне серьезно, что лучше всего ему работается, когда в комнате не больше пяти градусов тепла.

Юрий слушал его с изумлением — это поражало меня. Не понимая сущности их разговоров, я догадывался, что полушутя, между прочим Поливанов высказывает необычайные по глубине и значению мысли. Об этом нетрудно было судить — не по Поливанову с его изысканностью и небрежностью, а по Юрию, у которого взволнованно загорались глаза.

У меня всегда было ощущение, что научные факты, о которых он говорит, это не просто факты, а события и что среди этих событий он чувствует себя как дома.

Он был председателем тройки по борьбе с наркотиками. В Петрограде не нашлось другого, более осведомленного знатока, испытавшего на себе действие опиума и гашиша.

На «Песках» — так прежде назывался район Советских улиц — были китайские курильни. Не помню, по какому поводу о них зашла речь, но Юрий вдруг попросил Евгения Дмитриевича показать ему эти курильни, и Поливанов охотно согласился.

О, как разыгралось мое воображение за те два часа, что они отсутствовали,— уже и Лена стала волноваться! Я видел себя на месте Юрия, потерявшим ощущение времени и пространства, погруженным в полный покой, в счастливую немоту фантастических сновидений.

Но вот они вернулись наконец. Поливанов — спокойно-сдержанный, Юрий — оживленный. Он выкурил две трубки — и голова стала еще яснее, чем прежде. Опиум не подействовал («Надо втянуться»,— поучительно заметил Поливанов). Но зато сама курильня произвела на Юрия сильное впечатление. Хозяин необычайно вежливо встретил их (а Евгению Дмитриевичу поклонился в пояс). Нищая обстановка двух комнат, где на тощих матрацах или на голых досках лежали в лохмотьях курильщики. Советы старика с косой, похожего на корягу, который сказал Юрию: «Коари, здоров будешь», само курение, которое состояло в том, что надо было втягивать в себя пары опиу-

ма, плавившегося в чубуке трубки,— обо всем этом было рассказано с таким заразительным интересом, что я немедленно решил попросить Евгения Дмитриевича пойти со мной в курильню. Он вежливо уклонился.

3

В наши дни, когда научные труды Поливанова вошли в обиход мировой науки, когда находятся люди, посвятившие свою жизнь изучению его биографии, личность Евгения Дмитриевича прояснилась и заняла свое историческое место. Но, прояснившись, она потеряла драгоценные черты той особливости, которая в юности постоянно заставляла меня думать о нем как о герое еще не написанной книги. Он был руководителем Отдела Востока Наркомата иностранных дел. Потом стал профессором Петроградского университета,— следовательно, в известный день и час ему предложили войти в строй отношений, который не только существовал, но еще и энергично боролся за свое существование. Он не вошел в этот строй, и не только потому, что был далек от него по своим склонностям и симпатиям. Он был учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ, начинавшего свой курс словами: «Прежде всего я попрошу вас, господа, забыть все, чему вас учили в гимназии».

Поливанов существовал вне любого образа жизни, напоминая этим (и не только этим) Хлебникова, который не претендовал на определенное место в пространстве и в этом смысле был обитателем не города или деревни, а земного шара.

Так же как Хлебникова, его интересовали странности, отклонения, ошибки. Он любил, например, цирк, в котором каждый номер был отклонением: пренебрегая возможностью пользоваться землей, люди летали по воздуху и ходили по канату. В науке эти отклонения принимали форму закона.

Но, конечно, о Поливанове нельзя было сказать, что он сознательно стремился к неудобствам, к бедности, к беспорядочному существованию. Он просто считал, что серьезных, то есть поглощающих, усилий стоит только наука в ее отнюдь не замкнутом, но наступательно-социальном значении.

Он жил в студенческом общежитии рядом с университетом, и однажды, не помню по какому поводу, я заглянул к нему. Заглянул и остановился — не потому, что меня что-нибудь задержало, а потому, что некуда было ступить.

Пол был покрыт мусором, окурками, обрывками бумаги, очистками картофеля. Это было особенно странно, потому что из очисток можно было приготовить оладьи. То, что представилось моим глазам, нельзя было назвать беспорядком — это слово предполагает отсутствие или нарушение порядка. Но в этой комнате, казалось, порядка никогда не было, и, следовательно, он не мог быть нарушен.

Между тем здесь была женщина — молодая блондинка, приятная, с бледным, живым лицом. Когда я вошел, она причесывалась перед осколком зеркала, а здороваясь со мной, приветливо улыбнулась.

— Моя жена, Бригитта Альфредовна,— сказал Поливанов.

В этом хаосе он держался с достоинством, не только не замечая его, но как бы не позволяя, чтобы его заметили другие.

Во всем, что он делал, о чем писал или говорил, в его подчеркнутом отказе от обыкновенной, благополучной жизни никто не мог ему помешать. Он был отмеченный, посвященный, присягнувший Высшему — науке, как Хлебников присягнул поэзии, оставив другим блеск и суетность мира.

4

Дважды в моей жизни я пытался изобразить его. Двадцатидвухлетним юношей я напечатал рассказ «Большая игра». Британский разведчик (и гениальный шулер) Стивен Вуд разыскивает в Петрограде 1916 года востоковеда профессора Панаева, тайно овладевшего «документом, необходимым правительству Британии». Этот документ — манифест абиссинского негуса Уаламы, после смерти которого престол переходит к его внуку Личьясу, врагу англичан. Поединок между профессором Панаевым, «человеком без левой руки», кончается победой разведчика. Но Стивен Вуд сошел с ума еще до отъезда из Британии, и весь рассказ пронизан его безумными видениями.

Он воображает себя самим господом богом. В первом варианте рассказ назывался «Шулер Дье». Бог-шулер, азартно играющий судьбами человечества за зеленым игорным столом, мерещился студенческому воображению.

Прошло пять лет, а я все не мог расстаться с Евгением Дмитриевичем.

На этот раз он вернулся ко мне в лице профессора Драгоманова, одного из героев романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».

Конечно, нельзя ставить знака равенства между этими фигурами, но многое в портрете Драгоманова было подсказано мне знакомством с его прототипом. Точнее было бы сказать — это не портрет, а набросок, написанный пуантилистом: светящиеся точки странностей в характере Евгения Дмитриевича продолжали — и продолжают — интересовать меня.

МОИ УЧЕНИКИ

1

В университете не было ни стипендии, ни пайка, в институте первокурсники тоже почти ничего не получали,— очевидно, руководители справедливо рассудили, что будущие дипломаты должны пройти испытательный срок.

Занимаясь в двух вузах, о службе нечего было и думать. Мне хотелось найти какую-нибудь домашнюю работу или сверхштатную, с часовой оплатой. Я попросил об этом Поливанова. Он обещал, но неопределенно.

Однажды я провожал его в университет, он был у Тыняновых, и оказалось, что нам по пути.

...Разговор не вязался. Мне всегда казалось, что в его присутствии надо держаться как-то особенно... Но как? Я предпочитал молчать. Зато он говорил — и на этот раз много. Ему хотелось сделать что-нибудь для меня — не знаю, чем я заслужил его расположение. В этот день он, по-видимому, решил подарить мне одну из своих работ — ни много ни мало. Пока мы в течение часа или побольше шли от Греческого до университета, он в сжатом виде изложил свою систему преподавания гортанных согласных в арабском языке, которая, без сомнения, поразила бы Крачковского, если бы я ее понял и запомнил.

— Почему бы вам, вернувшись домой, не записать эти соображения, с тем чтобы представить их в виде диплома? — мягко спросил он.

Я горячо поблагодарил. Дипломы были отменены. Но если бы это было и не так, до окончания института мне оставалось три года.

Я проводил его и уже собрался попрощаться, когда он остановил меня.

— Чуть не забыл,— сказал он.— Вы просили найти вам работу. Случалось ли вам преподавать?

— Нет.

— Это не беда. Я помогу вам. Учеников будет немного. Шесть или семь. Китайцы.

— Китайцы? Чему же я должен их учить?

— Русскому языку. Точнее — грамматике.

— А они говорят по-русски?

Поливанов улыбнулся:

— Немного. Но ведь достаточно, чтобы хоть один говорил. Один говорит.

Я не знал, что ответить. Почему достаточно, чтобы хоть один говорил?

Евгений Дмитриевич сказал, сколько мне будут платить. Деньги были маленькие, но полагался паек.

— Спасибо. Я попробую.

Он назвал адрес, и мы условились встретиться — помнится, где-то на Второй линии, недалеко от Среднего проспекта.

2

Не знаю, сохранился ли этот двухэтажный особняк, в котором работал в ту пору китайский Совет рабочих депутатов и Поливанов редактировал первую на китайском языке советскую газету.

Мы занимались в первом этаже, в маленькой комнате под лестницей, по всем признакам бывшей швейцарской.

Занятия начались с того, что Евгений Дмитриевич придумал мне имя Вен Сен-шин. Мои будущие ученики, встретившие его с благоговением, повторили хором: «Вен Сен-шин». Потом он произнес краткую речь, в которой, очевидно, отозвался обо мне как об опытном педагоге, научил меня, как говорить по-китайски «здравствуйте» и «прощайте», и ушел...

До сих пор — если не считать запомнившегося дня моего отъезда из Пскова — мне встречались только бродячие китайцы, торговавшие чесучой, которую они картинно раскладывали перед покупателем, а потом ловко отмеряли железным аршином. Чесуча — плотная, тонкая шелковая ткань, из которой шили летние костюмы и платья.

В нашем доме каждое появление такого торговца было маленьким событием: нянька уговаривала китайца не бродить с товаром за спиной, а жениться и осесть где-нибудь, а китаец смеялся и отвечал, что нельзя жениться, потому что у русских женщин «нóга больша».

Теперь передо мной было шесть человек, одновременно и похожих и удивительно непохожих друг на друга. У них были, как это вскоре узналось, не только разные способности, но и разные, если не противоположные, жизненные цели.

Одного из них — плотного, широколицего — звали Се Хун-тин, причем всякий раз, когда я называл его, вежливые китайцы едва удерживались от улыбки: по-видимому, в моем произношении имя получало неприличное или смешное значение. Этот ученик занимался старательно, намереваясь посвятить себя общественной деятельности в Союзе китайских рабочих, где он уже занимал какую-то должность. Мне он не нравился, в нем чувствовалась холодная деловитость. Наши занятия были для него чем-то вроде неизбежной дистанции на жизненном пути, которую ему хотелось пройти по возможности быстро.

Совсем другим был Ван, высокий, невозмутимый, носивший тройку — так назывался полный мужской костюм, пиджак с жилетом и брюки. Другие мои ученики одевались бедно, а кое-кто донашивал бесформенную синюю одежду, очевидно вывезенную еще из Китая. Ван постоянно улыбался, но почему-то никому (или по меньшей мере мне) не хотелось ответить ему улыбкой. Он был несколько в стороне от своих товарищей. Когда, объясняясь более жестами, чем словами, я расспрашивал своих учеников, когда и почему они уехали из Китая, Ван спокойно ответил, что он приехал из Маньчжурии с единственной целью — разбогатеть: по слухам, в России можно дешево купить бриллианты. В особняке на Второй линии это прозвучало странно. Но еще более странным показалось мне, что никто, кроме меня, не был удивлен этим признани-

ем,— между Ваном и его товарищами были непонятные для меня отношения.

Син Ли, маленький, черненький, худенький, был сторожем особняка на Второй линии. Комната под лестницей, совершенно пустая, если не считать табуреток и койки, принадлежала ему. Он был единственным из моих учеников, которого я понимал, хотя он хуже всех говорил по-русски. Понимание было не лингвистическое, а психологическое. В нем была расположенность, скромность, он догадывался, как мне трудно. Мне казалось даже, что он полюбил меня.

Другие ученики остались для меня загадкой. Я не мог вообразить ни строя их мышления, ни характера их отношения ко мне. Характер был, по-видимому, утилитарный, но и какой-то еще: мне почему-то казалось, что они жалеют меня, хотя для этого не было никаких оснований. Может быть, потому, что я не китаец?

Короче говоря, мне пришлось учить русскому языку людей, которые думали, говорили, смеялись и даже ели совершенно иначе, чем я. (Впрочем, они почти ничего не ели.) Даже исчисление времени для меня было одним, а для них — совершенно другим. Я жил, переходя от одного дела к другому — от занятий дома к лекциям в университете, от лекций к «репетициям» или наоборот. Они же в самом ходе вещей видели, по-видимому, какую-то совсем другую, обязательную для них, причинную связь.

Занятия начались, и на первом же уроке я столкнулся с непреодолимой трудностью: китайцы не понимали именительного падежа. Все другие падежные окончания были для них более или менее ясны. Но в именительном слово не изменялось — почему же и к нему применялось название «падеж»?

Для наглядности я предложил им просклонять фамилию «Поливанов»,— человек, которого они так уважали, имел, казалось бы, право на именительный падеж. Но после оживленного обсуждения мои ученики заявили, что «Поливанов» — родительный множественного, потому что слово оканчивается на «ов». То, что фамилия при этом не изменялась, с их точки зрения не имело значения.

Когда мы дошли до творительного, пригодилась фраза Син Ли: «Ван убил Се Хун-шина куриным яйцом». Бессмыслица не только помогла делу, но подсказала мне совсем другой способ преподавания. Я вдруг понял, что

надо «показывать» язык, рисовать его и даже разыгрывать как на сцене, если это возможно. Звукоподражательные слова, например, оказались прекрасным средством для понимания и запоминания. «Кукареку» означало петуха, но мои ученики сразу же сообразили, что надо запомнить не образ слова, а слово. «Гром, треск, свист, топот, хохот» — я составлял предложения, изображая эти слова, а потом китайцы, с моей помощью, составляли из них группы понятий...

В поисках звукоподражательных слов я впервые раскрыл «Толковый словарь» Даля — и понял, что, в сущности, почти не знаю языка, на котором не только говорю, но пытаюсь писать стихи и рассказы.

СЛОВАРЬ ДАЛЯ

Еще в гимназии я заучил знаменитую формулу Ломоносова: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, италианским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».

Я не смел сомневаться в определении Ломоносова, тем более что по этим немногим словам легко было понять, почему художественная литература в старину называлась «изящной». Но мне казалось, что нельзя отдавать предпочтение одному языку перед другим, так же как нельзя гордиться, например, цветом кожи. Однако, открыв «Толковый словарь» Даля, я действительно почувствовал если не гордость, так по меньшей мере радостное изумление. Это было так, как если бы на утлой лодочке я приплыл к необъятной стране, которая была полна неожиданностей, невиданного и неслыханного богатства, причем не упавшего с неба, а всегда, ежедневно и ежечасно существовавшего рядом со мной. Мне понравилось, что Даль не был поклонником грамматики. В «Речи о русском говоре, прочитанной на заседании Общества любителей российской словесности», он говорил, что грамматические указания в

его словаре «вообще скудны, потому что оказываются то ничтожными и бесполезными, то сбивчивыми и ложными: язык наш нынешний грамматике не поддается».

Меня поразил его решительный отказ от общих определений, его вещественность, его воинствующая, суровая простота — она-то и вела к многообразию оттенков, к широкому взгляду на каждое слово, закрепленное живым, разговорным примером. Этот пример мог быть пословицей, прибауткой, загадкой, поверьем, приметой, а иногда даже дельным советом. И все это было к месту, то есть к слову, которое точно озарялось, приходило в себя, открывало глаза. Можно ли было с бо́льшей меткостью сказать о вялом, неуверенном собеседнике, что у него «слово слову костыль подает»?

Уже и тогда я понял, что словарь Даля не просто перечень сотен тысяч слов, а смелая попытка охватить все стороны русской жизни. Не только вещественное, но и нравственное ее выражение. В самой истории создания этого необычайного труда был священный обет, исполнение почти непреодолимой и все же преодоленной задачи.

«У ТЕБЯ ЖЕ ЧТО-ТО БЫЛО»

1

Наши занятия продолжались недолго — месяца четыре, и я не берусь утверждать, что научил китайцев говорить по-русски,— находясь постоянно среди русских, они сами кое-чему научились.

На каникулы я уехал в Псков, а вернувшись, нашел в маленькой комнате под лестницей только Син Ли, который так радостно кинулся ко мне, что я был и удивлен и тронут. Впрочем, он был не один. Молодая женщина с грубоватым, но приятным лицом весело сказала «Здравствуйте», когда я вошел, и сразу же принялась накрывать на стол. В каморке был теперь не только стол, но и кровать, покрытая добротным одеялом, и буфетик, на котором рядом с примусом стояла горка посуды.

Син Ли женился. Более того: молодая женщина, протянувшая мне руку лопаточкой и скромно представившаяся «Маня», по-видимому, вскоре намеревалась подарить ему сына или дочку.

Теперь трудно было вообразить, что в этой комнате мои ученики сидели на корточках вокруг жужжавшей «буржуйки» и я изображал перед ними гром, свист, топот и хохот. Но больше всего изменился сам Син Ли. Прежде сдержанный, молчаливый, он с первой минуты нашей встречи принялся рассказывать о том, как он «зенился» и какой был «ницасный», пока не «зенился», и как он сказал Мане: «Циво тоскуишь мала-мала, я на тебе зенюсь», и как она сперва не хотела, потому что первый муж был «свуолис». Маня смеялась и, когда я не понимал, переводила с китайско-русского на русский. Я узнал, что Се Хун-шин теперь работает в Союзе китайских рабочих, а Ван (которого Син Ли тоже почему-то назвал «свуолис») в каком-то институте преподает китайский язык. Поливанов был в Москве, но вскоре собирался вернуться.

Я был не прочь возобновить уроки, но из нашего разговора понял, что рассчитывать на это нет никаких оснований.

Больше я не заходил к Син Ли, но с Ваном однажды встретился... И где же? В нашем институте. В своей тройке, в белой рубашке, повязанной черным галстуком, он важно спускался с лестницы и, поравнявшись со мной, едва коснулся рукой котелка — это кажется почти невероятным, но в Петрограде в 1921 году Ван носил котелок. Он был лектором — в Восточном институте так назывался не преподаватель, а уроженец страны, хорошо говоривший на родном языке.

В институте мы больше не встречались. Однако через несколько лет один китаевед, окончивший позже, чем я, рассказал мне о нем удивительную историю. В середине двадцатых годов в Ленинграде было много богатых китайцев-нэпманов, торговцев наркотиками, ростовщиков, владельцев прачечных и магазинов. Внезапно среди них начались загадочные убийства, разумеется с грабежами: налетчики душили нэпманов шелковыми шнурками. Ван был руководителем этой банды, не трогавшей русских и работавшей только среди своих соотечественников с неизменным успехом. Когда, после неудачных попыток угрозыска, нэпманы сами взялись за дело и подкупили помощников Вана, он бежал в Китай, захватив с собой русскую девушку. Это было сделано, как объяснил мне один китаевед, далеко не случайно. Не знаю, насколько правдоподобно его объяснение, но Ван рассчитывал на полную

безопасность, пока он был не один. Таков будто бы неписаный, но непреложный закон, которому следует каждый китаец. Добравшись до границы Маньчжурии, Ван убил свою спутницу и скрылся.

2

Но вернемся к словарю Даля. Когда с волнением, с восхищением я стал перелистывать его — да не перелистывать, а читать его страницу за страницей, мне вдруг нестерпимо захотелось одним ударом покончить со всеми своими монахами, алхимиками и вечными скитальцами, которые смело расправляются с собственной смертью. Сумасшедший математик ведет свой дневник в гоголевской манере, «Проподит» был написан ритмической прозой.

Новый рассказ, который должен был удивить читателей своей простотой, не нуждался в заранее обдуманном плане. Сюжет был строго реалистический. Нищий (так и назывался рассказ) просится переночевать, одинокая деревенская баба пускает его в избу, и под утро он ее убивает. Осторожно пользуясь Далем, я вставил в разговор несколько пословиц, две-три прибаутки. Нищий получился. Он был плешивый, с редкой бороденкой, с гнилыми зубами, в зипуне, описание которого я тоже взял у Даля. И баба получилась, хотя кое-чего в ней, может быть, не хватало. Мне все мерещилась та симпатичная деревенская женщина, которая под Черехой накормила нас с Валей пшенной кашей, а потом, приняв за мужа и жену, предложила остаться на ночь. Но в моем рассказе баба была совсем другая — жалкая, бедная: согласно замыслу, убийца, обшарив избу, находит только сорок копеек.

Когда и где происходит действие? Над этим я не задумывался, хотя понимал, что исторический фон нужен и даже, может быть, необходим. Но фон потребовал бы времени, а мне хотелось закончить рассказ как можно быстрее.

Первый вариант я зачеркнул, слишком заметно было, что словарь Даля за последние дни стал моим любимым чтением. Второй, более пространный, напомнил мне Бунина, и я немало повозился, беспощадно уничтожая все следы этого сходства. Рассказ получился маленький, страниц семь школьной тетради (рукопись сохранилась), но

это мне даже понравилось — ни обобщений, ни размышлений. Я отдал рассказ Юрию и с волнением стал ждать приговора.

Помнится, в те дни я готовился к экзамену по логике. Принимал ее Лосский, и я прекрасно знал, что трудно найти на нашем факультете более требовательного профессора, чем он. Но что-то не ладились у меня занятия в этот решающий день. Я бросил учебник и стал шагать из угла в угол...

Юрий постучал и вошел. Лицо у него было сосредоточенное, значительное. Рукопись он держал бережно, двумя руками. Я смотрел на него не дыша. Он положил тетрадку на стол и сказал уверенно, твердо:

— Нобелевская премия обеспечена.

Я остолбенел. Легко представить, насколько я был в ту пору самонадеянно-глуп, но на самое короткое мгновенье я поверил ему: Нобелевская премия! За этот рассказ, который я написал в несколько дней!

Но тут же он засмеялся — и так заразительно, что невозможно было к нему не присоединиться.

— Плохо?

— Да, брат, неважно,— сказал он, обняв меня за плечи.— И с чего это ты вдруг так? У тебя же что-то было. Там ты был хоть ни на кого не похож. Кроме, впрочем, Гофмана, Шамиссо и Тика.

И в утешение он подарил мне книгу Владимира Одоевского «Русские ночи».

КТО ЖЕ Я?

1

Оглядываясь назад, я вижу, что осень и зима двадцатого года были для меня началом новой полосы, продолжавшейся долго, годами. Она была подготовлена не только влиянием старшего брата, нравственной атмосферой его поколения, не только острым, безудержным чтением и спорами в ДОУ. Нет — и полтора, почти два года в Москве не прошли для меня бесследно. Холсты Гогена, Сезанна, Матисса запомнились на всю жизнь, подсказав мне неразгаданное, ошеломляющее видение мира. Я выслушал и написал сотни стихов, внушивших мне первое впечатление о поэтическом вкусе. Я попытался изоб-

разить фантасмагории Камерного театра в стихах или в прозе.

Впервые я стал, хотя и ненадолго, солдатом, испытав на себе особенные отношения подчинения и власти, напомнившие мне, что я в чем-то похож на отца.

В Петроград приехал юноша, от многого отказавшийся, открывший в себе черты устойчивого интереса, которым, не теряя времени, он стал «учиться управлять», потому что это был интерес дела. Дело было филологией, многосторонней, неутолимой любовью к слову.

В недавно опубликованной статье Д. С. Лихачев предложил глубокое толкование этого понятия. В основе — требование философа Н. Федорова, учителя гениального Циолковского,— «воскрешение мертвых». Лихачев принимает это требование как восстановление культуры прошлого, Памяти с большой буквы.

«...Для культуры нет могил, хотя бы и очень дорогих. Культура человечества движется вперед не путем перемещения в «пространстве времени», а путем накопления ценностей. Ноша культурных ценностей — ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг, а облегчает... Преодоление расстояний — это не только задача современной техники и точных наук, но и задача филологии в широком смысле слова. При этом филология в равной степени преодолевает расстояния в пространстве (изучая словесную культуру других народов) и во времени (изучая словесную культуру прошлого)... Она воскрешает людей для людей же. Для нее нет могил,— она открывает жизнь и воскрешает. Это наука глубоко личная и национальная, нужная для отдельной личности и для всех народов. Она оправдывает свое название, так как... основана на любви ко всем людям и на полной терпимости».

2

Можно ли назвать эту пору моей жизни замкнутой, ограниченной? Толя Р. как-то в шутку сказал, что скоро я сам стану книгой, которую можно будет переплести и поставить на полку. Нет, это было не уходом в книжную жизнь, а нападением на нее, необдуманной, но смелой атакой. Некнижная жизнь, от которой я никуда не ушел, летела бок о бок еще не разгаданная, но уже открывавшая

мне глаза, подчас против желания. Но я почти не чувствовал — и это неудивительно — истории дня, потому что день был битком набит филологией и прозой. Если он пропадал даром, я огорчался не потому, что над ним стоял знак времени, а потому, что я потерял возможность сделать еще несколько шагов по тому пути, который вел меня к выбору — а выбор был неизбежен.

И все же время от времени меня беспокоило чувство вины перед «прозёванным», ощущенье, что события существенно важные, неповторимые проходят мимо меня. Но ведь я надеялся, что это «единственное и неповторимое» мне удастся совершить в литературе!

3

Я уже упоминал, что в ту пору у меня был двойник, с которым мы разговаривали ночами. Он чем-то напоминал мне брата Льва, и встречаться с ним было все интереснее. В нем был блеск цели, без которой — думалось мне — жизнь пуста и ничтожна. Я придумал его биографию, похожую на мою, но энергично продолженную, отмеченную известностью, может быть скромной.

Я советовался с ним: востоковедение, история литературы, проза?

Мы разговаривали ночами, когда в доме все спали и только я таращил усталые глаза, стараясь убедить себя в том, что способен перевести еще несколько строчек арабского текста.

— Первый час,— участливо говорил он,— закрой-ка, брат, книгу.

— Не могу. Я дал себе слово заниматься до двух.

И начиналась негромкая беседа с самим собой, шорохи ночи, полусон, в котором бесспорной реальностью были лишь тусклый ночник да лежавшая перед ним арабская хрестоматия. Но утром, просыпаясь от переполнявшего меня ощущения силы, я одним взглядом охватывал наступающий день. И всякий раз он казался мне первым днем на земле, в который надо было вламываться, чтобы взять его с боя, как крепость.

ОДИННАДЦАТАЯ АКСИОМА

Занимаясь логикой, я заинтересовался главой, посвященной самоочевидным истинам, не требующим никаких доказательств. Как пример приводилась одиннадцатая аксиома Эвклида о параллельных линиях.

В гимназии я неохотно занимался геометрией: необходимость доказывать то, что было доказано за полторы тысячи лет до моего рождения, раздражала меня. Только аксиомы казались мне заслуживающими уважения: сомневаться в них было так же бессмысленно, как сомневаться в собственном существовании. Вот почему я был поражен, узнав, что еще в первой четверти XIX века нашелся человек, который не только предположил, что параллельные линии сходятся в бесконечности, но построил на этом основании новую геометрию, которая нигде не запутывается в предположениях и ведет к результатам, которые и не снились Эвклиду.

В ту пору я не знал биографии Николая Ивановича Лобачевского, и ничто, кроме этой беспримерной по своей смелости мысли, не заинтересовало меня. В тридцатых годах я пытался написать о нем роман и понял, что это мне не по силам...

Профессор Лосский, встретивший меня с серьезностью, из которой сразу же стало ясно, что он твердо намерен выяснить, знаю я логику или нет, экзаменовал меня пятьдесят минут, пройдясь по всем разделам курса. Наконец он поставил мне «весьма удовлетворительно», и я ушел с запомнившимся чувством полной определенности нашей встречи. Мне и теперь кажется, что это был не экзамен, а именно встреча и что, расставаясь с этим большелобым, твердым, неулыбавшимся и не сказавшим ни одного лишнего слова человеком, я расставался с целым миром нравственных и философских понятий, от которых всю жизнь буду бесконечно далек.

Усталый, я возвращался домой и на Бассейной (ныне Некрасовской) улице остановился перед афишей, которая, как хиромант, угадала мои самые затаенные мысли. Дом литераторов предлагал начинающим писателям принять участие в конкурсе. Под начинающими — это было оговорено — подразумевались нигде и никогда не печатавшиеся,— условие, которое в полной мере подхо-

дило ко мне. Премии были солидные: первая — пять тысяч, вторая — четыре и три третьих по три тысячи рублей.

Долго стоял я перед этой, написанной от руки, афишей, внезапно оживившей мои пошатнувшиеся надежды. Предчувствия до сих пор обманывали меня — почему я вдруг поверил остро взволновавшему меня легкому чувству?

Даже если идти неторопливо от Дома литераторов до Греческого, 15, можно было добраться в десять минут. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что эти десять минут определили многое в моей жизни. Еще не дойдя до дома, я не только решил принять участие в конкурсе, но придумал новый рассказ «Одиннадцатая аксиома». Конечно, он был подсказан экзаменом, который я только что сдал. Подсказан, связан — и неожиданно, увлекательно связан! Лобачевский скрестил в бесконечности параллельные линии — что же мешает мне скрестить в бесконечности два параллельных сюжета? Нужно только, чтобы независимо от времени и пространства они в конечном счете соединились, слились. Но именно слияние-то и не получилось.

Придя домой, я взял линейку и расчертил лист бумаги продольно, на два равных столбца. В левом я стал набрасывать — в монологической форме — историю монаха, который теряет веру в бога, рубит иконы и бежит из монастыря. В правом — историю студента, страстного игрока, проигравшегося в карты до последней копейки. Он тоже вынужден бежать, ему грозят кредиторы, и убежать от них можно только в другое столетие.

В середине шестой или седьмой страницы текст уже не делится больше продольной линией: параллельные линии сходятся — студент и монах встречаются на берегах Невы...

Перечитывая уже в наши дни сохранившуюся в моем архиве рукопись «Одиннадцатой аксиомы», я вижу ясно, что в рассказе удался только замысел — в нем была, пожалуй, свежесть новизны. История монаха относится к средневековью; история студента происходит в предреволюционные годы: отказ от единства времени был подчеркнут и выглядел смелым.

Одновременно были сопоставлены (хотя и приблизительно, неясно) два банкротства — тела и духа. Именно об этом-то (если бы я был опытнее и старше) и должны

были разговаривать мои, шагнувшие через столетия, герои. Но мне было девятнадцать лет и я торопился. Не потому, что меня подгонял указанный на афише срок — был конец января, а рукопись можно было представить в середине марта. Вдруг мелькнувшая, упавшая с неба возможность сразу шагнуть через все мои неудачи — вот что подгоняло, волновало, переполняло меня. Это было похоже на детскую попытку придумать одно-единственное, ни на что не похожее слово, которое сразу поставило бы меня в один ряд с лучшими поэтами мира. Я уже упоминал о ней: слава, которая должна была явиться, как Христос народу, постучаться, войти и сказать: «Я — слава».

Переписывая рассказ, я убедился в том, что история монаха оказалась короче истории студента: прежде чем соединиться, правый и левый столбец по длине не совпадали. Пожалуй, стоило придумать для монаха какую-нибудь «антимолитву». Но проза в этом месте вдруг стала сбиваться на стихи, почему-то вспомнились пушкинские «Подражания Корану»...

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой...

И я решил пренебречь геометрической точностью во имя литературы.

Через три дня я закончил рассказ и послал его на конкурс под многозначительным девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук».

НАДЕЖДА

1

Работая над этой книгой, я перелистал немало рукописей в архиве Пушкинского Дома и, найдя протоколы конкурса, убедился в том, что члены жюри действовали внимательно и неторопливо. Из представленных трехсот восемнадцати рукописей были отобраны семь, а из семи — пять. Члены жюри собирались четырнадцать раз. Первоначальные строгие условия после острых споров были смягчены, окончательное решение было принято не абсолютным, а простым большинством, а число премий возросло до шести...

Разумеется, я ничего не знал о судьбе моего рассказа и ничего не узнал бы, если бы однажды, занимаясь психологией (которую я сдал в Москве и должен был, потеряв московский матрикул, снова сдавать в Петрограде), не услышал через полуоткрытую дверь моей комнаты чей-то знакомый оживленный голос:

— И вот что забавно: автор прислал свою рукопись под девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук».

Сердце у меня ударило один, второй, третий раз — и остановилось, по-видимому, навсегда. Но почему-то я продолжал существовать и, даже стараясь не пропустить ни слова, бесшумно подошел к двери...

...Рассказывая об исключительности тыняновского круга, я не упомянул о Борисе Михайловиче Эйхенбауме только потому, что он и все, что было связано с ним, запомнилось хотя и портретно, но соотнесенно, в связи с семинаром по истории русской литературы XIX века, который он вел в университете. Это был портрет на фоне, превратившийся в групповой портрет, потому что почти все его ученики вскоре получили право на самостоятельное изображение. Но в ту пору быстро наступавшей зрелости мы видели на этом групповом портрете не себя, а его...

Недавно я перелистывал в архиве его дневники — неопубликованные, но, уж конечно, заслуживающие опубликования. Это — отзвуки дневной жизни, за которыми слышится полузамеченная, ночная — та, которую трудно записать аккуратным почерком, под определенной датой.

В 1915 году он записывает сон: «Облако плыло в небе, с руками на груди, в белом саване, но с фатой. Вспомнил маму в саване. И еще утром, в кровати, долго вспоминал ее смерть. С ней гулял в лесу. Говорю ей: «Посмотри, какое красивое небо». А она спрашивает: «А что оно делает?» Я ответил: «Смотрит на землю». (Впоследствии он рассказывал, что в детстве боялся матери, которая была с ним неласкова и сурова.)

...Гумилев, читавший стихи, запомнился ему в форме улана, с Георгиевским крестом.

«Всякое видéние есть вúдение...— записывает он в мае 1915 года.— Люди делятся на смотрящих и видящих».

«Эпигоны, которые не слышат современности, не чувствуют движения науки...» (1922).

«Интеллигенция — русское слово. Его нет на других языках. При всей многозначности явления есть черта, подчеркивающая его внутренний смысл: захватывающе высокое понятие о человеке» (1922).

Снова сон — о паспортах: «Мертвые приходят за своими паспортами». Очевидно, их не прописывают ни в раю, ни в аду. И рядом — насмешка над позитивизмом: «Юм был бы хорошим паспортистом».

Чтобы чувствовать себя счастливым, ему нужно было и мало и много. В обыкновенной жизни — мало: здоровье и спокойствие близких и друзей, возможность работы. Но в работе — много. Работа была требовательно-любимой, настаивающей на расплате, и он всегда чувствовал себя в долгу перед ней.

Пошлое выражение «посвятить себя» по отношению к нему звучит свежо, точно. Работая над Лермонтовым, Ахматовой, Толстым, он «посвящал себя» — и при этом никогда не забывал об изяществе, наряду с простотой... Его тонкое лицо, с бородкой, в пенсне с треснувшим стеклышком (которое он не успевал заменить годами), его манера внимательно выслушивать собеседника, какую бы нелепицу тот ни городил, его добрый смех, невообразимая вежливость — все, казалось, говорило о характере неуверенном, шатком, непрочном. Ничуть не бывало! В нем была неустанная обращенность к себе, обязывающая, определявшая каждое его слово, раскрывавшаяся резко, порывами, но остававшаяся молодой, вопреки испытаниям, которые длились десятилетиями. На вопрос Бориса Пастернака: «С кем протекли его боренья?» — и он мог бы ответить: «С самим собой, с самим собой».

Но вернемся к той, запомнившейся на всю жизнь минуте, когда я стоял — потрясенный, ошеломленный — у полуоткрытой двери и слушал разговор о моей «Одиннадцатой аксиоме». Борис Михайлович был членом жюри.

— Конечно, написано еще очень по-детски,— оживленно говорил он.— Но каков замысел! Нет, положительно автор заслуживает премии. Хотя бы за странное воображение!

Я не расслышал ответа, хотя Юрий, вставший с кресла, мелькнул передо мной. У него было доброе, улыбающееся лицо, показавшееся мне в это мгновенье необычайно красивым... Конечно, он не выдал меня.

Потом Борис Михайлович спросил, знает ли Юрий, что в Петрограде начинает печататься новый журнал: «Книга и революция»,— и с чувством разочарования я вернулся к учебнику психологии. Мне хотелось, чтобы разговор о моем рассказе продолжался и продолжался...

2

Шкловскому понравился мой рассказ, и он передал его Горькому, у которого бывал тогда очень часто. Понравился ли он Горькому? Сперва — не очень, если судить по его письму, а потом — очень. Это выяснилось при встрече. В письме он заметил, что «язык записок монаховых не везде точен, выдержан и что в обоих рассказах (Шкловский передал ему еще и «Скитальца» Ван-Везена) слишком силен запах литературы... Авторы смотрят на действительно сущее как бы сквозь бинокль литературной теории... При этом бинокль иногда употребляют с того конца, который уменьшает предметы».

Но главная мысль письма, которую я тогда почти не заметил, заключалась в предсказании — Горький проницательно предсказывал, что придет время, когда я пожалею о торопливости, с которой были написаны мои рассказы. Они были, как он писал, недоговорены по существу — и, может быть, нарочито. Я должен был, по-видимому, либо учиться договаривать, либо учиться оправдывать недоговоренность. Я не сделал ни того, ни другого...

Шкловский отдал мне письмо Горького на Невском — я шел в университет. Пока я читал и перечитывал письмо, он разглядывал меня с интересом.

— Тебе надо купить пальто,— сказал он.

Пальто действительно было странное — из синей, казавшейся в те годы слишком яркой материи, с облезлым каракулевым воротником. По настоянию мамы наш сосед, бывший военный портной Холобаев, соорудил его взамен моего полушубка с отрезанными полами. Но купить новое я не мог. Оставалось рассчитывать, что Шкловский принесет его, как музейный сервиз, в своем заплечном мешке.

— Тебе надо... Тебе надо...— повторял он, разглядывая меня.— Тебе надо с кем-нибудь пожить.

— Пожить?

— Да.

И он назвал известное имя.

— Виктор Борисович... Это шутка?

— Нет. Куда ты идешь?

— В университет.

— Я тоже ходил, но потом заскучал. Что ты там делаешь?

— Сдаю экзамены. На прошлой неделе — логику.

— Кому?

— Лосскому.

— Расскажи. О чем он спрашивал?

— Сперва о фигурах и модусах категорического силлогизма.

Шкловский подумал.

— А потом?

— О невозможности в чисто рациональных науках обходиться без общих синтетических суждений.

Он снова подумал.

— А потом?

— О законе тождества и исключенного третьего.

— Срезался,— сказал Шкловский, но не с вопросительной, а с утвердительной интонацией: он говорил о себе.— А ты?

— Сдал.

— А ты сдал! — с торжеством объявил Шкловский.— А ты сдал!

Мы дошли до Литейного и остановились, чтобы проститься.

— Тебя надо... Тебя надо...— У него стало хитрое лицо.— Тебя надо познакомить с писателями. Зайди ко мне сегодня вечером, и я познакомлю тебя с писателями. Они — плохие писатели, но Горький говорит — хорошие. Может быть. Зайди. Мы покатаемся на велосипеде.

3

День был трудный. С туманной головой, в которой арабские глаголы нанизывались на фразу «вечером я познакомлю тебя с писателями», я провел часа два на «репетициях», а потом Кузьмин отвел меня в сторону и, стараясь сделать свое доброе лицо академически-строгим, сказал, что «если ваш друг,— он назвал фамилию

Толи,— не будет посещать занятий, мы, вероятно, найдем необходимым уволить его из числа слушателей института».

Убедив меня заниматься арабским, Толя действительно куда-то пропал. Время от времени его заросшая негрская физиономия мелькала то у Тыняновых — на десять минут, то в Лесном. Он был влюблен в сонную, толстую девицу, которую звали Лена Друшкол. Юрий шутил, что это не девица, а учреждение.

В университете у меня было два дела — сдать психологию профессору Лапшину и встретиться с Анечкой М.— хорошенькой, тоненькой, беленькой: все уменьшительно-ласкательные суффиксы подходили к ее быстрой фигурке.

Но было и третье: Бартольд. Не в силах ни понять, ни охватить того ослепительно свободного отношения к истории, с которым этот маленький человек, похожий на гнома, переворачивал ее многовековые пласты, я ловил в его лекциях те редкие мгновенья, когда его знание, казалось, переходило в чувство.

Не думаю, что Анечка, которую я таскал на Бартольда, разделяла мое восхищение. Но она была терпелива. После лекции ее кудлатая, похожая на медвежонка сестра пригласила нас в буфет, где у нее, как общественной деятельницы, были полезные связи. Потом я пошел искать Лапшина, Анечка осталась ждать меня у пятой аудитории — той самой, где когда-то читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский.

Не помню, где я нашел Лапшина. Он был высокий, худой, в длинном пальто, с заплечным мешком, из которого, задав мне вопрос, он достал горбушку хлеба.

Мы сидели в холодной, пустой аудитории, и вокруг почему-то стало очень тихо. Из коридора не доносился шум, казалось, что весь университет, или даже весь город, прислушивался к моему ответу, и, может быть, эта неожиданная тишина была причиной охватившего меня оцепенения.

Психологию я знал, и вопрос был нетрудный — об апперцепциях Вундта. Но я внезапно забыл не только апперцепции, но всю психологию от первой до последней страницы. Отдельные, разрозненные понятия — интеграция, дифференциация, церебрация — мелькнули где-то в глубине сознания, как светлячки в ночной непроглядной

тьме, и, ухватившись за них, я стал говорить... Бог знает, что я говорил, ежеминутно ожидая, что профессор остановит меня и скажет без обиняков, что я горожу невероятный вздор. Но Лапшин молчал. У него было спокойное, слегка отрешенное, но, кажется, внимательное лицо. Он отламывал от горбушки кусочки хлеба, равномерно жевал их и слушал... Окончательно запутавшись и заботясь только о том, чтобы фраза хоть как-нибудь цеплялась за фразу, я наконец остановился... Мы помолчали, а потом он сказал:

— Ваш матрикул.

И поставил мне «вуд». Не «в. уд.», как писали другие профессора, а «весьма удовлетворительно» — словами.

Расписываясь, он перестал жевать, и я понял, что и в эту минуту и прежде, когда я только что стал отвечать, он бесконечно далек от меня. Какой-то студент о чем-то говорил, кажется, связно. Если бы не горбушка, он, может быть, уснул бы, слушая эту безостановочно-плавную речь.

4

Не стоило показывать Анечке, что я расстроен, она, без сомнения, от души расхохоталась бы, узнав, что, нагородив чепуху, я получил «вуд». Лапшин почему-то остался один в пустой, холодной аудитории, и я с трудом удержал себя, чтобы не вернуться к нему — зачем?

Было что-то очень грустное в этом экзамене, а Анечка — розовая, с беленькими локончиками, которые весело кружились над ее пряменьким лбом,— все смеялась. Она ждала нашей прогулки по набережной вдоль штабелей дров, которые сторожили угрюмые дядьки, утонувшие в шубах. Со стороны Невы между штабелями проходили узкие коридоры, в которых даже днем было темновато, и никто не мешал нам прятаться там и целоваться, распахнув пальто и прижимаясь друг к другу.

Анечка жила на Старо-Невском, в одном доме с Толей. Мы встретились случайно, на лестнице: вдруг дверь распахнулась, и девушка в летнем платье, догоняя кого-то, побежала вниз, прыгая через ступеньку. Мне понравилось, что вдоль последнего пролета она съехала на перилах. Догнала, вернулась замерзшая, удивилась, что я ее жду, и мы разговорились...

В этот вечер прогулка затянулась, и по тропинке через Неву мы бежали опрометью, стараясь согреться. Кудлатая сестра дала нам коржики, от которых остро пахло дымком, мы грызли их и бежали. Замерзшие, веселые и голодные — коржики только разожгли аппетит — мы расстались у Дома искусств, условившись встретиться завтра в университетской библиотеке.

Конечно, я пришел рано, Виктора Борисовича еще не было дома, и его жена Василиса Георгиевна сказала, что он придет через час, а когда я с надеждой переспросил: «Через час?» — улыбаясь, ответила: «А может быть, через два».

Она была симпатичная, спокойная, с яркими голубыми глазами.

Виктор Борисович явился наконец, и сразу стало ясно, что он забыл о своем обещании.

— Понятно,— сказал он, увидев меня.— Люся, дай ему супу.

— Мы уже ели суп.

— У него голодный вид. А чай?

Он сбросил с плеча мешок, и мы стали пить чай, стараясь размочить в нем каменные сухари, которые Виктор Борисович достал из мешка.

— Модус категорического силлогизма,— сказал он.— Который час? Закон тождества и исключенного третьего. Мы опоздали, но они еще не разошлись.

5

Комната была обыкновенная, с окном на двор, с огромным щитом голландской печки, выложенной в глубине, в левом углу, белыми изразцами. В форточку была вставлена труба «буржуйки», над которой колдовал, откалывая лучины большим кухонным ножом, большеглазый молодой человек с вьющейся каштановой шевелюрой — Лев Лунц. С ним мне случалось встречаться в университете. Тусклая лампочка, висевшая без абажура на длинном шнуре, едва проглядывалась в табачном дыму. Из мебели стояли только два стула, маленький стол и узкая железная

кровать, на которой, тесно прижавшись, сидели люди. В этой тесноте кто-то еще и ходил, переступая через ноги и размахивая руками,— беленький юноша в пенсне, с шарфом на шее — Николай Никитин. Казалось, что все говорили сразу, молчал только сидевший за столом, на котором лежала рукопись, плотный человек, лет двадцати пяти, в гимнастерке и английских солдатских ботинках с обмотками. Это был Всеволод Иванов.

Ни появление Шкловского, ни то, что он пришел со мной, никого не удивило. Замолчали, только когда он сказал оглушительным голосом, от которого задрожали стекла:

— Одиннадцатая аксиома!

Потом он стал знакомить меня с будущими «Серапионовыми братьями», каждый раз возглашая вместо имени название моего рассказа.

Меня встретили радушно, рассказ знали. Оказалось, что не Шкловский отнес его Горькому, а Слонимский, который в ту пору был его секретарем. А потом он дал прочитать его — или прочитал — Полонской, Никитину, Лунцу. Они почти не запомнились мне в тот вечер, от которого мое литературное время стало отсчитываться заново, как будто бок о бок с общепринятым григорианским календарем у меня появился свой, особенный, новый.

Впечатление было острым, потому что в психологической картине, быстро развернувшейся перед моими глазами, главным был не частный, а общий интерес — и даже не интерес, а нечто большее — призвание. Как будто в эту маленькую комнату было внесено нечто очень важное для всех находившихся в ней — и даже для трех хорошеньких девушек, сидевших на кровати. Сквозь табачный дым все рассматривали это важное и сложное, стараясь прийти к определенной цели.

Шкловский скоро ушел, а меня, потеснившись, посадили на кровать, как бы пригласив вместе с ними изучать эту сложность — и стремиться к еще не известной мне цели.

Сложность относилась к только что прочитанному рассказу, на который я опоздал. Но скоро стало ясно, что, может быть, не так уж и важно, что я опоздал: предметом, внесенным в комнату, был, в сущности, не рассказ, а место, которое он мог занять (так утверждали одни) и не занял (так утверждали другие) в нашей литературе.

А цель... О, цель выступала на сцену с большой буквы! Это была Цель, удивившая меня тем, что она не только не разъединяла, но как бы соединяла спорящих, точно они заранее сговорились достигнуть ее сообща, не врозь, не заслоняя друг друга, а именно сообща — и это несмотря на то, что спорившие настаивали на прямо противоположных мнениях.

Как все это было непохоже на литературную Москву, звеневшую, шумную, далеко раскатившуюся, зачастую путавшую призвание с признанием! Полярность между этой комнатой и Кафе поэтов, с его молодыми посетителями, красившими губы и рванувшимися все равно куда, лишь бы в сторону от литературных традиций, была беспредельной, необозримой. И нельзя сказать, что я сразу же отказался от Москвы, зачеркнул ее, забыл. Мне еще предстоял тогда выбор. Пусть незаметный, но поэт, я видел Маяковского, был участником Пушкинского семинара Вячеслава Иванова, слушал лекции Луначарского, был у Андрея Белого, который говорил со мной о «Записках мечтателей», как будто я сам был одним из этих мечтателей, избранников человечества. Меня томило нетерпение, честолюбие — и это продолжалось годами.

Вниманию и мягкости моих новых друзей я обязан тем, что стал в маленькой комнате Слонимского своим человеком.

Первый вечер, который я провел в этой комнате, потом смешался с воспоминаниями о других вечерах, не менее интересных. Но это был переход к новой, еще неведомой жизни — вот черта, которую я почувствовал смутно, но верно.

Я возвращался после первого нашего собрания. Петроград, уже опустевший, хотя еще только что пробила полночь, лежал передо мной пустой, геометрически точный. С жадностью юноши, начитавшегося Пушкина, всматривался я в этот город, который полюбил на всю жизнь. Не помню, где я читал, что родина — не там, где родится человек, а там, где он находит себя.

Вечер был такой и город был такой, что нетрудно было представить себе, что именно они, этот удивительный город и этот необыкновенный вечер, соединившись вместе, подсказали эпиграф, который стоит на титульном листе

романа «Города и годы»: «У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди». Но и другая мысль слышалась в отзвуках ненадолго умолкнувших споров.

В одной из своих статей о «Серапионовых братьях» Горький писал, что «серапионы» вместо приветствия произносят: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» Признаться, я не помню, чтобы нам служил приветствием этот девиз. Наверно, это было не так. И все-таки это было именно так.

НОЧЬЮ

Вернувшись поздно и бесшумно пройдя в свою комнату, я разделся в темноте и лег. Меня мучило, что весь вечер я просидел на кровати, не сказав ни слова, а ведь мог бы сказать, и эти молодые писатели сразу поняли бы, что «Одиннадцатая аксиома», которую я написал в три дня, была для меня почти ничто, шутка.

Лязганье дверного крюка, которым запиралась на ночь кухонная дверь, разбудило меня, даже не лязганье, а неясное чувство тревоги, мгновенно соединившееся с этим привычным звуком. Но был еще и звонок, который я как бы оттолкнул от себя во сне.

Почти тотчас же послышались невнятные голоса, а потом в комнату вошел, не стучась, незнакомый человек, и свет карманного фонаря мигом обежал потолок, стены, меня, лежавшего в постели.

— Ну, встаньте, оденьтесь,— сказал человек с фонарем.

Он повернул выключатель, и лампочка зажглась,— значит, было еще не поздно — в два часа электричество выключали.

Я встал и оделся. Он ждал. У него было обыкновенное, молодое лицо, может быть немного усталое. Видно было, что ему не очень хотелось ночью вламываться в чужую квартиру. Или повод, по которому он все-таки вломился, не казался ему существенно важным?

Он пришел не один, в кухне с Юрием остался еще кто-то, предъявивший ордер на обыск.

Я не чувствовал ни подавленности, ни страха. Правда, на сердце было тяжело и хотелось, чтобы они поскорее ушли.

Молча помогал я чекисту просматривать мои книги, объяснял (когда он остановился на страницах, исписанных по-арабски), что учусь в Восточном институте, подвинул к нему стопку рукописей, которые он, едва взглянув, отстранил. Обыск был поверхностный, небрежный. Он отложил только «Анархизм» Борового.

— Это ваша книга?

Я ответил, что полка с книгами стоит в комнате, которой мы не пользуемся, потому что ее нельзя отопить. Книги принадлежат не мне, а Альберту Сыркину, работнику ЧК. Переводясь из Петрограда в Москву, он оставил у нас свои книги. Среди них были и «Анархизм» Борового.

Второй чекист оказался постарше, лет тридцати, черный, с интеллигентным лицом. Когда Юрий спросил его с негодованием: «А в чем, собственно говоря, дело?» — он ответил с легким грузинским акцентом:

— Весьма вероятно, что в скором времени ваше любопытство будет удовлетворено.

В большую, холодную комнату пошли все вместе — Лена, спокойная, но с красными пятнами на щеках, Юрий, два чекиста и я. Лидочка, в халатике, с длинной косой, встревоженная, бледная, показывалась и исчезала. У Тыняновых она считалась «выдающейся специалисткой по беспокойству». На этот раз она беспокоилась за меня, и это почему-то внушало мне прямо противоположное, успокоительное чувство. Впрочем, я уже почти не волновался. Пока мы шли в холодную комнату, ко мне вернулась знакомая уверенность, что со мной не может случиться ничего плохого.

Полка была самая обыкновенная, а книги — под стать тем, которые мы с Алькой Гирвом таскали под руководством старухи Блюм из книжного склада Псковского Совдепа: Карл Каутский, Франц Меринг, Плеханов и — это было странно — два толстых, прекрасно изданных тома памяти Анны Павловны Философовой, видной общественной деятельницы шестидесятых — семидесятых годов. Но попадались меньшевистские и эсеровские брошюры; старший чекист аккуратно откладывал их, и собралась довольно высокая стопка. Очевидно, он намеревался взять их с собой.

Свет погас, он побродил фонариком по трем нижним полкам, которые еще не успел просмотреть, а потом вежливо спросил Лену:

— Не найдется ли лампы?

Лампа была, но Лена мстительно ответила:

— Нет.

Я предложил принести из своей комнаты коптилку, но чекист отрицательно покачал головой.

— А чем вы можете доказать, что эти книги принадлежат товарищу Сыркину?

Внутри у меня все-таки что-то дрожало, но я ответил ему тем ровным голосом, которым всегда говорил, когда волновался:

— Ничем.

Он усмехнулся.

— А вы ему напишите. Ведь у вас, я полагаю, есть его адрес?

— Пройдемте,— вместо ответа сказал чекист.

Лидочка снова появилась в дверях и исчезла. Она не могла найти себе места. Чекист фонариком осветил передо мной коридор, и мне смертельно не захотелось идти перед ним по этому коридору. Мы вернулись в мою комнату, я зажег коптилку, и при ее вздрагивающем свете мы остались одни.

— Возьмите бумагу и пишите,— сказал он.

Я повиновался. Он стал диктовать, и с каждым словом тревога таяла, растворялась, уходила в прошлое, а жизнь, возвращаясь, становилась прежней — такой, как до разбудившего меня лязганья дверного крюка.

Это была подписка о невыезде. Я удостоверял своей подписью, что без особого распоряжения из Петрограда никуда не уеду.

— Дата и подпись.

Он спрятал подписку, взял перевязанные книги и вышел. Теперь в кухне были уже не только Тыняновы и младший чекист, но и управдом Виноградов, который, очевидно, был обязан присутствовать при обыске, но задержался и, войдя, замер у двери с угрюмым, ошеломленным лицом.

Когда чекисты ушли и все собрались в моей комнате, было единодушно решено, что донос на меня написал Виноградов.

Занимаясь историей русского языка, я сказал, что, судя по говору, он принадлежит к северорусскому типу. Он помрачнел и ответил:

— А вот я тебе еще покажу, кто из нас «тип».

Конечно, это была только догадка.

Весной, когда я решил поехать на каникулы в Псков, Юрий обратился к Яну Озолину, заместителю председателя ЧК, своему товарищу по гимназии, и подписку немедленно сняли.

ТРЕВОГА

1

Это были дни, когда и старшие Тыняновы в Ярославле, и младшие в Петрограде были встревожены отсутствием известий от старшего брата Юрия, Льва Николаевича, военного врача, служившего в конном корпусе Гая.

В противоположность Юрию он был человеком не только регулярным, но и регулятивным, то есть вносящим порядок в любое порученное ему дело. Он жил в атмосфере правильного хода вещей и, уж конечно, не мог забыть о том, что в Ярославле живет его молодая жена с дочкой, родившейся после его отъезда.

Но пошел уже третий месяц, как правильный ход вещей нарушился. Поздней осенью мы получили лаконичное, как всегда, но спокойно-бодрое письмо, и никто не ожидал, что оно окажется последним.

Ссылаться на случайности полевой почты больше не приходилось, и, постепенно нарастая, ко всему происходившему в доме стала присоединяться тревога. В Ярославле она только что не сводила родных с ума, в Петрограде — отступала перед энергичным натиском Лены, утверждавшей — и это успокаивало,— что Лев Николаевич жив и здоров, потому что иначе его судьба давно была бы известна...

Но Лидочка все-таки поплакивала, прячась, а однажды я, незамеченный, видел, как она сердилась на слезы, мешавшие ей накрывать на стол. Слезы непослушно катились по ее нежному лицу, она с досадой стряхивала их, а они все катились...

Это и была минута, когда я решил предложить ей поехать со мной в Лесное, в коммуну, к моим псковичам. Лена горячо поддержала меня.

— И пусть за ней кто-нибудь поухаживает.— Это было сказано шепотом и наедине.— Господи, восемнадцать лет!

Я сказал, что беру эту честь на себя. Но долго еще отказывалась Лидочка: надо готовиться к зачету по латыни, не хочется пропускать лекцию Щербы...

— Зачем же пропускать? Мы поедем в воскресенье!

Да, но вернемся только в понедельник утром, значит,— прямо из Лесного придется ехать (или идти) в университет. И Брукпер будет ждать.

— Ах, Брукнер,— не без удивления сказала Лена.— Тем лучше. На свидания надо опаздывать.

Ах, боже мой, это не он, а она. Леля Брукнер, которая просила ее одолжить конспекты.

— Подождет твоя Брукнер.

И Лена рассказала — не в первый раз — о том, как Юрий все уверял ее, что у него некрасивая младшая сестра, и как в Ярославле она встретила хорошенькую застенчивую девочку, с маленькими ножками, носившую почему-то огромные туфли, как она переодела ее, причесала по-своему, словом, преобразила.

Наконец мы уговорили Лидочку, и эта поездка запомнилась, во-первых, потому, что между нами уже были дружеские отношения, которыми я в тот вечер легкомысленно пренебрег, а во-вторых, потому, что вернувшийся накануне с польского фронта Владимир Гей рассказал мне о судьбе корпуса Гая.

2

Мое задевшее Лидочку поведение заключалось в том, что едва мы появились в коммуне, я оставил ее в компании братьев Гординых и Жени Береговой, а сам убежал с одной островичкой, Зиной Л., в лес — домик, в котором расположилась коммуна, стоял па дороге в Сосновку, недалеко от леса. Среди островичек были хорошенькие, а ту, которая пошла со мной в лес, можно было, пожалуй, назвать красивой, если бы все в ней не было медлительным, тяжеловатым. Подстриженные волосы, причесанные на прямой пробор, лежали плотно, лицо было смуглое, в коротковатой фигуре, в крепко ступавших ногах тоже была эта не нравившаяся мне тяжеловатость. Но что все это значило для меня, чуть ли не каждый вечер проклинавшего всех женщин в мире за то, что они мне еще не принадлежат? В лесу была светлая темнота от снега, от мартовского неба и не

очень холодно, а мне даже и жарко. Она сразу же позволила обнять себя и ответила на мой поцелуй откровенно, смело. Я не мог справиться с волнением, мне мешало, что мы почти незнакомы, а когда удалось все-таки справиться, все равно невозможно было на что-то решиться в лесу, только напрасно кружилась голова и немели разгоревшиеся губы. Несколько раз Зина сказала: «Довольно», но я все не отпускал ее.

— Ничего же нельзя,— сказала она спокойно, без нежности и, отведя мои руки, твердо ступая, пошла по глубоко протоптанной тропинке. Ошалевший, я догнал ее и снова пытался обнять. Она отстранилась.

Нас встретили шумно, насмешками, я отшучивался, неудачно острил, был зол и старался скрыть раздражение. Зина молчала, и хоть бы оттенок румянца проступил на смуглом лице...

Веселый, сложившийся без нас вечер был в разгаре. Шумели, хохотали, и все, к моему удивлению, вертелось вокруг Лидочки, кажется, даже не заметившей, что на добрых полтора часа я куда-то ушел с Зиной. Сразу было видно, что она понравилась — в особенности Саше Гордину, который в этот день был «Матрешкой» и выполнял свои хозяйские обязанности с молодецким размахом. «Буржуйку» в честь Лидочки он раскалил так, что, когда коптилки были погашены, она загорелась в слабом утреннем свете, как раскаленный черно-красный уголь. Потом Саша затянул: «Цыганка гадала...» — и все дружно расхохотались, это была его любимая, всем надоевшая песня. Все-таки спели и «Цыганку», а потом «Лучинушку», как-то по-своему, не как в Пскове. Каждую строфу начинал мужской голос, а потом все дружно подхватывали припев. Лидочка была весела, оживлена, хотя и не пела, стесняясь своего детского хрипловатого голоса. Ей нравилась коммуна, и она была тронута, что ее приняли с такой теплотой. Кто-то даже предложил ей перевестись в Политехнический, и по этому поводу тоже долго острили и смеялись. Два-три раза она мельком посмотрела на мою островичку — и в этом взгляде, который она тотчас же перевела на меня, мелькнуло простодушное удивление.

Потом пришел Вовка Гей, который отсыпался наверху, в холодных комнатах, под полушубками и одеялами, и я сразу же невольно стал думать о том, как устроить, чтобы Зина пошла со мной в эти комнаты — незаметно, когда все улягутся на ночь.

Накануне вся коммуна — и Гей, только что вернувшийся с фронта,— была на «Пигмалионе» с Надеждиным и Грановской, и Лидочка с интересом слушала завязавшийся спор, в который я сразу же вмешался — но не потому, что он интересовал меня, а потому, что мне надо было скрыть, что я раздвоился и существую в двух воплощениях. В одном — я доказывал, что Шоу не знал, как закончить пьесу, потому что боялся банальной развязки. А в другом — смотрел на редко улыбавшуюся молодую женщину (она была замужем и развелась), которую только что целовал без памяти и которая позволила бы сделать то, что хотели мы оба. «Может быть, под утро, когда все устанут, уснут?» — лихорадочно подумалось мне. Потом что-то переломилось, ночь прошла, за окнами разгорелся еще несмелый рассвет, все уже не веселились, а старались веселиться, и Женя Берегова — так бывало и на псковских вечеринках — первая почувствовала это. Показав глазами на Лидочку, немного побледневшую, она стала убирать со стола. Люба сказала, как всегда, прямодушно:

— Ну, как говорится,— мальчики направо, девочки налево.

Теперь в комнате были только я и Гей, уплетавший свою порцию чечевицы, закусывая ее хлебом и запивая остывшим чаем. Другие входили и выходили, а Зина медлила... «Медлит»,— подумал я с бешено забившимся сердцем. Женя и Люба громко говорили, смеялись в соседней комнате, и той и другой хотелось уступить Лидочке свою койку. «И будет ждать?» Сердце стучало, удары срывались и повторялись. Я подсел к Гею, я стал расспрашивать его о положении на польском фронте.

— Ну, какое же положение? Отступили,— нехотя сказал он.

— Ты был в пехоте?

— Да.

— Послушай, а ты не встречался с кем-нибудь из конного корпуса Гая?

Вовка поднял глаза, и только теперь я заметил, как он изменился: похудел, возмужал, лицо потемнело, глаза смотрели уверенно-жестко, не мигая.

— А почему ты спрашиваешь?

Я объяснил. Он помедлил, отодвинул тарелку, закурил.

— Поляки прижали его к немецкой границе. Нам удалось прорваться. А корпус Гая... Плохо, брат, с корпусом Гая.

...Трамвай то и дело останавливался, пожилая кондукторша успокаивала: «Что ж поделаешь, если тока нет. Вот подбросят в топку пару поленьев...»

Кажется, Лидочка не сердилась, но все-таки дала мне понять, что, раз уж я так долго уговаривал ее поехать со мной, невежливо было оставить ее и убежать в лес с островичкой.

Мы простояли на Первом Муринском полчаса, слезли и пошли пешком. Это было глупо — спрашивать, хорошо ли Лидочка провела время. Но я все-таки спросил, и она ответила язвительно: «Очень. А вы?»

Но что все это значило в сравнении с тем, что я услышал от Вовки! Я смотрел на доброе лицо Лидочки с широковатыми скулами, немного усталое, но уже разрумянившееся под ветром на Литейном мосту. Она потуже затянула шейный платок, и показался маленький подбородок, над которым я постоянно подшучивал: «Подбородок пирамидочкой», рифмуя «Пирамидочку» с Лидочкой.

Сказать? Но об этом нечего было и думать! И потом, все ведь еще неизвестно, неясно. Лев Николаевич мог попасть в плен, он врач, его не тронут.

...Юрий завтракал в кухне, торопясь на работу. Мы поговорили негромко, и он сказал, побледнев и нахмурясь:

— Лидухе — ни слова.

УСТНАЯ ПОРА

1

Никак не могу сообразить, кто первый предложил назваться «Серапионовыми братьями». Логически рассуждая, должен был бы сделать это романо-германист Лунц. Но решительно не помню, так это было или не так. Помню только, что у меня на столе лежала кем-то принесенная книга в рваной светло-зеленой обложке — «Серапионовы братья» Гофмана в дореволюционном издании «Вестника иностранной литературы». Кто-то (совершенно забыл кто) взял эту книгу в руки и воскликнул:

«— Да вот же! «Серапионовы братья»! Они тоже собирались и читали друг другу свои рассказы!» — писал в своих воспоминаниях о Лунце Михаил Слонимский...

О «Серапионовых братьях» написано много книг, ста-

тей. Предсказание Горького сбылось: «Вы, Серапионы,— история литературы».

Но, кажется, никто еще не пытался рассказать о нашей «устной поре», когда казалось, что не для нас Гутенберг некогда научился изготовлять из металла выпуклые, как бы отраженные в зеркале буквы. Марина Цветаева пытается изобразить Наталию Гончарову «до холстов». И попытка удается. Что представляет собой жизнь художника до той минуты, когда его рука берется за кисть? «Благоприятные условия»? Их для художника нет. Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество... перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни — самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды ожесточающей, так благожелательства размягчающего. Жизнь — сырьем — на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так молитва мореплавателя: «Пошли мне, бог, берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять».) («Наталия Гончарова».) Такие-то люди и собирались каждую субботу в маленькой комнате Слонимского в Доме искусств — люди с перемолотой, снявшейся с мели, устоявшей перед шквалами жизнью.

То, что я знал только понаслышке, само пришло ко мне — не в голой сути, а в живых людях, подобных которым я никогда не встречал. Каждый из них был для меня событием. Но только одно событие, происходившее не в прошлом, а в настоящем, хотя и «до холстов», но на моих глазах, занимало меня. Они, как и я, поставили свою жизнь на карту, и этой картой была литература. «Каждый из них дорог другому как писатель и как человек,— писал Лев Лунц.— В великое время, в великом городе нашли мы друг друга,— авантюристы, интеллигенты и просто люди,— как находят друг друга братья. Кровь моя говорила мне: «Вот твой брат!» И кровь твоя говорила тебе: «Вот твой брат!» И нет той силы в мире, которая разрушит единство крови, разорвет союз родных братьев».

2

Ни тени случайности не было в этой затянувшейся на годы встрече десяти молодых людей,— самому старшему было 29, самому младшему — 19. Они соединились, по-

тому что были необходимы друг другу. Но для меня эта отмеченная временем, как при вспышке магния, встреча была еще и откликнувшейся, долгожданной. Голоса, доносившиеся из комнаты старшего брата,— я снова услышал их. В прямодушии, в постоянной душевной занятости, в отчете перед собой, в бескорыстии спора.

Если бы я мог совершить путешествие во времени и вернуться назад, я бы выбрал голодную зиму двадцатого года, споры, в которых не было ничего, кроме стремления добраться до правды, тесную комнату в Доме искусств, полуоткрытую, чтобы не задохнуться от табачного дыма. Ни зависти, ни борьбы честолюбий. Открытость, желание добра.

3

То, что произошло «до холстов», должно было найти свое воплощение в холстах. Пережитое было нагрянувшим, обрушившимся, битком набитым случайностями, иногда счастливыми, часто роковыми. Жизненный опыт был неслыханно, беспредельно богат.

Сомерсет Моэм в автобиографической книге «Эшенден, или Секретный агент» рассказывает о том, как он с профессиональной целью подвергал себя рискованным испытаниям. Он поступил в «Интеллидженс сервис» и изучал себя, выбирая то, что могло когда-нибудь пригодиться для повести или рассказа. Он выполнял граничившие с подлостью ответственные поручения. Как ни странно, но, читая эту книгу, я вспомнил Ваньку Пестикова из 144-й школы, который намеренно действовал против совести, утверждая, что принуждать себя к злу полезно для развития воли.

Те события, которые произошли в жизни Иванова, Зощенко, Федина, Полонской, не были избраны с профессиональной целью.

Иванов: «Учился в сельской школе и — полгода — в сельскохозяйственной. С 14 лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — дервиш Бен-Али-Бей (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал). Ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирке, даже борцом» («Литературные записки», Петроград, 1921, №3).

Красногвардеец, он бежал после взятия Омска чехами в Голодную степь, скитался от Урала до Читы всю колчаковщину, а потом был мобилизован и служил наборщиком в передвижной типографии Наштаверха. Партизаны, захватившие поезд, не расстреляли его только потому, что он отказался встать на колени, чтобы помолиться перед расстрелом. «Нет, мол, на колени не стану и молиться твоему богу не буду — не верю. Стреляй».

Партизаны оказались раскольниками, начался спор о вере, и расстались друзьями.

«Приезжай,— говорил, обнимая меня, Селезнев.— Приезжай ко мне на лето, Сиволот (Всеволод). Больно ты материться можешь и в бога не веруешь, весело, приезжай...»

В Новониколаевске его арестовали — перепутали в Чека с другим Ивановым, редактором омской белогвардейской газетки. Под утро, когда арестованных вели на расстрел, он от испуга забыл надеть шапку, и конвойный остановил колонну. «Ты пошто без шапки?» Объясняю. Без шапки, говорит, нельзя... Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на тротуар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку: «Ну, типерь пошли».

Но прохожие успели столпиться, и среди них оказался комиссар, встречавший Иванова в Омске, который объяснил конвойному, что «его нельзя расстреливать, потому что он совсем большевик». Солдату, должно быть, надоело слушать. Докурил папироску и сказал: «Наше дело разве судить? А раз тебе его надо — бери».

Если бы Иванов не забыл надеть шапку, когда его вели на расстрел, мы не прочитали бы «Тайное тайных».

«В 13-м году я поступил в университет,— пишет Зощенко.— В 14-м — поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист,— поехал добровольцем на войну. Офицером был...» (Ему еще не было двадцати двух лет, когда, многократно награжденный за храбрость, он дослужился до звания штабс-капитана.) «А после Революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игро-

ком, конторщиком, актером, был снова на фронте добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после Революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это потому, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивее.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

Арестован — 6 раз.

К смерти приговорен — 1 раз.

Ранен — 3 раза.

Самоубийством кончал — 2 раза.

Били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а просто так — не везло...

...По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?»

Так он писал в «Литературных записках» в 1922 году.

Если бы в этом (далеко не полном) перечне он не научился различать явления, если бы не поднялся он над ними с несравненным талантом человечности, мы не прочитали бы его грустно-смешных рассказов, без которых невозможно вообразить литературу двадцатых годов.

Не стану рассказывать о том, как «не выбирали» свои биографии Федин, Тихонов, Слонимский. Но уж, без сомнения, их предыстория ничем не напоминает «до холстов» русских писателей XIX века.

Мне впору было бы почувствовать себя Гулливером в стране великанов перед испытаниями, через которые прошли эти люди, перед ошеломляющей новизной этих испытаний. Ничуть не бывало! У меня не было «до холстов». С восьми лет я вижу себя с пером в руке. Совсем другие фантасмагории — не вынужденные, а произвольные — интересовали меня.

4

На обложке рукописи — большой, во всю страницу, карандашный рисунок. Моряк в надвинутом на лоб берете, с трубкой в зубах сидит за столом, на котором стоит

бутылка. У него задумчивое, мрачное лицо. Короткий меч висит на длинном ремне из-под старинных доспехов. Так одевались конкистадоры. Рисунок принадлежит Тынянову. Таким он нарисовал моего героя. На один из вопросов анкеты Дома литераторов (1924) он ответил:

«В жизни искусства» поместил несколько статеек под псевдонимом Ю. Ван-Везен (об Эренбурге, о кино, о герое романа и т. д.) Псевдоним Ван-Везен возник следующим образом: Каверин просил у всех звучного голландского имени для рассказа. Он выдумал — Ван-Донген. Я посоветовал — Ван-Везен. Ему понравился, но имя я взял себе. У Каверина есть рассказ (ненапечатанный) о Ван-Везене, что-то вроде Летучего Голландца».

...Капитан Ван-Везен должен умереть, он безнадежно болен. Между тем Смерть устала от собственных изображений скелета с косой и решает в этот раз явиться на бриг в человеческом виде. Но она стара, с годами она стала рассеянной, беспечной. В образе седого, старомодного господина, накинув на плечи крылатку, она является на бриг, забывая, что он превратился в человека, а люди — смертны. И Ван-Везен не узнает смерть, несходство обманывает. А когда любезный господин в крылатке предлагает ему отправиться туда, откуда еще никто не вернулся, он убивает его — и перед читателем приоткрывается тайна Летучего Голландца.

С той минуты как старомодный незнакомец зашит в саван и брошен за борт, смерть покидает бриг. Без устали носится он по морям и океанам. Встреча с ним предвещает бурю, кораблекрушение, гибель. О нем складываются легенды: подобно Фаусту, он осужден за то, что не верил в бога. Его тайну пытаются разгадать Вальтер Скотт, Гауф, Гейне. О нем пишут поэмы, романы, рассказы.

...Были неясности, с которыми мне не удавалось справиться, как я ни старался: смертен не только капитан Ван-Везен, все люди смертны. Стало быть, каждый из нас после гибели незнакомца в крылатке должен обратиться в свифтовского стульдбруга, сварливого, угрюмого, завистливого старика, которого уже после первой сотни лет все начинают презирать и ненавидеть.

У меня была надежда, что «серапионы» на одной из наших суббот помогут мне найти «мотив локальности», который ограничит неизбежность превращения всего человечества в стульдбругов. Но надежда была непрочная.

Я знал, что помочь мне мог только один из «братьев» — Лев Лунц.

Федин в книге «Горький среди нас» рассказал о том, как начался многосторонний, не поссоривший нас спор, под знаком которого прошли субботы 1921 года:

«Мой приход к Серапионам сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии, смеха, веселости, потехи, и все это с виду было направлено на краеугольные устои ее святейшества — литературы!.. Тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это манера. Что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях, как о «вещах». Вещи «делались». Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо... Для делания вещей существовали «приемы». Для приемов имелось множество названий. Но можно было объясниться и без названий, употребляя общие понятия и говоря, что вещь сделана в приемах Гоголя, в приемах Толстого. Отсюда само собой было недалеко до Гоголя и рукой подать до Лескова, до тех шуток и веселых издевательств, в которых Гоголь и Лесков оказывались — о, ужас,— в одной куче со всеми нами. Как мог я перенести подобное? На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против «игры» в защиту «серьезности». Удар принял Лев Лунц...»

Спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы. Он был далеким отзвуком традиционной розни между «западниками» и «славянофилами», даром что оба спорщика были убежденными интернационалистами. Оттенок сходства, впрочем, можно было отнести только к позиции Лунца.

Впоследствии в статье «На Запад!» он развил свои соображения, с которыми я был тогда совершенно согласен. И мне казалось, что «мы фабулы не знаем и поэтому фабулу презираем». И я думал, что надо заниматься композицией у Достоевского или Толстого (и даже написал реферат о композиции «Бесов»), а не проблемами бога и черта, добра и зла. И я не сомневался, что, вопреки тонкой психологии, изысканному стилю, характерным персонажам, современная проза скучна, скучна!

«...На днях прочел у Серапионов большую статью «На Запад!»,— писал Лунц Горькому в декабре 1922 года.— Пря произошла потрясающая. Едва не побили меня. Это

было, кажется, наше самое интересное заседание. Я проводил в статье ту мысль, что русская проза сейчас очень скучна. Все владеют языком, образом, стилистическими ужимками и щеголяют этим. Но это только доспехи. Главное, что необходимо сейчас,— это занимательность и идея, особенно первая. То и другое доступно только при большой и хорошо развитой фабуле. Я считаю, что разрушение русского романа произошло не потому, что «сейчас роман невозможен», а потому, что все слишком хорошо владеют стилистическими мелочами и под ними тонет действие, если оно и имеется вообще (так у Всеволода). «Голый год» Пильняка, по-моему, очень характерное и возмутительное явление. Это не роман, а свод материалов. Фабула требует долгой учебы, многих опытов и эскизов. А все, в том числе и большинство Серапионов, не хотят работать, догадываясь о почти верной — вначале — неудаче, и движутся по линии наименьшего сопротивления. Поэтому я зову братьев учиться фабуле у русских романистов, но еще настойчивее призываю на Запад, где традиция романа сильнее и связанней... Меня здорово «облаяли», особенно за «западничество». Но я держусь за него крепко. Полагаю, что русское скифство — идеология провинциалов, которые плюют на столицу и гордятся своим провинциализмом. Гордиться нечем...»

Горький напечатал статью «На Запад!» в журнале «Беседа», № 3 за 1923 год.

В наши дни (1974 г.) ясно, что мы с Лунцем были неправы, но не потому, что были правы наши противники, утверждавшие, что «все средства хороши и они во всяком случае хороши в «Пиковой даме» и в «Портрете», хотя эти повести — в прямом родстве с якобы бессюжетной прозой» (Федин. «Горький среди нас»).

В русской литературе вопрос о том, «как писать», неотвратимо связывался — и связывается до сих пор — с вопросом о том, «как жить». Обе стороны не задумались над причинами этого явления, а причины — глубокие и кроются в сложной взаимосвязи между письменностью духовной и светской (Д. Лихачев). Наша литература всегда была школой нравственного самопознания, и занимательность — вольно или невольно — всегда играла в ней второстепенную роль. Да и возможно ли то «переливанье крови», на котором настаивал Лунц? У русской литературы и западноевропейской разные группы крови, и операция едва ли привела бы к благополучному концу.

За неделю до чтения «Ван-Везена» у «серапионов» я принес рукопись Лунцу, а в субботу зашел к нему — он был болен, лежал с градусником под мышкой и не мог прийти на очередное собрание. Он жил в «обезьяннике» — так новые обитатели дома окрестили первый этаж, в котором квартировала до революции елисеевская прислуга. Комната была полутемная, неприбранная, сырая, на скособочившемся столе лежали в беспорядке бумаги и книги. Лунц сидел откинувшись на кровати, прикрытый пальто, небритый, бледный, и, когда я вошел, поздоровался почти машинально, не сразу опустив на колени старинную книгу в порыжевшем кожаном переплете. В комнате пахло махоркой.

— Зощенко заглянул и накурил.

— Что с тобой?

— Опять температура.— Он вздохнул.— Маленькая, но велят лежать. Хочешь? — радушно прибавил он. На стуле возле кровати лежали высыпавшиеся из бумажного фунтика кубики сушеного хлеба.— Женя насушила и принесла. (Женей звали младшую сестру Лунца.) Бери, не стесняйся.

Я взял кубик.

— А ты?

— Мне не хочется.

— Что ты читаешь?

Он вынул градусник, взглянул на него и, кажется, с трудом удержался, чтобы не швырнуть в угол. Потом двинул кулаками подушку, чтобы поднять ее повыше, и поставил перед собой раскрытую книгу.

— Вот, слушай,— сказал он торжественно.— «Ночью над кораблями Васко да Гама появляется призрак, который предсказывает морякам неизбежную гибель. «Кто же ты?» — дерзко крикнул я, прерывая его мрачные заклинанья...— «Я тот неприступный мыс, который вы, португальцы, называете мысом Бурь. Я был великаном... Мы вели войну против богов, и я громоздил гору на гору, чтобы добраться до неба. Мой флот пересекал моря и моря, чтобы сразиться с Нептуном».

— Это Сервантес?

— Дубина! Это — Камоэнс, величайший португальский поэт.

Я откровенно сознался, что слышу о нем впервые.

— Впрочем, постой! У Жуковского есть поэма «Камоэнс».

— Да. Перевод из Фридриха Гальма. Посредственный, но с одной хорошей последней строчкой. Помнишь?

— Нет.

— Эх ты! «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». И любопытно, что Жуковский считал эту мысль «математически справедливой». Математически! В наше время это звучит забавно. Впрочем, черт с ним. Перед Камоэнсом он просто собака. Камоэнс был поэт и солдат. Он стал солдатом, потому что был поэтом. Он любил,— с силой сказал Лунц.— Умел сражаться и мстить.

И он снова стал читать, сперва по-португальски, почти про себя, а потом свободно переводил на русский.

— «Но я влюбился в Фетиду, одну из нереид, игравших на берегу океана. Мне казались ничтожными в сравнении с ней самые прелестные богини Олимпа. Однако напрасно я старался понравиться ей. Ее страшил мой рост, который я проклинал...»

Казалось, это была импровизация, он ни на мгновение не останавливался в поисках слова. Таким я видел его впервые. Большая кудрявая голова ушла в поднявшиеся плечи. Он был уже не бледен, лицо окрасилось слабым румянцем, ямочки на щеках обозначились болезненно резко. Мне захотелось заглянуть в его широко открытые голубые глаза, но он как будто прятал их от меня, стыдясь своего восхищения. Он даже не вспомнил о моем рассказе, хотя знал, как важно для меня его мнение. «Увлекшись своими «Лузиадами», он забыл обо мне»,— думал я грустно, не только не сердясь на него, но чувствуя, что мне хочется чем-то помочь ему, хотя все, кажется, было хорошо, кроме маленькой температуры, которая пройдет сегодня или завтра.

«А когда я, наконец, решился прибегнуть к насилию, боги беспощадно наказали меня. Необыкновенная перемена совершилась во всем моем существе. Тело превратилось в громаду земли, кости в утесы. По воле неумолимой судьбы я превратился в тот страшный мыс, который вы вскоре увидите».

«Он далек от меня,— продолжал я думать.— Мы — единомышленники, но Зощенко и Слонимский гораздо ближе к нему, чем я. Он любит их, а меня... Ну да, и меня, но с оттенком снисхождения. Еще бы! Он говорит на пяти языках, его считают самым способным студентом на романо-германском отделении».

И мне вспомнилось, как однажды я провожал Акима

Львовича Волынского, знаменитого искусствоведа, почетного гражданина города Милана (получившего это звание за книгу о Леонардо да Винчи), мы заговорили о Лунце, и он сказал, остановившись и насупив свое изрезанное бесчисленными морщинами горбоносое лицо: «Это юноша гениальный».

— Прости, Левушка, там ребята, должно быть, уже собрались...

Он посмотрел на меня непонимающим взглядом и, хлопнув себя по лбу, закричал:

— Боже мой, я просто скотина!

Мой «Ван-Везен» был раскрыт и торопливо перелистан.

— Мысль прекрасная, и попытка объяснить легенду смелая. Конечно, ее придумали пираты. Шестнадцатый век, конкистадоры. А может быть, даже пятнадцатый. О Летучем Голландце писали сотни раз. Ты пишешь еще плохо, но лучше меня,— весело сказал Лунц, схватив мою тетрадку и размахивая ею, как флагом.— Мне нравится, что одновременно с историей Летучего Голландца ты написал о впечатлении, которое она произвела на великих людей искусства. Можешь прибавить к ним Вагнера. Ты знаешь, что Вагнер написал оперу «Летучий Голландец»?

— Нет.

— Должно быть, прескучная. Что касается развязки... Возраст — понятие относительное. Я знаю людей, которым по сорок лет, а они уже стульдбруги. Смерть — явление локальное. Когда человек умирает, он не думает о неизбежности смерти для всего человечества. Твой незнакомец в крылатке — смерть Ван-Везена, а не моя или твоя. Вообще говоря, развязки у тебя не удаются. На этот раз удалась! Но ты приписываешь этот рассказ какому-то сумасшедшему архивариусу. Вот это, по-моему,— к черту! Нечего извиняться. Мы ведь отвечаем за себя? — спросил он, протягивая мне руку.— Отвечаем? Ну вот...

5

«Серапионы», которым я в тот вечер прочел рассказ, согласились с мыслью Лунца о локальности смерти. С этого и началось обсуждение, но тут же оно и кончилось. Федин встал, обнял меня за плечи и сказал ласково:

— Эх, выдумщик милый.

И предложил пойти в кабачок Гулисова на Невском.

— Там и обсудим!

Гулисов, в недавнем прошлом адвокат, мечтал, чтобы его кабачок стал новой «Ротондой», знаменитым парижским кафе, в котором собирались писатели и художники. Полноватый, с черными армянскими глазами, в прекрасно сшитом костюме, он встретил нас приветливо, устроил в уютном уголке, болтал, улыбался... Не так уж много осталось в памяти от этого вечера, но то, что осталось, было связано с Фединым, с его легкостью, изяществом, свободой. Он и прежде нравился мне, напоминая чем-то моего старшего брата. Высокий, худощавый, красивый, он часто оглядывался, скользил по лицам, широко открывая светлые глаза. Он вглядывался в собеседника, начиная говорить, и тогда глаза становились еще шире, загораясь вниманием. Перед ним как будто ежеминутно открывался кругозор,— и мне в первые дни знакомства всегда хотелось попасть в этот кругозор, но не намеренно, а как бы случайно.

Не помню, о чем он говорил, да это не так уж и важно. К Ван-Везену не возвращались, но когда, дурачась, стали придумывать прозвища, он не задумываясь предложил называть меня «брат Алхимик».

— Бог знает что творится в твоей голове,— с нежностью сказал он.

Вот тогда-то я и увидел впервые, как наливают десять рюмок подряд одним плавным движением руки — и это Федин проделал вкусно, плавно, легко.

Кабачок, устроенный в подвале, был полуосвещен, столики огорожены барьерами. Откуда-то доносились приглушенные голоса, отсветы скрытых цветных лампочек бродили по лицам.

Мы разошлись поздно, в третьем часу. Но Федин не отпустил меня.

— О брат Алхимик, не могу ли я пригласить тебя заглянуть ко мне,— сказал он, когда мы вышли из кабачка на Невский, в сырую мартовскую ночь.— Мне пришла в голову магическая мысль. Ты носишь на голове, прошу меня извинить, какой-то неопределенный предмет, более пригодный для вытирания ног. Я хочу сделать тебе подарок.

Он жил тогда (если я не ошибаюсь) где-то вблизи Разъезжей, в одной квартире с В. Я. Шишковым. На цыпочках

мы прошли в его комнату, он открыл (чуть пошатываясь — выпито было немало) гардероб, и ко мне, крутясь в воздухе, полетели шляпы. Я выбрал широкополую, с круглой, низкой тульей, самую разбойничью. Еще существовал плащ с львиными застежками, который я упорно называл крылаткой. Эта шляпа вполне соответствовала ему, и я долго носил ее, вопреки удивленным или недоумевающим взглядам прохожих.

...Но, может быть, память изменяет мне? Может быть, между летящей по воздуху широкополой шляпой и десятью рюмками, налитыми одним плавным движением руки, прошли год или два? Не знаю, не знаю... Ни зависти, ни борьбы честолюбий, ни закрытости, ни пропасти между мыслью и словом. Только незримая, без устава и правил, протянутая рука, нить дружества, желание добра друг другу.

РАЗЛУКА

1

Больше мы не целовались с Анечкой М. на Университетской набережной — между заиндевевшими штабелями. К весне штабеля исчезли, и никто не мешал нам целоваться в моей комнате. Не знаю, чем кончились бы эти отношения, если бы однажды, за столом у Тыняновых, Анечка не назвала чайное блюдечко — «блюдкой». Юрий переспросил с интересом: «Ах, блюдко?» Смешливая Лидочка под каким-то предлогом выскочила из столовой. И когда Анечка ушла, Тыняновы стали безжалостно травить меня этим «блюдкой». Я отбивался. Подумаешь, ну и блюдко! Может быть, у них в семье принято это слово? Пришлось утаить, что вместо «геркулесовы столбы» Анечка говорит: «геркулесовы столбцы», а вместо «нести околесицу» — «нести колесницу». Но Юрий и смеялся и морщился. Он угадал за «блюдкой» нечто большее, чем принятое в семье неудачное выражение. И не ошибся.

Случалось, что и Анечка звала меня к себе, но я уклонялся. Она жила в одной комнате с кудлатенькой сестрой, и, хотя кудлатенькая покровительствовала нам, нечего было и думать о поцелуях.

Но вот однажды обе сестры так настоятельно стали приглашать меня, что пришлось согласиться. Мы побол-

тали, а потом заглянула мама — толстая, с закинутой маленькой головкой, которой она беспрестанно, по-птичьи вертела,— и позвала нас в столовую. Папа, маленький, тощий, щегольски одетый, с дряблыми щечками, расставив ножки, стоял в столовой. На меня он посмотрел как на товар — оценивающим взглядом.

Стол... На столе сияла масленка, а в ней настоящее, поблескивающее, желтое сливочное масло. На столе аккуратно нарезанные черные и белые ломтики хлеба уютно привалились друг к другу. На столе, наколотый маленькими кусочками, лежал сахар — тоже настоящий, не сахарин в порошке или бутылочке, а сахар. В суповой миске что-то аппетитно дымилось... Неужели какао? Какао! В то время, как у Тыняновых готовили к ужину оладьи из дуранды, Лидочка стояла за пайком часами, а однажды пропала так надолго, что Юрий пошел ее искать. Начиналось наводнение, на Петропавловской крепости уже бухали пушки, а Кубуч — Комитет по улучшению быта ученых — был на Миллионной, в двух шагах от Невы.

Масло стояло далеко от меня, я попросил кудлатенькую подвинуть, густо намазал самый большой из ломтиков хлеба. Потом я почему-то сказал: «Так» — и, проглотив ломтик, потянулся за вторым.

Неестественно улыбаясь, мама разлила по чашкам какао, и начался разговор.

Кудлатенькая, стараясь не смотреть на сестру, которая краснела и бледнела, стала расспрашивать меня об университетских делах. Ведь это, наверно, очень трудно — одновременно заниматься в двух вузах. И как это только я успеваю?

— Очень просто. Я ничего не делаю ни в том, ни в другом.

За столом помолчали. Потом папа сказал:

— В наше время не каждый имеет кусок хлеба с маслом.

— Да уж! — согласился я и, чуть помедлив, взял третий ломтик. От злости я не чувствовал вкуса.

— Вот странно, а говорят, что вы очень способный,— сказала кудлатенькая.

— Меня спутали с кем-то другим.

Мама пробормотала, что какао — сладкое, но я положил в чашку три кусочка сахару и стал прихлебывать не торопясь. Перед глазами у меня была Лидочка, вернувшаяся из Кубуча с огромным рюкзаком за плечами. Она

огорчилась, узнав, что Юрий беспокоился за нее, а мы подсмеивались над ним — и действительно, это было глупо.

— Пожалуйста, скажите что-нибудь по-арабски,— попросила кудлатенькая.

— «Нет бога, кроме бога, и Магомет — пророк его»,— сказал я по-арабски.

— А что это значит?

Мне захотелось сказать, что это значит: «Не каждый в наше время имеет кусок хлеба с маслом», но я посмотрел на Анечку и раздумал: она приоделась к обеду и была очень хорошенькая — голубоглазая, с прямым пробором в белокурых, слегка вьющихся волосах.

— Это значит,— сказал я с чувством,— «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал».

Снова помолчали. Потом мама спросила, чем я намерен заняться после окончания двух высших учебных заведений. Я ответил, что поеду в Каир, где в мечети аль-Азхар буду доказывать мусульманским паломникам преимущества социалистического строя.

Под внимательным, скаредным взглядом папы я допил какао, вежливо поблагодарил и встал. Анечка проводила меня. Мне было жаль ее, но не очень.

2

Вернувшись домой, я попытался изобразить эту сцену в лицах. Ничего не получилось, но Тыняновы все-таки торжествовали.

— Я тебе говорил,— сказал Юрий, который ничего мне не говорил.

Давно уже речь шла о другом, когда Лидочка вдруг удивилась:

— Неужели какао?

...Вечер был беспричинно веселый: пришел Эйхенбаум, один, без жены, и никто не стал выражать по этому поводу притворных сожалений. На меня он поглядывал, загадочно улыбаясь,— и я сразу же понял, что ему хочется рассказать мне о конкурсе Дома литераторов. Это тоже было смешно, о каждом заседании жюри сразу же становилось известно, и все давно знали, что из шести премий пять получили «серапионы». Первую — Федин за рассказ «Сад», а я — третью за свою «Аксиому». Но Борис Ми-

хайлович, как добросовестный член жюри, соблюдал полную секретность. Тонко улыбаясь, он начал издалека: оказывается, премированный рассказ должен был получить не простое, а абсолютное большинство голосов. Аким Львович Волынский упрямо настаивал, что первую премию надо дать автору рассказа «Одиннадцатая аксиома». Знали и об этом. Некоторое время все внимательно слушали с серьезными лицами, потом стали смеяться, и больше всех Борис Михайлович — у него был детский, простодушный смех. Поперхнувшись чаем, он едва отдышался, когда я принес из своей комнаты извещение о результатах конкурса. Извещение было странное: на его оборотной стороне какое-то учреждение, скрывшееся за буквами П. С. П. Х., объявляло новый конкурс: на изготовление типографской краски без гарпиуса. Юрий заглянул в Брокгауза, и оказалось, что гарпиус — это «составная часть смолы хвойных деревьев, остающаяся после отгонки скипидара». Очевидно, Дом литераторов разрешил загадочному П. С. П. Х. воспользоваться извещением на том основании, что типографская краска и литература взаимосвязаны и одна без другой существовать не могут.

— И ведь действительно не могут,— сняв пенсне и вытирая слезы, говорил Борис Михайлович...

Потом пришел Поливанов, предложивший прибавить к нашему более чем скромному ужину какое-то китайское блюдо. Тут же он стал готовить его из муки, осторожно разведенной кипятком, соли, перца и, кажется, постного масла. Не хватало, по его словам, пяти-шести ложек риса. Из уважения к Евгению Дмитриевичу мы похвалили его клейстер и съели без остатка.

Потом прозвенел колокольчик в кухонной двери — и все замолчали, прислушались, переглянулись. Я пошел открывать.

— Кто там?

— Телеграмма.

Юрий расписался, распечатал — и шумный, запомнившийся вечер споткнулся... остановился... Еще продолжаясь, он стал превращаться в прошлое на наших глазах.

Известие было неожиданное: Софья Борисовна тяжело заболела, и родственники вызывали Юрия и Лидочку в Москву. Почему в Москву? Куда, зачем она поехала из Ярославля?

В растерянности, в поднявшейся суете и тревоге я заметил, что Лидочка, аккуратно причесанная, вдруг распустила и сейчас же снова собрала волосы. В отчаянии? Мне и теперь кажется, что она трогательно сказалась в этом непонятном бессознательном жесте.

Вместе с Юрием она на другой день уехала в Москву. Лишь через две-три недели, когда я собирался на каникулы в Псков, Лидочка написала мне, что мать решилась на отчаянный шаг: поехала на фронт, разыскивать старшего сына, но, добравшись до Москвы, слегла в тяжелом сыпном тифе.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

1

Как удавалось мне поспеть всюду, слушать лекции, готовиться к «репетициям», не пропускать серапионовских суббот, ожидание которых начиналось с воскресенья? Не знаю. Одно огорчало меня: на самое главное времени не хватало.

Самым главным была первая книга — и вместе с ней надежда на то, что между ней и всеми другими книгами, созданными человечеством до 1921 года, не будет ни малейшего сходства.

Думал ли я о том, что, накинувшись на все сразу — востоковедение, историю русской литературы (не только новой, но и древней, которой я с увлечением стал заниматься у академика В. Н. Перетца со второго курса), я мешаю себе, держу себя за руки — и волей-неволей теряю драгоценное время? Мне казалось неслыханным счастьем с утра в воскресенье, наскоро отделавшись от домашней работы (за что на меня справедливо сердилась сестра), с размаху врезаться в свои, еще не записанные фантасмагории. Уж не тогда ли я научился входить в работу, не теряя ни единой минуты? Впрочем, и в самой скованности, в том, что так редко случались эти дни и часы, было свое очарование. Быть может, я догадывался, что, как ни далеки «Повесть о Вавилонском царстве» или арабский язык от «самого главного», когда-нибудь и они займут в нем свое, еще неведомое место? Интересно было, например, пробиваться к знанию одного из очень трудных языков в мире. Нас готовили к работе в еще не существовав-

ших консульствах и посольствах — увлекательная неизвестность мерещилась мне в однообразных ритмах арабских спряжений.

Среди нас был М. А. Салье, будущий переводчик «Тысячи и одной ночи», прекрасно знавший язык и все-таки занимавшийся вместе с нами, кажется, только для того, чтобы на каждом уроке наслаждаться своим превосходством. Он ходил на костылях, бледный, с неуверенно болтающимися ногами. Маленькая бородка неприятно дрожала, когда он язвительно смеялся. Несмотря на свое несчастье, он имел (как сплетничали) загадочный успех у женщин. Крачковский, мне казалось, не любил его — и все это тоже представлялось интересным.

В университете еще господствовала кристаллизованная академическая среда, замкнувшаяся в границах старой науки. Но мы учились и многому научились у этих известных филологов, для которых история русской литературы завершалась Пушкиным и Жуковским. Для меня, уже начинавшего лепетать на взыскательном языке ОПОЯЗа, эта консервативность, эта замкнутость была ничто, так же как она была ничто для Н. Л. Степанова и Б. Я. Бухштаба, оставшихся моими друзьями со студенческих лет на всю жизнь. У Владимира Николаевича Перетца мы учились истории древней русской литературы, потому что после Шахматова никто лучше его не знал древней русской литературы. Нам было все равно, что думает о политическом положении страны Лев Владимирович Щерба, который до революции был видным кадетом. Отношение к университету было одновременно и прямодушным и дальновидным: мы учились у старых учителей, чтобы под руководством молодых упрочить и защитить новые понятия в литературной науке. Недаром же все тот же тост: «Против академии!» — неизменно звучал на наших вечеринках.

2

Я взял бы на себя непосильный труд, пытаясь охватить всю жизнь моих друзей по ордену «Серапионовы братья». Мне нельзя забегать вперед, потому что наш первый год был непохож на второй (когда иные из нас уже напечатали свои первые книги), а второй — на третий.

Сознание небесполезности жизни, утешительное, потому что она проведена в неуклонном труде, украшено именно нашей «устной порой», и мне невольно хочется найти границу между ней и десятилетиями, сложно изменившими нас,— границу, существующую не только в моем воображении.

3

Бывшая елисеевская столовая была отделана фресками, в которых скрывалась, повторяясь, большая буква «Е», окруженная затейливым золотым узором. Дом был безвкусный. Но столовая нравилась мне: всегда в ней был полумрак, пять высоких окон были заслонены цветными ставнями — витражами. На одном из них был изображен охотник, потрясенный тем, что между рогами оленя, которого он хотел застрелить, возникает нежный, светящийся крест. Кто-то сказал мне, что это сцена из романа о рыцарях «круглого стола». На камине, устроенном в глубине тяжелой деревянной опоры, был вырезан турнир — всадники с копьями в руках мчались навстречу друг другу. И везде была искусная резьба; фронтон буфета был украшен сценой пира: на заднем плане сидели за высоким столом рыцари и дамы, на переднем — шут, кривляясь, играл с обезьяной.

Странный, льющийся коридор, с плавными поворотами и арками, вел из этой рыцарской столовой в комнату Слонимского, где мы собирались по субботам. «Среди Серапионов,— писал Шкловский,— лежит Михаил Слонимский». Не многие поняли смысл этого замечания. Нам оно не показалось странным. Когда бы я ни приходил, Слонимский, черноволосый, длинный, худой, похожий на собственную тень, почти всегда лежал — может быть, отдыхая от четырех лет войны, легкой раны и тяжелой контузии. Но он вовсе не был ленив, напротив, деятелен и даже склонен к длительным усилиям. Когда необходимость действовать была неотвратимой, он взрывался, как петарда, и тогда трудно было узнать в нем добродушного, склонного к парадоксальным размышлениям, мягкого человека. Достигнув цели, он возвращался в свою комнату и, вздохнув с облегчением, ложился на кровать. Он часто говорил о маме, родной сестре недавно скончавшегося

знаменитого Венгерова. Облегчить маме жизнь было трудно, но он старался. Вероятно, ему казалось, что сложности, окружавшие его с той поры, когда семнадцатилетним юношей он добровольно пошел на фронт, слегка затянулись. Беспечность и парадоксальность заметны и в его первых рассказах. Ему было приятно, что мы собирались в его комнате. Если бы это было возможно, он поселил бы нас всех в Доме искусств.

Однажды, поссорившись с сестрой, я пришел к нему с чемоданом и застал в постели, хотя было уже далеко за полдень. Взволнованный, я сказал, что переехал к нему совсем, навсегда. Он ответил, сонно поморгав:

— Ладно. Тогда разожги, пожалуйста, печку.

Он не стал расспрашивать меня: для него было ясно, что помочь мне он при всем желании не может.

Я растопил «буржуйку», убежал в институт и, вернувшись под вечер, нашел под дверью записку: «Ключ у Ефима». Ефим был дворником, сторожем, истопником. Из разбежавшейся елисеевской прислуги он один искренне привязался к новым жильцам, хотя образ их жизни и мышления, без сомнения, казался ему очень странным.

Я прожил у Слонимского два дня. Спать на узкой кровати валетом было неудобно, а заниматься арабским — невозможно. Пришлось вернуться к Тыняновым и помириться с сестрой, которая была огорчена моим бегством.

4

Уже и тогда, среди едва намечавшихся отношений, была заметна близость между Зощенко и Слонимским. «Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов, талантливый»,— писал Слонимский Горькому 2 мая 1921 года.

Зощенко был одним из участников студии переводчиков, устроенной К. И. Чуковским и А. Н. Тихоновым для будущего издательства «Всемирная литература». «В тот краткий период ученичества,—пишет Чуковский,—он перепробовал себя в многих жанрах и даже начал однажды, как он мне сказал, исторический роман. ...Своевольным, дерзким рефератом, идущим вопреки нашим студийным установкам и требованиям, он сразу выделился из среды своих товарищей... Здесь впервые наметился его будущий

стиль: он написал о поэзии Блока слогом заядлого пошляка Вовки Чучелова, которая стала одной из любимых масок писателя».

Но почему Зощенко не сразу появился на наших субботах, как другие студийцы — Лунц, Никитин, Познер? Мне кажется, что это связано с решающим переломом в его работе.

Однажды он рассказал мне, что в молодости зачитывался Вербицкой, в пошлых романах которой, под прикрытием женского равноправия, обсуждались вопросы «свободной любви».

— Просто не мог оторваться,— серьезно сказал он.

Он был тогда адъютантом командира Мингрельского полка, лихим штабс-капитаном, и чтение Вербицкой, по-видимому, соответствовало его литературному вкусу. Но вот прошло три-четыре года, он вновь прочел известный роман Вербицкой «Ключи счастья», и произошло то, что он назвал «чем-то вроде открытия».

— Ты понимаешь, теперь это стало для меня пародией, и в то же время мне представился человек, который читает «Ключи счастья» совершенно серьезно.

Возможно, что это и была минута, когда он увидел своего будущего героя. Важно отметить, что первые поиски, тогда еще, может быть, бессознательные, прошли через литературу. Пародия была трамплином. Она и впоследствии была одним из любимых его жанров: он писал пародии на Е. Замятина, Вс. Иванова, В. Шкловского, К. Чуковского. В этой игре он показал редкий дар свободного воспроизведения любого стиля.

Вопреки своей отдаленности друг от друга, все они, с его точки зрения, писали «карамзиновским слогом» — и он дружески посмеялся над ними. Дружески, но, в сущности, беспощадно, потому что его манера, далекая от «литературности», в любом воплощении была основана на устной речи героя.

Кто же был этот герой?

Тынянов в одной из записных книжек набросал портрет мещанина и попытался психологически исследовать это понятие:

«Мещанин это в старое время то, что теперь известно под столь же расплывчатыми терминами: мелкая буржуазия, отчасти свободная профессия и, наконец, даже неорганизованный пролетариат (поденщики) — со всеми переходами и извилинами. Расплывчатый социальный смысл

не носит в себе как будто ничего оценочного. Откуда бы распуститься в этом слове нашим оценочным смыслам?

Дело разъяснится, если мы взглянем на старый синоним слова: посадские. Лет двадцать — двадцать пять назад в западной Руси слова «хулиган» не существовало, было слово «посадский». В посадах, в слободах оседали люди, вышедшие за пределы классов, не дошедшие до городской черты или перешедшие ее...

Мещанин сидел там, на неверном, расплывчатом хозяйстве, и косился на прохожих. Он накоплял,— старался перебраться в город, пьянствовал, тратился, «гулял» (обыкновенно злобно гулял). Чувство собственности сказывалось не в любви к собственному хозяйству, а в нелюбви к чужим (память его бродила по пахоте, воображение по двухэтажному городскому дому и купеческой чужой жене, взгляд же натыкался на землю, усеянную битым стеклом и жестянками). Таинственность быта, внутреннего мещанинова жилья была полная, и только иногда выбегала оттуда растерзанная девка..,— это он гулял у себя.

Стало быть: оглядка на чужих, «свои дела», иногда зависть. Почти всегда — равнодушие. Пес, этот барометр социального человека, старался у мещанина быть злым. Крепкий забор был эстетикой мещанина. Внутри тоже развивалась эстетика очень сложная. Любовь к завитушкам уравновешивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии — это была у мещанина необходимость справедливости. Мещанин, даже вороватый или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии. Он любил семью, как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии, по размеру, группами в 5 штук, причем верхняя была почти всегда — вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка снялась с мужем, а на круглый столик между собой и мужем посадила чужую девочку, потому что она видела такие карточки у семейных. (Здесь уже начинается нормативность мещанской эстетики.)... В состав эстетики этой входят также в большом количестве кружева. Я нигде не видел столько кружев, как в мещанских домах. Кружева удовлетворяют мещанина 1) как абстрактная симметрия бессмыслицы, 2) как заполнение пространства. Поэтому беленькие карнизы под и над мещанскими окнами строятся также по принципу элементарной симметричности, это, так сказать, древесные кружева и оборки.

Все это нужно как заполнение пространства, которого мещанин боится. Пространство — это уже проделанный им путь от деревни к городу, и вспомнить его он боится. Он и город любит из-за скученности. Между тем асимметрия, оставляя перспективность вещей, обнажает пространство. Любовь к беспространственности, подспудности — всего размашистей и злей сказывается в эротике мещанина. Достать из-под спуда порнографическую картинку, карточку, обнажить уголок между чулком и симметричными кружевами, приткнуть, чтобы не было дыханья, и наслаждаться частью женщины, а не женщиной».

В «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» Зощенко не только понял это всепроникающее явление, но проследил лицемерно-трусливый путь мещанина через революцию и гражданскую войну. В этой книге было предсказано многое. В новом мещанине (времен нэпа) не было «забора», он жил теперь в коммунальной квартире, но с тем большей силой развернулась в нем «оглядка на чужих», зависть, злобная скрытность. Беспространственность утвердилась в эмоциональном значении.

Эта книга писалась, когда Зощенко пришел к «серапионам». Расстояние между автором и героем было в ней беспредельным, принципиально новым. Каким образом это «двойное зрение» не оценила критика, навсегда осталось для меня загадкой.

5

Он был небольшого роста, строен и очень хорош собой. Глаза у него были задумчивые, темно-карие, руки — маленькие, изящные, рот с белыми ровными зубами редко складывался в мягкую улыбку. Он ходил легко и быстро, с военной выправкой — сказывались годы службы в царской, потом в Красной Армии. Постоянную бледность он объяснял тем, что был отравлен газами на фронте. Но мне казалось, что и от природы он был смугл и матово-бледен.

Не думаю, что кто-нибудь из нас уже тогда разгадал его — ведь он и сам провел в разгадывании самого себя не одно десятилетие. Меньше других его понимал я — и это неудивительно: мне было девятнадцать лет, а у него за плечами была острая, полная стремительных поворотов

жизнь. Но все же я чувствовал в нем неясное напряжение, неуверенность, тревогу. Казалось, что он давно и несправедливо оскорблен, но сумел подняться выше этого оскорбления, сохранив врожденное ровное чувство немстительности, радушия, добра.

Думаю, что он уже и тогда был высокого мнения о своем значении в литературе, но знаменитое в серапионовском кругу «Зощенко обидится» было основано и на другом. Малейший оттенок неуважения болезненно задевал его. Он был кавалером в старинном, рыцарском значении этого слова — впрочем, и в современном: получил за храбрость четыре ордена в годы первой мировой войны и был представлен к пятому.

Он был полон уважения к людям и требовал такого же уважения к себе.

Однажды, после затянувшейся серапионовской субботы, мы почему-то должны были спуститься не на Мойку, как обычно, а по черной лестнице во двор. Но что-то происходило на дворе — испуганные крики, ругательства, угрозы.

Мы стояли на лестнице, внизу неясно светился прямоугольник распахнутой двери. Скоро выяснилась причина суматохи: какой-то пьяный человек, без шапки, в распахнутой шинели, с обнаженной шашкой, гонялся за всеми, кто выходил из дверей или появлялся в воротах. Шашка посверкивала в слабом свете, выходить было страшно, и, переговариваясь с возмущением, мы ждали. Впрочем, недолго. Зощенко, стоявший на первой ступеньке, появился на дворе и неторопливо направился прямо к буяну. Тот замахнулся с грубым ругательством, и мы только вскрикнули, когда Зощенко не отклонился. Он стоял пряменький, подняв плечи. Шашка просвистела над его головой. Не знаю, что он сказал обезумевшему человеку, но тот, бессвязно бормоча, стал отступать. Так с шашкой в руке его и взяли подоспевшие милиционеры.

ВЕСНОЙ 1921-го

1

Приглашение сохранилось и опубликовано:

«Петроград, 5 мая 1921 года.

Михаил Леонидович!

Рассказы Зощенко и Ваш я прочитал — мне очень хотелось бы побеседовать с ним и с Вами по этому поводу.

А также нужно мне поговорить со всей компанией вашей по вопросу об альманахе, который нам следовало бы сделать.

Поэтому — не соберетесь ли вы все ко мне в пятницу, часов в 8, в ½9-го.

Если решите, известите меня об этом завтра.

Жму руку. *А. Пешков*».

Единственный из «серапионов», я никогда раньше не видел Горького, хотя не было ничего легче, как встретить его в Доме искусств, в Госиздате, в театрах, на литературных вечерах, наконец — просто на улице. Он любил пешеходные прогулки, ездил и на трамвае.

Должен ли я представиться ему как автор «Одиннадцатой аксиомы»? Или меня представит кто-нибудь другой, может быть Слонимский, который работал в издательстве «Всемирная литература» и встречался с Горьким сравнительно часто?

Горький жил на Кронверкском, в двух шагах от улицы Красных Зорь — так сложно назывался в ту пору Кировский проспект, — на четвертом или пятом этаже. Поднимаясь по лестнице, все смеялись, шутили. Незаметно было, что кто-нибудь волновался. Подумав, решил успокоиться и я.

Мы вошли и долго, неловко рассаживались: уже знакомые с Горьким — поближе к хозяину; незнакомые — подальше, на большую тахту, с которой было трудно встать, потому что она оказалась необыкновенно мягкой. Эта тахта запомнилась мне навсегда. Опустившись на нее, я увидел свои далеко выставившиеся ноги в грубых солдатских ботинках. Спрятать их было некуда. Встать и пересесть? Об этом нечего было и думать!

Волнуясь, не слыша сразу же начавшегося оживленного разговора, я долго думал о своих ботинках и успокоился, только когда увидел, что у Иванова такие же, если не хуже.

Книжные полки в кабинете стояли не у стен, а параллельными рядами — между ними можно было ходить. Дверь в спальню была распахнута. К спинке кровати была прикреплена круглая передвижная подушечка, на-

значение которой я понял не сразу: сидя на кровати, можно было опираться на подушечку головой.

Мне запомнились не только эти мелочи — десятки других. Среди вещей, в сущности обыкновенных, ходил, изредка присаживаясь, человек огромного роста, немного сгорбленный, но еще с богатырским размахом плеч, окающий, прячущий улыбку под усами. Это был Горький! Вопреки геометричности его лица — прямоугольный лоб, крепко посаженный нос, овальные усы — он был по-своему хорош собой.

И двигался и говорил он, как бы подчиняясь внутренней силе, которая властно распоряжалась этим великанским телом. Но в нем была и мягкость, и аристократическая вежливость, и готовность радостно изумиться любому открытию, в чем бы оно ни заключалось. И — по меньшей мере в тот вечер — полная душевная занятость, направленная на нас и как бы требующая от нас повиновения. На самом же деле он ничего не требовал. Все совершалось само собой.

Разговор шел о серапионовском альманахе под названием «1921» — и Горький предложил открыть его рассказом Всеволода Иванова «Жаровня архангела Гавриила».

Всеволод был тогда для нас еще загадкой: придя к нам впервые, он просидел весь вечер, не сказав ни слова, небритый, лобастый, тощий, в ботинках с обмотками и в сильно потертой, выгоревшей солдатской паре. Так и не двинулся, только наклонился однажды, чтобы заколоть размотавшуюся обмотку. И теперь, услышав похвалы Алексея Максимовича, он недоверчиво посмотрел на него и потупился. Может быть, не поверил?

Алексей Максимович откашлялся, погладил усы и стал читать рассказ вслух.

Мне понравилось, что чтение началось неожиданно. Это было сделано с непосредственностью человека, которому захотелось еще раз похвастаться тем, что в его руки попала драгоценная вещь. Он читал, любуясь отдельными фразами, и рассказ в его исполнении действительно стал выглядеть богаче, вкуснее.

...Как будто курсивом подчеркивая последнюю фразу, Горький не прочел, а сказал: «Что ж, ведь нет чудес на свете, и самое страшное — жить тому, кто подумает, что нет их, чудес,— и поверит».

Слушая чтение, я мучительно думал о том, что ска-

зать, когда оно будет окончено. У меня были возражения, заходившие очень далеко. Мне не только не понравился рассказ, но я был вполне убежден, что в нем отразились все черты бессюжетной, традиционной прозы. О мужиках надо писать, как Бунин или Чехов, не на каком-то особенном языке, а на русском, литературном,— без «здеся», «рукомесловать» и «брешешь». Новая проза, казалось мне, должна быть совсем другой, сдержанной, опрятной. Автор как бы гордится своим Кузьмой, хотя гордиться, в сущности, нечем: бородатыми искателями правды битком набита старая проза. Мысль о неизбежности чуда едва намечена, не раскрыта. И много еще других приготовил я возражений, когда вдруг стало ясно, что Горький прочитал рассказ не для того, чтобы мы его обсуждали. Восхищение не помешало ему указать на недостатки, причем замечания чаще всего относились к отдельным фразам.

— Короткий, кажется, рассказ,— сказал он.— А длинноват.

Он прочел несколько строк в двух редакциях — Иванова и своей.

— Длинноты.— Он вздохнул.— Я и сам боролся с ними всю жизнь, и, кажется, не я их, а они меня победили.

Мы собрались уходить, когда Горький заговорил о наших материальных делах. Как это было кстати! У молодых писателей, собравшихся в этот день у Горького, не было ни гроша. Одеты мы были так, что одинокие прохожие, встречая нас по вечерам, поспешно переходили улицу. Федин, носивший пальто и шляпу, казался франтом. Многие донашивали военные шинели.

Еще неясно было, какое издательство — по-видимому, Гржебина — возьмет на себя альманах, но «пока суд да дело,— сказал Горький,— надо устроить вам аванс». И он назвал сумму, не помню какую, но показавшуюся мне огромной. Пора было прощаться, и, хотя мы расставались ненадолго — условлена была новая встреча — каждому Горький говорил несколько ободряющих слов.

Я стоял поодаль, усталый от волнений, расстроенный тем, что так и остался в стороне от общего разговора. И вдруг я услышал, что Алексей Максимович хвалит Лунца за «Одиннадцатую аксиому». За мой рассказ! Это было непостижимо!

— Озорной вы человек,— сказал он.— И фантазия у вас озорная, затейливая. Но хорошо! Хорошо!

— Алексей Максимович,— с добрым лицом сказал Лунц,— это не мой рассказ. Вот Алхимик, который его написал.

Приветливо улыбаясь, Горький обратился ко мне. Но прежде чем он заговорил, я сунулся вперед, очень близко, и сказал неестественно громко:

— Да, этот рассказ мой!

Все замолчали, и наступила пауза, о которой я до сих пор вспоминаю с чувством позора.

Горький омрачился. Он хотел еще что-то сказать, но передумал и, отвернувшись от меня, заговорил с кем-то другим. Дико улыбаясь, я отошел и снова уселся на тахту, что было совершенно бессмысленно, потому что все уже прощались с Горьким и уходили.

...Я очнулся — в буквальном смысле слова, услышав его голос, обращенный ко мне. Хотел ли он показать, что не придает моей неловкости никакого значения? Не знаю. Но он с таким вниманием заговорил со мной — где я живу, где учусь, что пишу,— что я мгновенно ожил и спокойно, даже неторопливо ответил на его вопросы.

2

Работая над этой книгой, я ловил себя на мысли, что самое трудное в ней — поиски первых впечатлений.

Старые друзья — как добраться до них, расталкивая годы? Как заставить их «измениться до узнаваемости»? Как снова сойтись с ними, перелетая через пропасти, прыгая через разведенные мосты? Как встретиться с другом после трех или четырех десятков лет отдаленности, непонимания?

Но вот совершается чудо. Всматриваешься в почти уже незнакомое лицо, одеревеневшее, с грубыми морщинами старости,— и бог знает какое волшебство стирает эти морщины. Разглаживается лоб. Глаза начинают яснеть, пристально вглядываясь. Возвращается молодость, многое еще видится внове.

...Зафилософствоваться, заболтаться до рассвета, не отпустить, не отступиться от друга. Острота настоящего,

его неотъемлемость, еще незнакомое угадыванье в нем будущего. Надежда! Единодушие не мысли, но чувства. Доверие! Звон старинных часов, показывающих не только дни и часы, но и годы, раздается, когда в блеске молодости открывается улыбающееся лицо. Совершается открытие: да, так было! Вот оно, колючее, обжигающее, не постаревшее за полстолетия воспоминание!

Но иногда нужно просто ждать, отложив в сторону старые письма, старые фото. И оказывается, что первое впечатление под рукой, а не там, где ты пытался найти его, пласт за пластом отбрасывая время. Постороннее, случайное, косо скрестившееся, ничего, кажется, не значившее отбрасывает занавеску волшебного фонаря, и то, что ты искал за тридевять земель, открывается рядом.

3

В ту субботу к нам пришел рыжевато-белокурый солдат-кавалерист в длинной, сильно потертой шинели, с красно-кирпичным лицом, выше среднего роста, костлявый, решительный и одновременно застенчивый. Он был так худ, что казался вогнутым, острые плечи готовы были разорвать гимнастерку. Но это была худоба молодого, крепкого, очень здорового человека.

Его встретили радушно, он улыбнулся, и оказалось, что один из передних зубов у него выщерблен или полусломан. Кажется, уже и тогда он курил трубку. Щеки у него были ввалившиеся, но тоже молодые, твердые.

Его усадили за стол, он положил перед собой рукопись и стал читать — глуховатым голосом, быстро. Его попросили читать медленнее. Как будто очнувшись, он поднял взволнованные глаза и повиновался — впрочем, на три-четыре минуты.

Впервые нам предстояло общее решение. Объединившиеся, не раз собиравшиеся, связанные быстро укреплявшимися отношениями, мы должны были оценить рассказ и сказать автору — принимаем мы его в орден «Серапионовы братья» или не принимаем. Не было ни устава, ни рекомендаций, ни предварительных условий, которые показались бы нам смешными. Решение надо было принять, следуя нигде не записанному закону. Этот закон состоял

из двух естественно скрестившихся начал — литературного вкуса и чувства ответственности. Первое непосредственно относилось к рассказу. Второе — и к автору и к рассказу,— условие, никем не высказанное, но всеми разделяемое, заключалось в том, что, если бы рассказ оказался свидетельством внелитературного, то есть безответственного, отношения к делу, автор бы провалился, или «сел», как говорили (и говорят до сих пор) студенты. Нет, этого нельзя было сказать. Солдат (перешептываясь, мы выяснили, что он не просто кавалерист, но еще и гусар) читал долго, и мы слушали его терпеливо: если Горький упрекал себя в длиннотах, они простительны и гусару. Однако, когда он перевалил за середину, его перестали слушать, и в комнате, вместе с призраком скуки, незаметно появилось нечто вроде флирта. Это требует пояснений.

На «субботах» часто бывали почетные гости, или «гостишки», как мы называли Ольгу Форш, Мариэтту Шагинян. Но уже не почетными, а действительными членами ордена были так называемые «серапионовские девицы» — Зоя Гацкевич (впоследствии Никитина), Ида Каплан (впоследствии Слонимская), Лида Харитон и Муся Алонкина.

Может быть догадываясь, что дневники серапионовских встреч когда-нибудь пригодятся историку литературы, мы пытались поручить кому-нибудь из нас роль мольеровского Лагранжа. Но выбор оказался неудачным: до летописи ли было Николаю Никитину, рано сосредоточившемуся на собственном значении в литературе?

Нет, нашими летописцами (правда, устными) были «девицы»: без них в совсем другом ключе происходили бы наши собрания. Они размыкали наш тесный круг, внося в него атмосферу влюбленности, желания блеснуть, удивить.

Хорошенькая Ида, студентка биофака, все чудилась мне в шелестящем, воздушном платье принцессы Брамбиллы. Зоя напоминала Джоконду, впрочем до тех пор, пока ее улыбка не переходила в смех, звучавший контральто. Белозубая, с приподнятой губкой, как у маленькой княгини из «Войны и мира», Лида Харитон казалась беспечной, а оказалась наблюдательной и зоркой. Судьба сложилась так, что именно она-то и стала нашим летописцем в буквальном смысле этого слова.

Мусю Алонкину я помню плохо. В девятнадцатом году она была секретарем Дома искусств. Должно быть, недаром «серапионы» посвятили ей свой единственный альманах.

Все нравились всем, то есть все «девицы» всем «братьям». Но до выбора было еще далеко, хотя сложная, перекрестная игра уже началась и деятельно продолжалась в ту субботу, когда среди нас появился гусар.

Он не замечал ни перешептывания, ни строгих взглядов, которые бросал на нас Илья Груздев, критик и «отец настоятель», как мы его тогда называли. Это был крупный, немногословный, неторопливый блондин в пенсне, слегка заикающийся, с девическим цветом лица, решивший ограничить свою жизнь изучением Горького. Он и Федин были самые старшие из нас — около тридцати. В тот вечер это почувствовалось: они были внимательны и терпеливы.

Вежливо, в слегка поучительном тоне Груздев выразил общее впечатление: не удалось то и это. Могло бы удаться, но тоже не удалось это и то. Мы единодушно присоединились.

Кавалерист слушал внимательно, но с несколько странным выражением, судя по которому можно было, пожалуй, предположить, что у него добрая сотня таких рассказов. Потом сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Я еще пишу стихи.

Слушать еще и стихи после длинного, скучного рассказа? Но делать было нечего: мы что-то вежливо промычали.

Из заднего кармана брюк он вытащил нечто вроде самодельно переплетенной узкой тетрадки. Раскрыл ее — и стал читать наизусть...

Не только я, все вздрогнули. В комнату, где одни жалели о потерянном вечере, другие занимались флиртом, внезапно ворвалась поэзия, заряженная током высокого напряжения. Слова, которые только что плелись, лениво отталкиваясь друг от друга, двинулись вперед упруго и строго. Все преобразилось, оживилось, заиграло. Неузнаваемо преобразился и сам кавалерист, выпрямившийся и подавшийся вперед так, что под ним даже затрещало стащенное из елисеевской столовой старинное полукресло. Это было так, как будто, взмахнув шашкой и пришпорив коня, он стремительно атаковал свою неудачу. Каждой строкой он загонял ее в угол, в темноту, в табачный дым,

медленно выползавший через полуоткрытую дверь. Лицо его стало упрямым, почти злым. Мне показалось даже, что раза два он лязгнул зубами. Но иногда оно смягчалось, светлело.

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор золото лимонов...

— Еще! — требовали мы.— Еще!

И Тихонов — это был он — читал и читал...

4

«Искал людей по себе и нашел. Серапионы»,— написал он вскоре в своей автобиографии. И в самом деле, он сошелся с нами на удивление скоро. Уже дней через десять вместе с ним мы получали костюмы, которые выхлопотал для нас Горький.

В полутемной комнате с прилавком одни снимали солдатские гимнастерки, а другие (впрочем, кажется, только я) гимназические куртки. И распоряжался этим маскарадом почему-то Тихонов, который в веселой суете один оставался деловито-серьезным. Впрочем, и он чуть не упал на пол от смеха, когда, стесняясь своих полосатых кальсон, я натянул брюки, едва доходившие до колен, а потом, обменявшись с кем-то, чуть не утонул в других, заказанных, должно быть, для самого Роде. Руководитель Кубуча был высокий мужчина, франтовато одевавшийся, с громадным животом, которым он очень гордился. В недавнем прошлом ему принадлежал знаменитый загородный ресторан «Вилла Роде».

5

С первых дней знакомства я заметил в Тихонове интерес к странностям, отклонениям, который с детства был и моей характерной чертой. Направление его чтений сказалось в ранних стихах, так же как моих — в моей ранней прозе. В прозе или поэзии мы оба настойчиво стремились передать чувство, которое можно было бы назвать

«обыкновенностью чуда». Оба были выдумщики, и оба не стеснялись своих выдумок, настаивая на них весело и упрямо:

Старый дьявол чистит ногти пемзой,
С меловых утесов вниз плюет,
И от каждого плевка над Темзой
Гулкий выплывает пароход...

Из дубовых вырубать обрубков
Любит он при запертых дверях
Капитанов с компасом и трубкой
И купцов со счетами в руках...

Стихотворение называлось «Англия», и мне казалось, что оно чем-то похоже на мои рассказы. Но в нем был колорит, которого мне не хватало. Выдумка была вправлена в реальность, быть может вычитанную,— это не имело значения. Вот почему, читая или слушая Тихонова, я начинал понимать двухмерность, планиметричность своей прозы. Нерусские декорации, в которых происходило действие моих рассказов, были лишены колорита. «А Венька погибнет, если его будут хвалить за его фокусы. Всякий фокус позволителен, если в основе лежит новая интересная мысль...—писал Льву Лунцу Слонимский.—У Веньки один фокус. Мысли остаются у него в голове. Он не умеет их переложить на бумагу. Это оттого, что он отрекается от быта, не умея осилить его... Нужно отрекаться от быта, изучив его... Тогда получается серьезная, настоящая, остроумная и бьющая в цель фантастика. Венька знает не человека, а гомункулюса... Ему нужно сначала научиться изображать человека, а потом приняться за иронического, каверинского (а не гофмановско-стивенсоновско-замятинского) гомункулюса. Фокусом и ловким налетом можно взломать несгораемый шкаф, а не литературу» (из переписки, опубликованной Гарри Керном, историю которой я еще расскажу).

Иначе оценивал мою раннюю прозу Тихонов. «Веня — мой друг и союзник, проклятый западник — он пишет одну за другой великолепные вещи: «Бочку» и «Шулера Дье». Здорово пишет, обалдело пишет. И тоже сложен, трехэтажен, непонятен «аудитории». Лева, ты бы порадовался, если бы услышал «Шулера». У него там такие курильни, тюрьмы в бреду и игра на Владимирском, в клубе, где он усадил за стол всех «серапионов», что пальчики оближешь. Быть ему русским Фаррером или Честертоном» (там же).

«Шулер Дье» — один из вариантов моей повести «Большая игра». «Бочка» — рассказ, впервые опубликованный в 1924 году. На Владимирском проспекте был карточный клуб, и я действительно усадил «серапионов» (и между ними Шкловского) за игорный стол. Но Слонимский был прав: узнать их было невозможно. Для Тихонова, который недаром называл меня своим союзником, это не имело значения. Он понимал, что у Честертона — свой собственный, честертоновский быт.

6

Его стихи были портретами, историями, размышлениями, а иногда историями портретов и размышлений. Первая книга «Орда», из которой он многое прочел нам в ту памятную субботу, открывается исповедью, напечатанной курсивом:

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Праздничность и веселость — прямое выражение той атмосферы, которая господствовала в доме Тихонова, на вечерах и вечеринках, чтениях и маскарадах, в самом образе жизни, всегда простом и никогда — пустом. Так было в начале двадцатых годов.

К духовности, к непознаваемому Тихонов никогда не был склонен. «Про землю» стоило говорить потому, что не на небе, а на земле

...возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил.

Эти строки Баратынского он взял эпиграфом к своей «Орде».

«Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого — но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт,— писал Фет Полонскому.— В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзию не признаю... Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».

В поэзии Тихонова не было «божественного вздора».

Я бы сказал, что свифтовский гуингнм с его трезвым разумом, доброжелательством и благородством был тогда ближе для него, чем крылатый Пегас. Его баллады можно рассказывать, как прозу. Конечно, я пишу о ранней поре — от их «голой скорости» он вскоре решительно отказался. Но для нас они были открытием. Мы все весело влюбились в его легко запоминавшиеся стихи, в его праздничный, открытый маскарадный дом на Зверинской, 2,— он только что женился на Марии Константиновне Неслуховской, которая не меньше, чем он, любила домашние спектакли, странные истории, стихотворные буффонады. Влюбились в его бессребреность, в его пристрастия, среди которых на первом месте была Индия — он прекрасно знал ее историю, географию, этнографию, и это тоже казалось занимательным и забавным. Влюбились в его нелюбовь к ссорам и спорам, в доброжелательность, которая была связана с доставшимся наконец-то, после нелегкой юности, ощущеньем работы и счастья.

НА КАНИКУЛАХ

1

Еще до моего отъезда в Псков мы с Леной получили от Лидочки письмо. Она нашла мать в тяжелом, почти безнадежном состоянии. Родные съехались к умирающей, в маленькой квартирке двоюродной сестры на Петровском бульваре негде было яблоку упасть. С минуты на минуту ждали конца.

Что ответить на такое письмо? Не помню, как я нашелся, не помню, что умно и тактично написала Лена. В коротком постскриптуме я упомянул, что уезжаю, сообщил псковский адрес и просил не забывать, что буду ждать известий. Прошла неделя, другая, и я получил открытку — несколько слов. Так между нами завязалась и продолжалась весь июль и август переписка.

Ничего, кажется, не произошло за эти два месяца в Пскове, где летняя жара смягчалась разросшимися за годы войны садами. Не три, а, казалось, добрых десять лет прошло с того дня, когда мы с Львом ехали на вокзал в санках, с мешками на коленях и встретили китайцев, которые беспорядочной толпой, неторопливо шли вдоль Кохановского бульвара. Они были как бы первым предначертанием ожидавшей нас неизвестности. Потом неизвест-

ность прояснилась, воплотилась — для Льва в бесчисленные события гражданской войны, приблизившие его к давно задуманной цели. Для меня — в первый опыт самостоятельной жизни. Маму я нашел изменившейся, повеселевшей. Теперь она была далеко не так, как прежде, занята семейными делами. Война кончилась, сыновья хоть и нелегко перенесли ее, но остались живы и здоровы. Их дела, семейные или личные, разумеется, интересовали ее. Но уже давным-давно она мудро решила не мешаться в эти дела, изменить которые никто не мог, а она и не могла и не хотела.

В Пскове мама вернулась к себе. Энергичная, исполнительная, она была склонна в любой работе к почину. Ей поручили заведовать книжным магазином, и, продавая книги, она умудрилась открыть при магазине маленькую детскую библиотеку. Книгу можно было купить, но можно и взять домой на две-три недели. Как некогда, со всего города к ней потянулись люди — потолковать о детях, пожаловаться, посоветоваться. Как-никак она вырастила шестерых, ни много ни мало. И вот самый младший приехал к ней на каникулы. Петроградский студент — подумать только! — а ведь, помнится, был исключен из гимназии. Вновь принялась она и за музыкальные и театральные дела, хотя магазин-библиотека отнимал почти все ее время. Невозможно было пригласить в Псков Шаляпина, который, по слухам, брал за каждый концерт десять пудов свиного сала и полпуда муки. Но в каком-то клубе она устроила артистический кружок, в котором любители уже сыграли «Женитьбу» Гоголя и «Скупого» Мольера.

— Нельзя отбиться,— с гордостью сказала о любителях мама.

Младшая сестра, Елена Григорьевна Лунич, или тетя Люся, как мы ее называли, играла в Летнем театре. Она всегда казалась мне копией мамы, но без ее определенности, рассудительности, воли. Зато она была гораздо красивее, с удлиненным личиком и миндалевидными глазами. Коса у нее была ниже пояса, и мама жалела, что этим неоспоримым преимуществом тетя не могла воспользоваться на сцене: ей было за сорок.

Они жили в нашей квартире, на Гоголевской, 11, в доме Бабаева (уже не гордившегося тем, что он был «лично почетный гражданин»), но занимали только две комнаты — бывшую гостиную с бамбуковым шелковым гар-

нитуром и совсем маленькую, оклеенную красными обоями. На каникулы эта комната была отдана мне. Обои выгорели и потрескались, мебель постарела, но я, как старому другу, обрадовался этажерке, на которой некогда стояла белая гипсовая фигурка голой женщины, мешавшая мне учить уроки. Не помню, кто занимал другие комнаты. В мамином распоряжении остался парадный ход, и квартира, таким образом, как бы делилась на две части.

Я приехал под вечер, мама закрыла магазин и, уже идя домой, на Сергиевской, выложила мне ворох семейных новостей, которые я знал в общих чертах и раньше, однако без подробностей, заставлявших маму то восхищаться, то изумляться. Мне было известно, например, что у Кати с Сашей родился мальчик, которого назвали Леней. Но я не знал, что еще до его рождения Катя чуть не бросила мужа, потому что он вел себя «возмутительно, безобразно», как, немного порозовев, с отвращеньем сказала мама.

Я знал, что брат Давид женился, оказалось, что фамилия его жены — Кутузова, и мне сразу же представилось, что она — правнучка великого полководца, даром что он был Голенищев-Кутузов. Обстоятельства, сопровождавшие этот брак, были романтические, но ни из маминого рассказа, ни из писем новой невестки я так и не понял, в какую беду попал брат и каким образом она, рискуя собой, вытащила его из этой беды.

Лев перенес тяжелый сыпняк, поправился и собирается с женой в Петроград — это была самая приятная из новостей, услышанных мною от мамы.

За ужином мы рассматривали фото: Леня был очень похож на мать, большеглазый, крутолобый, с размышляющим взглядом. Катя держала его на коленях,—неулыбающаяся красавица, меньше всего похожая на счастливую мать. Подле Нины Кутузовой — крупной брюнетки с приятными, тоже крупными чертами лица — стоял худой, слабо улыбающийся добряк, о котором так и можно было сказать, что его только что с трудом вытащили из-под груды неожиданно свалившихся на него огорчений. Глядя на Нину с ее гладко зачесанными блестящими волосами и решительным, твердым взглядом, я подумал, что брату, пожалуй, повезло с женой.

2

На другой день после приезда я пошел к Вале — мне не терпелось встретиться с ней. И что за странное совпаденье: снова, как в Москве, когда, забыв о Ермоловой, я со всех ног кинулся домой из Малого театра, я нашел Валю спящей.

Дверь была не заперта — как и до революции, К — ны запирались только на ночь.

Я бесшумно вошел в столовую, знакомую, с теми же накидочками на креслах, с прямоугольным столом, покрытым вышитой скатертью, с дубовым низким буфетом, на котором стояли, тоже знакомые, вазочки и чайный сервиз.

В соседней комнате, прежде спальне родителей, на диване, одетая, но без туфель, в легком платье, откинувшемся до колен, легко дыша, спала Валя — и не проснулась, не шевельнулась, когда я вошел, только глубоко вздохнула. Спокойно поднималась и опускалась грудь, лицо разрумянилось, и смуглота была не бледной, как в Москве, а розовой, сонной. Зачем я солгал ей? И так оскорбительно, так по-мальчишески бесцельно солгал? Надеялся ли я, что эта история с Дашей заставит ее ревновать, уступить? Или мне просто хотелось отомстить ей? За что?

В тот день в Москве не надо было придумывать, что сказать ей, когда она проснется. Теперь, растерянный, расстроенный, я был почти уверен, что она ничего не забыла, не простила и никогда не простит.

Было далеко за полдень, солнце обходило дом, неторопливо заглядывая в окна. Тишина была уже предвечерняя, но еще озаренная и, казалось, не желавшая расставаться с сиянием раннего лета.

И мне вдруг представилось, что все вернулось или, быть может, еще вернется? Что и во сне она ждет меня, как это было в Москве, когда мы без памяти кинулись друг к другу. Недаром же Валя часто заходит к маме и даже — мама лукаво рассказала об этом — читает мои редкие письма. Сердце уже билось как бешеное, я не мог оторвать глаз от ее чуть загоревшего, успокоившегося, милого лица, от ее крепких ног, приоткрывшихся до колен, от голых рук, от уютно сложенных под щекой ладо-

ней. Боже мой, а может быть... И, бесшумно подойдя, я поцеловал Валю в щеку. Даже не поцеловал, а только коснулся губами.

Она открыла глаза и сказала ровным голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Здравствуйте, Веня. Я знаю, что вы приехали. Думала — зайдет или нет? Вы зашли, и я рада...

3

Разговор начался с просьбы не сердиться на меня за глупый поступок, который разлучил нас, заставив ее вернуться в Псков. Она слушала не перебивая, с внимательным, немного грустным лицом. Опустила глаза и быстро подняла, когда я упомянул о Даше, подавальщице из студенческой столовки на Девичьем поле. Потом снова опустила.

Я говорил долго, с горячностью, искренне, но иногда слишком складно, и в эти минуты странное выраженье проходило по Валиному лицу. Можно было подумать, что она заранее знает доводы, которые я находил так свободно.

— Теперь скажу я, хорошо? — спросила она спокойно.— Неужели вы решили, что я уехала, потому что поверила вам? Как раз наоборот. Не поверила, потому и уехала. Вы же бог знает что нагородили насчет этой Даши. Днем, случайно столкнувшись в коридоре... Вы забыли, что я бывала в столовке? Там нет коридора. И обнять ее вы не могли потому, что вокруг люди, студенты стучат ложками, подавальщицы носятся как ошалелые. А уж насчет того, что в сарае пахло березой... В такие минуты... Я знаю вас. Вы не заметили бы, что пахнет березой. А это кухонное замерзшее стекло, на котором она будто бы поставила вам четверку?

И Валя от души засмеялась.

— Когда я заперлась, и так надолго,— мне было очень трудно, конечно. Но я не сердилась. Просто мне надо было все вспомнить — непременно все, с той самой минуты, когда я спросила вас: «Зачем вы курите? Ведь не хочется» — и вы бросили портсигар в воду. Вы по-детски влюбились в меня, а я... Мне нравилось, что вы пишете стихи и говорите так сложно. Мне думалось, что я могу заставить вас отказаться от преувеличенного мнения о себе,— ведь я

и тогда была учительница и воспитательница. Конечно, разница лет меня мучила, а когда я приехала в Москву, стало мучить не то, что я — старше, а то, что мне — куда там! — не угнаться за вами. Ведь я догадываюсь, когда вы меня разлюбили...

— Да?

— Ну, боже мой. В тот день, когда я провалилась по психологии! Вы едва перелистали учебник и сдали, а я слушала лекции, составляла конспекты и провалилась. Вот тогда-то и стало ясно, что я — обыкновеннейшая из самых обыкновенных, а между тем вы привыкли ко мне и я многое вам позволяла. Хоть и не принадлежала вам, но была все-таки вашей. Но если мне не удалось сдать психологию, если мне не понравилась «Принцесса Брамбилла», как же я смела вам отказать? А еще если бы я поняла... Но может быть, не нужно вспоминать об этом? Вы приехали, я рада, мы друзья. День прекрасный, с утра я была занята в школе, а сейчас свободна. Пойдемте гулять!

Но с пересохшим от волнения горлом я ответил:

— Нет, говорите.

Она помолчала.

— Я поняла, что, если бы случилось то, чего вы так добивались, дня через два вы просто забыли бы об этом. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы так уж устроены. И некого за это винить. Для вас это необходимость, но совсем не самое главное в жизни. Когда-то я читала — конечно, не помню автора,— что мужчины созданы для государственных дел, для охоты, для философии, для войны, а женщины — для них. Ну и, может быть, иногда для детей и искусства. Вот вы — из этих мужчин. Я нисколько не удивилась, когда Анна Григорьевна сказала мне, что вы учитесь одновременно в университете и в институте, да еще на разных отделениях. Вы всегда будете стремиться к самому главному, а способность любить... Мне кажется, что вы без нее обойдетесь. Ведь далеко не все рождаются с этой способностью — и живут, даже не подозревая об этом. Может быть, я ошибаюсь,— прибавила она задумчиво.— Вот ведь были же вы в меня влюблены! Кроме того, вы — поэт, а поэта, лишенного этой способности, я положительно не представляю. Ну, не огорчайтесь,— сказала она с доброй улыбкой.— Все было и прошло, но ведь все-таки хорошо же, что было. Вот мы не виделись полтора года, и я, кажется, осталась прежней, а вы очень переменились. У вас даже стало другое лицо... Точно вы

узнали что-то и куда-то взлетели... Ну, куда же мне угнаться за вами? Я, правда, уже старая, мне двадцать четыре года. Но еще не потеряла надежды выйти замуж. Люблю детей, люблю учить, а вы... Нет, все к лучшему! Пойдемте же гулять и расскажите мне о Петрограде.

4

Мы пошли гулять, и я стал рассказывать Вале обо всем сразу — арабский разряд, университет, «серапионы». Больше мы не возвращались к тому, что произошло в Москве, только однажды я спросил, не напоминает ли наш давешний разговор отповедь, которую Онегин выслушал от Татьяны.

Подумав, она ответила серьезно:

— Нет.

И я невольно вспомнил, как некогда читал Вале Козьму Пруткова, она внимательно слушала и стала смеяться, только когда я объяснил ей, почему это смешно...

Мы встречались несколько раз, но нечто принужденное, несвободное было в этих прогулках. Замечала ли она, что я скучаю, рассказывая ей о своей жизни в Петрограде? Потом Валя куда-то уехала — ненадолго, но встречи прекратились. Да у меня и времени не было. Наступили наконец долгожданные дни, когда никто не мешал мне работать. Толстая черновая тетрадь, в которую я записывал планы и черновые наброски, была уложена на дно чемодана. Она сохранилась, и то, о чем мне хочется сейчас рассказать, основано не на памяти, а на том, что архивисты называют «единицей хранения». Первые страницы тетради оторваны, пропали, но и того, что осталось, достаточно, чтобы вернуться к вопросу: «Кто же я?» — и, может быть, снова на него не ответить.

На первой странице — толстенькая фигура алхимика в виде реторты, сквозящая под распахнутой мантией, заштрихованной намеренно грубо. Вдоль фигуры тщательно перечислены все названия философского камня — великий магистериум, красный лев, единственная тинктура, жизненный эликсир. На второй и третьей странице записанный полусловами разговор с моим двойником. Запись трудно прочесть, но, кажется, он упрекает меня за лень, что было решительно несправедливо. Стихи, от которых я никак не мог отвязаться, посвящены Маршиде-ханум, одной

из двух татарок, занимавшихся на арабском разряде Восточного института. Я упоминал о ней. Черноглазая, высокая, гибкая, с продолговатым, нежным лицом, она держалась в стороне, молчала, усердно занималась и, без сомнения, была бы удивлена, узнав, как часто ее имя встречается в этой тетради. Кроме «здравствуйте» и «до свиданья», мы едва ли сказали друг другу больше десяти — пятнадцати слов. Отношения были отсутствующие, теневые. Но именно это привлекало меня. Маршида была одной из тех женщин, которым я писал свои никем не прочтенные, никуда не отправленные письма. Впрочем, она отличалась от других: у нее были облик и имя. Имя и облик! Не только для этих писем, но для любого из моих рассказов было вполне достаточно, чтобы, не теряя времени, взяться за дело. Личности, события, совершившиеся или несовершившиеся, были лишь отраженьем имени и облика, не воплотившимся в реальность.

Среди моих бесчисленных подписей, красивых арабских шрифтов и школьной латыни нарисована улица, на которой живет портной Шваммердам, герой одного из рассказов: дома покосившиеся, на трубах — тощие петухи-флюгера. Над булочной — крендель, над чайной — самовар, но над портняжной вместо пиджака и брюк странная надпись: «Шью очертания».

Горький вспоминает где-то о том, как Чехов ловил шляпой солнечный зайчик. Так я «ловил очертанья», не заботясь о том, вписываются ли они в пространство и время.

Девушка, заглянувшая к гадалке, неосторожно разгадывает пентаграмму, вырезанную на старинном перстне,— и превращается в собственный силуэт. Ведьма, влюбленная в студента, заказывает портному костюм, в котором она выглядит восемнадцатилетней.

Отраженье в зеркале, тень, манекен — откуда взялось это пристрастие к «подобиям», в то время как практическая, целенаправленная жизнь шла своим чередом?

Не только теперь, но и тогда, в девятнадцать лет, я задумывался над этим.

5

Рассказ, который я надеялся напечатать в первом альманахе «Серапионовых братьев», назывался «Хроника города Лейпцига за 18.. год». Я стал писать его еще весной

1920 года, но не в прозе — и драматический фрагмент, в котором черт покупает у студента обет молчания, сохранился в той же тетради. Теперь, в Пскове, я вернулся к «Хронике» вооруженный, как мне казалось, солидным опытом — это был мой седьмой или восьмой фантастический рассказ. Первоначальный план его был очень прост. Студент Генрих Борнгольм влюблен в Гретхен, дочку профессора философии, а Гретхен влюблена в него. Однако отец, последователь Иммануила Канта, намерен выдать ее за фортепианного мастера Зонненберга. Потрясенный студент дает обет молчания — отныне никто не услышит от него ни слова. Молчание заразительно, оно обладает магической силой, игра в молчанку лишь одно из ее многочисленных воплощений. О решении студента узнает непримиримый противник Канта, черт-метафизик. Он предлагает студенту Гретхен в обмен на «обет молчания», которым намерен распорядиться по собственному усмотрению.

Согласие получено, магическое молчание извлечено, заклеено в синий конверт и отправлено профессору, который навсегда лишается дара речи. Кант, таким образом, теряет одного из самых энергичных последователей. Гретхен выходит замуж за студента, а студент превращается в блестящего оратора после такого продолжительного молчания.

Дважды переписав план, я задумался: он показался мне элементарным. Действие развивалось слишком последовательно, в нем не было того, что заставило бы удивиться. Уже в драматическом фрагменте чтец сообщал читателю, что перед ним не пьеса, не роман и не эпос: Может быть, превратить его в автора, который неожиданно вмешивается в повествование? Поставить вровень с героями — ведь, что ни говори, они обязаны ему своим существованием.

Так появились главы, «свидетельствующие о веселом настроении автора», о его «преступной роли» в рассказе, наконец, о его «природном лицемерии», которое он не намерен скрывать. Глава шестая, по его мнению, должна находиться на месте пятой, а десятая и первая поменялись местами.

Ничего не оставалось, как собрать всех героев в антикварном магазине и объяснить им свои промахи, недомолвки, ошибки: «Внимание, дорогие друзья, это — последняя глава, и вскоре нам придется, к сожалению, рас-

статься. Каждого из вас я сердечно полюбил, и мне будет тяжела разлука с вами. Но время идет, сюжет исчерпан, и не было бы ничего скучнее, как женить студента Борнгольма и вернуть достопочтенному профессору возможность превозносить учение Канта».

И автор «с нежностью пожимает руки присутствующих» и покидает сцену.

6

Письма, которые я получал от Лидочки, не сохранились, а между тем, перечитывая их, мне удалось бы, может быть, объяснить самому себе, каким образом она стала занимать в моей жизни все большее место. Как в Москве, где ее незаметность была непроизвольно заметна, так и теперь она стояла как бы отдельно от придуманных сложностей, без которых я, по-видимому, не мог обойтись. Вот уж кому я не мог бы посылать свои литературные письма! Единственное, что я позволял, были эпиграфы из Белого, Ахматовой, Блока. Вероятно, Лидочка недоумевала, когда в верхнем правом углу своего ответа я писал, очевидно пытаясь ее успокоить:

> Боль проходит понемногу,
> Не на век она дана.
> . . . .
> Злую муку и тревогу
> Побеждает тишина.

Но тишина еще не победила тревогу, потому что положение Софьи Борисовны было по-прежнему очень тяжелым: без кислородных подушек она не могла дышать, Юрий и Лидочка бегали по аптекам с рецептами, на которых было подчеркнуто слово «cito», и, подавленные, расстроенные, подолгу ждали, пока приготовят лекарство. Лев заглядывал часто — и один и с Марой. Недавно он сам перенес тяжелый сыпняк — я писал об этом — и теперь старался успокоить родных. Об этом рассказала мне Лидочка в своем первом письме, и мне сразу же представилось, как Лев, уверенный, с откинутыми плечами, входит в комнату, опустив голову, чтобы не удариться о притолоку двери. Квартирка маленькая, низкая, тесная, окна выходят прямо на тротуар, так что прохожие подчас присаживаются на подоконник. Пахнет лекарствами, духота, но он прихо-

дит, и от самого звука его голоса всем становится легче. Иногда он остается дежурить по ночам.

С необъяснимой уверенностью я думал, что Софья Борисовна непременно поправится и осенью я увижу Лидочку спокойной и счастливой.

Однако дела шли все хуже, и, когда надежда была уже совершенно потеряна, Лев предложил пригласить знаменитого Плетнева. Так много врачей перебывало у постели больной, так противоречивы были предписания, что новое, хотя и веское, мнение заранее испугало родных. Но Лев настоял, привез Плетнева, и тот, не обнадеживая и не пугая, прописал строфант — в те годы почти неизвестное средство. Лидочка помчалась в аптеку на Трубной, немедленно начали вводить строфант, и Софья Борисовна пришла в себя. Квартирка на Петровском оживилась, Плетнев сразу же превратился в чародея, волшебника. Мара, еще недавно рассказывавшая, что на ее курсе волшебника называли Треплёвым, покаялась — и началось медленное, спотыкающееся возвращенье к жизни.

Лидочка писала мне короткие письма — многое я узнал, когда мы встретились осенью. Но как-то само собой получилось, что в эти трудные дни я мысленно был рядом с ней и Юрием и разделял их тревоги и надежды.

7

Мама не то что сердилась, но все-таки была недовольна — прошло уже недели три, как я приехал, а между тем до сих пор не собрался в Летний театр на «Бедность не порок». Тетя Люся была неподражаема, по ее мнению, в роли Любови Торцовой.

...Я пришел рано, задолго до начала спектакля, хотелось побродить по Летнему саду.

Сколько воспоминаний! Вот на этой скамейке няня Наталья сидела в своей цыганской шали, с большими кольцами-серьгами в ушах. Мы с Сашей — мальчики в дурацких красных фесках с кисточками — носились по крепостному валу. Актер Барсуков, молодой, бледный, в широкой бархатной куртке с бантом, подходил к няне, нерешительно улыбаясь.

Вот здесь мы с Алькой, замерзшие, с лиловыми щеками, ждали штрейкбрехера Плескачевского, чтобы застрелить его, когда он подойдет к своей билетерше. Противная,

прыщавая, она тоже ждала, без сомнения с другой целью, чем мы. Она ходила по дорожке возле заколоченной кассы, которая на самом деле не была заколочена и в которой — Плескачевский хвастался — у них происходили свидания. Ему повезло, что он не пришел; пожалуй, мы действительно ухлопали бы его, как это ни странно.

Черную лестницу, на которой мы с Валей встречались после спектакля, я тоже нашел — декорации по-прежнему стояли на ней, точно спускаясь по ступеням. Как боялись мы сторожа, как прятались от него, поднимаясь выше по лестнице, как волновались, когда поскрипывали перила! Мог ли я вообразить тогда, что придет время, когда с грустным равнодушием я буду вспоминать об этих свиданиях? Но надо было спешить, спектакль начинался.

Должно быть, воспоминания помешали мне, потому что первые явления прошли как во сне, перед полубессознательным взглядом. Но вот на сцене вместе с девушками появилась тетя Люся, и я пожалел, что сижу в первом ряду. Может быть, гример был плохой, но подруги и даже молодая вдова показались мне моложе, чем тетя. В разговоре с Митей она была хороша — и гордо поднятая головка, и лукавый взгляд. Фразу «Девушка девушке рознь» она сказала прекрасно. Но что-то мешало ей держаться с полной свободой. Во втором акте при словах: «Все мужчины обманщики» — она вдруг повернулась к зрителям спиной, и любовное объяснение не получилось, хотя ничего удивительного не было в том, что Любовь Гордеевну интересуют не зрители, а Митя. В сцене третьего акта, когда старый богатый купец Коршунов доказывает, что она будет счастлива именно с ним, а не с молодым мужем, тетя Люся снова повернулась к залу спиной и неестественно иронически засмеялась.

Наконец я понял, в чем дело: ей мешала коса. Не о Мите думала она, слушая Коршунова, а о своей на редкость хорошо сохранившейся, черной, до пояса, шелковистой косе!

Но все-таки она играла лучше других актеров, и, встретив ее после спектакля, я искренне поздравил ее с успехом. Без грима, в наступивших сумерках, она показалась мне еще совсем молодой. Всю дорогу я доказывал ей, что Летний театр должен ставить не Островского, а Шиллера и что тете Люсе более пристало играть Марию Стюарт, а не Любовь Торцову.

8

За несколько дней до отъезда я встретил на Сергиевской Михаила Алексеевича Голдобина — того самого студента Учительского института, который некогда предсказал мою счастливую будущность, узнав, что Хорь нравится мне больше, чем Калиныч. Прошло немало лет, и не я, а он узнал меня по фамильному сходству: я был похож на всех своих братьев сразу и подчас ловил себя на этом сходстве. Мы поговорили. Конечно, Михаил Алексеевич был уже не студентом, а директором одной из петроградских школ. Он очень изменился. Рябоватое лицо в металлических очках посуровело, прежняя серьезность не только утвердилась в нем, но как бы сделала ниже ростом, немногословнее, тверже. В нем чувствовался человек, который ничего хорошего от будущего не ждал. В Псков он приехал на несколько дней, к невесте, Розе З., которая часто бывала в нашей семье и — по словам мамы — долго колебалась, прежде чем осчастливить жениха своим решением. Разговор был для меня незначительный, но для него, по-видимому, любопытный. Он расспрашивал о положении в университете, об отношениях между студентами и рабфаковцами, о Восточном институте. Я не удержался, похвастался, рассказал о «серапионах» и, когда он спросил, о чем я пишу, предложил прочитать мою «Хронику». Михаил Алексеевич охотно согласился, я отдал ему аккуратно переписанную рукопись, и он обещал вернуть ее в ближайшие дни.

Меня не было дома, когда он заглянул к маме, и они долго говорили — о чем? Рукопись лежала на моем столе без единой пометки. Я спросил маму, понравилась ли она Михаилу Алексеевичу, и она ответила неопределенно:

— Кажется, не очень.

Похоже было, что, пока я бродил сперва по запущенному Ботаническому саду, потом по базару, где бородатые мешочники уже стояли за своими прилавками, независимо поглядывая на милиционера, мама прочла рассказ и он произвел на нее сильное впечатление.

За ужином она внимательно следила за каждым моим движением и, кажется, была довольна, что я твердо держу ложку в руке и связно рассказываю о том, как прошел

день. Немного странно было, правда, что она вдруг стала говорить со мной, как будто я был не студентом второго курса, а мальчиком, еще недавно бегавшим в коротких штанишках. Неожиданно она спросила, помню ли я, как звали детей капельмейстера Иркутского полка Фидлера, и огорчилась, когда я сказал, что не помню.

— Ну как же! Святослав, Ярослав и Рюрик. Он был немец и поэтому всех сыновей назвал славянскими именами.

Долго не мог я понять загадочного поведения мамы: то она спрашивала, не мучают ли меня кошмары, то — не случается ли, что я вдруг забываю, где нахожусь — в университете или дома...

Только ночью, когда мы улеглись, я понял, в чем дело: должно быть, Михаил Алексеевич, прочитав мою «Хронику», усомнился, находится ли его бывший ученик в здравом уме и твердой памяти, и, прощаясь с мамой, на мою беду, посоветовал ей познакомиться с рассказом.

Бедная мама! Нетрудно было представить себе, как перепугалась она, прочитав главу, которая называлась: «О преступной роли автора» и т. д. Зная ее, я предположил, что она заподозрила меня еще и в политической неблагонадежности, а это всегда заставляло ее беспокоиться: в любом блюстителе порядка она всегда видела непреодолимую силу судьбы. Но больше всего ее огорчило, без сомнения, полное отсутствие логической связи в моем произведении. Не знаю, что сказал ей Голдобин, но ведь недаром же она за ужином только что не спрашивала у меня таблицу умножения?

На другой день Михаил Алексеевич снова зашел к нам, но не для того, чтобы поговорить о моем рассказе. Он сказал, что седьмого августа умер Блок.

9

Весь день я бродил по городу, вспоминая вечер в Политехническом музее — это был единственный раз, когда я видел Блока. Мы пошли с Вильямсом, накануне отправки в лагеря, уже мобилизованные, в форме. Но в подъезде я потерял его, потом, с трудом пробравшись в переполненную аудиторию, нашел — и опять потерял, стараясь вдоль стены подойти к эстраде.

Блок вышел прямой, высокий, с зеленовато-бледным и как бы удивленным лицом. Оглушительные аплодисменты раздались, он отшатнулся и взялся руками за спинку стула, стоявшего посередине эстрады. Пока аплодировали, он раза два растерянно оглянулся к тем, кто сидел на эстраде — там был, кажется, Коган. Аплодисменты стихли наконец, и он начал читать медленно, как бы вспоминая строчку за строчкой... Потом, во втором отделении, он читал окруженный толпой, заполнившей эстраду, и, мне казалось, случайно попал в этот круг, занятый только собою. Он был далек от тех, кто слушал его в мертвой тишине; от поднявшейся и мгновенно погасшей суматохи, когда какой-то человек, по-видимому сумасшедший, пустил па воздух воздушный шарик с горящей веревочкой — шарик взлетел и погас; от записок, летевших к его ногам из взрывавшегося после каждого стихотворения зала. Почему он так крепко держался руками за спинку стула? Боялся упасть?

И с чувством горечи, раскаянья я вспомнил, как просидел весь вечер над трудной страницей арабской хрестоматии, в то время как Тыняновы пошли в Дом литераторов на 84-ю годовщину смерти Пушкина — слушать Блока. Пошла даже Лена, попросив меня позаботиться об Инночке, если она проснется.

Как они были потрясены его речью, с каким волнением говорили о ней! Блок был в белом свитере и читал просто и негромко, как читают дома, для своих. Юрий все повторял:

— «Веселое имя: Пушкин. Легкое имя». Как хорошо! Ах, как хорошо.

Он сказал, что невозможно пересказать эту речь. Но почему, уже когда мы пожелали друг другу доброй ночи, он прибавил задумчиво:

— Если бы прислушались к нему! Как это важно.

...Я вышел на набережную и долго сидел под развалинами Покровской башни. Великая была такой же, как в двенадцатом веке, когда строился Мирожский монастырь. Ни маленьких пароходиков Викенгейзера, бегавших в Корытово и Череху, ни больших, отходивших от главной пристани в Юрьев, ни нарядной моторной лодки богача Батова, стремительно пролетавшей с веселым пыхтеньем и стуком, ни купален...

Мы жили в одном городе, как же я, с десяти лет влюбленный в Блока, подражавший ему, сердившийся на себя

за то, что не в силах отделаться от его магического влияния,— как же я не постарался сказать ему — все равно какими словами,— что мое существование неразрывно связано с ним? Почему я осмелился дерзко ворваться к Белому, а при одной мысли о встрече с Блоком все немело во мне и мысль казалась невозможной, невообразимой?

Я разделся, бросился в воду и поплыл наискосок к монастырю, который белел на том берегу, одинокий, маленький, как будто выставленный напоказ под ослепительным солнцем. Не доплыл, перевернулся на спину, и меня стало медленно сносить по течению.

Да, я видел его только однажды, но, может быть, так и надо! Стал ли «Петербург» ближе и дороже для меня после того, как я встретился с Белым? Нет, Блок недаром заранее проклинал тех, кто когда-нибудь захочет ворваться в его поэзию, в его жизнь.

Ведь только замучит, проклятый,
Ни в чем не повинных ребят
Годами рожденья и смерти
И ворохом длинных цитат.

Он хотел, чтобы его жизнь осталась закрытой.

...Блаженством была прохладная, свежая, вкусная вода, мягко скатывающаяся с плеч, блаженством был чистый, громадный, беспредельно раскинувшийся надо мной воздух, которым я свободно и глубоко дышал. Жизнь прекрасна — это сказал Блок.

ОСЕНЬ 1921-го

1

Софья Борисовна выздоровела, Николай Аркадьевич и Лидочка отвезли ее, еще слабую, в Ярославль, а Юрий вернулся в Петроград, где через две-три недели должна была выйти в свет его первая книга «Достоевский и Гоголь».

Когда я приехал, он в распахнутой апашке и грязных белых штанах — день был жаркий — сидел у себя в кабинете, заваленном длинными узкими листами бумаги. Впервые в жизни увидел я корректуру: текст был набран по центру в длину, а по бокам — широкие белые поля для по-

правок. Он был один, Лена с Инночкой гуляли в садике на Греческом,— и торопился: я застал его в разгаре работы.

Мне было нечего рассказывать, а он прежде всего выложил мне ошеломляющую новость: брат нашелся. Однажды, убирая комнату в ярославской квартире, Лидочка увидела на полу, подле открытого окна, полуразорванный, измятый конверт. Она подняла его — и не поверила глазам: письмо было от Льва. Он попал в плен, был интернирован в австрийском лагере «Пархим» и надеялся вскоре вернуться домой. Но даже об этом Юрий рассказал мне наскоро, скользя глазами по листу корректуры, уже испещренной непонятными пометками и значками.

— От Лидухи было письмо, Лена тебе покажет,— сказал он.— Как ты?

Но рассказывать о себе, по всем признакам, было некстати. Я привез от мамы посылочку, он поблагодарил, кивнул и немного постоял с отсутствующим взглядом. Потом снова засел за корректуру, а я пошел в Греческий садик.

Лена читала на скамейке, в тени, и Инночка, сидя рядом с ней, к моему удивлению, тоже читала. Обе обрадовались, увидев меня, и тут же мы с сестрой наговорились вволю. Историю конверта, который почтальон бросил в окно, она рассказала с подробностями, о которых, впрочем, нетрудно было догадаться: письмо от Льва Николаевича читали и перечитывали, обнимались, плакали, смеялись — ведь он не знал, что в Ярославле его ждет не только жена, но и полугодовалая дочка.

Со своей стороны, и я подробно рассказал, как окрепла и оживилась в Пскове мама: магазин-библиотека, артистически-музыкальный кружок и даже надежда на знаменитых гастролеров, если не придется оплачивать их выступления пудами сала и пшеничной муки. О том, что тетя Люся неподражаемо играет Любовь Торцову, сестра уже знала из маминых писем.

Мы поговорили, а потом Инночка потребовала, чтобы я изобразил мага и чародея Джузеппе Бальзамо графа Калиостро, которого вчера изображал ей папа. Насилу уговорив ее отложить представление, я пообещал вернуться к обеду и пошел побродить.

Прошел ровно год с тех пор, как, свернув на улицу, показавшуюся мне не очень широкой, я спросил у случайного прохожего, как пройти на Невский проспект. Тогда

Петроград возник передо мной пустынный, суровый, свободный от всего, что было когда-либо написано или рассказано о нем. Теперь он был совсем другой, оживленный, с глуховатым, приятным стуком копыт по торцовой мостовой — появились извозчики,— а на углу Садовой и Невского я увидел даже лихача на дутиках, с синей сеткой и лампочками на оглоблях — «електрическими», совсем как у Блока. Появились отражения — в зеркальных стеклах витрин отражались быстро двигающиеся куда-то люди. Город и сам как бы двинулся — в ту новизну, которая стала заметной даже по сравнению с концом мая, когда я уехал в Псков.

Не видно было очередей, исчезли бесцветные вывески вроде «Продукты питания». На глухих стенах домов появились цветные рекламы, и среди них одна знакомая — два полураскрученных рулона красной и синей материи, лежавшие крест-накрест. Фирма «Пеклие» по окраске тканей. Открылись кафе — перед одним из них, на Садовой, я остановился с изумлением: большие стеклянные двери были распахнуты настежь, в глубине, за столиками, сидели нарядные люди. Девушки в белых передниках, в кружевных наколках плавно двигались с подносами в руках.

За стеклом витрины стоял покрытый скатертью стол, на нем хрустальные вазы с белыми булочками, пирожками, пирожными, а рядом на серебряных подносах крошечные чашечки кофе.

Не только я, многие прохожие останавливались, разглядывая эту витрину, и что-то злобное, гневное почудилось мне в их настороженных усталых лицах...

Я прошел Невский до конца. Против Александровского сада висели два огромных плаката: на одном были изображены полуголые мужчины, грозившие друг другу здоровенными кулаками, на другом, держа трубку в полусогнутой руке, загадочно улыбался Шерлок Холмс. Это были плакаты Губполитпросвета, извещавшие о новой программе Народного дома...

Слонимский еще спал, когда я зашел к нему в Дом искусств. Постучав и не дождавшись ответа, я осторожно приоткрыл дверь — он мог быть не один. Но он был один и спал, как дитя, выставив из-под одеяла розовый остренький нос.

— А, это ты? — спросил он, как будто мы вчера расстались.

Я сел на кровать, и он, лениво зевая, выложил мне новости:

— Федин болен, подозревают язву желудка. Летом собирались редко. Альманах решили назвать «1921». Горький обещал написать предисловие. Включил твою «Аксиому». По ночам на Марсовом поле прыгунчики грабят прохожих.

— Какие прыгунчики?

— Люди в саванах на пружинах. Вдруг появляются, подпрыгивают и грабят. За лето больше всех написал Иванов. Сегодня он будет читать. Придешь?

— Ах, да. Сегодня суббота!

Слонимский сбросил одеяло и сел, поставив на грязный пол голые ноги. Потом сел, как турок, опершись локтями о колени.

— Фатально нет денег,— сказал он.— Никому не хочется переписывать рукописи, а на перепечатку — ни гроша. Левка написал великолепную трагедию «Вне закона».

— Как он?

— Хорош. Но иногда лежит с градусником под мышкой. Зайди к нему.

— А нельзя в альманах дать два рассказа?

— Можно. Зощенко дает даже три. Ты написал что-нибудь?

— Да. «Хронику города Лейпцига».

Слонимский усмехнулся:

— А ты был в Лейпциге?

Я ответил, что с равным успехом он мог бы спросить, был ли Данте в аду.

— Ладно. Сейчас я оденусь, и мы пойдем завтракать в кафе «Двенадцать» на Садовой.

— «Двенадцать» — в честь Блока?

— Нет, просто номер дома. Садовая, двенадцать. У тебя есть деньги?

— Да.

— Сколько?

— Восемь косых.

Косыми назывались тысячи.

Он снова усмехнулся. Со своей черной встрепанной головой он был похож на доброго ручного вороненка.

— Как раз на белую булочку и чашечку кофе. Но я возьму у тебя только пять. В коммунальной столовой на Невском молодая богиня, которая не хочет даже смотреть

на меня, выдаст мне стакан какой-нибудь бурды и тарелку американской маисовой каши.

— Бери все. Я завтракал. Мне не надо.

— Нет, надо,— поучительно сказал Слонимский.— Ты, например, не знаешь, что на трамвае больше нельзя ездить бесплатно. Тысяча за каждый маршрут.

— Я хожу пешком.

— Все равно. Это не гуманно. Положи на стол пять и зайди к Левке. Сегодня он почему-то не ворвался ко мне с криком: «Катастрофа и паника!» Боюсь, что он опять заболел.

Я пошел к Лунцу, не достучался и вернулся домой.

2

Почему-то эта суббота была особенно многолюдной. Пришел Шкловский, редко заглядывавший к «серапионам», хотя и считавшийся «братом беснующимся». Пришли поэты из «Звучащей раковины» — так называлась группа, собиравшаяся в фотоателье известного фотографа Наппельбаума; его дочери писали стихи. Кроме Федина — он болел — «серапионы» явились в полном составе. Стояли в дверях, заглядывали из коридора, кое-кто сидел на полу. Всеволод приоделся, но, хотя на нем был хороший костюм и английские ботинки (Горький подарил ему три пары), остался совершенно таким же, каким я увидел его у Горького, — в полинявшей гимнастерке и штанах с заплатой на левом колене. Лобастый, вихрастый, толстоносый, добродушно ухмылявшийся, он был человеком уютным, вопреки грубоватой внешности, которую ничто не могло изменить.

В ту памятную субботу он держался сдержаннее, чем обычно: рассеянно смотрел прямо перед собой и значительно поджимал губы.

Под локтем у него были свернутые в трубку листы плотной бумаги — нотной, как оказалось; он получил комнату сбежавшего композитора, и хотя приходилось писать на рояле, стола не было), зато после хозяина остался запас нотной бумаги.

Наступило молчание. Он оглядел комнату и сказал:

— Названия еще нет.

Потом, помедлив, прибавил:

— Поэма.

3

В книге «Горький среди нас» Федин писал, что «никогда в иное время семь-восемь молодых людей не могли бы испробовать столько профессий, испытать столько жизненных положений, сколько выпало на нашу долю. Восемь человек олицетворяли собою санитара, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, учителя, кавалериста, певца, им пришлось занимать десятки самых пестрых должностей, они дрались на фронтах мировой войны, участвовали в гражданской войне, они слишком долго и слишком часто видели в глаза смерть».

Список далеко не полон: Зощенко был еще и дегустатором, и милиционером.

Но самые необыкновенные из профессий принадлежали Всеволоду Иванову,— все-таки никто, кроме него, не протыкал себя булавками и не глотал огонь перед изумленной аудиторией. Впоследствии он уверял меня, что это не так уж и сложно.

Но сразу вспыхнувший интерес к нему вовсе не был связан с необычностью его биографии. Напротив, каждый его рассказ,— а он приходил по меньшей мере раз в месяц на «серапионовские чтения» с новым рассказом,— поражал своей «обыкновенностью», которая потому и была его силой, что представляла собой первую живую запись того, что происходило в стране. Тогда я не понимал, что это — мнимая обыкновенность. Девятнадцатилетний студент, увлеченный возможностью устроить в литературе свой мир, а в этом мире свой беспорядок, я не понимал тогда, что «бытовизм» Иванова бесконечно далек от сознательного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе.

Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета! В книге, которая недаром так и называется «Цветные ветра», эта смелость достигает размаха, который подлинным «бытовикам» показался бы кощунством.

Без сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, явившаяся как бы непроизвольно, фантастическая сторона революции и гражданской войны, которая никем еще тогда не ощущалась в литературе. Он

раньше Бабеля написал эту фантастичность в революции как нечто обыкновенное, ежедневное. Именно эта черта и сделала его «Партизанские рассказы» литературным фактом принципиального значения. На фоне необычайности того, что происходило в стране, история, рассказанная в «Дитё», кажется естественной, хотя она глубоко противоречит представлениям устоявшегося дореволюционного мира. Вот почему, когда в 1922 году я спросил Иванова, кто, по его мнению, пишет сейчас лучше всех, он ответил: «Разумеется, Бабель».

Это показалось мне шуткой. Имя Бабеля я услышал впервые.

Иванов был человеком, редко удивлявшимся, почти не принимавшим участия в спорах, но умевшим слушать,— за его тогдашней молчаливостью скрывалась огромная, вскоре сказавшаяся жажда познания.

Мне кажется, что Иванов как писатель сложился в те молодые годы. Уже тогда его героями были глубоко задумавшиеся люди, правдолюбцы, пытающиеся найти единственную в мире, выкованную в муках справедливость. Уже тогда они искали ее, путаясь в снежной пыли, как путается и не может уйти от заколдованного селезня Богдан в рассказе «Полынья».

В книге «Тайное тайных», составившейся из рассказов первой половины двадцатых годов, талант Иванова развернулся с определенностью и силой. Дело было не только в том, что Иванов первый в советской литературе соединил опыт гражданской войны с глубоким знанием сибирской деревни. И это немало. Но главное все-таки заключалось в том, что этот опыт был окрашен любовью к необычайному, глубоко свойственной русскому характеру и русской литературе. Быт интересовал Иванова не сам по себе, а как путь к «тайному тайных», к глубоко запрятанной сущности человеческих отношений, загадочно и остро раскрывшихся в годы исторического перелома. Иногда это — широкий путь, по которому, сидя в автомобиле с женой недвижно, как перед фотоаппаратом истории, ведет своих партизан Вершинин. Иногда — извилистая, теряющаяся в песках Тууб-Коя тропинка Омехина, выбирающего между совестью, долгом и острой жаждой любви.

Нарушение традиционных представлений возникло в его творчестве как отражение тех неожиданностей, которые пришли с революцией. Жизнь предстала перед ним как галерея неограниченных возможностей — о них он и

стал писать, вдохновленный Горьким, который понимал и поддерживал его дарование.

Вот откуда взялся его интерес к русской фантастике, к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. Он искал и находил любимую традицию и в прошлом русской литературы.

4

Но вернемся к той серапионовской субботе, когда Всеволод пришел к нам со своей поэмой. Слушая ее, я вспомнил Псков, масленицу, катанье с гор, блины, одноглазого мещанина в венгерке с поперечными шнурами на груди, который привозил на ярмарку панораму: картинки, склеенные в ленту, перематывались с валика на валик. Через увеличительное стекло можно было увидеть нападение разбойников, коронацию государей. Показывая русских за границей, он говорил нечто вроде: «Наша русская знать любит денежки мотать, едет в Париж верхом, возвращается на палочке верхом».

Поэма Всеволода напомнила мне раешник. Однако он читал ее бодренько, помахивая в такт левой рукой и не сомневаясь, очевидно, что написал превосходную вещь.

Слушатели сидели полураскрыв рты. У Слонимского было растерянное лицо. Лунц, переглядываясь со мной, едва удерживался от смеха. Только Зощенко слушал внимательно, задумчиво, терпеливо. Самый тонкий и наблюдательный среди нас, он сразу же понял, что поэма написана в разгаре счастливого сознания самой возможности работы, сопровождавшейся уверенностью в успехе. Всеволод, который, по общему мнению, писал все лучше и лучше, вообразил, что ему под силу все что угодно — философский трактат, критическая статья, роман в стихах. Находили же в его лирических отступлениях подлинную поэзию, хотя и сетовали, что они длинноваты!

Возможно, что это поняли и другие, потому что обсуждение шло в мягком, недоумевающем духе, Шкловский сказал, что есть хорошие строчки. Почти стали сравнивать неожиданную поэзию Иванова с его прозой, и, уж конечно, не в пользу поэзии. Ничего не понял, повидимому, только я.

Обрушившись на поэму, я доказал, что она неудачна в композиционном, стилистическом и эвфоническом отношении. Я упрекнул Всеволода в бедности воображения, в банальности и, наконец, в том, что быт у него «не остранен» и остается обыкновенным бытом, таким же, как покупка трамвайного билета или заливка калош.

Всеволод сидел, опустив голову, никому не возражая, и был, кажется, скорее удивлен, чем озадачен. Я не заметил, что моя пылкая речь произвела на него сильное впечатление.

— Ясно,— коротко сказал он и свернул в трубочку листы нотной бумаги.

В своих воспоминаниях Слонимский пишет, что, возвращаясь домой, Всеволод бросил поэму в Неву.

...Обсуждали ее недолго, и расходиться никому еще не хотелось. Поэты стали читать стихи. К «Звучащей раковине» «серапионы» относились слегка иронически — и несправедливо, хотя бы потому, что в этой группе был талантливый Вагинов. Стали просить его, он отказался, и тогда выступил Геннадий Фиш, впоследствии известный писатель, а тогда, кажется, еще школьник — только через год я увидел его в университете.

Худенький, но крепенький, коренастый, он прочел стихотворение памяти Блока, в котором через каждые три-четыре строки повторялись слова:

Умер, умер, умер
Александр Блок.

Что взорвало меня в этом стихотворении? Может быть, его странный информационный характер — ведь было широко известно, что Блок умер и что его звали Александром, а не Алексеем? Или банальности, особенно раздражавшие, потому что они были связаны с трагическим событием, свежая острота которого еще болезненно ощущалась? Не знаю. Но я налетел на стихотворение и разругал его презрительно, уничтожающе, дважды перепутав при этом фамилию автора: сперва я назвал его Фриш, а потом Фирш.

Суббота не удалась. Ушли «гостишки», ушел ничуть не раздосадованный Всеволод, сказав мне на прощанье с уважением, но, может быть, и с оттенком иронии:

— Культура мозга.

Остались только Зощенко, Полонская, Слонимский и я.

В комнате было сильно накурено, открыли форточку, вышли в коридор.

И в эту минуту сдержанный, мягкий, вежливый Зощенко вдруг сказал мне с раздражением:

— Нельзя лезть в литературу, толкаясь локтями.

Наступило молчание. Слонимский и Полонская промолчали в ответ на мой вопросительный взгляд. Я лезу в литературу? Толкаюсь локтями? И передо мной — это случалось только в обстоятельствах неожиданных, непредвиденных и только поэтому сохранившихся в памяти на удивление живо,— передо мной как в зеркале появился самоуверенный, самодовольный мальчик, неизвестно чем гордящийся, заносчивый, не сумевший оценить той счастливой случайности, которая привела его в круг людей, много испытавших, научившихся мягкости, доверию, вниманию и относившихся к нему с незаслуженными мягкостью и вниманием.

Это был урок, который давало мне будущее, и во мне нашлось достаточно зоркости, чтобы его оценить, хотя и ненадолго. Немало еще прошло времени, прежде чем я сделал для себя выводы из этого и тысячи других уроков!

Я ничего не ответил Зощенко. Мы простились и разошлись.

В тот же вечер, а может быть, на другой день, надевая пальто, я нашел в кармане обрывок бумаги. Почерк был знакомый: корявый, детский. Почерк Виктора Шкловского. Записка состояла из одного слова: «Сволочонок».

ВОЗВРАЩЕНЬЕ ЛИДОЧКИ. АКАДЕМИК ПЕРЕТЦ

1

После знакомства с родителями Анечки М. я почти перестал бывать у нее. Зато она часто заглядывала ко мне, а потом писала длинные письма, в которых «выясняла отношения», как это любят девушки во все времена.

Трудно было догадаться, за что она на меня сердится. Может быть, за отсутствие смелости, необходимой для решительного поступка?

Упрек был несправедлив. Меня удерживало не отсутствие смелости, а неопределенная догадка, что наши легкие отношения неизбежно перейдут в более сложные, а для более сложных, кроме желания, которое в равной мере испытывали мы оба, нужно было что-то еще или даже совершенно другое.

Однажды, вернувшись от Анечки, я показал Юрию ее подарок — заграничную зажигалку. Он хмуро пробормотал что-то, а потом в соседней комнате с раздражением сказал Лене: «Они его поженят!»

Но опасения были напрасными. Я понимал, что, женившись на Анечке, я одновременно женился бы на ее кудлатенькой сестре, на маме с птичьей головкой и на папе, который утверждает, что в наше время не каждый имеет хлеб с маслом.

Проще было с островичкой Зиной. Но она оказалась стеснительной и, хотя я не раз приглашал ее к себе, уклонялась и не приходила.

В ответ на мои тонкие размышления о преимуществе сюжетной прозы перед орнаментальной она только кивала. Едва взглянув на ее смуглое лицо с челкой, на плотно лежавшие подстриженные волосы, на крепко ступавшие тяжеловатые ноги, сразу же становилось ясно, что она трезво смотрит на действительность, в которой определенное место займет и то, что может произойти между нами. Словом, она проигрывала в сравнении с Анечкой — беленькой, всегда взволнованной и хотя недалекой, но симпатичной.

Так обстояли мои дела, когда из Ярославля, немного опоздав к началу занятий, приехала Лидочка Тынянова.

Я не очень скучал без нее. Неясно было, что изменилось в моей жизни, когда она уезжала, но ходить, например, без нее в университет казалось мне бессмысленным занятием.

Минуты, когда я ждал ее на перроне Московского вокзала, запомнились мне, хотя запоминать было нечего, кроме того, что я почему-то немного волновался.

Лидочка вышла из почтового вагона. Софья Борисовна рассчитывала, что под присмотром служащего связи, возившего почту и посылки в Петроград, за дочку можно не беспокоиться — и ошибалась. Маленькая, в сандалиях, в чем-то легком,— было тепло,— она, улыбаясь, шла мне навстречу...

Дорогой я узнал от нее новые подробности о болезни

матери. Выздоравливая, Софья Борисовна ежеминутно плакала от умиления. Все казались ей добрыми, красивыми, великодушными. Плетнев спросил ее, помнит ли она его, и она восторженно ответила:

— Конечно, помню, профессор. И Ионика помню, и Сильву.

Ионик был ночным сторожем в местечке под Режицей, а Сильва — его сыном.

Впервые за два месяца в квартирке на Петровке раздался смех: за дверью Николай Аркадьевич и Юрий, давясь и хватаясь за животы, грозили друг другу.

Лидочка была еще полна пережитым: с волнением она рассказала, как нашла на полу, под открытым окном, письмо пропавшего без вести брата. Потом были новые письма: Лев Николаевич известил, что вскоре он будет освобожден и проедет через Петроград.

— Может быть, даже совсем скоро. В октябре или ноябре.

Лидочку радостно встретили Юрий и Лена. Инна не отходила от нее ни на шаг, и сразу стало ясно, чего не хватало в доме — уюта.

2

На необязательный семинар по древней русской литературе мы стали ходить потому, что его интересно вел академик Владимир Николаевич Перетц. И не только интересно, но требовательно — это-то и привлекало. Кроме того, меня интересовал вопрос, который в наши дни кажется наивным. Пожалуй, его можно выразить так: «Почему, в отличие от духовной, не сохранилась светская литература древней Руси? Откуда взялся после «Слова о полку Игореве» провал едва ли не в пять столетий?»

Перетц казался нам стариком, хотя ему едва минуло пятьдесят лет,— понятие о возрасте с двадцатых годов изменилось. Высокий, прямой, начинающий полнеть, но еще изящный, он поражал безусловностью своих мнений. По тщательности, с которой он одевался, по демонстративной манере говорить и держаться нетрудно было заключить, что он недоволен тем, что происходило в университете. Иногда, приступая к лекции, он надевал шелковую ермолку на большую, начинающую лысеть голову. Ер-

молка была как бы свидетельством незыблемости академической науки. Полагая, что надо заниматься областями, еще не изученными, он душил нас комедиями Симеона Полоцкого, которого я ненавидел. Тоническим стихом, как он доказывал, впервые стал писать не Тредьяковский, а какие-то два немца — академики. Эта работа Владимира Николаевича была убедительна, но непопулярна: всем казалось обидным, что Тредьяковского опередили немцы.

Он был убежден, что ранние браки мешают развитию научного мышления: до магистерской диссертации он запрещал своим ученикам жениться и выходить замуж. Иногда он прерывал апологию какого-нибудь древнего летописца отступлениями, посвященными этой теме, живо интересовавшей аудиторию.

У него были свои причуды. Однако с наукой он не шутил, в прятки не играл и не пользовался ею для посторонних целей. Этому мы у него и учились.

3

Я не заметил, когда и почему изменились наши отношения, а уж Лидочка и подавно. Теперь мы больше времени проводили вместе, у нас появился общий интерес. История древней литературы — сравнительно редкий повод для сближения молодых людей, однако именно в кругу ее понятий мы лучше узнали друг друга. Семинар Перетца мы почти не пропускали, а потом часами сидели в рукописном отделе Публичной библиотеки, она — над «Сказанием о Иосифе Прекрасном», я — над «Повестью о Вавилонском царстве».

Горбатый на одно плечо, маленький старик приветливо встречал нас — это был Иван Афанасьевич Бычков, знаменитый хранитель рукописей, о котором великие русские филологи упоминают с признательностью и любовью. Мой учитель И. Ю. Крачковский посвятил ему первую главу своей глубокой и поэтической книги «Над арабскими рукописями»: «Все располагало здесь к работе... по временам даже трудно было поверить, что за стеной кипит шумная, уличная жизнь. Неустанно пишет Нестор-летописец застывшей белой статуей, для которой здесь нашлось такое хорошее место. Тихо движется фигура верного хранителя рукописных сокровищ, всегда готового

прийти на помощь и советом и справкой... при жизни уже перешедшего в историю и легенду».

Случалось, что и нам Иван Афанасьевич помогал, принося новые списки, подсаживаясь, чтобы разобрать трудные строки.

Мы приходили сюда как на стражу. Мы берегли чью-то тайну. Нас сближала высокая серьезность, которою было проникнуто все происходившее среди этих суровых стен, безмолвие, осторожные шаги, негромкие голоса, переходившие в шепот...

4

Но были и другие поводы, менее значительные, чем история древней литературы.

Белая булочка стоила тысячу рублей — цена трамвайного билета, и вопрос о том, купить ли по булочке или ехать на трамвае, неизменно решался в пользу булочек. Таким образом, два часа — от дома до университета и обратно — мы проходили наедине в шумном городе, стремительно — от недели к неделе — менявшемся на наших глазах.

Трудно или даже невозможно вспомнить, о чем мы говорили,— уж наверно каждая серапионовская суббота была рассказана в подробностях, о которых ее участники, может быть, не подозревали. Лидочка больше слушала, чем говорила, но слушала живо, с интересом и в то же время скромно — этого было более чем достаточно для моего красноречия.

Иногда к этим двум часам присоединялись еще два — когда Юрий получал в Коминтерне театральные билеты. Он ходил редко, и мы с Лидочкой, наскоро пообедав, не переодеваясь, снова надолго оставались одни — до Мариинки было почти так же далеко, как до университета.

Город был уже совсем другой — синий, с поскрипывающим снегом, с загадочно проступившими очертаниями зданий. Мы шли и молчали...

Я не только не ухаживал за Лидочкой, но мне и в голову не приходило поставить ее рядом с другими,— может быть, и это помогало нашему сближению?

Случалось, что я рассказывал ей о своих замыслах,— это была пора, когда Горький настоятельно советовал мне

перейти на русский материал. В рассказе «Столяры» я вновь вернулся к идее «оживающих подобий». Но на этот раз оживал не манекен, не отраженье в зеркале, не рисунок, не тень. И действие начиналось не в Лейпциге, а в Пскове. Однако не обошлось без немцев: химик и философ Шлиппенбах оживлял статую деревянного мальчика, которого вырубил из дуба старый, бездетный столяр Ефим.

Рассказывая, я придумывал новые, неожиданные повороты сюжета, и мне нравилось, когда Лидочка удивлялась и начинала невольно смеяться.

НЕ ОСТАВИВ СЛЕДА

1

Осенью 1921 года Льва Николаевича ждали со дня на день, и все-таки он приехал неожиданно: в шесть утра колокольчик у кухонной двери поднял на ноги весь дом.

Тогда я впервые увидел его: маленького роста, плотный, широкоплечий, с твердой походкой, он был и похож на Юрия, и поразительно непохож. Черные волосы лежали плотными ровными складками на большой голове, нос короток, толстоватый лоб изрезан поперечными морщинами, преждевременными, потому что ему только что минуло тридцать лет. Юрий был изящен, и хотя от души смеялся, когда ему говорили, что он красив, но действительно был красив, в этом легко убедиться, взглянув на его портреты. О Льве Николаевиче никто бы этого не сказал. Юрий смотрел из-под прикрытых век, немного исподлобья, и что-то тайно-веселое, легкое было в задумчивом взгляде. У Льва Николаевича глаза говорили не больше и не меньше того, что он сам говорил. Его смело можно было назвать русским врачом в историческом значении этого слова. Если бы можно было наложить один на другой бесчисленные психологические портреты русских врачей с пироговских или даже гаазовских времен, Лев Николаевич предстал бы перед нами как живой, с его «готовностью во всякое время помочь страждущему по наилучшему своему разумению», с его склонностью к позитивизму и любовью к Салтыкову-Щедрину.

2

В лагере «Пархим» он был гарнизонным врачом и одновременно работал в инфекционном и туберкулезном бараках. Вместе с ним была освобождена Лариса Витальевна Шмидт, тоже врач, молодая женщина, которую он пригласил, проездом через Петроград, остановиться у брата.

Когда в шесть утра разбуженный дом шумно встречал приезжих, я удивился тому, как легко нашла свое место эта Лариса Витальевна в поднявшейся суматохе. Она стояла в стороне, скромная, сдернув буденовку, из-под которой густые белокурые волосы рассыпались по плечам, и, казалось, только и ждала, когда уляжется радостный шум, восклицанья, расспросы. Уже через полчаса она помогала Лене готовить завтрак, Лидочке накрывать на стол, а мне, узнав, что я ухожу на весь день, сунула несколько крепких, как железо, солдатских сухарей. Я рассмотрел ее за завтраком, хотя она то и дело бегала на кухню: она была прямая, плотненькая, с ясными, навыкате, голубыми глазами и вся как бы немного навыкате со своим желанием всем помочь, всюду поспеть и на все отозваться. С первых минут знакомства чувствовалось, что хотя она не забывает о себе, но существует все-таки для других и это не только не тяготит ее, а, напротив, кажется веселым и даже забавным.

За столом она подшучивала над Львом Николаевичем, который на нетерпеливые расспросы брата отвечал ему таким обыкновенным голосом, с таким обыкновенным лицом, точно он вернулся из очередной командировки, а не участвовал в тяжелых боях, не попал в плен и не провел в лагере около года.

Я еще не успел уйти в институт, а Лариса Витальевна была уже своим человеком в доме. Перетерла посуду, побродила недолго в большой, неуютной барцевской кухне, где на полках еще стояли никому не нужные медные кастрюли, и вдруг сказала:

— Надо ее помыть.

Когда я уходил, работа уже кипела: подоткнув юбку, Лариса Витальевна, которую все уже звали просто Лариса, терла пол и маленькими, крепкими руками лихо выкручивала тряпку над помойным ведром.

— Какая вы...— невольно залюбовавшись ею, сказала Лена.

— Ядреная, да? — подхватила Лариса Витальевна смеясь.— Это и называется «ядреная».

На нее было приятно смотреть. Я ушел с впечатлением женской прелести, свежести, силы.

3

Это был скучный, утомительный день, хотя начался он забавно. В арабском тексте (кажется, это была одна из сказок «Тысячи и одной ночи») встретилась страница, которую Крачковский предложил пропустить. Кто-то спросил: «Почему?» Он ответил уклончиво, с лукавой улыбкой. Можно было не сомневаться, что, вернувшись домой, вся группа возьмется за эту страницу. Взялся и я, но бросил, встретив слова, которые не нашел в словаре,— по-видимому, названия каких-то растений. На загадочной странице старшая жена шаха рассказывала о том, как ей удавалось надолго сохранять любовь своего властелина: каждый вечер она вновь становилась девицей. Предлагался рецепт. Поводы, для того чтобы изучить его, были: Гуля и Маршида-ханум, не зная, как сложится жизнь, решили, по-видимому, заранее запастись драгоценными сведениями, наш историк медицины Якубовский заинтересовался рецептом с медицинской точки зрения, а Салье, который прекрасно знал язык, прочитал страницу из естественного любопытства.

Я подивился такту Крачковского: невозможно было догадаться, что он недоволен. Едва коснувшись опасных строк, он пропустил их и сам стал переводить дальнейший текст, толкуя его изящно и свободно.

Как всегда, из института я опрометью побежал в университет на семинар Перетца и опоздал, войдя вместе с девицей, которая сказала:

— Извиняюсь.

Этого было достаточно, чтобы Владимир Николаевич сперва передразнил ее, а потом прочел маленькую лекцию о том, почему надо говорить не «извиняюсь», а «извините» и почему гораздо вежливее ответить просто «да», чем «определенно» (он произносил «опрделенно»). И день пошел путаясь, спотыкаясь. В университете было пустовато без Лидочки, хотелось есть, два каменных солдат-

ских сухаря только разожгли аппетит, в буфете не было ничего, кроме коржиков из мороженых овощей и кирпичного чая. За прилавком на высоком стуле сидела кудлатенькая, которая мстительно сообщила, что меня сняли с чайного довольствия потому, что я не сдал минимум за первый курс. Она была права: я не сдал латынь.

— А если сдам?

— Тогда внесем в список,— сухо ответила она.

Очевидно, мои продовольственные дела в университете связывались в ее сознании с отношениями между Анечкой и мной. Латынь читал профессор Гельвих, толстый, равнодушный, какой-то неухоженный (должно быть, одинокий), с седой бородой и огромным желтым ногтем на мизинце правой руки. Этим ногтем он пользовался как указкой: открывал книгу и отчеркивал место, которое студент должен был перевести.

Я нашел его в библиотеке и попросил принять зачет. Он согласился. Мы прошли в пустую аудиторию. Было еще тепло, никто не носил пальто, но на нем было старое, разбухшее пальто, а в руках порыжевшая шляпа, которую профессор почему-то поставил на пол.

— Нуте-с,— сказал он и спросил что-то несложное из грамматики, кажется знаменитый ut consecutivum.

У меня не было сомнений в том, что латынь можно сдать без подготовки. Бекаревич, требовательный педагог, занимался с нами пять раз в неделю, мы читали Цезаря и Овидия, писали трудные классные работы. Мог ли я вообразить, что через два-три года не отвечу на вопрос, в каких случаях употребляется ut consecutivum?

Гельвих помолчал, а потом обидно спросил:

— Вы что, в солдатах служили?

С грехом пополам я перевел какой-то нетрудный текст, и Гельвих хотел поставить мне зачет — очевидно, у него не было желания еще раз встречаться со мною. Но я поблагодарил, извинился и все-таки не дал ему матрикул: устыдился, а старика почему-то пожалел.

4

Гости украсили ужин своим командирским пайком, и это были не каменные сухари, а свежий, очень вкусный хлеб, яблочное повидло и тушенка — не та, которую при-

сылала нам АРА (мы иногда получали ее в Кубуче), а настоящая, розовая.

Юрий был очень оживлен в этот вечер. Только что вышла его первая книга «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)». Лариса Витальевна расспрашивала о ней, но сразу же стало ясно, что глава, в которой раскрывалась сущность пародии, едва ли будет понятна военным врачам. Их заинтересовало другое — самый факт, действительно необыкновенный. В «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевский под именем Фомы Опискина изобразил не кого иного, как Гоголя.

— И это открыли вы? Вы первый? — живо спрашивала Лариса Витальевна.— Никто прежде вас об этом не догадался? Так ведь это же великое открытие?

Юрий засмеялся:

— Уж и великое. Само по себе оно еще ничего не значит.

— Как же он изобразил? Значит, он смеялся над ним? Вы пишете, что даже наружность Гоголя описана совершенно точно.

И она взяла маленькую беленькую книжечку, лежавшую на краю стола.

— «Наружность Фомы тоже как будто списана с Гоголя»,— прочитала она с торжеством.— «Плюгавый, он был мал ростом, белобрысый, с горбатым носом и маленькими морщинками по всему лицу...» Неужели Гоголь был маленький? Мне всегда казалось, что великие писатели были огромного роста. Гомер в моем представлении был не просто Гомер, а Го-мер,— это было сказано с торжественным выражением.

Лариса Витальевна была такая же свежая, легкая, как утром, когда она только что появилась. Домашнее платье шло к ней, косынка прикрывала круглые, крепкие плечи, и она расспрашивала Юрия так энергично, так живо, как будто отношения между Гоголем и Достоевским действительно больше всего на свете интересовали ее.

На другой день я понял, что в этом неожиданном интересе, в этой настойчивости было... Не знаю... Может быть, бессознательное желание уйти от себя, заслониться. В разгаре беседы она задумывалась и тут же спохватывалась со смехом, что снова задумалась, хотя для этого нет никакой причины.

Юрий положил перед собой «Село Степанчиково» и

«Переписку с друзьями», решив все-таки объяснить, «почему его открытие само по себе ничего не значит».

Сперва он читал — и мастерски, а потом стал изображать: Фома Опискин вдруг появился в комнате, многозначительный, душеспасительно-скромный, вещающий, шаркающий, но с достоинством, как и подобает великому человеку.

Мы смеялись до колик, когда в высокопарный стиль стали неожиданно врываться такие слова, как «голландская рожа», «подлец», «халдей», «моська». Так было в тексте. Но вскоре был отставлен, забыт текст. Юрий стал импровизировать, и Фома получался у него современный, чем-то похожий на нашего любившего поучения управдома. «Я хочу любить, любить человека, а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека,— кричал он.— Дайте, дайте мне человека, чтобы я мог любить его».

А потом — это было страшно — Юрий накинул на себя не помню что, может быть плед, и превратился в Гоголя: губы набрякли, лицо вытянулось, увяло. Опустив глаза, он весь ушел в кресло, как будто прячась от кого-то, и заговорил голосом негромким, мертвенно усталым: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном».

В «Селе Степанчикове» было: «О, не ставьте монумента,— кричал Фома,— не ставьте мне его. Не надо мне монументов. В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо».

Слова были почти те же, но теперь в них звучало не самодовольство, а безнадежность. Не требовательность, а смирение, отмеченное, может быть, чуть заметной чертой своей исключительности, своего божественного избрания.

— Так ведь вы же великий актер,— сказала потрясенная Лариса Витальевна.— Зачем вам история литературы? Вы — комик и одновременно трагик. Я даже не знаю, что сказать! Можно, я вас поцелую?

— Конечно, можно,— сказал Юрий, целуя ее руки. Но она отняла руки и расцеловала его в обе щеки.

— Ну, что вы! Так смешно? — спросил Юрий.— А ведь это было трагедией.

— И подумать только, что я в тринадцать лет читала Гоголя и скучала!

Никому не хотелось расходиться, и больше всех, кажется, Ларисе Витальевне.

— Поздняя ночь,— сказала она с неожиданным вздохом.— И надо расставаться. Время не ждет. А жизнь, как это ни странно, состоит из встреч и разлук.

Лена устроила ее в просторной, пустой комнате, которой мы не пользовались зимой. Должно быть, в барцевские времена здесь была гостиная — потолок лепной, на стенах — бронзовые канделябры, которые он почему-то не увез.

Мы пожелали друг другу доброй ночи. Я ушел к себе, но долго еще доносился до меня негромкий разговор из кухни — женщины мыли и вытирали посуду. Детский голос Лидочки вдруг отчетливо прозвучал — она чему-то удивилась.

Потом все смешалось, я задремал, впечатления дня вернулись и не вернулись. Все поплыло, кануло, ушло. Существованье стало уже несуществованием, а в этом светло-убаюкивающем несуществовании я не то что увидел, а угадал нашу кухню и в уголке скромную, милую женщину с голубыми глазами навыкате, с белокурыми волосами, рассыпавшимися из-под сдернутой буденовки.

Кто-то кричал, но так не хотелось просыпаться, что, натянув на голову одеяло, я постарался уйти в ускользающий сон. Но уйти не удалось: натыкаясь на стены, шаря в темноте руками, распахивая двери, кто-то метался по коридору.

— Боже мой! — услышал я, едва узнав растерянный голос сестры.— Скорее, скорее!

Все были полуодеты, все вскочили с постели и, мешая друг другу, бросились в комнату, где была Лариса Витальевна.

Уже пожелав ей спокойной ночи, Лена наступила в в темноте коридора на халатик (в нем Лариса Витальевна мыла посуду) и, заглянув к ней, нашла ее задыхающейся, смертельно бледной, в судорогах сползающей на пол. Расширенные, уже помутневшие глаза были мучительно скошены, голова запрокинулась, рот страдальчески неподвижен. Лариса Витальевна отравилась.

Что сказать об этой страшной ночи?

Больница была в двух шагах, но машину почему-то достать не удалось. Пришли санитары и понесли ее, стран-

но изогнувшуюся, с выпавшей из-под одеяла, безжизненно упавшей рукой.

Мы остались в садике у больницы, хотя сестра из приемного покоя вышла и крикнула резко: «Нечего ждать!» Пошел дождь, зашумела осенняя, уже полусухая листва. Мы стали просить Юрия пойти домой, и он побрел, согнувшись, подняв воротник пальто, растерянный, потрясенный.

Лев Николаевич провел в больнице всю ночь, а мы с Лидочкой ходили, ходили по садику молча, как виноватые, не осмеливаясь взглянуть друг на друга. Я предложил принести зонтик, она отказалась. Дождь едва накрапывал, и можно было спрятаться от него у крыльца приемного покоя. Мы молчали. Совершившееся настолько превосходило все, что можно было сказать о нем, непостижимость его была так очевидна, что любые слова как бы отпрядывали назад, оглядываясь и пугаясь. Украдкой я посмотрел на Лидочку: в ее лице детские черты — маленький подбородок, чуть широковатые скулы — как будто обострились, посерьезнели в эту ночь, и, хотя мы молчали, я чувствовал, что она не в силах расстаться с надеждой на чудо. Конечно, только на чудо, потому что мы оба видели лицо Льва Николаевича, когда, догнав носилки, он спрятал под одеяло маленькую, бледную руку.

Он вернулся утром, измученный, посеревший, и, коротко сказав: «Умерла», добавил, что должен немедленно явиться в штаб, чтобы доложить о смерти Ларисы Витальевны. Эшелоны с возвратившимися бойцами стояли на Варшавском вокзале.

5

Лариса Витальевна не оставила записки. По словам Льва Николаевича, ее жизнь в лагере ничем не отличалась от жизни других врачей. Возможно, что она с кем-то переписывалась. Гарнизонный врач, под началом которого были десять тысяч интернированных, он знал ее мало — она работала в хирургическом бараке, а он в инфекционном и туберкулезном. В случайных встречах не было ничего, что могло бы навести на мысль о трагической смерти.

Но может быть, что-либо неожиданное случилось в день ее приезда? Лена, оставшаяся дома, когда мужчины

разошлись по делам (Лидочка с Инной были в саду), рассказала, что Лариса Витальевна отлучилась куда-то, но ненадолго и вернулась расстроенная, но вскоре снова повеселела. Надеялась ли она, что кто-то ждет ее в Петрограде? Поставила ли она в этот день свою жизнь на карту — и проиграла?

Но не только записку она не захотела оставить. В больницу ее не хотели принимать, потому что при ней не оказалось никаких документов,— и приняли только по настоянию Льва Николаевича, из уважения к его военному званию.

Откуда это стремление исчезнуть, не оставив следа? Приговоренный к смерти еще владеет неисчислимым богатством, своей памятью, в которой таится бессознательная надежда. Он существует потому, что воображение отказывается признать неизбежность разрыва между существованием и отсутствием существования.

Человек, решившийся на самоубийство, стремится приблизить этот разрыв, поставить крест на своем прошлом, понять невозможность преодоления тоски, почувствовать нестерпимую жажду покончить с ней и, стало быть, с жизнью, в которой ничего, кроме нее, не осталось.

Но где же, когда же показалась в Ларисе Витальевне эта тоска? Как могли мы ее не заметить? Да что мы! Юрий, Юрий, с его непостижимым чутьем, с его уменьем угадывать тайные, скрытые движения души?

Эта история попала в мою книгу, потому что заставила задуматься о многом. С чувством изумления и беспомощности остановился я перед чужой жизнью, навсегда оставшейся нераскрытой. Рядом с моим мальчишеским честолюбием, самоутверждением, жаждой славы я невольно поставил полное отрицание Памяти о прошлом, величие скромности, обдуманное стремление исчезнуть бесследно.

Эта смерть, которую нельзя было выдумать, показалась мне фантастичнее моих фантастических рассказов.

ДРУГ

1

Зима сперва раскачивалась нехотя, как в прошлом году, потом ворвалась неожиданно, с резким, холодным ветром, с колючим снегом, сразу преобразившим

город. И получилось удачно, что вместо гонорара Юрий получил за книгу «Достоевский и Гоголь» воз дров.

Мы с Лидочкой получали эти дрова на складе у Биржевого моста, и, хотя возчик попался неразговорчивый, хмурый, все же и он наконец разговорился — так мы были оживлены и так много и весело болтали дорогой.

Лидочка вспомнила чью-то, кажется Зенкевича, строчку, «Святые слова — дрова». В холодной красивой белизне березы, которую мы получили, действительно было что-то святое. Я возился потом с этими дровами, вспоминая, как нам было беспричинно весело, когда мы их получали.

...Давно пора было выступить с рефератами на семинаре Перетца, и у Лидочки дело продвигалось успешно, а у меня — не очень. Среди высоких стен архивного отдела, где за стеклами стеллажей старинные рукописи десятилетиями терпеливо, с достоинством, ждали, когда к ним протянется человеческая рука, Лидочка, аккуратно причесанная на пробор, с уложенными косами, в скромном, только что выглаженном платье, обменивалась с Иваном Афанасьевичем двумя-тремя учтивыми фразами — иногда по-французски — и, не теряя времени, усаживалась за свое «Сказание о Иосифе Прекрасном».

Принимался и я, невольно вздохнув. Нельзя сказать, что меня больше не интересовали отношения между Соломоном и царицей Савской, но к сопоставлению списков, к выяснению важного (по мнению академика Перетца) вопроса о том, который же из них древнее, присоединялось что-то еще... Лидочку я знал теперь так хорошо, что почти всегда угадывал, когда она находила в тексте что-нибудь новое для своего реферата. Она не улыбалась, но тень улыбки пробегала по свежему лицу. Замечала ли она, что я украдкой поглядываю на нее? Догадывалась ли о том неопределенном, но благодарном чувстве, которое я почему-то испытывал не только по отношению к ней, но и к Ивану Афанасьевичу, и к архивному отделу? Не знаю. Мы ходили сюда вдвоем, сидели рядом, почему-то я радовался этому — и только.

2

На каждом семинаре была своя, особенная атмосфера. У Перетца — академически-строгая, требовательная, деловая. Незаметно, но с толком он отбирал среди нас тех, кто способен охотно и с живым интересом заниматься древней русской литературой.

Совсем другая, свободная, радушно-легкая атмосфера была на семинаре, который вел Борис Михайлович Эйхенбаум. Здесь ценилась меткая шутка, остроумная, пусть парадоксальная мысль. Реферат выслушивался внимательно (а иногда и не очень), прения подчас переходили в спор, который Борис Михайлович не останавливал, но, почти не вмешиваясь, направлял, не давая уходить в сторону, возвращая к теме.

Итоги он подводил свободно, изящно, выбирая из всего сказанного мнения, которые были связаны с его взглядом, всегда неожиданным и свежим...

Лунц хотел пойти на мой доклад, но у него была маленькая температура, и мы с Лидочкой, зайдя в «обезьянник», долго уговаривали его остаться, тем более что погода стояла неприятная, холодно и туман. Но он все-таки пошел. Он старался не пропускать семинар Бориса Михайловича, хотя был на другом, романо-германском отделении. Но и сам Борис Михайлович занимался несколько лет на этом отделении, глубокое знание западноевропейской литературы всегда чувствовалось в его лекциях, и Лунц говорил, что, слушая его, он чувствует себя Ломоносовым в Марбурге.

Мы уговорили его тепло одеться. Он закутался в отцовскую шубу с каракулевым воротником, надел каракулевую же круглую шапку, обмотал шею шарфом и, подумав, сунул в карман какой-то ватный треугольный футлярчик.

— Гоголь жил в Италии, потому что его длинный нос не выносил русских морозов,— сказал он.— Мой тоже не выносит, хотя он не такой уж и длинный.

Густой туман встретил нас на Невском, и Лунц стал уверять, что, родившись в Петербурге, никогда не видел такого тумана.

— Лежит, как ледяной сфинкс Эдгара По, и перестраивается под действием волшебной силы. Заблу-

дишься и не заметишь, как попадешь в другое столетие.

Мы долго искали бронзового льва, от которого наискосок через Неву начиналась дорожка к университету. Лев лежал беспомощный, в обледеневшем снегу, с растерянной мордой.

— Тезка, держись! — сказал ему Лунц.

Он потерял свой ватный футлярчик, стал искать его в шубе, поскользнулся и чуть не сбил с ног Лидочку, которая осторожно спускалась к Неве. Я рассердился, он ответил шуткой. Поспешность, с которой я кинулся, чтобы поддержать Лидочку, удивила его.

— Ребята, а может быть, мне потеряться в тумане? — весело спросил он.

На Неве было страшновато, и не только потому, что она затаилась, застыла, утонула в снегу: ежеминутно казалось, что кто-то идет навстречу, и кто-то действительно шел, но тут же загадочно исчезал, как будто можно было свернуть в сторону с этой единственной узкой тропинки. Она расширилась, приближаясь к Университетской набережной, теперь я вел Лидочку под руку, и в этом была какая-то приятная новизна. Под руку мы с ней шли впервые.

Маленькая аудитория была уже полна, когда мы добрались до университета, и все говорили о тумане.

Борис Михайлович вошел одновременно с нами. Он поздоровался, улыбаясь, протер пенсне, и занятия начались как всегда — точно мы сидели не в промерзшей, сырой аудитории под слабым желтым светом единственной лампочки, а в его спокойном, доброжелательном доме.

...Нет ничего удивительного в том, что я забыл содержание моего доклада, который назывался сложно: «Смысл и композиция в их взаимоотношениях (по роману Достоевского «Бесы»)». Удивительно другое: доклад сохранился. В моем архиве нашлась желтенькая школьная тетрадка, исписанная беглым почерком, должно быть, в течение трех-четырех дней. Я прочитал ее и подивился тому, как прочно было забыто в ней то впечатление стремительности, неожиданных поворотов, ошеломляющих нападений на читателя из-за угла, которое так поразило меня, когда в четырнадцать лет я принялся за Достоевского впервые. Теперь мне минуло девятнадцать, и я хлад-

нокровно разбирал «Бесов» как «результат взаимодействующих элементов»: «Единый сюжет распадается на составные части...»; «Вспомогательная роль автора-рассказчика — очевидна. Но откуда он берет материал для своей хроники?» и т. д.

Впрочем, главная мысль была неожиданно смелой: я утверждал, что на первое место следует поставить «идею скандала, как целенаправляющее явление». Скандалы были подсчитаны — около двадцати — и рассмотрены как композиционный фактор. Среди них были незначительные (связанные главным образом с личностью Степана Трофимовича) и значительные (женитьба Ставрогина на Хромоножке).

Некоторые страницы пестрели терминами, значение которых я забыл.

...Начались прения, и о них не стоило бы упоминать, если бы Лунц, который сидел в первом ряду, грея руки дыханьем, не попросил слова.

Он заговорил о значении комического у Достоевского, о капитане Лебядкине, о буффонаде, которая резко и смело подстегивала воображение. Еще никем не прочтенная драматургия романов Достоевского ставит его на первое место среди великих русских писателей.

— У меня нет доказательств,— сказал он, обернувшись к Борису Михайловичу и глядя прямо в его глаза своими вдруг заблестевшими голубыми глазами.— Но я убежден, что Достоевский учился строить свои романы на фабульной традиции западноевропейского театра, не на романах Бальзака, а на его забытых, и, может быть, справедливо, драмах и мелодрамах.

И, забыв о моем реферате, он заговорил об интермедиях Сервантеса, о комедиях Лесажа, о миниатюрах Чехова, о сознательном игнорировании академической наукой того, что казалось ей ничтожным, случайным, не заслуживающим внимания.

— Думал ли Гомер, написавший «Илиаду» и «Одиссею», об аллегориях, которые начиная с Плутарха находят в эпосе историки и поэты? Вправе ли мы говорить о высоких идеях Достоевского, забывая о том, что в основе едва ли не каждого из его романов лежит буффонада?

Лунц говорил страстно, иногда помогая себе странным, неловким движеньем руки. У Бориса Михайловича, который обычно слушал каждого из нас с чуть замет-

ной доброй улыбкой, было серьезное, сосредоточенное лицо.

— Экономия места, действия, времени,— продолжал Лунц.— Театр! Существовал ли русский театр? Да. В трагедиях Сумарокова, в фантасмагориях Сухово-Кобылина, в гротеске Гоголя, который по восьми раз переписывал свои виденья, приближая их к действительности, потому что иначе им никто бы не поверил. Но уже после Островского театр как система распылился, ушел в прозу, в психологический быт. Удержался только водевиль, основанный на железных законах драматургии. Но кто же у нас и когда серьезно относился к водевилю? А за театром последовал роман. Исторический роман скрылся в детскую литературу — Алексей Толстой, Данилевский, Соловьев, Салиас. Авантюрный — в подполье, в гимназического Пинкертона. Никто не подхватил гениального прозрения Достоевского, который один перебросил мост между русской и западноевропейской литературой. Перешагнул гоголевскую прозу, поднял на неслыханную высоту сюжет — выкованное мировой литературой оружие. Самое испытанное, самое острое средство, с помощью которого познается характер, выражается и доказывается идея. И это в полной мере относится к современной русской литературе.

Желтая лампочка под потолком мигнула и погасла. Но никто не шелохнулся в примолкшей аудитории. И Лунц, приостановившись лишь на мгновенье, снова заговорил, почувствовал себя, казалось, еще свободнее в темноте. Потом смутным прямоугольником обозначилось окно, за которым слабо светилась молочная белизна тумана...

3

Ранние смерти в искусстве, в науке... Томас Чаттертон, столкнувший два века английской литературы, кончает с собой. Он не желает нищенствовать. Ему семнадцать лет.

Математик Эварист Галуа в 1832 году накануне дуэли, которая была политическим убийством, проводит тринадцать часов за столом. Он пишет то, что в наши дни называется «группой Галуа», «полем Галуа». Без этой рукописи современную алгебру вообразить невозможно. На полях он пишет: «У меня нет времени». Нет времени

на признание, на борьбу с традиционной наукой, на возвращение к формулам, которые еще далеки от логического развития. То, что должно совершиться в течение десятилетий, совершается в одну ночь. Он знает, что будет убит. Уже не он распоряжается своим делом. Необозримый круг новых явлений распоряжается им.

4

Комиссия по литературному наследию Лунца была создана в 1967 году — случай редкий, почти единственный,— ведь после смерти писателя прошло четыре десятилетия. Но все, что он написал, прочитали, мне кажется, только два члена этой комиссии — С. С. Подольский и я. Старый журналист С. С. Подольский отдал шесть лет изучению жизни и деятельности Лунца, собрал богатейшую коллекцию его рукописей, документов и писем (мимо которой не может пройти историк советской литературы) и незадолго до смерти передал ее в ЦГАЛИ.

Я знал, что Лунц работал неустанно, энергично, с азартом. Но можно ли было предположить, что за три года он написал двадцать пять произведений — четыре пьесы, киносценарий, рассказы, фельетоны, эссе, рецензии, статьи, не считая множества писем, иные из которых представляют собой те же эссе, в эпистолярной форме?

Многое напечатано в сборниках, альманахах, периодической прессе начала двадцатых годов, многое хранится в архивах.

5

Он не вошел, а стремительно влетел в литературу, легко перешагнув порог распахнувшейся двери. Одновременность произведений — от трагедии до фельетона — нисколько не мешала ему. Талантливый студент, владевший пятью языками и чувствовавший себя во французской, испанской, немецкой литературах как дома, он смело пользовался своими знаниями — и, может быть, именно здесь, в обиходности, с которой эти знания участвовали в создании его произведений, следует искать ключ к его

творчеству, цельному, несмотря на всю свою разносторонность. Такие трагедии, как «Вне закона» и «Бертран де Борн», с их неожиданностями, с подчеркнутым, но ничуть не смешным героизмом, с острыми поворотами, мнимыми случайностями, шиллеровскими преувеличениями, мог написать только человек, проникнутый пониманием законов успеха.

«Вместо театра настроений, голого быта и голых фокусов, я пытался дать театр чистого движения. Быть может, получилось голое движение — не беда. Мелодрама спасет театр. Фальшивая литература — она сценически бессмертна! А для меня сценичность важна прежде всего!» — писал он в послесловии к «Бертрану де Борну».

О Лунце можно сказать, что он испытывал беспрестанное чувство счастья от самого факта существования литературы. Этот факт был для него неизменной праздничной реальностью, к которой он так и не успел привыкнуть за свою недолгую жизнь.

Известно, как был поражен Маяковский, которому Бурлюк открыл глаза на его дарование. Я думаю, что Лунц, садясь за письменный стол, всегда испытывал это чувство.

6

Полная, безусловная откровенность была главным двигателем дружбы между нами — двигателем, потому что это была развивавшаяся дружба. Мы оба думали, что сюжет — это единственный, проверенный столетиями механизм, с помощью которого можно вытащить прозу из «болота» орнаментализма. Но вкусы у нас были разные. «Голое движение», которым он был готов на худой конец воспользоваться, меня не устраивало. Я и тогда не любил детективных романов, которые надо решать, как кроссворд, или в лучшем случае раскладывать, как пасьянс.

Повороты, неожиданности, острые столкновения — весь инвентарь сюжетного романа не интересовал меня сам по себе. Сценичность во что бы то ни стало казалась мне в трагедиях Лунца «обреченной на успех», но не двигающей вперед нашу драматургию. Я считал, что ему не хватает вкуса.

Случалось, что, оставаясь вдвоем, мы спорили с бо́льшим ожесточением, чем на субботних встречах. Но это были споры двух юношей, которые даже не подозревали (или только догадывались), как они нужны друг другу. Я, как и он, считал, что «искусство реально, как сама жизнь», но никак не мог согласиться с ним, что оно, «как и жизнь,— без цели и без смысла; существует потому, что не может не существовать». Впрочем, его собственные произведения («Обезьяны идут», «Восстание вещей» и др.) не только не подтверждали, но прямо опровергали эти парадоксальные мысли. На многое он, несомненно, взглянул бы другими глазами, если бы не бессмысленная ранняя — в 22 года! — кончина.

Лунц был стремителен, находчив, остроумен. Его пылкость обрушивалась, обезоруживала, увлекала. «Редкая независимость и смелость мысли» (о которых Горький написал в некрологе) были эталоном его мировосприятия — иначе он не мог работать и жить. К смелости мысли следует прибавить застенчивость чувства. Я помню наши разговоры о любви — как обоим смертельно хотелось влюбиться. Почему-то это стремление (или самое понятие любви) называлось у нас «Свет с Востока». (Когда я возвращался после студенческих каникул, которые проводил у матери в Пскове, мы обменивались последними сведениями, касавшимися «Света с Востока». Сведения были неутешительными. Влюбиться не удавалось...)

7

Ранняя смерть на двадцать третьем году — тринадцать часов Галуа накануне дуэли. Нет времени на доказательства, на подтверждение своих пророчеств. Да были ли они? Он начал с них и кончил ими.

Девятнадцатилетним мальчиком он написал трагедию «Вне закона». Герой трагедии, разбойник Алонсо, объявлен вне закона. Он счастлив. Он — единственный житель вымышленного города Съюдада, считающий себя вправе «во время панихиды петь плясовую, а во время свадьбы произносить надгробную речь». Авантюрист, легко схватывающий настроение толпы, он поднимает мятеж — и вот власть захвачена, он — консул. Герцог. Император. И тогда: «Законы были, законов нет, но законы будут».

Не вне закона, а над законом. «Зверям нужен укротитель, и я буду им. Ведь если не я, придет другой, худший».

Здесь нет дыхания Рока, нет фатальной обреченности шварцевского «Дракона», нет Ланцелота, нет сознания, что писатель должен обнадеживать человечество. Но здесь предсказана самая грозная опасность XX века — фашизм. «Я пытался разрешить трудную задачу: начав водевилем, кончить трагедией»,— пишет в предисловии Лунц.

Это характерно: как известно, на первых порах очень крупные политические деятели считали фашизм водевилем.

8

В своих воспоминаниях М. Слонимский пишет, что Горький относился к Лунцу «с отцовской нежностью». Все «Серапионовы братья» писали ему, и ни одно письмо не осталось без ответа. Но есть черта, которая характерна именно для писем Лунца (хранящихся в Музее Горького). Он последовательно отзывается на две главные мысли Горького: 1) тесная дружеская связь между «братьями» — явление новое, небывалое, обнадеживающее в истории русской литературы, 2) полное несходство в литературных вкусах не должно мешать и не мешает этой неразрывной связи.

Об этом и писал ему Лунц в каждом из сохранившихся писем. Он отмечает появление Пильняка, которому начинает подражать «слабый, падкий до успеха» Никитин. Он сердится на шум, поднятый вокруг имени Всеволода Иванова, шум, который может «вскружить ему голову».

Горький отказывается от роли учителя, связанной с его собственными воззрениями,— Лунц широко и свободно пользуется этим отказом. Возражая Шкловскому, который писал, что «серапионы» соединились, как соединяются люди перед разведенным мостом, он писал: «Это неверно. Мост наведен: мы перешли мост, мы печатаемся, но мы не распались. Более того: никогда мы не были так спаяны... С каждым днем все неразрывнее чувствую я (и так все) связь свою с каждым братом. А ведь с каждым днем в то же время мы становимся все более непохо-

жими друг на друга». И далее: «Пильняку нас не разломать: руки коротки. Да и вряд ли кому это сейчас удастся».

Но в письмах Лунца звучит и другая мысль, высказанная с характерной для него скромностью и прямотой: призвание. Он убежден в том, что в великой литературе имеет право участвовать только тот, кто поставил перед собой великую цель: «Я не хочу писать, как пишут девять десятых русских беллетристов... Я не хочу густого областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, увлекательный сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, к роману, непременно сюжетному».

Он был талантливым историком западноевропейской литературы, полиглотом, лингвистом. Он мог — и на этом настаивали его учителя, первоклассные ученые,— избрать «вторую профессию» — ту самую, о которой вскоре написал в своей «Технике писательского ремесла» Шкловский. Но отказаться от мысли перестроить современную русскую литературу? Стать знатоком другой или других — и только? «Может быть, это детские мысли,— писал он Горькому,— но они не дают мне покоя».

9

Лунц заболел, когда был в разгаре работы. Он был довольно крепок, плотен, среднего роста, кудряв. Жизнь так и звенела в нем, когда странная, до сих пор не разгаданная болезнь накинулась на него злобно, свирепо. Он и отбивался свирепо. Он не терял надежды, что ему удастся в конце концов сломить ее. Все черты его исключительности выразились отчетливо, резко — теперь, когда надо было спешить.

«Лева по обыкновению лежит с градусником. (Он всегда чем-то болен)»,— пишет Слонимский Горькому в начале апреля 1923 года. Но он не соглашался на болезнь. «У себя в «обезьяннике»... он писал не только серьезные художественные произведения, он сочинял там и фантасмагории для наших шуточных кино и театральных представлений, которые разыгрывались потом в гостиной при немалом стечении литературной и театральной публики,— вспоминал впоследствии Слонимский.— И уж обязатель-

но изощрялся на мой счет, превращая меня в какого-нибудь этакого князя Слюняво-Прислонимского. Я был излюбленной жертвой его неиссякаемого, но всегда беззлобного остроумия. Он писал, вскакивая, метался по своей комнатенке, большую часть которой занимал наполовину развалившийся письменный стол. А на стуле сидел его соавтор Михаил Зощенко в полувоенном темном костюме, с палочкой и подсказывал какое-нибудь уморительное слово, а то и фразу... или предлагал внезапный поворот сюжета. Лунц хохотал... а Зощенко сидел неподвижно, черноволосый, со смуглым до черноты лицом, и только губы его были чуть тронуты меланхолической улыбкой» (рукопись).

Шуточные представления в первые серапионовские годы устраивались часто, и это были вечера, полные остроумия, изобретательности и неудержимого веселья.

По сценариям, написанным подчас за полчаса до начала, разыгрывались целые истории. Иногда это были пародические биографии «серапионов» — «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова». Иногда — полемика со статьями, появившимися после выхода нашего первого (и последнего) альманаха.

Лунц не только писал сценарии, но и ставил их. Он был и режиссером, и конферансье, и театральным рабочим. Над чем только не смеялись мы на этих вечерах! И над собой, и над нелепыми попытками администрирования в литературе!

Слонимский написал «Тумбу» — талантливую одноактную пьесу, в которой вокруг случайно поваленной тумбы возникает целое учреждение, а Лунц — «Исходящую», рассказ, в котором канцелярист постепенно превращается в собственную «докладную записку». Рассказ был смешной: прислушиваясь к поразительным переменам, происходящим в его организме, делопроизводитель с удовлетворением сообщает, что «его левая нога уже начинает шуршать».

10

Он оставлен при университете по романо-германскому отделению. Университет посылает его в Испанию. Но ему смертельно не хочется уезжать. Может быть, он предчувствует, что уже не вернется?

Горький зовет его в Шварцвальд (юго-западная Германия). В санатории, где он живет, Лунц поправится от своей болезни, а потом поедет в Испанию. Поездка, по его мнению, необходима. «Я чрезвычайно благодарен Вам и Марии Игнатьевне за хлопоты,— писал Лунц 26 июня 1923 года.—...До августа заехать к Вам не смогу. Это — самое горькое мое разочарование». И в августе: «Надеюсь повидаться с Вами до моего отъезда из Германии.... Скорее всего в октябре вернусь в Петроград».

Но начинаются сильнейшие боли. Он лишается сна. Врачи посылают его в санаторий под Франкфуртом. Здоровье ухудшается с каждым днем. Теперь ясно, что ему не удастся встретиться с Горьким в Германии. А в Италии? В Испании? В Петрограде?

11

Проходит сорок три года, и в источниковедении (без которого невозможно вообразить историю литературы) происходит событие.

Гарри Керн, студент, занимавшийся русской прозой двадцатых годов, находит в доме, где живет Женни Горнштейн, младшая сестра Лунца, на чердаке, среди отслуживших предметов домашнего обихода, старый запыленный чемодан. Он открывает его — и происходит чудо: воскрешение давно забытого, никому не известного или известного лишь немногим живым свидетелям начала начал советской литературы. Из чемодана сыплются письма Федина, Тихонова, Чуковского, Эренбурга, Михаила Слонимского, Шкловского, Тынянова, Полонской, Зощенко, Никитина, Лидии Харитон, которую я недаром назвал «серапионовским летописцем», потому что только она с женской заботливостью пишет о характерных мелочах ежедневной литературной жизни.

Большая рукопись Лунца «Хождения», в которой он предсказывал будущее своих друзей, «Хождения», о которых в нашей литературе до сих пор было лишь одно упоминание: Федин в книге «Горький среди нас» писал о том, что, перечитывая старые лунцевские сатиры на «серапионов», он приходил в ужас от его страшных и смешных пророчеств.

Мои «серапионовские хроники».

...И снова письма, в которых каждый из нас открывался безбоязненно, как перед самим собой. Нежные и остроумные. Смелые и смешные. Веселые — и не потому, что нам хотелось развеселить смертельно больного друга, а потому, что мы надеялись на его выздоровление и никому не хотелось перед ним притворяться. «Левушка, милый, самый хороший человек в моей жизни. Целую тебя нежно и... И на днях напишу тебе обширное послание. Если не напишу — подлец из подлецов и последняя собака. Последняя собака Зощенко».

Много стихов, частушки, написанные Тыняновым к новому, 1924 году.

Серапионовская «Слава» Полонской...

Трудно вообразить литературное явление, подобное этой удивительной переписке (фотокопии ее хранятся в ЦГАЛИ). Ее выразительность — находка для историка нашей культуры. Ее острота — прямое стремление рассказать далекому и близкому другу со всей выразительностью о той жизни, которую он так любил и от которой был вынужден отказаться.

Десять или двенадцать друзей Лунца написали роман в письмах, поражающий естественностью самого «незнания» того, что они пишут роман. Он начинается и продолжается. Он полон признаний, сомнений, шуток. Веселый роман. В нем участвуют не только письма, но замыслы — осуществленные и неосуществленные: «Если бы вы знали, сколько замыслов плесневеют под одеялом» (из письма Лунца к Горькому).

Время идет. Но времени нет: надо работать. И он пишет сценарий «Восстание вещей», в котором вещи, одушевленные гениальным ученым, восстают против человека: мысль не только острая, но пророческая,— кто не знает, какое место занимает «вещизм» в жизни современного человека.

Он пишет «Путешествие на больничной койке». «...Это не роман (к сожалению), не каламбур, не оригинальничанье. Это рассказ человека, который заболел страшной болезнью, страшной потому, что ее лечат только покоем и временем. И терпением! А терпения... нет. И вот, гонимый тоской и нетерпением, я бегу из санатория в больницу, из больницы в лечебницу, меняя города, наречия, людей. Из дорогого санатория для иностранцев в третий класс городской больницы...»

Кажется, что до конца еще далеко, ведь тот, кто не-

вольно просит своих друзей написать эту необычайную книгу, еще очень молодую, ему двадцать два года. Но время идет. Времени нет. Новое обострение — частичный паралич. Он больше не может писать, рука не слушается, он диктует заикаясь: «Не слышу звуков, не вижу слов. Приходится снова учиться писать...»

Я помню наизусть несколько строк из его писем, погибших в годы ленинградской блокады: почти в каждом слове — пропущенные буквы. Это называется аграфией.

Последняя пьеса, давно обдуманная, была закончена, когда он снова научился писать. Она называлась «Город правды». Горький напечатал ее в «Беседе».

«Кстати, о моей смерти»,— пишет он Федину.

«...Я еще не разучился острить» — из писем ко мне.

Он еще надеется: может быть, неизбежное наступит не скоро. Но уже не он распоряжается своей жизнью, своим делом. Уже необозримый круг новых явлений распоряжается им. Он не знает — и не узнает — ни судьбы своих рукописей, ни своей необыкновенной судьбы. Но рукописи знают. Ведь они, как утверждает Воланд в «Мастере и Маргарите», не горят.

12

Горький писал мне из Сорренто 21 мая: «Для того, чтобы писать о нем, я должен иметь перед собой его вещи: не можете ли прислать мне «Бертрана», «Обезьян» и «Вне закона»? Буду очень благодарен».

«Обезьяны идут» — острая, парадоксальная пьеса, в которой отразилась оборона Петрограда от Юденича в 1919 году[1].

«Я уверенно ожидал,— писал Горький в некрологе,— что Лев Лунц разовьется в большого оригинального художника. Живи он, работай, и наверное — думалось мне — русская сцена обогатилась бы пьесами, которых она не имеет до сей поры. В его лице погиб юноша, одаренный очень богато,— он был талантлив, умен, был исключительно — для человека его возраста — образован.

---

[1] Сб. «Веселый альманах». Петроград, 1923.

В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли: это качество являлось не только признаком юности, еще не искушенной жизнью — такой юности нет в современной России,— независимость была основным, природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека» («Беседа», 1924, № 5).

О Лунце написали Тихонов, Шкловский, Полонская, Корней Чуковский, Слонимский — стихи, некрологи, воспоминания. Тынянов напечатал письмо, на которое не ждал ответа.

Федин: «...Очень хороший майский вечер. Жадный до богатства, грезящегося где-то рядом, за перекрестком, и в то же время небогатый, почти бедный Невский проспект. На углу Троицкой — что-то среднее между пивной и кафе. За узеньким столиком с пивными бутылками, на мраморе которого бледно меркнет поздний свет, тесно и неудобно сидим мы — все. ...Кроме одного, который никогда больше не будет с нами: в этот день, поутру пришло известие о смерти Льва Лунца.

Мы вспоминаем о нем все, что можно вспомнить, и мы с грустной усмешкой спорим — кто следующий — потому что Лунц ушел первым» («Жизнь искусства», 1924, № 22).

ТЫНКОММУНА

1

Не помню, кто предложил устроить на Греческом коммуну — должно быть, я; мне нравилось, как живут в Лесном псковичи — весело и дружно. Между тем с продовольствием у них было хуже, чем у нас,— хлеб по студенческим карточкам да привезенная из дому картошка. А мы получали три пайка: Юрий из Кубуча, очень хороший, Лев Николаевич, который провел свой отпуск в Ярославле и был командирован в Петроградский институт усовершенствования врачей, и я: со второго курса будущим дипломатам стали выдавать солонину, зеленоватую, но вкусную, если варить ее очень долго. Но было и еще подспорье: Софья Борисовна присылала сушеные овощи, которые мы хранили в старом огромном барцев-

ском буфете, занимавшем почти полпередней. Парадный ход был закрыт. Квартира была как бы вывернута наизнанку, жизнь начиналась в кухне и кончалась в этой передней, всегда прохладной и вполне пригодной для хранения сушеных овощей, которые мы постоянно таскали — занятие, не строго преследовавшееся хозяйкой дома, потому что овощей было много.

Если прибавить к этому продукты, получавшиеся по карточкам, можно сказать, что продовольственное положение будущей коммуны было удовлетворительным — мы не голодали. Но вот теперь в доме жили пятеро взрослых, не считая Инны, для которой Лена готовила отдельно, хозяйство усложнилось: женщинам действительно было трудно следить за чистотой в пяти комнатах (и длинном коридоре), готовить, мыть и вытирать посуду, гулять с Инночкой на «Прудках» — так почему-то назывался садик на Греческом проспекте. Лена сердилась и жаловалась, Лидочка (которая усердно занималась, подчас допоздна засиживаясь в библиотеке) помалкивала, стараясь всюду поспеть... И та и другая приняли мое предложение с восторгом. Решено было, что каждый из нас дежурит один день с утра до вечера, занимаясь всеми хозяйственными делами, включая (что на первых порах было сложно) приготовление обеда,— и поначалу наше решение показалось настоящей находкой: напряженная умственная работа должна была ритмически заменяться физической, что — логически рассуждая — было полезно для той и другой. И мужчины принялись за дело энергично, с охотой — ведь у каждого из нас за последние годы появился опыт, пусть небольшой. Что касается меня, я с удовольствием выслушивал наставления Лидочки, уходившей в университет или к своему Иосифу Прекрасному в Публичную библиотеку. Она удивлялась моей непонятливости, смеялась, когда я старательно записывал рецепты приготовления чечевичного или рыбного супа. Ни ей, ни мне, разумеется, не приходило в голову, что не за горами то время, когда она будет готовить этот суп для меня. Но что-то, не имеющее никакого отношения к приготовлению обеда, очевидно, происходило между нами, вопреки обыкновенности этих наставлений, потому что, засучив рукава и принимаясь за дело, я вспоминал не то, что говорила мне Лидочка, а то, как она говорила. Пожалуй, можно было подумать, что ей хочется раздвоиться и что, если бы это было возможно, одна Лидочка пошла бы в

университет, а другая осталась, чтобы вместе со мной приготовить обед.

Однако очень скоро — должно быть, недели через две — стало ясно, что коммуна на Греческом ничем не напоминает коммуну в Лесном. Там все было ясно. Там все были равны. Там «Матрешка», будь то Саша Гордин или Вовка Гей, принимался за работу, не думая о том, что ему больше нравится — мыть полы или посуду. Но сложная психологическая картина раскрывалась ежедневно в многочисленных вариантах, когда раннее утро заставало на ногах членов Тынкоммуны. Лена часто бывала в дурном настроении — и недаром: большая часть работы доставалась все-таки ей. Лев Николаевич, недурно готовивший, с отвращеньем относился к мытью посуды и старался, чтобы Лидочка дежурила на другой день после него: он тихонько составлял грязную посуду и прикрывал ее обрывком газеты.

— Прости, Лилёк,— говорил он виновато.— В следующий раз непременно помою.

И нельзя сказать, что Лидочка не ворчала, не сердилась. Но она как-то — на мой взгляд — симпатично ворчала и добродушно сердилась. Юрий волновался, приступая к дежурству, и сразу же начинал действовать с такой энергией, что за ним приходилось присматривать: он мог грохнуть об пол горку тарелок или утопить крышку от маленькой кастрюли в большой. Ему помогали все, и получалось, что дежурят все, мешая друг другу.

Мое дежурство проходило бы удовлетворительно, если бы, почистив картошку или поставив суп, я не убегал к себе, чтобы записать поразившую меня своей оригинальностью мысль. Случалось, что я успевал разочароваться в ней, прежде чем брался за приготовление пюре из разварившейся картошки.

Впрочем, одно блюдо в нашем скромном меню варилось так долго, что можно было не только записать мелькнувшую мысль, но обдумать и развернуть сюжет нового рассказа.

Лев Николаевич часто получал в своем институте какие-то темно-фиолетовые бобы отвратительного вкуса. Юрий, заглянув в энциклопедию Брокгауза, стал утверждать, что они вообще несъедобны, потому что ничем не отличаются от бурого железняка, известного под названием «бобовой руды». Но мы с Львом Николаевичем упрямо варили бобы и даже, с помощью обыкновенного

молотка, превращали их в кашу. Правда, никто, кроме нас, эту кашу не ел.

Опозорился я только однажды — только потому, что мои обеды редко одобрялись, а мне захотелось блеснуть.

Старательно, усердно варил я мясной суп с овощами (конечно, сушеными), нюхал пар, подбавлял соли, пробовал — и огорчался. Не трудно было догадаться, чего не хватает в моем супе,— мяса. Жалкие лохмотья говядины болтались на двух-трех косточках, плававших в большой медной кастрюле.

И тогда, не долго думая, я бросил в нее большую горсть «вандыша» — так назывались сушеные рыбки, снетки или, может быть, маленькие ерши,— вместе с овощами Софья Борисовна иногда присылала нам этот «вандыш»...

В этот день я особенно тщательно приготовился к обеду: красиво накрыл на стол, умело нарезал хлеб и, согласно правилам коммуны, сам разлил по тарелкам суп.

Лена попробовала и ахнула:

— Ты не вымыл посуду?

Накануне к обеду варили рыбный суп.

— Вымыл!

Юрий, зажмурясь, съел две ложки.

— Врешь,— сказал он.— Плавают рыбки.

— Честное слово, вымыл!

Рыбки плавали в каждой тарелке — и я сознался, что прибавил к мясному супу снетки.

— Зачем?

— Для питательности.

Никто не сердился на меня, все смеялись. Свою тарелку я из упрямства все-таки съел, но только потому, что в ту пору мог есть что угодно. Неудачное блюдо чем-то заменили, но я был все-таки расстроен.

Лидочка встретила меня в полутемном коридоре и ничего не сказала, только взяла мою руку и, едва коснувшись, пожала запястье. Ей хотелось утешить меня. Движение было промелькнувшее, скользнувшее, я не успел ответить ей ни словом. Но, вспоминая эту глупую, почему-то запомнившуюся историю, я неизменно чувствовал прикосновение ее маленькой руки. Она вся сказалась в этом движении.

Казалось бы, в моем намерении сделать мясной суп

питательнее с помощью сушеной рыбы не было ничего, что могло бы внушить ей симпатию ко мне. Но мы все-таки почему-то стали по-дружески ближе друг к другу.

Но были и другие причины: академик Перетц если не влюбился в Лидочку, так по меньшей мере заметно отличал ее от других своих учениц. Он часто и подробно расспрашивал ее, как идет работа над рефератом, напоминая те страницы из Свифта, где Гулливер попадает в страну великанов. Лидочка должна была высоко задирать голову, чтобы разговаривать с академиком, и мне всегда казалось, что ему, совсем как свифтовскому великану, хочется поставить ее на ладонь.

Уступая свою кафедру очередному докладчику, Владимир Николаевич неизменно садился рядом с Лидочкой, и я нарочно оставлял под партой свои калоши — мы слушали лекции не снимая верхней одежды. Перетц заглядывал под парту и сердито отшвыривал калоши.

В семинаре его склонность была вскоре замечена. Над почтеннейшим академиком подсмеивались, тем более что немного времени прошло с тех пор, как он вторично женился. Лидочка краснела, смущалась, я писал эпиграммы...

2

Она прочла реферат, ей удалось обнаружить какие-то лингвистические особенности при сличении списков, и Владимир Николаевич с подчеркнутой серьезностью отметил эту находку. Он постоянно отбирал среди нас тех, кто с живым интересом относился к истории древней русской литературы, и, если бы Лидочка не увлеклась лингвистикой, променяв Перетца на Щербу, она была бы, без сомнения, приглашена в домашний семинар Владимира Николаевича, состоявший из семи-восьми студентов. Один из них — Д. И. Еремин — впоследствии занял его кафедру в университете. Как раз не она, а я попал в этот семинар, прочитав свой доклад «Повесть о Вавилонском царстве».

Но вот мы разъехались на зимние каникулы — я в Псков, Лидочка в Ярославль.

С долгожданным ощущеньем полной свободы, я вернулся к своей черновой тетради, к наброскам, планам,

стихам, к черновику брошенного рассказа. Тетрадь была отдельная, «псковская», я не заглядывал в нее месяца четыре — и перелистывал теперь с чувством недоумения. Неужели только четыре месяца прошло с тех пор, как я писал Маршиде-ханум свои неотправленные письма? Ее имя, окруженное каллиграфическими арабскими надписями, встречалось почти на каждой странице. Ей был посвящен мой единственный, беспомощный перевод из Эредиа.

Придуманным вздором показались мне какие-то искусственные, теневые отношения, для которых важен только облик и имя. Теперь совсем другие отношения волновали меня.

Мы не условились переписываться с Лидочкой, расставаясь только на две недели, и, кажется, нельзя было сказать, что в Пскове я скучал без нее. Но когда я писал рассказ о том, как ученый и переплетчик обменялись профессиями, мне хотелось, чтобы они встретились не на дороге из Шмалькальдена в Штральвальд, а на ледяной дорожке, пересекавшей Неву и тускло блестевшей при свете зимнего солнца. Когда палеографы разбирали письмена древнего свитка, догадываясь, что перед нами палимпсест, мне казалось, что их разговор происходит в архивном отделе Публичной библиотеки, где невидящие глаза Нестора-летописца навсегда остановились на мраморной странице и где заботливо-добрый старик подходит к маленькой девушке, с темно-каштановыми, заколотыми толстым пучком волосами, огорчавшейся, что она не похожа на любимого брата. Почему я чувствую ее присутствие здесь, в Пскове, в то время как она, без сомнения, и думать не думает обо мне?..

Лидочка вернулась в Петроград раньше, чем я, и огорчилась, узнав, что я еще не приехал. Мы встретились сдержанно-весело, и о том, что она две недели проскучала без меня в Ярославле, я узнал нескоро, через месяца два. Если бы мы были постарше, возможно, что мне (или ей) пришло бы в голову, что мы незаметно вступили в ту полосу отношений, когда сближает даже короткая, но показавшаяся длинной разлука. Перебирая все мелькнувшее, скользнувшее, случайно удержавшееся в памяти, я не нахожу границы, за которой началась эта полоса.

Университет, мой арабский, отнимавший все больше времени, лингвистика, которой с увлечением стала зани-

маться Лидочка, променявшая Перетца на Щербу, наша коммуна с ее нелегкими заботами, нередко ссорившими меня с сестрой,— жизнь, казавшаяся такой обыкновенной и оказавшаяся неслыханно содержательной, продолжалась, и зима 1921/22 года была уже вполне готова к тому, чтобы запомниться единственной, неповторимой, вместившей, кажется, больше, чем могла бы вместить любая зима от самого сотворения мира.

3

Новый рассказ — он назывался «Пурпурный палимпсест» — был придуман занятно, и впоследствии, перечитывая его, я невольно повторял слова Горького, предупредившего меня, что придет время, когда я пожалею о моей торопливости, подорвавшей или даже погубившей замыслы, стоившие труда и внимания. На этот раз мне хотелось заставить читателя задуматься над идеей призвания, которую трудно постигнуть, потому что для этого надо понять себя, оценив пристрастия, подчас крепнущие годами.

...На дороге из Шмалькальдена в Штральвальд карета палеографа Вурста сталкивается с повозкой переплетчика Кранцера. Рассеянный ученый оказывается в повозке, а переплетчик в карете. Но случайность не случайна. Палеограф давно устал от своей профессии и тайно, с увлечением занимается переплетным ремеслом. Оказавшись в городе, где Кранцер был единственным переплетчиком, он энергично берется за любимое дело.

То же самое происходит с Кранцером, который всю жизнь мечтал о том, чтобы, бросив опостылевший станок переплетчика, отдать свою жизнь науке. Он занимает место Вурста, он счастлив, пока в его руки не попадает загадочный свиток, который он не в силах прочесть. Свиток оказывается палимпсестом...

Письменные принадлежности были дороги в старину, с пергамента или папируса монахи в средневековых монастырях смывали произведения древних авторов, и прошли столетия, прежде чем под ничтожными по своему значению текстами были открыты такие бесценные рукописи, как фрагменты из Тита Ливия...

Находка возвращает Вурста к палеографии, ему удает-

ся разгадать палимпсест — и перед глазами потрясенного ученого проходит то, что только что прошло перед глазами читателя на страницах рассказа.

Первый, поздний текст принадлежит горшечнику: «Разве не знают изделья мои в Кефар-Хананья и в Кефар-Синин? Из черной глины я делаю простую посуду... Из белой глины делаю я прозрачное стекло, и вазы для цветов, и светильники храмов. Но что мне делать с тайным желаньем моим? Высокий труд — читать священные свитки. Вот на западе угасает день, и уже запираю я двери мастерской, и вот путь мой в другое жилище... Чудесны буквы, и слова, и строки мои. Киноварью вывожу я их и медным цветом... Заходит солнце, и вот желтый цвет пергамента моего, восходит солнце — и вот он пурпурный. Что делать тебе, горшечник? Не лежит сердце твое к ремеслу твоему».

Второй, полустертый, древний текст принадлежит писцу Моисею Ибн Бута:

«...сорок лет руки мои держат гусиное перо. Или тростник держат мои руки. Я был писцом при царе Египта, и вот я писец при царе Иудеи. Что же постыдного в том, что делаю я сосуды из глины, если руки мои тянутся к ней? Разве Иегова наложил запрет на ремесло горшечника?.. Я три дня обжигаю в печи изделия мои: и вот уже крепкие горшки из глины и сетчатое стекло, как прозрачная ткань...»

«...Странный текст,— говорит Вурст,— мне кажется, что он написан мною».

Может быть, я не стал бы так подробно излагать содержание этого детского рассказа, если бы через десять лет после того, как он был напечатан, не прочел в записных книжках Чехова поразившую меня заметку: «Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных узких ученых, как он сам. Тайно по ночам он переплетает книги — это его истинное призвание; здесь он артист и испытывает наслаждение. К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам занимается наукой».

Я не знаю, как объяснить это странное совпадение. Записные книжки Чехова я прочел в 12-м томе его собрания, опубликованного в 1933 году.

СТАРШИЙ БРАТ

1

Приезжает мой старший брат с женой, и оказывается (хотя никто не узнает об этом), что именно его-то мне и не хватало. Он приезжает, и в наш дом — литературный, историко-литературный, погруженный в книги, существующий под безмолвную музыку переворачиваемых страниц,— врывается Природа или, по меньшей мере, ее загадки, противоречащие здравому смыслу. Я жду его расспросов — так много прошло с тех пор, как мы расстались! Но за несколько дней, которые он проводит в Петрограде, у него, к сожалению, не находится времени, чтобы обстоятельно поговорить со мной. Впрочем, он видит, что я здоров, одобряет мое намерение окончить не только университет, но и Институт восточных языков (ведь он и сам окончил два вуза) — и не замечает, что я огорчен небрежностью, с которой он выслушивает мой, быть может немного хвастливый, рассказ о премии Дома литераторов, о встречах с Горьким, о «Серапионовых братьях»! Зато с Юрием он проводит каждую свободную минуту.

Он приезжает в Петроград по делам оспопрививания — еще в 1919 году Совнарком принял декрет об обязательном оспопрививании: всем детям на первом году должна быть привита оспа и — повторная — на четвертом-пятом году.

Дела предстоят практические, но его интересует теоретическая сторона этих практических дел — иммунитет, невосприимчивость к заразным болезням. Недалеко то время, когда он напечатает — и посвятит Юрию — свою первую книгу «Параиммунитет».

А пока он занимается сыпняком — недаром же (что, кстати, противоречит явлению иммунитета) он дважды переболел этой болезнью и, кажется, только по недоразумению не умер. И он интересно рассказывает, как в бреду командовал старухой сиделкой: «Николавна, стройся!» Бедная старуха строилась, держа руки по швам. «Николавна, ша-гом марш!» И старуха послушно шагала вокруг его постели. Он читает наизусть юношеские стихи Юрия, доказывая, что они — превосходны.

Я — продолженье царственного сна.
Приснился я кому-то в час досуга,
В полдневный час пылающего юга
Его коснулась мягко тишина.

Когда приснился я, была весна,
В садах гуляла и звала подруга,
И сердце билось медленно и туго,
Как плеск фонтана — вверх и вниз — до дна.
И длится сон уж скоро двадцать лет,
Давным-давно его подруги нет,
И нет его, влюбленного сновидца.
Волшебная меня тревожит власть,
Я только сон, который нежно длится,
Я — плеск фонтана. Дайте мне пропасть.

И не понимает, почему Юрий морщится, отшучивается, смеется. Они вспоминают гимназических друзей: «Где Коля Нейгауз? Где Янка?» Юрий не знает, где Нейгауз, а что касается Янки Озолина — он теперь заместитель председателя Петроградской Чека и еще недавно приезжал в Дом искусств, чтобы послушать лекцию Юрия о Блоке и Гейне.

— Все просит, чтобы я подарил ему Собрание сочинений Гамсуна. Да никак не соберусь!

— Надо, надо.

— Конечно, я подарю. А где Август?

Молча, с волнением я перевожу глаза с одного на другого. Эта встреча бесконечно важна для меня. Впервые подвожу я итоги десятилетия — прошло десять лет с тех пор, как из комнаты Льва доносились негромкие голоса, спорившие о том, прав ли был ибсеновский Бранд, стремясь «воплотить свои мечты» любой мерой добра и воли. Десять лет того поколения, которому я бессознательно подражал и у которого сознательно учился. Как «воплотить свои мечты»? Любой мерой добра и воли? Воли — да, полагает Лев. Но добра?

Два молодых человека — Льву двадцать шесть, Юрию на полгода меньше — вспоминают свою гимназическую юность в Пскове. Как они были бы поражены, если бы будущее, хоть краешком, открылось перед ними. О каждом из них будут написаны книги. Страшная, не разгаданная доныне болезнь — рассеянный склероз — настигнет Юрия и медленно, неотступно доведет его до могилы.

Победитель чумной эпидемии в Азербайджане, известный иммунолог, раскрывший тайну клещевого энцефалита, один из основателей советской вирусологии, Лев круто повернет свой институт к этой болезни, надеясь вернуть другу (и тысячам других людей) здоровье, но обстоятельства непредвиденные остановят его, а когда он вернется —

будет поздно. И — новые двадцать пять лет работы, не замкнувшейся в себе, открытой, с защитой своих смелых теорий — теперь онкология — в книгах, на международных конгрессах, в речах, в ежедневном, терпеливом труде. И память. И «счастье в жизни, а жизнь в работе». В то время как медленно, неуклонно, то падая, то поднимаясь, растет и, наконец, достигает мирового значения слава его покойного друга...

Два молодых человека — биолог и филолог — вспоминают свою гимназическую юность в Пскове. И тот и другой уже определились в науке. Пожалуй, в брате больше чувствуется восьмиклассник с выпускным жетоном в петлице, особенно когда он начинает говорить об Ибсене и Верхарне. В Юрии труднее угадать гимназиста. Круг его научных интересов необычайно расширился за два последних года. Перекинут мост между студенческими рефератами и монографией «Архаисты и Пушкин». После книги «Достоевский и Гоголь» он продолжает заниматься историей и теорией пародии. Он собирает материал, связанный с Кюхельбекером, и, хотя знаменитая книга еще не написана, свежесть и новизна этих материалов увлекает его. Он определяет свое место в новейшей русской филологии, он принимается за монографию «Тютчев и Гейне», по которой видно, что уже и тогда ему не были чужды биографические изучения.

Но и Лев, который еще почти ничего не сделал, не сомневается в том, что он сделает много. У обоих — необозримый охват, для обоих едва намеченное, мелькающее, быть может, в далеком будущем, дороже настоящего, разорванного, еще не сложившегося в систему. Но характеры — разные. Смелость Льва соединяется с даром предвиденья. Ошибки — он шагает через них, он уверен, что девять десятых окажется истиной или, по меньшей мере, ступенькой к истине, которую, если это необходимо, можно и перепрыгнуть.

Юрий не знает ошибок в своей работе и не терпит в чужих. Лев работает наступательно, последовательно, не теряя и часа, стремясь к достижению цели. У Юрия бывают дни — и даже недели,— когда, казалось бы без всякой причины, опускаются руки. Правда, в этих пустотах подчас мелькают боковые, на первый взгляд незначительные, а на деле глубокие мысли, но работа лежит перед ним в развалинах: ноша, которую нести не под силу...

Все это только мелькает и скрывается, когда старые

друзья вспоминают математика Саньку Турбина, сторожа Филиппа с его «Тюрль-юрль, юта-турль», историю с Полей Роминой и директора Готалова, которому Юрий, получая аттестат, отказался пожать лицемерно протянутую руку.

2

Приезд Льва с женой — праздник для Тынкоммуны. Но только я вспоминаю вечеринку в Москве, когда на Второй Тверской-Ямской впервые появилась высокая, грациозная, с блеском небрежно прибранных волос Мара, которую трудно было вообразить в медицинском халате. Я не забыл той скрытой дуэли, которая впервые сделала меня свидетелем чужих, скрытых от посторонних глаз, утаенных отношений. Так вот, дуэль продолжается.

Лев всегда непривычно, с почти болезненным напряжением становился другим — казалось, он ежеминутно старается вернуть себе естественность, широту, непроизвольное ощущение счастья, признательности случаю, которому он обязан своим появлением на этой грешной, сложной, веселой и грустной земле. Между тем он становится другим, когда появляется Мара. Это чувствуют все, но сильнее всех, кажется, Лена. Она видит Мару впервые, и у меня нет уверенности, что они понравились друг другу. Определенность и независимость одной в чем-то противоположны определенности и независимости другой. Мара моложе и свободнее, у нее нет детей, непохоже, что она собирается заняться устройством своей семейной жизни,— и это чувствуется, когда она попадает в семейный дом.

Чуть заметная вражда уже на второй или третий день начинает мелькать между ними, но только мелькать, потому что ни та, ни другая не позволяют — и не позволят — ей разгореться.

А я глядел на брата с женой, вспоминая Анну Каренину и Вронского, когда они соединились и когда Вронский «с собачьей покорностью в глазах» начинает тяготиться своей зависимостью, несвободой. Когда «рядом с любовью, которая связывала их, установился злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изжить ни из его, ни еще менее из своего сердца». Мне кажется, что именно эта опасная покорность появляется в глазах брата, когда Мара, вмешиваясь в разговор и называя мужа

«Лев», подшучивает над ним или находчиво ловит на преувеличениях или противоречиях. При этом она краснеет и смущенно смеется.

Это странно, но они ничем не напоминают супругов, вольно или невольно перенимающих оттенки чувств друг от друга. Они в чем-то похожи, но это — отталкивающее, внутреннее враждебное сходство.

Лена и Юрий думают — я случайно слышу обрывки их разговора,— что молодые недолго останутся вместе, и время вскоре подтверждает догадку.

3

В день отъезда Лев исчезает с утра, не приходит к обеду, и, хотя беспокоится только Лидочка, которая знает и любит его с детства, все находят, что это действительно странно: до поезда два или три часа.

Наконец он является — веселый, радостно возбужденный, помолодевший, хотя куда уж молодеть в 27 лет. Весь день, оказывается, он провел у Николая Федоровича Гамалеи, известного микробиолога, того самого, который еще в 1918 году предложил правительству издать декрет о всеобщем оспопрививании — и теперь налаживает его в Петрограде.

— Что за старик! — с восторгом повторяет Лев.— Ах, что за старик! Что он делает — уму непостижимо. Фантастика! Он на Владимирском, на втором этаже, держит корову!

Общее изумление. Корову? Зачем?

— Готовит детрит.— И Лев счастливо хохочет.— Превратил одну комнату в хлев, а две других — в лабораторию. Сам ничего не ест, а корову кормит удвоенным научным пайком.

Снова изумление. Корову? Пайком?

— Меняет паек на какие-то отходы и кормит. Прекрасная, добрая, рыжая с белыми пятнами корова. Машка. Откормленная, гладкая, с шелковой мордой. Доярка и две лаборантки, тоже откормленные, особенно одна, хорошенькая. Еще бы! Молока — хоть залейся! Шестьдесят два года! Конечно, не лаборантке, а Николаю Федоровичу. Лаборантке — двадцать.

Пора на вокзал, а брат все никак не может расстаться с квартирой на Владимирском, с рассказами о Гамалее.

— Чистота безукоризненная. И в лаборатории и в хле-

ву. Приходит управдом: «Не имеете права держать в жилом доме крупный рогатый скот». А он...— И Лев сказал скучным, скрипучим, глуховатым голосом Гамалеи: — «А у вас дети есть?» — «Есть».— «А оспу вы им привили?» — «Нет».— «На каком же основании вы осмеливаетесь нарушать декрет Совнаркома?»

И Лев снова смеется, хлопает себя по коленям. Он счастлив.

— Мечникова крыл последними словами. И действительно: Николай Федорович открыл вибрион холероподобный и назвал его в честь Мечникова: «Vibrio Mechnikovi». А в научной литературе открытие приписали Мечникову. Казалось бы, должен был опровергнуть. Как бы не так! Каков?

Мара торопит мужа, он беспечно кидает в чемодан какие-то вещи, белье, а потом, закрывая чемодан, приминает вещи коленом.

— Что за старик! — все повторяет он.— Ах, что за старик!

Так он и уехал, увлекшийся и всех увлекший, взбудораживший дом, оставивший впечатление легкости, свежести, силы.

ВЫЗОВ

В этот вечер читали поэты: Тихонов из книги, которую он решил назвать «Орда», и Полонская из книги, для которой мы все придумывали название.

«Гостишек» не было, и мне особенно нравились такие встречи — я был сторонником бо́льшей замкнутости нашего «ордена». Должно быть, моему студенческому воображению мерещилось нечто рыцарское, требующее обрядности, «посвящения». Первая читала Полонская, приятная, с неизменной мягкой улыбкой на свежем лице, с черным пушком на верхней губке, который шел к ней и тоже каким-то образом был связан с ее мягкостью и добротой. По моим тогдашним понятиям она была не очень молода — лет двадцати семи. Отличный врач, никогда не оставлявший своей профессии, она писала стихи, которые мы любили и ценили.

Когда редакция «Литературных записок», издававшихся Домом литераторов, предложила «серапионам» опубликовать свои автобиографии, я отделался каким-то не-

остроумным мальчишеским вздором, а она — тонко и по-женски умно. Вот что она написала:

«Когда я была маленькой, я всегда думала, что кроме гимназии и университета существует еще школа, в которой учат разным, необходимым для жизни премудростям, известным только взрослым людям. Как брать билет на вокзале, как нанимать носильщика, договариваться с извозчиком, как торговаться в лавке, как просить извинения за шалости и как отвечать на вопросы: кого ты любишь больше — папу или маму?

В гимназии училась хорошо, но трем вещам никак не могла научиться — не опаздывать на первый урок, не смотреть исподлобья и не говорить дерзостей. Затем я уехала за границу, окончила университет и наконец, побывав во многих городах, убедилась, что в Европе такой школы, о которой я мечтала в детстве, не существует. К сожалению, список предметов, которым я не могла научиться, еще увеличился. Нужно чувствовать серьезность разных положений, поступать на службу и уходить со службы, вести переговоры с редакторами и издателями, хлопотать о том, чтобы сделаться 187-м кандидатом на академический паек, обижаться кстати и отвечать вовремя. Я заявляю, что, пока такой школы в Европе нет, я вовсе не обязана все это делать. Писание автобиографий относится к той же серии. Писать автобиографии я не умею. Я пишу стихи».

Когда я познакомился с Елизаветой Григорьевной, она уже не смотрела исподлобья.

В тот вечер она прочитала несколько стихотворений, которые впоследствии вошли в книгу «Знаменья». Тихонов предложил исправить одну строку: вместо

Мне пресно сладкое, я горького хочу,—

он посоветовал:

Мне пресно сладкое, я горечи хочу.

— А то Алексей Максимович может принять на свой счет,— сказал он под общий хохот.— И хотя, без сомнения, будет польщен...

Потом он стал читать свои стихи — и превосходные. С каждым днем он писал все лучше. Сибирь явилась перед нами, с ее мамонтами, захлебывающимися, потому что на ковчеге для них не нашлось места во время всемирного потопа,— и, через миллионы лет, земля, где:

...из рек, убегающих прямо,
Так широко и плавно,
Может пить только бог или мамонт,
Приходя как к равному равный.

Потом пришел Зощенко, франтовато приодевшийся. Только что вышла его первая книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», и, хотя часть тиража (к счастью, небольшая), появилась по ошибке в обложке «Трактата о трагическом» Константина Державина, гораздо важнее было то, что наборщики, работая над книгой, читали рассказы вслух и вся типография смеялась до упаду.

Очень хорошо было, что пришел Зощенко, но, к сожалению, он пригласил к «серапионам» трех актрис какого-то театра, гастролировавшего в Петрограде,— и это, с моей точки зрения, было плохо. Девушки, впрочем, были хорошенькие, особенно одна, востренькая, белокурая, которой, очевидно, понравилось мое мрачное, насупленное лицо, потому что, пока ее подруги читали стихи, она делала мне глазки.

Пожалел ли я о сердечной атмосфере этого вечера, когда мы, чуть ли не впервые, серьезно заговорили о поэзии? Груздев, упрекая Георгия Иванова, Адамовича, Оцупа в «болотной безошибочности и гладкости», процитировал Гумилева:

...И как пчелы в улье запустелом
Дурно пахнут мертвые слова.

Полонская, редко выступавшая, сравнила баллады Одоевцевой и Тихонова и обвинила Одоевцеву в холодном, рассудочном подражании английской поэзии.

Показалось ли мне, что бесцеремонное вторжение хорошеньких актрис, которых Зощенко не должен был приглашать, оскорбляет наш «орден»? Не знаю. Но я с отвращеньем слушал пошловатые стихи наших гостей, а когда чтение было закончено, накинулся на них издевательски-резко. Не помню, что я говорил. Помню только, что процитировал Брюсова, который однажды сказал при мне, что даже лошадь, если она очень постарается, может написать одно вполне приличное стихотворение.

Федин, как всегда, попытался придержать меня, прервал на какой-то бессвязной фразе, пошутил...

Куда там! Я продолжал свою язвительную речь — и, не дождавшись других выступлений, девушки обиделись и ушли. Зощенко проводил их.

«Серапионы» дружно ругали меня, я отбивался — и за-

молчал, когда он вернулся. Все замолчали. Должно быть, не только я, никто из «братьев» таким его еще не видел. Смуглое лицо побелело, красивые черные глаза чуть косили. Он был в бешенстве. Не повышая голоса, он сказал, что я вел себя как ханжа — помнится, меня не только оскорбило, но еще и удивило это слово,— и потребовал, чтобы товарищи осудили мое возмутительное поведение. Я ответил, что очень удивлен тем, что он, требуя от меня ответа, обращается к другим, и что не позволю устраивать над собой суд, тем более что ни в чем не считаю себя виноватым.

— Полагаю, что вопрос может решить только та встреча лицом к лицу,— сказал я холодно,— с помощью которой еще недавно решались подобные споры и от которой я ни в коем случае не намерен уклониться.

Гордо подняв голову, я вышел и, не помня себя, помчался по Невскому. Мы деремся! Правда, Зощенко промолчал, и у меня не было уверенности, что он понял смысл моих слов. Он промолчал, а кто-то (кажется, Федин) улыбнулся. Все равно мы деремся! Завтра нужно ждать секундантов.

Десять шагов — и до результата!

Тыняновы уже спали, и я рассказал о ссоре утром, после бессонной ночи.

Юрий морщился, слушая меня, я знал это выражение энергичного и одновременно беспомощного неодобрения, когда он встречался с нелепостью, которая уже совершилась и, стало быть, в ней ничего нельзя изменить. В нелепости был виноват, по его мнению, я.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что ты был, по-видимому, невежлив,— раздражаясь, заговорил Юрий.— И ведь это уже не в первый раз. Мне кажется, что ты должен извиниться перед Зощенко.

— Ни за что!

— Ну, как хочешь. А мне пора.

И он ушел на работу.

Лидочка, молча слушавшая мой рассказ, казалось, ждала, чтобы мы остались одни. В ответ на мой вопросительный взгляд она сказала мягко:

— Да, вы были неправы.

— Видели бы вы этих девиц! Он не должен был приглашать их! И почему ханжа?

— Потому и ханжа,— энергично сказала Лидочка,—

что вы нашли это неприличным. А между тем сами же переглядывались с одной из них. Михаил Михайлович это заметил.

— Не переглядывался, а она делала мне глазки.

— Это все равно. Она вам понравилась, а потом вы же на нее напали. Конечно, это было невежливо. И даже более того — неприлично.

Я вспылил:

— Ну и очень хорошо! Считайте, что я ханжа и вел себя неприлично. Вообще это мое дело!

Она смотрела на меня молча, исподлобья.

— А теперь вам хочется мне нагрубить?

— Хорошо, я еще и грубиян. И не будем больше говорить об этом.

— Мы можем вообще не разговаривать.

— Ах, вообще? Прекрасно.

Лидочка повернулась и ушла. Я понимал, что она огорчена и беспокоится за меня — а вдруг Зощенко действительно пришлет секундантов? Но почему-то именно это меня раздражало.

Впервые мы поссорились, и я, уже через час или два сердившийся только на самого себя, тем не менее продолжал настаивать на этой без всяких причин все разгоравшейся ссоре. Мы перестали разговаривать и только за столом обменивались ничего не значившими словами.

Это были трудные для меня дни января 1922 года. В университете я еще не сдал минимум за первое полугодие, в институте нельзя было не посещать занятий. Но я не ходил и в институт — сидел дома, зубрил историю римской литературы и вскакивал на каждый звонок. Ждал секундантов.

Кого из друзей просить взять на себя эту трудную, но благородную роль? Я сочинял предсмертные записки, уверенный в том, что буду убит. Зощенко недавно снял военную форму, был известен своей храбростью — можно было не сомневаться в том, как окончится встреча.

Прошло два дня, Юрий стал подсмеиваться надо мной и вдруг притащил откуда-то «Дуэльный кодекс». Я рассердился, потом прочел кодекс. Он был написан сыном (или племянником) известного Суворина, издателя газеты «Новое время». В коротком предисловии автор сообщал, что однажды он «принял вызов на дуэль», а в пространном послесловии, что он его все-таки не принял. По-видимому, кодекс был издан, чтобы доказать доблесть

автора,— человек чести, он слишком хорошо знал, как надо ее защищать. Многое изумило меня в этой книге. Она была отражением жизни, казавшейся фантасмагорией именно потому, что о ней было рассказано фотографически точно. Лишь семь-восемь лет тому назад достаточно было не ответить на поклон — и оказаться в двадцати шагах перед пистолетом. С помощью дуэли можно было защищаться от оскорбительного письма, действия, компрометирования жены и даже от жеста, если он покажется неприличным.

Особенное место отводилось печати: обиженный мог вызвать на дуэль автора, а если он скрыл свое имя под псевдонимом — издателя или того и другого.

Драться полагалось на шпагах или гладкоствольных пистолетах, заряжающихся сферической пулей. Вспоминая, как ловко мы с Вовкой Геем фехтовали на отцовских шпагах, я пожалел, что вызван был не я, а Зощенко и, следовательно, выбор оружия принадлежал ему. Впрочем, был ли я вызван?

Читая главу «Цель дуэли», я задумался: дуэль, оказывается, была «недопустима как средство тщеславия, возможности хвастовства и фанфаронства». А вся Тынкоммуна единодушно упрекала меня в фанфаронстве.

Так или иначе, приходилось ждать, согласно кодексу, недолго — два дня. Они прошли, но я добросовестно просидел еще два. Скучный учебник Модестова по римской литературе был изучен вдоль и поперек, из Института восточных языков позвонили и сказали, что я буду исключен, если не явлюсь на очередное занятие.

Наконец, после долгих колебаний — идти или нет? — взволнованный, с горящими щеками, я отправился на первую годовщину нашего «ордена». Зощенко — веселый, красивый, с добрым лицом — пришел туда поздно, когда мы играли в какую-то игру вроде «телефона». Это было в комнате Мариэтты Шагинян в Доме искусств. Поклонившись хозяйке, он стал неторопливо двигаться вдоль ряда играющих, здороваясь, и, дойдя до меня, остановился. Я вскочил, и, как Ивана Иваныча и Ивана Никифоровича, нас стали мирить, уговаривая и толкая друг к другу.

Наконец мы поцеловались, и Зощенко сказал мне, улыбаясь:

— Знаешь что, а ведь я эти дни почти не выходил. Думал: черт его знает, мальчишка горячий! Ждал секундантов.

ОБЪЯСНЕНИЕ. БОЛЕЗНЬ. СОН

1

После примирения с Зощенко ссора между мной и Лидочкой стала казаться странной. Было ясно, что я виноват.

В дни, когда мы почти не разговаривали, я особенно сильно почувствовал, что привык к ней и скучаю без дружеской близости, от которой без всякой причины заставил ее отказаться. Так же как Юрий, она не терпела грубостей. Надо было извиниться. Но мне мешала мысль, что ссора, так же как и все между нами, произошла на глазах всей Тынкоммуны. Стало быть, надо было и извиниться при всех?

Впоследствии я перестал удивляться тому, как тонко угадывала она мое душевное состояние. Тогда это случилось впервые: не помню каким образом, но она дала мне понять, что надо вести себя так, как будто ничего не случилось. В один из университетских дней я предложил проводить ее, и она весело согласилась...

Однажды она поздно засиделась над учебником и, когда, вернувшись после серапионовской субботы, я на цыпочках шел по коридору, выглянула из столовой. Мы немного поговорили — кто читал, хорош ли рассказ, не наскандалил ли я снова? С тех пор повелось, что она ждала меня по вечерам каждую субботу. Быстро шагая по ночному Невскому, я представлял ее в капотике, с заплетенной на ночь косой, склонившейся над учебником или над бернштейновскими таблицами — она занималась у С. И. Бернштейна в лингвистическом кабинете и была чуть ли не единственной его ученицей.

Теперь к ожиданию субботы присоединилось еще и ожиданье особенных, ночных минут, и мне было весело волноваться, чувствуя, что в эти минуты я держусь иначе, чем с другими девушками,— свободнее, проще. Как-то само собой получилось, что мы с полуслова понимали друг друга, и она первая научилась отбрасывать все лишнее, что я должен был бы сказать, если бы говорил не с нею. Для меня, тонувшего и даже намеренно топившего себя в ненужных сложностях, из которых я подчас выпутывался с трудом, это было не только приятно, но важно. Многое оказывалось проще, чем казалось.

Теперь мы не только ходили вместе в университет

или в театры, но и по делам: почему-то отправились вместе получать трудовую книжку, взамен той, которую она потеряла. В свою я не заглядывал, а ее, новую, рассмотрел: на первой странице по правую сторону маленькой наборной печати было написано: «Не трудящийся да не ест», а по левую — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Согласно второму пункту, Лидочка была студенткой, согласно третьему — грамотна, а в третьей графе было написано крупно: «девица». Эта девица не знала никаких ремесел, за что я ее пристыдил, не имела отношения к воинской повинности и, кроме социального страхования, не платила налогов. Почему-то все это казалось нам очень смешным. Книжка была толстая, десять страниц отведены заработкам, пособиям и пенсиям из подотдела охраны труда, и место, отведенное для каждого раздела, так и называлось: «место». В графе «место для фотографии» Лидочка выглядела деревенской, круглолицей, мрачной, с испуганными глазами — точно так, как если бы ее сильно ударили по голове и она еще не очнулась.

Сниматься мы тоже ходили вместе. Карточка стоила тысячу двести рублей, фотограф говорил: «Спокойненько, спокойненько» — и долго держал нас (я тоже зачем-то снялся) перед большим деревянным трехногим аппаратом, у которого он стоял, накрыв себя вместе с аппаратом большой черной тряпкой.

Эти подробности — и тысячи других — не сохранились бы в памяти, если бы они не были связаны с Лидочкой. Теперь, когда я стал чувствовать ее присутствие — дома ли, в университете или театре,— еще более заметным стало для меня ее отсутствие. Хотя в Восточном институте, например, ей решительно нечего было делать, ее появление на парте рядом со мной, пожалуй, не показалось бы мне таким уж неестественным или странным. Это чувство обострялось, когда я был свидетелем или участником какого-нибудь взволновавшего меня события или разговора.

Задумывался ли я над нашими отношениями? Да, когда останавливался на догадке, что, в сущности, у меня никогда не было друга, от которого я не только не стремился бы скрыть что-нибудь, но, напротив, рассказать, и возможно полнее. Друга, платившего мне откровенностью, настолько естественной, что, если бы мы заговорили о ней, это показалось бы странным.

Толя Р. многое скрывал от меня — еще в Пскове, когда он был в подпольном кружке. Это поднимало его в моих глазах, но мешало нашему полному, безоговорочному сближению. Ему хотелось убедить меня думать так же, как думает он. Но для меня было ясно, что мои интересы лежат в совсем другой области — в литературе,— и хотя однажды он энергично атаковал меня, доказывая, что я не имею права «стоять в стороне», я легко опрокинул его доводы: русская литература всегда была в центре политической жизни, моя «отстраненность» — перспективна, у нее есть будущее, в то время как он просто-напросто теряет дорогое время. Мы поссорились, но вскоре помирились. «У меня к Веньке слабость»,— объяснил он Лидочке, явившись в Тынкоммуну на другой день после этой ссоры, взлохмаченный, веселый, голодный как всегда, похожий на негра со своим смуглым лицом и сияющими добротой серыми глазами.

Между мной и Женей Куммингом была сильная по своей направленности, но недолгая дружба. Он был человеком, постоянно требовавшим что-нибудь от других и добивавшимся исполнения своих требований. Я от него ничего не требовал, и, может быть, именно поэтому он не то что полюбил меня, но привязался — и искренне привязался. У нас был общий могущественный интерес — искусство, для него не исключающий других интересов. Недаром же он стал впоследствии крупным дельцом. С его ясной, холодной головой он мог стать и политиком, поддерживающим победившее направление. Все не относившееся к искусству ничего не значило в наших отношениях. Мы как бы условились не вмешиваться в жизнь друг друга, тем более что мне иногда казалось, что он старше меня не на два года, а на двадцать.

Левушка Лунц был настоящим другом, но он был «наш общий друг», его любили все, и он любил всех, что нисколько не мешало резкости его литературных мнений: той «единственности», которая заставляет отвечать друг за друга, между нами не было, и недаром мне казалось, что между ним и Зощенко или Слонимским была бо́льшая близость. Общность взглядов не имела решающего значения — все еще двигалось куда-то, сталкивалось, плыло...

Можно ли сказать, что мы с Валей К. были друзьями в том значении, которое предполагает полный, ничем не стесненный доступ в душевный мир друг друга? Пожалуй,

если бы эта дружба не была осложнена, запутана и, наконец, подорвана неудержимым стремлением к другой близости, кружившей головы нам обоим.

Иные отношения постепенно установились между Лидочкой и мною. Они существовали с такой же естественностью, как все происходившее в доме. Как участие в литературных делах Юрия, как заботы о получении продовольственных карточек и другие утомительные хозяйственные обязанности и заботы. Тынкоммуна напоминала корабль, мчавшийся на всех парусах, ежедневно или еженедельно налетая на скалы и рифы 1921/22 года. Капитаном на этом корабле была Лена, умная, решительная, деятельная, хотя и внутренне оскорбленная тем, что все заняты делом, а она только домашним хозяйством, которое ей, бывшей виолончелистке, мечтавшей заняться если не музыкой, так по меньшей мере музыковеденьем, казалось не делом, а выматывающим все силы бездельем. Все понимали ее и жалели, но по-разному. Мне ее положение не казалось трагическим, так же как Льву Николаевичу, который не находил ничего особенного в том, что Лена до поры до времени должна заниматься не музыковеденьем, а хозяйством. У нее был муж, работавший по двенадцать часов в сутки, и шестилетняя дочь — это, с точки зрения Льва Николаевича, вполне определяло ее положение.

Но он, разумеется, молчал, а Лидочка не только молчала, но была на корабле «первым помощником» — и это касалось не только хозяйственных дел. Мне кажется, что наши отношения стали меняться ранней весной 1921 года, но — как это вскоре выяснилось — только с моей стороны. Прежде я просто смотрел на Лидочку — приятно было видеть ее правдивое лицо с кругленьким подбородком, встречал ее взгляд, который никогда не оставался равнодушным. У нее глаза, как у Юрия, далеко уходили под веки, брови были плавно округлены и под голубоватым белком заметно выделялись нежные тени. Только теперь я заметил ее покатые, как на старинных портретах, плечи. Я прислушивался к ее быстрым шагам по коридору. Теперь мне хотелось — и с каждым днем все сильнее,— чтобы наши отношения переменились. Еще не ясно было, как и в чем, но переменились — и поскорее.

2

Солнце, подбираясь к окну моей комнаты, наконец легло широкой полосой, и даже с закрытыми глазами можно было видеть его молодое, могущественное сияние. После холодной ночи воздух струился и дрожал, и на Пятой Советской, куда выходило мое окно, было еще по-утреннему свежо и тихо.

Заниматься арабским становилось все труднее. Крачковский был мягко требователен, и на историю русской литературы, которой я интересовался больше, чем Востоком, времени становилось все меньше. Но в это утро мне не хотелось думать, сделал ли я ошибку, поступив в институт. Я занимался, но дело не шло — и не пошло, когда, закрыв хрестоматию, я принялся за реферат о Сенковском, который был одновременно и знаменитым арабистом, и знаменитым писателем, что мне, очевидно, было не под силу.

Впрочем, и о нем я в это утро не думал. Томление охватило меня, едва я проснулся, и теперь, после завтрака и безуспешных занятий, разлилось по телу, заставляя чувствовать — все острее — счастливое острое напряжение.

Случилось так, что мы с Лидочкой остались одни в квартире — Лена с дочкой ушла гулять на Прудки, Юрий и Лев Николаевич были на работе. Через спальню воображение переносило меня в столовую, и я видел Лидочку, сидящую за столиком у окна, над историей русского языка, которую надо было сдавать сердитому, седому, бородатому, похожему на старого ямщика, академику Карскому.

С закрытыми (чтобы не видеть разложенные на столе книги и тетради) глазами я долго сидел, стараясь преодолеть эту непонятную, сладкую истому, заставляющую щеки гореть, а сердце биться быстро и сильно. Я прислушался к нему — оно звенело, как большой колокол, в то время как маленькие покорно молчали. Большой колокол наполнял радостными, мерными звуками весь мир, заставляя меня счастливо чувствовать, что я живу в этом беспредельном, летящем, цветном, наполненном необыкновенными происшествиями мире. Я еще не знал, что я напишу Лидочке, но уже писал, и совсем не то, что я чувствовал, а то, что должно было, как мне казалось, не только убедить, но взволновать ее и горячо затронуть.

Конечно, я не помню этого письма, или, точнее ска-

зать, не помню тех слов, из которых оно состояло. Но стремление показаться сложнее и тоньше, чем я был на самом деле, запомнилось мне — в ту пору оно постоянно сопровождало все, что я говорил и думал. Если бы я откровенно написал Лидочке о том, что теперь стал как-то иначе, чем прежде, относиться к ней, о колокольном звоне, таинственно связанном с этой переменой, о воздухе, который струился и дрожал на Пятой Советской, как в лесу, может быть, произошло бы то, на что я надеялся.

Но я написал, запутываясь и не поправляя себя, в горячке, которая могла показаться искусственной, что я люблю ее... Рука невольно остановилась перед этим словом, как будто оно было готово упрекнуть меня за эту обязывающую определенность... Остановилась и все-таки написала. И дальше все пошло длинно, сложно, как будто мне хотелось нарочно утопить в этой сложности то, что я действительно чувствовал, то, что было совершенно непохоже на это письмо.

Это были минуты, когда Лидочка, склонившаяся над книгой и, может быть, тоже томившаяся желанием поскорее захлопнуть ее, куда-то исчезла, а мною полностью завладело письмо к ней, которое непременно надо было написать так, чтобы оно произвело впечатление. Между нами еще не была перейдена граница подлинного знания друг друга, чувство, о котором совсем недавно я не осмеливался и думать, было еще далеко от этого знания. Между тем только оно и могло помочь мне добраться до простоты, утонувшей в моих литературных оборотах. Это было, как если бы я бежал вверх по лестнице, прыгая через две ступени. Наконец остановился. Письмо было окончено. Я подписался одной буквой: «В» — и, войдя в столовую, положил его прямо на раскрытые перед Лидочкой книги. Она с удивлением взглянула на меня и хотела, казалось, что-то спросить. Но я торопливо вернулся в свою комнату и стал ждать. Хотя стрелка на больших старомодных часах, которые подарил мне дядя Лев Григорьевич, двигалась, но ждала и она. Ждала арабская грамматика на столе, нетерпеливо ждал мой реферат о Сенковском, оборванный на полуслове.

Наконец я услышал шаги в коридоре, не быстрые, как всегда, а медленные, задумчивые. Выглянул — Лидочка надевала свою синюю жакетку и шляпу.

Эта навсегда запомнившаяся мне шляпа очень шла к ней — легкая, синяя, газовая, с невысокой тульей и двумя

прозрачными кругами — один побольше, другой поменьше,— лежавшими друг на друге.

— Вы свободны? — спросила Лидочка.— Может быть, пойдем погулять?

Молча прошли мы Греческий, свернули куда-то, потом шли прямо и снова свернули — я понял, что мы идем в Таврический сад, только когда перед глазами заблестела мозаика направо и налево от входа в Суворовский музей. Я знал, что мозаика, изображавшая отъезд Суворова на войну из деревни, была выложена отцом Миши Зощенко. Он рассказывал, что отец иногда брал его с собой, показывал, как складывать камешки, и маленький Миша сам сложил одну елочку в левом нижнем углу разноцветного фона. Но все это вспомнилось в каком-то тумане.

Лидочка шла опустив голову, и, хотя я время от времени поглядывал на ее лицо, непривычно серьезное под прозрачными полями шляпы, оставалось лишь догадываться, что означает ее молчание. Таврический сад, с едва распустившейся зеленью, с неровно заросшими дорожками, с молодыми, неловко раскинувшимися ветками клена, на которых еще только раскрывались почки, казалось, вернул ей дар речи.

— Я прочла ваше письмо,— сказала она мягко.— И вот теперь не знаю... Зачем вы его написали?

Я отозвался горячо, но почему-то сразу получилось, что в моем объяснении главную роль играло письмо, а не то, что я хотел выразить в нем. Я не сказал, что мне всегда хочется напомнить ей, что Софья Борисовна сердилась на Лидочку за то, что она немного горбится за столом, что в ее присутствии я чувствую себя теперь совершенно иначе, чем прежде. Я не сказал, что все касавшееся ее жизни касалось и моей — так же как в эти минуты нам обоим принадлежал этот парк с его полуразвалившейся беседкой, в которой играли дети, с зеленой, только что покрывшейся травой горкой, по которой хотелось взбежать. Я не сказал, что синяя газовая шляпа нравится мне, потому что от нее на лицо Лидочки ложится прозрачная тень, придававшая задумчивому лицу таинственность, особенно значительную, потому что я ждал ответа.

Но ко всему этому невозможно было пробиться. Все это было заслонено словами, которые я говорил торопливо и уже с тяжелым сердцем, потому что, хотя Лидочка только спросила, зачем я написал письмо, я предвидел и боялся того, что она сейчас скажет.

— Все это вам только кажется... Я не хочу сказать, что вы... Что то, что вы написали,— неправда. Но я...

Она остановилась, и я понял по ее немного побледневшему лицу, что она боится огорчить меня или обидеть.

— Я думаю, что вам это только показалось. Вы вообразили, а потом убедили себя. А на самом деле...

3

Вечером вся Тынкоммуна знала, что произошло между нами, хотя мы никому не сказали ни слова. Но даже если бы я не был мрачен и молчалив, если бы в Лидочке, державшейся как обычно, не чувствовалась напряженность, когда она обращалась ко мне,— все равно случившееся было так же очевидно, как если бы Лена, Юрий и Лев Николаевич были вместе с нами в Таврическом и слышали наш разговор. Все было известно — и не только потому, что в доме никто ничего не скрывал друг от друга. Оба брата вольно или невольно следили за нашими отношениями и совсем не хотели, чтобы они перешли в те, на которые надеялся я. Хотя мое письмо для меня самого было неожиданностью, они — да и Лена — видели дальше, чем я, ждали этого объяснения и, по-видимому, были рады тому, что Лидочка его отклонила.

Все это стало ясно за ужином: Юрий был особенно оживлен и ласково посматривал на сестру, Лев Николаевич посмеивался без всякой причины. В разговоре все обходили то, что могло коснуться меня, старательно показывая, что до наших отношений им нет никакого дела. Но эта подчеркнутая сдержанность раздражала меня.

С трудом удерживался я, чтобы не трахнуть тарелку с чечевицей об пол. Они радовались. Почему? В этом можно было не сомневаться. Юрий, весело и с мужским одобрением относившийся к моим ухаживаниям за другими девушками, совсем не хотел, чтобы среди них оказалась его сестра. Он любил меня и недаром испугался, заподозрив, что в пошлой, мещанской семье меня хотят женить на пустой Анечке М., говорившей «блюдко». Но Лидочку он любил еще больше и теперь был доволен, что она ответила отказом на мое объяснение. Лев Николаевич чуть заметно посмеивался, и, кажется, сочувствовал мне. И может быть, я бы не взбесился, если бы не иронически-многозначительные взгляды, которыми обменивались, погля-

дывая на меня, Юрий и Лена. Но, взбесившись, я молча ел кашу, сердясь уже на то, что я не в силах заставить себя не есть ее, встать, уйти — словом, сделать что-нибудь бессмысленное, но соответствующее этому бешенству, которое тоже было совершенно бессмысленно, потому что мне не на кого было сердиться.

Наконец кончился этот мучительный ужин, я встал, ушел в свою комнату и принялся шагать из угла в угол, стараясь справиться с собой, что мне решительно не удавалось.

Был вечер, но уже прозрачный, накануне белых ночей; на Пятой Советской и Греческом, которые тоже были видны из моего окна, стояла светлая тишина и звонко отдавались редкие шаги прохожих. Но это был отвратительный вечер — ни день ни ночь,— и запах свежести, робко проникавший в распахнутое окно, тоже был отвратителен уже потому, что мне нечего было с ним делать. Отвратительна была арабская хрестоматия Хошшаба — хотя Крачковский рассказывал о нем что-то интересное. Мой реферат о Сенковском был жалок и пуст, и я просто не мог понять, зачем я решился писать об этом желчном лицемере, переделывавшем до неузнаваемости любую рукопись, попадавшую в его «Библиотеку для чтения».

Я попробовал считать до тысячи, чтобы успокоиться, но уже на семидесяти восьми вспомнил понимающую улыбку Лены и даже заскрипел зубами от злости. Все считали меня черт знает кем и были правы.

Я знал, что успокоюсь, вообразив застенчивое, правдивое выражение на Лидочкином лице. Она искренне огорчалась, но мне не хотелось успокаиваться, и я отогнал от себя это воспоминание. Если бы можно было разбить окна, переломать мебель — словом, сделать что-нибудь показывающее, что я прекрасно понял немой разговор за столом! Я оглянулся, схватил стул, старый, из тех старомодных, с высокой спинкой дубовых стульев, которые Барц оставил нам именно потому, что они были старомодные, и, подняв в воздух, сильно трахнул им об пол. Стул рассыпался на куски, из спальни послышались тревожные голоса, и на пороге появился Юрий. Было поздно, все уже спали, я не заметил, что прошагал из угла в угол два часа.

— Что такое? — закричал он. Конечно, он сразу же связал этот дикий поступок с тем, что произошло за столом, и был возмущен. Таким сердитым я его еще не видел.

— В чем, наконец, дело?

Я не знал, что ответить, но его вид, в ночной рубашке, с голыми ногами, отрезвил меня.

— Ничего,— пробормотал я.

— Все спят, а ты ведешь себя черт знает как! Что, вообще, случилось?

— Ничего не случилось.

Он ушел, сильно хлопнув дверью. Ногой я отшвырнул обломки стула и не раздеваясь рухнул на постель.

4

Ничего не изменилось в Тынкоммуне, но мы с Лидочкой еще и делали вид, что ничего не изменилось, и это странным образом отделяло старших от младших. Старшие были свободны от напряженности, которая неприятно связывала нас.

Снова сбежать из дому к Слонимскому было неудобно, и я проводил много времени у Толи. Он жил на Старо-Невском, у своего дяди, известного врача и еще более известного социал-демократа. В семье недавно появился мальчик, и над его кроваткой мы с Толей спорили о политике, философии и литературе. Сердясь, что на него не обращают внимания, мальчик начинал кричать, и тогда Толя проводил от его крошечного носа воображаемую прямую черту, утверждая, что это движение, усыпляющее петухов, должно подействовать и на младенца. Движенье действовало, но вскоре после опыта приходилось менять пеленки.

Я упрекал Толю за то, что, уговорив меня подать на арабский разряд, он не посещает занятий. С умоляющим, виноватым лицом он уверял, что будет посещать, и действительно догнал нас — засел и через две недели явился в институт, поразив Крачковского, который только из деликатности не подавал рапорта об исключении Толи. У него были удивительные способности. Но увлечение продолжалось недолго...

...Мои дежурства, прежде привлекательные, потому что в них принимала участие Лидочка, стали скучной обязанностью, которую я выполнял с небывалой прежде тщательностью: едва просыпаясь, я уже думал о том, как доказать Юрию, Лене, Льву Николаевичу, что, если я и объяснился Лидочке в любви, это для меня решительно ничего не значит.

Огорчалась только Лидочка, ее правдивый, огорченный взгляд иногда, как бы случайно, останавливался на мне. Старшие не только не огорчались, но, без сомнения, были довольны. Проходя по коридору, я случайно услышал обрывок разговора. «Не верь ему,— сказал Юрий Лидочке.— Он все врет».

С упавшим сердцем вернулся я в свою комнату: «Он все врет». Я так прислушивался к каждому слову Юрия, так старался, иногда невольно, подражать ему, что у меня хватило сил, чтобы спросить себя: «Может быть, он прав? И я действительно вру или намеренно скрываю от себя правду?» Но в его словах таился чуть заметный намек, что точно так же я мог соврать Анечке или любой другой девушке, за которой ухаживал у него на глазах. Тогда его приговор был не только оскорбителен, но поразительно непохож на то, что происходило со мной. Если Юрий прав, как же объяснить, что занятия, заботы, дела, составлявшие торопливый, стремительный день, давно связались с отсутствием или присутствием Лидочки? Как объяснить, что стоило мне, ложась в постель, дунуть на коптилку, как в темноте немедленно появлялась она? Как объяснить, что, засыпая, я видел ее, стоящую в стороне, но распоряжавшуюся чем-то важным в моем засыпании?..

Может быть, я совсем удрал бы из Тынкоммуны, если бы однажды за ужином Лена не спросила меня:

— Что это ты такой красный?

Я всегда был красный и даже зимой казался загорелым. Когда меня призывали в армию, врач обратил внимание на розово-смуглый цвет тела.

— Вы всегда такой? — спросил он.

Но в этот вечер тарелка с супом, стоявшая передо мной, то приближалась, то удалялась, а люди были как будто обведены жирной чертой. Время от времени они совсем исчезали, и я один энергично шагал по опустевшей планете.

— Э, брат, да у тебя температура,— сказал Юрий, положив на мой лоб свою маленькую, крепкую руку.

Лидочка побежала за термометром, и у меня оказалось сорок.

...Я крепко спал в эту ночь, а просыпаясь, все пытался встать и пойти — не знаю куда и зачем. Но непреодолимая сила, в которой было что-то прекрасное, мешала мне подняться с постели, и, блаженно улыбаясь, я засыпал, засыпал...

Лев Николаевич выслушал меня и ничего не сказал — он не любил лечить родных.

Потом пришел врач, похожий, как мне показалось, на палача, со своими красными губами, неприятно выделявшимися в курчавой шерсти, покрывавшей лицо. Осмотрев меня, он сказал одобрительно:

— И ладно скроен, и крепко сшит.

Но бледная сыпь, появившаяся у меня на груди, не понравилась ему.

— Похоже на сыпняк. На всякий случай установим карантин.

И он поднял вверх толстый палец:

— Осторожность, осторожность, осторожность, господа!

Все ходили расстроенные. Инночку перевели в самую далекую, нежилую комнату. Положить меня в сыпно-тифозный барак?

Лев Николаевич, через руки которого прошли сотни больных сыпным тифом, осмотрел меня снова.

— Подождем,— сказал он.— Непохоже.

И он был прав, потому что на другой день сыпь исчезла. Но очень высокая температура держалась долго, дней пять, и я заранее начинал бояться ночи, не потому, что терзался бессонницей, а потому, что никогда еще меня не преследовали такие страшные сны.

Позвали другого врача, и он, едва взглянув на какой-то пузырек, появившийся за ухом, сказал, что у меня не сыпняк, а самая обыкновенная ветрянка.

5

Ветрянкой болеют дети до десяти лет, и обычно она проходит через четыре-пять дней. Но здоровенные парни с широкими плечами и грудью болеют ветрянкой, как это вскоре выяснилось, тяжело и поправляются медленно, трудно. Так по меньшей мере было со мной.

Бледная сыпь вернулась, превратившись в розовую, быстро покрывшую все тело. Во рту, на веках, в гортани, бог знает где еще появились пузырьки, крупозный кашель стал душить меня, впервые в жизни я испытал удушье, когда ежеминутно казалось, что кто-то хватает за горло и сжимает все крепче, не обращая внимания на умоляющий стон. Возможность дышать была, оказывается, безграничным благом, и я не понимал, как случилось, что до сих пор я не благословлял и не ценил ее. Воспаленными глазами

я разглядывал эти проклятые пузырьки, чесавшиеся подло, невыносимо, и еще подлее было то, что нельзя было чесать их — на теле могли остаться рубцы.

На спине у меня — так сказал Лев Николаевич — была звездная карта Гейпнера — так красиво назвал этот ужас некий ученый немец. Я недоумевал — каким холодным воображением надо обладать, чтобы сравнить с картой звездного неба лопающиеся пузырьки, то и дело заставлявшие меня находиться в подвешенном состоянии? Полуслепой, с разламывающей головной болью, я не позволял ухаживать за собой и особенно боялся, что в комнату войдет Лидочка,— прятал от нее обезображенное лицо, едва она появлялась в дверях.

Юрию я жаловался, что теряю время: в университете давно пора сдать минимум за второй курс, а в институте меня давно обогнала группа, уже читавшая сказку о Камар аз Замане из «Тысячи и одной ночи». Он рассердился в конце концов и спросил:

— Сколько тебе лет?

Я прошептал:

— Скоро двадцать.

— Так вот: ничего не случится, если ты потеряешь не месяц, а год. Или два!

Мне не хотелось есть, да это было и невозможно с моим воспаленным нёбом и гортанью. Но врач сказал, что есть необходимо, и я заставлял себя проглотить две-три ложки овсяного отвара.

Друзья приходили проведать меня, но с первой минуты встречи мне хотелось остаться одному — даже если приходил Толя Р. Я не знал тогда, что любая болезнь свяжется впоследствии с настоятельным стремлением к одиночеству и что мне всегда будет тяжело видеть у своей постели пришедшего навестить меня человека. Болезнь как бы замыкала меня, освобождала от необходимости разговаривать, благодарить, улыбаться.

6

В ту ночь мне приснилось, что я раздеваюсь в магазине готовых вещей, но не для того, чтобы купить что-нибудь, а для какой-то неизвестной, неприятной цели. Рядом — баня, и я думаю, что, может быть, разумнее было бы раздеваться в бане. Но приказано — в магазине, и я вешаю пиджак на крючок, а рядом пристраиваю брюки. Привет-

ливая девушка командует мной. «Вот так,— говорит она, протягивая мне какие-то лохмотья.— Вот так».

В опорках, в лохмотьях я усаживаюсь на паперти, где другие нищие нехотя, злобно встречают меня. Все переоделись, все оставили свои костюмы в магазине готовых вещей, все пошли в баню, почему же в церкви я отвечаю за всех? Они ругаются и толкают меня. Приветливая девушка заступается, но другая, коротконогая, накрашенная, с завистью и ревностью в холодных глазах говорит мне: «Ну, все. Больше ты ее не увидишь».

Я возвращаюсь к магазину, боясь, что меня не узнают в лохмотьях. Прохожу вдоль стеклянной стены. Много дверей, но все незнакомые, а на моей надпись — «Закрыто».

Мне грустно. Закрыто? Молодой человек мелькает за стеклом, я прошу впустить меня, он долго не соглашается, потом, пожав плечами, открывает дверь. Я иду к тому месту, где повесил костюм. Но все изменилось. Брюки кругло стоят на полу, над ними в воздухе неподвижно висит пиджак с вздернутыми рукавами. Я ищу себя, но меня нет. Вот здесь должны быть руки, здесь — ноги. Пусто. Не могу найти себя в пиджаке. Молодой человек равнодушно говорит: «Я же сказал, что все закрыто»...

Задыхаясь, почти падая с постели, я услышал легкие шаги по коридору. Виденье в белом халатике бесшумно отворило дверь, и мне стало легче, когда я увидел тревожное, доброе лицо, говорящее что-то немыми губами. Я прошептал:

— Пить.

И сразу же почувствовал холодок стакана с водой, которая показалась мне необычайно вкусной. Что-то еще совершалось в комнате, но это было уже похоже на сон, хотя ощущение, что все закрыто, пропало. Сквозь раздвинутые шторы показался слабый свет утра, который тоже был загадочно связан с виденьем в халатике, что-то переставлявшим на моем ночном столике и поправившим на моих ногах одеяло. Теперь я не был ничто. Я кому-то принадлежал, и то, что я думаю, дышу, существую, для кого-то еще было важно.

Потом виденье исчезло, точно растаяло в воздухе, и у меня появилось занятие — ждать, когда оно появится снова. Но оно не появилось ни утром, ни днем, и это смутно связалось в сознании с просьбой, чтобы Лидочка не заходила в мою комнату, пока не очистится мое покрытое язвочками лицо.

...Поздно вечером, когда все уже ложились спать, псковская коммуна явилась после Мариинки в полном составе. Это случалось и прежде, и тогда студенты ночевали где придется, на кухонном полу, в холодной комнате, в креслах. На этот раз они пришли некстати и после разговора с Юрием ушли на Старо-Невский, к Тольке. Я был благодарен Юрию, он чувствовал, что мне никого не хотелось видеть.

Постепенно болезнь проходила, мучительные сны оставили меня, я еще кашлял, но не так хрипло, как прежде. Виденье в халатике больше не появлялось. Может быть, оно причудилось мне в сумраке белой ночи, уступавшей место полусвету раннего утра? Пузырьки на веках засохли, отвалились, мне захотелось читать, и, когда я попросил у Юрия книгу, он сказал с торжеством:

— Ага, поправляешься, олд фул Бен?

Как я ни просил, он еще долго не давал мне читать, а когда я наконец вымолил книгу, принес мне «Старческий грех» Писемского, он любил эту повесть. Теперь, когда я стал выздоравливать и спина перестала напоминать звездную карту Гейпнера, меня стали навещать друзья, и первым явился Толя Р., взлохмаченный, с синей, давно не бритой бородой и сияющими серыми глазами.

С первого взгляда было видно, что он снова влюбился,— и не понравилось мне то, что он рассказал. Лена Т. (впоследствии я познакомился с этой отчаянной, безрассудно-смелой, с загадочным вопреки своим двадцати годам — прошлым, высокой, хорошенькой женщиной) приглашала его к себе по ночам, когда ее отец, профессор-химик, спал рядом в своем кабинете. Можно было встречаться и днем, но ей нравилось ночью. Мимо комнаты отца надо было пройти в носках и вообще вести себя бесшумно. У меня глаза полезли на лоб, когда я услышал его посмеиванье, его нервный рассказ.

— А если застанут?

— Буду драться. Впрочем, отец — полбеды. У нее еще есть брат, моряк. Но он часто в плаванье. Вернется, придумаем что-нибудь.

— А если не придумаете?

— Тогда убьют,— беспечно сказал Толя.— Ты знаешь, стоит...

— А как у тебя с арабским?

— Догоню.

Наконец он вышел, долгожданный альманах «Серапионовы братья», маленькая книжка в четырех тысячах экземплярах — по тем временам это было недурно. В альманахе было семь рассказов — не участвовали Тихонов, Груздев и Полонская. Но дух товарищества, дружеская связь так были сильны, что кто-то — кажется, Федин — предложил разделить гонорар поровну, на всех «братьев»,— и разделили бы, если бы неучаствовавшие согласились.

На последней странице под крупным заголовком был опубликован список книг «Серапионовых братьев» — убедительное отражение работы полутора лет. Зощенко успел напечатать своего «Синебрюхова», Иванов — «Партизаны», Полонская — «Знаменья». Шкловский, который не входил в наш «орден», хотя мы и называли его «братом беснующимся»,— мемуары «Революция и фронт». Кроме четырех опубликованных книг были названы еще семнадцать, причем лишь изредка вместо «печатается» стояло более скромное: «готовится».

Альманах был издан небрежно, на плохой бумаге, в тонкой обложке. Можно было не сомневаться, что «Алконост» (которым руководил уже тогда известный С. М. Алянский, друг Блока, обладавший безукоризненным вкусом) отнюдь не предполагал, что это скромное издание станет фактом нашей литературной истории.

Иначе поступил Горький, повторивший альманах в издательстве Гржебина (Берлин), увеличив его почти вдвое, включив стихи и острую статью И. Груздева «Лицо и маска». Но это заграничное издание прошло незамеченным, а наше имело неожиданный, почти парадоксальный успех.

Почему? Перечитывая альманах теперь, спустя полвека, я невольно задумался над этим вопросом.

Альманах открывается «Викторией Казимировной» М. Зощенко. В ту пору еще не было ясно, что именно он первым среди нас завоюет «право на открытие» в литературе. Тогда многие (и я в их числе) пытались связать его прозу с лесковским сказом, не понимая, что он безошибочно угадал только что утвердившуюся мещанскую интонацию,— угадал и, охватив бесчисленный круг явлений, довел ее до «неслыханной простоты».

И в рассказе Вс. Иванова «Синий зверюшка» уже действуют (или бездействуют) обдумывающие неожиданный, иногда роковой шаг мужики, которые с полной силой показаны в его лучшей книге «Тайное тайных».

Мир странный, страшноватый, как бы застывший в изумлении перед трагической возможностью чуда. Язык (к рассказу это слово подходит больше, чем иностранное «стиль») полон запахов, звуков, красок. И история Ерьпы, который «жалает мученичества», тонет в этих звуках и красках.

Сильные стороны Слонимского — ирония, склонность к парадоксальности, к гротеску — не обнаружились еще в рассказе «Дикий». Лунц напечатал удавшуюся библейскую стилизацию «В пустыне». Но, так же как еще более удавшаяся купринская «Суламифь», она оказалась вне литературы своего времени, доказав только одно: автор талантлив.

«Песьи души» Федина — рассказ о молодом, стройном, зеленоглазом доге, привязавшемся к старой мохнатой суке, о пропасти между душой человека и зверя. «Дэзи» Никитина — холодный монтаж, составленный из телефонного диалога, телеграмм и писем смотрителя зверинца и неосторожного отступления «Немножко о себе», в котором автор признается, что он «выклеивает для публичного удовольствия хитрую минуту, словечко, позу». После значительной повести «Кол», сразу поставившей Никитина на одно из первых мест в нашем «братстве», это была полная и необъяснимая неудача.

Не раз мне случалось видеть и слышать, с каким волнением автор встречает свое первое напечатанное произведение. Перечитывая «Хронику города Лейпцига», мне захотелось, не теряя времени, написать ее снова — оригинальнее, острее. Я не знал тогда, что это долговечное чувство. И теперь, перелистывая только что напечатанную вещь, мне хочется одни места зачеркнуть, другие исправить. Впрочем, «Хроника города Лейпцига», при всей своей элементарной мальчишеской дерзости, имела право на появление в альманахе. Рассказы были поразительно непохожи друг на друга, и моя «Хроника» в этом отношении зашла, может быть, дальше других.

Как же критики, историки литературы, публицисты встретили это издание, вышедшее лишь через год после окончания гражданской войны? Появились ли о нем статьи или рецензии в книгах, газетах, в толстых и тонких жур-

налах? Нас завалили ими. Только в 1922 году было опубликовано более двадцати статей и рецензий — в подавляющем большинстве положительных. Приведу первые строки только одной из них, несомненно отразившей преобладавшее мнение:

«Альманах Серапионовых братьев был составлен около года тому. За это время кружок молодых писателей-серапионовцев далеко шагнул вперед,— настолько далеко, что недавно вышедший из печати альманах дает о них довольно отдаленное представление. И все же от альманаха веет здоровой, обещающей молодостью, весенней свежестью, небесной синью.

Они безусловно даровиты — эти молодые серапионы,— из которых старшему 28—29 лет, а младшие еще находятся в том возрасте, когда берет серьезное сомнение, следует ли брить первый появившийся пушок. Серапионы безусловно порывают с некоторыми основными настроениями предреволюционной литературы, замкнувшей себя в узком кругу сверхиндивидуализма. У них — народ, данное, то, что пред глазами, живая жизнь, окружающее. И в этом прежде всего залог здоровья молодого кружка» (А. Воронский, «Красная новь», 1922, май — июнь).

Нас встретили аплодисментами. Почему? Потому, что этот альманах, в котором, казалось, не было ничего революционного, не мог бы тем не менее появиться до революции. Потому что он был пронизан ощущеньем новизны. Вольно или невольно в нем чувствовалось «начало». Складывалось ли оно из парадоксального несходства писателей, связанных друг с другом? Оценила ли критика умственный взгляд, обратившийся к забытым или незамеченным темам? Почувствовалась ли в альманахе та профессиональная серьезность, на которой так требовательно настаивал Горький? Не знаю. В любом случае это было признанием — мгновенье важное, определившее наше место в новом, еще небывалом укладе литературы.

В историческом смысле оно так и осталось мгновеньем. Уже в 1924 году Юрий в статье «Промежуток» написал, что «серапионы» «были переведены на испанский задолго до того, как они написали что-либо по-русски». Он был неправ. Написано было уже многое. Более того, многое, по меньшей мере на полстолетия, осталось в литературе. Так или иначе — *мгновение было*. И переоценить его значение для каждого из нас — невозможно.

РЕБЯТА, Я ВАС ВЫГОНЮ!

1

Не знаю, где и когда произошла та чуть заметная перемена, по которой я мог догадаться, что Лидочка не то что поверила мне, но стала относиться иначе, чем до болезни. Может быть, она пожалела меня? Или ей захотелось поверить? Когда все беспокоились, нет ли у меня сыпняка, мне все мерещилось, что к ее беспокойству присоединялся оттенок еще какого-то чувства. «Но мало ли что мне мерещится?» — думал я грустно.

После болезни я сильно ослабел, и бывали дни, когда она приносила мне завтрак. Или полотенце и тазик с водой, чтобы умыться. Теперь я почти не стеснялся ее, хотя на лице еще были видны пятна от подсыхающей сыпи. Мы разговаривали, как будто не было ни моего письма, ни разговора в Таврическом, ни сломанного стула. Но хотя я беспокоился о своих запущенных институтских и университетских делах, а она уверяла меня, что десять или двенадцать пропущенных дней ничего не значат,— все это было загадочно связано с тем, что произошло с нами до моей болезни и уже не могло бесследно исчезнуть.

Однажды, когда врач разрешил мне заниматься и я копировал арабские почерки сидя в постели, она чуть слышно постучалась и заглянула ко мне:

— Ничего, что так поздно? Уже второй час.

Я ответил благодарной улыбкой, сложил тетради и погасил коптилку. Приближалась пора белых ночей, и, хотя в комнате уже была эта белая ночь, она стала прозрачнее, когда в дверях мелькнул легкий халатик...

После этого случая были другие, ничтожные, может быть, но для меня говорившие о многом. Лидочка как бы медленно поворачивалась ко мне, и я уже видел ее профиль — краешек уха из-под блестевших волос, скуластенький выступ, угол глаза, выбившуюся прядку. Тысячу раз я перебирал наше объяснение и все больше убеждался в том, что она просто не могла мне поверить. Разве не была она свидетельницей моих ухаживаний за Анечкой М., беспечных и холодных? А вечер в Лесном, когда я удрал в лес с этой коротконогой островичкой, только потому, что она готова была мне уступить? А Валя? Но между Лидочкой и мной еще не было той минуты ясности и простоты, когда я решился бы рассказать ей о Вале все — от нашей первой встречи до поразившего меня разговора в Пскове.

Мы еще только приближались к этой минуте, и, проученный горьким опытом, я старался не торопить ни Лидочку, ни себя.

Случалось, что мне приходили в голову логические соображения: ведь она не сказала «нет», она только постаралась убедить меня в том, что я вообразил, придумал свою любовь, а письмо... Сколько раз на ее глазах я придумывал фантастический сюжет и немедленно записывал его на первом попавшемся листке бумаги.

Как же доказать, что нет и тени сходства между легкостью моих ухаживаний за другими девушками и впервые встретившейся необходимостью решить с полной искренностью, люблю я ее или нет? Как доказать, что я не могу жить как прежде, до приезда Лидочки в Петроград, до наших семиверстных прогулок в университет и обратно, до тех недолгих минут перед сном, когда я рассказывал ей о «серапионах»?

Не думаю, что Лидочку мучили логические соображения. Доказательства, которые я перебирал... Взгляд, слово, душевное движенье, которое она угадывала, потому что уже знала и понимала меня,— ей не нужно было других доказательств.

2

Поцеловать ее на углу Невского и Морской — это было по меньшей мере неосторожно. Должно быть, мы расставались часа на два, она шла домой, а я на серапионовскую субботу. И едва ли этот поцелуй запомнился бы нам, если бы в двух шагах не сверкнуло знаменитое пенсне Бориса Михайловича, знаменитое потому, что за полгода у него не нашлось времени, чтобы сменить треснувшее левое стеклышко, и оно попало в студенческую эпиграмму. Мы отпрянули друг от друга, поклонились ему. Улыбаясь, он ответил с подчеркнутой вежливостью и быстро прошел мимо. У него было такое доброе лицо, что хотя мы и расстроились, но не очень.

— Скажет или не скажет?

Впрочем, вопрос был риторический. Если разговор наедине в Таврическом саду отозвался звучным эхом в Тынкоммуне, наш переход к новой близости был немедленно замечен, и хотя пристрастно, но основательно взвешен. Лена посмеивалась, а братья были серьезно обеспокоены,

особенно Юрий. Без сомнения, ему одновременно представились и старые и новые неприятности. Старые были связаны с отношениями между Софьей Борисовной и Леной, которые не любили друг друга. Новые касались Лидочки. Он боялся матери и винил себя.

Мы называли друг друга на «вы», но однажды в присутствии Юрия я сказал ей «ты» — Юрий помрачнел, взглянув на наши смущенные лица. Выдал ли нас Борис Михайлович, или это внезапное «ты» подтвердило его опасения, но однажды за ужином, когда вся Тынкоммуна энергично обсуждала какой-то хозяйственный вопрос, он вдруг закричал:

— Ребята, я вас выгоню!

Смеяться было опасно, и засмеялась — осторожно — только Лена. Мы промолчали, и хозяйственный разговор продолжался.

Больше Юрий не доказывал Лидочке, что она не должна мне верить. Кричал он добрым, сердитым, беспомощным голосом, прекрасно понимая, что ничего изменить невозможно.

Лев Николаевич не кричал. Но однажды, оставшись с сестрой наедине, он сказал ласково:

— Лплёк, хочешь, я напишу маме и она сразу приедет? Шучу, шучу,— добавил он, когда Лидочка рассердилась.

И он не сомневался в том, что мама, по-своему оценив грозившую дочери опасность, уже не могла остановить нас. Мы вырвались из-под опеки и неслись куда-то своим непредуказанным, стремительным, соблазнительным путем.

...Это было так, как будто на все происходившее в доме, в городе, в университете была накинута невидимая сеть и в ней, поблескивая, бились и трепетали события. Событием становилось все — Елагин остров, по которому мы бродили с учебниками в руках, уговаривая друг друга заниматься. Событием была плоская чаша залива, открывающаяся со Стрелки и напоминающая допетровский Петербург, когда

...По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел...

Событием был буддийский храм в Новой деревне, похожий на детский сон, с изображениями бородатых раскрашенных богов, летящих куда-то в своих нарядных халатах. Двери почему-то были распахнуты настежь, в храме темновато, таинственно, пусто, и нам показалось странным, что вошедший в красной рясе монах с бронзовым плоскогубым лицом не обратил на нас никакого внимания.

3

Выход альманаха решено было отметить в недавно открывшемся ресторане на углу Невского и Пушкинской, который сразу стал известен в городе, потому что среди официантов был настоящий негр.

К ужину приоделись, и я пожалел, что так и не собрался переделать костюм, который подарил мне Горький. Кроме меня и Тихонова, все надели «тройки», а Зощенко пришел в модном пиджаке с квадратными лацканами, заказанном у дорогого портного.

Похудевший и помолодевший Федин (его оперировал знаменитый Греков) много и оживленно говорил и, как всегда, распоряжался на таких вечерах. Самый настоящий негр, лиловый как в песенке Вертинского, в белой куртке с блестящей, продольной шелковой полосой, почтительно слушал его и отвечал негромко, одними губами.

Это были первые полчаса, когда еще сдержанно шутили, прикидывая, может быть, не размахнулся ли наш европеец, заказав зернистую икру, судака в каком-то «соус репюблик» и фрукты, которые на рынке были вдвое дешевле.

Потом, с той минуты, как в глубине маленькой эстрады под ниспадающими овальными портьерами стал настраивать свои инструменты оркестр, что-то изменилось, сдвинулось, сорвалось. Уже надо было перекрикивать шум, чтобы услышать друг друга, неуверенность, которую я невольно чувствовал, пропала, и на смену ей пришло то восторженно-торжественное настроение, которое относилось не к альманаху (о нем никто не говорил), а к тому, что мы впервые собрались не у Гулисова, где было уютно, но темновато и тесновато, а в этом роскошном ресторане, с его зеркалами, отражавшимися в других зеркалах, с его сверкавшими белизной столами, где между вазами не лежали,

а стояли салфетки. Эти маленькие пирамиды салфеток я увидел впервые.

Никто не слушал тосты, которые кстати и некстати провозглашал Никитин, смеялись до упаду над меланхолическими шутками Зощенко и раздосадовали его наконец, потому что начинали смеяться, едва он раскрывал рот.

Потом на эстраде появился уверенный, стройный красавец в черном и стал то отталкивать, то притягивать к себе, то грубо швырять на пол высокую, стройную красавицу в черном. Это была знаменитая, только что появившаяся пара — Спокойская и Мономахов, исполнявшая танец «апаш».

В ту пору было вполне достаточно двух-трех рюмок, чтобы мне захотелось смеяться, без всякой причины. Даже незнакомые люди казались мне симпатичными, а знакомым неудержимо хотелось, не теряя времени, объясниться в любви. Очевидно, вино действовало на меня неожиданно, превращая честолюбивого задиру в добряка, относившегося к человечеству с обожанием.

Бог весть откуда, но в такие минуты у меня появлялось даже изящество и, кажется, остроумие. С рюмкой в руках, я поднялся и стал обходить стол, чокаясь с друзьями. Я не каялся в былых резкостях, но только потому, что они казались мне несущественным вздором.

Слонимскому я сказал, что в нем дремлет будущий Свифт, и мягко не согласился с Груздевым, который заметил, заикаясь, что этого Свифта можно разбудить только пальбой из пушек.

Зощенко я признался, что был бы польщен, если бы он убил или хотя бы ранил меня на дуэли.

Полонская следила за мной с доброй улыбкой, и я заставил ее выслушать длинное любовное объяснение, закончившееся откровенным признанием, что я люблю другую.

Серапионовские девицы были особенно хороши в этот вечер, и каждой из них я сказал небольшую, но убедительную речь, доказывая, что мы пропали бы без них и еще пропадем, если они не выйдут замуж за «братьев».

Мой обход продолжался долго, но, может быть, не очень, потому что я не забывал о том, что необходимо вернуться домой до полуночи, неторопливо пробиравшейся ко мне сквозь шум и звон ресторана.

Это могло случиться в «Хронике города Лейпцига» или во сне, но в глубине, за разбежавшимся звоном ресторана,

за блеском посуды, стекла и зеркал, которые тоже звенели и пели, я услышал осторожный бой стенных часов, висевших на Греческом проспекте в столовой. Часы были «ссыльные», до приезда длинного, льстивого Барца они находились в нескладной, неуютной кухне, может быть напоминая горничной статского советника, что пора будить детей, ходивших в Петершуле.

Теперь Тынкоммуна жила по этим часам, и, хотя у них был обыкновенный, негромкий бой, мне все же удалось расслышать его в ресторане на Невском.

«Лиловый» негр подошел к нам с подносом, на котором стояли цветы, девицы получили по белой розе, а я купил красную и не подарил ее никому.

— Дело в том,— загадочно объяснил я, хотя никто не спрашивал у меня объяснений,— что мужчины созданы для государственных дел, для философии, для войны или охоты, а женщины — для них. Что касается любви... Мне кажется, что я без нее обойдусь.

Роза была прелестная, свежая, упругие лепестки только что начали распускаться, и с той минуты, когда я ее купил, все до странности быстро стало меняться в этом, вдруг наскучившем мне, ресторане.

Певица с бледным, подчеркнуто трагическим лицом пела на эстраде модный воровской романс, и было что-то оскорбительное в том, что ее не слушали пившие и евшие за столами люди. Разламывающий голову шум существовал теперь только для того, чтобы заглушить бой часов, под которыми спала или, может быть, еще не спала Лидочка, поджидая меня.

В половине двенадцатого я встал и, ни с кем не прощаясь, ушел — как мне показалось, незаметно. Это было ложное впечатление: на другой день Тихонов сказал мне, что весь наш «орден» дружно хохотал, наблюдая, как, стараясь не потерять равновесия, я пробирался между столами, прикрывая левой рукой розу, которую держал в правой: так в вербное воскресенье, возвращаясь из церкви, прикрывают горящую свечку от ветра.

На Невском не было ветра. На Невском было тихо и светло как днем. Скромно украшенный прозрачным рассеянным светом, он показался мне божественным, радушным, не задумавшимся ни на мгновенье, чтобы подарить мне эту божественность, тишину и прозрачность.

4

Радостно и свободно дыша, освеженный прохладным воздухом ночи, с розой в руке, я торопливо шел к той, которой хотел подарить эту розу. Запах цветущей липы, донесшийся из садика подле больницы, остановил меня, напомнив о бедной Ларисе Витальевне, и безвозвратно забытой показалась мне та дождливая осенняя ночь, когда мы уговорили Юрия вернуться домой и он ушел, сгорбившись, подняв воротник пальто, а мы ждали, ждали, надеясь на чудо. Но чудом оказалось только то, что эта ночь была не забыта.

Окна столовой слабо светились, Лидочка не спала. Я пробежал через двор, взлетел на второй этаж, позвонил — она открыла мне, убежала, а я остался в кухне, взволнованный, не зная, как поступить.

Накануне Тыняновы уехали на дачу, в Гумоласары, под Павловск, мы были одни в квартире, и это мешало мне пройти в столовую, где Лидочка, без сомнения, уже снова лежала в постели. Вздохнув, я посмотрел на розу, и она, казалось, тоже вздохнула в ответ, лепестки встрепенулись, качнулись.

Преодолевая мешавшую мне неловкость, я решительно прошел вдоль коридора, постучал...

— Можно?

— Да,— ответил мне спокойный, детский голос.

Она и точно была в постели и, когда я вошел, только натянула одеяло до подбородка.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер.

И я протянул ей розу.

Это было совсем не похоже на беглые отчеты после серапионовских суббот, когда Лидочка не ложилась до моего возвращения, надеясь, что на этот раз мне не удалось нaскандалить.

В ту пору каждый день дарил нам какую-нибудь новость, и мой подарок тоже был новостью, которая так понравилась Лидочке, что она, без сомнения, поцеловала бы меня, если бы мы не были ночью одни в пустой квартире. Она попросила меня принести воды и поставить розу в вазочку, а потом на ее ночной столик. Мы смотрели друг на друга, молчали.

Всю дорогу от ресторана до дома я думал о том, с каким интересом она будет слушать мой рассказ о том, как

прошел наш удавшийся вечер. О том, как Зощенко, явившийся в странном пиджаке, уверял, что его портной — знаток, последователь кубизма. О том, как Федин вдруг произнес короткую, но серьезную речь с цитатой из Герцена, прозвучавшей, как ни странно, вполне уместно, потому что надо же было все-таки вспомнить, по какому поводу мы собрались в этом роскошном ресторане. О том, как Слонимский задумчиво сказал, что без моей помощи ему едва ли удастся добраться до туалета, а потом, в туалете добродушно посмеялся над этой речью, изобразив, как Федин произносит слово «литература» — по слогам, широко распахнув глаза, с торжественным выражением. Но все это и многое, многое другое отодвинулось и показалось совершенно незначительным в сравнении с той минутой, когда я сидел подле Лидочкиной постели и мы, улыбаясь, не говорили друг другу ни слова.

Часы пробили полночь, и снова наступила тишина, уже другая, может быть сказочная: я не очень удивился бы, если б роза, как в сказках Андерсена, превратилась в розовый куст. Мы молчали, прислушиваясь, я — к тому, что происходило в Лидочкиной душе, а она — к тому, что происходило в моей.

— Доброй ночи.

У нее благодарно озарилось лицо.

— Доброй ночи.

5

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменился, как будто все предметы, которые вы видели до сих пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной?» (Толстой).

Переход в другой возраст готовился давно, сказываясь в переменах, подчас еле заметных.

Мне пригодилось все — и псковское детство, окрашенное бессознательным стремлением понять и почувствовать духовный мир старшего поколения, и московское отрочество, когда, срываясь и оступаясь, я все же не переставал прислушиваться к голосам, доносившимся из этого заветного мира.

В Петрограде самый город, в который я влюбился с первого взгляда, деятельно участвовал в этом переходе. Он

состоял из старого и нового Петрограда, и я был на всю жизнь щедро одарен этим острым, противоречивым скрещением. Оно поставило меня лицом к лицу с постоянной душевной занятостью, с наслаждением неустанного умственного труда.

Нельзя сказать, что я прошел легкую школу. «Что мне сказать? — спрашивает Пастернак, поздравляя Брюсова в день его пятидесятилетия:

Что я, затем, быть может, не умру,
Что до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?»

Так и я с благодарностью вспоминаю о тех ударах линейкой по рукам, которые получал от Горького, от Юрия, от «серапионов».

Они участвовали в полной свободе, с которой я действовал, еще не зная, какую выбрать дорогу — востоковедение, история литературы, проза. Они не щадили моего честолюбия, и медленно, но верно оно становилось совсем другим — не беспредметным, а профессиональным. Они сделали то, что уже в двадцать лет ничто не могло выбить из моей руки перо, и, когда выбор остановился на прозе, научили меняться, оставаясь собою.

Я продолжал надеяться на успех, переоценивая свое дарование, но уже догадывался, что моим средневековым схоластам нечего делать в современной литературе. Позже, занимаясь русскими романтиками двадцатых — тридцатых годов прошлого века, я понял, что моя попытка повторяет бесконечно более талантливые опыты Вл. Одоевского и Вельтмана, пытавшихся перекинуть мост между русской и западноевропейской литературой. При всей видимости новизны моя попытка была старомодной. Она не удалась и не могла удаться, потому что требовала не механического перенесения, а органического перевоплощения традиций. Среди них главное место занимала идея двойника, подобия, отражения, некогда увлекшая Гофмана и Шамиссо. Прошло немало лет, прежде чем для меня стало ясно, что лишь под рукой Достоевского эта идея стала могущественным средством самопознания.

Почему эти профессиональные размышления разных лет связались в памяти с тем июньским вечером, когда после серапионовского праздника я вернулся на Греческий, подарил Лидочке розу, прошел к себе, разделся, лег и, не

уснув, принялся бродить по квартире? Потому, что этот вечер, а потом благословенная, бессонная ночь волшебным пунктиром отделила прошлое, и я увидел его не только сложившимся, но как бы позволившим мне увидеть отсветы будущего, скользившие по опустевшей квартире.

В каждой комнате была белая ночь, но в пятиугольном кабинете Юрия она не просто существовала, но еще и настаивала на своем существовании. Свет, пробиравшийся ощупью через просторные окна, сложился из прозрачности и сумрака, но прозрачность преобладала, в кабинете было так светло, что я мог свободно читать в два часа ночи.

Юрий работал, пока ему не помешали последние сборы, стол был захлестнут рукописями и книгами, молочно-белый абажур переносной лампы, как парус, поднимался на мачте стержня, и стол напоминал палубу, на которую, отправляясь в путь, наскоро побросали все, что могло пригодиться. Путь был далекий. В открытом море арктической ночи фрегат упрямо плыл против ветра.

Склянки за стеной пробили три часа — «ссыльные» часы напомнили мне, что пора ложиться. И я попытался лечь, притворяясь, что ничего не случилось. «Ничего не случилось»,— уверял я себя. Но в этом ничего неслучившемся было то, что заставило меня пролежать часа полтора с открытыми глазами, а потом вскочить, чтобы заняться делом.

Всякий раз, возвращаясь домой после экзамена, я прибирал свою комнату, вытирал пыль, приводил в порядок рукописи, ставил на место книги. Не знаю, какой экзамен был сдан в эту ночь, но я принес из кухни пыльную тряпку, ведро с водой, обрывок половика, которым пользовались в Тынкоммуне для мытья полов, и отличную, еще барцевскую, густую и прочную швабру.

Прошлое, состоявшее из сотен и тысяч слов, встреч, столкновений, размышлений, осталось позади, и я с благодарностью прощался с ним, разрывая и бросая на пол неудавшиеся страницы. Шифоньер, подаривший мне «частный архив» студентки из Бёрна, я старательно вытер сперва мокрой, а потом сухой тряпкой.

Учебники были разделены на две части: сдано — не сдано. И я с удовлетворением убедился в том, что первая часть гораздо больше второй.

Самодельные деревянные угольники прочно держали мой арабский Восток, поместившийся на столе вдоль стены. Вместе с сором, обрывками черновиков и конспектов

уходили, прячась в подвалы памяти, два отслуживших свою службу года. Неужели только два? Или даже меньше? Этому трудно было поверить.

Я не коснулся рукописей — они были в порядке. Но одну из них, начатую на банковской разлинованной, плотной бумаге, отложил в сторону — над ней надо было еще думать и думать. Рассказ назывался «Щиты (и свечи)». Очевидно, скобки были поставлены только потому, что никто, кажется, до сих пор не воспользовался скобками для названия.

Теперь в комнате было чисто, как никогда. Теперь она была похожа на слова: «Продолжение следует». Она спокойно готовилась принять будущее, перешагнувшее порог вместе с наступающим утром.

Я пошел в кухню, окатился холодной водой, растерся докрасна и освеженный, с ясной головой вернулся к себе. Ночь еще не кончилась, но быстро шла на убыль, и уже совсем другой, потерявший таинственность, трезвый свет рвался в открытое окно вместе с голосами и шагами ранних пешеходов.

1975

Освещенные окна.— Впервые «Часть первая. Детство» — в журнале «Звезда», № 2, 3, 1974; «Часть вторая. Опасный переход» — в журнале «Звезда», № 12, 1974; «Часть третья. Петроградский студент» — в журнале «Звезда», № 3, 4, 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА. Трилогия

Каверин В. А.

К 12 Собрание сочинений. В 8-ми т. —М.: Худож. лит., 1980.—

Т. 7. Освещенные окна: Трилогия. 1983.—590 с.

В том включена автобиографическая трилогия «Освещенные окна» (1970—1975).

К $\frac{4702010200\text{-}385}{028(01)\text{-}83}$ подписное Р2

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ СЕДЬМОЙ

Редактор
О. Новикова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Е. Полонская

Корректоры
Г. Киселева и
О. Наренкова

ИБ № 2420
Сдано в набор 31.07.81. Подписано к печати 30.07 82. Формат 84×108[1]/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 32,19. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-405. Заказ № 3361. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28